

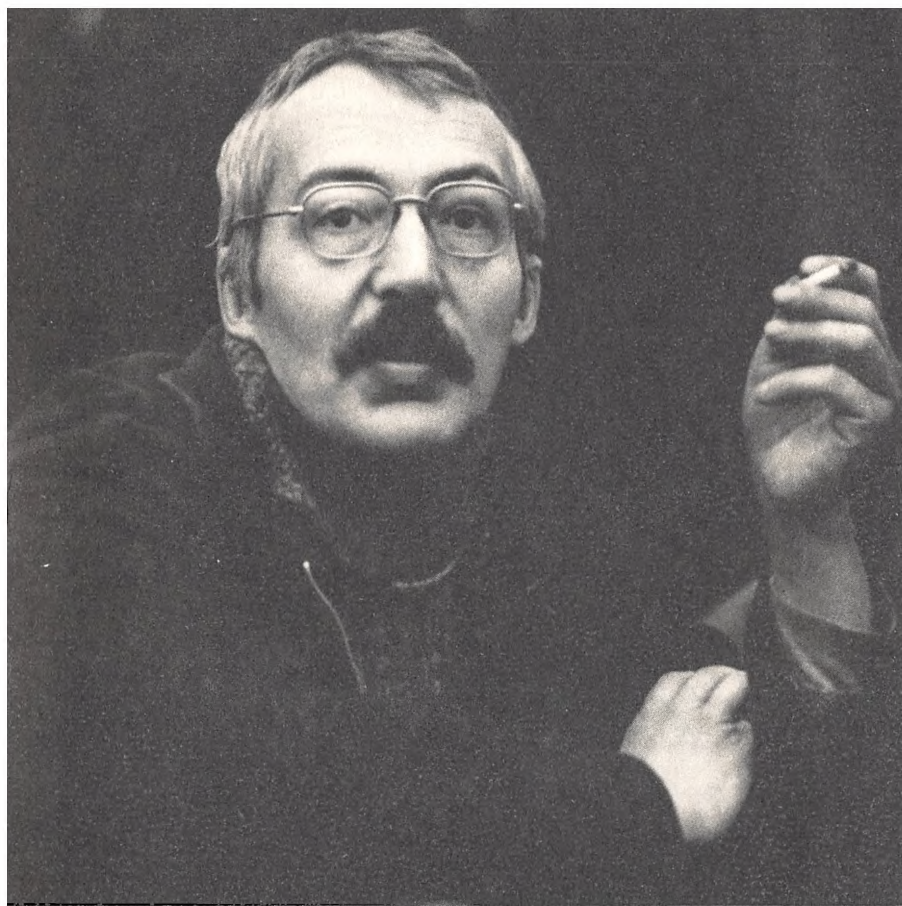
Андрей Битов

Андрей
Битов

Человек
в пейзаже



Видъ берега около Хангакаку съ усоещъ селеніе въ Приморской Наму и въ уезды Ссона.



Андрей
Битов



Человек
в пейзаже

повести
и рассказы

Москва
Советский писатель
1988

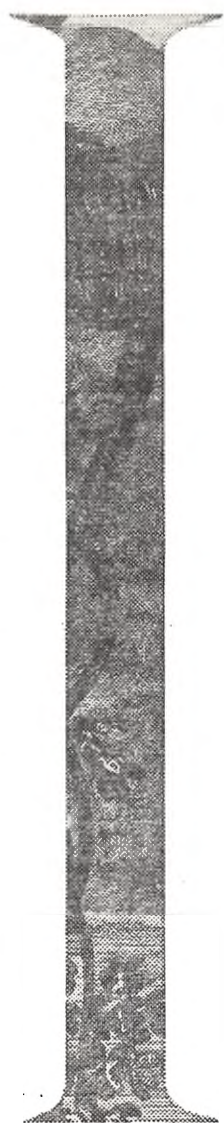
ББК 84 Р7
Б 66

Художник ФЕДОР МЕРКУРОВ

4702010201—236
Б $\frac{\quad}{083(02) - 88}$ 16—88

ISBN 5—265—00341—X

© Издательство «Советский писатель», 1988





ВКУС

Не сестра, не дочь, не мать... Больше родственник, чем они, чужой человек. Нагловатое, напрасное смущение: знают друг друга, не хотят знать. Сейчас разбегутся, разъедутся. Лишнее... Что лишнее? Все, что было после, — лишнее. А сейчас лишние эти пять минут до отхода, фальшивый перрон. Перрон всегда фальшивит. Ждет тебя дорога... Жжет. Самые страстные разлуки, самые горькие расставания — все равно ему каждый раз хотелось: скорей бы... Скорей бы тронулся, скорей бы перестать прикипать друг к другу на людях, что можно выжать еще из этой минуты? после ночи, после дня, после чемодана, после стирки носков и трусов, после яблока в дорогу, после раздумья о последнем разе, неудобная поза, в передней, что ли... нет, кажется, обошлись, чтобы потом остался этот недоеденный торт... Интересно, вот в те подлинные минуты это чувство фальши — как? — взаимно? — или только у него, бесчувственного... Ничего себе бесчувственного — локти грыз... Но — всегда, всегда хотелось, чтобы все провалилось скорее под колеса, с глаз долой — в самое сердце. А сейчас — не хочется. Все равно, не нужно, нечего сказать, да и сожалений никаких... а не хочется. Встаки жалко. Мнутся. Смущение. Не то чтобы сдерживается, а лень сказать: предел. Какое-то непонятное пространство ее, для него несуществующей жизни между ними, будто ровное поле с желтыми цветами... Вот-вот, будто она сейчас ему снится, как снятся мертвые, которые давно уже не живут, не в курсе... А подумать, десяти — много, отмахнемся, промолчим... Какая-то комфортабельная неловкость. Чуть-еле-еле — кокетство: не слишком, потому что не помолодела же за десять лет, не похорошела, а все-таки — смотри, то же лицо, улыбка отчасти, неоконченность жеста... Неокончатель-

ность — какая кошмарная неокончателность вся эта жизнь! Выраженная вот в этой корзинке, которую передать... Бог знает, с какой ерундою! Так ли она уж нужна — мне, ей, тому, кому передать, самой себе она даже не нужна. А уж мы друг другу — ни с какого боку! Вспомнил: сбоку... Еще и потому полкокетства: что — просто так, не нужно, не по делу... Разозлился, удивился вялой складочке ревности, шевельнувшейся, однако, под десятилетней толщью. Ну, уже пора!.. Представил себе ее возвращение будто бы в избушку за желтым полем, и то же, что сейчас, пронесенное назад через поле лицо, такое же половинчатое, уклончивое, никому адресованное, и не ему, и не тому... Сон, смерть. Поцелуются или не поцелуются? Поцеловались. Чмокнули воздух над плечом. Щека слабешкая, мягонькая, скоро бабушкина... Значит, помнит ту щеку. По сравнению... Уже из вагона: последнее лицо, вдруг что-то в ней пробудилось, дрогнуло, или — показалось? или женщина все-таки ничего не может просто так? или... да ну! дура! шляпу какую надела!.. стоит кулем... ну, что за баба, прости, господи! С трудом не заплакал. И когда отнесло ее наконец, не надо было наклоняться в окно с благосклонно-нежно-равнодушно-соблазнительно-независимотепло-человечно-мужской улыбкой... Уф! совсем другой человек выпрямился в проходе, отыскивая кресло: освободившийся, стройно-высокий, неординарный... Странно, ведь уже десять лет свободен — от чего же он освободился сейчас? не только от неловкости на перроне? Вот именно, что не только...

Монахов продвигался по проходу, полуизвиняясь, никого не задевая... поднял глаза — с того конца вагона, навстречу шла она!.. Монахов даже произвольно покосился в окно, за которым она только что оставалась: там уже не было перрона, разбегались стрелки, рыжий бурьян... Монахов тут же, естественно, усмехнулся своему неоправданному движению — вперился в девушку, идущую по проходу навстречу: никаких сомнений — она! Чуть ли не проделал следующее неоправданное движение, чуть ли не потер глаза и встряхнул головою. Открыл — она.

Она была одета в то же платье, только шляпу сняла... То же волосы, та же прическа, то же скромное движение как бы под взглядами, вызывающая скромница... Будто десяти лет не прошло... Монахов расправился весь ей навстречу. Ведь она сейчас тоже не может его не увидеть! Поднимет глаза... Время с жужжанием прокрутило в секунду три с половиной тысячи оборотов и замерло, зависнув, и Монахов ровно над той же пропастью: он точно так сейчас видел свою жену, как

тогда, уже ему не принадлежащую. Стеснило сердце. Она была ровню на десять лет моложе той, провалившейся только что вместе с перроном. То чувство, что все эти десять лет, хоть и без большого сожаления, без траура, но — зря, сейчас подтвердилось во плоти: этих десяти лет не было, и она — куда она ехала? к кому? почему он ничего не знал об этом?.. — села в поезд, легкая и свободная, не зная о коварном стечении, при котором Монахов очутился в том же вагоне... «Вовсе я тебя не преследую!..» — уже заготовлял реплику Монахов. Одно соображение, еще не проявившееся, смутило сознание, изображение стало рваться, треснуло, подернулось рябью... Монахов с усилием извлек его, упирающееся, из какой-то извилины: ТА, десять лет назад, не могла быть так одета, — никаких тогда еще макси, каблуки были не такие, прическу такую не носили, десять лет назад пассажиры были одеты иначе... Сходство ведь тем и усугублялось, что старая его жена, померещившаяся на перроне, и молодая, идущая навстречу, были одинаково одеты. И это было единственное условие узнавания — появившись она сейчас, одетая как тогда, как ей положено десять лет назад, раз она на них снова моложе, то, может, и не узнал бы, прошел мимо... Изображение окончательно раскололось и рассыпалось. Она подняла глаза и не узнала. Все было так, взгляд — совершенно другого человека. Тускловат.

Монахов уселся, думая о поразительном сходстве. Забыв неприятный взгляд, он снова был поражен. Надо было ее ненароком спросить о чем-то — голос услышать... Голос такая вещь!.. думал Монахов. За окном все еще был Ленинград, даже Обводный не переехали. Впереди шесть часов преутомительной езды. Может, познакомиться все-таки... А не стоит. Не стоит. Все-таки потрясающее сходство! А главное, какое совпадение!.. Замуж так и не вышла... Монахов думал о своей первой жене, что она единственная. И куда десять лет делись, он тоже думал. Ничего нового не оказывалось в том, что он подумал. Вот об этом он и задумался. Странная мысль! И ее не было. Вот про эти десять лет, что раньше все было непрерывно, а потом провалилось... что только единственное — длится, а остальное — только исчезает. Что за все первое отвечает сама природа, за все второе — сам человек. А он не отвечает. А там уж пятое-девятое... Мелькает. Вот попробуй запомни: что там за окном?.. Этот лужок, проселок, перелесок — ведь неповторимы же, а? Ведь можно любить их больше жизни... Они могут родиной быть! Ан нет, сколько себя ни заставляй — пронеслось, исчезло... Любил ли он? любили ли его? можно ли было не менять жизнь или ее сле-

довало менять еще раньше и еще круче? да и менял ли он ее или она менялась? выбрал ли он хоть что-либо или только его выбирали? и не кажется ли ему, что раньше он жил и чувствовал как-нибудь иначе?

Монахов думал, и ничто не оказывалось мыслью. И не то чтобы он уже подобное слышал, или читал, или сам говорил, или уже думал, — нет, никакой сторонней узнаваемости в этих мыслях не было — они были и впрямь его и теперешние, сейчасные... и, однако, стирались, как пейзаж за окном. И приходили в голову словно впервые, а все были уже подуманными какие-то. Значит, тысячу раз пронеслась в его голове уже эта толпа, и мысли примелькались, как сослуживцы, каждый день встречаемые, ни разу не отмечаемые... И еще хуже, подуманные кем-то. Что это у тебя сегодня, Сидоров, вроде как ноги нет? что ты говоришь!.. не знал, не знал... Так и мысль свою вдруг он увидел, что она без головы... Вот же она! опять утекла. И он словно провожал взглядом ее отвратительно примелькавшуюся спину. Вот когда прервалось (и опять он не сказал себе, ни что прервалось, ни когда...)... вот с тех пор и ни разу не была додумана ни одна мысль, а только лишь в о з н и к а л а. Возникала и возникала, и вот он ее уже узнает, ни разу не подуманную. Узнает, как случайного прохожего в толпе, как попутчика в трамвае, но прохожий пройдет и попутчик сойдет... До следующего раза. Вот что значит «ничего нового»! догадался Монахов. Это вовсе не значит, что оно уже было, а значит, что его уже никогда не будет для тебя. «Все что было, все что мило...» То давным-давно уплыло! А вот эта тыщу раз всеми и им слышанная, вдруг мурлыкнувшая в нем строчка все еще была. Жила. Да что в ней такого? что в ней выражено-то! возмутился Монахов. Чувство, ответил он себе. И вздохнул с облегчением.

Об отсутствии, о пустоте... О смерти! Никогда не равна себе эта мысль... И ее уже не было.

Был вкус во рту. Этот ужасно длинный вкус пирожка в вокзальном буфете. Вот он был, он расширялся и рос, отвратительно настойчиво и ровно. Стойко. Ага, стойкий вкус! и это отмечено в «правдивом и свободном»... Вкус помещался во рту, как объем, четко фиксируя полость этого пустого храма. Он все был и был, не в пример мысли или пейзажу за окном, все время улепетывающим. Чего бегут, куда бегут? — и опять то же: и мысль и перелесок. Ну, запомни же вот этот хоть бочажок с корягой... Не-ет! дудки. Их нет, как и не было до. А вкус есть, сколько его ни сглатывай.

Монахов в сердцах отвернулся от окна посмотреть на пассажирку. На самом деле он так же давно собирался на нее посмотреть, как и встать, пройти в тамбур и покурить, как, быть может, прополоскать там заодно горло... Пассажирка смотрела в окно с особо отрешенным и независимым видом. Шлюха! вспылил Монахов. Чего у них такой независимый вид, как раз у шлюх? С такой недоступностью на лице только в очереди к венерологу сидят...

В тамбуре, пуская дым в окошко, Монахов на некоторое время обрел пространство: мусорный ящик, огнетушитель, декларация какая-то под стеклом, дверь в туалет, плевков — все на месте. Давно пора было закурить... подчеркнуто выпустил дым — отлегло. Что это все на него находит? Благожелательно приласкал взглядом огнетушитель: на месте, друг! не действуешь?.. И то, что на огнетушителе была картинка, на которой человек, успев переодеться в комбинезон, правильно держал в руках точно такой огнетушитель, на котором, в свою очередь, была картинка, на которой... это, с детства, запавшее представление, тут же тысячу раз проигранное в мозгу, не было почему-то ему противно, наоборот: усмехнулся себе ласково, будто подмигнул прошлому. Как в прошлом, улетала, вернее, отлетала от окна, как взмах крыла, черная линза пашни — рывком назад, потом, будто отлетев вбок и описав дугу, возвращалась на место, прежде чем плавно исчезнуть насовсем. Это крылатое пульсирование пейзажа за окном с вспархивающими, в свою очередь, с борозд грачами, имитирующими поворот пейзажа, взлетающими, чтобы вновь и вновь сесть на то же место, будто, пока они взлетали, земля успевала проехать под ними... Ага! запомнил!.. возликовал Монахов. Крыло опало. Справедливо, подумал Монахов и не расстроился: нельзя ловить кайф над кайфом.

Дети теперь не машут вслед проходящим поездам... Когда это случилось? Сколько же времени должно было уйти, в том числе его собственного, чтобы стайки их становились все реже, чтобы не все в стайке махали, чтобы стало целовко помахать, раз другие не машут...

Грачей больше не было, зато открывшийся за пашней синенький, как дымок, лес — показывал вечный и радостный с детства фокус: он все забегал вперед поезда, пока насыпь с белеными камушками и столбиками рвалась серыми ключьями назад, а между забегавшим вперед леском и прерывисто отлетавшей под колеса насыпью — все замирала, все останавливалась неподвижная точка, обзначалась ось, словно там и колышек был вбит для вращения поля зрения вокруг него.

Вот он, мгновенный центр вращения! — математическая абстракция оживала с наглядностью школьного опыта. «Сейчас она выйдет», — вдруг решил он.

Дверь в тамбур открылась, он упорно не отворачивался от окна.

Сейчас попросит закурить...

И, о чудо, девочка на насыпи, как прежде... точно такая, в платочке в горошек, с коленками... стояла и махала, как призрак.

Этого только не хватало, чтобы двойника (двойницу...) звали так же, чтобы она еще и тезкой была... Конечно, звали ее уже иначе, как и одета она была уже иначе, звали ее, скорее всего, Света.

Монахов все отгадал — и как зовут, и где учиться... Она ехала сдавать последнюю сессию, в общежитие дозвониться трудно, из комнат у них не зовут, но она может выйти в назначенный час к телефону. Монахов не скрыл, что женат, но то, как он отвел и удлинил взгляд, хорошо передавало разлад, о котором не хочется говорить... Света была хорошая, простая, умная девочка, которую Монахов не хотел бы обмануть...

Сигарету он галантнейшим образом ей выдал — но представление о том, что ему известен каждый шаг, обескуражило его, и он не завязал разговора.

И реанимированный было пейзаж вновь умер. Кстати стемнело, чтобы не видеть его. Чтобы не думать больше, как ты его не видишь. А думать о том, с чем же в себе никак не может он смириться, чему удивляется? К какой такой давней уже перемене никак не может привыкнуть? И даже допустить не хочет. И эти мысли — были стертые, кем-то, не то им же, подуманные... Возраст! Неужто он так простирает над ним свое крыло? Может, Монахов никак не может свыкнуться, что ему не двадцать пять. А почему, собственно? Он не чувствует ни боли, ни одышки, он — выглядит, он не постарел. Никто из нас не заподозрит, насколько долго, даже усвоив современные взгляды, подвержены мы давно уцененной и забытой, еще школьной идеологии. Откуда, например, убеждение, что старение есть явление как бы чисто физическое? Возраст! Думал Монахов. Вот великий закон н а д человеком!.. Монахов не мог допустить его действие на себя, в то время как действие его на окружающих было объективно. Распространение этого закона на себя означало, что жизнь, собственно, прожита и никак не впереди. Тогда он ее прожил то ли не так, то ли мимо, то ли не в том смысле. Перспектива, всегда открытая, вдруг захлопывалась. Господи! не готов... С другой стороны, не

хуже, чем у других, это у него было: мать жива, дети здоровы, жены несчастны, но тоже здоровы, и все у них есть... а когда они были бы счастливы, интересно знать! Монахов привычно вспыллил. Если причина его неважного самоощущения лишь в том, что он им не дал счастья по их представлениям о себе — то это вздор, этим — пренебречь. И хотя все равно не пренебрегалось, что-то оставалось на совести досадное, навязанное ими, но это, ясно, не главное. В том-то и дело, что Монахов именно с а м себя неважно ощущал, а не с помощью других, и — вот ведь! — тьфу-тьфу-тьфу — даже здоровье было. Что же это за боль в виде ее отсутствия! несносно. Неужели все кончено?.. Что — кончено?! Что — все?! Неужто так и не ответить себе ни на один вопрос... Вопросы размножаются простым делением. Откуда он взял, откуда они все взяли — жены, дети, — что она все время и каждую секунду должна происходить, жизнь? И еще, не просто сама по себе, а по нашим о ней представлениям! Хулить общественную систему — и во всем настолько походить на нее... Нет, она н а ш а, эта система, и твоя тоже. Давай, давай! — немудрено было давно уже ее всю выгрести, жизнь. Чего же теперь бесчувствию дивиться? Как там наша Светочка поживает?..

Обиделась. Не смотрит. Ну и слава богу. А жизнь, товарищ Монахов, придется наново начинать. Ты уже не переживешь — хвостик хоть ее распрями. Чтобы не было мучительно больно... Ой, больно! Да дался ты кому со своей виной и долгом! Что ты лезешь из кожи к удивлению и неуважению своих близких? Кому ты нужен со своими смирениями и жертвами! Ты с а м им нужен, а где ты сам? В какую щель... не видать... Что ты прешь эту жизнь, как рояль на седьмой этаж! Не-ет, хватит.

Господи! может ли прийти в голову мысль, хоть одна, которой я еще не думал. Я ими всеми уже думал...

Светочка спала, расстегнув рот. Монахов представил, что это она уже под утро... Чужая подушка... бедненькие тряпочки кое-как разбросаны по полу... птицы заверещали, рассветает окно... и она, после всей этой бури, плотно спит, вот и рот нараспашку... Монахов покосился с неприязнью и крадучись, стараясь не разбудить, соскользнул с кровати, босой по чужому полу, в руке туфли, где, черт, второй носок?.. Монахов хотел выйти, но пол под ним шатало... Поезд грохотал в ночи, все разухабистей болтаясь по стрелкам, словно не разбирая уже пути... Нет, хорошо, что не затеял знакомства... Мона-

хов и сам дремал, некоторое время стараясь не забывать про рот, учитывая чужой опыт... пока не уснул, со всей непосредственностью сна.

...Ничего страшного. Вот предмет, похожий на другой предмет... а вот два похожих человека... И этот похожий предмет служит своему назначению, как служит с в о е м у назначению предмет, на него похожий. И этот человек, похожий на того, живет своей жизнью, как и человек, на него похожий, живет с в о е й. Что такого?

Сходство или похожесть никогда особо не занимали Монахова, и уж во всяком случае ничего пугающего в подобном явлении он до сих пор не обнаруживал. Эта область легко исчерпывалась проходным рассуждением о том, что при бесчисленном многообразии сочетаний элементов сами элементы то постоянны, и потому, по законам больших чисел, вполне возможен случай даже и значительного сходства в соединении элементов у каких-либо предметов, людей, явлений, совсем не родственных и весьма отдаленных друг от друга. «Отдаленное сходство», в таком случае, скорее сходство двух далеких объектов, чем просто незначительное подобие. А при бесконечном ряде возможен и случай идентичности — ну что ж, курьез, игра природы... как та же игра природы, что волей того же случая мы можем стать свидетелями подобного курьеза. Свидетелями, и только. Ответственности не несем. Ни в малой степени не должно омрачить нашу душу отдаленное сходство. Скорее можно утверждать, что всякого рода сходство или похожесть должны радовать любого нормального, не задумывающегося над пустотой человека («Мне бы ваши заботы...» — разумный довод!). Радует же всякому сходству ребенок как первому методу познания, и нежные усики первых соображений протягиваются из не измеренного еще «я» к пока еще измеримому миру... может радоваться и взрослый, видя в явлениях сходства некое свое приобщение к окружающему миру, сродство и даже сращенность с ним.

Теперь можно употребить удивительное слово «вдруг». И вдруг Монахов испугался. Так потрясло его это вагонное сходство... Хотя в широком смысле, конечно, не «вдруг». К этому «вдруг» его долго и терпеливо вела непостижимая жизнь. Будто из тугого и, казалось, толстенького клубка отмотал он, начиная с рождения, нить настолько длинную, что уже клубка-то и не различал: сколько там? не вся ли нить?.. Так вот, ему в д р у г показалось, что она как-то опасно натянулась: заело или кончается? Вопрос тревожный, и задать его некому. Мы не придаем случайной встрече в

вагоне того же многозначения, как Монахов; может, он и сходство-то преувеличил... но, между прочим, не нам судить — это его встреча, не наша. Он принял ее за точку отсчета, пусть как угодно произвольно. Точка эта означала, что жизнь его описала круг. Теоретическая спираль его не утешала. Ему некуда было ее вставить. Под вопросом для него было лишь количество описанных им кругов — не третий ли заход?.. Третий, малоутешительный...

Во всяком случае, именно в этой точке своей, смелькавшейся уже в полосу жизни, приостанавливается Монахов, чтобы оглядеться. Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ...

Перед тем как он выдвинет — следующую, возможно, опять ложную...

Он приехал, и они объяснились.

Новую жизнь, однако, Монахову удалось начать не сразу

Прошло время, прежде чем странность и радикальность подобного намерения поутряслась, пообсела в сознании ближних (жены) и приняла законный и привычный вид: Монахов берет очередной отпуск и, возможно, еще месяц за свой счет, но проводит их не с семьей, а снимает за городом комнату, где ему наконец никто не мешает обобщить его опыт. (Якобы очередная монография — «Всякие сетчатые конструкции»...) Но вряд ли все это можно было теперь назвать п о б е г о м или «вита нуова». Толстой... оскалившись по-волчьи, сказал себе Монахов. Однако был он к себе несправедлив: не будь он непреклонен в своем решении, не убедись жена в неизбежности, не привыкни начальство к идее... вряд ли бы он жил теперь на даче, вырванный из «заботы суетного света» с перспективой жить так два месяца... Достижение — практически невероятное!

Он говорил: «Я живу напротив могилы поэта», — и странно звучало это «живу».

Он произносил эту фразу впервые и не был уверен, что не повторяет ее в сотый раз. Кратность преследовала его. Кратность мыслей, слов, встреч. Все это нуждалось в сокращении, как кратная дробь. Ему пора было уехать. Одиночество было ему необходимо. Но до тех пор, пока его надо было добиться, это была еще цель. Он внес вещи в комнату, разложил на столе чистую бумагу и словари, вскипятил чай... И за кратким детским удовольствием самостоятельного устройства с тоскою понял, что никакого одиночества нет.

Хозяйка... Но не в хозяйке дело. Это однодневная лихорадка, ею не сложно переболеть. Как спускать воду, как зажигать газ... это пройдет. Что-то другое не устраивало Монахова в этом прославленном месте. Непонятно что. То ли оно оказалось не таким, как он ожидал... но это тоже явление сверхобычное: место назначения всегда такое — не такое, как представлял, тем и замечательно. То ли вообще его не было... Монахов взглядывал в окно, и ему становилось пусто. Не то чтобы его вообще не было сосны, кустики, дорожки, сараюшки — всего этого было в недостаточном количестве. Некоторая частность, неоформленность пейзажа, общая мусорность — так это и есть специфика именно дачного места, за пейзажем ездят подальше, уже в деревню. Так ведь эту-то сутолоку и сорность тоже можно любить, Монахов как раз и любил, он знал и узнавал отличие это. И тем не менее этой местности как бы не было, то есть, точнее, она уже была. Была когда-то. Не так давно кончилась... Монахов приехал и уже ее не застал. Не было местности.

Как мысли раздражали его своею уже «подуманностью», а люди — своею уже «встреченностью», как вся жизнь — своею «траченностью», так, возможно, и местность эта. Именно траченное место, будто битое молью (хорошо представить себе подобное насекомое, питающееся пейзажем...). Но был здесь и еще оттенок. Если ощущение кратности, бывшести, повторности, владевшее им в отношении людей, мыслей и чувств, было его личным ощущением, им почувствованным, им же и обеспеченным (в смысле нажитым), то есть несшим в себе оттенок заслуженности и справедливости (возмездие за несправедно прожитую...), то в пейзаже этом, в его неудовлетворительности, он если и был виноват, то лишь отчасти, причем несущественной части. Кто-то употребил, выпил эту природу, так что Монахову она уже не досталась.

Монахову не хотелось смотреть в окно. Сосна как сосна: кора, хвоя... но и она не жила той спокойной, уверенной жизнью дерева, к которой привык Монахов у себя на севере, — она как будто достаивала сосною, а уже была в душе доскою, валежиной; по ней пробежала бывшая белочка с мертвым мехом, оживший обрывок тетушкиной муфты. Вид из окна был испит, в лице его не было ни кровинки, а Монахову предстояло два месяца взглядываться в него, черпая жизнь и равновесие. Планы! представления!..

Кто же это высмотрел дотла?.. — неприязненно посматривал по сторонам Монахов. Он именно скользил взглядом, чтобы не запоросить глаза пеплом, который мог посыпаться

от неосторожного взгляда с этой видимости леска, пригорка, пашни... Не иначе как живший здесь поэт. Незадолго до Монахова. Пейзаж достаивал после его смерти в глазах оставшихся, не более того. Именно так и объяснил себе Монахов глухое недовольство, ворочавшееся в нем и не находившее формулы. Наждачность поэтического взгляда, содравшего пыльцу с невзрачных крылышек окрестностей, преследовала его воображение, хотя сами-то стихи поэта Монахов знал слабо, а теперь почти мстительно собрался достать прочесть, чтобы убедиться в том, стоили ли они того, чтобы ликвидировать небольшую местность... Припоминал фотографию: в ватнике, кепаре и кирзовых сапогах, опираясь на мотыгу (из-за которой он и запомнил фотографию), более похожий на могильщика из «Гамлета», чем на его переводчика, вглядывается перед собой, по-видимому, в тот пейзаж, остатками которого так и не довольствуется Монахов.

Да, эта местность уже была. Монахов не собирался ее описывать, однако и ему ее не хватало.

Люди, мысли, чувства, и вот теперь местность — все это уже было. Неужели и я — уже был? — вот вопрос, к осознанию которого не хотел приближаться Монахов. А тут еще и местность, между ним и вопросом, кто-то чужой, до него живший, взял и убрал, скатал, как собственный коврик...

— Я живу напротив могилы... — повторял Монахов, нажимая на «живу». Так никто и не отметил в этой фразе каламбура, пусть и неудачного. Улыбались, будто пожимали плечами.

— Поселок дачного типа, — вдруг сказал он.

«Зона отдыха трудящихся Одинцовского района» — красовалось на платформе. «Косою полосой шафрановую — от занавеси до дивана...» — Монахов усмехался. Чтобы отделаться от этой странной неудовлетворенности местностью, он расширил свое шапочное знакомство с поэзией. Стихи, в чем он вслух не смел признаться, все-таки не нравились ему. Их усилие быть казалось ему чрезмерным. Что ж поделать, если не Михайловское... так уж надо и душу вытрясти из бедненького пейзажа... Хотя, странным образом, именно стихи, написанные здесь, нравились Монахову все-таки больше.

Одна лишь церковь на пригорке горела с тою же силою: «как печатный прятник». Радовала глаз. Из-под нее, вниз по склону, вплоть до речки, спадало кладбище, на котором и был похоронен поэт. На могилу, предмет обязательного паломничества каждого прибывшего интеллигента, Монахов решил

не ходить. То ли не хотел уподобиться, то ли не причислял себя в этом смысле к интеллигенции, то ли всех остальных к ней не причислял, то ли считал более оригинальным «жить напротив», чем и ограничиваться, то ли кладбищ не любил... побуждение это не было достаточно ясным. Возможно, опасался «рифмы».

Симптомы, синдромчики... «Рифма» была его собственным понятием, которое следует пояснить.

Где-то я это уже встречал, читал, слышал... Что-то мне это напоминает, не могу вспомнить что... Какое знакомое лицо!.. Мы с вами где-то встречались... Ах, я это вам уже говорил... Знаю, знаю, слышал... Все эти обыденные случайности, расхожие речевые обороты, ничего до сих пор не значившие, вдруг стали намекать Монахову на наличие в себе более загаданных смыслов, чем способен заподозрить нормальный человек. Что-то обязательно повторялось на дню из того, что до сих пор могло годами не происходить, будто копилось в этих годах, чтобы вывалиться вместе... Скажем, поймал себя за странным делом: набрел на запылившийся завал в ящичке стола — фотографий, квитанций, записок... и вдруг начал стричь и клеить, искать совершенную композицию, пока к концу дня не был у него готов замсловатый коллаж, о жанре которого он и понятия не имел. Ни одна бумажка не пропала!.. Монахов застиг себя любующимся делом рук своих, смутился, спрятал поглубже, чтобы никто не увидел (жена). Вечером она (жена) вдруг просит его выстричь ей трафарет из иностранного журнала — и с насмешливым удивлением проводит Монахов остаток вечера, орудуя теми же ножницами и клеем («Как у тебя ловко получается!» — Монахов взглядывает с опаской — да нет, не может же она видеть сквозь стены и ящички!.. «Я в детстве ловко выстригал...»). В том-то и соль, что до сего дня Монахов, и это он знал точно, ничего подобного не выстригал лет тридцать. Впервые отчетливо проступил для Монахова этот закон, когда он стал водить машину. Пробив себе привычные, стандартные маршруты, от которых его редко отклоняла жизнь, он знал уже с точностью, что если его вдруг забросит в угол города, в котором он никогда не бывал, по какому-либо поводу, тоже достаточно небывалому, — скажем, отвезти в ремонт пишущую машинку подруги жены, то это значит, что вечером того же дня он окажется в том же месте во второй раз в жизни, по поводу не более бывалому, сопровождаемая «скорую», на которой увозят его внезапно заболевшего сына (ничего страшного, обошлось, слава богу...) в неведомую больницу, где есть место, так это место есть в боль-

нице, что напротив мастерской по ремонту (надо же! а я тут утром уже был... и на больницу внимания не обратил). И так если и не каждый день, то через день. И больше он не выстригал, и больше он в этот район не попадал... И все объяснения подобных случайностей были Монахову известны, но скука уже сковывала язык рассуждать о вероятности. В том-то и дело, что не-вероятность! Вот он видел вчера дважды посреди улицы павшую лошадь — это сейчас, в Москве... когда и живую-то встретишь — вздрогнешь, а тут — одну видел утром в районе трех вокзалов, а другую вечером в районе Сокола (а что он там делал-то, у Сокола? не может вспомнить...), будто эту лошадь возили за ним по всему городу, чтобы он на нее натыкался. Нет, он совершенно нормален. Ничего ему никогда не кажется. Но только всего такого стало так много, что он уже не помнит ни одного примера (и упомянутых в том числе), а помнит, что проявляется каждый день некий закон и д е й с т в у е т. И этот намек уже больше, чем намек; он — н а п о м и н а н и е. Чего напоминание-то?! Того, что жизнь есть независимо от того, есть ли ты. И если ты, чтобы не ловить себя на отсутствии, перестаешь реагировать на жизнь вообще, она находит способ тебе напомнить, что она есть, хотя бы вот такой р и ф м о й. Хорошо, если не прямым ударом. Вот когда перестаешь замечать и такие вещи — пропал... жди удара... Суеверным Монахов не стал, не пытался объяснить вещи недоступные примитивно-логическими построениями, но — настораживался от подобных намеков бытия и остаток дня проживал несколько более осторожно и чутко. Поизносившаяся ткань собственной жизни просвечивала для него в такие моменты своим лукавым смыслом, навсегда утаенным от логического долженствования. Монахову хватало настораживаться, но не пытаться ухватиться за мелькнувший тайный смысл, чтобы окончательно не повредить ту ветхую ткань, сквозь которую он зиял. И конечно же довольно часто Монахов замирал на полуслове, на полужесте, вдруг застигнув прозрачное это мгновение за пробуксовкой: оно уже было, не припомнить когда, но точно в такой вот точке времени и пространства, на том же полуслове, он уже б ы в а л! он это точно помнил, он узнавал этот текущий миг, как уже бывший... Время делало полный оборот, попадая в ту же точку со случайно налипшим на его обод Монаховым. Означало ли это, что в нем самом оно кончилось, время?.. Или довольствоваться всеобщими (и его собственными) рассуждениями о безвременье?

В понятии «рифмы» времени, сформулированном для себя

Монаховым, заключалось и то, что это было единственным способом, каким умудрялся теперь Монахов отметить жизнь как идущую, как живущую, как существующую помимо. Он не имел больше воспоминаний. Конечно, и он мог сказать: «А вот я помню...» — и повторить что-то затверженное, как чужое; будто и никогда с ним не бывшее (как он, бедненький, упал с крыльца и зашиб лобик... для убедительности указывал на шрамик во лбу и почти с изумлением его под пальцами обнаруживал: шрамик-то б ы л ... Он был НА Монахове, но его не было у самого Монахова: так могла пристать к его пиджаку нитка), и скучно становилось ему от этой кражи чужих воспоминаний, потому что он их именно крал, и даже не у себя, когда-то что-то пережившего, а уже у следующего себя, это что-то пережитое когда-то помнившего. Нет, ему не исполнилось еще тридцать три... Нет, не тридцать четыре. Позвольте, какой сейчас год? Еще не будущий?.. Тогда тысяча девятьсот семьдесят такой-то... минус тысяча девятьсот тридцать такой-то — как раз тридцать три. Но еще не исполнилось...

И опять, он абсолютно здоров. Никакого склероза. В уме перемножает трехзначные числа. Может, если надо, восстановить любой отрезок прожитой жизни с юридической точностью. Помнит в с е, без обрывов. Если надо — вспомнит. Но ему НЕ надо. И он ничего не помнит. У него нет воспоминаний. Одни напоминания.

Рифмы. Топ-топ. Как-то даже смешно. Если что-то, то еще раз то же самое. Он не хочет сегодня второй раз встретить однокашника, которого как раз не видел к сегодняшнему дню двадцать лет. Так он его сегодня встретит. Если надумает сейчас махнуть в баню — так он там, и если решит ни с того ни с сего съездить в Ленинград, они поедут на одном поезде.

Поэтому-то он и не хотел идти на кладбище навещать могилу, чтобы не вызвать у судьбы повод тотчас попасть на него снова, уже более по делу. Не то чтобы точно так думает Монахов, это было бы уже состояние, близкое маниакальному, а мы повторяем, здоров, но вот нежелание и остратка — есть. И если бы его не заташили, он бы сам не пошел... Нагрязнула Светочка (та, похожая...), и он непременно должен был ей эту могилу п о к а з а т ь; что он ее сам не видел, она не поверила и обиделась, что он-то видел, а для нее не хочет и лишнего усилия сделать... Так его поход со Светочкой все равно стал «вторым» посещением кладбища, хотя бы и в чужом сознании. Искусственное непосещение не было зачтено ему судьбою.

Они брели между могилами, но не находили поэта. «Ты же

был на пей! как же ты не запомнил...» Монахов уже не возражал. «Давай спросим...» Спросить Монахову было неловко. Это как бы следовало з н а т ь. Сейчас, разыскивая, он поневоле пристально вглядывался в каждую. Причем даже не без любопытства: давненько, слава богу, на кладбище не бывал, давненько не хоронил... Кладбище было отчасти привилегированное, некоторые могилы привлекали внимание. Но и не приблизившись еще на достаточное расстояние, чтобы различить имя умершего, Монахов уже знал, что очередная заметная могила не может принадлежать поэту. Так и оказывалось. И они шли дальше. Монахов не размышлял над тем, что могила, которую они искали, должна отличаться, и почему, собственно... он был уверен, что она д р у г а я, чем все, уверен заранее, не задумываясь и не утруждая воображение. Остальные могилы были богаче и беднее, но они были одинаковы по отношению к безуспешно разыскиваемой. Чем должна была отличаться та могила — вопрос этот, будь он неладен, поставил бы Монахова в недоумение, тем более что он не отличался преувеличенным отношением к поэту. Но, безусловно, не анализируя и не вдаваясь, само ожидание д р у г о й могилы означало отличие поэта от остальных смертных. Вот уж смертных!.. Трогало и забавляло Монахова усилие продлить жизнь в памятнике. Вот монумент, к которому в надежде убыстрил он было шаги... ближе стала видна безнадежность пропорции — опять не то. Зато мрамор и барельеф! клумба! скамеечка и тумбочка под замком... решетка... Много. Монахов разглядел барельеф — лица этой женщины тоже было много, оно ничего не выражало, кроме солидности и богатства, которые выражал и сам камень... На решетке еще и висел замок, тяжелый и прочный. Пышная могила, лицо пышной женщины — пышность и была выражена. Больше ничего не мог узнать Монахов, однако знал уже много. Эта мысль о сходстве покойника и памятника удивила Монахова. Правильно... замок... что же еще, какие еще мысли, кроме грабежа, разбудит эта могила?.. Монахов миновал ее, будто давно был знаком с усопшей, так отчетливо был возведен над ее гробом ее характер. Как живая... мысленно повторил он про себя вздох удовлетворенных родственников, прощально вглядываясь в барельеф: белый мрамор, много щеки, красная стела, статная, как возможный торс усопшей... Нет, до чего похожа! восхитился Монахов. И далее эта мысль о сходстве не покидала его. Вот еще одна могила «непоэта», хотя на ней даже вычеканена строка, напыщенная, из лысых слов, без подписи, видимо, принадлежавшая... И то, как к этой своей строке,

возможно, относился автор, и то, как относились к автору близкие, именно ее выбравшие, чтобы сделать ему приятно... Опять выходил портрет. Монахов увлекся: образы покойных воскресали перед ним из памятников, несколько чересчур типические, все на характерных ролях,— они разыгрались на провинциальных подмостках его воображения как живые. Он их знакомил между собою...

— Ты что смешься? — спросила Светочка.

— Представляешь,— сказал он.— Многие из них совсем бы не были рады своим надгробиям... Никогда бы не подумал, что любовь так разоблачительна.

— Я, конечно, не совсем понимаю тебя,— сказала Светочка.— Но что же тут смешного?

И впрямь. Монахов смутился. Попытался пояснить. Мол, ближние из любви, пытаюсь сделать покойному приятное, выставляю ненароком нечто самое характерное, может, тайное, невольно создавая образ: то ли человек слишком любил почет, то ли вкладывал душу в достаток, то ли питал тайную слабость к собственным литературным опытам... А они это его сокровенное — напоказ... Монахов еще побормотал, все слабее и неувереннее. «Мы уже тут были», — сказала Светочка. Они описали круг. «Ты права», — сказал он, вдруг разглядев Светочку и потрясшись ее бессмертием. Каждая клеточка ее была молода. Она уже сорвала с могилы цветок, устроив его за ухом. По особой иронии она была в белых тапочках... Он погладил ее по щеке, как гладят яблоко или персик, не веря пальцам своим, что они такие. Она совсем не так его поняла и смутилась радостно. Бессмертная.

Она была так же кстати на кладбище, как кстати на нем цветы, кусты, птички.

Монахов никак не мог себя таким же образом уподобить, чувствуя себя на полпути от Светочки до могилы. С подземными жителями у него, пожалуй, нашлось бы побольше общих тем для разговора... И тут, уже сочтя сокровенную могилу заговоренной и сожалея, что не спросил-таки дороги сразу, и устав, пытаюсь выбраться из очередного аппендикса, ввинтившись по свернувшейся улиткой тропке за рядок молоденьких, недорисованных берез, он опять зашел в тупик и долго и тупо смотрел на серый камень, вздорный профиль, факсимиле... «Так вот же она!» — радостно воскликнула за плечом Светочка.

— Вот оно, одиночество!.. — воскликнул мысленно Монахов.— Когда человек не хочет больше видеть людей, так ведь он ничего против них не имеет — он себя не хочет видеть с

ними рядом... Почему-то на этой могиле, наконец найдя, ему стало не того, в земле, — себя жалко. И так сильно! что ощутил он эту жалость почти как утраченное счастье, и окружающий мир вдруг подступил вплотную, подставляя глазу все живое, из чего состоял: то листок выворачивал ему свою бархатную насекомую изнанку, то травка перед ним выгнулась, то ветерок от шевельнувшейся в дреме ветки прикасался к его щеке, то тень от прошмыгнувшего поверху облака прогулялась вокруг, заглянув во все освещенные уголки... и ни за что не хотелось бы уйти из этого мира! Ах, не готов. На секунду показалось Монахову, что мир опрокинут, хотя он и не задирает голову; что будто он лежит на спине, и вечно все это над ним — отведенная ему лужица мира... Ну, если так! — восхитился Монахов. Тогда бы еще можно... Чтобы «падо мной склонялся и шумел»... тогда можно. И не надо больше. Когда и столько — все. После смерти человеку достается мир дерева — не так мало. Он наконец укоренен. Мир приходит к нему, чтобы он на него посмотрел. Дерево не может увидеть столько, сколько человек, но сколько человек видел дерево, столько и оно его видело... Странное это соображение не позволяло Монахову переступить, ему казалось, что он никогда не сойдет с места. Очень бы хотелось... он слишком хорошо знал, что сойдет наконец, — опытная точка заходила с тыла. «Прочитай мне какое-нибудь его стихотворение», — шепотом попросила Светочка. О боже! взвыл про себя Монахов, совершенно про псс забывший. И уже переступил.

«После», — сказал он совершенно без гнева. Могила эта поражала бедностью. Какая вроде бы и пристала поэту... Но нет, не такая! Она была вполне на уровне здешних зажиточных могил, еще и с избыточным вкусом и интеллигентностью. Но какая все-таки бедность, в чем? У Монахова не было отчетливого образа для того ожидания, которое исподволь разгоралось в нем, пока он искал. Теперь, увиденный, этот образ был утерян навсегда: могила была такой, какой была. Воображение было разорено. Бедностью воображения она и поражала: ограды нет, загончик из жердей — вкус... камень светло-серый, как пыль, неполированный — достоинство... травка, газончик вместо клумбы — скромность... рядок тех самых березок — простота величия... продуманная сень — намек на лиру... Что можно еще придумать и чего избежать? Все. Если не посягать, то все. А если посягнуть, то и бедность покажется ничтою. Потому что памятник гению не может быть и памятником гения... Это хорошо. И этот — подобен. Правда, дистанция между ним и памятником как бы обратная

и очевидная... И все-таки. Не этот ли профиль на сером камне заставлял его, еще живого, застыть на последних фотографиях столь благородно и чеканно? не этот ли жердяной заборчик, демонстрирующий строгость вкуса, порожден его гением, слабым в ближних? речка текла внизу так же, как и до него, и независимо от него, разве еще оскудев и измельчав.

Каждый заслужил свое надгробие.

Справедливость подобного заключения венчала толкотню секунд в смуте и суете прижизненного времени. Справедливость и есть единственная мера времени с единицей в одну человеческую жизнь.

Пора было идти. Оставалось подумать о любви к себе после смерти. Головокружительно и невозможно. Мама пьет чай, открывая еще прижизненную банку варенья, жена перешивает юбку, сын заперся в ванной... Хлопоты сборов в дорогу — субботник по уборке могилы, — ищут и находят... забывают в последний момент сверток с грабельками и совком, решают не возвращаться: не будет пути...

К могиле приближались. Два голоса, по проторенному Монаховым пути, не сбиваясь... Один — недовольный интеллигентный баритон, другой — попроще, семенящий алкогольный говорок. Недовольный накачивал в себе интонацию строгости и недовольства, словно сам не очень-то доверяя своей грозности, но не допуская такого недоверия с чьей-либо стороны. Простоватый — недобросовестно имитировал сообразительность и будущую исполнительность, по-видимому состоя в наиболее простых отношениях с будущим, то есть все наперед зная. «А я говорю, другая культура тут не взойдет», — сказал, оправдываясь, он, и слово «культура», не принадлежавшее его гортани, отделилось и застряло в ухе Монахова. «Культура...» — со странным гортанным клекотом повторил баритон. И они вошли, отрезав Монахову и Светочке путь к отступлению. Седоволосый и тот, другой, в ватнике... Будто он не ожидал, что кто-нибудь есть на могиле... будто здесь никогда никого нет... Монахов смутился, успев, однако, быстроватым взглядом ухватить надменность профиля седоволосого, и теперь сличал его с профилем на камне. Сын... думал он. Определенно сын... «Сын», как бы недовольный присутствием посторонних, смотрел в сторону, прервав себя на полуслове: пошатал жердочку ограды, отер ладонь... Монахов подтолкнул Светочку к выходу, пришедшие посторонились, пропуская. В проеме калитки Монахов, не ожидая этого от себя, сказал «до свидания», и «сын» кивнул кратко, как экзаменатор, и тут же стремительно впорхнул за ограду. «А вы сажали?» —

тут же загудел за спиной Монахова его недовольный голос. «Как не сажать...» — отвечал могильщик.

Монахов был почему-то тронут. Сын непременно любил отца. И эта хозяйственная деловитость была почему-то как раз в пору гению. Монахов быстро шел по тропинкам, будто давно зная дорогу, будто раскланиваясь с уже знакомыми могилами короткими кивками на ходу. Вот собственница... а вот автор строки... Нет, кладбище это не то место, на котором покончены счеты с жизнью, думал Монахов. Вон как покойнички вцепились в нее и не выпускают... Им изменило только движение; остальное — все еще при них: положение, вкусы, тщеславие... и вот даже... любовь ближних и признательность соотечественников...

Я кончился, а ты жива,
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу... —

читал он Светочке по дороге к дому то, что помнил.

Не каждую сосну отдельно,
А... та-та-та... все дерева...

«Забыл», — сказал он. Было особенно безветренно и тихо.

Так оказалось, что могила эта произвела-таки на него впечатление. Мысли его приняли необычный ход, он что-то такое стал отмечать вокруг, как бывало: листик там, какое-нибудь мелкое животное, поддавал ногой камешек... И слушательница рядом — была. Во всяком случае именно ей он мог поведать мысль о том, что сильные впечатления вовсе не происходят, как на сцене: «как вкопанный», «как громом пораженный» и в таком роде... Они проявляются не сразу — сразу как раз характерна реакция торможения перед непривычностью, значительностью или силой предстоящего нам переживания. Сильным впечатление оказывается потом: проступает, проявляется (в фото-смысле)... Таковы были его рассуждения, компенсировавшие разом как недостаток чувств, так и избыток переживаний. Так и в любви... сказал Монахов. Не сразу. Сначала кажется — так себе, а потом оказывается черт-те что. Светочка напряглась.

Монахов быстро выгреб «награду свою». За чуткость и впечатлительность. Возмездие стояло на пороге и выглядело как встреченный им поутру однокашник — что тут делать?..

— Ты знаешь, кого я сегодня еще встретил!.. — радост-

но возвестил он и, не дожидаясь проявления страстной заинтересованности со стороны Монахова: — Да-да, Ядрошника!..

Ядрошника Монахов и не силился вспомнить. Школьный приятель был такой старый... Он потряс потрепанным мешочком «Березка», в котором булькнула за три шестьдесят две; Монахов представил его Светочке, и они прошли в дом: Светочка, за ней приятель, за ними гостеприимный Монахов, с тоской глядевший им в спины.

Дальше все пошло как по писаному. Светочка отнимала у Монахова сковородку: «Где у тебя соль? а лука у тебя нет?» Приятель, теребя свою седоватую эспаньолку, базили, поглядывая на Светочку и определяя степень ее с Монаховым отношений, пока еще не отводя его в сторонку, чтобы спросить, давно ли «он с ней» и «как она»; у Монахова наконец что-то всплыло про него в памяти, а именно, что приятель еще в школе слыл первым «по этой части», — сейчас он, с брюхом и сединою, уже как бы не должен был нравиться, потому что не нравился Монахову; Светочка была оживленна. Наконец она позвала «мальчиков» к столу. Приятель произнес длинный тост, вставляя английские словечки (он, оказывается, был и по этой части); Монахов от смущения заторопился выпить, поперхнулся; Светочка же ничего, не находила приятеля ужасным... Н-да, уединился... с тоской подумал Монахов, выпил еще, и — отпустило. Он очень удивился, обнаружив себя через некоторое время рассказывающим один запомнившийся ему школьный эпизод: как украли в кабинете «английского» магнитофон — тогда еще редкость, — а воров так и не нашли... «Ты разве не знаешь, кто украл?» — удивился приятель. «А ты знаешь?» — «Конечно», — сказал приятель, но секрета не раскрыл. «Ит ваз э марвелос стори, — добавил он таинственно. — Ты Асю помнишь? Ну да, как ты можешь не помнить...» — «При чем тут Ася!» — Монахов зачем-то рассердился. «Он был в нее влюблен», — пояснил приятель Светочке. «Она была моя жена», — хотел сказать Монахов, но не мог выговорить «была». «Влюблен?..» — приподняв бровки, протянула Светочка. «Ты знаешь, что она умерла?» — «Нет», — посомневавшись, ответил Монахов; он пытался как раз припомнить нечто чрезвычайно неприятное, связанное каким-то образом именно с этим приятелем... Будто как-то раз ужасно приревновал Асю к нему... Неужто за дело? Так, повидимому, постарался тогда тут же это забыть, что и забыл. «Какой ужас!» — воскликнула Светочка. «Рак», — подтвердил приятель. «Сначала т а м все вырезали, потом удалили

одну грудь...» Монахов давно не пил, тем более за три шестьдесят две... «Мерзкая все-таки эта водка», — пробормотал он и вышел, задев стул.

Никогда в жизни он не блевал. С чего бы это?.. он вышел на крылечко подышать. Дул поверху ветер, а внизу было тихо. Вершины сосен качались, ветер шуршал хвоей. «Жалуюсь и плача...» — вспомнил Монахов и больно ударил кулаком по перилам. «Тьфу, черт!» — сказал он, тряся кистью, и вернулся в дом.

Ни Светочка, ни приятель, однако, никуда не исчезли; Монахов глупо удивился их присутствию и не обрадовался. Приятель сидел уже рядом со Светочкой, гадал ей по руке. «Да! — восхитился Монахов. — Вспомнил! Тогда, двадцать лет назад, он точно так гадал по руке ей...» Монахов и про себя не назвал ее по имени... (Тень т о г о неприятного воспоминания косо спланировала с шорохом ночной бабочки, вызвав озноб в спине.) «Лонг инаф, стронг инаф, пут ит ин», — рассказывал тем временем смеясь приятель. И это Монахов вспомнил, и этот анекдот он т о г д а рассказывал про Лонгинова, Строганова и Путятина (фамилия приятеля была Путилин, и он относил анекдот на свой счет). Светочка английского не знала, она изучала немецкий. Какой же язык изучала о н а?.. — Монахов не мог вспомнить. — Конечно, она и того не знала, какой изучала, но все-таки какой?.. Поняла ли она тогда эту шуточку?! Монахов зло посмотрел на «Путит-ина» и пошел ставить чайник.

«Дай я сделаю, — Светочка отняла у него, — ты не умеешь». — «Что тут уметь? — возмутился Монахов. — Кофе-то растворимый!» «Евреи, кладите больше заварки», — рассказал анекдот «Путит-ин». Светочка долго крутила ложкой в сухой чашке. Монахову это казалось ужасной пошлостью. «Кто тебя этому научил?» — спросил он неприязненно. «Будет с пеночкой», — пропела Светочка. «Тебе нехорошо? — заботливо спросила она, подавая ему чашку. — Смотри, какая пеночка... Ты так побледнел». — «Ты меня спрашиваешь или я побледнел?» — «Почему ты со мной так разговариваешь?» — насторожилась Светочка. «Опоздаешь на электричку», — сказал Монахов.

Светочка наконец обиделась и стала стремительно собираться, дрожа губами. Приятель, молча и понимающе наблюдавший, тоже встал, не забыв свой мешочек «Березка». «Мне тоже пора», — сказал он.

Светочка выпорхнула не прощаясь. «Так мы тебя ждем завтра», — сказал приятель. «Как это — мы?..» — опешил

Монахов. Уже мы!.. — поразился он. «Ты что, забыл, с Ядрошниковым, мы же договаривались...» — «А, да...» — сказал Монахов. Приятель уже спешил. Монахов услышал его грузный бег. Догонит...

Он прикрыл глаза и поплыл, комната два раза повернулась вокруг оси... «А, что!» — вскочил он как ошпаренный. Кто-то стучал в окно. Он впустил заплаканную Светочку. «Ну, ну, извини...» — Монахов не выдержал женских слез.

Светочка сбивала постель, как пеночку. Легли, и Монахов погладил ее по прохладной от слез щеке... Что на него нашло? — удивился он. — Обидел девочку... Путилин тоже... Монстр, конечно, но ведь вполне добродушный. Светочка поцеловала его руку. «Ты что?» — Монахов ласково руку отнял, опустил ей на грудь. Грудь была крошечная, детская. Он отдернул руку, будто его ударило током. Ужас иглою пронзил Монахова, словно рука его провалилась в дыру. «Ты что? — нежно спросила Светочка и опустила свою руку вниз. — Устал? Спи, милый».

Зато утром он был рад, что Светочка оказалась рядом.

Он проводил ее на станцию и позвонил домой. «Неужели? Когда? Она была без сознания?.. — бессмысленно повторял он. — Еду. Конечно, прямо сейчас и еду».

Как некровному родственнику пришлось Монахову принять это на свои плечи. На это он как раз не досадовал и принял (про эти дела нельзя сказать — легко и охотно, можно сказать — готовно). Досадовал он скорее на то, что не оказался готов к этой смерти. Не в том смысле, что был потрясен; нет, бабушку было, конечно, жаль, но бабушка была обречена, это было уже неизбежно, вопрос лишь когда (вчера); бабушка была не его. Досадовал же Монахов на себя, что эти дни, когда все наконец было свободно и спокойно, провел он впустую, ничего не поработал, никак не преобразился... и вчерашний день в особенности заставлял его постанывать от стыда, тем более перед лицом с... да, именно ее... Будто он был виноват в том, что на его голову — Светочка, Путилин... Он их искал? звал? Они его д о с т а л и... В конце концов точки над «и» расставлены, и он свободный человек, — так что и так он виноват не был. Не виноват же он, что бабушка умерла!.. Все это так, но, выстроив все эти неоспоримые доводы, оказывался он виноват снова и снова, и в том, и в другом, и даже в бабушке... Не был готов. «Достаток распутного равняется короткому одеялу...» — он любил криво ухмыляться этому из-

речению, считая его подходящим именно к такому случаю. Случаи такие (без бабушки...) бывали. Не сразу удавалось оправдать чувство вины похмельем. Как-то оно всегда казалось более убедительным, чем просто плохое самочувствие.

Кто обмывает? Кто бегаёт с гробом?.. Кто стрижет на кухне составные части салата?.. Кто топит котят? Вот котят-то как раз и топят самый что ни на есть нежный человек. Другой за это не возьмётся... Покойная их топила.

Монахов ее хоронил.

Итак, слава второстепенному персонажу! Это именно он хоть что-то делает за героев — чувствующих и живущих. Это он приносит им телеграмму, довозит до дому и оказывает первую помощь. Обслуженные со всех сторон, подключенные проводами разного рода к свету, воде и информации, они получают время и силу на те мысли и чувства, которые годятся в прозу. Прозаик мог бы и впрямь полагать себя взобравшимся на пирамиду жизни, властвуя уже и над самими героями, если бы в своей жизни бывал бы так же хорошо и невидимо обслужен, как его герои. Но ему, в жизни, все время приходится заниматься именно тем, от чего он освобождает героев, — в жизни он перегружен функцией второстепенного персонажа; для себя он далеко не так свободен, чтобы успеть ощутить жизнь, доступную его героям. Все закругляется, замыкаясь в кольцо: властвуя над героями, он для них напишет книгу, которую они возьмут в руки, или захлопнут, или забудут в такси, — напишет на правах того же, кто их довез или принес им телеграмму. И прозаик устает, и его симпатии все более располагаются к случайно упомянутым вскользь и тут же пропавшим со страницы тетушкам и возницам, пьяным водопроводчикам и даже милиционерам, его начинает раздражать настойчивая и эгоистическая жизнь героев: с чего это они взяли, что именно они живут, а я что, и жить не должен?! Денег у меня нет, семьи распались, и мне, не хуже чем Иисусу, «некуда прислонить голову». Хуже, чем Иисусу, потому что я еще к тому же и не Иисус, а — смертен! На кого же потратил я жизнь свою? Второстепенные птицы имеют гнезда, второстепенные лисы имеют норы... Герой мой входит и выходит из с о е й квартиры, теряет, подлец, от нее ключи! Так ведь придет второстепенный, пусть пьяный и неумелый, слесарь и впустит его, и вот он снова у себя дома... А ведь и я мог бы проводить свое время с кем-нибудь, кто мне дороже моего героя, так мне — негде! На том свете меня кто-нибудь

и а п и ш е т... помучит, конечно, но зато сам не заметит и не заметит и не поймет, какими несызъясными свободами принадлежности себе вознаградит за это... Но то беда, что даже Гамлет напишет Шекспира похуже, чем Шекспир Гамлета. Кто-то уже желчно подметил про упадок русской литературы, что в ней прежние персонажи стали самовыражаться, что последующую литературу стали создавать Башмачкины и Пироговы, Лебядкины и Передоновы. Возможно, он прав и в смысле критическом, но для меня он прав в вышеупомянутом смысле, его устами глаголела... Раньше я оберегал героев от смерти, теперь мне понятна великая традиция их изничтожения: нельзя оставлять их после себя, развращенных тою свободой, которая возможна лишь на страницах. И то сказать, что же это за конец романа?.. Герой идет по утреннему городу, резвый от рассвета, блуждающая улыбка идиота, символизирующая начало новой жизни, отражается в асфальтовой луже (потому что непременно проезжает на этой странице поливальная машина, ведомая второстепенным персонажем...), — куда он выйдет, перешагнув мелкое и не всегда даже встречающееся препятствие из дат и мест написания? Правильные герои умирают на последней странице, ибо, изнеженные в книжном пространстве, они просто не выдержат выхода за ограду обложки: там им некому будет подать и поднести, там их решительное социальное падение из главных во второстепенные на уровень живой жизни совершенно не устроит. Так что смертельный исход на страницах для них даже, в каком-то смысле, гуманен. А если они таки перешагнут и расползутся по жизни, как по страницам? Боже упаси! не с этим ли мы отчасти уже имеем дело? Разбредутся и еще в свою очередь напишут, а те, уже их герои, в свою очередь напишут?.. Не-ет, убивать!.. только убивать их в конце. Пусть читатель пожалеет, но зато подражать не станет. И дай бог ему счастья, в его живой, второстепенной жизни. Но если вы не сторонник кровавого романтизма, а, так сказать, уже поддавшись демократическим тенденциям и симпатиям к второстепенному персонажу, отдаете предпочтение натуральной школе, то и тогда есть способ выпустить вашего героя, выращенного вами из второстепенных, за пределы художественности и обложки (что, в определенном смысле, и есть единство): тогда — снова свергнуть его на уровень второстепенного, унижить его, после недолгой центральности, так, довести до такого ничтожества и праха, чтобы убивать, право, и рука не поднялась (так, кстати, и справлялись с задачей лучшие представители натуральной школы, как-то Гоголь). Такие хоть,

выйдя за пределы, не выйдут из ничтожества, не возьмутся и за перо. Потому что взяться за перо — это уже быть героем (почему и берутся за перо, не вникнув в омонимическую каверзу слова «герой», герои литературные). Ибо та свобода, которой награждает своих героев автор, рождается из той, которую он героически отвоюет у собственной жизни, и то — лишь в акте творения, лишь в акте творения!.. Но ведь — и нет другой свободы. Герой и свобода — нет нерасторжимей понятий! А если достиг, а если испытал, а если убедился, что она таки есть (свобода!), — то пусть и гибнет, на то и герой. Ибо что это за герой, который не погиб? что это за участь, самому себе не веря, доказывать в очереди за пивом, что ведь — было! было! вон про меня даже написано... доставать пьяные разлохмленные документы (все мое ношу с собой...), и среди них сквозящую на сгибах газетную вырезку... Ибо что это за герой, который вы-жил (язык не подведет, он подыщет глагол...)? А ведь и не выжил — а опять же погиб, только уже не как герой. Мало совершить подвиг, надо красиво погибнуть, чтобы стать героем. Тот и герой, кто красиво гибнет. То есть решительно и окончательно даря свой триумф людям, не получив «награду свою». Ибо что делать, когда и подвиг уже совершен и почести возданы? Свобода лепит героя, но свобода — это не то, чем можно воспользоваться. Ее дело ощутить. Ой, не мало! Но что делать потом с этим уплощившимся остатком жизни? Куда его девать? На новый подвиг? Но подвиги — не заготовленная впрок форма, для которой требуется лишь смелость и решительность, чтобы войти. Смелых и решительных куда больше, чем свободных. А свободу после свободы не обрешь... Поэты — певцы свободы не потому, что воспевают ее, а потому, что — гибнут. Оттого с ними и посятся, как с героями, что они удерживают свободу дольше всех и сохраняют за собой ценой гибели. Поэты — это герои самой литературы. Они уже не люди, но и не персонажи. Они — граница жизни и слова. Свободным, им ничто не грозит, кроме успеха, слова, равного слову «выжить». Но успех это не слава.

Куда проще на второстепенных ролях... Кто подсунет пейзажик за спину героев, кто даст передохнуть от настырности их бытия читателю? Кто тайком отдохнет в отступлении сам?.. Автор.

Машина, простояв три дня, не заводилась. Именно сегодня, когда она была так нужна. Монахов попробовал все, что сам знал, последовал всем советам, которые ему дали редкие

дачные прохожие, в том числе — полизал электролит. «Ну как, кислый?» — спросил советчик. «Не знаю», — с тоскою отвечал Монахов: лизнув, он ощутил во рту лишь спекшийся вкус кофе и сигарет — вчерашнего дня. Сердце противно билось. Он был нездорово возбужден. Он спешил соответствовать. Была тут не только готовность помочь и поддержать жену и ее близких в горе, но и какая-то даже охотность — отделаться на время от самого себя под столь благовидным предлогом. Второстепенность и ответственность его роли как-то сразу подошли ему, ему стало удобно употреблять себя — бескорыстно, по чужому делу. Не он умер и не у него умерли, и некому, кроме него... Смерть делала все несомненным, как она сама. Нужен был Монахов, и вот он; нужна машина, и она все-таки завелась; нужен был, по-видимому, гроб... и Монахов ехал.

По дороге он понял, что не может вспомнить покойной, хотя виделись они достаточно часто и не так давно. Помнил только, что ей стало плохо, когда она впервые увидела мужа внучки, то есть Монахова. Она лежала навзничь поперек кровати, с белым фарфоровым лицом, приоткрыв рот, сверкая полоской золотых зубов. Она лежала нелюбезная, злая, и Монахов не мог понять, чем он ее так напугал, кого это она ожидала на его месте увидеть, какого такого принца? «Графиня...» — вспомнил Монахов «Пиковую даму» и усмехнулся: занятно то, что бабка и впрямь была графиней... Но за первым впечатлением шел провал из подчеркнуто вежливых приветствий и чаепитий («Вам покрепче?»), — Монахов обнаружил, что забыл покойную еще при жизни. Он про нее не помнил, он про нее з н а л. Знал, что у нее расстреляли мужа (деда жены, графа), и второго мужа (кажется, князя) тоже расстреляли с интервалом в девять лет; что всю жизнь проработала она медсестрой (почти шестьдесят лет), слыла, ее знали титулованнейшие наши медики, которым она до самой смерти, уже не работая, могла позвонить и попросить за кого-нибудь (и они исполняли). Скромнейшее существо... Вспомнил вдруг ее шляпку, рисовой соломы, из Парижа (почему из всего вышла именно эта шляпка?..) — трудно даже вообразить, что это можно надеть, так она ее всякий раз надевала перед зеркалом, и когда уходила от него, то это была уже и впрямь шляпка, надетая единственным образом, как в те времена. Бабка проступила наконец в сознании Монахова, а именно — смех ее он услышал, смеялась она очень молодо и заразительно. Монахов еще подумал, что память на голос у нас гораздо точнее, чем на лицо. Перебрав в памяти знакомых

мертвых, он вспомнил голос каждого и каждый раз поеживался, до чего отчетливо этот голос звучал. К голосу отчетливей всего припоминалась улыбка, от нее — ухо, щека, вот уже и лицо стало видно отчетливо, сейчас можно и в глаза заглянуть... в этот момент отец отвернулся, отвел взгляд, лицо провалилось, и осталась рука... рука была отчетлива и отдельна, напоминала ту, которая лежала сейчас на баранке, его собственную... раньше Монахов не отмечал этого сходства. Бабка смеялась и рассказывала почему-то именно с весельем, что они едали у себя в поместье («в той жизни», — смеясь, говорила она), ели они, получалось, все время и много (вкусно, само собой), — трудно было в это поверить, глядя на худенькую маленькую девочку-бабку, нет, толстой она и тогда не была, такая же, как сейчас... Дальше почему-то, с тем же колокольчиком смеха, шел рассказ об аресте (вхожу в камеру: мне: «Ставь самовар!»), а я по сторонам зыркаю, где он? а надо было ответить: «Варенье под столом», а так они сразу поняли, что я в первый раз), потом о Соловках (она ездила навещать графа, а тот был страшный кошатник и развел семнадцать кошек, так когда переезжал с «командировки» на «командировку», то кошек — в мешок и с мешком на новое место), было это сорок пять, нет, сорок шесть лет назад, — и она опять заразительно смеялась...

Бабка, и так маленькая, совсем исчезла в гробу, который привез Монахов. Пепельный лепесток... Он, однако, забыл про ленту и тапочки. Покрывало было у нее припасено собственное. Была еще железенькая, дореволюционная еще, коробочка из-под зубного порошка с землею из родного имения (Псковской губернии), единственное, что осталось у старушки, кроме шляпки. Монахов, потрясенный, машинально ее открыл и закрыл, потрясенный еще больше: земля была с т а р а я, тоже как пепел. Эту коробочку она хранила, чтобы быть похороненной в с в о е й земле. Монахов быстро съездил за лентой и тапочками и вернулся.

Ночь она должна была простоять в церкви... Монахов поехал в ту единственную, которую вспомнил, потому что отпевал уже в ней однажды одного своего знакомого. Но тогда организация лежала не на нем, и теперь он не знал, как это делается, с кем надлежит переговорить, как это оплачивается и т. п. А время уже склонялось к вечеру, надо было успеть обернуться с похоронным автобусом. К тому же — требовалась справка о «заморозке», иначе якобы в церковь не положат. У Монахова голова шла кругом.

Церковь стояла в уцелевшем московском переулке, пус-

том и тихом. Старые же, уцелели вокруг дерева. И будто сохранившиеся со времен Саврасова грачи делали круги в смеркающем небе. Службы никакой не было, он зря дергал дверь. Он обошел вокруг — никого. Приник к щелке ворот. Старуха в черном подбирала во дворике щепочку, несла к самовару... Радостный, Монахов заколотил в ворота. Старуха, не торопясь и не мешкая, бесстрашно отворила ему. Монахов сбивчиво и торопливо, вдаваясь в подробности, боясь отказа, объяснил, в чем дело, и старуха слушала или, скорее, терпеливо ждала, когда он выговорится. Монахов и здесь ждал того же, с чем сталкивался сегодня на протяжении всего дня, с чем сталкивается наш человек, когда ему что-нибудь безотлагательно необходимо (он полтора часа ждал продавщицу в похоронном магазине: «ушла на базу»), — с уверенной в себе обходительностью отказа... Старуха, выслушав, сказала: да, привозите, да, она тут все время будет, да, и отопрет ему... И никакой бумаги не потребовалось, никакой справки о «заморозке», на слово... Монахов был изумлен. «Как звали?» — спросила старуха. «Что?» — не понял Монахов. «Покойницу как звали?» — «А!» — обрадованно понял Монахов и отбарбанил, как в отделе кадров, как на плацу, фамилию-имя-отчество. «Раба божия Мария, — повторила старуха, — хорошо, я запомню». Изумление Монахова переросло в восторг. Вот так просто... сказал — и все? и моего слова достаточно, и ее? неужели когда-то так и было? то-то бабка смеялась всю жизнь... Монахов вышел из старухино двора в другое время, в другое пространство. Казалось, церковь таинственной силой удерживала вокруг себя и эти деревья, и грачей, и переулок... И не так, как ему показалось, когда подходил сюда, что церковь цела еще оттого, что уцелел еще уголок, в котором она расположена, не так понимал теперь Монахов: теперь ему было ясно, что все это вокруг уцелело благодаря церкви, находясь в ее поле. Именно поле (в том, научно-популярном, теперешнем смысле) ощутил вокруг церкви Монахов... Но вот, восторженный, легкий, перешагнул он какую-то невидимую черту — раздался автомобильный гудок, скрежет тормозов, шофер погрозил ему кулаком, возвышалась новенькая номенклатурная башня, милиционер из будки посольства новенькой страны глянул на него без осуждения... и Монахов вспомнил, что он и сам на машине, а забыл, а пошел пешком — вернулся и покорно в нее сел.

Он все сделал, что надо. Он сделал совершенно все. Бабка проводила в церкви свою последнюю земную ночь. К сожалению, сказал он жене, мне обязательно там надо

быть... я быстро, туда и обратно. И он поехал к Ядрошникову.

И он неотчетливо помнил, как оказался перед окнами Светочкиного общежития.

Свечка дрожала в его руке. Он поддерживал ее и другой рукою, а она все равно дрожала. Горячий воск капал на руку, Монахов чувствовал это горячее на руке с долей радости: признак жизни. Всю дорогу он старательно жевал жвачку, лишь перед самой церковью перестал, все-таки неудобно жевать в церкви... и ему казалось, что от него разит на метр вокруг; он старался встать особняком, ничего и никого не коснуться. Воспоминания вчерашнего вечера слиплись, он старался их по неосторожности не разлепить. Ощущение греха, стыда, нечистой совести было таким разлитым и сильным, что не нуждалось в уточнении; страшно было бы, если бы что-то конкретное всплыло на поверхность памяти. Достаточно было той внутренней дрожи, что пронизывала зыбкое его тело. Ему казалось, что свеча в руке как-то особенно громко трещит, не как у других, словно это он сам, скудель греха, коптит и чадит через свечу, и вкус во рту был чудовищный, и еще ему казалось, что от него пахнет псиной. Он даже сообразил, как также могло быть, что псиной... У него вчера случился приступ радикулита, и заботливая Светочка привязала ему к поясице клочок, и впрямь собачьей, шерсти как вернейшее средство... А с утра шел мелкий, как пыль, дождь, все висело в тумане... Вот, отсырело. Найденная причина, однако, мало успокоила Монахова: ему по-прежнему казалось, что и свеча чадит из него, и псиной несет не от шкурки, а из него, и что он стоит тут, исчадие ада, и почему-то еще под ним не разверзается, но в любую минуту разверзнется. Ангельскими надтреснутыми голосами запели старушки: и та, что продавала свечи, и та, что выписывала ему квитанцию (была все-таки и здесь квитанция...), и та, святая, вчерашняя... Что и успокоило чуть Монахова, так это неприятный и понятный поп, с такой скукой и ленью отбарабанивший «Со святыми упокой...», сглатывая не то что слова, но умудряясь одними гласными произнести даже и абзац в одно слово, что на секунду Монахову показалось: не в том же ли состоянии и поп?.. тут-то он и переступил для прочности, словно сходя с того места, которое должно было под ним разверзнуться.

Прощались поспешно, поп нетерпеливо переминался у гроба... Монахов все-таки пересилил себя и тоже приложился

ко лбу покойной, следом за женой. Как бы это могло что-то поправить между ними, изменив вчерашний день... Ощувив под губами этот всегда непривычный, особенный холод, он отошел, переживая странный вкус, заполнивший после поцелуя рот. Этот отчетливый вкус что-то очень напоминал, достаточно редкое, но и недавнее. Что же? — совершенно уникальный вкус. «Аккумулятор!» — вдруг осенило Монахова, и он неоправданно обрадовался догадке. (Опять с утра он безнадежно заводил машину, да так и не завел... опять он лизал электролит.) И тогда другой, предыдущий вкус всплыл во рту... и опять не сразу... пока, почти взвывая и зажмурившись... не понял он, что это был вкус Светочки... там... так что, когда восстановился, перекрыв все эти тонкие оттенки, общий вкус водки в этом перегаре, то показался он Монахову святым и безгрешным... Но вся эта радуга — водка-кофе-табак-Светочка-аккумулятор-покойница — поразила помутневшее и ороговевшее сознание Монахова, будто вкус оставался последним еще доступным ему живым чувством. Не слышу, не вижу, не понимаю, не чувствую... один вкус!

Но снова старушки подхватили святыми голосами... а поп уже уходил, с портфелем. Тут только, и то к счастью, с ужасом вспомнил Монахов про коробочку с землей... ринулся за попом. Объяснился с трудом, задыхаясь, чтобы не дыхнуть ненароком на попа. Тот перекрестил, переложив портфель из руки в руку, эту коробочку и опять пошел. А положить-то, положить куда, в могилу? или рассыпать?.. Туда и положите... — лениво сказал поп. Куда туда? В гроб! — рывкнул он на ходу.

А гроб уже выносили к автобусу. Монахов успел подсухнуть...

И тут он увидел Путилина. «Вот и я», — сказал он, улыбаясь мягкой продрогшей улыбкой. И, выдержав непонимающий, неузнающий взгляд Монахова, добавил: «Я тебе обещал помочь». Монахов этого не помнил. Путилин был зябкий, синий, отсыревший, словно стоял тут давно. «Что же ты внутрь не вошел?..» — отчужденно спросил Монахов. «Не хотел мешать...» — почтительно сказал Путилин. «Слушай!.. — сказал Монахов и сглотнул. — Это правда?» — «Что, что ты...» — испуганно, даже чуть отступив, спросил Путилин. «Это правда, что Ася умерла?»

Кто-то что-то где-то перепутал... Дождь хлестал, туман не рассеивался, и еще, сквозь него, тухлым желтком проступало солнце. Неба не было. Бога не было. Черта не было. Земли не

было. Желтая сопливая глина разъезжалась под ногами. Упираясь, под углом, как бурлаки в лямке, они толкали вперед тяжкую, сваренную из труб, диаметром приближающихся к фановым, тележку с Асиным гробом. Колесики у тележки не крутились и оставляли по глине плоский салазочный след. «Сука!» — процедил Монахов, имея в виду того синего, елостоявшего на ногах у ворот черта, который выдал ему эту вагонетку в обмен на покойницкое удостоверение. Покойницкое удостоверение напоминало формой, цветом и размером бывший в пору Монахова ученический билет. «Зачем удостоверение?» — осведомился прозленный Монахов. «А чтобы вы тележку назад прикатали», — доброжелательно объяснил черт. «Суки!» — повторял Монахов. Гроб катался по трубам и сползал. Монахов видел сбоку запачканные до колен ноги друга и преисполнялся к нему благодарным чувством: «Трогательный мужик Путилин!... Что же у него все-таки с ней было?..» Кладбищу не было конца. В кулаке Монахова была заката бумажка, размером с трамвайный билет, на ней было написано «Участок 72», а они проползали сейчас 34-й. «На половине передохнем», — решил Монахов. Встали. Монахов оглянулся: теперь и назад кладбище простиралось до горизонта. Оно было видно все насквозь, потому что деревца были посажены лишь в первых рядах могил и еще ничего не способны были заслонить. Да и вряд ли тут что-либо могло прижиться — тут и трава не росла. Они перекурили; теперь и здесь это никому не казалось кощунственным. Монахов перевернул билетик: там было написано «Лаврик». «Бригадир, как ты думаешь?» — сказал он Путилину. «Пожалуй», — согласился Путилин. «Вот и кладбище Хованское, — отметил он. — Ховать, значит. (Пут-ит-ин, вспомнил Монахов.) И бригадир — Лаврик...» «И душу, уготованную в рай, перепутав, отправили в ад, да еще и вместе с провожающими... — добавил Монахов. — Кто святой, кто грешник, кто живой, кто мертвый — какая и м разница?» Так пошутив, они тронулись дальше. Ботинки были насквозь. Ноги скользили сначала в ботишке, а потом уже ботинки — по глине... Однокашники вспомнили школу: трение качения и трение скольжения... Путилин казался Монахову очень близким человеком, братом. «Слушай... я давно хотел тебя спросить...» — «Да?» — «Да нет, это я так, пустое...» Путилин, помолчав, согласился: «Пустое».

Они дошли, наконец, до предела. Кончились кресты, кончилась и гряда свежих холмиков. Впереди, фронтом, зияли пустые могилы. И — рылись. Готовые, полуготовые, только

что начатые. Могильщики по двое торчали из могил, кто по шею, кто по пояс, кто по колено — на всех стадиях цикла. Впереди простирался бескрайний пустырь — будущее этого кладбища. В одну сторону он до горизонта был усыпан ржавыми консервными банками с примесью ветоши и бумаг, иногда взлетавших и садившихся, как своего рода птицы. Впрочем, точнее, свалка тянулась не до самого горизонта: по горизонту она была оторочена капустным полем, — но сизосерый налет дня на всем и сокращенная моросью видимость совершенно почти уравнивали капусту с консервными банками; во всяком случае, впечатление, что банки эти посеяны и произрастали в этом аду, как раз и выводилось из предполагаемого наличия капусты на самом горизонте. Тележки здесь, в конце тропы, столпились в очередь. Перед ними уже трое ждали могилы. «Это надолго», — согласился Путилин. Дождавшиеся, первые, голосили в последний раз над покойником, то ли от горя, то ли от облегчения. Могильщики трудились как каторжные, их голые тела лоснились. Там и сям на кучах земли валялись свежееупутощенные бутылки. Могильщики были пьяны и работали с таким остервенением, будто собирались уже не уходить отсюда, а тут и сгореть, на переднем крае. Особенно один могильщик все отвлекал взгляд Монахова. Юноша, пухлявый и трезвый, еврейский мальчик студенческого вида, он явно не справлялся с бригадным темпом, и его от природы красная, еще детская щека уже синела от явной сердечной недостаточности, в глазах его ныла непроживаемая тоска именно этой минуты, куда глубже национальной, тысячелетней. Что его сюда загнало, при явной его домашности и без тени какого бы то ни было падения? Идея какого и на что заработка?.. Куда?.. Он отставал в производительности и гладкой кожей ощущал презрение бригады, когда через несколько бросков вновь и вновь замирал отдышаться. Лопаты остальных мелькали безостановочно. «Возможно, он не вылезает из могилы, пока они курят и пьют, потому что, к тому же, не курит и не пьет...» — вяло подумал Монахов. На мальчика было больно и неприятно смотреть, но он притягивал взгляд. Здесь стоял последний знак равенства, над этой глиной. Могильщики, мертвые и провожающие, и бухой оркестр, игравший над телом отсыревший гимн, и капуста и банки, и воздух и вода — все это уже п о н и м а л о друг друга, не имея никакого отношения к себе. И над всем этим расплюснутым, даже вогнутым пространством, как памятник, возвышался человек-люцифер-зверь-красавец-пахан-бог, и он-то и был безусловно ЛАВРИК. Бог смерти Лаврик стоял

на двух кучах земли, широко расставив ноги в офицерских сапогах, на недоступной ни для умерших, ни для смертных высоте, чуть подрагивая неподвижным коленом и неподвижной ухмылкой, чуть поглядывая на истово закопавшихся подчиненных и отсыревших, сбившихся, как бараны, подопечных. И впрямь провожающие в конце пути, казалось, сами собирались сойти в могилы. Лаврик был высок, строен, элегантно, по-урочьи тощ, и он был без рук. Эта идея, что над землекопами властвует безрукий, прямо-таки пронзила мозг Монахова. Это — так! «А водку, интересно, ему подносят ко рту?» На плечи, чтобы скрыть увечье, легко, как-то даже грациозно, как бурка, был накинута ватник. И — лицо! Лицо его было красиво, с правильными, калеными тонкими чертами, а из-под легко сдвинутой на лоб кепки насмешливо и безнадежно смотрели поразительной синевы глаза. Так что, поймав их взгляд, Монахов даже на небо посмотрел: неужто прояснело? — небо было необратимо серо. Лаврик знал, что — все, что — конец, и это ни удручало, ни вдохновляло, ни забавляло его. Никогда не случилось Монахову видеть человека с такой печатью. Ни смирение, ни отчаяние, ни истерика, ни поза, ни скорбь — жизнь, прожитая в непрерывной власти и кончающаяся во власти, которую уже никто не свергнет. На парах или еще где привык он к ней? В глазах его дотлевающего лица жил незамутненный ум, который все видел и все знал, никогда не размышляя. Он оценил внимание Монахова; легко соскочив, скорее слетев, как птица, оказался перед ним. Кивнул на гроб: «Ваш?» Монахов усвоил и кивнул на впереди стоящих: «Нельзя ли побыстрее?» — «Вы где хотите, чтобы ваша бабушка лежала?» — «Здесь не все ли равно?» — Монахов выразительно обвел взглядом окружившую их мерзость запустения. «Не все равно», — со знанием сказал царь тьмы. «Тогда где лучше», — сказал Монахов. Еле заметным движением своих роскошных, девичьих ресниц Лаврик указал на нагрудный карман. Монахов понял. И как только его рука пошла назад, оставив нечто над сердцем Лаврика, — так он, как ангел, пренебрегая гравитацией, взлетел на прямых ногах на те же две кучи — лишь чуть привзмахнул рукавами ватник — и там стал со сложенными крыльями. «Быстро! все на эту могилу! могилу бабушке — мигом!» — сказал он негромко и резко, и не было дистанции между приказом и исполнением. Только тот юноша грустно не поспел за приказом... И впрямь не прошло минуты. «Прощайтесь», — сказал Лаврик. И в этом справедливом и заслужившем себя мире Лаврик показался Монахову более на месте, чем тот поп... Открыли крышку;

от адской тряски по глине бабушка сбилась набок, отпущение грехов вывалилось из рук, но зато в них хорошо удержалась коробочка с отчей землей. Монахова даже передернуло: ему казалось, он отчетливо помнил, что в руки ей ее не клал. «Боже! — взвыл он. — Если ты здесь! Будьте все прокляты!» И это «все», вполне вмещавшее и его самого, было так отчетливо! Как мы хороним... ни земли, ни смерти... Так потрясла его эта коробочка... Будто бабка знала, что не будет более земли, как в этой коробочке!.. И ведь внесла, последнее, что сделала, внесла единственную живую щепоть на эту глину...

Застучал молоток. Гроб завели, подвели полотенца... И тут вдруг у Лаврика выросли руки — это было изумительно! ловким ласковым движением выдернул он полотенце. И даже «Мир праху» сказал, и «Земля пухом», и «Спи спокойно».

Спокойная, здоровая, живая ненависть кипела в душе Монахова. Он видал зло. Он не ведал сомнения. Он понимал, что за свои грехи он вполне готов ответить. Но — вот этого — не простит никогда. Вчерашняя идиллия мертвецов, похожих на свои памятники, разъярила его. То, к чему мы идем, не было ни перспективой, ни угрозой. То, к чему мы пришли, было фактом.

Я кончился, а ты жива...

«Умерла...» — подумал он.

1966, 1979

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ, ЧТО БУДЕТ...

(История однолюба)

Давненько меня не было... На пыльном, мертвом столе лежало письмо. Я повертел в руках пухлый конверт — по этому адресу мне уже никто не писал... Почерк показался удивительно знакомым, но воспоминание упиралось во что-то в прошлом и дальше не шло — нет нестерпимее усилия! Я разорвал конверт — в нем оказался еще один с перечеркнутым адресом, с ярлычком «не проживает», а в том, в свою очередь, как Кощеева душа, третий, не востребованный на столичной почте, со штемпелем возврата. Письмо всплывало ко мне из глубины слежавшихся уже в прошлом дней — я отди-рал слой за слоем. Последним оказался тощий листок — письмо было на дурацком бланке какого-то отеля:

«Сэр!

Слышал, ты уже во престольном граде?! Сообщи адресок! если имеешь? на всякий случай!!.. Ибо! вскоре! начнем! непосредственную организацию подготовки к обсуждению проекта начала приступа к созыву встречи!! — *посему* нужна будет? оперативность! (Надеюсь, тебе понятно, что мы graduated вот уже 20! (прописью — двадцать!) не рублей, а лет назад???) По *предварительным* данным, будет или дача, или отдельный зал одного из домов *некоего* творческого союза. Вчера забегал по этому поводу к неизвестному тебе Леве О-ву. Не застал. Он передает тебе множественные приветы (sic!). Засим

Михаил М

P. S. День встречи (Д = day) — 8 июня».

М... Митишатъев! Ах ты, господи!хлопотун... Еще бы мне не был знаком этот почерк! На парте, через плечо, в

чужую тетрадь... Двадцать лет тому... память была еще почти пуста. Где он эти бланки-то раздобыл? Все такой же — таинственность во всем, значительные намеки... И всего лишь вечер встречи... Всего лишь... а двадцать лет между тем прошло. Кто скажет, что это мало?

А Лева-то, Лева!.. Одоевцев, мой старый приятель... Они опять с Митишатьевым вместе — вот что интересно. Чем-то они всегда были связаны, враждуя. Что-то притягивало Леву в этом монстре. Что-то между ними было, какая-то странная, тогда такая непонятная, такая прозрачная теперь история... С каким-то колечком...

Так все изменилось! О любимом учителе вспоминаю с содроганием, о врагах — с любовью. От кого-то осталась лишь слабая улыбка в полусветлом коридоре — он-то и был самый лучший человек, посторонился. Ничего больше о нем не помню. А его уже нет.

В комнате запахло мокрым мелом, тряпкой, классной доской... я помолодел на двадцать лет. Кто скажет, что это мало, если, когда мне было столько, сколько Лева, а Лева было семнадцать, то тех, кому сейчас семнадцать, еще вообще не было? И им тем более невдомек, если даже у меня стерлось, насколько все было другое, когда мы были такие, как они. Теперь уже требуется пояснить, что Лева жил и учился в эпоху раздельного обучения (мальчиков и девочек), то есть школа в наше (то есть в то) время была отделена от предстоящей по окончании жизни даже и еще более, чем сейчас. Что говорить, и деньги тогда были другими, большего формата, но меньшего номинала... Так что когда я (или Лева) мучился насчет раздобыть пятьдесят рублей, то это не то, что пятьдесят рублей сейчас, а так — рублей пять по-нынешнему. А вот то, что пять рублей теперь — ни для кого не серьезно, а пятьдесят тогда могло быть очень даже для нас серьезно... этого уже совсем не объяснишь тому, кто этого не помнит, — ВРЕМЯ!

Вот секрет возраста, каждым человеком достигнутого: только вспомни как следует все как было — даже на день вспять я не хотел бы вернуться.

Я помолодел на двадцать лет — с тем, чтобы тут же постареть на те же двадцать, но в одну секунду... и мой вот этот день — сегодня — показался мне вдруг куда более удачным, чем я привык думать. Нет, что и говорить, нечего бога гневить... Зря мы не ценим, что благополучно пристали к безымянному берегу СЕГОДНЯ.

Что было...

В жизни Лёвы Одоевцева, из тех самых Одоевцевых, не случилось особых потрясений — она в основном протекала. Образно говоря, нить его жизни мерно струилась из чьих-то божественных рук, скользила меж пальцев. Без излишней стремительности, без обрывов и узлов, она, эта нить, находилась в ровном и несильном натяжении и лишь временами немного провисала.

Собственно, и принадлежность его старому и славному русскому роду не слишком существенна. Лева рос в так называемой академической среде и с детства мечтал стать ученым. И был он скорее однофамильцем, чем потомком.

До этой истории с кольцом, быть может, и ничего-то с ним не случилось...

Да и эта история, может, не так характерна, как мне кажется... В таком случае она чрезвычайно символична.словно это кольцо — первое в цепи, словно с него все и началось, то есть именно с этого витка весь его сюжет начал свертываться кольцами, образуя как бы бухту каната или спящую змею. Причем верхнее кольцо так же ровненько укладывалось на предыдущее, как то, в свою очередь, на еще предыдущее, как все они, скапливаясь, лежали на первом кольце. К тому же история эта и действительно — о кольце, о самом обыкновенном обручальном кольце («желтого металла», как выразился бы следователь), о круглом дутом колечке, которое носила на своем пальце женщина Фаина.

Начать же эту историю можно с того, что, выйдя из класса, где проходил последний экзамен на аттестат зрелости, выйдя из класса после того, как им объявили оценки за этот последний экзамен, все вдруг закурили. Лева был удивлен: он никак не предполагал, что все в классе курят. Оказалось, существовала даже договоренность, что все курят именно в этот момент, — один Лева, по какой-то случайности, не был этой договоренностью охвачен. Каждый достал свою пачку и закурил свою сигарету, в большинстве — неумело. Митишатьев встряхнул свою пачку и предложил Лева. И Лева взял. Это была папироса «Север».

Экзамен же этот последний был «История СССР», и Лева получил пять, а Митишатьев, единственный в их сильном классе, — три, потому что предмет этот увлек его вдруг своей тайной и все экзамены провел он за чтением старинного Карамзина, что было в то время по меньшей мере странно. Таким образом, в билетах он знал одни лишь третьи вопросы, и те — совершенно не в том виде. Лева же успел прочесть лишь

«Краткий курс», а третьего вопроса у него не спросили вовсе. Итак, испытывая скрытое небольшое торжество над Митишатьевым, Лева тоже взял папиросу, и когда сумел не перехнуться от первой затяжки, некая даже гордость, вместе с головокружением, охватила его, и тут он вдруг почувствовал, что наконец-то со школой — все.

Так и соединилось в его памяти на всю жизнь ощущение первой затяжки с окончанием школы. Все поплыло перед глазами, и он вдруг испытал легкость необыкновенную, ему показалось, что он не прошел, а перелетел солнечный, вытопанный школьный двор и очутился с Митишатьевым на улице. «Напиться бы», — сказал Митишатьев, мрачный от своей тройки. «А что, не мешало бы», — радостно сказал никогда не пивший Лева и удивился. Он словно впервые очутился на открытом пространстве и сразу подставился всем ветрам.

Митишатьев тут же договорился, что Лева купит за них обоих, потому что у Левы деньги были, а у Митишатьева не было. «Будут настоящие женщины, — сказал он, — французженки». — «Как — французженки?..» — задохнулся Лева. «Студентки иныза». Но и «студентки» прозвучало для Левы как «куртизанки». Одна из них, как сказал Митишатьев, была даже замужем...

И Лева уже не столько одалживал Митишатьеву деньги, сколько сам становился навек ему обязанным. Потому что все это Леву, что естественно, необыкновенно занимало и ничего э т о г о он не знал, а Митишатьев, много раньше Левы начавший продвигаться во всех э т и х вопросах, никогда раньше Лева подобных предложений не делал, а намеки Левины и редкие и робкие напрашивания с ухмылкой обходил, чем и обижал его, оставляя наедине с достоинством, которым тот почти уже готов был пожертвовать...

Теперь же все обстояло иначе. Они уговорились встретиться вечером, и Лева, закурив еще одну митишатьевскую папиросу, ушел домой — и не ушел, а снова полетел, как бы уносимый всеми открывшимися вдруг ветрами, в сторону дома...

Весь день он чистился и скоблился и за час до условленного часа уже кружил, порхал, попыхивал только что купленными сигаретами с золотым ободком и успел облететь один и тот же квартал раз сто, пока подошел не спеша Митишатьев.

В пустоватой комнате оказались три девушки — обозначим их условно: черненькая, беленькая и голубенькая. Говорили они по-русски (Леве непременно казалось, что они

будут говорить только по-французски, — тут он мог блеснуть, потому что, усилиями родителей, владел этим наречием своего рода). Время было еще кое-как заполнено, пока Митишатъев здоровался сам, знакомил Леву, Лева пожимал непривычные ладошки и выдерживал взгляды; потом он извлекал бутылки, два муската, который, как слышал Лева, так любят дамы, что теперь показалось Леве нелепым, хотя это он сам покупал их; время опустело, и он вдруг смутился.

Митишатъев тут же предоставил его самому себе, заговорив в уголке сразу с черненькой и беленькой. Лева ничего не предпринимал, смущаясь, заговорить был не в силах и пока оправдывал это тем, что надо же определить из трех девушек одну, причем не митишатъевскую. «Которая из них была замужем?» — гадал Лева... Пока получалось так, что Леве предназначена голубенькая: она, так же как он, была несколько в стороне. Лева перелистывал журнал, ничего в нем не видя, иногда поглядывал на свою голубенькую. Она была действительно голубенькая — и платьем, и волосами как-то так отливали. Беленькая — хозяйка — все входила и выходила...

Лева, собственно, не предпочел ни одну: все они были как-то одинаковы для него, хотя и разномастны. То ли нерешительность свою и смущение подменял он как бы безразличием и незаинтересованностью конкретно ни в одной из трех... Он уже стал инстинктивно выискивать в себе силы, чтобы из всех ему понравилась именно голубенькая, и начал понемногу преуспевать в этом, отыскивал в ней достоинства и отличия от подруг. Но тут все сбил Митишатъев: незаметно покинув свой кружок, он оказался вдруг разговаривающим (Лева даже возмутился) с Левиной голубенькой. Черненькая засуетилась: «Пу что же мы не выпьем? Где же Фаина? Долго мы еще ее будем ждать?!»

«Кто из них Фаина? — заторможенно подумал Лева. — И почему ее надо ждать, когда все здесь?..» Как тут же отворилась дверь, и в комнату, отбрасывая ладошкой сыроватые распущенные волосы, вошла совершенно новая девушка... И не девушка — женщина! — в самом настоящем, с точки зрения Левы, смысле этого слова. Да, это была женщина — так она вошла. Лева, сам не заметив, быстрыми шагами пересек комнату, пока она успела сделать едва три шага от двери, и встал перед ней истуканом, слегка расстегнув рот и как бы сказав: «О!» Фаина — потому что это была именно она и это именно она была замужем, никакого сомнения в этом и не могло быть, — Фаина, как бы только от

того, что что-то преградило ей путь, подняла глаза на Лева, застывшего перед ней, и, улыбнувшись как бы от той же внезапности, что и Лева, тоже сказала «О», причем так, что Лева в этом могло послышаться даже одобрение, оно и послышалось. «Фаина», — сказала она сиплым, тут же восхитившим Лева голосом и протянула ему руку; Лева ощутил эту руку и податливой и уверенной одновременно, прохладной, нежной, — у него по спине пробежал сладчайший холодок от этого пожатия. Он все держал ее руку в своей, когда услышал: «А вас как же?» — «Да, да... — сказал он, поспешно выпуская руку и припоминая. — Лева, Лева меня зовут», — проговорил он, как бы сам себя в этом убеждая.

В общем, это была любовь с первого взгляда и паповал. Лева и не заметил, как мускат был вышит, отодвинулся в сторону стол, сама собой завелась радиола, а Митишатъев затанцевал с беленькой хозяйкой. Лева, танцевать не умевший, зато умевший по-французски, разговаривал с Фаиной, перемежая русские фразы французскими, где она как специалист не могла не оценить его произношения. Стыдно ему не было. Они помещались у стенки, в проеме между двумя кроватями, держались за никелированные спинки, как за поручни, и куда-то ехали в этом автобусе, далеко, и пассажиров не было... В их купе было довольно тесно, до руки Фаины оставалось маленькое никелированное кольцо, — Лева задыхался от этой близости, сжимал это кольцо, и у него красиво белели пальцы. Митишатъев танцевал уже с черненькой. Голубенькая подошла к Лева и простодушно протянула руку, вовлекая в круг. «Нет», — как-то даже зло сказал Лева. Она пожала полу-презрительно плечами и отошла.

Митишатъев отдувался за Лева, танцуя с голубенькой. Он танцевал, как бы все более заводясь и уже в неистовстве, но Лева этому неистовству, хотя оно, в общем, у Митишатъева и получалось, не доверял. Тут было, по мнению Левой, слишком видно усилие этой безотчетной конвульсии, слишком уж оно говорило за неистовство митишатъевской природы. Сам же Лева, в противовес Митишатъеву разговаривал легко и непринужденно — так ему казалось. Фаина больше молчала, слегка поддакивая, очень, впрочем, точно, умненько и в такт, так что Лева все больше убеждался в незаурядном ее уме, и ковчег ее достоинств, в представлении Левой, уже становился чрезмерен для возможности оценить и одарить эту женщину сполна. К тому же Фаина, хотя и помалкивала, как-то умудрялась не давать Лева почувствовать неловкость от сего неумеренной болтливости, и от того, что она так чутка и тактична,

Лева становился ей тем более благодарен и сильнее влюблялся, если такое было еще возможно.

Митишатъев, оттанцевав с голубенькой, подошел к Фаине и, слегка покраснев, стал знакомиться, чрезвычайно чопорно, как бы в контраст с неистовством только что законченного танца. Лева немножко удивился, что вездесущий Митишатъев не был, оказывается, знаком с нею, и ощутил оттого над ним чуть не превосходство. Познакомившись, Митишатъев пригласил Фаину на следующий танец, и Лева взглянул на него так грозно, что Митишатъев, все-таки оттанцевав один танец с Фаиной, даже нашептал ей что-то, к особому Левиному неудовольствию, во всяком случае больше ее не приглашал, полностью предоставив Лева.

Веселье между тем выдохлось; черьненская совсем ушла, а беленькая хозяйка непрестанно, кстати и некстати, и словно нечто подчеркивая, входила и выходила из комнаты. По всему, Фаина сегодня оставалась у хозяйки и никуда уходить не собиралась, а Лева давно пора было уходить, о чем и намекнул ему помрачневший Митишатъев, надевая плащ, на времени у Лёвы для тех решительных действий, на которые он решался весь вечер, заключающихся в том, чтобы обеспечить и гарантировать себе следующую встречу с Фаиной, чтобы она теперь уже никуда от него не делась (потому что именно это странное ощущение преследовало его: что она уже пропадала у него однажды, словно он давно с ней знаком), — времени для этих так и не продуманных действий не оставалось никакого. И он, уже впопыхах, как бы зажмурив глаза и прыгнув, ни с того ни с сего (а именно хотелось, чтобы плавно и между прочим) предложил Фаине сходить в ресторан. Лева очумел от собственной смелости и задохнулся в непременном ожидании отказа и даже возмущения. Но Фаина согласилась удивительно легко, сразу же, будто в этом ничего такого сверхъестественного не было; это было неожиданно для Лёвы, и тогда его смелость повисла для него в пустоте. «Только когда?» — спросила Фаина, и в тоне ее прозвучала деловитость. «Да хоть завтра!» — восторженно воскликнул Лева. «Нет, тогда уж послезавтра», — сказала Фаина. Они сговорились встретиться послезавтра, в восемь вечера.

И Лева брел домой, совершенно уже порхая. Митишатъев ушел в другую сторону, с голубенькой. Лева еще удивился, что с голубенькой (ему почему-то казалось, что Митишатъев — с черенькой), удивился и тут же забыл — потому что, судорожно вспархивая вместе с сердцем, взлетая и опускаясь, мгновенно очутился у своего дома и тихо ковырялся в

замке чтобы не разбудить уже спавших родителей. И все вспыхивало кругом странноватым дрожащим светом, лившимся неизвестно откуда, потому что лампочка на площадке не горела...

Как Лева дождался послезавтра, как он нашел в себе силы преодолеть это бездонное время, остается только удивляться — но вот он уже сидел в самом роскошном ресторане (его выбрала Фаина) за столом с двумя растратчиками из республик и говорил с Фаиной, в основном по-французски, потому что разговор его (они уже немало выпили) был таков, что посторонним не предназначался, и Лева воспарял все выше потому, что дело, насколько он мог судить по молчаливым и оттого для него как бы еще более красноречивым поддакиваниям и взглядам Фаины, явно шло на лад.

Они досидели до самого закрытия, остались почти одни в зале, во всяком случае — за столиком, а дальше Лева почти и не видел — в тумане. Официантка, милейшая женщина, к которой Лева испытывал все большую симпатию, потому что особая, казалось ему, ее забота простиралась на их стол, стояла у стенки и поглядывала в их сторону чуть ли не материнским, умиленным взглядом... Лева все было приятно, все его трогало: он ловил и этот взгляд — и тогда как-то особенно распрямлялся и говорил громче... Фаина слушала его, потуплялась, крутила на своем суховатом пальце обручальное кольцо.

Тут произошла совсем символическая сцена, наполнившая Леву окончательно восторгом. Официантка подошла к ним и сказала, разгибая блокнотик: «Вы, наверно, молодожены?»

Лева покраснел в замешательстве. А Фаина вдруг легко, так же легко, как в свое время согласилась идти с ним в ресторан, сказала: «Да». Тогда и Лева, спохватываясь и давясь, тоже сказал: «Да, да». — «Сразу видно, — сказала официантка, — самая хорошая сегодня пара... И давно вы женаты?» Лева растерянно глянул на Фаину. «Полгода», — сказала она. «И три дня», — обрадовавшись, пошутил Лева и тут же очень стал собой недоволен. «Сразу видно, — сказала официантка, — что удачный брак. Теперь это так редко». — «Да...» — нелепо вздохнул он. «Ну, вы посидите еще немного? Еще минуток пять можно...» — с благоволением сказала она и опустила блокнотик в карман. И, отходя от их столика, спросила: «А живете с родителями?» — «С родителями», — уже уверенно сказал Лева. Тут Фаина, к некоторому Левиному удивле-

нию, подозвала ее снова и зашептала ей что-то на ухо. Официантка бросила коротенький и блестящий взгляд на Леву и ответила так же шепотом. Лева воспитанно откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел в сторону, как бы ничего не слышал, но как ни напрягался — ничего не слышал. Только какое-то другое, недоступное Леве, понимание между ними насторожило Леву: они были как «свои», официантка и Фаина, а потом и этот странный смех, и потом официантка отходила еще с улыбкой, относившейся к тому, о чем они говорили, и последний обмен взглядами — во всем этом помешалось Леве что-то плотское и нечистое, но он постарался тут же об этом забыть, что ему и удалось. Официантка вернулась через некоторое время и принесла небольшой пакет, вручив его Фаине. Тут они и рассчитались. Лева много дал на «чай» и поморщился, потому что поймал себя не пересчете чаевых на билеты в кино.

Но дальше было вообще чудо: провозжание это слилось для Левы в сплошное цветение, полыхание и благоухание. Никогда не говорил он так дивно, как тогда, когда они вдруг приостановились на канале, оперлись о парапет и смотрели на черную воду, и он наконец решился взять Фаину за руку... Потом они целовались в парадной так истово, так неудержимо, что за окном предательски светлело. Фаина говорила ему такие слова, такие слова, что повторить их нельзя даже про себя, потому что они ничего уже не будут значить и завянут тут же, не оставив ничего, кроме разочарования.

Он и не подозревал, что в свертке Фаины лежат пять пирожных; что она ни слова не понимает по-французски, потому что в инязе никогда и не училась, выйдя замуж сразу по окончании курсов машинописи; что и из его, уже русской, речи тогда, у парапета, которая, казалось Леве, и утвердила окончательно его победу, без которой он не добился бы ее любви, — и из этой речи она ничего не запомнила, вполне удовлетворяясь прекрасным пониманием и знанием его состояния, и только; он не имел представления, в какой мере те единственные слова, которые он впервые услышал от Фаины тогда в парадной между лобзаниями, столь же естественны и обязательны для нее, как поцелуи, и почти ничего не значат: просто она знала, как доставить ему радость, и не было никакого повода отказать ему в ней... (Хотя и не следует до такой степени отказывать Фаине в искренности. Потому что и неискренности мы отдаемся. Во всяком случае, она отдавалась ей вполне.) Лева же ничего этого не знал — это было бы даже отвратительно, если бы он подозревал об этом. Он ничего

этого не знал, и единственное, что нестерпимо отравляло его упоительное счастье, было... (Позже, когда он поведал ей об этом своем смешном мучении в ту ночь, в расчете на некоторое даже умиление с ее стороны при воскрешении столь радостных, первых воспоминаний, Фаина лишь пожала плечами. «Мог бы и отойти, я бы подождала», — сказала она.)

Следующее их свидание было опять послезавтра. Лева не прожил, а как бы силой прорвал это время и очутился утром в комнате Фаины; никого наконец не было, и, проявив неожиданную смелость, он тут же овладел ею; она, впрочем, несколько ему в этом не препятствовала. Лева тотчас чуть не помешался, но не от божественного наслаждения — оно оказалось не так уж и велико, как он ожидал, и он впервые провел границу между желанием и наслаждением, — а от самого факта, разрывавшего его сознание со счастливым треском и не умищавшегося в нем. Он, не зная, чем отблагодарить, как уравновесить то, что она ему дала, осыпая ее поцелуями, радостно признался, надеясь польстить ей, что она первая женщина в его жизни (до достижения он, наоборот, старался казаться бывалым), Фаина же ему не поверила: то ли действительно уж больно оказался ловок и спор на этот раз, то ли польстить хотела тоже.

На следующий день Лева расчувствовал все несколько больше. И теперь ему, в его опьянении, казалось, что так и будет, все выше и выше, до какого-то уже нестерпимого по сладости звона, — и так всю жизнь...

Но почти тут же заметил, что в Фаине что-то изменилось, будто она удивлена, что он опять пришел, что она отводит глаза и молчит, когда он требует прежних слов, теребя ее жарко за руки, что и уступает она ему, при ее, уже отмеченной Левой, страстности, с каким-то даже равнодушием, чуть ли не с неохотой.

Один раз ее даже не оказалось дома, и он дежурил три дня — ее все не было, наконец поймал, — и она была веселее и добрее, чем обычно... А Леву теперь мучило не только ее исчезновение на эти три дня — куда? к кому?.. — но и то, что она вернулась такая довольная. Леве, уже обеспамятвшему, все хотелось понять, в чем же дело, чтобы ему «только лишь» объяснили, чего не хватает в нем и что еще нужно делать, чтобы все было «как прежде», — потому что нет такой вещи, это было очевидно ему, которой он не сделает для Фаины, точнее, ради нее.

Он решил поговорить с ней «начистоту» (в этой «чистоте» он, бессознательно, подразумевал лишь одну сторону — восстановление ее прежних слов и признаний) и повел ее для этой цели в кафе, отчасти желая повторить тот прекрасный вечер в ресторане и все больше уверяясь в том, что он непременно повторится, это вечер (это давно следовало сделать, укорял себя Лева, это следовало сделать раньше, до «похолодания» Фаины). Но повел он ее в кафе, а не в ресторан, потому что у него мало денег (так мы всегда, давая все меньше, полагаем, что отдаем последнее, а за последнее требуем от другого всего), но и кафе это, по признанию Фаины, очень ей всегда нравилось: какое-то уютное, особое освещение, там можно «побыть вдвоем» и т. д.

В этом кафе и спросил он, с отчаянья напрямик: что ей еще нужно?.. Она не рассердилась (потому что продолжала пребывать в некотором добродушии после своего исчезновения) и сказала тоже напрямик: «Ты должен дать почувствовать мне свою силу». Что она под этим имела в виду, догадаться трудно, но Лева, как ни странно, сразу ее понял, и сердце его сжалось в тоске и отчаянье. Это означало попросту, что он слишком хорошо относится к Фаине и что все было бы лучше, если бы хуже...

Лева целый час говорил, столь же вдохновенно и прекрасно, как в тот вечер у парапета, о том, как она не понимает, что это отвратительно — эта игра «кто — кого», что он, Лева, просто не хочет в нее играть, в эту игру, что он не может, как некоторые, как, к примеру, тот же Митишатъев («Какой Митя? Ах, тот, что танцевал. Хороший мальчик!»), что он верит, продолжал Лева, что могут быть истинно прекрасные отношения, большинству неведомые, вне этой игры, что он ее любит именно так, а это редкая любовь, даже не редкая, а единственно та, что может быть названа любовью. («Вот... — сказала она и даже ласково погладила ему руку. — Просто ты меня слишком любишь, а мне это трудно». Лева удивился и ужаснулся перед этой простотой, хотя, надо отдать Фаине должное в этот вечер, никогда потом не говорила она так же чисто и честно...) Но, говорил Лева, он не хочет, да и не может становиться в один ряд со всеми в этом отношении, и тогда, в этом смысле, он может показаться кому-нибудь и слабым, но это вовсе не слабость, а сила, сила его в этом! что это тот самый редкий дар, который случается с человеком раз в жизни... И как же можно отворачиваться от него (дара и Левы), когда он таит в себе (дар или Лева?) самое высокое счастье, какое только может дать один человек другому человеку! Отвора-

чиваться от этого дара даже преступление... (Но Фаина и впрямь отворачивалась, давно уже пропуская Левину речь мимо сознания, потому что тоже давно ее как бы знала, в принципе и в целом, и все, что могла сказать Лева по этому поводу, очень откровенно уже высказала... Она отворачивалась, провозжая взглядом только что вошедшего длинного молодого человека в усиках...) Там-то как раз и бессилие, бессилие чувствовать и любить по-настоящему, где она подразумевает силу... — сказал Лева и ослаб, сник, смяк и не мог больше выговорить ни слова.

— Я вдруг ужасно проголодалась, — сказала Фаина (придя в кафе, она от всего отказалась). — Закажи мне, пожалуйста, лангет. Тут его очень хорошо готовят.

«Откуда она знает, как здесь готовят лангет?» — подумал Лева.

Они продолжали встречаться (трудно было бы не встретиться, даже если бы Фаина хотела этого). Лева, так и не доказав своей силы, очень маялся и страдал, и денег на все это уходило как-то больше и больше. Отец косился и, дойдя до определенного, по каким-то своим соображениям избранного предела, дотаций не увеличивал. Один раз выручил дядя Митя, хотя Лева и не думал у него просить. «На, — сказал он, со вздохом расставаясь с купюрой. — Ты, Лева, не человек, а добыча». Лева не понял и был тронут. Но и этот источник был на раз. Лева потаскивал книги, продал спекулянту свою и действительно замечательную, тщательно в школьные годы накопленную коллекцию марок за сущий бесценок, но и эта сумма, для Левы тогда очень значительная, мгновенно утекла, именно как в песок.

Постепенно его, чуть и не наравне с выяснением отношений между ним и Фаиной, стала интересовать проблема, как и где раздобыть денег (так он, незаметно, привыкал покупать любовь). Он учился экономить (это был уже семейный процент их отношений), ходить в ресторан ему казалось уже слишком невыгодным, потому что существовали куда более насущные траты (чулки, косметика, электричество и газ, булавки, нитки, не забыть купить два метра п р о д е л а, так и спроси: «про-дел»...). Хоть бы он цветов когда-нибудь купил!.. Лева улыбался криво.

Тогда-то и принял он участие в «складчине» (которая дешевле ресторана). Эту складчину устраивал его однокашник с двумя другими, очень продвинутыми в развлечениях, сверстниками, в том числе и Митишатьевым. У кого-то из них высвобождалась квартира («предки» куда-то уезжали), и они могли

там делать что хотят. Митишасьев вспомнил о Лева и пригласил его «с дамой», за что Лева, давно истощив все доступные ему варианты развлечений Файны и находясь по этому поводу в глубокой растерянности, был ему очень признателен, даже тронут.

Файна долго ворчала, не соглашалась идти, морщилась: «Детский сад»; потом собиралась так же долго, даже тщательнее обычного.

То, что нас утомляет впоследствии, Леву еще нисколько не утомляло — он нисколько не скучал, наблюдая ее сборы, даже получал удовольствие. Он находил особую красоту и прелесть в этих заученных, машинальных, почти инстинктивных движениях Файны перед зеркалом. Именно в этих, вовсе не рассчитанных на постороннего, на эффект, эстетизированных движениях находил он теперь, именно и прежде всего, красоту...

Его радовала закопченная железная вилка, которую Файна уходила калить в кухню на газе и бегом возвращалась, оставив слегка руку в сторону с раскаленной вилкой и помахивая ею (на эту вилку она наматывала прядь, совершая последний и самый выразительный локон); и столовый нож, которым она с поразительной ловкостью загибала себе ресницы; и иголка, которой она разделяла по отдельности ресницы, уже покрашенные... Эта возня с колющими и режущими предметами (у самых глаз!) казалась Лева рискованной и опасной, а то спокойствие и деловитость, с каким Файна это все проделывала, и восхищали и пугали его, как смелость артиста в цирке. Притягивало и пугало его и выражение глаз Файны в зеркале, когда она занималась всем этим, — отсутствующее, холодное, прицеленное, снайперское какое-то. Заученная, непреклонная последовательность движений и операций, проводимых Файной при сборах, при всем единообразии, не теряла прелести для Левы: он испытывал определенное удовлетворение от мысленного опережения, предвосхищения движений Файны и некую радость от совпадения воображенного движения с действительным через какую-нибудь секунду.

Вообще, Лева все больше любил и дорожил этой незамеченной красотой Файны: заспанным или усталым ее лицом, какой-нибудь небрежностью в одежде, некрасивым безотчетным движением, — это вселяло в него блаженное ощущение прочности, принадлежности и благодарности, которые, в иных условиях, Файна давала ему испытывать все реже.

Так уж получалось, что когда Фаина жаловалась на то, что плохо выглядит, то казалась Леве наиболее красивой, любимой и близкой. Если бы это было вполне осознано, можно было бы сказать, что его радовало, когда она бывала измученной, слабой и несчастной (так особенно любил он ее, когда она заболела), и, наоборот, пугало, когда она была «в форме»: красивой, уверенной, бодрой. В первом случае возникала иллюзия ее зависимости от Левы, она никуда не уходила от него и никуда не могла деться; во втором — она уходила от него бесконечно, всегда, уходила тем безнадежней, чем была красивее, уходила, даже если была рядом и они были вдвоем: он как бы над ней уже не простирался и отставал, задыхаясь от отчаянья.

Тут была какая-то парадоксальная путаница в понятиях близости и отдаления, в обозначениях этих состояний словами «обычно» и «иногда», «естественно» и «неестественно», в исключительных случаях. Для Фаины обычным и естественным, приносящим легкость и удовлетворение, было состояние «в форме», а исключительным, нежелательным, редким — обратное состояние: усталости, неуверенности («сегодня я не в форме»). Для Левы — наоборот, все более нежелательным, неприятным и неестественным казалось ее пребывание «в форме», а обычным, естественным казалось как раз ее состояние «не в форме». В Левином сознании эти два ее состояния приходили во все больший антагонизм: «в форме» Фаина казалась Леве неестественной, злой, лживой, черствой, эгоистичной, наделенной всеми пороками, «не в форме» — милой, естественной, нежной и т. д. Именно «не в форме», казалось ему, бывала Фаина сама собой, а «в форме» — чужая, не своя, подменная. И хотя он был не властен поколебать соотношение этих двух ипостасей Фаины, хотя Фаина прежде всего стремилась свести к минимуму те свои состояния, которые чем дальше, тем больше становились дороги Леве, а именно — она стремилась как можно реже бывать «не в форме», тем не менее Леве казалось, что Фаина пусть медленно, через бесконечные его страдания, но приближается, подвигается к тому своему состоянию, которое Лева полагал ей естественным, ее сутью, и которое, если снять покровы с не осознанных Левою явлений, называлось «принадлежностью Леве», и поскольку никаких действительных оснований к тому, чтобы полагать, что она принадлежит ему все больше, у Левы не было, скорее наоборот, ему удавалось видеть желаемое способом, который может показаться странным, но совершенно естествен в то же время, а

именно — он все больше узнавал Фаину лишь с одной стороны, он все копил и собирал в себе эти ее состояния «не в форме», столь любезные ему; он их просто лучше видел и узнавал, сосредоточивая внимание на моментах, которые, может, были чрезвычайно невелики в общем образе Фаины, но как бы увеличивались и росли именно за счет возрастающего к ним внимания. То есть явление это было чисто психическим или даже отпическим, но оно придавало силы и помогало пережить самые обнадеживающие ситуации.

Если бы Лева осознал это явление, то у него бы могли возникнуть ассоциации лишь с рассуждениями из учебника литературы о типическом и нетипическом (они должны были быть еще свежи в его памяти). По этим рассуждениям легко получалось, что явление, находящееся даже в зародыше или чрезвычайно редкое, может быть типическим, если ему суждено впоследствии развиться. Например, столь редкий Рахметов — явление хотя и единичное, но типическое, потому что в нем сосредоточены будущие миллионы Рахметовых. Так и те редкие моменты, когда Фаина бывала «не в форме», то есть никак не уходила от Левы, считал Лева для нее типичными, хотя бы и чаще бывала она «в форме» и уходила. Впрочем, осозная Лева необоснованность подобной логики, был бы он наименее несчастнейший человек, потому что не обладал достаточными силами, чтобы справиться со своим знанием.

Когда Фаина красилась и готовилась, момент этот хоть и радовал Леву, но был все же двойствен: она была с ним и не уходила, поскольку не была готова, поскольку самой неестественной женщине нельзя отказать в естественности, когда она пребывает перед зеркалом, но она и — уходила (по той же школьной диалектике про Рахметова), уходила в перспективе оказаться наконец совсем готовой, красивой, «в форме» и, вздохнув в последний раз с облегчением или удовлетворением, бросив последний взгляд в зеркало, в один какой-то миг сразу и окончательно в эту готовую форму войти, в ней оказаться — и тем уйти от Левы. А пока Лева сживал и наблюдал этот переход, он еще бывал счастлив, наблюдая: лишь легкое волнение и муть набегали на его расшатанную любовью душу (по мере приближения к концу ее туалета — все чаще), он снимал, как бы смахивал все это со лба легким движением руки, как смахиваем мы в осеннем лесу паутину. Жест, слабый, как вздох...

Конечно, это неточно так говорить, что у зеркала Фаина бывала наедине с Левой, нет, у зеркала, конечно, она была совершенно одна во всем мироздании, как и любая женщина,

но она и не была ни с кем другим — и этого Лева было достаточно, а определенность и последовательность ее движений рождали в нем ощущение устойчивости. Так же натяжкой было бы говорить, что Фаина повторяла свой ритуал перед зеркалом всегда одинаково. Эта одинаковость была скорее явлением качественным, но не количественным. Она вела себя у зеркала по-разному, в зависимости от того, куда собиралась: был ли это рядовой, ответственный или исключительный случай сборов. Она могла собираться наспех, с обычной тщательностью и с вдохновением. Это были как бы малый, средний и большой набор операций и движений, с разным объемом вкладываемых физических и духовных сил. (Сейчас она, поругивая сосунков, к которым вынуждена идти, потому что больше идти некуда, и, соответственно, поругивая безответного Лева, собиралась тем не менее по самому полному, максимальному комплексу.) Но каждый из этих комплексов — и малый, и средний, и большой — был постоянен внутри самого себя, почему Лева и любил сопереживать эти моменты.

Впрочем, ни возражать на ее замечания, ни откровенно наблюдать за ней Лева не имел права — это ничем хорошим для него не кончалось. Но он уже прекрасно видел Фаину каким-то боковым зрением, в отношении ее необыкновенно обострившимся, особенно на людях... Он мог видеть ее даже спиной, ничего зато не видя под носом, в журнальчике, который листал с видимым интересом.

В результате они несколько запоздали и застали уже то возбуждение и оживление, которое называется первым, или легким, опьянением. То есть они пропустили тот таинственный момент, когда некоторая холодность, скованность и разброд полужнакомых людей понемногу накапливались и подошли к тому пределу, когда все в сборе и готов стол, и вот все рассаживаются, уже возбуждаясь и отпуская напряжение; разливается по рюмкам водка, и она, еще не выпитая, уже как-то подействовала; а потом, за первой рюмкой, ходом вторая — и уже все знают друг друга, тормоза сброшены, и кто-то говорит громко, и кто-то очень смеется, и всем кажется, что веселье длится уже давно, — но если кто-либо, с напрасной исследовательской жилкой, засек бы время, оказалось бы всего десять минут, как они сели за стол, от силы — пятнадцать, а уже первый хмель начинает свое плавное и неумолимое перерастание во вторую — и все это тем быстрее, чем независимей, чопорней и чинней ожидали гости этого момента...

Когда они пришли, дверь им открывали уже с неумеренной улыбкой на лице, без пиджака, с расстегнутым воротом,

при галстукe, приспущенном, как флаг, с ничем не оправданной радостью говоря: наконец-то! и все вас ждут! — хотя вы и не знакомы вовсе. Такой открытый прием всегда, впрочем, впору — что-то вы оставляете за порогом, какую-то тяжесть, как шубу на вешалке. А поскольку время летнее и ни о каких шубах не может быть и речи, тяжесть была единственной невидимой одеждой, которую Лева скинул тут же, в передней, и как бы даже проводил ее падение взглядом: взгляд упал на сундук.

Передняя незнакомой, тем более коммунальной, квартиры — тоже таинственна: небольшое чистилище перед веселием, впрочем, темноватое, заставленное и захламленное — скорее предбанничек. Сундук, над ним велосипед, над велосипедом рога, под рогами подкова — все это незаметно входило в Леву, когда он, достав бутылки и передав хозяину, поджидал Фаину, внутренним усилием ее поторапливая, пока она, движением столь легким, что казалось — и практически ненужным, прикасалась, как бы чуть подталкивая, ладонью к прическе, меняла туфли и еще раз пронзала самое себя неподкупным взглядом; вся она тут будто вздрагивала, вытягивалась, лицо ее становилось холодным, как бы чеканным, почти величественным — это все отражалось какую-то секунду в зеркале, и Фаина тут поворачивалась и, не глядя на Леву, чтобы не растерять выражение, шла к дверям, а у Левы было впечатление, что это уже не Фаина, а отражение ее вышло из зеркала и пошло, неживое, и сердце его чуть сжалось.

Если продолжить сравнение, то из холодного и темного предбанничка они очутились прямо в парилке; или если вспомнить сравнение с шубой, оставленной в прихожей, то они вошли как бы с сильного ночного мороза в жарко потопленную и освещенную избу, когда из распахнутой двери большим светящимся шаром вываливается пар, а потом, когда дверь захлопывается за вами и вы начинаете видеть, то сами оказываетесь в пяточке холода, исходящего от вас; или, проще, — на них опрокинулся шум, и дым, и смех, и некоторое не окончательное и не всеобщее, но вполне ощутимое замолкание и разглядывание, как бы тушэ, а потом — снова тот же шум.

Их рассадили порознь — это был принцип компании. Лева он показался глупым, и Лева досадовал, но делать было нечего, и он был помещен рядом с пухловатой девушкой в прозрачной кофточке, из-под которой было видно очень розовое белье; она прыснула, когда Лева садился, а Лева каменел и еще раз досадовал, потому что девушка не шла ни в какое сравнение с Фаиной — и это так же нелепо, как сесть на

транспорт, идущий в противоположную сторону. Но он уже мог осмотреться. Собственно, осматриваться он начал еще до того, как сел, потому что у него сразу же включилось острое боковое зрение в отношении Фаины.

Она была помещена рядом с Митишатьевым, и это Лева до некоторой степени удовлетворило: хотя бы знакомый человек. Она сумела сохранить свое выражение, вернее, свое отражение, которое она вынесла из зеркала, столь чинное и холодное, и, присев, исподволь, но цепко осмотрелась. Это был тот же ее как бы отсутствующий, но снайперский взгляд, каким она прицеливалась в зеркало, орудуя, например, тем самым столовым ножом для подгибания ресниц. Лева бы ничего все равно не увидел вне Фаины, он просто последовал за ее взглядом — взгляд был обращен сначала на девушек: они все были очень юны, даже не девушки, а девочки, но, как говорят, «развитые» (в те годы это было еще не частое явление, своего рода заслуга). Взгляд был мгновенен, пристален и пронзителен, он мигом расставил оценки и как бы успокоился, удостоверившись, что никакого намека на подвох нет: она их отбросила, она вне конкуренции. Лева мысленно согласился с нею: никакого сравнения быть не могло. Фаина была гранд-дама в этом птичнике. Успокоившийся и как бы размякший ее взгляд во вторую очередь прошелся по парням, уже более медленно, лениво и как бы благодушно, но тоже, впрочем, ни на ком не задержался. Ну, парней-то Лева всех знал, ему их рассматривать было и ни к чему, и, проследив ее взгляд, он потянулся к водке. Все это разглядывание протекло, впрочем, в кратчайший промежуток; скорость, с которой справилась Фаина с рекогносцировкой, свидетельствовала об опыте, но об этом Лева как раз и не подумал.

Митишатьев уже наливал Фаине. Лева приподнял рюмку, выжидая ответного взгляда Фаины, желая установить невидимую и столь сладостную, как бы телепатическую, связь через стол (натянуть бы эту нить и держать ее весь вечер...), и увидел, что Фаина, еще раз безучастно охватив взглядом все молодое собрание, незаметно стянула со своего суховатого пальца обручальное кольцо и спрятала его в сумочку. Затем она приподняла рюмку и ответила кивком Лева, Лева весь как бы подался ей навстречу, но ответного желанья установить эту невидимую связь не обнаружил: Фаина словно бы не заметила этой протянутой руки и обернулась чокнуться с Митишатьевым. Лева несколько расстроился и с жадной выпил, сразу повторив («штрафная», впрочем, с него требовалась), инстинктивно желая поскорее набрать то же ускорение,

которым обладали все сидящие за столом, и не находиться вчуже, мучительным особняком, что всегда и тебе и другим неприятно.

Тут какой-то отрезок времени промелькнул для него незамеченным. Он обнаружил себя вдруг что-то впопыхах жующим, чтобы поскорей сбить неприятный вкус очередной рюмки, и при этом еще говорящим что-то соседке, причем та так и заливалась со смеху. Это (что он и жевал и говорил одновременно) как-то его удивило — он проглотил и перестал говорить; с удовлетворением откинувшись на спинку стула, понял, что рывок уже сделан, что он — нагнал. Приятная теплота пробегала волнами и блаженно проталкивалась все дальше, к пальцам рук, к кончикам пальцев. Лева посмотрел на свои пальцы и подумал, что ему чего-то хочется, чего-то еще не хватает, какой-то простой вещи — только что же это? «Закурить, — вдруг радостно сообразил он, — как же это я забыл?» Закурив, он почувствовал себя окончательно хорошо, словно был до того мучительно разорван на две части, и вот сейчас они соединились, слились — ни шва, ни следа разрыва, — и он опять тот самый, каким был всегда, — целый. Почувствовав себя таким образом более живым, он, откинувшись и покуривая, мог осмотреть стол во второй раз, совсем иначе, и как бы даже в первый раз его увидел — все приобретало привлекательность, девочки были даже милы. Но все это приятное единство прожило в его душе секунду-другую, между первой и второй затяжкой, потому что должен же был он увидеть, вновь оглядывая стол, и Фаину, помещавшуюся по диагонали в дальнем углу. То, что он увидел не сразу, как бы во вторую очередь, уже было достаточно странно.

Сейчас он поймал взгляд Фаины и по выражению его понял, что она уже некоторое время, по-видимому, следит за ним. Взгляд был чуть насмешливый и удивленный одновременно. Лева тут же вспомнил, как запикивал что-то в рот и одновременно говорил нечто соседке, от чего она так хихикала, — что-то в нем сжалось, и тут же он снова ощутил в себе разъединение, раздвоение этих двух мучительных частей: они снова были порознь, самостоятельны и начали слегка друг друга покусывать. В нем, мельком, ощущением, проскочила мысль, что Фаина не находится ни в той, ни в другой из этих разъединенных частей; ее не было, следовательно, и когда эти части были только что вместе — тем более не было, даже, быть может, не могло и быть... Значит, Фаина и есть сам факт раздвоения, сам разрыв, та пустота, что разделяет две части.

Она — абстракция, ее и нет, — так почему же она реальна, если вся помещается в разрыве?..

Неверно было бы думать, что, когда он поймал ее взгляд, его испугала ревность Фаины — ревность, если бы она была, могла бы только его обрадовать как некое обеспечение и гарантия. Испугало Леву, что она тут же могла этим воспользоваться (тем, что он забыл о ней на минуту), испугал не сам взгляд, а его перемена. Потому что и он, Лева, тоже в свою очередь застиг ее взгляд немного врасплох и увидел тогда в нем лишь прохладное удивление и любопытство; когда же их взгляды встретились и до Фаины дошло, что Лева видит ее взгляд, она поспешила его переменить на взгляд чуть ли не обиженный и вот, бросив Лева именно такой взгляд, повернулась к Митишатову. Лева весь внутренне заметался, готовый придать своему лицу самое предельное выражение виноватости и мольбы, но был оставлен с этим своим лицом, как и тогда с протянутой рюмкой, безответным.

По-видимому, Фаина с Митишатовым лишь ненадолго прервали свой разговор, причем весьма частный, какой-то даже сближенный: так они его теперь продолжили, так наклонились они друг к другу, улыбались и кивали. Это насторожило Леву. «Они же не были знакомы!» — поразился он. Лева вспомнил, как удивился тогда, в первый вечер, что они не были знакомы, — теперь же они явно выглядели давно знакомыми. И эта неясная степень их знакомства, эта окончательная путаница во времени и собственных представлениях закружили в Лева. А может, они и были знакомы, еще до Лева? И то, что Митишатов тогда так подчеркнуто с Фаиной знакомился, было лишь его дурацкой шуткой?.. Но Лева не мог вспомнить, улыбалась ли тогда в ответ Фаина, кажется, и не улыбалась... а может, это была даже не шутка, а такое подчеркивание, понятное лишь им двоим, может, Митишатов так выразил свое недовольство, даже ревность? А может, они потом встретились, разговорились и познакомились ближе?

В общем, Лева запутался, его даже это перестало интересоваться, слишком волновал его сам факт из разговора теперь, эта очевидная близость, интерес, особая оживленность... О чем там они говорят? Он никогда об этом не узнает... Это его всегдашнее бессилие что-либо знать о Фаине снова подступило в полный рост, и самым сильным его желанием сейчас было бы иметь некий фантастический аппаратик, чтобы все это незаметно от них слышать. Левино воспитание, по которому подслушивать считалось низжайшей ступенью падения, было сейчас вовсе ни при чем. Желание было слишком

страстно, чтобы воспитание выдержало... Но аппаратика ведь и не было. Тоже и телевизорчик махонький с удовольствием имел бы сейчас Лева, потому что не видел их рук и ног, лишь склопенные головы, а может, Митишатьев уже держит Фаину за руку или они касаются горячими коленями? Но и телевизорчика тоже не было. О чем они там так уж говорят, так уж поглощены? А может, даже — о нем? Посмеиваются? Вот и Митишатьев, смеясь чему-то, что сказала Фаина, поднял взгляд на Леву — как бы удостовериться, словно Фаина экскурсовод, а он, Лева, — экспонат, такой взгляд. Удостоверился, как бы даже усмехнулся, еще больше удостоверившись, — и снова весь поглощен Фаиной, говорит ей что-то, и теперь смеется Фаина... Но так и не обернулась с тех пор к Лева ни разу. Как Лева ни протягивал немую свою мольбу, как ни вызывал мысленно ее ответный взор — ни разу...

Что-то говорила Лева, пытаясь продолжить прервавшуюся их беседу, его розовая соседка — он отвечал рассеянно, односложно и невпопад. Она даже обиделась, ощутив столь резкую подмену, замолкла, но, проследив Левин растерянный взгляд, по-женски, несмотря на юность, тут же рассекла, что к чему, и рассмеялась. «Ревнуешь? — сказала она ему, наклонившись. — Выпей лучше». Лева мучительно покраснел, ему было стыдно, что он настолько ничего с собой и своим лицом не мог поделать, что полностью себя выдавал; потому что вторым по силе желанием после подслушивающего аппаратика было именно желание сделать как можно более равнодушное, безучастное, даже холодное лицо. И это вот лицо, которое он с такой энергией над собой совершал, оказывается, больше всего и выдает. «Нет, что за глупости, нет, конечно!» — зло, впопыхах ответил Лева розовой соседке, тут же понимая, что если он и хотел ее разубедить, то не такой фразой этого возможно достигнуть. «Что, и выпить не хочешь?» — насмешливо передергивая, сказала соседка. «Нет, это я в другом смысле, это я в смысле... — окончательно смсшался Лева, — выпить-то я с удовольствием...» Они выпили. Лева даже сумел несколько опять отвлечься, ему удалось выровняться в глазах соседки, сказав что-то такое, чему она опять чрезвычайно рассмеялась. «А вы ничего, остроумный», — сказала она. «Остроумный, но без чувства юмора...» — подумал с тоскою Лева.

Ему мучительно хотелось обернуться к Фаине с Митишатьевым, и он себя сдерживал из последних сил. И, конечно, не выдержал. И тогда опять поймал взгляд Фаины. Этот второй взгляд был как второе предупреждение, и смысл его был

вроде: «Ну, раз так...» Леве даже показалось, что он застал, в последний, правда, момент, некий кивок Митишатъева в его сторону, почему и обернулась к нему Фаина. Леве показалось, что за ним все наблюдают: и Митишатъев, и Фаина, и соседка, и весь стол, — ему стало неуютно, а Фаина снова повернулась к Митишатъеву, так определенно, так подчеркнуто навсегда, что Леве захотелось опрокинуть на них стол, даже все тело напряглось для усилия. Он конечно же не опрокинул — и тогда тоже демонстративно (только кому была нужна эта демонстрация, ведь Фаина даже на него не смотрела!) снова повернулся к своей соседке, с неудовольствием ловя и ее наблюдательный взгляд. Хотя она была уже изрядно пьяна, соседка. Она, хихикая, сама налила себе еще и протянула бутылку Леве. Он, чувствуя, что именно эта рюмка сильно на него подействует, тем не менее выпил ее с самым решительным видом и захмелел.

Тут заскрежетали все разом отодвигаемые стулья, и Лева наконец услышал, какой гвалт стоит в комнате... До этого момента со звуком творилось что-то неладное, его как бы и не было; была Фаина с Митишатъевым и прислушивание к ним, которое-то и сводило на нет все прочие звуки, — Фаину же с Митишатъевым ему тоже не удалось расслышать, и тогда звук врывается на секунду, как уличный шум из распахнутого окна. Так жил звук, то включаясь, то выключаясь. И вдруг загрохотали стулья, кто-то погасил верхний свет, и все разом встали из-за стола и словно бы разом и заговорили: «Танцы, танцы! Почему мы не танцуем?» — вот, оказывается, почему все встали. Лева тоже встал, слегка покачнувшись.

Поволокли в сторону стол. Лева тоже поволок, вернее, он глупо следовал за столом, все ища, куда бы можно было просунуть руку, потому что стол облепили со всех сторон, словно огромную тяжесть: это было всем очень весело — тащить стол, кто-то даже упал — совсем восторг!

Именно в таком глупом виде, следуя за столом и пытаясь пайти себе место, чтобы тоже за него уцепиться, обнаружил Лева в двух шагах от себя Фаину с Митишатъевым — они в этом предприятии не участвовали, лишь наблюдали, единственные из всех трезвые. Лева поспешно выпрямился и притстал от всей компании, сделав каменное, вытянутое лицо, и почувствовал себя мучительно глупо. «Левушка, — сказала ему Фаина ласково, — какой ты смешной!..» Лева и расстроился, что она так сказала, когда рядом с ней Митишатъев, и обрадовался ласковому ее тону, которого не ожидал; последнее было даже сильнее, и он подошел к ним. «Смешной?

Правда?» — сказал он, словно так, что если это плохо, то он больше не будет, а если Фаине нравится, так он может стать еще смешнее: как она захочет — так и будет. Фаина смеясь потрепала его по руке. Лева растаял.

Танцевали. Фаина сама пригласила Леву. Лева танцевал радостно и неловко и очень смешил Фаину. Он вдруг понял, что все его страхи насчет Митишатъева — полная ерунда: просто был он сосед, естественно, она разговаривала с соседом. А так, вообще-то, она все время была с ним, слевой. Это наполняло его радостью, а глядя на других — и гордостью: конечно же она была лучше всех и ни у кого такой дамы не было.

Танец кончился, Лева, расплывшись, сам подвел Фаину к Митишатъеву, как бы вернул кавалеру — такая шутка. Тут его подхватила розовая его соседка: она все смеялась и держалась на ногах нетвердо. Лева посмотрел в растерянности на Фаину, находясь в той странной позе, когда человека тянут за руку, а он, уже шагнув от внезапности, начинает тянуться в противоположную сторону, а именно — к Фаине, к Фаине!.. Но Фаина кивнула ему с улыбкой: мол, ничего, давай.

И Лева танцевал теперь с розовой соседкой — она была горячее и мягкой, таяла в Левиных руках и все хихикала, глаза ее плавали, не в силах посмотреть в одну точку, — на Леву это, к его удивлению, даже действовало... Тут увидел Лева спину Фаины — она танцевала с Митишатъевым. Лева показалось, что у них это очень красиво получается, и сам он тогда стал вовсе неловок. Соседке это было, впрочем, все равно и даже нравилось, когда он на нее наталкивался. Фаина же танцевала как-то так, что все время была к Лева спиной, и он никак не мог улучшить момент, когда она повернется, и видел все время лицо Митишатъева, улыбавшегося какой-то взятой из кино улыбкой и непрерывно что-то Фаине тихо (так что опять без аппарата не обойтись!) нашептывавшего.

Лева, стремясь поправить положение, бросился приглашать Фаину на следующий танец, но ее опять словно подменили. «А ты растанцевался...» — сказала она холодно и как бы с ехидством, будто опять намекая на соседку, и отказалась.

Но танца и вообще не произошло, потому что вдруг кто-то зажег свет и скинул иголку с проигрывателя. «Играем в бутылочку!» — закричал он. «В бутылочку, в бутылочку!» — закричали все. Лева вспомнил, что слышал об этой игре: она — с поцелуями. Образовался круг. Митишатъев с Фаиной тоже в нем оказались — тогда втиснулся и Лева (это его запоздание

напомнило ему передвигание стола, и он поморщился). В центре оказалась большая бутылка из-под шампанского. «Крути, крути!» — кричали. Кто-то попробовал ее крутить — ничего не получилось. «Не можешь, не можешь, освободи!» — кричали ему. «Она и не будет крутиться», — сказал тот обиженно. «Почему ж не будет?» — неожиданно для себя спросил Лева. «А так, не будет, — рассудительно сказал тот. — Нужна бу-ты-лоч-ка, — зло сказал он Леве, — тут бутыллица! Нужна же бутылочка, пузырек!» — «Пузырек! — хотали. — Пузырек!»

Кто-то крутанул ловчее, и серебряное горлышко уставилось на Фаину, как стрелка компаса на север. «О-о-о!» — пронеслось по кругу. «Крути — с кем! Крути — с кем! Крути скорее!» — крикнул кто-то нетерпеливо. Лева весь замер и побледнел даже. «На меня, на меня же!» — мысленно приказывал он бутылке, и даже губы у него шевелились. Бутылка указывала на Митишатьева. Лева помертвел. «Целуйтесь же, целуйтесь!» — закричали. Митишатьев вопросительно посмотрел на Фаину. Лева впился в нее взглядом. Фаина странно засмеялась, взглянула на Леву и покачала головой. «Ну вот!» — с досадой протянул кто-то.

Бутылку крутанули еще раз, но указала она на самую неинтересную девочку — целоваться всем расхотелось, все как-то само собой распалось. Кто-то снова потушил свет, и все начали целоваться просто так, кто с кем хотел. Левой опять завладела розовая соседка, она тащила Леву куда-то в угол, а он все упирался и озирался, но нигде не находил Фаины с Митишатьевым, ни в одном темном углу, — их не было.

«Да, да... я сейчас...» — невнятно сказал он соседке и вскочил с дивана, на который она таки успела его усадить.

Так он стоял некоторое время, побледнев, весь состоящий из толчков и порывов, делал стойку — даже ноздри у него раздувались (или слышал вдали призывные звуки рога?). «Ну зачем же ты уходишь?» — ласково спросила соседка. Он не ответил. «Ах, вот что, опять ее ищешь...» — догадалась она. «Да нет же! — зло сказал Лева. — Мало ли зачем?» — и широкими прямыми шагами, все равно казавшимися нетвердыми, направился к двери.

Он увидел Фаину с Митишатьевым настолько сразу, как высочил из комнаты, что даже опешил и как бы споткнулся: чересчур пробежался — и резко затормозил. Фаина стояла у сундука, прислонившись спиной к стене, а Митишатьев — перед нею, поставив одну ногу на сундук и одной рукой упершись в стену над плечом Фаины. Вроде бы они так и

стояли, не касаясь друг друга, и до прихода Левы, но Лева почудился некий шорох, какое-то их движение, которое он не сразу уловил. (И долгое время потом, смотрел ли он «Утраченные грезы» с Сильваной Пампанини в заглавной роли, где она стоит на лестнице, а ее матрос как-то особенно поджимает ногу, или читал у Хемингуэя его знаменитую фразу «как всякий мужчина, я не мог долго разговаривать о любви стоя», он не мог ни видеть, ни читать этого спокойно — все мерещился ему сундук в той прихожей.)

Они оба посмотрели на него спокойно и вроде без замешательства. «Ну что, Лева,— сказала Фаина,— как твоя соседка?» — «Ничего», — выдавил Лева, не в силах побороть в горле спазм. «А мы тут разговариваем,— сказала Фаина.— Там душно». — «А!» — сказал Лева. Митишатъев слабо кивнул и только теперь несколько изменил позу, оттолкнулся от стенки и убрал руку, ногу же оставил на сундуке — все у него получилось как бы так, что ему нечего скрывать от Левы: ничего необычного в его позе не было, могут же два человека, увлекшись разговором, стоять именно так, особенно в наше время нескованных и естественных движений, — думать что-нибудь другое, мол, было бы глупо на Левином месте, что может быть смешнее неоправданных подозрений!.. Но Лева думал как раз то самое, а все силы уходили на то, чтобы этого никто не заметил. Но он ощущал, что ничего поделаться с лицом не может... «А я по нужде», — сказал он тогда, как бы шутя и оправдываясь. «Фу, Лева!» — сказала Фаина, смеясь чуть ли не одобрительно. И Лева прошествовал не оборачиваясь. Он постоял некоторое время на кухне, остервенело курия, и вернулся назад. Митишатъева с Фаиной уже не оказалось у сундука.

Они были уже в комнате. «Ну, как ты?» — участливо осведомилась Фаина. «Как, как!» Естественно, как», — сказал Лева даже раздраженно. «Да я не об этом... ты что, дурачок, подумал что-нибудь? Это же смешно!» — «Я ничего не думаю», — гордо заявил Лева. «Вот и молодец!» — сказала Фаина. Подошел Митишатъев. «Может, выпьем? — предложила Фаина. — Позови свою соседку». — «Да ну ее!» — сказал Лева. «Что же так? Нехорошо...» — сказала Фаина. Лева разбудил соседку, она встрепенулась и радостно согласилась. Лева пришлось ей сильно помочь встать с дивана. Выпили. Лева опять оживился, заговорил, все время испытывая неловкость оттого, что розовая соседка висела у него на руке, и неживо топорщил локоть, стараясь казаться отдельным от нее. «Смотри, ей плохо, — сказала Фаина. — Проводи ее». «Тьфу,

черт!» — чуть не взвыл Лева и посмотрел на Фаину с ненавистью.

Он повел соседку к дивану, но тот уже был занят: на нем целовались. Он посадил ее на кровать и хотел там и оставить, но она не отпускала его руки. Лева, не способный все-таки на грубость, с тоской сел рядом. Соседка мягко и ласково приткнулась к нему, терлась головой о плечо. Лева совсем одеревенел. Фаина с Митишатьевым стояли на том же месте спиной к Лева. Соседка вдруг застонала. «Этого еще не хватало», — с тоской подумал Лева, слегка отстранившись. Он увидел ее лицо, пухлый рот — она была совсем ребенок. Мучительная жалость к ней подступила вдруг. «Ну, пойдем, ну, пойдем...» Он тащил ее и вдруг снова обнаружил, что Фаины с Митишатьевым нет в комнате.

Не было их и у сундука. Он тащил розовую соседку по темному коридору, затравленно озираясь по сторонам, словно мог увидеть Фаину в какой-нибудь щели. Ткнулся в ванную — она была заперта изнутри, из-под двери выбивался свет. Оставив соседку, он бросился на кухню — там их тоже не было. Снова бросился к ванной — там было по-прежнему заперто. Он даже наклонился, припал к полу, но ничего не увидел и не услышал. «Я схожу с ума», — сказал он себе, поспешно вскакивая и отряхивая колени.

Он вернулся в комнату и бессмысленно озираясь, снова ища Фаину как бы в щели. Ее не было. Он обнаружил лишь ее сумочку, приткнутую за настольную лампу. Он схватил почему-то сумочку и с нею выскочил в коридор. В дверях столкнулся с той парочкой, что целовалась на диване. Дверь в ванную была отворена, и там теперь никого не было. Он услышал тогда за спиной, как хлопнула дверь на лестницу. Некоторое время стоял в тяжелой рассеянности и ничего не соображал. Бросился на лестницу. Внизу были слышны голоса. Сбежал через три ступени вниз. Никого. И во дворе — никого. Ему вдруг показалось, что идет снег.

Он вернулся и в тупости сидел на диване, открывал и закрывал сумку — щелкал замком. Наконец заглянул внутрь: пудреница, огрызок карандаша, платочек... Завязан узелком. Развязал узелок и обнаружил кольцо. Вспомнил, как она тихо сняла его с пальца. Примерил. Оно не лезло ни на один палец. «Ну и что же, сама говорила, что оно стоит пятьсот рублей, — как-то сухо подумал он. — Мы можем три раза сходить в ресторан, — прокрутилось в нем безучастно, как в арифмометре. — Что же я могу поделать, раз у меня нет денег...» И он сунул кольцо в карман. Завязал платочек обратно в узелок.

Закрыв сумочку. Отнес ее и задвинул за настольную лампу. Отойдя, еще раз посмотрел — точь-в-точь. Уселся ждать, странно спокойный.

«Разве так можно, Фаина! — говорил он мысленно, у него даже шевелились губы. — Разве так поступают люди? Даже если я не прав и зря тебя подозревал, разве можно так измываться надо мной! Чем я виноват? Разве не видно, как человек страдает... Тут и любви не надо — любой сжалится. А ты — как вивисектор. Мне даже представить невозможно, что один человек может другому такое... Да еще любящему. Именно любящему, не Митишатьеву же. Что же ты, Фаина...»

Так он тихо уговаривал Фаину, и она появилась. Подскочила к нему: «Что с тобой, бедненький?» Лева молчал, пощупывая в кармане кольцо. «Мы гуляли. Знаешь как хорошо на реке!..» Лева молча поглаживал кольцо. «Ну, что ты, глупый! Нельзя же быть таким глупым! Ты обиделся на меня? Но как же с тобой еще можно?..» — «Ну, как же с тобой еще можно...» — повторил Лева. «Пошли отсюда, пошли скорей! Как тут можно находиться! Так хорошо на улице... Светло уже». — «А я думал почему-то, что снег пошел...» — сказал Лева. «Какой же снег в июле? Вот чудак!..» — И Фаина направилась к столу, извлекла свою сумочку из-за настольной лампы. Лева, с непонятным удовлетворением, проследил, как она это проделала. Что-то в нем расслабилось, и он вздохнул.

И они вышли все втроем.

На улице действительно было прекрасно.

Лева шел, все в нем слегка и высоко звенело, он не чувствовал своего тела и словно даже летел; что-то они говорили все втроем, и Лева казалось, что что-то все время несильно вспыхивает рядом — он даже поворачивал голову проследить эту вспышку, но там ничего не вспыхивало, а вспыхивало еще рядом, еще немного в стороне... Время от времени он с испугом ощупывал кольцо — оно же никуда не девалось, было на месте. Он вздыхал с облегчением, немножко гладил его, и вспыхивание становилось ярче. «Как Аладдин...» — вдруг сказал он вслух. «Что — как Аладдин?» — спросил Митишатьев. «Шпиль, — сказал Лева, поспешно выдернув из кармана руку, и именно ею показал на знаменитый золоченый шпиль, что был через реку. — Его хочется потереть суконкой, и все тогда пройдет...» — «Это, я тебе скажу, образ...» — сказал Митишатьев. «О чем вы?» — сказала Фаина.

Потом они долго прощались у дома Фаины, словно выжидая, кто первый пойдет домой, а кто останется. Лева молча и

терпеливо ждал, разглядывая три выбитых кирпича, они как раз были на уровне его глаз, и наконец они расстались все сразу: Фаина вошла в свою парадную, они же с Митишатьевым пошли вместе.

Лева испытывал облегчение и радость, и это странное вспыхивание вокруг при каждом шаге еще усилилось. Они шли к трамвайной остановке, подозрения спадали с Левы, как душные одежды, и в сердцевинке, голенький и чистенький, окруженный лишь вспыхивающим белым светом, оставался Лева — ядрышко, зернышко!.. — вдыхал всей грудью, слышал звуки и запахи, и отчетливо зажигались для него звезды; у остановки уже совсем светлело, Митишатьеву еще два шага — и он дома; они дружески, открыто пожимали друг другу руки, и Лева вспрыгнул на подножку первого утреннего трамвая...

...Он ожидал услышать с порога про кольцо, но Фаина была весела, неожиданно ласкова и приветлива, и он удивлялся. Пусть он немного подождет на лестнице, а она быстренько оденется, и они пойдут гулять. Он ждал.

И тут же появилась Фаина, и на ней не было лица. «Что с тобой?!» — воскликнул Лева, чувствуя, какой он бездарный актер. Через минуту он уже раскаивался в содеянном — никогда еще не видал он Фаину в таком неподдельном горе! Его любящее сердце обливалось кровью. С радостью вернул бы он сейчас ей кольцо и утешил, но все в нем сжималось от страха, лишь представлял он себе это свое признание... Фаина его прогонит сразу же, и никогда, никогда больше не увидит он ее! «Хорошо, ну, не плачь же, я куплю тебе другое! — говорил он, как в сказке. — Не простое, а золотое... Может, не такое дорогое... Но это будет м о е кольцо. Тебе ведь дорого само кольцо, а не то, что оно от н е г о?..» — спрашивал он с испугом и надеждой, уже умиляясь возможному счастью: его кольцо — его тогда навсегда и Фаина. «Конечно же само кольцо! При чем тут, что от него!..» — очень прямо сказала Фаина. «Ну, тогда будет, будет тебе кольцо! — с восторгом сжимая ее суховатые руки, говорил Лева почти плача. — Только не расстраивайся, только не плачь!» Фаина вдруг очень быстро успокоилась. «Правда, значит, ты купишь?» — «Правда, правда», — говорил Лева, чувствуя, что вместе с ней успокаивается и сам, и даже огорчаясь, что она так быстро успокоилась. «Ну что ж, продам это и куплю другое... — почти равнодушно уже думал он. — Раз уж так». «Ты знаешь, — говорила

Фаина, — можно купить кольцо сравнительно дешево... За двести, даже за сто пятьдесят рублей, если поискать. И тогда уж мы будем обвенчаны...» — сказала она, поцеловала его нежно, как она это умела.

Лева опять растаял и остался ждать, пока она соберется. «Ну что ж, — рассуждал он. — Продам это, куплю другое, дешевле, и у меня еще останется, и мы сможем раза два сходить в ресторан. Не два, а три, — опять сухо, как в арифмометре, прокручивалось в его голове, — какая разница! А то, что я ей куплю кольцо, так это мне еще вознаградится, — так ужасно он думал. — Поймет наконец, как я ее люблю. Знает же, как трудно мне достать денег...»

В скупочном пункте приемщик повертел в руках кольцо и сказал: «Пятьдесят рублей». «Нет, пятьсот! — чуть не закричал Лева. — Нет, не может быть! Жулик... ну, конечно, старый жулик!»

И он помчался в другой пункт. В другом пункте был уже не приемщик, а приемщица, она бросила кольцо на весы, такие точные весы. («Ну конечно же тот был жулик, — радостно подумал Лева, — даже не взвешивал!») Приемщица тщательно, без конца подталкивая нежную гирьку, взвешивала, потом щелкала на счетах, — у Левы все сжалось и замерло внутри. «Сорок девять рублей», — наконец сказала она.

Он остолбенело стоял, держа перед собой кольцо, и оно тускнело на глазах. «О господи! Медяшка!» — воскликнул он и в сердцах чуть не выбросил в урну, но что-то вдруг, какая-то неясная мысль остановила его — он увидел, как с любопытством смотрит на него приемщица из своего окошка, зажал кольцо в кулак, кулак засунул глубоко в карман и, резко повернувшись, быстро вышел.

Лева еще походил по магазинам, приглядываясь к кольцам: все были очень дорогие, даже за двести-то не было. А откуда же у него хотя бы и двести? А кольца действительно в основном стоили пятьсот и дороже. Фаина была права, Фаина правильно лгала... Вдруг неотчетливая та мысль, по которой он кольцо все-таки не выбросил, как-то вывернулась в его мозгу и стала такой ясной, что Лева чуть не подпрыгнул, во всяком случае воскликнул нечто невнятное, вроде: «О-ля-ля!» Какая-то злость и даже торжество шевельнулись в нем!

Когда он пришел к Фаине, идея уже настолько владела им, что он не мог затягивать игру, придумывать какую-то мерку, которую должен снимать с ее суховатого пальца, а прямо приступил к делу, уже не заботясь о том, чтобы все было правдо-

подобно. Он все еще ощущал непонятную, непривычную в себе силу и злость.

«Дай мне свою руку», — сказал он Фаине. Фаина несколько удивилась непривычному его тону, но, как-то сразу подчинившись, руку дала. «Закрой глаза», — приказал он. «Ой, миленький! — вдруг догадалась Фаина. — Неужели!.. — И она бросилась ему на шею. — Но как же ты смог?..» — «Закрой глаза», — повторил он, — и не смей открывать, пока я не скажу». — «Хорошо», — покорно сказала она. «На каком пальце ты его носишь?» — спросил Лева, вдруг сообразив, что этого он не помнит. Фаина отогнула безымянный. Кольцо надевалось легко, как того и следовало ожидать. «Теперь можешь открывать», — сказал Лева.

Он все еще держал ее руку в своих так, что кольца не было видно. «Ой, Лева, в самый раз!» — воскликнула Фаина, блаженно пошевеливая в его руке пальцем. Никогда Лева не видел у Фаины такого самозабвенного, такого счастливого лица. Она подпрыгнула поцеловать его и попала как-то неловко, мимо, не то в нос, не то в глаз, не то в лоб. Лева почти ненавидел ее.

«В самый раз! — воскликнула она, и Лева отнял руку. — Как ты сумел?..» Фаина вдруг осеклась, вглядываясь в кольцо. Такого лица, пожалуй, Лева тоже никогда у Фаины не видел... Огромное расстояние пролегало между первым и вторым лицом — оно было преодолено мгновенно, со скоростью того света, который пробежал по нему. «Где ты достал это кольцо?» — спросила Фаина другим голосом.

«Купил», — спокойно сказал Лева. «Где?» — «С рук», — сказал Лева. «Это мое кольцо», — сказала Фаина. «Не может быть!» — сказал Лева, леденев от неизвестного ему удовлетворения. «Мое. Я знаю свое кольцо», — сказала Фаина. Жизнь, казалось, вовсе исчезла из ее лица. «Неужели ей так больно узнать, что это сделал я?» — почти удивился Лева. Словно у нее ускользала почва из-под ног, и она уже пошатнулась упасть — такое было у нее лицо.

«Оно не может быть твое. Сколько стоило твое?» — спросил Лева. «Пятьсот», — механически, тускло ответила Фаина. «А это я купил за сто», — сказал Лева, — и то переплатил вдвое. Я потом оценил его — оно стоит на самом деле пятьдесят». Фаина молчала. «Не веришь — пойдем проверим», — уже пережимал в своем торжестве Лева.

«Я не хочу», — сказала Фаина, и лицо ее даже слегка оживилось. — Я не хочу носить кольцо, которое уже кто-то носил». Лева чуть растерялся. «С чего это ты взяла, что его кто-

то носил?» — «Это сразу видно»: Лева растерялся еще больше. «Ты бы сама походила по магазинам — увидела бы, что дешевых колец вовсе нет. Откуда бы я взял такие деньги? Мне еще повезло, что я на это-то натолкнулся». — «Все равно я не буду носить чужое кольцо! — настойчиво, еще более оживая и воодушевляясь, сказала Фаина. — Новое я бы надела, потому что это было бы твое кольцо, от тебя... а это нет».

И Фаина стянула кольцо с пальца и протянула Лева, отсутствующе на него глядя. Лева потупился, цепенел, с силой сжимал кольцо, словно желая раздавить его... И опять что-то спасительно вспыхнуло в его мозгу, он не успел даже четко понять что. «Ах так! — вдруг вскричал Лева. — Ну, так мне оно не нужно. Никому оно не нужно!..» И он размахнулся с неестественной силой и подбежал к окну. Рука его уже летела в замахе, и он все сильнее сжимал кольцо, чувствуя, что никогда не сможет действительно его выбросить... Вдруг он почувствовал, как Фаина вцепилась в его руку, обернулся, взглянул высокомерно: что, мол, еще такое?.. Так он обернулся, все еще замирая от сладчайшей ненависти, столь заполнившей пространство горькой его страсти, поражаясь этому мгновенному равенству, с колечком в занесенной руке... «Не надо, — сказала Фаина, — отдай его мне...» — сказала она тихо и покорно. И Лева подавил облегченный вздох.

Много позже, когда все, так сказать, быльем поросло, Лева взглянул однажды на ее кольцо (Фаина теперь никогда не снимала его) — и вдруг все ожило и завертелось перед его глазами, воскресло и ощущение того вечера с Митишатьевым, и всех последовавших дней... Так сильно, так точно это ощущение вспомнилось, как бывает иногда от забытого запаха или музыки. (Они ехали в стареньком трамвайчике, на последней площадке, по окраинному пустырю, и перед тем, как в д р у г у в и д е т ь кольцо, Лева долго смотрел на рельсы, убегающие из-под вагона в этот пустырь...)

Лева вдруг все это так вспомнил, что не удержался и спросил (а они никогда с тех самых пор обоюднo не заводили разговора об истории с кольцом, а тут он спросил):

— Слушай, Фаина, сколько стоило твое бывшее кольцо? Скажи правду...

Фаина удивленно, недоуменно на него взглянула:

— Почему бывшее? Всегда это и было. Оно стоит пятьсот рублей.

— Нет, оно стоит пятьдесят, — настойчиво сказал Лева.

— Ну да,— сказала она,— в новом масштабе цен оно стоит пятьдесят.

(Примечательно, что после «истории с кольцом» у них был, пожалуй, самый продолжительный и мирный период их отношений. «Все настоящие науки — естественные», — подумал по этому поводу Лева, будущий научный работник.)

Что есть...

Проходит время, и в прошлом все становится как бы более понятным, чем было в настоящем... Теперь же могло показаться странным, что Митишатьев был еще школьным товарищем Левы. Просто он до времени полысел и обрюзг, а главное, как-то незаметно и давно уже приобрел тот ряд незначительных движений и привычек, чисто внешних, по которым мы всегда отличим человека пожилого хотя бы со спины: садится ли он в автобус, вытирает ли ноги, сморкается ли. Если вспомнить, а Лева это еще легко удавалось, то в школе Митишатьев уже выглядел старше всех, даже мог выглядеть старше учителя, словно он менял свой возраст в зависимости от собеседника, так, чтобы всегда быть слегка старше его. Вообще он с видимым удовольствием набрасывался на свежего человека, тем более если они были полностью противоположны друг другу, но всегда умудрялся сойти за своего, даже чуть больше, чем за своего. Говорил ли он с работягой, фронтовиком или бывшим заключенным, то становился чуть ли не более собеседника — работягой, фронтовиком и заключенным, хоть никогда руками не работал, не воевал и не сидел. Но никогда не перебирал — оставался, в общем, наравне, лишь слегка обозначив превосходство так, словно бы он если и пересидел в окопах или в колонии своего собеседника, то всего на день какой-нибудь или месяц, но в то же время хоть и на день какой-нибудь, но пересидел. По этому ли желанию казаться всегда постарше и помногоопытней, по физиологическим ли своим особенностям или по некой внутренней нечистоплотности, которая старит до времени, но Митишатьев выглядел чуть ли не вдвое старше Левы.

Таким он и сходил. Никто толком не знал его года рождения, а кто вдруг узнавал (начальник отдела кадров, к примеру), то от удивления естественно возникала версия о каких-то невиданных событиях и травмах, потрясших недолгую жизнь Митишатьева и наложивших свой неумолимый отпечаток и след.

И Лева, знавшему Митишатьева с детства, казалось неправдоподобным быть его сверстником. Лева с большей лег-

костью соглашался и с фронтовым и с темным прошлым Митишатъева, чем с тем, что они сидели на одной парте. Конечно, никаких заблуждений на этот счет у Левы быть не могло: просто в сознании его мифы Митишатъева давно уже стали более реальными, чем сама правда. Поэтому-то Лева никогда его не выдавал, ему не стоило никаких усилий перешагнуть в себе правду о Митишатъеве и согласиться с любой неправдой (ибо, опять же, неправда была в отношении Митишатъева как бы большей правдой); Митишатъев это ценил, хотя и относился к такому парадоксу как к чему-то совершенно естественному. Во всяком случае, он перестал опасаться Левы в обществе посторонних, не опасался даже молчаливого, косоного или насмешливого взгляда, всегда нас так расхолаживающего, и нес при Леве что на ум взбредет, чуть ли не вдохновляясь его присутствием.

С самого детства Лева оставался непонятным секрет особого воздействия на него Митишатъева. В этом было что-то чрезвычайно простое, даже простейшее — чисто силовое и ничем не оправданное движение, некий прием, всегда один и тот же, даже запрещенный (ниже пояса), но всегда безотказно действовавший на Леву. Это голое давление не поддавалось ни анализу, ни логике: никак не мог Лева расположить его, поняв, в своей системе, то есть победить, перешагнуть разумом, — оно просто было, как некое особое физическое явление, в поле действия которого Лева непрестанно попадал. Более того, оно его притягивало. Лева, конечно, восставал, сопротивлялся (в том-то и дело!), выдвигал щитом свой разум, но противник был неожидан и неистошим.

С детства действовала эта модель, как вечный двигатель... После долгого и безрезультатного препирательства, где правда убедительно оказывалась на Левиной стороне и преимущество неоспоримо, Митишатъев вдруг говорил: «Давай поборемся!» («Стыкнемся!») — и, соответственно, побарывал... и это вдруг оказывалось не просто насилем или физическим превосходством, а подлинно — победой! — в моральном, умственном, во всех возможных планах: так подавал все Митишатъев и так ощущал это Лева.

Постепенно Лева не мог не заметить, что, испытывая интерес и пытаясь решить механизм воздействия Митишатъева, он всегда терпит поражение, а когда, отчаявшись и пролившись, просто на время забывает о нем, отодвигает, нисколько и не победив, то и воздействие кончается, и в этом как бы мерещится победа. Но это неглупое открытие не очень помогло Леве — Митишатъев умудрялся снова и снова втягивать его

в свой механизм и подчинять себе. Начиналось это с ласки: с дружбы, с утверждения Левиных достоинств, с равенства и признания, — и когда Лева, растаяв и даже насладившись лестью и ощущением превосходства, снова клевал наживку, то тут же бывал подсечен: от него отворачивались, над ним смеялись, и он оказывался в полной власти.

Этот, все тот же, цикл заманивания и последующего предательства, такой простой и всегда непонятный, притягивал к себе Леву, как мотылька — свет, и растлевал его душу, постепенно залегая в сознание и там прорисовываясь. Страдание, всегда сопровождавшее этот Левин процесс вовлечения в предательство, каждый раз проходило словно по тому же нежному месту, которое со временем могло перейти просто в нечувствительную ткань, некий плац, по которому шествует предательство, не оставляя следа.

Особенно четко выразилось это в отношениях Левы с его первой и бесконечной любовью. Однажды (по прошествии нескольких лет) Лева внезапно сообразил, что секрет воздействия этой женщины на него, тайна бесконечного его плена удивительно сходны, по механизму своему, с секретом Митишатьева. Господи! Ни там, ни там это не была вполне Левина инициатива... просто эти люди, как некие животные, ощущали как бы некий запах, исходивший от Левы, и чуяли по нему, что Лева им необходим. В том-то и дело, что скорее им был необходим Лева, чем они ему. Они заманивали его, он ощущал эту свою притягательность и некоторое время ходил гоголем, но потом все же раскрывался, разворачивал анемичные свои лепестки — и тогда ему смачно плевали в самую сердцевину... он сворачивался, створаживался и был уже навсегда ущемлен и приколот — не то бабочка, не то значок... И даже если Левина чаша переполнялась от такого глумления, он лишь срывался, как правило, на глупую и позорную грубость — в этом не было и тени превозможания, преодоления или победы. А они пользовались: он тут же оказывается виноват, они же как бы бесконечно обижались в своих чистых чувствах, и тогда тот же Лева не уставал ползать, умолять и извиняться, более и более подпадая под власть.

Все тут совпадает до смешного, все время пульсируя по той же простенькой и всеильной схеме. Даже Митишатьев совпал с Левиной возлюбленной в какой-то точке однообразного Левиного сюжета. Они, конечно, не могли не встретиться, поскольку питались одним и тем же Левою, а встретившись однажды, будто по чистому стечению обстоятельств того же

сюжета, как бы всплеснули руками и уже не могли друг без друга — слились.

Лева навсегда запомнил тот дрожащий, расплывчатый вечер, угол ее дома с тремя выпавшими кирпичиками (они как раз были на уровне глаз и без конца отвлекали Леву), а они втроем расставались и никак не могли расстаться. Чья-то фраза распалась на полуслове и повисла неоконченной, внезапно обозначив никчемность всего предыдущего разговора, столь оживленного; горячее, неприличное даже молчание вытесняло Леву; все трое переминались от нетерпения и в глаза уже давно друг другу не заглядывали... А Лева все не мог уяснить себе что-то, что было, по-видимому, ясно Митишатьеву и Фаине, не позволял себе думать так.

Наконец они разошлись все-таки, и Лева испытывал облегчение и радость, вышагивая рядом с Митишатьевым к трамвайной остановке. Подозрения спадали, как душные одежды, и в сердцевинке, голенький и чистенький, оставался Лева — ядрышко, зернышко! — слышал звуки и запахи, и отчетливо зажигались для него звезды... У остановки они расстались с Митишатьевым (тому было еще немного пройти — и он дома); Лева дружески, открыто пожимал Митишатьеву руку, и тот тоже жал изо всех сил и даже поцеловал Леву, внезапно и порывисто. Лева вспрыгнул на подножку, смущенно улыбаясь и маша рукой, и честно ехал домой.

Спустя несколько лет, в период наиболее длительного разрыва с любимой, когда он начал забывать ее понемногу, с удивлением обнаруживая, что вот же, может быть без нее — и ничего, и хорошо, и не уставал радоваться этому, он встретил на улице Митишатьева. И они бродили, заходили в погребок, предавались воспоминаниям, перебирали однокашников... А у Левы ни с того ни с сего как вдруг засвербило, так и не проходило воспоминание о том вечере, как стояли они у ее дома, все втроем. И Лева все собирался и не решался задать мучивший его вопрос — так они беспечно болтали в погребеке о том о сем. И когда наконец, не узнавая свой голос, сразу выдал себя с головой (хотя все силы его были направлены, чтобы вопрос был безразличен и между прочим), все-таки задал его, то неповторимая улыбочка вдруг подернула губы Митишатьева, хотя он и сказал, что нет, ничего такого не было. Ох эта улыбочка... Лева уже готов был снова мчаться к Фаине и обивать ее пороги. А Митишатьев — в этом было даже какое-то безволие, погружение в порок — не удержался и добавил, что если уж быть до конца честным, каким он и должен быть перед лучшим другом, чтобы уже — все, под-

чистую, и между ними ничего не оставалось... так он вернулся все-таки тогда, когда Лева поехал домой, но, опять же, ничего такого не было.

А тут уж и вовсе — кто скажет, было или не было? Хотя, с другой стороны, зачем бы было Митишатьеву скрывать, раз он знает, что все у Левы с Фаиной кончено? Хотя, и еще с другой, зачем ему признаваться в том, что он вернулся, и скрывать дальнейшее?.. Короче, Лева снова погрузился по уши в прежнее, будто и годы не проходили один за другим и ни шага не сделал он от все той же печки. Вскоре он задавал тот же вопрос Фаине...

И она уклонялась, потому что у них с Левой был мир — только что после встречи, но тоже, как и Митишатьев, не удержалась и выдала мучительную Левочке улыбочку. А потом, как бы устав от Левиных наседаний и махнув рукой, согласилась с предложенной им же версией, тут же отказалась от нее, сказала, что да, Митишатьев вернулся потом, но она его не пустила, а они просто пошли прогулялись и поговорили, что да, конечно, он приставал к ней, но ничего у него не вышло, да, не вышло, хотя он даже затащил ее в подвал своего дома, где хорошо знал все ходы и выходы, что там было тепло, и он там тоже приставал, но, опять же, у него и там ничего не вышло, и что — к черту, наконец! лишь бы Лева отстал от нее! — все, все было, только не в подвале конечно же, а у нее дома, потому что, когда Лева уехал, Митишатьев вернулся и провел у нее ночь, и потом тоже, когда она однажды не пустила Леву (помнишь?), — это тоже был Митишатьев, и потом еще несколько раз... Ну ладно, это она назло говорила, ничего этого не было, ничего-ничего! всегда был только Лева (иди ко мне, милый!)... Просто Лева сам напрашивается, что же она может ему еще ответить? Ну, не надо, милый, я же люблю тебя, ну и убирайся к черту — надоел совсем!..

И такую, все воскрешающую и освежающую, пыточку испытал тогда Лева, так ничего и не узнав! «Да и что мы вообще можем знать о другом?» — мудро думал он, но в этом было даже больше отчаяния — и ничуть не утешало. Он вспоминал своих других женщин — и тогда взлетал, как от зубной боли, и все освещалось ярким белым светом: раз и у него — то у нее что же?! И изменять-то он не изменял, оказалось: его измены лишь ложились на него же добавочным грузом и тянули вовсе на дно. В каждой своей другой женщине ему чудился прежде всего ее другой мужчина, еще Митишатьев. И эта единственная известная Леве ее измена (замужество в счет как-то не шло) оказывалась наиболее из всех ему неиз-

вестной. И вскоре Леве должна была прийти поздняя мысль, что он и не любит уже, а лишь мечтает от этой любви избавиться.

И Лева примерял уже картонные латы и выдергивал из ножен некстати деревянный раскрашенный меч! Но, пытаясь бороться с врагами их же оружием, то есть в свою очередь предавая их, Лева никак не мог переиграть их, перещеголять в предательстве. Он сам же поскальзывался на слабенькой и тихой своей продаже, отшатнувшись от внезапного, возникающего как бы ниоткуда, невероятного их предательства. Чудище огромное, и головы каждый раз новые отрастают... Надо прятать деревянный меч — весь демонизм Левин вдруг оказывался простительной ребячьей шалостью, им преувеличенной до гиперболических размеров, над ним можно было лишь снисходительно и ласково посмеяться.

И хотя эти двое так и не дали Леве ни разу совершить истинно предательство и перешагнуть их, это, к сожалению, вовсе не означает, что чистая его натура вывозила его и не давала пачкаться, — это лишь в сравнении с ними обстояло так. На самом деле, вовлеченный в этот процесс, в этой погоне за растущим как снежным ком предательством, он и сам подвигался к краю, только как бы не сам, а с ними, за ними следом... То есть, незаметно для самого себя, он оказывался по ту сторону и уже потихоньку был способен совершать в отношении других то, от чего страдал сам. И эта возмутительная игра «кто — кого», которую все время подсовывали Леве, пока он верил, что должна быть любовь, а не «кто — кого» (откуда-то льется свет, и играет музыка, и они идут и идут, рука об руку, растворяясь, и утопая, и не наступая друг на друга, и все танцует и кружит в плавном танце, возлетая и разбегаясь, как планеты и миры, расширяясь за все пределы), — эта игра «кто — кого», эта нереальность (Искушение) становились все более явью для Левы, и он пусть неумело и не в силах еще сравниться, но уже пробовал шкодливой ручонкой то, что, перенося свой опыт на всех, ему казалось, все делают, — так что же он, хуже всех?.. И так эти двое вдруг стали делиться и помножаться в его глазах, распространяться со скоростью опыта, что мир уже отчетливо начинал делиться на ОН (Лева) и ОНИ (все).

Вот так, подвигаясь по миллиметру, с невыразимыми мучениями и страданиями (что еще никогда ни для кого не было оправданием), все более к краю, должен же был Лева и свалиться, и оказаться в том большом и набитом людском зале (вокзал), где состоялось бы торжественное закрытие души

Льва Одоевцева! И Лева никогда бы уже не знал, какой он на самом деле, — потому что его бы уже не было.

Лева в конце концов просто поздравато стал понимать, что не столько митишатьевы его дают, сколько он позволяет им это. Так что испытавший поражение уже заражен становится тем самым механизмом, который ему ненавистен, то есть становится не только оскорбленным, ущемленным или проигравшим по сюжету, ситуации, повороту, но и действительно пораженным, как бывают поражены болезнью. И то, можно отдать ему должное, Лева долго сопротивлялся системе отношений «кто — кого», пока, подвинувшись вслед за своими мучителями к краю, с удивлением не обнаружил, что лишь время разделяет их и кого-то другого он уже продает и предаёт потихоньку, передает, так сказать, эстафету кому-то возникающему в недалеком времени — и не хотел ведь принимать ее, а вот уже и сжимает палочку...

Леве не нужен был никто, кроме Фаины. Но от ревности, умом хотел бы он иной раз изменить ей как бы в отместку с какой-нибудь такой женщиной, чтобы это могло задеть Фаину, но, как всегда, ничто не удается по заказу, а лишь произвольно — никакой такой женщины словно бы и в природе не было. Так Лева казалось, что ее быть не может, на самом деле — он не мог.

Тут и появляется Альбина. Эти странные имена характерны для поколения. Уж она-то, с точки зрения Левы, никогда бы не уязвила Фаину, то есть измена с ней равным счетом ничего бы не значила и никакого равновесия установить не могла. Лева имел однажды неосторожность в одной веселой компании пожать под столом руку своей соседки, бледной Альбины. Дальше пожатия дело и пойти не могло: было слишком много народу. Лева и думать об Альбине наутро забыл.

А она не забыла. Она звонила ему без конца. Лева, к стыду своему, вспоминал, как жал ее руку и договаривался о встрече. Она звонила об этой самой встрече. И голос в трубке был такой, что и отказать он не мог, ни, тем более, согласиться. Он ругал себя, ненавидел в себе это хамство, но никак не мог, с детских лет, разговаривать на людях с девочками, потом с девушками, потом с женщинами, которые не были в его представлении красавицами (как Фаина)... — он не мог, чтобы его видели с ними и к нему относили. Хотя могут же быть и просто знакомые: разговаривают, встретились — и по дороге обоим, но это все он допускал в отношении других людей, не себя. Он очень ругал себя за это. То ли виною тому все то же раздельное обучение, о котором мы уже поминали, невольно

приведшее к тому, что если только увидишь мужчину и женщину, то это непременно что-то значит и не может быть просто так, то ли застенчивость Левина невольно выражалась в этом внутреннем хамстве, но во всяком случае ничего он поделает с собой в этом отношении не мог. И не столько даже останавливало его то, что свидание это ему было нисколько не нужно, сколько необходимость встретиться и быть вместе с Альбиной на людях. Хотя она отнюдь не была некрасива (на наш вкус она даже красивей Фаины). Было в ней что-то, как говорится, хорошее и чистое, врать она не могла, к примеру, — но вот Леве в высшей степени были безразличны эти ее столь редкие достоинства, в том числе и ее внезапная преданность, вроде бы ничего не требующая от него... Не мог он с ней появиться на людях, хоть тресни. Хотя доброе его сердце каждый раз не только раздражалось, но и обливалось кровью, как только он слышал в трубке ее голос, ее старательно спрятанную и оттого столь очевидную мольбу. Он бы с радостью уже согласился... Он уже уговаривал себя: мол, и лицо у нее ничего, и одета она со вкусом, что это только он ее так стесняется, другие — нет... а ведь об уме, сердце, всяких внутренних качествах и говорить не приходится — полный идеал. Но было, тут Леву можно понять, в ее отнюдь не безобразном лице нечто выдававшее подвластность тому же механизму, к которому столь страдательно до сих пор был причастен сам Лева. Она была как Лева — вот в чем дело. Только Лева был уже не тот...

Была кромешная, слякотная, с ветром, погода — выбрал же! — они сразу свернули из центра на безлюдные боковые старые улочки, темные почти совсем. Это Лева свернул, сказав так, что не переносит толпу, что ему просто дурно делается. Он в данном случае и не врал: ему действительно почти делалось дурно от кажущегося внимания толпы к нему с Альбиной.

Они свернули в эти улочки, здесь Леве было холодно, но хотя бы темно и людей не было. А она ему в рот смотрела, что бы он ни говорил. Говорил, что толпы не выносит, — так и принимала, соглашалась охотно. Она все как бы ждала (это Лева прекрасно чувствовал), чтобы он напомнил о том вечере, что все это не просто так, что он жал ей руку, а раз непросто, то чтобы пожал еще раз и чтобы дальше все пошло, развиваясь. Но Лева старался не замечать этого молчаливого требования, говорил какую-то скуку о своей работе запальчивым голосом: как бы его сегодня очень разозлили, и у него все с ума не идет. Он как бы не замечал, как она снова и снова протяги-

вала ему свою мольбу (хотя только ее и видел), ему было очень нехорошо, стыдно, неловко — никогда он себя таким мерзавцем не чувствовал, что вот не в силах ответить на чувство, столь абсолютное.

Альбина же все равно ему в рот смотрела, хотя и не слышала ничего. Только вот у нее все шнурки развязывались. Она краснела, жалобно просила прощения и начинала их завязывать; от желания проделать все поскорее принимала такую неловкую позу, что завязать их и вовсе становилось невозможно. Лева же стоял над ней, суетливо торопящейся, ничего не могущей поделаться со стынущими на этом ветру руками, молчал, злой дебил... — да и что он мог сказать, весь искореженный стыдом за ближнего и стыдом за этот стыд! И не дай бог, проходил прохожий, одинокий в этом пустом переулке, оттого непременно было ему необходимо оглянуться и посмотреть с любопытством...

Альбина распрямлялась наконец.

Они шли немного дальше, шнурки ее снова развязывались, и снова все повторялось — она стояла, скрюченная на ветру, без конца теряя равновесие, суетливо от поспешности путаясь в шнурках и от отчаяния уже, по-видимому, вовсе забывая, как она это всю жизнь проделывала: левую петлю на правую, правую на левую?

А погода была — ужас что за погода! Альбина в пальтишке своем уже ходила крупной дрожью — и тоже ничего не могла с этим поделаться, как и со шнурками. А Лева был почти счастлив, что погода именно такая, что она как бы кладет естественный предел, и он стал уговаривать ее: она так продрогла, еще заболит, так не повезло им сегодня, лучше в следующий раз, когда погода будет не такая, непременно в следующий раз, обещал Лева. Альбина же говорила, что сама не понимает, почему дрожит, потому что ей тепло. Это у вас, наверно, жар, уже лихорадка, говорил Лева, и как жаль, что все так вышло...

В общем, с помощью погоды все еще как-то обошлось сравнительно недолго, и Лева, собрав последнее мужество и терпение довести ее до дому, лишь только хлопнула за ней дверь парадной, уже летел как из пращи, ощущая легкость необыкновенную, чуть ли не счастье даже, хотя бы и постыдное. Он так быстро вылетел за поворот, что Альбина, тут же отворившая снова дверь парадной, чтобы что-то у Левы еще спросить или выяснить, никого уже не увидела на этой пустой улице, лишь ветер залепил ей лицо мокрым тяжелым снегом...

А Лева летел назад, к Фаине, пел даже от радости и клялся

себе, божился, что никогда больше на такую жуткую штуку не попадетя, — кому же приятно ощущать себя скотом!

Однако, вернувшись, он не застал Фаины. Он ждал ее, ждал — она же куда-то делась, неизвестно куда, не оставив даже записки, не предупредив. Собиралась же весь вечер быть дома?.. И не звонила даже. Впрочем, был уже час ночи, объяснял он себе, и она боялась разбудить соседей...

Лева не спал ночь: так вот — возмездие! Ах, какая все это мука!.. какая муть!.. Одна красивая, другая — нет. Но и это поди докажи. Красота — это такой обман! А красива ли Фаина? Смешной вопрос — какая разница? Отекшая, с расплывшейся косметикой, нечистыми глазами, нехорошим дыханием, храпом, запахом пота — она дорога Лева, и все тут, даже дороже. И как же измучит его отвращением крохотный утөрек под ухом раскрасивейшей Альбины, когда он всем своим существом отрывается от нее и разглядывает со стороны! Нет ничего некрасивей красивой женщины, если вы ее не любите, если уж на то пошло. Только временный обман, оптический фокус, а потом — одно уродство и неудобство.

И сколько же люди накрутили на женскую красоту — бред какой-то! Красивая Альбина некрасива, когда ее не любят. Вот идут они с Левою, умолила о встрече, напросилась в кафе, ест пирожное и плачет — что, кроме ужаса, испытывает Лева?.. А потом они идут рядом, и Лева словно в километре от нее, и руки в карманы спрятал, и локти к бокам прижал — и ей руки никак под локоть ему не просунуть... Тычется бедная лапка, бедная варежка, бедное отдельное существо ее руки, рыбка об лед, рыбка с тупой меховой мордочкой. Плачет красивая Альбина, говорит что-то жарко, слитно, горячее дыхание рвется с ее губ, глаза ее в Леву заглядывают, просят, а он и не посмотрит и не слышит ничего — идет в километре. И только все видит боковым своим неприязненным зрением, как крошка от пирожного застряла у нее на губе и прыгает, прыгает. Отвратительна ему эта крошка от пирожного — и больше ничего в Лева нет. Какая там красота — одно уродство! Какое там уродство — одна красота...

А ведь и не так это все. Альбина, конечно, и страдает, но «и страдает»... Очень существенно это «и»! Она убеждена, что Лева, хоть часто и ведет себя не так, как ей бы мечталось, — а ведь любит ее. И видит она эти его проявления любви во всем и копит их. Пришел — любит, ушел — тоже любит. Ласковый — это к ней. Неласковый — неприятности по работе. А вдруг заболел?.. А может, Лева и любит Альбину, кто знает?

Она-то одна и может это знать. Ведь Лева знает, что Фаина любит его. Только напускает на себя что-то: молода еще или не понимает, не осознает...

Но в одном Фаина все-таки помогла Леве — он вышел из-под власти своего друга. После расплавленного свинца Фаины его уже не обжигал соленый кипяток Митишатъева. Время лечит.

Но и в этом он ошибался. Так ему, естественно, должно было казаться, потому что долгое время ему было не до Митишатъева. Но Митишатъев, как известно, терпелив. Он может ждать своего торжества сколь угодно долго. А у Левы лишь засыпала бдительность. И однажды, в наиболее спокойный и полный Левин период, когда Фаина уже год как снова вышла замуж и уехала чуть ли не на Сахалин, а Лева, наконец как-то стабилизировавшись, поступил в аспирантуру, набрел на очень интересную тему и погрузился в науку, был горд и счастлив от этого, ощущал прилив сил и некий творческий потенциал, возносивший его над однокашниками, коллегами и руководителями, когда он хоть в своем деле, но почувствовал себя зрячим, когда жизнь наконец начала приносить удовлетворение и он почувствовал, что его не собьешь, — Митишатъев объявился из небытия. И Лева повторил ту же ошибку, которую бесконечно повторял еще в школе.

Митишатъев не менял основного своего метода, но менял обличье. Против всех его обличий, казалось, Лева уже выработал противоядие и развенчал их для себя. Но он все-таки ошибся, наивно предполагая увидеть в Митишатъеве одно из прежних обличий и восторжествовать, будучи до зубов вооруженным. Митишатъев же зашел, как всегда, с тыла. В наше время уже очевидно, что Ахилл — самый обреченный человек и падает едва ли не первым. Потому что бессмысленно бить по неуязвимым местам, когда есть эта прозрачная пятка... На этот раз Митишатъев обвел Леву вокруг пальца так просто, так примитивно, что потом Леве лишь оставалось развести руками, недоумевая. Это было все равно что, ожидая быть отравленным редкостным азиатским ядом, подсыпанным в столетнее вино, попросту получить в зубы.

Митишатъев позвонил Леве и, опустив всякие приветствия, расспросы и рассказы о том, что произошло за все это долгое время их разлуки, сразу, рывком вырвал у Левы немедленное свидание. Тем особым для такого случая голосом, который Лева прекрасно узнал, Митишатъев сказал, что он должен объяснить Леве нечто чрезвычайно для всех важное, до чего додумался только он, Митишатъев. Все было так на не-

го похоже: и многозначительный тон, и намерение поделиться каким-то своим сверхопытом, что Лева чуть ли не потирал руки от удовольствия, как невластен окажется Митишатъев со своими прежними штучками — против него, Льва Одоевцева, в равновесии и мудрости; Митишатъев со своим невежеством — против научной, совершенной мысли... Вся беда, что Лева слишком вооружался, слишком воображал себе врага — враг же был прост.

Условно (а эту сцену и можно изобразить лишь условно) дело происходило так...

Митишатъев с порога заявил, что он — мессия, что достиг вершины и способен перевернуть мир. Что были до него, пользуясь выражением Горького, Христос — Магомет — Наполеон (он назвал, впрочем, иные имена), — а теперь он, Митишатъев. И потому он, Митишатъев, для начала, духовно задавит Леву. «Ну, и как же ты это сделаешь?» — сказал Лева, снисходительно улыбаясь. «Очень просто, — сказал Митишатъев, — я ощущаю в себе силы». — «Силы — для чего?» — «Для того, чтобы перевернуть весь мир, а для начала — духовно задавить тебя, потому что ты — мой идейный враг». — «Почему — враг? Мы же еще не...» — «Враг», — твердо сказал Митишатъев. «Хорошо, но как же ты меня задавишь?» — «Очень просто, — уверенно отвечал Митишатъев, — я ощущаю в себе силы. Были «Христос — Магомет — Наполеон», а теперь я. Все созрело, и мир созрел, нужен только человек, который ощущает в себе силы, — я ощущаю в себе силы». Все, больше Митишатъев ничего не мог сказать... Лева подставлял ему ловкие подножки, развенчивал, глумился — Митишатъев лишь презрительно морщился: ерунда, интеллигентские мелочи, слабость ваша вас же и съест, слабость ваша сильнее вас, с вами и бороться не надо — вы все сделаете своими руками; им уже написана статья «Уверенность в собственном враге», и скоро она появится в центральной печати, и тогда все поймут... а Лева — враг, и он, Митишатъев, просто поставил сегодня маленький эксперимент (небольшая проверка теории на практике) и еще раз убедился, что прав и ощущает в себе силы... И вдруг Лева устал и сник. Он не мог уже ничего противопоставить Митишатъеву, не мог ему возразить, не мог его победить — побеждать было нечего, все то же голое давление, голое пространство, пустыня... «Стыкнемся?» Лева обесилел.

«А что, если действительно? — уже почти в бреду, даже отодвигаясь от Митишатъева, подумал Лева. — Он же действительно их в себе ощущает... Я вот знаю, но бессилён дока-

зять ему даже то, что знаю. А я же не ощущаю в себе силы? А Митишатъев ощущает...»

«Ты чувствуешь в себе эту силу?» — грозно, как бы в ответ на Левины мысли, сказал Митишатъев. Лева машинально, прежде чем опомнился, отрицательно и робко дернул головой. «А во мне?» — шагнул он к Лева. Лева чуть ли не сжался, и действительно, какое-то чудо происходило на его глазах с Митишатъевым — тот раздувался, становился громоздок и постепенно заполнял собой комнату, надвигаясь на Лева и жарко дыша. Лева ощутил сильный, настоящий ток, исходящий от Митишатъева. Это было как психическое поле необыкновенной силы, и Лева цепенел и глядел неподвижными глазами — Митишатъев заполнял собой комнату... «Чувствуешь силу? — громко шептал Митишатъев, жар так и полыхал в его словах и дыхании, и Лева все сильнее прижимался к шкафу. — Ну, говори, возражай, что же ты молчишь?! Чувствуешь или нет?!» — «Чувствую...» — беззвучно разлепил губы Лева. «То-то же», — удовлетворенно сказал Митишатъев и вдруг, резко развернувшись, ушел. Лева остался, чувствуя себя совершенно разбитым и больным. Он не мог себе объяснить, что же произошло, и не померещилось ли ему все это. Он уснул вскоре тяжелым сном и наутро попросту отогнал от себя все, как мираж и видение.

Но и это прошло. Они столкнулись с Митишатъевым в учреждении, где Лева уже дописывал диссертацию, а Митишатъев только поступал в аспирантуру. Оба теперь производили весьма солидное и заурядное впечатление, обо всем вспоминали как о детстве, и когда Лева не совсем уверенно намекнул на тот странный визит, Митишатъев все начисто отверг и посмеялся. Тут же он очень путано рассказал, как лечился одно время в нервной клинике. «Странных, знаешь ли, людей там повидал... — самодовольно говорил он. — Берет тебя такой за пуговицу среди бела дня и шепчет пронзительно: «Видишь, звездочка? Зелененькая, видишь?» Но и эти рассказы несколько напоминали его окопы и тюрьмы. Не мог Лева, столько лет принимавший Митишатъева на свой счет, согласиться с тем, что он просто сумасшедший.

И хотя все проходит и мы со временем все-таки выходим из-под вещей и людей, нас тяготивших, точнее, изживаем их в себе, хотя Лева теперь уже уверенно полагал, что Митишатъев — попросту незначительный и дрянной человек, — нечто если и не загадочное теперь, то загадочное по воспоминаниям, нечто освященное детством, сохранялось в отношении Левы к Митишатъеву до сих пор. «Все мы отчасти мити-

шательству...» — успокоенно говорил себе Лева и уже не обязан был ощущать нечто непременно значительное в людях попросту дрянных. «Как и не мы...» — говорил себе Лева, словно с грустью употребляя любимое выражение Митишательства — «как и не мы».

Примечательно, что, несмотря на свои необыкновенные для карьеры достоинства и чуть ли не из-за этих своих талантов, Митишательств, так сказать, еще мало достиг в жизни, даже много меньше Левы, хотя они и работали в одной области, и тут Митишательству следовало, по старой его схеме, ни в коем случае не уступать. Но Митишательств словно успокоился, а может, и растратился бескорыстно, в огромной степени, на Леву, еще в школьных и институтских стенах.

Курил Митишательств только «Север».

Не совсем такие, но такого рода мысли и воспоминания с особой четкостью и внезапностью пронесутся однажды в голове Левы, и повод для этого будет достаточно далекий. Тем более что Митишательства Лева теперь видел почти каждый день и вовсе не думал о нем.

...Был морозный день, и Лева топтался на углу, под часами, вблизи автобусной остановки, ожидая прелестную Альбину, которой в ту пору так старательно морочил голову, что даже сам заморочился, хотя бы из честности. Он пришел чуть раньше — так получилось, он несколько не нервничал, так как был уверен, что она придет, даже примчится, а потому спокойно поглядывал по сторонам, по возможности развлекаясь созерцанием улицы.

Тогда-то он и обратил внимание на юношу, стоявшего на автобусной остановке, не в очереди, как все, а несколько поодаль. Юноша этот, несмотря на мороз, был без пальто и без шапки, причем было видно, что так он ходит всю зиму, а не просто выскочил в ближайший магазин за вином. По какому признаку это было очевидно, трудно сказать: то ли не было в нем того возбуждения и нетерпения, которое естественно для раздетых людей на морозе, то ли так спокойно он стоял, не дрог, не переминался, что было понятно, что это для него привычное дело, закалка, то ли еще и одет-то он был бедно: под несуществующим пальто — свитер нечистый и коротковатый, и большие стылые кисти вылезают из рукавов, сколько их ни поддегивай, ну, естественно, брюки мешками на коленях и тоже короткие... Лицо его было сделано крупно и неплохо, довольно мужественное лицо, несколько сероватое, из тех, что

даже у чистоплотных людей кажутся невымытыми или слегка порочными; было и еще выражение; не очень броско, но четко расположенное в его лице — его можно было бы назвать выражением самолюбия: некая сумма отблесков вызова, скрытности и недоверия. Так он исподволь поглядывал на прохожих, со скрытой усмешкой, что ли, особенно на девушек, — тут скрытая усмешка чуть возрастала и почему-то очень его выдавала, не открытостью выражения, а, наоборот, его скрытостью, ощущением невероятного напряжения воли, уходящей на эту скрытость. Такой вот он стоял, вполне нормальный, разве чуть более независимый и отдельный, с книжками в руке (наружу смотрел Писарев золотыми буквами), и Лева вдруг сообразил, что видел подобного юношу не однажды, только внимания не обращал. Давно уже попадался ему на глаза такой молодой человек. Он объявился в их группе на первом курсе. Его закаленность вызывала уважительную усмешку, и прозвали его поэтому и почему-то Циклоп; девушки все посматривали на него внимательно и заинтересованно, но ни одна бы с ним не подружилась; учился он не слишком ровно, но иногда становился мазохически трудолюбив, поднимая какую-нибудь, ни с того ни с сего, очень узкую и странную область знаний и прочитывая чудовищную по объему литературу; в нем был намек на призвание, но к диплому он уже охладел и надежд не оправдал... Что же еще?.. Подтягивался на перекладине он безусловно рекордное количество раз (в длинных трусах, с некрасиво согнутыми ногами), вызывая удивление без восхищения, но в общем был не слишком ловок, занимаясь наедине подниманием утюгов и стульев... Передлевой вдруг отчетливо всплыло его тело — с чрезвычайно мощным брюшным прессом и длинными сильными руками, очень бледное... оно именно всплыло, как тело утопленника, на поверхность его памяти.

Справедливости ради, он вовсе не был похож на Митишатьева, но вспомнил же Лева именно Митишатьева, причем с такой внезапной ясностью и свежестью, которые были уже невозможны благодаря столь долгому, близкому и затертому общению. Особенно тот момент у шкафа. И еще один, о котором не вспоминал никогда, более того, не понимал никогда, и только сейчас вот, глядя на юношу, ощутил и понял...

Митишатьев не умел звонить по телефону-автомату! То есть опустить монету, снять трубку, набрать номер, нажать кнопку... Вся эта последовательность была для него абсолютно неясна. Пожалуй, он научился этому лишь на последнем курсе университета. Да, да, да! Он не знал, как это делается, и спросить ни у кого не мог. И всегда, когда Лева говорил:

«Так ты позвони мне», — Митишатъев странно улыбался и никогда не звонил. И даже за каким-либо пустяком пер через весь город, совершенно без всякой гарантии заставить, а позвонить не мог. Зато никто не знал этой его маленькой слабости... Тут Лева так пронзительно ощутил человека этого изнутри, что у него даже слезы навернулись. И эта странная, непонятно откуда пришедшая убежденность, что этот-то момент больше всех прочих раскрывает душу Митишатъева, тоже была ни на что не похожа, а объяснить ее себе Лева бы не мог.

...Лева стоял и смотрел на поверженного своего врага и ощущал некую пустоту, не то печальную, не то сладкую, и враг его уезжал от него, ловко повиснув последним, и сам он был уже в автобусе, а рука с Писаревым еще плыла по улице.

Так и не разобрался Лева... А когда вспомнил однажды, еще через время, то оказалось: и разбираться не в чем. То и выходит, что разберемся мы в чем-то не ранее, чем оно покинет нас, а тогда такое понимание нам как бы и ни к чему... То есть на самом-то деле «что было» и «что есть» настолько взаимоисключено и пересечено, что окончательно перепутано. Так что, и разобравшись во всем, мы по-прежнему не понимаем, что же было: то ли то, что Лева в свое время ощущал с такой силой, то ли то, что он понял, когда уже перестал ощущать. Какое же из двух прочтений истинно?..

Истинно ли его чувство, совершенно не ведавшее трезвой реальности, обманутое и слепое, не видевшее ничего из того, что было очевидно всем? Или истинно его приобщение к действительному пониманию ситуации, когда ее уже не существовало для него?.. Что же из двух б ы л о и е с т ь, что более кажущееся? А пожалуй, мы и не ответим. Нам кажется бесполезным это его второе знание, потому что нет уже того, к чему оно с такой исчерпывающей как бы точностью относится. А когда все это б ы л о, то не содержало в себе знания о себе.

И в этом парадоксальном смысле: было, что есть, и есть, что было. И время помещается одно в одно в любом направлении, обнаруживая поражающую одновременность существования всех трех времен. Мы не знаем, что с нами будет, знаем, что было, и убеждены, что отдаем себе отчет в настоящем. Между тем наш же опыт нашептывает нам, что прошлое свое в свое время мы представляли себе неверно, пока помещались в нем как в настоящем, и происходило оно для себя совсем не в том смысле, какой мы усматриваем сейчас, а в своем, в бессмысленном, то есть в том, настоящем, как мы теперь пони-

маем, своем смысле оно не существовало никогда; в настоящее же — мы погружены и понимаем его лишь в меру необходимости преодолеть его и обратить в понимаемое прошлое, про настоящее достоверно лишь одно: что оно — пройдет, обратится в прошлое, доступное нашим объяснениям, в том будущем, которое станет когда-нибудь настоящим. Про будущее... мы уже лишились того простодушия, чтобы говорить о нем. Про будущее и говорить нечего, потому что его просто нет сейчас. Потому что его еще не было.

Маленькое потрясение, бубновая дама, дальняя дорога, хлопоты... Все это так — кто откажется? Что было, что есть, что будет... Карты бывают на редкость правдивы, потому что обо всем расскажут, лишь одного не обозначив с окончательной точностью — времени. Да, дорога, да, казенный дом и, конечно, дама. Но — когда?..

Что будет...

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли.

«Медный всадник»

Однажды на праздники Леву назначат дежурным по институту. Так у них заведено. Это значит, что ему придется пробыть какое-то время в этих обширных и нежилых стенах в полном одиночестве. Но как молодой, еще бездетный, не несущий особых общественных нагрузок сотрудник, у которого, кстати, вскоре после праздников назначена была защита, отказаться он не сможет...

...Лева убедил себя, что это даже к лучшему (что ему, впрочем, оставалось?), что с Фаиной он так и так снова в разводе и потому никаких планов на праздники у него не было, что ему нужно готовиться к защите, а где же в праздничной суете ему еще удастся поработать?..

Тем не менее первый же свой предпраздничный еще вечер Лева провел в совершенной и все возрастающей тоске. Сестра за работу он так и не мог. Он слонялся по коридорам, заходил в пустые комнаты, рылся в чужих столах и ничего не находил там любопытного — одну чепуху и дрянь. Погода за окном была как грязная и мокрая вата. В заведении было холодно, хотя и топили. В течение рабочего дня Леве никогда не бывало так холодно. Он впервые так остро ощутил неприязнь к своей академической цитадели.

Он звонил Фаине — ее все не было дома. Когда же он наконец услышал ее бодрый и веселый голос, его тренирован-

ное воображение мигом нарисовало определенные картины, столь привычные, что почти необходимые ему в своей растравляющей яркости. Но нет, сказала она, он все это придумал как всегда, просто такое у нее сегодня настроение, просто предпраздничное... а как его дела? Она, казалось, ничего не помнила: ни их последнего разговора, ни оскорблений, ни разрыва... Она ему звонила — его не было дома... Вот как, даже звонила? От ласкового ее тона, от неожиданной снисходительности Лева растерялся, растаял и охотно стал жаловаться на судьбу, заперевшую его в стенах института, по-видимому ожидая от Фаины сочувствия. Но она вдруг рассердилась: вот всегда с ним так, а она-то хотела провести праздники вместе... — и повесила трубку.

Лева привычно раздергался, начал судорожно звонить, пугая цифры, но все было занято. Он хотел ей окончательно сказать, чтобы она его не разыгрывала, что он все знает, что он не мальчишка уже, чтобы вертеть им, как... и т. д. Но было занято. Тогда он захотел ей объяснить, что это не его вина, что он застрял в институте, что (хочешь?) он плюнет сейчас на все — и на институт и на диссертацию — и придет... Но было занято. Тогда он захотел сказать ей просто, не объясняясь, что по-прежнему любит ее, пусть она на него не сердится, и они тогда придумают, как быть, потому что всегда что-нибудь можно придумать, если любить и не мучить друг друга... И тут вдруг соединили. Лева сказал ей: с кем это она, интересно, болтала полтора часа... Фаина сказала... У них состоялся совершенно беспредметный разговор, и оба уверенно швырнули на рычаг трубки. Больше никто к телефону не подходил, только Лева ни звонил. Потом он без конца стал попадать в аптеку.

Но и эти телефонные страсти помогли ему скоротать вечер, и он улегся на директорском диване — уснуть же не мог. Он спустился тогда, с бессонным своим лицом, к вахтерше, и они разговорились. Лева вежливо выслушал ее рассказ о дочери и пьющем зяте, и ему показалось, что он этот рассказ где-то уже слышал или, может, читал. Ему стало скучно и хотелось поговорить о себе. Что он и сделал, постепенно увлекаясь и впадая в ненужную откровенность. Вахтерша слушала со здоровым любопытством и туповатым оживлением на лице: Лева рассказывал о своей любви с большим чувством. Он уже ощущал тот ужасный осадок, который сопутствует излишней болтливости. И чем больше он его ощущал, тем стремительней говорил. Вахтерша уже даже не могла поддерживать беседу — лишь слушала с очевидным сладострастием. И Лева

вдруг сморщился и осекся. Тогда вахтерша, совершенно точно почувствовав свою власть надлевой, попросила отпустить ее к дочке, чтобы помочь ей справиться с пьющим зятем: все равно они вдвоем тут ни к чему и он прекрасно справится сам. Лева тут же поспешно согласился, сказав ей «спасибо» вместо «пожалуйста».

Лева поднялся к себе наверх и на этот раз поспешно заснул, чтобы не вспоминать, что же он наговорил вахтерше, уснул с тем странным вечерним чувством интеллигента, что был как бы пьян: брал или не брал в рот — безразлично.

Снилась ему широкая река, как бы та самая, что течет у их института, но и не та самая. Она неожиданно и не вовремя вскрылась ото льда и оказалась густая, как клей. Над ней стоял тяжелый пар, и все сотрудники института, невзирая на положение и возраст, должны были плыть через нее...

Разбудил его телефонный звонок. Лева судорожно вскочил, проглотил затрепыхавшее, подступившее к горлу сердце и некоторое время озирался, не понимая, где он и почему. Наконец взял трубку. Это был Митишатев. Он на демонстрации, в двух шагах от Левы, и сейчас заглянет к нему. Очень важное дело... Опять та же таинственность... Лева добродушно усмехнулся этому постоянству. Лева прекрасно знал, что это за важное дело: Митишатев хлопотал по поводу десятилетия их школьного выпуска, организовывал встречу. «Уже десять лет!» — растрогался Лева.

Лева проснулся. Он был рад, что проснулся другим человеком. Вечернее намерение утром поработать, несмотря ни на что: ни на злополучную Фаину, ни на весь вчерашний унижительный вечер с его вахтершей, уже вовсе потусторонней, — пометавшись минутку, легко исчезло... И остался всего лишь Лева, радующийся подвернувшемуся случаю быть не одному, а на людях, без необходимости вести тяжкий диалог с самим собой; Лева, разъединенный и испытывающий облегчение, — всего лишь Лева, вскакивающий с дивана, потягивающийся своими неловкими членами, криво улыбающийся, протирающий глаза, собирающий у конторского зеркала свое разбежавшееся лицо в некое частное целое; Лева, вдруг направляющийся к окну и выглядывающий в него...

Это было неожиданное и неоправданное движение, проделанное уже другимлевой, внезапно вернувшимся. Как уж там замкнулось в его мозгу, таким легким мостом соединив две точки, столь удаленные, трудно объяснить, как и во всем

последующем сейчас куске трудно установить последовательность, что после чего и что в результате чего, и трудно не перепутать причину со следствием, чем дальше, тем больше являющихся полным равенством в отношении моего героя, — но он подбежал к окну с той внутренней легкостью и невесомостью ребенка, которая не имела никакого уже внешнего выражения: он протопал поспешно к окну, что-то подтолкнуло его поскорее выглянуть в него. И пока он подбегал к окну и выглядывал в него, небольшая мысленная картинка вставала перед ним, будто объясняя его внезапную детскую легкость. Картинка была из «Трех мушкетеров», в том виде и ощущении, какое было вот тогда, давно-давно, лет так двадцать назад, когда он, вернувшись из школы, в пустой квартире, сидел с ногами в мягком кресле, напялив отцовскую ермолку и прихлебывая чересчур сладкий чай из стакана в фамильном подстаканнике (вензель в подстаканнике стоял внизу картинке, как подпись художника). На картинке г-жа Бонасье в монашеском одеянии, такая прелестная, подбегала к узкому монастырскому окну и застывала в той неостановившейся позе: как бы еще бежала туда, за окно и дальше, ступая легкими ногами уже по воздуху; замерев, выглядывала она в окно, а там скакал спасительный и надежный д'Артаньян, и плащ его развевался с крестом мушкетерским; но было уже поздно: она могла подбежать к окну, могла выглянуть — но простоять в этой своей стремительной позе не могла дольше, чем д'Артаньян, стуча запыленными каблуками, вбежал бы по монастырской лестнице, оттолкнув шпионку-настоятельницу... А там г-жа уже падала, сладко охнув, так медленно, что д'Артаньян успевал пробежать залу и подхватить ее, падающую, и лишь тогда она выпускала дух на возлюбленных руках, и этот вздох был последним поцелуем, таким сладким, что — что же делать, как не умереть! — продолжения уже быть не могло... Фаина, о боже, Фаина! Она падала у высокого стрельчатого окна, и успеть можно было лишь подхватить ее, но уже мертвую, обрекающую ее д'Артаньяна лишь скакать и скакать до самой смерти, чтобы плащ его развевался...

Лева подбежал к высокому окну бывшего особняка, а ныне учреждения, заточившего его в свои стены на время всенародного праздника и гулянья, и выглянул в окно с защемленным сердцем.

Набережная была, как всегда, пустынна, но все же некий отплеск гула проходившего рядом потока демонстрантов — достигал; черный копер, ныне столь безжизненный, плавал,

приткнувшись к недобитой свае; булыжная мостовая кончалась, не достигая реки, оставив земляную полосу, огражденную от воды частоколом шпунтовых досок, и по этому тротуару, по этой тропе шла Фаина с неизвестным доселе Лева спутником... Был он как-то высок, кудряв, неожидан для Левы по внешности, почему-то в ватнике — не пижон. Как раз они огибали лужу, лужа в этот момент раздвинула и разъединила их, дотоле шедших рядом, руки их натянулись над лужей, посреди лужи оборвались и упали со смехом. Были они одни на набережной, отдельно и странно, точно актеры, точно сзади медленно полз открытый «ЗИС» и велась за ними съемка, а Лева, где-то сверху, следил за разыгрываемой сценой — режиссер и бог.

То ли погода была... Ветер высоко в небе. Раздутые струйки облаков. Прозрачность. Странная погода — и в голову приходило, что действительно накануне демонстрации разгоняют непогоду самолетами, чтобы сама природа праздновала вместе с людьми, как в отчетах. Вчера — непогода и слякоть, завтра — та же непогода, даже еще большая, озверевшая от людского вмешательства, сбита с толку, запутавшаяся в собственной злобе... А сегодня — ясность, промытость, синь разорванного пополам пространства, разорванного таинственными и мощными боевыми машинами, которые сегодня полетают еще на парадах в расчищенном для себя небе, хорошо видимые народу.

Лева замер в окне, распахнув его одним ловким движением, только что не вываливаясь из него на улицу. В Леву дуло пронзительным, с иголочками, ветром, словно бы получившимся в результате этих неправдоподобных самолетов. Дуло словно в люк, и действительно, все это синее, прозрачное и пустое пространство было вполне дырой, стремившейся сомкнуться и исчезнуть, прорубью, которую тянет затянуться льдом, и ветер был вполне понятен.

Лева стоял в этом окне никогда не спавшим человеком, имея в душе непонятное сходство с этой рваной, истерзанной, проясненной погодой.

Видел он и Фаину, еще вчера такую мучительную, и ее нового спутника, именно того, неведомого и недостижимого, который стоял за всеми конкретными ее спутниками, который удалял Фаину, осязаемую и близкую, в далекую даль — туда убегала Фаина с опрокинутым и уносящимся лицом, исполненным некой отчаянной и рискованной надежды, похожей все на ту же сегодняшнюю погоду.

И спутника ее, такого кудрявого... Что-то кудрявые и не

встречаются нынче?.. Лева вдруг одобрил ее вкус. Красивым тот, конечно, не был. Но было в нем нечто, избранное Фаиной, открытое ею. То, что Лева никогда бы не увидел в нем, не будь Фаины рядом. Лева ощутил нечто вроде того удивленного почтения, которое мы испытываем, увидев некрасивого партнера с красивой женщиной или, наоборот, видного мужчину — с некрасивой, когда красивые кажутся нам обладателями некоего знания или истины, позволяющей им быть вместе с любимыми, независимо от общественного мнения, и владеющими потому тайной счастья. Он вспомнил свое тихое недоумение над иностранными журналами с фотографиями кинозвезд и их супругов.

Спутник шел, исполненный силой, которую придала ему Фаина, и это не убивало Леву, как обычно, навывлет, хотя Лева и видел все, как всегда видел, — но не так видел. Тут был и неважен факт, который так терзал обычно Леву в отношении его любимой: было или не было? С этим или с другим?.. Что за глупость! Это ли может кого бы то ни было интересовать? Это ведь даже не факт. Факт — это сама Фаина. Передлевой вдруг, впервые за много лет, возник сам предмет, реальный предмет, реальная Фаина, идущая вот сейчас мимо его окон, по набережной, с незнакомым Левае спутником. Лева впервые за много лет увидел Фаину...

Была она совсем не так хороша, как казалось его растрогаемому воображению. Была она устала и невесела, хотя и было в ней что-то, не позволявшее подумать, что она несчастна сейчас, — тишина, что ли, и покой. И значительность ей, пожалуй, мог придать лишь ее спутник, как и она ему. Нет, он не смотрел на нее ни восторженно, ни восхищенно, ни умиленно — просто во взгляде его не было и тени сомнения, что Фаина — единственная на земле женщина, и о достоинствах и недостатках ее говорить не приходится, потому что сравнения нет и быть не может. Так выглядят, наверно, счастливые люди — неотъемлемыми друг от друга...

У Левы вдруг все замерло от любви к ней, именно к ней, ни к кому больше, — и себя в этом не было. Впервые, быть может, за все время его чувство и можно было назвать любовью, разве что еще какой-нибудь один далекий момент, самый первый, уже забытый им.

То ли резкая такая была сегодня атмосфера, что, хоть через улицу и сверху, Лева видел все как в бинокль: морщину на шее и слабеющую кожу щек, шляпа какая-то дурацкая, пуговица болталась на ниточке, истерзаный один каблук (в эскалаторе, наверно, побывал) и подламывающаяся ее по-

ходка... Резкость изображения вдруг начинала исчезать — слезы Левины.

И то, что всегда представлялось ему броней, силой, направленной против него — наряды, марафеты, повадки, — вдруг показалось Леве трогательной беззащитностью, неуверенностью, слабостью — нежный хлыстик против навалившейся жизни; все это не имело знака ни плюс, ни минус, не имело вектора, не было направлено, чтобы пронзить его... И недавний, последний их разговор: Лева все нападал в отчаянии и не добивался ничего, бился об нее, а она — как стена, — и словно бы кровь течет по его лицу, терновый венец... Что она сказала ему? Молчала и молчала, непроницаемая, и вдруг: «Ну что я тебе сделала? Что я с тобой такого сделала? Ну, ответь! Ответь!» И вдруг Леве нечем ответить ей, ведь действительно: что она ему сделала?.. Лева опешил, и все его многочисленные, разветвленные доводы испарились, и просто — не было ничего. Действительно, что она сделала? Лева остался в немом удивлении, и она ушла.

Счеты?.. Какие же у них могли быть счеты!..

Вот и лужу они обошли. И руки их снова нашлись. И лица повернулись к Леве в профиль и исчезать начали... Затылок у него смешной... Смех, ее извечный смех, вдруг рассыпался по мостовой, по отдельным булыжничкам запрыгал отскакивая, странный ее смех, Леву пугавший всю жизнь... Жалкий ее смех, слабый и к Леве не относящийся... «Вот она, — вдруг осенило в озарении Леву, — любовь моя! Она — жена моя!..»

Ему вдруг захотелось высунуться по пояс из окна, закричать, замахать руками. Радостный такой и возбужденный Лева машет ей руками и кричит: «Фаина! Эй, Фаина!» Она оборачивается, удивленная, и улыбается, узнавая. «Заходите ко мне! Заходите оба!» — «И я?» — молча спрашивает ее спутник, указывая себе на грудь, и улыбается обаятельно. «Конечно, конечно! Вместе!» — кричит Лева и машет руками.

Лева стоял, задохнувшийся, в окне и смотрел им в нелепые их спины. Как вдруг Фаина узнала что-то («Ну да, ведь она приходила ко мне сюда, и не раз!» — вспомнил Лева) и обернулась. Взгляд ее заскользил по зданию, узнавая. И бровь приподнялась. И спутник приостановился и отраженным от ее изменившегося лица взглядом скользнул по окнам.

Лева отпрынул от окна и чуть не заплакал от некоего страшного чувства, что ему нельзя, чтобы она вдруг увидела его, потому что он не сможет никогда ей объяснить, почему и как он на нее сейчас смотрел, потому что эту возможность он

потерял навсегда, и этого права посмотреть на нее у него нет, и гнев ее справедлив будет... Лишь — подглядеть.

Лева стоял, отпрянув, прижавшись спиной к стене, будто возможно было его увидеть, испуганный тем, что его увидят, и представил себе вдруг, как она, взяв спутника за руку, повлекла его: «Пойдем, пойдем отсюда быстрее!» — «Что с тобой?» — сказал, допустим, спутник. «Ничего, так», — сказала она.

«Неужели она... от меня?.. — с ужасом подумал Лева. — Боже, как страшно! Когда?..» Он закрыл лицо — ему не хотелось видеть. Дни его побежали перед ним в темноте ладоней. Так хотелось найти простую, маленькую ошибку, объясняющую все. Но дни его были продолжением один другого, и не было, все не было спасительной этой точки, с которой-то все и началось. Он не мог найти обрыва в своей нити и нащупать узелок. «Не надо было брать тогда кольца...» — без всякой уверенности сказал себе Лева.

«Вот что! Просто я не позволял ей любить себя... Не позволял», — с облегчением подумал он и отнял руки.

Со странным спокойствием выглянул он снова в окно. Две маленькие фигурки вдали, и уже не определить, спешат ли... Может, бегут даже.

— Я люблю ее, просто люблю — и все. При чем тут я? — сказал Лева. — И она — жена моя. Так.

Он вспомнил лицо ее спутника. «Ей это приснилось однажды, она рассказывала... Нагретое поле, полынный запах. Вот в чем дело. Просто поле. И запах. Что-нибудь невнятное на горизонте, как забытое. И что кто-то идет за ней сзади, не спеша нагнать».

— Холодно, — поежился Лева и закрыл окно.

Он смотрел сквозь почти прозрачное стекло, и мысль, так давно уже казавшаяся ему окончательной в его опыте, мысль о том, что ничто как предательство приковывало его к этой любви столь долго, — показалась ему вдруг самой предательской и пошлой. То есть сама мысль о предательстве показалась ему предательской. Вот что удивительно.

АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

Но-га

Г. ГОРБОВСКОМУ

— Ну, Заяц, ты идешь с нами или не идешь?..

Второклассник Зайцев колебался.

Сегодня папин день рождения, и мама сказала: «Как придешь из школы, сразу садись за уроки, потом приберись и все сделай очень хорошо до того, как папа вернется с работы. Это будет лучший подарок».

День рождения отца — это Зайцев понимал. Но перед ним, серьезные, сомкнутые, стояли ребята, молча ждали и словно испытывали его.

...Уже три месяца — как вернулся из эвакуации и пошел в школу — Зайцев выходил со всеми после уроков, и все разделялись на группы и расходились группами, а эти двое всегда шли в сторону, в которую не ходил никто, а Зайцев оставался один и шел один. Портфель становился тяжелым и чужим, и Зайцеву было тоскливо.

Он всегда ждал дружбы, и она не удавалась, как-то он не был нужен, а в его возрасте это уже стало важнее всего. Надо было что-то предпринять, и Зайцев выбрал этих двух. Он старался им услужить, заискивал, отдавал им свой завтрак и папиросы. Они пожимали плечами и равнодушно забирали дары. Зайцев терпел.

И вот сегодня они долго шептались вдвоем в раздевалке, а он стоял в сторонке и с безразличным видом стучал себя портфелем по коленкам. Сердце колотилось. Зайцев не помнил и не думал в тот момент ни о чем — только ждал.

В подвале раздевалки пахло сыростью и стояла большая лужа. Раздевалка была недавно бомбоубежищем. Кто-то, проходя, выбил у Зайцева портфель, и портфель упал в лужу. Пока Зайцев понял, что произошло, обидчика уже не было.

Зайцев оттирал портфель, глотая обиду, мысленно убивал противника с одного удара в висок, когда услышал:

— Ну что ж, мы тебя берем, Заяц.

Обида исчезла, и что-то запрыгало внутри от радости. И тут же тенью — воспоминание о доме и об этом дне рождения. Он вспомнил и остановился у подъезда школы. А те двое прошли вперед и тоже остановились, выжидая...

— Ну, Заяц, ты идешь с нами или не идешь?

И они, серьезные, сомкнутые, повернулись и пошли. И он снова был оттеснен, как в игре, как в столовой, как в раздевалке, как... он всегда был так несчастлив от этого! Какими ловкими и смелыми казались ему все, кроме него... Как он завидовал и как ненавидел себя. Сегодня была первая надежда на то, что с этим могло быть покончено. Завтра уже ничего не может быть. И надо же, чтобы все так совпало! Что стоило отцу родиться завтра?..

А они шли, удалялись, и Зайцева уже не существовало для них...

И он нагнал их.

...Теперь они шли вместе, но он шел последним. Снег забивался в ботинки и там таял, а его папины кальсоны опять развязались, и их отяжелевшие тесемки попадали под ботинки. Зайцев спотыкался, но остановиться и перевязать не мог, потому что не хотел и даже боялся отстать. От радости и возбуждения ему все еще спирало горло. Они шли между неровными снежными кучами, из которых выглядывал битый кирпич, штукатурка и щепы. Первый обернулся и сказал:

— Тут был дом, и в нем жил вампир. Не заешь?

— Не-ет,— протянул Зайцев и стал вглядываться в кирпич, но там ничего не было, кирпич был красный и серый.

— Он пил кровь,— сказал первый.

Зайцев наступил на тесемку кальсон, и она оборвалась.

Они пролезли под колючей проволокой. За ней был сад. Тут не было мусора, был ровный снег, и, редкие, отдельные, стояли старые деревья. А Зайцев никогда и не слышал, что в нескольких шагах от школы и ее двора, за кучами, был сад, чистый белоснежный сад, с черными деревьями. И прошли-то они совсем немного, но уже не было видно куч и проволоки тоже видно не было. Вокруг, редкие, стояли деревья, все было белым, и снег и небо, и небо было в двух шагах, вокруг. Нигде не было краев и границ, и было очень тихо. Они тихо проваливались в снег, трое гуськом. И тихо отле-

тал ото рта пар, такой же белый, как небо. Было тепло и сыро.

Тогда перед ними появился круглый пруд с круглым островом посередине. На острове, вокруг, подступая к самой воде, стояли те же деревья. Кольцо черной воды было разорвано белыми льдинами. Тут же оказался шест, и сначала первые двое, а затем Зайцев, как во сне, — они стояли на льдине, один с шестом — отталкивались и плыли к острову. Льдина немного ушла под ними в воду, и ботинки стали мокрые совсем. Зайцеву показалось, что плыли они долго, — на самом деле они оттолкнулись один раз и уже стояли на берегу. И остров был островок, а за деревьями, в центре островка, был холм. Они обошли кругом, холм был холмик, а один забрался наверх, и они обнаружили в холме проем, занесенный снегом. Они разгребали снег руками, спеша и задыхаясь, руки их горели, а покраснели так, что, когда они перестали копать, Зайцеву померещилось, что руки в крови, он вспомнил про вампира, но с них стекала просто талая вода. Под снегом показалась дверь, но она была закрыта на засов, а на засове висел большой замок, и все это очень проржавело. Руки стали красно-рыжими, но замок не открылся. Они замаскировали проем снегом и сговорились прийти сюда завтра с инструментом.

За прудом открылось заснеженное голое и ровное пространство, а за ним, слева, какое-то большое ступенчатое строение, тоже занесенное.

— Стадион, — сказал один.

— Трибуны, — сказал другой.

Все это были очень неизвестные Зайцеву вещи, он смотрел во все глаза. Они обошли трибуны — трибуны оказались высотой с двухэтажный дом. Вся задняя стена была расковыряна, и доски во многих местах оторваны. Тут снова были словно бы развалины и кучи. Непонятные сетчатые высокие загородки были рядом. Они стояли ржавые и рваные, с большими неровными дырками, на которых сетка обвисала вниз, как тряпка. Там, где сетка была целой, в одной из ячеек застряла дохлая ворона.

— Клетки, — сказал Зайцев.

— Дурак, это корт, — сказали они.

Они пролезли в пролом и очутились под трибунами. Тут было темно и пахло плесенью.

— Тихо! — громким шепотом сказал первый.

Несколько шагов они прошли согнувшись, почти ползком, хотя тут и было очень просторно. Сердце колотилось, Зайцев

крался следом, ловко и бесшумно, зорко вглядываясь в темноту, и вдруг уперся в чей-то живот. Поднял глаза — оба стояли выпрямившись и смотрели на него.

— Есть папиросы? — громко спросил первый.

Зайцев тоже выпрямился и полез в карман.

Они курили, пряча в кулак огоньки. В щелях между ступенями был виден снег, и лепешки его лежали на земле под ступенями трибун. Тут же была масса всякого хлама: куча каких-то опилок, обрывки фанеры и толя. На столбе прямо перед носом было выцарапано: «Нинка, приходи в восемь». Зайцев вспомнил подвал в его доме, как его послали туда за дровами и как он наткнулся... А потом пятился... «Извиняюсь, — говорил он тогда, — извиняюсь...» Воспоминание было страшным и сладковатым.

— Идите сюда, идите! — услышал он.

Сердце ухнуло вниз, и Зайцев побежал на крик.

Там стоял первый, и перед ним сваленные большой кучей лежали противогазы.

Некоторое время они стояли молча, окаменев.

— Сколько рогаток! — восхищенно сказал один, и тогда они набросились на кучу.

Они распаковывали сумки и пытались натянуть маски на голову. Резина была серая, с большими пятнами плесени. Маски не расклеивались и рвались при попытке надеть.

— Да уж рогатки... — сказал один. — Гнилье.

Но вот в глубине кучи стали попадаться и более приличные маски. Правда, где-нибудь они лопались, но на голове держались. Когда это удалось первому — это было удивительно и странно на него смотреть: такой маленький серый слон в темном сарае.

— Хобот, хобот! — закричали они.

Тогда тот, в противогазе, стал неуклюже прыгать, растопырив руки. На это уже было невозможно смотреть — так смешно. Но ему надоело прыгать: тяжелая банка болталась на кишке и била по ногам. Он внезапно сел, словно упал, и стал отковыривать банку. Тогда и они нашли подходящие маски и тоже надели. Теперь первый тыкал в их сторону пальцем и сидя раскачивался взад и вперед. Нелепое болтание было слышно из-под маски. Он смеялся. И все они, открутив банки, прыгали, и хоботы их раскачивались.

И тут первый, сорвав маску, весь красный, закричал:

— Слоны! Мы — слоны!

И стал раскручивать кишку над головой. От этого шуршал воздух.

И все сорвали маски — и тогда все кончилось: противогазы были пережиты. Пережиты, как дверь на острове. Но тут первый...

— Мы будем кататься! — воскликнул он.

— Как? — сказали они.

— По столбам!

Они прошли под трибунами и вскоре обнаружили лестницу. Вскарабкавшись по ней, они очутились на полке из двух досок. Отсюда, под углом, уходили вниз гладкие круглые столбы. Первый, ловко перекинув ногу, очутился верхом на столбе. Так он сидел, крепко обняв руками и ногами столб. Потом слегка разжал и быстро и плавно соскользнул до самого низа. За ним — второй.

Зайцев остался последним. Посмотрел вниз — что-то замерло внутри.

— Давай! Давай! — кричали внизу ребята.

А первый уже карабкался по лестнице, и вот он рядом:

— Трусишь?

Ничего не оставалось. Зайцев перелез и судорожно сжал столб. Попытался устроиться поудобнее — и вдруг поехал вниз. Быстрее, быстрее. И вот он внизу — ему стало весело. Это оказалось так просто! Что-то припрыгивало внутри. Съехали остальные, и он первый снова полез наверх.

Теперь-то он съедет! Лучше всех. Он смело перекинул ногу и сел на бревно. И тут же понял, что сидит он плохо. Его кренит все сильнее, он судорожно сжимает бревно, но все съезжает, съезжает на сторону. И тут — один миг — и он висит на руках, ноги болтаются — и он летит.

Он подвернул ногу, когда падал, — это было очень больно. Но заплакал он от досады, что свалился, — не от боли. Сверху, придерживаясь за столб, смотрели ребята. Он сидел, обхватив ногу, раскачивался — баюкал ногу. На ребят он старался не смотреть — стыдился. Они съехали вниз.

— Что с тобой? — сказал первый.

Он хотел вскочить, сказать: ничего, ничего страшного. Вскочил — чуть не закричал от боли.

— Б-больно, — только и сумел сказать он.

— Ну вот, — сказал второй.

— Я же говорил, — сказал первый, — не надо было брать его с собой.

— Тюфяк, — сказал второй.

Это было невозможно слышать, да и боль вдруг стала таять.

— Это пустяки, — сказал Зайцев. Ему было стыдно, и он не смотрел на товарищей. Слезы всегда его подводили. От боли ведь он никогда не плакал. Только от обиды. Будто не он сам, а кто-то в нем плакал.

Не глядя на товарищей, он повернулся и направился к лестнице.

— Опять упадет, — сказал первый.

— Не-е, — сказал Зайцев, — теперь не упаду. Упасть — ведь это пустяки.

Теперь все шло благополучно. Он съезжал и съезжал, и легкое замирание внутри, перед ним скользило гладкое, полированное бревно и удалялись стоявшие наверху ребята. Он забирался и забирался по лестнице, и это было гораздо дольше, чем миг полета. Так они катались, и сначала он чувствовал себя как во сне, потом — словно бы сон стал явью, потом летчиком, потом акробатом, и, наконец, это стало просто скучным занятием: ничего сложного, увлекательного или опасного в этом уже не было, а карабкаться каждый раз по лестнице — надоело. К тому же на лестнице он уже стал чувствовать боль в ноге — сначала слабую, потом сильнее.

Мысль о том, что, наверно, уже поздно, шевельнулась в нем, и, чем больше приедалось катание и сильнее болела нога, тем настойчивей стучалась мысль о доме, что родители волнуются и папин день рождения, он не сделал уроки и перемазал пальто — чувство вины. И ощущение неизбежности расплаты за всю эту свободу — все росло. Но он не мог первый сказать, что пора возвращаться, и потому, что боялся новых насмешек, и потому, что ненавидел себя за все это, как за слабость, — боялся проявить ее. И потом, так здорово было все, что произошло сегодня, ему хотелось удержать это — но это уходило и таяло. И все мучительней стучалась мысль о доме, жалко маму, и папа, который сердится, и будет кричать, и, может, стукнет, а потом заплачет от этого.

И нога болела довольно сильно. Но ребята словно бы не замечали, и он, уже отчаявшись, все лез и лез по лестнице и съезжал вниз и вниз, уже молча.

Но ребята уже не были возбуждены и тоже молчали.

И вдруг первый сказал, словно бы через силу:

— Ну, хватит.

Все сразу оживились и заговорили, и снова все стало необычным и радостным...

Когда они выбрались из-под трибун, то увидели, что сильно стемнело. Белое стало серым и сгущалось на глазах. Все стало ощутимо: и позднее время, голод и усталость, и промокшие ноги стыли.

Теперь Зайцев увидел, что и товарищи его обеспокоены тем же, чем он. Это его подбодрило. Они пошли, но не тем путем, что шли из школы, а в обход трибун, к белевшему вдали зданию: там, как говорил первый, была улица, а по ней уже легко добраться докуда угодно.

— А как же мне дойти до Аптекарского? — спросил Зайцев.

— Дурак, мы и выйдем на Аптекарский, — сказал первый.

— Это нам переть, а тебе прямо домой, — с досадой сказал второй.

— Не знать, где собственная улица! — сказал первый. — Это же надо!

Они шли впереди, а Зайцев хромал сзади. Если сначала идти было еще ничего — боль была только ноющей, тающей, — то теперь это было уже очень тяжело. Он старался не наступать на больную ногу, но это никак не удавалось. Его даже удивляло, что никак не шагнуть только одной, здоровой, ногой. Одной — и снова ею. Вот ведь как странно: одна нога вперед и другая вперед — это уже два шага... А если один шаг и один шаг?.. Все как-то путалось. Он никак не мог понять, почему ему не удается идти одной ногой. Вдруг получилось. Но это было тоже не то. Он подтаскивал больную, а шаг делал здоровой. Это было не то, но так было легче. Так он шел некоторое время, пока не стало так же больно, пока он снова не задумался, как же идти одной ногой. Он вдруг запутался, как же ему идти, бессмысленно передернул ногами, словно желая попасть с кем-то в ногу, — и сделал полный шаг больной ногой.

Когда он очнулся, то стоял около белого дома, который видел вдали еще у трибун. Было совсем темно, и ребят рядом не было. Ничего вроде не болело. Он стоял на одной ноге. Надо было шагнуть, ведь больно не было, но он боялся делать шаг. Он просто не представлял, что сможет его сделать. Вроде бы не знал, как это сделать. Он попытался было перенести тяжесть на больную ногу — вся боль вернулась. Словно бы стало светлее — так это было больно. Как же, как же... подумал он и вдруг понял, что он один. А где же они? Они ведь не могли?.. «Эй! Эй!» — закричал он и сам удивился, как жалобно это у него получилось. «Ребя-

та! Послушайте!» — закричал он как можно бодрее, даже весело.

Тут из темноты выплыли две фигуры. Сначала первый, потом второй... У первого было надутое, злое лицо.

— Ну что? Хнычешь? — сказал он.

— Ребята, — сказал Зайцев, и ему показалось, что сказал он удивительно просто и браво, — нога-то что-то того...

— Распустил нюни — смотри, прыгают, — сказал первый. — Заплачь мне еще, гогочка...

У второго было жалобное лицо.

— Поздно уже... — вдруг заныл он. — Все из-за тебя...

— Возись тут с тобой, — сказал первый. — Давно были бы дома. — И шепнул что-то на ухо второму.

— Ну, ты так и будешь тут стоять? Мы тебя ждать не намерены.

— Я пойду, пойду. Сейчас пойду, — сказал Зайцев. — Вы только не уходите...

Ну же, нога... Ну шагни. Ну, пожалуйста, подумал он. И вдруг шагнул. У него потемнело, но это быстро прошло. И он сделал еще шаг.

— Давай, давай, — обращившись первый.

Нога, ну что тебе стоит? Осталось ведь совсем немного. Не подводи меня. Ребят постыдись... Ну же!

Так он шагал, все время одной ногой, большую подтаскивал за собой. Ребята то уходили вперед и исчезали, то он видел их прямо перед собой, ждущих, переминающихся. Когда он подходил вплотную, первый говорил ему что-нибудь:

— Ну, помедленнее не можешь, а?

А второй стучал зубами и ныл:

— Зам-мерз... Попаде-ет...

И они снова уходили вперед.

Когда он опять увидел их перед собой — это была арка. Две большие каменные тумбы стояли с двух сторон, и было светло. Станный фонарь висел под аркой и раскачивался чуть-чуть. Впереди была пустынная улица, и фонари на ней горели через один.

— Ну вот, — сказал первый.

— Ты уже дома, а нам еще идти далеко-о-о, — сказал второй, и жалобное его «о-о» показалось бесконечным.

Зайцев понял, что остается один.

— А как же мне пройти на мою улицу? — сказал он, стараясь как можно спокойней.

— А это и есть твоя улица, — сказал первый.

— Моя?..

— Тьфу, черт!.. Твоя — а то чья же? Аптекарский ведь.

— Да... — сказал Зайцев. — А мой дом?

— Туда, — махнул рукой первый. — Ты тут доберешься... — это он уже сказал глухо и неясно и еще что-то добавил, совсем уж неразборчиво.

Их не стало. Они перебежали улицу — и вот их нет.

Зайцев обернулся и удивился: белый дом был в двух шагах. Посмотрел на улицу: это Аптекарский проспект? — его он не узнавал. Название показалось ему странным. Почему — Аптекарский? Аптек на нем не было. Может, потому, что на Аптекарском острове? Но остров уж почему — Аптекарский?.. Правда, лекарством тут действительно пахло. Откуда?.. На той стороне темнели дома, окна их не горели. Выше фонарей дома уже сливались с ночью. По его стороне была высокая, с капустами решетка, она уходила вдаль и не кончалась, сколько он видел.

Он почувствовал даже облегчение, когда ребята ушли. Теперь он ни от кого не зависит. Он знает дорогу домой, и тут уже недалеко. Он прекрасно доберется сам. Еще и не так поздно. Скажет, что задержали в школе. Сердиться долго они не будут, потому что гости. А он, конечно, не покажет виду. Никто и не заметит, что у него с ногой. Его пошлют спать, и он пойдет сразу же. И ляжет. Он будет лежать в своей постели. Ему будет легко и мягко. Будет смотреть на узор обоев. И тогда он уснет. А во сне, как всегда, все пройдет. А завтра он придет домой сразу после школы — никто и не вспомнит...

Вдруг он понял, что по-прежнему стоит на месте. «Что же это я?.. — сказал он себе. — Размечтался. Так я никогда не доберусь. Давно был бы дома. Что ж это я!»

И опять он поймал себя на том, что стоит на месте. Давно уже ругает себя — и стоит.

Ну, пошли... Ну, давай, нога. Сделаем это вместе. Я пойду — и ты пойдешь. Очень тебя прошу...

Первый шаг почти лишил его сознания, но потом, как уже было около белого здания, все прояснилось и почти можно было идти. Во всяком случае, держась за решетку, он делал шаг за шагом.

Молодец, нога. Ты у меня очень хорошая нога. Ты действительно прекрасная, любимая нога. Ты идешь вместе со мной. Не отстаешь, хотя тебе очень больно. Спасибо, нога.

Боль нарастала, но он уже понял, что останавливаться нельзя. И действительно, боль перестала вроде расти. Такая и оставалась.

Милая, славная, превосходная ога. Зачем ты так болишь? Ты нарочно? Ведь и тебе больно, не только мне? Неужели ты не понимаешь, что сегодня день папиного рождения и мы обязательно должны быть дома... Мы и так опаздываем. Неужели ты хочешь огорчить папу в день рождения? Не верю, ты прикидываешься злой... Неужели ты не хочешь поздравить его? Он к тебе всегда так хорошо относился. Нельзя быть такой неблагодарной. И я тоже всегда был с тобой: никогда тебя не бросал. А ты? Как ты отвечаешь на все это?! Как ты ведешь себя сегодня? Я тебя не узнаю. Моя ли ты нога? Ты чья-то чужая, не моя нога. У меня никогда не было такой паршивой ноги. Ты дрянная, вонючая нога, и куда ты только дела мою хорошую ногу! Ты завидовала ей, и отравила ее, и потом сожгла в печке, потому что боялась меня. Но я тебя нашел... Вот как двину сейчас тобой о решетку — и дух из тебя вон!

Кривоногая нога
захотела пирога,
пирога с рисами,
с тухлыми крысами!

Тухлая крыса — вот ты кто, а не нога ты мне вовсе. Вот погоди, только дотащу тебя домой... Знаешь, что с тобой будет?! Лучше тебе исправиться. Это ведь тебе нужно, не мне. Ты меня сама потом благодарить будешь. Будь хорошей, моя милая, любимая нога... Ну, не боли, ну, пожалуйста, не боли! Ну, хочешь, я встану на колени. Ну не боли... Я подарю тебе три дворца — серебряный, золотой и бриллиантовый... Я тебе их все отдам. Там тебя будут кормить лучшими блюдами и винами! Неужели тебе мало всего этого?.. Славная нога, ты самая умная и сильная нога на свете, тебя все боятся, неужели ты не можешь пожалеть меня, маленького, жалкого раба? Я был груб с тобой, я очень виноват перед тобой. Ну, извини меня, пожалуйста, моя величайшая и высочайшая нога! Я больше никогда не буду. Ты — огромная нога: ты больше этого дома. Ты так болишь, такая большая. Неужели тебе так трудно немного потерпеть? Посмотри, как много ты уже прошла! Теперь уже совсем не осталось ничего, а ты так плохо себя ведешь.

Пойми, я ведь не для себя прошу. Если бы не папин день рождения, разве бы я стал так к тебе приставать? Я ведь

тебя никогда ни о чем не просил. А я тебя кормил, поил, обувал. Неужели ты так неблагодарна, любимая моя нога, и не сделаешь мне этого маленького одолжения? Которое ведь даже не для меня, а для моих старых бедных родителей, для которых я последняя опора... Они погибнут без меня, слабые и одинокие. Неужели тебе не жалко и ты позволишь им погибнуть? Ведь у тебя же доброс сердце, ты только делаешь вид, что ты злая, а на самом деле ты очень добрая, моя нога. Это только тот, кто тебя не знает, подумает, что ты злая и бессердечная. Я же тебя хорошо знаю... Ты же согласна? Просто самолюбие мешает тебе сознаться... Не боли, родная ноженька. Ради бога и Христа ради... Извини меня, я ведь не хотел тебя тогда обидеть. Ну иди, иди. Вот видишь, я узнаю уже нашу улицу. Вон, видишь, наш дом... Тут совсем близко. Просто я никогда в ту сторону не ходил и поэтому не узнал тогда улицу. А сейчас я ее узнаю. Ты ведь узнаешь ее, нога? Нам совсем остались пустяки. Так что ты дойдешь, тебе ведь ничего не стоит сделать мне это одолжение... Я бы не стал тебя просить, но тут ведь нет никого, кто сделал бы это за тебя. Там были заводы, а вот — институт: тут никого не бывает вечером. Поэтому ты уж мне помоги сегодня, нога. Ты ведь меня не предашь, как эти... Мы казним их завтра. Они будут молить, ползать на коленях — но им не будет пощады. Мы скажем им: о чем же вы просите, совести у вас нет... Казнить вас — и только казнить.

Видишь, нога, лучше тебе не болеть, а идти. Ты думаешь, мне ничего не стоит умолять и просить тебя? Так знай, что и мое терпение может лопнуть. И тогда — держись! Если ты меня предашь, я все равно найду тебя. И сколько бы ты меня ни просила, я буду безжалостен. Потому что я ненавижу тебя, нога! Я готов разорвать зубами, искусать, растоптать, искрошить, растереть тебя в мелкий порошок. Я положу тебя в ступку и буду долбить пестиком. Так, чтобы тебе было больно-больно, жутко больно, как не бывает больно, как не может быть больно... Нога, хорошая моя, любимая, самая любимая из моих ног, ну вот ведь и дом...

Нам остался только двор и лестница... Ну будь доброй, дай мне пройти как человеку...

.
.
.
.
.

...Он стоял в своей парадной, прислонившись к стене. Лампочка тут была выкручена, и было темно. Кое-какой свет пробивался с площадки второго этажа. Его этаж был третий. Подняться он уже не мог. Когда он прошел в парадную и понял, что уже дома,— идти стало невозможно. Он тихо подвывал и терся спиной о стену. Наверно, было уже очень поздно, потому что никто не ходил по лестнице.

Вдруг хлопнула входная дверь, он вздрогнул, открылась вторая — и в темной фигуре он узнал отца.

Он прижался к стене. В темноте его не было видно, и отец прошел мимо, не заметив. Медленно брел отец по лестнице, и его худая спина согнулась колесом. «Папа!» — хотел крикнуть мальчик, но не крикнул. И тогда острая жалость к себе и какое-то пронзительное и жалкое чувство к отцу появилось в нем. «Папа! Папочка!» — хотел крикнуть он и броситься. Но броситься он не мог. И крикнуть. А отец все поднимался, медленно-медленно, и вдруг стал посреди марша. И так стоял, сутулый, не поворачиваясь и не идя вперед, долго. Свет второго этажа уже хорошо освещал его. Отец достал папиросу, чиркнул, нагнул голову к ладоням. Повернулся и стал спускаться. Спустился и остановился, глядя в сторону мальчика и не видя. Мальчик сжался. Сейчас он почему-то ничего не помнил, кроме паушников, которыми позавчера ударил его отец. Тогда они учились считать на счетах... Отец стоял, смотрел в его сторону, и лица его не было видно — только опущенные плечи.

— Кто тут? — сдавленно сказал отец.

Мальчик разрыдался.

— Ты? — сказал отец как-то удивленно спокойно. — А я ведь тебя ищу.

Он подошел вплотную и вдруг взвизгнул:

— Негодяй!

Как-то неуверенно и неловко, покачнувшись, ударил мальчика по щеке. Рука его сразу повисла и губы запрыгали.

— Ты хоть о матери-то подумал?! Ну ладно, меня ты не любишь... я знаю... хотя в день рождения... Но мать!.. Неужели ты?.. — он осекся и испуганно посмотрел на мальчика.

Мальчик закрылся локтем и зарыдал сильнее.

— Что с тобой? Говори!!! Что ты с собой сделал?!

— Но-га... — только и мог между всхлипами сказать мальчик.

Отец внес его по лестнице, открыл дверь. Все это было уже в тумане. И мама. Единственно, что ясно чувствовал, это прикосновение маминых рук и прохладу простынь.

Потом над ним склонялся одутловатый человек в белом халате и что-то делал с его ногой, прикручивал что-то. Было очень больно — и тогда он почувствовал на лбу слабое, жалкое, чуть дрожащее прикосновение руки отца. Он схватил эту руку — она была горячая, сухая, со вздутыми суставами пальцев — и прижал к щеке.

— Ты не сердись, папочка... — всхлипнул он. — Уроки я приготовил. Честное слово, папа...

Губы у отца запрыгали, и он отвернулся.

— Доктор... — сказал отец. — Что же это, доктор?..

ПОХОРОНЫ ДОКТОРА

ПАМЯТИ Е. РАЛБЕ

Солнечный день напоминает похороны. Не каждый, конечно, а тот, который мы и называем солнечным,— первый, внезапный, наконец-то. Он еще прозрачен. Может, солнце и ни при чем, а именно прозрачность. На похоронах, прежде всех, бывает погода.

...Умирала моя неродная тетя, жена моего родного дяди.

Она была «такой ж и в о й человек» (слова мамы), что в это трудно было поверить. Живой она действительно была, и поверить действительно было трудно, но, на самом деле, она давно готовилась, пусть втайне от себя.

Сначала она попробовала ногу. Нога вдруг разболелась, распухла и не лезла в обувь. Тетка, однако, не сдавалась, привязала к этой «слонихе» (ее слова) довоенную тапку и так выходила к нам на кухню мыть посуду, а потом приезжал Александр Николаевич, шофер, и она ехала в свой Институт (экспертизы трудоспособности), потом на заседание правления Общества (терапевтического), потом в какую-то инициативную группу выпускниц (она была бестужевка), потом на некий консилиум к какому-нибудь титулованному бандиту, потом сворачивала к своим еврейским родственникам, которые, по молчаливому, уже сорокалетнему, сговору, не бывали у нас дома, потом возвращалась на секунду домой, кормила мужа и тяжело решала, ехать ли ей на банкет по поводу защиты диссертации ассистентом Тбилисского филиала Института Нектаром Бериташвили: она очень устала (и это было больше, чем так) и не хочет ехать (а это было не совсем так). Втайне от себя она хотела ехать (повторив это «втайне от себя», я начинаю понимать, что сохранить до старости подобную эмоциональную возможность способны только люди, очень... живые? чистые? добрые? хорошие?..— я проборматываю это невнятное, не существующее уже

слово — втайне от себя самого)... И она ехала, потому что принимала за чистую монету и любила все человеческие собрания, питала страсть к знакам внимания, ко всему этому газету почета и уважения, и даже, опережая возможную иронию, обучила наше кичливое семейство еврейскому словечку «ковод», которое означает уважение, вовсе не обязательно идущее от души и сердца, а уважение по форме, по штату, уважение как проявление, как таковое. (У русских нет такого понятия и слова такого нет, и тут, с ласковой улыбкой тайного от самого себя антисемита, можно сказать, что евреи — другой народ. Нет в нашем языке этого неискреннего слова, но в жизни оно завелось, и, к тому же, почему все так убеждены в искренности хамства?..) Понимаешь, Дима, говорила она мужу, он ведь сын Вахтанга, ты помнишь Вахтанга? — и, сокрушенно вздохнув, она — ехала. Желания ее все еще были сильнее усталости. Мы теперь не поймем этого — раньше были другие люди.

Наконец она возвращалась, задерживалась она недолго, исключительно на торжественную часть, которую во всем очень трогательно любила, наполняя любую мишуру и фальшь своим щедрым смыслом и верой. (Интересно, что они искренне считали себя материалистами, эти люди, которыми мы не будем; надо обладать исключительно... (тоже невнятное слово...), чтобы исполнить этот парадокс.) Итак, она быстро возвращалась, потому что, плюс к ноге, страдала диабетом и не могла себе на банкете ничего позволить, но возвращалась она навеселе: речи торжественной части действовали на нее как шампанское, — помолодевшая, разрумянившаяся, бодро и счастливо рассказывала мужу, как все было хорошо, тепло... Постепенно прояснялось, что лучше всех сказала она сама... И если в это время смотреть ей в лицо, трудно было поверить, что ей вот-вот восемьдесят, что у нее — нога, но нога — была: она была привязана к тапке, стоило опустить глаза. И, отщебетав, напоив мужа чаем, когда он ложился, она наполняла таз горячей водой и долго сидела, опустив туда ногу, вдруг потухнув и оплыв, «как куча» (по ее же выражению). Долго так сидела, как куча, и смотрела на свою мертвую уже ногу.

Она была большой доктор.

Теперь таких докторов НЕ БЫВАЕТ. Я легко ловлю себя на том, что употребляю готовую формулу, с детства казавшуюся мне смешной: мол (с «трезвой» ухмылкой), всегда все было — так же, одинаково, не лучше... Я себя легко ловлю и легко отпускаю: с высоты сегодняшнего опыта

формула «теперь не бывает» кажется мне и справедливой и правильной — выражающей. Значит, не бывает... Не то что-бы она всех вылечивала... Как раз насчет медицины заблуждений у нее было всего меньше. Не столько она считала, что всем можно помочь, сколько — что всем н у ж н о. Она хорошо знала, не в словах, не наукой, а вот тем самым... что помочь не ч е м, а тогда, если уж есть хоть немножко ч е м помочь, то вы могли быть уверены, что она сделает все. Вот эта неспособность сделать хотя бы и чуть-чуть НЕ ВСЕ и эта потребность сделать именно СОВСЕМ ВСЕ, что возможно, — этот императив и был сутью «старых докторов, каких теперь не бывает» и каким она, последняя, была. И было это вызывающе просто. Например, если ты простужен, она спросит, хорошо ли ты спишь; ты удивишься: при чем тут сон? — она скажет: кто плохо спит — тот зябнет, кто зябнет — тот простужается. Она даст тебе снотворное от простуды (аллергия все еще была выдумкой капиталистического мира), а тебе вдруг так ласково и счастливо станет от этого забытого темпа русской речи и русских слов: зя-бнет... что — все правильно, все в порядке, все впереди... померещится небывалое утро с серым небом и белым снегом, температурное счастье, кто-то под окном на лошадке проехал, кудрявится из трубы дым... Скажешь: нервы шалют, что-нибудь, тетя, от нервов бы... Она глянет ледяно и приговорит: возьми себя в руки, ничего от нервов нет. А однажды, ты и не попросишь ничего, сунет в руку справку об освобождении: видела, ты вчера вечером курил на кухне — отдохнуть тебе надо.

И если бы некий наблюдательный интеллеktуал сформулировал бы, хотя бы вот так, ей ее же — она не поймет: о чем это ты? — пожмет плечами. Она не знает механизмов опыта! Как она входит к больному!.. никаким самообладанием не совершишь над собой такой перемены! она — просто меняется, и все. Ничего, кроме легкости и ровности, — ни восьмидесяти лет, ни молодого красавца мужа, ни тысяч сопливых, синих, потных, жалких, дышащих в лицо больных — никакого опыта, ни профессионального, ни личного, ни тени налета ее самой, со своей жизнью, охотной жизнью. Как она дает больному пожаловаться! как утвердительно спросит: очень болит? Именно — ОЧЕНЬ. Никаких «ничего» или «пройдет» она не скажет. В этот миг только двое во всем мире знают, как болит: больной и она. Они — избранные боли. Чуть ли не гордится больной после ее ухода своею посвященностью. Никогда в жизни не видать мне больше такой способности к у ч а с т и ю. Зачета по участию не сдают

в медвузе. Тетка проявляла участие мгновенно, в ту же секунду отрешаясь навсегда от своей старости и боли: стоило ей обернуться и увидеть твое лицо, если ты и впрямь был болен — со скоростью света на тебя проливалось ее участие, то есть полное отсутствие участвующего и полное чувство — как тебе, каково? Эта изумительная способность, лишенная чего бы то ни было, кроме самой себя, со-чувствие в чистом виде — стало для меня Суть доктора, Имя врача. И никакой фальши, ничего наигранного, никаких мхатовских «батенек» и «голубчиков» (хотя она свято верила во МХАТ и, когда его «давали» по телевизору, усаживалась в кресло с готовым выражением удовлетворения, которое, не правда ли, Димочка, ничто современное уже не может принести... ах, Качалов-Мачалов! Тарасова — идеал красоты... при слове «Анна» поправляется дрожащей рукой пышная прическа...).

С прически я начинаю ее видеть. До конца дней носила она ту же прическу, что когда-то больше всех ей шла. Как застрял у девушки чей-то комплимент: волосы, мол, у нее прекрасные, — так и хватило ей убежденности в этом на полвека и на весь век, так и взбивалась каждое утро седоватая, чуть стрептоцидная волна и втыкался — руки у нее сильно дрожали — втыкался в три приема: туда-сюда, выше-ниже и, наконец, точно в середину, всегда в одно и то же место, — черепаховый гребень. Очень у нее были ловкими ее неверные руки, и эта артиллерийская пристрелка тремора: недолет-перелет (узкая вилка) — попал — тоже у меня перед глазами. То есть перед глазами у меня еще и ее руки, ходящие ходуном, но всегда попадающие в цель, всегда что-то делающие... (Это сейчас не машинка у меня бренчит, а тетка моет посуду, это ее характерное позвякивание чашек о кран; если она била чашку, что случалось, а чашки у нее были дорогие, то ей, конечно, было очень жаль чашки, но — с какой непередаваемой женственностью, остановившейся тоже во времена первой прически, — она тотчас объявляла о случившемся всем кухонным свидетелям как о вечной своей милой оплошности: мол, опять, — даже фигура менялась у нее, когда она сбрасывала осколки в мусорное ведро, даже изгиб талии (какая уж там талия...) и наклон головы были снова девичьими... потому что самым запретным поведением свидетелей в таком случае могла быть лишь жалость, — замечать за ней возраст было нельзя.)

Мне и сейчас хочется поцеловать тетку (чего я никогда не делал, хотя и любил ее больше многих, кого целовал)... вот при этом позвякивании чашек о кран.

Она сбрасывала 50 или 100 рублей в ведро жестом очень богатого человека, опережая наш фальшивый хор сочувствия... а дальше было самое для нее трудное, но она была человек решительный — не мешкала, не откладывала: на мгновение замирала она перед своей дверью с разностью чашек в руках — становилась еще стройнее, даже круглая спина ее становилась прямой, трудно было не поверить в этот оптический обман... и тут же распахивала дверь и впархивала чуть ли не с летним щебетом серовского утра десятых годов той же своей юности: мытый солнечный свет сквозь мытую листву испещрил натертый паркет, букет рассветной сирени замер в капельках, чуть ли не пеньюар и этюд Скрябина... будто репродукция на стене и не репродукция, а зеркало: «Дима! такая жалость, я свою любимую китайскую чашку разбила!..»

Ах, нет! мы всю жизнь помним, как нас любили...

Дима же, мой родной-разлюбимый дядя, остается у меня в этих воспоминаниях за дверью, в тени, нога на ногу, рядом с букетом, род букета — барабанит музыкальными пальцами хирурга по скатерти, ждет чаю, улыбается внимательно и мягко, как хороший человек, которому нечего сказать.

Значит, сначала я вижу ее прическу (вернее, гребень), затем — руки (сейчас она помешивает варенье: медный начищенный старинный (до катастрофы) таз, как солнце, в нем алый слой отборной, самой дорогой базарной клубники, а сверху по-голубому сверкают грубые и точные осколки большого старинного сахара (голова), — все это драгоценно: корона, скипетр, держава — все вместе (у нас в семействе любят сказать, что тетка величественна, как Екатерина), — и над всей этой империей властвует рука с золотой ложкой — ловит собственное дрожание и делает вид, что ровно такие движения и собиралась делать, какие получились (все это очень живописно: управление случайностью как художественный метод...).

Я вижу гребень, прическу, руки... и вдруг отчетливо, сразу — всю тетку: будто я тер-тер старательно переводную картинку и, наконец, задержав дыхание, муча собственную руку плавностью и медленностью, отклеил, и вдруг — получилось! нигде пленочка не порвалась: проявились яркие крупные цветы ее малиновой китайской кофты (шелковой, стеганой), круглая спина с букетом между лопаток, и — нога с прибинтованной тапкой. Цветы на спине — пышные, кудрявые, китайский род хризантем; такие любит она полу

чать к непроходящему своему юбилею (каждый день нам приносят корзину от благодарных, и комната тети всегда как у актрисы после бенефиса; каждый день выставляется взамен на лестницу очередная завядшая корзина...). Цветы на спине — такие же в гробу.

В нашем обширном, сообща живущем семействе был ряд узаконенных формул восхищения теткой, не знаю только вот, в виде какого коэффициента вводились в них анкетные данные — возраст, пол, семейное положение и национальность. Конечно, наше семейство было слишком интеллигентно, чтобы опускаться до уровня отдела кадров. О таких вещах никогда не говорилось, но стопроцентное молчание всегда говорит за себя: молчание говорило, что об этих вещах не говорилось, а — з н а л о с ь. Она была на пятнадцать лет старше дядьки, у них не было детей, и она была еврейкой. Для меня, ребенка, подростка, юноши, у нее не было ни пола, ни возраста, ни национальности; в то время как у всех других родственников эти вещи были. Каким-то образом здесь не наблюдалось противоречия.

Мы все играли в эту игру: безусловно принимать все заявленные ею условности, — наша снисходительность поощрялась слишком щедро, а паша неуклюжая сцена имела благодарного зрителя. Неизвестно, кто кого превышал в благородстве, но переигрывали — все. Думаю, что все-таки она могла видеть кое-что сверху, — не мы. Не были ли ее, вперед выдвинутые, условности высокой реакцией на нашу безусловность?.. Не оттого ли единственным человеком, которого она боялась и задабривала сверх всякой меры, была Евдокимовна, наша кухарка: она могла и не играть в нашу игру, и уж она-то знала и то, что еврейка, и то, что старуха, и то, что муж... и то, что детей... что — смерть близка. Евдокимовна умела это свое знание, нехитрое, но беспощадно точное, с подчеркнутым подобострастием обнаруживать, так и не доходя до словесного выражения, и за это свое молчание, с суетливой благодарностью, брала сколько угодно и чем попало, хоть теми же чашками.

Мы и впрямь любили тетку, но любовь эта еще и декларировалась. Тетка была — Человек! Это звучит горько: как часто мы произносим с большой буквы, чтобы покрыть именно анкетные данные; автоматизм нашей собственной принадлежности к роду человеческого приводит к дискриминации. Чрезмерное восхищение чьими-либо достоинствами всегда пахнет. Либо подхалимством, либо апартсидом. Она была ч е л о в е к... большой, широкий, страстный, о ч е н ь

живой, щедрый и очень заслуженный (ЗДН — заслуженный деятель науки; у нее было и это звание). В общем, теперь я думаю, что все сорок лет своего замужества она работала у нас тетей со всеми своими замечательными качествами и стала как родная. (Еще и потому у них с Евдокимовной могло возникать особое взаимопонимание; та ведь тоже была — человек...) Думаю, что еврейкой для моих родных она все-таки была, хотя бы потому, что я об этом не знал, что и слова-то такого никто ни разу не произнес (слова «еврей»).

Мы имели все основания возвеличивать ее и боготворить: столько, сколько она для всех сделала, не сделал никто из нас даже для себя: она спасла от смерти меня, брата и трижды дядьку (своего мужа). А сколько она помогала так, просто (без угрозы для жизни), — не перечислить. Этот список рос и канонизировался с годами, по отступающим пунктам списка. Об этом, однако, полагалось напоминать, а не помнить, так что это вырвалось у меня сейчас правильно: как родная... И еще, что я узнал значительно позже, после ее смерти, она была к а к ж е н а. Оказывается, все эти сорок лет они не были зарегистрированы. Эта старая новость сразу приобрела легендарный шик независимости истинно порядочных людей от формальных и несодержательных норм. Сами, однако, были зарегистрированы.

Сошло время — илистое дно. Ржаво торчат конструкции драмы. Это, оказывается, не жизнь, а — сюжет. Он — неживой от пересказа: годы спустя в нашем семействе прорастает информация, в форме над-гробия.

А я из него теперь сооружаю постамент...

Она была большой доктор, и мне никак не отделаться от недоумения: что же она сама знала о своей болезни?.. То кажется: не могла же не знать!.. то — ничего не знала.

Она попробовала ногу, а потом попробовала инфаркт.

От инфаркта у нее чуть не прошла нога. Так или эдак, но из инфаркта она себя вытянула. И от сознания, что на этот раз проскочила (это, в данном случае, она как врач могла сказать себе с уверенностью), — так приободрилась и помолодела, и даже ногу обратно уместила в туфлю — что мы все не нарадовались. Снова пошли заседания, правления, защиты, консилиумы (вылечи убийцу! — безусловно святой принцип Врача... но нельзя же лечить их старательной и ответственной, чем потенциальных их жертв?.. однако можно: не забывайте, что именно Англия с парадоксами ее парламента...)... и вот я вижу ее снова на кухне, повеле-

вающую сверкающим солнцем-тазом. Однако таз этот взошел ненадолго.

Тетка умирала. Это уже не было ни для кого... кроме нее самой. Но и она так обессилела, что, устав, забывшись, каждый день делала произвольный шагок к смерти. Но потом спохватывалась и снова не умирала. У нее совсем почерпела нога, и она решительно настаивала на ампутации, хотя всем, кроме нее... что операция ей уже не по силам. Нога, инфаркт, нога, инсульт... И тут она вцепилась в жизнь с новыми силами, которых из всех встреченных мною людей только у нее и было столько.

Кровать! Она потребовала другую кровать. Почему-то она особенно рассчитывала на мою физическую помощь. Она вызывала меня для инструкций, я плохо понимал ее мычание, но со всем соглашался, не видя большой сложности в задании. «Повтори», — вдруг ясно произнесла она. И — ах! — с какой же досадой отвернулась она от моего непарализованного лепета.

Мы внесли кровать. Это была специальная кровать, из больницы. Она была тем неуклюжим образом осложнена, каким только могут осложнить люди, далекие от техники. Конечно, ни одно из этих приспособлений, меняющих положение тела, не могло действовать. Многократно перекрашенная тюремной масляной краской, она утратила не только форму, но и контур, — она стала в буквальном смысле нескладной. Мы внесли этого монстра в зеркально-хрустально-коврово-полированный теткин уют, и я не узнал комнату. Словно бы все вещи шарахнулись от кровати, забились по углам, сжались в предчувствии социальной перемены: на самом деле просто кровати было наспех подготовлено место. Я помню это нелепо-юное ощущение мышц и силы, преувеличенное, не соответствовавшее задаче грузчика: мускулы подчеркнута, напоказ жили для старого, парализованного, умирающего человека, — оттого особая неловкость преследовала меня: я цеплял за углы, спотыкался, бился костяшкой, и словно кровать уподобляла меня себе.

Тетка сидела посреди комнаты и руководила вносом. Это я так запомнил — она не могла сидеть посредине, она не могла сидеть, и середина была как раз очищена для кровати... Взор ее пылал каким-то угольным светом, у нее никогда не было таких глубоких глаз. Она страстно хотела перелечь со своего сорокалетнего ложа, она была уже в той кровати, которую мы еще только вносили, — так я ее и запомнил посредине. Мы не должны были повредить «аппарат», поскольку

ничего в нем не смыслили, мы должны были «его» чуть развернуть и еще придвинуть и выше-ниже-выше установить его намертво-неподвижные плоскости, и все у нас получилось не так, нельзя было быть такой бестолочью, видно, ей придется самой... У меня и это впечатление осталось, что она сама наконец поднялась, расставила все как надо — видите, нехитрое дело, надо только взяться с умом — и, установив, легла назад в свой паралич, предоставив нам переброску подушек, перин и матрацев, более доступную нашему развитию, хотя и тут мы совершали вопиющие оплошности. Господи! за тридцать лет она не изменилась ни капли. Когда мы, в блокадную зиму, пилили с ней в паре дрова на той же кухне, она, пятидесятилетняя, точно так сердилась на меня, пятилетнего, как сейчас. Она обижалась на меня до слез в споре, кому в какую сторону тянуть, пила наша гнулась и стонала, пока мы спасали пальцы друг друга. «Ольга! — кричала она наконец моей матери. — Уйми своего хулигана! Он меня сознательно изводит. Он нарочно не в ту сторону пилит...» Я тоже на нее сильно обижался, даже не на окрик, а на то, что меня заподозрили в «нарочном», а я был совсем без задней мысли, никогда бы ничего не сделал назло или нарочно... я был тогда ничего, неплохой, мне теперь кажется, мальчик. Рыдая, мы бросали пилу в наполовину допиленном бревне. Минут через десять, веселая, приходила она со мной мириться, неся «последнее», что-то мышинное: не то корочку, не то крошку. Вот так, изменился, выходит, один я, а она все еще не могла свыкнуться с единственной предстоявшей ей за жизнь переменой: в тот мир она, конечно, не верила (нет! так я и не постигну их поколение: уверенные, что Бога нет, они выше всех несли христианские заповеди... а я, уверенный в Боге, пребываю в непролаз... а Аз — грешный).

Мы перенесли ее, она долго устраивалась с заведомым удовлетворением, никогда больше не глядя на покинутое супружеское ложе. Мне почудился сейчас великий вздох облегчения, когда мы отрывали ее от него: из всего, что она продолжала, несмотря на свой медицинский опыт, не понимать, вот это, видимо, она поняла необратимо: никогда больше она в ту кровать не вернется... Мы не понимали, мы, как идиоты, ничего не понимали из того, что она прекрасно, лучше всех знала: что такое больной, каково ему и что, на самом деле, ему нужно, — теперь она сама нуждалась, но никто не мог ей этого долга возратить. И тогда, устроившись, она с глубоким, первым смыслом сказала нам «спасибо», будто мы и впрямь что-то сделали для нее, будто мы пони-

мали... «Очень было тяжело?» — участливо спросила она меня. «Да нет, что ты, тетя!.. Легко». Я не так должен был ответить.

Кровать эта ей все-таки тоже не подошла: она была объективно неудобна. И тогда мы внесли последнюю, бабушкину, на которой мы все умирали... И вот, уже на ней, с последний раз подправленной подушкой, разгладив дрожащей рукой ровненький отворот простыни на одеяле, прикрыв глаза, она с облегчением вздохнула: «Наконец-то мне удобно». Кровать стояла в центре комнаты, как гроб, и лицо ее было покойно.

Именно в этот день внезапно скончалась та, другая женщина, тот самый сюжет...

Тетка ее пережила. «Наконец-то мне удобно...» — повторила она.

Кровать стояла посреди странно опустевшей комнаты, где вещи покидают хозяина чуть поспешно, на мгновение раньше, чем хозяин покидает их. У них дешевые выражения лиц; эти с детства драгоценные грани и поверхности оказались просто старыми вещами. Они чураются этого железного в середине, они красные, они карельские... Тетке удобно.

Она их не возьмет с собою...

Но она их взяла.

В середине кургана стоит кровать с никелированными шпешечками, повытертыми до медной изнанки; в ней удобно полусидит, прикрыв веки и подвязав челюсть, тетка в своей любимой китайской кофте с солнечным тазом, полным клубничного варенья на коленях; в одной руке у нее стетоскоп, в другой — американский термометр, напоминающий часовой механизм для бомбы; аппарат для измерения кровяного давления в ногах... не забыты и оставшиеся в целых чашки, диссертация, данная на отзыв, желтая Венера Милоская, с которой она (по рассказам) пришла к нам в дом... дядька, за ним шофер скромно стоят рядом, уже полузасыпанные летящей сверху землю... к ним бесшумно съезжает автомобиль со сверкающим оленем на капоте (она его регулярно пересаживает с модели на модель, игнорируя, что тот вышел из моды...), значит, и олень здесь... да и вся наша квартира уже здесь, под осыпающимся сверху рыхлым временем, прихватывающим и все мое прошлое с осколками блокадного льда, все то, кому я чем обязан, — погружается в курган, осыпается время с его человечностью, обезьяньим гуманизмом, с принципами и порядочностью, со всем тем, чего не снесли их носители, со всем, что сделало из меня

то жалкое существо, которое называют, по общим признакам сходства, человеком, то есть со мною... но сам я успеваю, бросив последнюю лопату, мохнато обернуться в черновато-мерцающую теплоту честной животности...

Ибо с тех пор, как их не стало: сначала моей бабушки, которая была еще лучше, еще чище моей тетки, а затем тетки, эстафетно занявшей место моей бабушки, а теперь это место пусто для моей мамы... я им этого не прощу. Ибо с тех пор, как не стало этих последних людей, мир лучше не стал, а я стал хуже.

Господи! после смерти не будет памяти о Тебе! Я уже заглядывал в Твой люк... Если человек сидит в глубоком колодце, отчего бы ему не покажется, что он выглядывает ИЗ мира, а не В мир? А вдруг там, если из колодца-то выбраться, — на все четыре стороны ровно-ровно, пусто-пусто, ничего нет? Кроме дырки колодца, из которого ты вылез? Надеюсь, что у Тебя слегка пересеченная местность...

За что посажен пусть малоспособный, но старательный ученик на дно этого бездонного карцера и... позабыто о нем? Чтобы я всю жизнь наблюдал эту одну звезду, пусть и более далекую, чем видно не вооруженному колодцем глазу?! Я ее уже усвоил.

Господи! дядя! тетя! мама! плачу...

Я был у нее в Институте один раз, как раз между «ногой» и «ногой», когда она выкарабкалась из инфаркта. Она избегала приглашать в свой Институт, быть может, до сих пор стыдилась того понижения, которое постигло ее неизбежно, в последние годы вождя, под предлогом возраста, по пятому пункту. Действительно, Институт со старушками и дебилами был не чета 1-му медицинскому. Она не пережила этого унижения, в том смысле, что продолжала его переживать. Однако после инфаркта что-то сместилось, она вернулась в заштатный свой Институт как в дом родной. Поняла ли она, что и этот Институт не навек?.. Меня подобострастно к ней провели. Просили подождать: на обходе. Сказали так, будто она служила мессу. Сравнение это кстати. Как раз такая она вошла, поразив меня молодостью и красотой. Она была облечена не только в этот памятник стирке и крахмалу со спущенным ошейником стетоскопа на груди, но сразу же надела на себя и свой кабинет, как вошла, — с оторочкой ординарцев по рукавам и шлейфом ассистентов, на плечи были небрежно накинуты стены клиники (кстати, превос-

ходные — отголоски Смольного монастыря...), и все это ей было необыкновенно к лицу. С тех пор она является мне в снах неизменно молодой, такой, какой я ее уже не застал по причине позднего рождения.

Что-то мне было от тетки надо, не помню что, тотчас исполненное бесшумной свитой.

Однако ни на что, кроме поразившей меня тетки, я тогда не обратил внимания.

Солнце. То самое солнце, с которого я начал.

Бывают такие уголки в родно городе, в которых никогда не бывал. Особенно по соседству с достопримечательностью, подавившей собою окрестность. Смольный (с флагом и Ильичем), слева колокольня Смольного монастыря, — всегда знаешь, что они там, что приезжего приведут именно сюда, и отношение к ним уже не более как к открытке. Но вот приходится однажды разыскать адрес (оказывается, там есть еще и дома, и улицы, там живут...), и — левее колокольни, левее обкома комсомола, левее келейных сот... кривая улица (редкость в Ленинграде), столетние деревья, теткин Институт (бывший Инвалидный дом, оттого такой красивый; не так уж много настроено медицинских учреждений — всегда наткнешься на старое здание...), и — так вдруг хорошо, что и глухой забор вдруг покажется красотой. Все здесь будто уцелело, в тени достопримечательности... Ну, проходная вместо сторожевой будки, забор вместо ликвидированной, решетки... зато ворота еще целы, и старый инвалид-вахтер на месте у ворот Инвалидного дома (из своих, наверно). Кудрявые барочные створки предупредительно распахнуты, я наконец прочитываю на доске, как точно именуется теткино учреждение (Минздрав, облисполком... очень много слов заменило два — Инвалидный дом), мне приходится посторониться и пропустить черную «Волгу», в глубине которой сверкнул эполет; вскакивает на свою культю инвалид, отдает честь; приседая, с сытым шорохом на кирпичной дорожке удаляется генерал в шубе из черноволги, я протягиваюсь следом, на «территорию». «Вы на похороны?» — спрашивает инвалид, не из строгости, а из посвященности. «Да».

Красный кирпич дорожки, в тон кленовому листу, который сметает набок тщательный debil; он похож на самшитую ватную игрушку нищего, военного образца; другой, посмышленнее, гордящийся доверенным ему оружием, охотится на окурки и бумажки с острой; с кирпичной мордой инвалид, уверенно встав на деревянную ногу с черной рези-

новой присоской на конце, толчет тяжким инструментом, напоминающим его же перевернутую деревянную ногу, кирпич для той же дорожки; серые стиранные старушки витают там и сям по парку, как те же осенние паутинки, — выжившие Офелии с букетиками роскошных листьев... Трудотерапия на воздухе, солнечный денек. Воздух опустел, и солнечный свет распространился ровно и беспрепятственно, словно он и есть воздух; тени нет, она освещена изнутри излучением разгоревшихся листьев; и уже преждевременный дымок (не давайте детям играть со спичками!) собрал вокруг сосредоточенную дебилную группу... Старинный запах прелого листа, возрождающий — сжигаемого: осенняя приборка; все разбросано, но сквозь хаос намечается скорый порядок: убрано пространство, проветрен воздух, вот и дорожка наново раскраснелась; утренние, недопроснувшиеся дебилы, ранние (спозаранку, раны...) калеки, осенние старушки — выступили в большом согласии с осенью. «Вам туда», — с уважением сказал крайний дебил. Куда я шел?.. Я стоял в конце аллеи, упершись в больничный двор. Пришлось отступить за обочину, в кучу листьев, приятно провалившихся под ногой, дебил сошел на другую сторону: между нами проехали «Волги», сразу две. Ага, вон куда. Вон куда я иду.

Тетка выглядела хорошо. Лицо ее было в должной степени значительно, покойно и красиво, но как бы чуть насто-роженно. Она явно прислушивалась к тому, что говорилось, и не была вполне удовлетворена. Вяло перечислялись заслуги, громоздились трупы эпитетов — ни одного живого слова. «Светлый облик... никогда... вечно в сердцах...» Первый генерал, сказавший первым (хороший генерал, полный, три Звезды, озабоченно-мертвый...), уехал: сквозь отворенные в осень двери конференц-зала был слышен непочтительно-быстрый, удаляющийся стрекот его «Волги». «Спи спокойно...» — еще говорил он, потупляясь над гробом, и уже хлопал дверцей: «В Смольный!» — успевал на заседание. Он успел остановиться главным образом, на ее военных заслугах: никогда не забудем!.. — уже забыли, и войну, и блокаду, и живых, и мертвых. Тетку уже некогда было помнить: я понял, что она была списана задолго до смерти, тогда, в сорок девятом; изменившиеся исторические обстоятельства позволили им явиться на панихиду — и то славно: другие пошли времена, где старикам поспеть... и уж если, запыхавшись, еще поспевал генерал дотянуться до следующей Звезды, то при одном условии — не отлучаться ни на миг с ковровой

беговой дорожки... После генерала робели говорить, будто он укатил, оставив свое седоволосое ухо с золотым отблеском погона... И следующий оратор бубнил вточь, и потом... никак им было не разгореться. Близкие покойной, раздвоенные гробом, как струи носом корабля, смотрелись бедными родственниками ораторов. Налево толпились мы, направо — еврейские родственники, не знал, что их так много. Ни одного знакомого лица, одного, кажется, видел мельком в передней... Он поймал мой взгляд и кивнул. Серые внимательно-растерянные, как близорукие, глаза. Отчего же я их никого... никогда... Я еще не понимал, но стало мне неловко, нехорошо — в общем, стыдно, — но я-то полагал, что мне не понравились ораторы, а не мы, не я сам. «Были по заслугам оценены... медалью...» Тетка была человек... ей невозможно по заслугам... у вас волос на ж... не хватит, чтобы ей по заслугам... будет металлургический кризис, если по заслугам... Смерть есть смерть: я что-то все-таки начинал понимать, культовский румянец сходил с ланит... Сталин умирал вторично, еще через пятнадцать лет. Кажется, окончательно. Потому что во всем том времени мне уже нечего вспомнить, кроме тетки, кристально честной представительницы, оказывается все-таки, сталинской эпохи...

Тетку все сильнее не удовлетворяло зауспокойное бубнение ораторов. Поначалу она еще отнеслась неплохо: пришли все-таки, и академики, и профессура, и генералы... — но потом — окончательно умерла с тоски. В какой-то момент мне отчетливо показалось, что она готова встать и сказать речь сама. Уж она нашла бы слова! Она умела произносить от сердца... Соблазн порадовать человека бывал для нее всегда силен, и она умудрялась произносить от души хвалу людям, которые и градуса ее теплоты не стоили. Это никакое не преувеличение, не образ: тетка была живее всех на собственной панихиде. Но и тут, точно так, как не могла она прийти себе на помощь умирая, а никто другой так и не шел, хотя все тогда толпились у кровати, как теперь у гроба... и тут ей ничего не оставалось, как отвернуться в досаде. Тетка легла обратно в гроб, и мы вынесли ее вместе с кроватью, окончательно не удовлетворенную панихидой, на осеннее солнце больничного двора. И конечно, я опять подставлял свое могуче-упругое плечо, бок о бок с тем внимательно-сероглазым, опять мне кивнувшим. «Что ты, тетя! Легко...»

Двор стал неузнаваем. Он был густо населен. Поближе к дверям рыдали сестры и санитарки, рыдали с необыкновенным уважением к заслугам покойной, вызвавшимся

в тех, кто пришел... Сумрачные, непохмелившиеся санитары, вперемежку с калеками, следующей шеренгой как бы оттесняли общим своим синим плечом толпу дебилов, оттеснивших в свою очередь старух, скромно выстаивавших за невидимой чертою. Ровным светом робкого восторга были освещены их лица. Кисти гроба, позументы, крышка, подушечка с медалью, рыдающие начальницы-сестры... генерал!! (был еще один, который не так спешил)... автомобили с шоферами, распахнувшими дверцы... осеннее золото духового оркестра, грохочущее солнце баса и тарелок... еще бы! Они простаивали скромно-восторженно, ни в коем случае не срывая дисциплины, в заплатках, но чистенькие, опершись на грабли и лопаты, — эта антивосставшая толпа. Генерал уселся в машину, осветив их золотым погоном... они провожали его единым взглядом, не сморгнув. Гроб плыл как корабль, раздвигая носом человеческую волну на два человечества: дебилы обтекали справа, более чем нормальные, успешные и заслуженные — слева. За гробом вода не смыкалась, разделенная молом пограничных санитаров. Мы — из них! — вот что я прочел на общем, неоформленном лице дебила. Они с восторгом смотрели на то, чем бы они стали, рискни они выйти в люди, как мы. Они — это было, откуда мы все вышли, чтобы сейчас, в конце трудового пути, посверкивать благородной сединой и позвякивать орденами. Они из нас, мы из них. Они не рискнули, убоившись санитаря; мы его подкупили, а потом подчинили. Труден и славен был наш путь в доктора и профессора, академики и генералы! многие из нас обладали незаурядными талантами и жизненными силами, и все эти силы и таланты ушли на продвижение, чтобы брякнула и услужливо хлопнула дверца престижного гроба на колесах... Никогда, никогда бы не забыть, какими бы мы были, не пойдя мы на все это... вот мы стоим серой, почтительной чередой, недолюди против уженелюдей, с пограничными санитарями и гробом последнего живого человека между!.. вот мы бредем, отдавшие все до капли, чтобы стать теми, кем вы заслуженно восторгаетесь; мертвые, хороним живого, слепим своим блеском живых!.. Ведь они живы, дебилы!! — вот что осенним холодком пробежало у меня между лопаток, между молодо напряженных мышц. Живы и безгрешны! ибо какой еще у них за душой грех, кроме как в кулачке в кармане... да и карман им предусмотрительно зашили. А вот и мы с гробами заслуг и опыта на плечах... И если вот так заглянуть сначала в душу дебила, увидеть близкое голубое донышко в его глазах, потом, резко,

взглянуть в душу того же генерала, да и любого из нас, то — боже! лучше бы не смотреть, чего мы стоим. А стоим мы дорого, столько, сколько за это уплатили. А уплатили мы всем. И я далек, ох как далек заглядывать в затхлые предательские тупички нашего жизненного пути, неизбежную перистальтику карьеры. Я заведомо считаю всю нашу процессию кристально чистыми, трудолюбивыми, талантливыми, отдавшими себя делу (хоть с большой буквы!..) людьми. И вот в такую, только незаподозренную, нашу душу и предлагаю заглянуть... и отворачиваюсь испугавшись. То-то и они к нам не перебегают, замершие не только ведь от восторга, но и от ужаса! Не только дебилы, но и мы ведь с трудом отделим ужас от восторга, восторг от ужаса, да и не отделим, так и не разобравшись. Куда дебилу... он с самого начала, мудрец, испугался, он еще тогда, в колыбели, не пошел сюда, к нам... там он и стоит, в колыбели, с игрушечными грабельками и лопаткой и не плачет по своему доктору: доктор-то живой, вы — мертвые. Никто из нас и впрямь не мог заглянуть в глаза Смерти, и не потому, что страшно, а потому, что уже. Души, не родившиеся в Раю, души, умершие в Аду; тетка протекает между нами, как Стикс. Мы прошли неживой чередой по кровавой дорожке парка; он был уже окончательно прибран (когда успели?..); не пущенные санитарями, остались в конце дорожки дебилы, выстроившись серой стенкой, и вот — слились с забором, исчезли. Последний мой взгляд воспринял лишь окончательно опустевший мир: за остывшим, нарисованным парком возвышался могильный курган, куда по одному уходили пациенты к своему доктору...

Кто из нас двоих жив? Сам ли я, мое ли представление о себе?

Она была большой доктор, но я и сейчас не отделался всеми этими страницами от все того же банального недоумения: что же она как врач знала о своей болезни и смерти? То есть знать-то она, судя по написанным страницам, все-таки знала... а вот как обошлась с отношением к этому своему знанию?.. Я так и не ответил себе на вопрос, меня по-прежнему продолжает занимать, какими способами обходится профессионал со своим опытом, знанием и мастерством в том случае, когда может их обратить к самому себе? Как писатель пишет письма любимой? как гинеколог ложится с женою? как прокурор берет взятку? на какой замок запирается вор? как лакомитс повар? как строитель живет в собственном доме? как сладострастник обходится в одиночестве?... как Господь видит венец своего Творения?.. Когда я обо всем этом думаю, то,

естественно, прихожу к выводу, что и большие специалисты — тоже люди. Ибо те узкие и тайные ходы, которыми движется в столь острых случаях их сознание, обходя собственное мастерство, разум и опыт — есть такая победа человеческого над человеком, всегда и в любом случае!.. — что можно лишь снова обратить свое вытянувшееся лицо к Нему, для пощады нашей состоящему из голубизны, звезд и облак, и спросить: Господи! сколько же в Тебе веры, если Ты и это предусмотрел?!

1970, 1978

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

ПАМЯТИ ОТЦА

Как печально вверглись они в разорение! уничтожились, погибли от ужасов.

Сколько раз мы вздохнули и охнули, выйдя на опушку, взойдя на гору, повернув за поворот и увидев море... Множество ли пейзажей и видов открывалось моему взору за бродячую мою жизнь? Нет. Не много. Чем больше я перемещался, тем меньше. Чем дальше я углублялся, тем больше видел пыль под ногами и стоптанные ботинки. Я брел по нерасчлененному уже лесу, выходил из некоего сада... пересекал горы, углублялся в чащу... я шел по словам из самого бедного словаря.

Я оставался при том, что имел. При Токсовском дачном озере, пионерском финском соснячке, с видом на Петропавловскую крепость. Расстояние в полста километров между ними — несущественно, скрадено памятью; и будто все это друг у друга на фоне, совсем в одной местности. Теперь и это немало: озеро заросло, лесок облысел, вид на Неву высосан почтовыми открытками. Но это — мое. Кое-что сверх этого зацепил я описанием, сделал фактом своей... присвоил. Там, в рукописях, расположен некий армянский монастырь, грузинский городок, ташкентский базар... Я отметил, что что-то видел.

Навидавшись, я по-прежнему иду по улице, вхожу в дом, сажусь за стол — и улица вообще, и дом вообще, и стол вообще. Значит, не мое. Моего же — вот столько. Сколько есть. Хорошо, если столько, сколько было.

Я хочу это видеть. Я ничего больше не хочу. А то опять увижу...

...Возвращаюсь из Москвы, везу анекдотец. «Шаху отрезали ногу...»

Как сядешь, так и слезешь... Если бы не вывеска, что это ЛЕНИНГРАД, — никакой разницы. Чья-то идеальная идея, чтобы Московский вокзал равнялся Ленинградскому: одинаковые перроны, одинаковые залы, по одинаковой клумбочке-могилке в начале и конце пути. «Червячок, а червячок?..»

Не выходя из вокзала, погружаюсь в метро: я все еще в Москве.

Выхожу на Петроградской и... наконец-то! дома! и все понятно. Радостно топчу землю. Причем именно землю, потому что сначала — сквер. Это кратчайший путь. Не могу сказать: узнаю, — знаю! И даже «вижу» — не могу сказать. Именно, что — НЕ вижу, а лишь убеждаюсь: на месте, все еще на месте...

Маршрут мой напоминает опыт Конрада Лоренца с землеройкой: этот недоразвитый зверек прокладывает свой путь лишь один раз, и если в этот первый раз ей поставить некое препятствие на пути, а потом его убрать, то она так и будет огибать его, уже несуществующее, до конца дней. Сорок лет назад я переходил Карповку по деревянному мостику, а лет десять тому — метрах в пятидесяти — построили капитальный, каменный; некоторое время они еще оба стояли рядышком, и я все еще дохаживал по деревяненькому: он стремительно ветшал, сквозя провалившимися досками, поблескивая повитертыми до блеска шляпками гвоздей... потом — снесли. А я и сейчас, кратчайшим путем, выхожу сначала к нему, убеждаюсь, что его нет, и как бы ощупью добредаю до нового, совершаю крюк. Кратчайший путь теперь другой... Значит, я выразился достаточно точно, что НЕ вижу: чувствую я, а не вижу... чего я здесь не видел? Иду я, щурюсь, будто на солнце, вдыхаю, будто и воздух-то здесь другой, чуть ли не улыбка бродит по моему... Однако, взгляни я на себя со стороны, мог бы отметить, что иду я как бы отчасти бочком, несколько одноглазо, если можно так выразиться, и под ноги не смотрю.

Иду я так, что в поле моего зрения может попасть лишь то, что было и раньше, а раньше — значит, до меня. Если налево не смотреть, более или менее получается: Карповка, Ботанический сад... а там можно и налево голову повернуть — там мой дом: как стоял, так и стоит. Но Карповка теперь одета в гранит, деревья, посаженные по ее берегу после войны, выглядят почти столетними, а те, столетние,

что вдоль Ботанического, давно попадали — все клонились, клонились с берега, тогда еще не гранитного, да и попадали... и решетка вокруг сада теперь другая. И под ногами, конечно, уже не плиты, и мостовая уже не булыжная — это все асфальт. Но дом мой — прежний, если слишком голову не задирать: наверху пропали скошенные окна мансарды, выпрямленные в лишний этаж... Но от моего дома вид уже не менялся на всем моем протяжении: тот же Электротехнический с башенкой, те же часы на башенке и тот же двухсотлетний елизаветинский барак в углу Ботанического... И все это избирательное зрение дается без труда, без сознания, само собой — я все еще в прежнем, своем, неизменном, неизменном пространстве, и времени никакого не прошло. И все ассоциации мои такие же заученные, как путь.

Как землеройка в дит препятствие на пути, потому и огибает, так и я вижу сначала все того же человека в кальсонах, свесившего ноги с крыши семиэтажного дома, грозящего карабкающимся снизу пожарникам прыгнуть вниз, если они к нему приблизятся... вон я там внизу, мне из-за спин не все видно... три часа длится эта осада... Вот сейчас, когда я миную то место, сердце мое привычно опустится, как тогда, когда, не дождавшись, повлекся я наконец домой, опасаясь нагоняя за опоздание, и тут же за спиной услышал общий вскрик толпы и, обернувшись, увидел остановившееся навсегда в полете тело, бессонно-белое и как бы пустое...

А на том берегу Карповки, где больница, увижу я впереди слово «морг». Нет, на нем нет вывески... просто я всегда боялся смотреть в ту сторону и так и не знал, какое же из этих сумрачных строений «оно» (я думал о морге в среднем роде), поэтому там расположено именно слово... Наверное, потому я завел тогда с мамой, именно на том повороте с Карповки на Аптекарский, один примечательный разговор... Я тогда в первый класс ходил... мама меня не поняла тогда... а я и теперь, сколько бы ни проходил это место, все тот же вопрос ей задаю и опять не имею ответа: «Мам, а когда я умру, я совсем умру?» Мама спешит, нам надо успеть отоварить карточку, ей надо успеть меня покормить и бежать на вторую службу. «Я тебя не понимаю, о чем ты?» — «Ну, кем я был, когда меня не было? — спрашиваю я иначе. — Я ведь был...» Голос мой дрожит. Но мама так и не понимает, что если я был до, значит, могу быть и после. С моими ужасными гландами мне надо поменьше разговаривать на морозе. Моя жизнь интересует мать именно в этом интервале от «до» до «после». Я каждый раз не плачу, огибая этот угол.

Я на Аптекарском. Карповка остается у меня за спиной; сад справа неизменно хорош, левый бок мой слеп — фабричная стена. До дома два шага, но и на этом расстоянии — отметина: худосочный дубок, с трудом набирающийся жизненных соков из-под заводской стены. Две неравноправные судьбы у деревьев: через улицу он наблюдает счастливую жизнь — там, за решеткой, в Ботаническом саду... Этому дубку спасли, однако, даже вот эту его, неудачную жизнь. На нем было поселилась тля, и мой отец, пока он еще выходил на улицу, надолго задерживался около, собирая эту мерзость палочкой с каждого листика. Прохожие смотрели на старика удивленно — он не смущался, а если кто спросит, пояснял охотно и наставительно. До какой степени казалось мне это его занятие бессмысленным! Однако вот так, поодиночке, за лето отец тлю победил. Ага, вот он, недомерок!.. Ремесленник 45-го года. Однако листом крепок, тли нет. Если обернусь, увижу отца: рукой он придерживает руку, чтобы она не опускалась, когда он дотягивается до очередного листика. Вид у него просветленно-сосредоточенный. Он и меня не заметил, как я прошел, и я его не окликнул. Там он остался, в заплечном пространстве, в том же, где никогда не упадет летящий в белом полотняном пузыре, где мне не ответят про «до» и «после».

А вот и Дерево. Дерево значит дом. Деревьев тут полно, но Дерево здесь одно. Оно растет у самого дома, и хоть оно тоже за границей ботанического царства, но — такое же могучее и древнее, из их рода, состоящее с теми в родстве, патриарх елизаветинских огородов. Оно нависло через всю улицу, дотянулось нижней гигантской ветвью до собратьев и последним хоть листиком, но нависло туда, за решетку, к своим, в сад... Эту ветвь обломил грузовик своим негабаритным грузом. Приятно было видеть свалившийся с него контейнер. И ветвь загородила всю улицу, сама как столетнее дерево. Очень я жалел ту ветвь. Но довольно скоро, точно так же могуче и низко, нависла через улицу следующая ветвь. Памятуя об аварии, ее вовремя спилили. Тогда все Дерево потянулось туда, к саду. Так и росло под углом... Приятно было, подъезжая на такси, в очередной раз произнести: «Вот под Деревом остановите, пожалуйста». И никогда шофер не переспрашивал, настолько было ясно, что значит «под Деревом». Три года, как его нет. И каждый раз взгляды мой спотыкается об эту пустоту, об эту возмутительную плешь, оголившую нашу подворотню. И ночью, подъезжая на такси, я до сих пор открываю рот, чтобы сказать шоферу,

как следует остановиться, но спохватываюсь: шоферу Дерево невидимо. Нечего мне теперь ему сказать, на эту секунду выходят лишние двадцать метров прежде, чем я грубо говорю: здесь. Ну, возвращаюсь немного назад.

Дерево спилили — это было СОБЫТИЕ. Долго валялись во дворе его слоновые чурбаки. Отцу мы про дерево не сказали. Отец уже не выходил на улицу и про дерево так ничего и не знал. Я застал свое сорокалетие в Москве. Он успел меня поздравить по телефону... Через час... Когда я прилетел первым рейсом и стал одевать отца и просунул руку под поясницу... то было последнее его тепло.

Из обширной связки ключей от многочисленных чужих домов я достаю один. И прежде чем повернуть его в замке, просовываю руку в щель почтового ящика: шторка, приоткрывшись, звякает. По этому звуку все узнавали, что пришел отец. Я поворачиваю ключ.

— Здравствуй, мама.

С каким бы постоянством и настойчивостью ни жаловались мы на жизнь, в настоящую минуту мы не будем сознавать, насколько положение наше ужасно. У нас не рак, в нас не стреляют, все, слава богу, живы. Чем хуже положение собственное, тем оно более и свое: ни с кем бы не поменялся. Другим как бы еще хуже. Настораживает только категорическая недопустимость дальнейшего ухудшения. В этом смысле хуже уже некуда. А так вообще-то ничего еще. Можно. Если не слишком долго.

Зато смерть была мгновенна. Он о ней даже не подозревал. А он ведь так ее боялся. Последний день был даже какой-то легкий, хороший. Даже аппетит: котлетку попросил. Племяннице и сослуживице позвонил. Больше года никому не звонил, а тут позвонил: принял поздравления с моим сорокалетием.

Лицо у него было красивое, ясное. Кровоподтек на лбу — ударился, когда упал, — почти незаметен. Так ведь, оказывается, врач сказал, больно ему не было: падал он уже мертвый. Он умер даже прежде, чем встал. Мертвый встал и упал. Ну и что ж, что кремация. Это была и его воля. К тому же удалось похоронить на нашем кладбище. А там захоронения уже запрещены. Гроб бы не удалось...

Соображение, которое мне никогда не удастся додумать: эти две бритвы, перерезающие жизнь отца... Как бы слабо она в нем ни теплилась, она не успела сойти на нет, не гасла

последней точкой, а оборвалась, вся, какая в нем была, — фронтом, водопадом. Не его собственное существование, а весь мир, представавший перед ним, рухнул в эту пропасть. Вот особое качество времени и темноты, которое не могу осмыслить: мир, разрубленный, как яблоко. И затем — печь... Куда наведывалась его душа на третий, девятый, сороковой?..

Но через год он наведался лично, во сне. Будто на улице встретился. Был он как-то обтрепан и весел. Легок. На брюках бахрома. Я был с мамой, а он очень обрадовался именно мне. Потрещал по руке. Мама даже приревновала: «А меня?» Потом мы обедали в какой-то забегаловке: отец ел жадно и молодо, мы смотрели, как он ест. Он ел и разговаривал (манера, так раздражавшая когда-то мать), рассказывал матери с энтузиазмом о моих литературных успехах. Это было так удивительно и на него не похоже! Вот кто, слава богу, полагал я, не дожил до этих «успехов»: он бы их не вынес. А тут, на тебе, убеждает мать в обратном... Обрадованный неожиданной поддержкой, я решил воспользоваться случаем порасспросить его о «тамашней» жизни (не американской, а загробной), он отмахнулся, жуя: «Да я там редко бываю...» Странная эта фраза поместилась на его вилке, как макаронина. Его голод и вид бродяги подтверждали мои христианские сомнения по поводу современного обряда... но, с другой стороны, неприкаянность эта была как бы только внешней, иначе откуда эти беспечность и свобода, которые никогда не были ему свойственны? Поэтому я не оставился и спросил его о главном: я склонился к нему, чтобы не слышала мама, и как свой своему: «Ну, а сколько мне осталось?» Отец глянул и зажевал более задумчиво. Я стал его убеждать, что знать мне надо не из чистого любопытства, что я готов ко всему, но должен, в таком случае, у с п е т ь. Имелось в виду мое Дело (с большой буквы), которое, как мне стало теперь ясно и, по-сыновьи, лестно, он вполне признавал. Отец слушал меня невнимательно, наконец, что-то окопчательно взвесив, не переставая жевать, выкинул мне, даже небрежно, как бы не разделяя нашей смертной и праздной заинтересованности в жизни, — выкинул два пальца. На свободной от вилки руке. Как рога или заячьи уши. Или чтобы не поняла мать. Или это римское пять. С чего бы римское?.. Тогда уж мог выкинуть по-русски — пятерню. Или это означало латинское V — виктория? Конечно, мне сразу показалось мало — два. Я подозревал, что немного, но

не два. 25 июля 1980-го... нетрудно было тут же подсчитать. Но уточнить мне не удалось. Сон распался.

Но впереди было по крайней мере два года...

В одном отец уже оказался прав: в той своей мине пренебрежения к моему интересу. Ничего я не успел за эти два года! Жизнь есть жизнь. Ее не поторопишь. Пятилетку в два года я не выполнил. И с предупреждением я прожил, как без него, и, в этом одном смысле, я собою доволен. В этом смысле я оказался свободен и лишней полочки к своему кресту не приколотил. Осталось три месяца.

Если не виктория, конечно...

Так что положение мое не кажется мне скверным. Потому что — куда тут хуже? Друзья покидают... Девушка не приезжает... Дела прикрылись, денег нет; развод, жить негде. И не пишется: плоды зацементировались в моей утробе, ни одного яичка не снес. Так и не снес... зачем было тогда отца выпрашивать? Правда, дети мои — не парадуюсь. Вот только дочь не поступила и сын опять простужен. Правда, в отношении принятых на себя... до сих пор справляюсь: доедаю автомобиль. И живут они все еще, как будто я есть. Правда, есть еще несколько неполноценных читателей, для которых я свет в окошке. Убогие, неполноценные, но я им нужен и, слава богу, с ними еще не знаком. Правда, есть еще несколько бывших и будущих красавиц, благосклонных ко мне. Но лучше бы я был хуже для них, чем для себя. Правда, матушка — дай ей бог здоровья!

В общем, устроился...

Блудный сын, возвращаюсь домой. Сорок лет назад меня сюда привезли, и вот проходят каких-то сорок лет, и я опять здесь! Оплот! Мне все еще есть «куда прийти» — это ли не итог.

Мама у меня девочка. Говорит бойко и радостно, никогда не поддаваясь ни возрасту, ни настроению... говорит, и будто у нее за спиной две гимназические косички прыгают, или два пыльных бабочкиных крылышка трепещут... Обсыпает меня всеми семейными новостями, причем совсем последними, совсем мелкими, словно я всего вчера вышел и, следовательно, все еще хорошо помню и знаю. И вот я покрываюсь этой пылью, принимаю вспять форму кокона, спеленываюсь и готов больше никогда не родиться, а здесь с нею, с мамой, и пребывать...

— А ты знаешь, нас выселяют! — весело прощбетала мать.

Подробности мне рассказывает сосед Никонович. Мне ка-

жется, он слегка привирает, что ему уже 89. Но возможно. Паспорт он мне показывал. Возможно, Никонович вечен. За последние сорок лет он не только не изменился, но решительно помолодел. В институте геронтологии он числится как объект. Он высок, строен, легок; на гладко выбритых щеках бодрый румянец; и седины у него не больше, чем у меня. Четыре войны упрочили его осанку и выправку, и сознательное холостячество пошло впрок. Начинал он с унтера, теперь по вызову «Ленфильма» соглашается выходить в мундире не ниже полковничьего, впадая уже в царскую фамилию, на уровне Великого Князя. К его бравому виду пристал зычный голос, грассирующий баритон. Но баритон у него удален по поводу рака гортани, операция прошла преуспешно, так что и в онкологическом отношении он теперь — объект. И надо сказать, таким разговорчивым, как после операции, он никогда не был. Сначала его было трудно понимать, и он писал бесконечные записки твердым гимназическим почерком. Теперь то ли он, то ли мы научились. Я перестаю себя слышать, что отвечаю, и мы беседуем, как две рыбы в аквариуме.

Кстати, наш обреченный, как оказалось, дом отчасти аквариум и напоминает — начало века, модерн: что-то есть в его линиях именно аквариумное. Никонович открывает и закрывает рот, и я вникаю: нас выселяют, теперь точно, раз есть решение горисполкома, теперь — в любой момент, но скорее все-таки после Олимпиады. «После Олимпиады» — это уже формула. Как «после войны». В шесть часов вечера, скорее всего. После дождичка, если то будет четверг. Радиоактивенького. Так и слышу его умиротворенный пепельный шепоток.

Аквариум, две большие старые рыбы, теперь еще и дождик сверху. У меня стремительно падает давление, втягиваются внутрь барабанные перепонки и височные кости, будто я сам себя высосал изнутри. А он все говорит и говорит. ЭНЕРГО-ТЯЖКОМРЕМСНАБСБЫТИЗДАТ пишет он мне на клочке непонятное мне в его произнесении слово. Это оно нас купило, это оно нас схавало, членистоногое. Так, значит, все это, что мы жили и умирали, есть ПРЫГСКОКБРЯКБРЫКСКО-ПЫТ. Нас уже нет, а он, сожравший уже половину Аптекарского острова, он — есть и есть, БРЯКРЫГРАККОМ-ИСТДАС...

Комната у меня уже покачивается перед глазами; плывет, фокусничает пространство, как и положено в аквариуме, превращая; под определенным углом, толщу — в линзу, то

сплющивая собеседника, как камбалу, то растягивая, как рыбу-иглу... Я жалуюсь Никоповичу, наконец, на головокружение и низкое давление, и лучше бы я этого не делал... Во-первых, по его примеру я должен пить перед обедом сухое вино (на десять минут удаляемся от темы, погружаясь в свойства витаминов и глюкозы...), но не много (то намек), а — всегда (и это тоже намек), результат, как вы видите, налицо... а во-вторых, курага (еще пять минут о свойствах и ценах на курагу)... а в-седьмых, бульон (но это уже шутка — Никонич долго булькает). Шутка вот такая: Декарт (он мне покажет книгу...) советовал страдавшему анемией и тому подобными недомоганиями. Паскалю пить крепчайший бульон (а как же холестерин и склероз!.. лучше бы я не уточнял...)... так вот, бульон, а во-вторых, по утрам как можно дольше не вставать с постели, до чувства полной усталости от лежания... Ха-ха-ха! Правда? Декарт?.. Я сейчас принесу вам книгу... Что вы, я вам верю. Спокойной ночи, Александр Никонович.

Утром я долго не хочу проснуться. Неслышная, с шорохом ночной бабочки, летает из кухни в комнату мать. Я не хочу проснуться, потом я не хочу просыпаться. Я не помню, я хочу не вспомнить, почему я этого не хочу. Я должен был проснуться от телефонного звонка. Если я свешу вниз руку, она упадет на телефонную трубку. Может, мать унесла? Не открывая глаз, опускаю руку — трубка хорошо покоится на рычаге, не соскочила, не съехала... Не позвонила! Я отворачиваюсь от жизни к стенке. Но сон уже нейдет. Я храню в себе эту последнюю утреннюю возможность ни о чем не подумать — странное напряжение! О чем же именно я не думаю? Как бы не могу вспомнить... Часы бьют раз. Сколько это? Половина чего? Если бы вспомнить хоть какую деталь последнего сновидения, можно было бы попытаться вжиться в него, вернуть... Но оно ушло, как видно, навсегда. Жалкие попытки самому смоделировать сновидение напоминают тошнотворные усилия письма... Часы бьют, и опять — один раз. Значит, полчаса я просопротивлялся в стенку... С облегчением переворачиваюсь на спину. Что с часами? Либо час, либо полвторого. Эта воскресшая логическая способность восхищает меня. Если бы позвонила, то не позже двенадцати с поправками на все географические осложнения, на все перекладные от ихнего Ленинграда до моего... — уже не дозволилась... И это уже что-то, что уж е... Голова моя абсолютно пуста. И тут — солнце.

Оно меня достало. Ему не было до меня, конечно, дела, как не было дела до меня и времени, которое я пытался пере-лежать. Все, тем временем, продолжалось. Надо было открыть глаза на это.

Я открыл. То, что я увидел, стоило того. Я лежал, все еще тая в себе накопленную старательным лежанием неподвижность внутри и пустоту головы, и наблюдал один общеизвестный феномен — пылинки в солнечном луче. Сколько лет я этого не видывал? Десять? двадцать? все тридцать? Луч стоял высокой прямоугольной призмой, пробившись между оконной рамой и занавеской, снизу подрезанный высоким плечом моего роскошного письменного стола, за которым еще мой дед ни строки не написал, изготовив его по заказу и собственному проекту... Срезанная столом призма света оперлась на паркет и гранью врезалась мне в подушку. Пыли хватало, однако. Она клубилась, восходя и оседая, скручиваясь в галактические спирали, и даже сверкала, ловко находя в себе грани, любясь тайной материи в себе. Она восставала из праха, демонстрируя некую космическую солидарность материи. Прах, пыль, пылинка, частица, тело... Непостижимое чудо. Да, будь сейчас семнадцатый век, совет Декарта пришелся бы кстати, и я вылежал бы сейчас, в позе интеграла на своем боку, два-три классических закона, будь я Паскаль, конечно... Что-нибудь о воздушных потоках, или дисперсии частиц, или непрозрачном теле... Интегральное исчисление, само собой, висело в воздухе, если оно еще не было открыто... Некий победный вихрь — торжество закономерностей — творился в солнечном луче и даже как бы ликовал по поводу собственной непостижимости: законы не таились, а демонстрировались беспомощному уму, практически без риска, что я могу проникнуть хоть в какой завиток Творения. И как было ясно, что не стоило его, бедного (ум), напрягать, что не только в пыли той находилось все то, что составило славу классической, там, механике и математике, но и вообще — все, и то, что было потом, и все, что еще будет открыто, и все это будет ничтожно по отношению ко всему, что происходило в этом луче. Этот демонстративный танец, потому что и ритм, и музыку я уже как бы и слышал, имел в себе и тот смысл, что не мне он вовсе предназначался и даже — не лежавшему в моей позе три века назад, по совету Декарта, Паскалю... «Торжествующая закономерность», — повторил я про себя, и мысль ускользала от меня в вихре остальных, мне недоступных, что меня как бы и радовало. И торжество это было не по отношению ко

мне и нищему моему сознанию, кончившему страстным желанием никогда не поднимать головы хотя бы и с этой подушки, и даже не по отношению к человеческому сознанию вообще, от которого я в данный момент, как только мог, неполномочно представлялся... торжество это было в постоянстве и нескончаемости своего дления: -ующее, -ующая, -ующий — что-то и кто-то. Так что можно было и не напрягаться: будто любой уловленный нами закон не только был ничтожной частью той мировой, все время обнимающей, все поглощающей в себя закономерности, но и как бы исчезал напрочь, как только бывал пойман и сформулирован, законешко этот; будто, вслед за нашим сознанием, исчезал наш закон и из мироздания, как ненужный, как умерший, без которого оно продолжало в своем -ующем длении обходиться, так как его и не было, а мы все перли с ним назад, примеряя к улетевшему от нас за время нашей нелепой мозговой остановки мирозданию, улетевшему на расстояние, не соизмеримое с тем, на котором мы находились в тот опьянивший нас момент, когда нам показалось, что мы что-то про что-то поняли и открыли... Вдохновенная радость охватила меня от зрения этого мечущегося перед взглядом праха — вдохновенная радость собственного перед ним ничтожества: на какой из этих пылинок проносился я мимо мириада остальных?.. И если бы надо было назвать мне мою вновь обретенную землю, назвал бы ее Гекубой... куда я, писарь, войду без цитаты?.. Рассеянный свет! Свет рассеялся на мерцающих пылинках — расселился. А был ли он меж них? Они ли рассеялись в свете? Мне ли сподобилось еще раз припасть, чтобы в очередной раз лишиться всего этого, запасливо стряхивая пыль с колен? Я ли увидел свет, меня ли осветили, чтобы я сверкнул своей пыльной гранью, проносясь навсегда? Господи, как не страшно, на самом деле, что ты есть. Ну, и будь себе на здоровье. Мне-то что. Экое ликование, что дано мне было прокатиться на твоей карусели! Рассеянный свет... куда он рассеялся, когда? Что он забыл или потерял, рассеянный какой... И какой бы ни был рассеянный, а свет! А свет, какой слабый бы ни был — о! Свет — всегда в е с ь. И частица его есть часть всего света. Никак не мало. Рассеянный свет — он все еще доходит до нас. И мы еще есть. Ибо куда нам деться, коли он все еще не рассеялся до конца. Может, не заходит, а рассветает...

Луч сдвинулся, оставив под собою, к моему удивлению, на редкость чистый и надраенный паркет, без пылинки на нем... осветил маму. Казалось, она выткалась из этой волшеб-

ной пыли и все еще немного просвечивала насквозь. Луч был преломлен ею, но она — всего лишь поглощала свет, как непрозрачное тело: как бы луч наткнулся на луч... интерференция, что ли?.. родив ее легкую святую тень, чтобы глаз мой мог различить ее в рассеянном свете. Мама!..

— Проснулся! Что хочешь на завтрак...

— Я бы выпил бульону.

Ах, при чем тут Паскаль! Неизвестно, пробовал ли он советы Декарта... Бульон обжег мне небо и своим длинным вкусом отравил первую сигарету и все с таким трудом наложенное одухотворение...

.....

Я так хотел продолжить — и так не мог...

Срок миновал. Выжил... Рассеянный свет! Куда рассеялось все?! От какой пашей рассеянности... И какой свет мы имели в виду?.. Все густеет вокруг. Сужается. Теснина, туннель. Свет рассеялся и поглотился, но что-то, пятнышко какое-то... растет впереди. Впереди или в конце? Там — свет. Оттуда свет. Тот свет.

Когда-нибудь я все-таки напишу эту книгу! В ней время пойдет в своем подлинном направлении — вспять! Только — никаких ретроспекций!.. Просто сначала Дом наш выживет из стен своих то жутковатое учреждение, его поглотившее; затем, первым делом, воскреснет отец, потом и болезнь его уйдет в далекое будущее, восстанет Дерево и прирастет к нему ветвь, а там и самоубийца взлетит с асфальта на крышу в своей полотняной рубашке; помолодеет мать... Быстро, ускоренной съемкой, взлетят в небо бомбы, оттают блокадный лед, и не начнется война. Более ласково засверкает листва, как в детстве, как после слез, когда тебя несправедливо отшлепали. А вот тебя еще и не шлепали... Оживет бабушка. Небо взглянет все более незамутненным взором, вдруг я крикну от первого шлепка и — рассказчик еще не родился. Как изменится мир оттого, что в нем меня еще не было? Какими неведомыми цветами зависти, надежды и ожидания окрасится он без меня?.. Как все заплещет и заиграет счастьем!

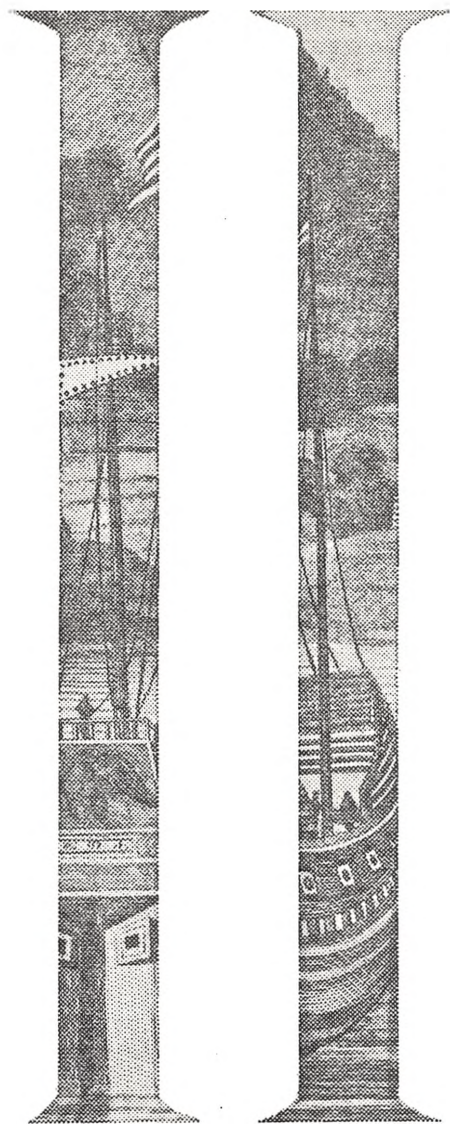
И вот — буквально ничего не произошло. Все — унеслось в будущее.

Цокая по булыжнику, подкатит экипаж; дама с солнечным зонтиком вспорхнет с подножки, поддерживаемая под локоток господином, в котором я не сразу узнаю своего деда, а лишь потом — догадаюсь... у дамы из-под рюшей чуть подобранной юбки обнажится повыше башмачка... какая

хорошенькая попка! Какая красивая, какая юная бабушка у меня в 1910 году! А это что за команда просыпалась, как горох? Губастый, в белокурых локонах мальчик в матроске держит в обнимку стеклянную банку с заспиртованной вороной, — мой дядя раньше всех ощутил свое призвание... а вот и тетя, узнаю ее по посику, да ей и двух нет — что о ней говорить... и вообще не так уж и хочется мне их особенно разглядывать — взгляд мой прикован к другой девочке: только она способна так всему удивиться, только у нее могут быть такие круглые от восторженного ужаса глаза... Мама! Мамочка... Не бойся, ты меня не знаешь... Как же тебе интересно сейчас... Вносят баулы, картонки, коробки, саквояжи... Какой новый дом! Какой большой! Неужели это ты будешь в нем жить, девочка моя?..

Какой и впрямую занятый, непохожий на другие, дом! Никто еще не знает, что ты — в стиле начала века, что ты — модерн, что ты «либерти»... Ты просто нов и удобен для жизни моих живых. Тут и они отходят от меня в неразличимую даль будущего, и почему-то это меня все меньше занимает... Не про то ли я когда-то потом расспрашивал мою мать? Будто был ли я?.. Но вот — и нет меня.

Какая же это когда-нибудь будет книга! Ах, надо торопиться... Может, еще не поздно?.. Может, еще не...





ИБО Я НАЗЫВАЮСЬ ЛЕВ...

Киноповесть¹

Каменистая дорога огибает приземистый храм. К храму стекаются крестьяне.

Древний храм, древняя дорога, кажется, и воздух древний.

Красочно убранная арба ковыляет по склону вниз к храму. Крестьяне останавливаются, пропуская и приветствуя ее.

Она украшена пурпурным шелком, на ней расставлены белые скамьи. В окружении серафимов и херувимов восседает царский сын, сложив на груди руки. Перед ними сидят отроки, листают псалтырь и поют.

В арбу впряжены красные волы.

Арба останавливается, и слышно резвое цоканье копыт. Время прорывает время: по дороге катится пролетка из начала нашего века. В ней господин лет сорока в котелке и европейском костюме и красивый молодой человек в студенческой фуражке и тужурке.

Но вот все шествие остановилось,
Но вот колес вращенье прекратилось
И встали краснобокие волы,—

продекламировал господин в котелке.

Колеса деревянные не вертятся,
И удивленным отрокам не верится,
Не знают отроки, что делать им.

— Невозможно поверить, дорогой Иосиф Абгарович, что прошла эта тысяча лет... что это не сейчас,— ответил господин в котелке, глядя на остановившееся шествие.

¹ Повесть для кино написана по материалам книги Ашота Арзуманяна «Братья Орбели».

...Храм остался позади, вьющаяся дорога подымается в горы, и с подъема открывается вид на развалины крепости Ани.

— Латынь и греческий — это хорошо, это вы уже не забудете, Иосиф Абгарович, — сказал Николай Яковлевич. — Но их многие знали и лучше нас... А вот грабар и древний грузинский — это за нами... Взгляните, чем не Троя! Это же культура! Все это было! Вы «Давида Сасунского» хорошо знаете?

Молодой человек в сомнении качает головой.

— Да и кто знает?.. — вздохнул Николай Яковлевич и продекламировал нараспев:

Разграбили все, унесли.
Зарезали сорок епископов в приделе,
Зарезали сорок монахов в келье,
Зарезали сорок служек,
Зарезали сорок иноков — нет, меньше одним!
А тот один, когда шла резня,
Под трупы заполз...
Из-под трупов выполз он,
Рубаху иноческую взял,
В густую кровь убитых погрузил,
К Давиду он в тревоге побежал...

Поймите вы, дорогой Иосиф Абгарович! — с жаром сказал Николай Яковлевич. — Вы — тот же инок... Вам рассказа об этом, — он указал на развалины, — хватит на всю жизнь. Потому что моей — уже явно не хватит...

...Иосиф Абгарович бредет от развалин в гору, приближается к скале. Он глубоко задумался. Напевает «Золото Рейна» Вагнера. Это в нем здесь почему-то звучит.

Вдруг будто ржание. Иосиф прислушался.

Ручеек, вспениваясь, пересек ему путь, и ржание повторилось отчетливей.

Говорят, дважды в год
Раздвигается та скала... —

вспомнил Иосиф последние строки эпоса.

— Когда выйдешь отсюда, Мгер, Давида сын? — спросил Иосиф.

И ответил Мгер:

— Коли встану, выйду на свет —
Не удержит меня земля!
Пока этот мир полон зла,
Пока будет лжива земля,
На свете мне не жить.

Показалось Иосифу, что скала дрогнула. Он посмотрел в небо. Там, высоко, парил орел.

Высокое небо испарывает белой нитью реактивный самолет.

Необработанный гранит напоминает скалу. Скала складывается в могучее лицо. Это надгробный памятник.

Богословское кладбище в Ленинграде. Два памятника бок о бок — две стелы с бюстами, два бородатых старца. Два очень разных характера прочитываются даже в этой кладбищенской скульптуре: аккуратный, полированный и — необтесанный, лохматый... Около «лохматого» памятника, стоящего правее (то есть позднее), сухонькая старушка — прибирает, поправляет цветы.

Смотрит на памятник. Общается — иногда у нее даже шевелятся губы, — разговаривает. Надтреснуто напевает «Золото Рейна» — это их музыка, памятника и старушки, их тема.

По аллее приближается молодая женщина («модный силуэт») с букетом. Идет к тому же памятнику. Старушка как бы уже собралась уходить. Женщина не хочет ей мешать. Замешательство.

Они расходятся, взглянув друг на друга: старушка бросает ясный и цепкий взгляд, молодая — извиняющийся. Они незнакомы.

Зимний Ленинград. Быть может, самое красивое его место — Дворцовая набережная. Ясно. Все в остром инее, и такие же иголки словно носятся в воздухе. Серебряный воздух, золотое небо. Странно услышать на этом фоне армянскую мелодию «Наступают холода». Вторые дудукисты тянут ровную одну ноту, фонировать. На этом серебряном фоне солист тклет свою золотисто-кудрявую нить. На этом музыкально-морозном фоне — Петропавловка, Биржа, Кировский и Дворцовый мосты, Зимний...

На одном из домов на Набережной мемориальная доска. «Здесь жил... академик Иосиф Абгарович Орбели».

Эрмитаж. Служебный подъезд.

Проходим по Эрмитажу, попадаем в конференц-зал. В него по одному, по двое сходятся сотрудники. Переговариваются, рассаживаются. На лицах — легкое академическое недоумение, когда они поглядывают в сторону несколько более современно, чем они, одетой молодой женщи-

ны — она стоит у окна. На подоконнике — фотоаппарат и портативный магнитофон. Она им чужая. Это она приходила на кладбище...

Помещение выглядит странно для Эрмитажа. Голые белые стены, голые стулья, помост... Окоп нет, зашторены; шторы тоже белые. И сотрудники, с их приглушенным бормотанием, и осторожные косые взгляды в ее сторону... Будто ей это снится...

Наконец появляется и председательствующий, располагается за столом, передвигает бумажку, постукивает карандашом, требуя внимания.

— Сегодня у нас не совсем обычное заседание... Кхм, Союз писателей и Гостелерадио обратились к нам с письмами с просьбой оказать содействие Тамаре... — смотрит в бумажку, все смотрят на гостью, она напрягается, достойно смущаясь, и включает магнитофон... — Леонидовне Шистовской. Тамара Леонидовна специально приехала из Москвы, она — искусствовед, сценарист, очеркистка... пишет статью...

— Книгу... Еще не пишу... собираю материал... — досадливо поправляет Тамара.

— ...Книгу о всем нам дорогом Иосифе Абгаровиче Орбели. К сожалению, нет нашего директора академика Пиотровского, ближайшего соратника и любимого ученика Иосифа Абгаровича. Борис Борисович сейчас с культурной миссией СССР в Индии. К сожалению, не смогла прийти и член-корреспондент Академии наук Камилла Васильевна Тревер, верный соратник Иосифа Абгаровича на протяжении многих десятилетий, нездорова. Но здесь собрались многие, кто хорошо знал и долгие годы работал... Наш долг помочь товарищу... (Тамара смотрит на председательствующего со старательно подавленной тоской...) Научная, общественная, государственная и литературная деятельность академика Орбели связана...

Тамара вглядывается в лицо говорящего, с усилием припоминая. Она уже не слышит, что он говорит...

Богословское кладбище. Огромная толпа народу окружила то его место, которое мы уже видели. Несмотря на снег и мороз, очень много венков и живых цветов. Правее стелы с бюстом — могильный зев. На лентах венков можно прочесть имя нашего героя.

Гроб. Последние речи над гробом. Присмотревшись к оратору, мы его узнаем... Мы слова в конференц-зале...

— Я бы и сам охотно поделился своими воспоминаниями, но, думаю, неплохо бы было, чтобы сначала высказались

товарищи, ближе меня знавшие нашего незабвенного Иосифа Абгаровича... — Председатель и сам запамятовал: юбилей ли, панихида...

Наступило неловкое молчание. Никому не хотелось начинать.

— Сергей Давыдович, вы работали с академиком Орбели в самые последние годы, когда он руководил Ленинградским отделением Института востоковедения... Может быть, вы...

Поправляя очки и подергивая плечом, интеллигентнейший Сергей Давыдович начал:

— Орбели был выдающимся специалистом по истории культуры всей древней Армении, всего Ближнего и Среднего Востока и Кавказа. Правда, Турцией непосредственно он занимался мало... Даже его противники не могли отрицать, что любое дело, за которое он брался, становилось делом, начатым Орбели. Так было и с Эрмитажем. Конечно, не Орбели создал Государственный Эрмитаж. Но Эрмитаж, тот, каким он является сегодня...

Тамара смотрит на портрет Орбели, такого живого, даже на фотографии, старика... Вздыхает.

Перед ее мысленным взором встает комната в студенческом общежитии. Она, еще девчонка, со свежим университетским ромбом в петлице, с обиженным лицом, всхлипывая от досады, достает из большого портфеля магнитофон, зло щелкает клавишами... Тут раздается робкий стук в дверь, и, прежде чем она успевает поправить перед зеркалом свое расплывшееся лицо, дверь приотворяется, просовываются цветы, за ними клочковатая дикая борода и живой молодой глаз, похожий на глаз породистого коня. Глаз сразу видит все: и ее растерянность, и недавние слезы...

— Иосиф Абгарович... — Тамара не может прийти в себя от изумления.

— Ну да, я. Вы забыли у меня блокнот. А на нем адрес... Другие все меня знают, не обращают внимания, а вы — еще нет. Вот я и пришел показаться, чтобы вы меня знали...

Он сует ей в растерянные руки цветы, блокнот и начинает бегать по комнате.

— Понимаете, все, наверно, в портфеле... — он неприязненно косится на разверстый портфель. — Ну да, конечно! — обрадовался он этой идее. — Все дело в нем! Вы что смотрите на меня как на сумасшедшего? Впрочем, имеете основания. На самом деле — все просто. Если бы были без портфеля, я бы на вас никогда не наорал. Впрочем, я вас

и не видел, я только портфель и видел. Если бы я вас видел, — из-под всего этого лохматого седого обличья дряхлого льва вдруг опять выстреливает такой молодой, такой мужской глаз, — если бы я вас видел, я бы и с портфелем на вас не наорал... Опять не понимаете?

Тамара смущается и вдохновляется.

— Поняла, — уверенно соглашается она. — Теперь про портфель.

— Вот и прекрасно. Значит, приступаем к беседе. Видите ли, эта идиосинкразия у меня от Эрмитажа... Хотя сейчас ей и нет оправдания. Где Эрмитаж, а где я?.. Ну что, скажите на милость, можно теперь у меня украсть в Институте востоковедения? Буквы? Слова? Диссертацию Цукермана о языке курдов? Тьфу! Нечего украсть в нашем институте. Вы думаете, я ученый? Как бы не так. Я сторож. Причем сторож-неудачник... Видали вы когда-нибудь такого? А за тридцать лет в Эрмитаже я стал псом цепным. Мне все казалось, что каждый хочет в Эрмитаже что-нибудь стащить. Каждую цацку, мимо которой вы все пробегаете, будто она и не выставлена... А я на нее посмотрю — и успокоюсь: на месте, не украли. А если с портфелем — то точно вор. Ну зачем в Эрмитаж — с портфелем?

— У меня там был магнитофон, — смеется Тамара.

— У вас там магнитофон, а мне, когда я вижу портфель, хочется ударить его владельца палкой по голове. К сожалению, все это не больше чем прекрасные воспоминания. Мне теперь некого и не за что бить палкой по голове. Одна вы, бедная и напрасная жертва моих устаревших рефлексов... Если б меня кто-нибудь посмел взять хоть швейцаром в Эрмитаж... Что вы смеетесь? — Орбели лохматит и без того лохматую бороду и делает грозный вид. — Еще в годы нэпа я шел по Невскому, такой гордый собой: меня только избрали членом-корреспондентом в академию... вдруг останавливается роскошная пролетка, сходит с иголочки субъект, в котелке, жилетке, при цепочке — все, как надо. Говорит: молодой человек, мне очень нравится ваша внешность, не согласились бы вы у меня работать? Очень солидный, интеллигентный такой господин... Да, говорю, кем? Швейцаром, говорит. Не думайте, говорит, у меня заведение аристократическое, будете довольны. Я открыл рот, а он мне достал визитную карточку, сунул в нагрудный карман, поклонился и уехал. Не смешно? Сейчас какой-то другой юмор стал... Вспоминаю какой-нибудь бывший очень смешной анекдот, рассказываю — смеются только от страха передо мной... И са-

тому вдруг не смешно... люкс ин тенебрис!¹ — как «черт возьми» выпалил он. — В общем, заходите еще раз, — и внезапно вылетел из комнаты.

Тамара осталась в полном недоумении, не сразу понимая, что это недоумение ей приятно...

— ...он бывал подчас резким, строгим, вспыльчивым очень, — говорил уже следующий оратор, и когда он сказал про вспыльчивость, все собравшиеся слегка ожили, задвигались, закивали согласно, — он вообще был во всем темпераментным человеком. В шутку он называл себя «подарок жепщинам» — ведь день его рождения приходился на Восьмое марта... (Тамаре показалось, что кто-то многозначительно на нее посмотрел, и она потупилась.) И наконец, еще об одном: Иосиф Абгарович был необычайно щедрым человеком. В шутку мы говорили: «Хорошо, что между домом Иосифа Абгаровича на Дворцовой набережной тридцать два, и нашим домом восемнадцать расстояние только пятьсот метров. Если бы он жил, к примеру, около Сенатской площади, то, наверное, с зарплатой у него совсем было бы плохо». И действительно, по дороге домой из института в дни выдачи зарплаты его нередко перехватывали несколько человек, чтобы взять взаймы. И Иосиф Абгарович тотчас доставал из заднего кармана деньги, с необычайной легкостью расставаясь с ними. И как он сердился, если пробовали возвращать долг: «А я не помню, чтобы я когда-нибудь вам что-нибудь давал!..»

Общество все более оживлялось, наконец что-то вспоминающая. Непринужденнее стали позы, все задымили, зашумели, порываясь вставить слово...

— Между прочим, второго костюма у него не было. Да и рубашки... помните, какие у него были рубашки?

Тамара в гостинице, у себя в номере. За окном темно. На столе магнитофон и стопка бумаги. Тамара переписывает с магнитофона беседу. Последние слова предыдущей речи — как раз то, что она пишет. Она останавливает магнитофон и закуривает. Она недовольна. Нажимает пальцем клавишу перемотки, включает:

— Ему всегда было нужно сопротивление, ему все нужно было преодолеть. Тогда начинала действовать его натура...

¹ Lux in tenebris — свет во тьме (лат.).

Еще раз перематывает и включает:

— Правда, Турцией он занимался мало...

Еще раз:

— ...потому что у него вдруг изменилось лицо, как оно могло меняться только у него. Вы помните, как он мог моментально меняться?

Еще и еще раз:

— Когда мы узнали, что нас кормят свиной, а курды свинью не едят, мы забастовали, не стали есть и обратились к Иосифу Абгаровичу...

— Он не любил одиночества...

— Он очень любил вещи. Может быть, больше всего он любил именно вещи — следы ушедших народов...

— Он часто бушевал, но был отходчив. Оправдываясь, говорил: «А почему они позволяют на себя кричать?» Попробовали бы вы последовать этому его совету!.. Самое правильное поведение с ним было — не замечать его крика. Если не было эффекта, он сникал.

— Он не любил будни. В будни он скучал. В трудных, экстраординарных случаях, когда нужна была мгновенная реакция, он чувствовал себя в своей стихии. В трудное время он был хорош...

— С какой горечью он вспоминал, как после его ухода с поста директора Эрмитажа на его глазах (причем он считал, что это делалось специально) во дворике Эрмитажа разбивали кувалдами печатные машины типографии, которую он создал...

— Он очень любил пробивать новые двери. Он заколачивал старые и пробивал новые... Люди десятилетиями ходили по определенному маршруту. Вдруг — заколочено, а в соседней стене — дыра...

Тамара резко ткнула в клавишу, так же решительно раздавила сигарету в пепельнице, схватила со стола магнитофон, с вешалки плащ и вышла.

С тем же выражением решимости она нажимает кнопку звонка. За дверью молчание, потом долгий, какой-то мышинный шорох, и на пороге возникает воздушная прозрачная старушка. Легкие седые волосы делают ее действительно похожей на одуванчик.

— Камилла Васильевна... — преодолевая замешательство, начинает Тамара.

— Здесь дует, — говорит старушка и неслышно и плавно

пятится в квартиру, словно ее относит сквознячком.— Закрыйте же дверь.

Тамара проходит следом.

— Смелее,— говорит старушка,— я вас узнала.

Тамара открывает и закрывает рот.

— Я вас еще тогда на кладбище узнала... А вы не помолодели,— ревностно, по-женски жестко говорит божий одуванчик.— Странно, я рада вас видеть.

Старушка все время оказывается против света, силуэтом в свстящемся ореоле седины.

— Камилла Васильевна, я хотела просить вас...

— Знаю, мне уже донесли. Книга об Орбели... Что вы в этом понимаете? Хотя... Нас осталось уже только двое. Все уже ушли. И брат Левон. И даже сынок его Митя. Слава богу, что он не дождал до его смерти. Все-таки вы знали Орбели. Он к вам как-то относился. Не обольщайтесь, впрочем. Надо было знать его так, как знала я. Сорок лет никуда от меня не делся. Да, странное дело — время. Я вам рада. Что мы стоим?.. Здесь все осталось, как при нем...— Они проходят в кабинет.— Вот, садитесь, это его кресло. В этом кресле он спал... Не думала я, что мы с вами когда-нибудь увидимся. Он ведь тогда с вами за город совсем большой поехал. Я-то удивлялась, что он так распухнул. Все про живопись... Мол, гибнет молодой талант... А сам никогда не живописи не понимал. Я рассердилась и с вами тогда не поехала. Не подумайте, что я когда-нибудь думала, что он из-за вас...

Тамара вздрогнула:

— Но ведь правда он к Минасу тогда в Лисий Нос ездил! Минас ему дарил любую картину на выбор, вот он и поехал выбирать...

— Еще бы! Он ему был обязан подарить,— сердито откликнулась старушка.— Ведь Орбели его тогда спас.

— Как спас? Я ничего не знала...

— Его же тогда из академии выгоняли. Иосиф Абгарович хлопотал, ездил. А сам уже болен был.— Старушка вздохнула.— Вот. Здесь все как при нем. Вот даже его «Казбек» лежит. Ну и что вы написали?

— Да ничего я не написала. Эти картонные, казенные слова... и он... все это так не вяжется! Людям только кажется, что они что-то помнят. А они повторяют слова, а не помнят. Его заслуги и звания — сколько их ни перечисляй — там и тени Орбели нет. А ведь он был такой живой...

— Да, он был живой. Десять лет уже не живой,— старушка сказала это с обидой и досадой на Орбели.— Первые годы

я возилась с его архивом, а теперь устала. А кроме меня, он уже никому не нужен. Вам еще нужен — вам книжка нужна...

— Не нужна мне книжка!.. Зря все.

— Это почему же зря? — встрепенулась старушка. — Наверняка не зря. Кто же, кроме вас, возьмется? Вы пишете.

Тамара грустно и тупо уставилась на чайник, почетно стоявший на отдельной для него консоли.

— Нравится чайник? Правда, смешной? Иосиф Абгарович любил повторять одну древнюю индийскую фразу из наставлений по медитации: мол, всем, чем угодно, можно вообразить себя: зверем, деревом, камнем, водой... но нельзя себя воображать чайником. Почему именно чайником?.. Смеялся и не объяснял. С этим чайником он и покинул Эрмитаж тогда, четырнадцатого октября, в пятидесятом году... История этого чайника — история нашей с ним жизни. Наверно, он поступил тогда единственным образом — не мог не уйти. Ему надо было публично осудить учение Марра, своего учителя — это было не в его правилах. Он тогда не только не осудил Николая Яковлевича, а защищать стал... Все тогда произошло для меня почти в один день: его уход... и его женитьба...

Тамара слушала потупившись и не прерывая.

— Ну что за человек! После увольнения каждый день приходил в Эрмитаж просто так, посидеть. Страдал ужасно. Это невозможно было видеть. Ходил в Эрмитаж и ждал рождения ребенка. Он был человек слова, он ей дал слово. И в тот день, когда она родила... а родила она мальчика, Митю, сына, которым всю жизнь бредил Иосиф Абгарович... ровно в тот же день Иосиф Абгарович поехал в роддом регистрировать брак. Как и обещал ей. А было воскресенье, все конторы закрыты. Ну, такие препятствия Иосиф Абгарович только любил. Он узнал адрес какого-то клерка из загса, выдернул его из дома, как редиску. Отвез в загс за печатью и всем, что еще нужно, снова погрузил его в машину, привез в больницу. Смел, как тайфун, весь персонал, и прямо у постели роженицы в тот же день брак был зарегистрирован... Ах, вы его таким не видели! — добавила она с тоской и восхищением. — Как говорила невеста Давида Сасунского:

Если кто для меня — так Давид,

Никто другой, как Давид!

А эти кто такие, чтоб мне выбирать из них?

Вы уже видели другого, неэрмитажного... Вы его видели последней, а не я... Заварю-ка я сегодня чай в нем.

Сняла чайник с почетного места и вышла.

— Минас ни за что не отпустил нас одних, поймал такси и сам повез подаренную картину... — рассказывала Тамара за чаем Камилле Васильевне. — Иосиф Абгарович извинился, что он озяб, и устроился в кресле, накрывшись пледом. Минас приставил картину к стенке и собирался уходить. Но Иосиф Абгарович требовал ее повесить... Он долго выбирал и наконец указал место...

... — Здесь, и только здесь! — перст его указывает.

Тамара смотрит в ту же сторону, и лицо ее становится все более удивленным: перед ней, в одинаковых рамках, бок о бок, висят два портрета, абсолютно одинаковых: мальчик в черкеске и... мальчик в черкеске. Один и тот же.

Орбели замечает ее изумление и радостно смеется:

— Вы думаете, я совсем сошел с ума, а?.. Это — я. А это — Митя, мой сын. Похож?

— Поразительно!

— Он сейчас в Комарово, — поясняет Орбели. — Ему воздух нужен...

— Но откуда вы достали такую же черкеску?.. — спрашивает Минас.

— Черкеску? — Орбели смеется, довольный. — А я ее с тех пор именно для этого хранил.

Тамара взглядывает на него — не смеется ли он над ними? Нет, не смеется.

— Я всю жизнь хотел сына, и всю почти жизнь его не было. Вы помните, что в «Давиде Сасунском» напророчили старому Мгеру? Что он умрет, когда родится его сын. Мне его никогда не было жалко. Как же он умрет, если у него сын?

Тамара и Минас не знают, что тут сказать.

— Видите, и я не умру, — говорит Орбели, указывая на правый портрет. — Только не дай бог, чтобы он и дальше сохранял это сходство, обрастал бородою и сторожил старые вещи... Он будет врачом.

И он замолчал, глядясь в портрет сына.

... Уже темнело, но свет в кабинете не был зажжен. Тамара сидела напротив Орбели. Тот в том же кресле, под тем же пледом...

А уж Мгеров конь на земле устоять не мог,
Конь шагнет — увязают ноги в земле,
Ослабела, осела земля,
Не хотела Мгера носить.
Молвил Мгер: Ах-вах! Все напрасно.
Постарела сама земля,
Не поднять ей коня моего.

— Я не хочу вас разжалобить, но кажется... — снова заговорил он, и голос его звучал глухо. — Кажется, уже скоро... Ну что может быть банальнее: я в этом кресле имею теперь время подумать о жизни. Я не любил, я избегал всю жизнь одиночества. Я еще ни разу не оставался так долго один, как вот нынче, в кругу семьи... Я думаю праздно и должен сознаться, что это непривычное занятие для меня — думать о себе. Я не знаю, кто я был: археолог, сторож, коллекционер, лингвист или — вдруг — историк?.. Никем из них я по-настоящему не был. Все-таки историк. Своего рода. Правда, ничего про свое понимание истории так и не написавший... Но я жил этим пониманием! — Тамара вздрогнула, но он не заметил, что говорит о себе уже в прошлом времени. — Хотите, я вам расскажу свою любимую басню? Это старая армянская басня Мхитара Гоша. Как историк я не мыслил ни сложнее, ни глубже, чем он... Умнее люди не стали. Я — во всяком случае. Так вот, басня, мое историческое кредо или моя вера, что ли...

Камилла Васильевна и Тамара пьют чай. Хозяйка сидит против света, похожая на одуванчик: ее легкие волосы пронизаны светом.

— А куда же делся Минас? — спрашивает она как бы ни с того ни с сего.

— Повесил картину и ушел, — говорит Тамара и смущается.

— Что вы все принимаете на свой счет? — язвит Камила Васильевна. — Тут он оказался прав: из Минаса действительно вышел большой художник.

— Я не спорю, — Тамара слегка задета.

— Вы знаете, как я переживала его женитьбы? Думала, умру. Но стоило ему дотронуться до меня пальцем — и я все забывала...

Она встает, достает фотоальбом, раскрывает и подает Тамаре:

— Эта?

На фотографии — мальчик в черкеске.

Тамара кивает: эта.

— Только это не Митя, а Иосиф Абгарович... А басня, которую он вам читал, называется «Толкование снов».

Таким же безошибочным движением, как и альбом, Камилла Васильевна достает с полки книгу и раскрывает:

— «Некий царь видел во сне, что падали лисицы точно дождь...» Эта?

— Эта, эта! — соглашается Тамара. — Он прочитал, а потом что-то повторил из нее по-армянски...

— Вы посмотрите альбом, а я вам прочту басню... Когда он был директором Эрмитажа, его боялись, а как ушел, нашлись любители поговорить, что никакой он не ученый и ни на что не способен. А он, уйдя из Эрмитажа, наконец сел за стол и, пока был не у дел, до пятьдесят шестого года, написал очень много. Только многое недописал, недокончил... А басни — в честь сына издал...

Она читает, Тамара листает...

Мальчик в черкеске... Папа, мама, три брата — гимназисты. Папа, мама, три брата-студента...

Орбели на раскопках Ани. Николай Яковлевич Марр и Орбели. Обложка книги Орбели: Путеводитель по Ани, 1910.

Орбели и Тревер, 1925.

Орбели на раскопках в Гарни. Орбели в Лондоне, в Тегеране... на Международном конгрессе в Ленинграде, 1935. Орбели, 1937.

...на юбилее 1000-летия эпоса «Давид Сасунский», 1939.

...в дни блокады, 1941.

Некий царь видел во сне, что падали лисицы точно дождь. Царь объявил награду тому, кто истолкует сновидение. Вот один бедняк и задумался... Забрел он в пустыню, и встретился ему змей. Увидел змей озабоченного человека и спрашивает: что дашь мне, если истолкую тебе видение царя? Дам половину награды. Змей согласился и говорит: наступает время, когда люди будут коварны и лживы, как лисицы. Бедняк пошел и сказал; слова его поправились, ибо люди и точно были такими, и царь дал обещанную тысячу монет. Но бедняк обманул змея и не вернулся к нему отдать его долю. После того царь имел другое видение: падали овцы точно дождь. И он велел позвать того же человека. И было тому стыдно вновь идти к змею, но все же он пошел и говорит, себя укоряя: прости меня, истолкуй второе видение, и я дам тебе и за первое, и за второе толкование. Змей его не корил и объяснил, что близится время, и оно уже настало, когда люди будут чисты душою, как овцы. Человек явился и дал толкова-

Орбели — первый президент Академии наук Армянской ССР.

Резакуация эрми-тажных ценностей, 1945.

На Нюрнбергском процессе, 1946.

В президиумах собраний, сессий, юбилеев. 1946—1950.

...С братом Левопом — на даче, 1957.

Книга басен, с посвящением сыну.

Последний снимок, 1961. Надгробный памятник.

Обложка I тома «Избранных трудов».

ние. Одобрив его, царь дал новую тысячу. И человек отдал змею весь долг. После того царь имел еще другое свидение: падали мечи словно дождь. Все повторилось, и змей истолковал видение своему другу — ступай и скажи: вот наступает время, когда появятся люди насилия и мечи. И, получив за толкование новую тысячу, решил он не делиться со змеем, а умертвить его и огорчить уже давшую ему тысячу. Но змей увернулся и ускользнул, а человек раскаялся и подумал: зло я сотворил; как явлюсь, если снова будет пужно? Змей же, заметив его огорчение, сказал: не огорчайся, человек, ты не делал чего-либо сам от себя, а лишь действовал по велению времени. Так, обман твой был во время притворщиков, раскаяние — во время людей, чистых душою, а попытка убить меня — во время людей насилия.

— А по-армянски он, наверно, повторил вот эту строчку: «Ибо близится время, и оно уже наступило...» Он любил ее повторять.

— А может, мне назвать его в книге псевдонимом? — задумчиво спросила Тамара. — Скажем, Мхитар? Как вы думаете?

— Милая моя, я уже десять лет ничего не думаю... У меня нет головы. Он был моя голова. Тогда уж назовите его Лео. Он любил это имя. Мне просто кажется, что ему приятно, что вы им занимаетесь. А в моем возрасте я уже могу ему это позволить. Это я не вам позволяю, а ему... Вот здесь на полке — мои дневники. В ящике стола — письма...

— Правда? — возликовала Тамара. Она еще не смела и заикнуться, и вдруг то, на что она боялась и надеяться, произошло, и с необъяснимой легкостью. — Можно? — И она уже потянулась к дневникам.

— Теперь можно. Теперь все можно, голубушка. Только не публикуйте до моей смерти. Впрочем, вы и не успеете. А то, что я сочла не для ваших глаз, я сегодня спрятаю.

— А про увольнение, про четырнадцатое октября, тут есть?..

— Есть немного. Он мне ведь тогда свои матримониальные перспективы изложил и ко мне уже не пошел, а пошел к брату. Тот к тому времени уже ушел в отставку, был вынужден покинуть свой физиологический институт. Иосиф Абгарович и пошел к нему советоваться, как ему быть. Тот был политик поопытней. Пришел — и ничего ему про свои дела не сказал. А на следующий день все сам сделал, как умел, а это был для него конец. Есть еще вопросы?

— Откуда вы знали, что я приду? — улыбнулась Тамара.

— А к кому вам еще идти?.. Потом, в этом у нас своего рода традиция, — усмехнулась старушка. — Жены Орбели всегда дружили. Это потому, что он никогда не лгал. Располагайтесь, голубушка. Я пойду лягу, я устала.

— Спасибо вам! — с силой говорит Тамара.

— Бойся данайцев, дары приносящих. Это было его любимое присловье. До завтра.

Тамара встает и смотрит вслед бесшумно испаряющейся старушке и, как только та скрывается, жадно отворяет тетрадь...

Находит запись в дневнике, отыскивает соответствующее место на магнитофоне...

...Очень богатый кабинет. На стене большой портрет И. П. Павлова. В углу на приоткрытой дверце шкафа висит генеральский мундир. Кабинет в полумраке, горит только настольная лампа. Письменный стол, безбрежный, с монументальным письменным прибором, чист, пуст, гол. В мягких креслах, пропадая в тени, сидят Иосиф Абгарович, еще более растрепанный и мятый, чем с утра, некая решимость придает скульптурность его лицу, и Левон Абгарович, ухоженный, ровный, в пышном халате, сидящем на нем тоже как-то не как халат, а как мундир, — тоже монументален. Мундир же поблескивает в углу — как третий. Иосиф Абгарович иногда на него поглядывает, как на живого.

Тамара читает в дневнике Камиллы Васильевны и слышит ее серебряный голос:

— Я уже поняла, что он что-то задумал, что-то решил, когда он мне объявил, что сегодня не придет, а пойдет к брату и, может, у него останется. Но я не предполагала... Я еще не знала всего...

И о с и ф. Как он про твою физиологию ничего не написал — вот что удивительно!

Л е в о н. Зато сказал: мне хватило.

И о с и ф (*глядя то на мундир, то на портрет Павлова*). Мы — не гении.

Л е в о н. Когда есть корифей всех наук, гении не требуются.

И о с и ф. Мы еще раньше уже не были гениями.

Л е в о н (*почти обижаясь*). Почему?

И о с и ф. Потому что мы ученики гениев.

Л е в о н. Ты считаешь Марра гением?

И о с и ф (*вспылив*). А Павлов уже не обсуждается?.. Он гений одной идеи, дальше у него было больше времени, чтобы все подчинить ей, а Марр... он был гениален до последнего вздоха: он всю жизнь генерировал идеи.

Л е в о н. Бредовые идеи.

И о с и ф. Да, и бредовые. Что за гений без бреда? Зато они всегда были новы. Не только для других, но и для него самого... (*Он забывается. Взгляд его проходит над головой брата, будто он обращается уже к завтрашней аудитории.*) А теперь — снять портрет Марра, объявить его «голым королем» — это для тех, кто недавно визгливо возвещал о его непогрешимости, конечно, легче всего! Я называю, буду и впредь называть себя учеником Марра, и это без кавычек. Лично я принимал от него лишь то, что он сам лично проверил и считал правильным, и этому меня научил он сам. Он никогда не приспособливался в науке ни к каким авторитетам, никогда не делал ничего из каких-то мелких соображений. Вся жизнь его была — труд и борьба, борьба и труд. Ради торжества своих идей он готов был сражаться, не щадя себя. Николай Яковлевич не терпел в науке местоимения «я», не терпел инертного отношения к несправедливости, стремления замалчивать чужие заслуги. Знаете ли вы, что все эти нелепые построения, которые потом были возведены в предмет культа, шли не от него, а из условий, которые создали вокруг него эти угождатели? Я хочу сказать, что этих «лингвистов» легко узнать. Они не знают языков. Если кто-нибудь очень сильно ругает Марра теперь, это значит, что он много кадил ему тогда. Его сделали своим знаменем люди, которым это было легче, чем изучать языки. Сделали своим знаменем для того, чтобы затоптать потом это знамя в грязь!

Л е в о н. Ладно, не кипятись. К чему ты вообще заговорил о гениях? Для ученого это неприлично.

И о с и ф. Ученик никогда не будет выше учителя своего. Кажется, это сказано навсегда. Если они были гении, то

мы — не гении. Вот я к чему. А у нас тоже есть ученики... Вырастили по академику!

Л е в о н. И не по одному. Ты сегодня не в духе.

И о с и ф (*переводя взгляд на фотографию красивого художника*). Наш брат Рубен скорее гений, чем мы. Не академик, не директор... И учителя у него нет. Дилетант. Брался всю жизнь за случайные вещи, не имевшие отношения к его юридической специальности... История водолазного дела — какая уж тут наука!.. А из этого вырастает подводная археология. Он ее основоположник. И из этого получается, что он прочитал шифры Леонардо... А что мы сделали? Организовали, создали, руководили... И все это теперь живет без нас, как не наше.

Л е в о н (*раздраженно*). Ты говоришь и сам не знаешь, что говоришь. У тебя все на месте: от тебя не отнимали твое дело... Ты не знаешь...

И о с и ф (*взвесив*). У меня тоже отняли мою Трою в восемнадцатом году. Ты думаешь, я мог это пережить?

Л е в о н (*горько*). Ты имеешь в виду нашу древнюю столицу Ани? Восемнадцатый год — это была история, а не люди... А как насчет высечь Спинозу? Если бы от тебя отняли, как от меня... Отняли бы у тебя Эрмитаж сегодня...

И о с и ф (*вздвигнув*). Или завтра...

Л е в о н (*не замечая брата*). Тебе еще что... взял бумагу и пиши. А ты и то ничего не пишешь. А мне нужны лаборатории, сотрудники... колбы, халаты, собаки... обезьяны мне нужны... Меня лишили всего, отняв это.

И о с и ф (*обиженный уколом брата*). Ты сам уже давно не резал и не шил... Это делали другие.

Л е в о н. А ты что, в своем Эрмитаже рисовал когда-нибудь картины?.. Чужую беду руками отведу... Нет, ты не знаешь... у тебя детище не отнимали. Ты говоришь — Ани. Ани — было твое дело, твоя песнь, твое назначение, а Эрмитаж — детище.

И о с и ф (*проникаясь горем брата*). Ты прав. Извини.

Л е в о н (*по инерции*). Раньше ты ко мне совсем не ходил, а теперь, как меня погнали, зачастил... Жалеешь?

И о с и ф (*с огоньком*). Сняли, погнали, сам ушел — какая разница? (*Смеется*.) Брось ты! Мне идти некуда...

Л е в о н. Ты не пойдешь к Камилле Васильевне?

И о с и ф. Я у тебя переночую, уже поздно.

Л е в о н. Мне негде тебе постелить.

И о с и ф. Не надо. Я так люблю. В кресле... Я устал сегодня. У тебя что, гости? (*Кивает на стену*.)

Левон. Гости. Представь себе, Асратян прислал мне дудукистов... Чтоб я развеялся... А где им спать? *(Встает и целует брата в лоб.)* Спокойной ночи... *(Смотрит на фотографию Рубена.)* Какой он здесь молодой...

Иосиф. Какие мы здесь старые...

Левон. Нас уже только двое. Пока двое...

Головы братьев рядом — для будущих памятников...

Иосиф *(закрывая глаза)*. Не дай бог... *(Тут же открывается его бешено-молодой глаз.)* Как ты сказал? Дудукисты? *(Вскочил, бросился к книжным полкам, нажал в секретном месте — шкаф повернулся, сверкнув коллекцией вин.)*

— Буди! — закричал Иосиф Абгарович.

...Стол в кабинете уставлен вином и закуской. Два дудукиста в кальсонах выводят музыкально-серебряную вязь.

Оба брата в упоении танцуют друг с другом народный армянский танец.

— Нет, меньше одним! — время от времени, ликуя, восклицает Иосиф Абгарович. — Нет, меньше одним!

Тамара списывала с магнитофона рассказ бывшей секретарши Орбели:

— Нам часто приходилось прибегать еще к такой хитрости, чтобы избежать гнева Иосифа Абгаровича. Он нам в этом по-своему помогал: он всякий раз по телефону предупреждал, что придет. И если к его приходу в коридоре попадались люди, курящие или просто беседующие, это приводило его в состояние, абсолютно нежелательное для начала рабочего дня. Поэтому я прибегала к такой стратегической хитрости. За пять или семь минут до его прихода я проходила по коридорам и всех предупреждала, что должен прийти Иосиф Абгарович: прошу всех без надобности не находиться на его «трассе». Наверно, он знал про все эти хитрости, иначе зачем бы он так неукоснительно звонил и предупреждал?..

...По безлюдным коридорам Эрмитажа быстро идет Орбели. У одной из колонн приостанавливается: большая афиша обнимает колонну, виден правый край:

...ктябрь 1950 года

...щее собрание

...осы языкознания

...а обязательна

Лицо Орбели меняется. Уже раскаленный, он влетает

в кабинет. Секретарша сидит с видом, будто всегда так и сидела и никуда не бегала.

— Как страшно, я никого сегодня не встретил!..— говорит он ядовито и садится за стол.

Секретарша тут же приносит ему чай и блюдо с черными сухариками. Иосиф Абгарович улыбается, глядя на чайник (тот самый, что у Камиллы Васильевны),— чайник этот особенно нелеп в академическом кабинете, как теперь бы сказали — «китч»: базарные лев и розы по бокам. Дальше взгляд его переходит на портрет Николая Яковлевича Марра и суровеет.

— Кто-нибудь меня спрашивал?— Иосиф Абгарович согрывает руки на чайнике.

— Семиратский.

— Я его уже видел.

— Как вы успели?

— Он висел на колонне... Я видел афишу. Если сможете, предупредите меня заранее о его приходе. Хоть за пять минут...

Секретарша понятливо кивает.

— Вы назначили аспиранту...

— Пригласите.

Входит аспирант.

— Что у вас такой затравленный вид? Я ведь вам еще ничего не сказал. А вдруг ваша работа замечательная, а? Тогда выйдет, что вы зря робели. Признайтесь, втайне от самого себя, у вас есть надежда на это «а вдруг»?

Согласный со всем заранее, аспирант кивнул.

— А откуда ей взяться, этой надежде?— загремел Орбели.— Вы же прекрасно знаете, что писали полную муру! Если бы вы и впрямь написали замечательно, то могли бы думать: а вдруг плохо? Но если вы знаете, что написали плохо, откуда может завестись мысль, что это может оказаться хорошо?! Знаете единственно чисто русское слово на «а»? Что молчите? Я же должен знать, зря говорю или нет? Вдруг вы уже знаете, а я все говорю?

— Авось,— говорит аспирант.

— Вот и молодец! Вот и порадовали, у меня появилась надежда. Садитесь на мое место и пишите. Садитесь, садитесь. Все равно вы это место не займете...

Аспирант присаживается на кончик орбелиевского кресла.

— Глава первая,— диктует Орбели.— Вы свою работу читали? Опять молчите? Значит, не читали. Вам повезло. А я читал. На первой странице что написано? Первую стра-

ницу-то хоть читали? «Научный руководитель — Орбели». Вы представляете, какую чушь вы написали, если первая страница начинается с подобной лжи. Так вот, чтобы первая страница отдаленно напоминала правду, пишите. Глава первая...

Орбели диктует, аспирант еле поспевает...

Судорожно распахивается дверь, всовывается испуганная голова секретарши.

— Я занят!! — орет Орбели.

— Семиратский, — шепотом говорит она.

Лицо Орбели удивительным образом меняется.

— Живо, живо! — толкает он аспиранта в спину и, прежде чем тот успевает что-либо понять, толкает его к маленькой дверце за шкафом и выпихивает на черную лестницу, следом выскакивает сам, запирает за собой дверь.

Вздыхает. Вид обалдевшего аспиранта веселит его.

— Вы свободны. Продолжим завтра в одиннадцать.

Аспирант с испугом видит, что лицо Орбели опять удивительно меняется, по нему проносится какой-то ураган тоски. Аспирант отпрядывает и натывается на Семиратского.

— Да, да, здравствуйте, товарищ Семиратский. Я думаю, вы ищете меня.

На лице Семиратского странное выражение почти-тальной укоризны, почти невидимое «ай-ай-яй». Он значительно моложе того, кто председательствовал на «пресс-конференции» Тамары, но это — он.

— У меня к вам один лишь всего вопрос, Иосиф Абгарович, — ласково говорит он, проходя в потайную дверь Орбели.

— Садитесь, — Орбели занимает свое место.

— Вы, конечно, в курсе, что завтра состоится общее собрание всех научных сотрудников, посвященное критике так называемого учения Марра?.. — Орбели молчит, а Семиратский продолжает: — Зная, как вы загружены, мы взяли организацию собрания на себя. Вы, конечно, понимаете, что такое научное заведение, как Эрмитаж, не могло остаться в стороне от всестороннего изучения основополагающего труда «Марксизм и вопросы языкознания».

Орбели грызет сухарик.

— Есть мнение, Иосиф Абгарович, что вы обязательно должны выступить на этом собрании. Как руководитель нашего учреждения и как ведущий ученый вы должны сообщить собранию дух подлинно научного подхода...

— Товарищ Семиратский, вы, может быть, не в курсе,

но дело в том, что автор ошибочной теории — мой учитель, я ему обязан всем, что я значу как ученый, и, как бы он ни заблуждался впоследствии, не пристало в моем положении выступать против своего учителя.

— А тут позвольте с вами не согласиться, глубокоуважаемый Иосиф Абгарович! — журчит Семиратский, взглядывая на портрет Николая Яковлевича. — Эта ваша щепетильность чрезмерна... Ведь вы не из тех, кто сначала изо всех сил славословил, курил, так сказать, фимиам Марру и его учению, а теперь лезет в первые ряды критиков. Такие люди нам известны, и цену мы им знаем. Напрасно они надеются выйти таким образом сухими из воды... Вы — другое дело. Я как раз прекрасно знаю, напрасно вы думаете, что я настолько не в курсе, чтобы не знать, что вы ученик Марра, что он вас особенно высоко ценил. Так ведь это немудрено, таким учеником как не гордиться!.. Но как раз вы-то и есть один из тех немногих истинно принципиальных ученых, которые с самого начала критиковали так называемое учение Марра о языке, вы же еще в двадцатые годы отошли от своего учителя, раньше других распознав вредность его учения. И вот теперь, когда, наконец, псевдоучение разоблачено, когда все встало на свои места, кому, как не вам, рассказать о вашем действительном, никогда вами не скрывавшемся отношении к этому учению? Ведь не можем же мы с вами как ученые...

— Бросьте, батенька, какие мы с вами ученые!.. — рассмеялся Орбели и словно хотел еще что-то добавить, но не стал.

Семиратский с трудом переварил эту оплеуху. Глазки его зажглись подземным огоньком.

— Вы, как всегда, шутите, Иосиф Абгарович... Я больше не буду вам докучать. Но еще раз подчеркиваю, что есть мнение, что вы должны выступить...

Семиратский удаляется с видом оскорбленного достоинства, и тут же в дверь просовывается лохматая голова молодого человека.

— А, Володя, — радостно говорит Иосиф Абгарович, — как хорошо, что это именно вы! Я как раз хотел послать за вами.

— Я вам статью принес... И потом, у меня возник ряд вопросов...

— Статью... Потом, Володя. Я уверен, здесь все в порядке. — Орбели отодвигает ее на край стола. — Он мне говорит, — Орбели хихикает от воспоминания, — мы с вами как

ученыс...— Орбели доволен своим ответом.— А я ему сказал... Впрочем, ладно. Вы знаете, Володя, что за люди были на восточном факультете? Жуковский, Джавахов, Адопц, Смирнов...— Орбели произносит фамилии со вкусом.

— Бартольд...— добавляет Володя.

— Бартольд... да. Но, поверьте, гением был только один: Николай Яковлевич!

Володя молчит, но не возражает.

— Вы знаете, Володя, я хотел бы, чтобы вы взяли на себя Восточный отдел.

— Я?..— Володя опешил.— Да кто же мне доверит?

— Я. И поторопитесь с решением. Ответьте мне сегодня же. Вы же знаете, нет в Эрмитаже чего-нибудь более, чего-нибудь менее ценного. Но я ничего не могу поделать: Восточный отдел — это мой сын, моя слабость. С Леонардо ни при каких обстоятельствах ничего не случится, а Восточный отдел слишком для многих не более чем набор побрякушек... В общем, вы меня поняли. Сегодня!

Орбели яростно дымит своим «Казбеком», барабанит пальцами по стеклу. За окном — вид на Петропавловскую крепость и то удивительно предзакатное небо, какое бывает, кажется, только в Ленинграде и только в этом его месте...

— Вы меня вызывали, Иосиф Абгарович?— приятный, грудной, знающий себе цену женский голос.

Орбели оборачивается и видит женщину, очень похожую на свой голос: зрелая русская красота. Орбели хмурится.

— Вы, моя дорогая,— сурово говорит он,— не должны забывать, что никакие личные отношения...— Орбели ищет слова.— Ничего из того, что было между нами,— морщась, сухо чеканит он,— не может являться для вас поводом ничего не делать. Где Сасаниды?! — орет он.— Где редакция коллективного сборника? Где... Тогда просто отдайте мне все, и я за вас сам сделаю! Раз уж вы присвоили себе право, в силу особых обстоятельств, выйти на пенсию!

Пока он гремит, женщина спокойно садится в кресло, достает папиросу, не спеша закуривает и, путив первый дым, преспокойно разглядывает бушующего Орбели.

— Или вы решили...— Орбели перехватывает ее взгляд и осекается.— Что это у вас такой уверенный вид? Будто это я не вам говорю...

Еще раз путив дым, она нарочито между прочим говорит:

— Я беременна.

— Вот как? Это прекрасно. Но это тоже не дает вам право... — он опять осекается; пораженный, смотрит на нее.

— Да, — говорит она.

Побегав по кабинету, Орбели останавливается, глаза его горят.

— Так это же прекрасно! — восклицает он.

— Вы полагаете? Вы прекрасодушны. Вы все-таки, извините, конечно, не вполне себе представляете, что это такое. Для меня это крайне нежелательная перемена в жизни. Я, признаться, всегда думала, что у меня и не может быть детей, я с этим положением свыклась, и оно меня устраивало. Устраивает, — подчеркнула она.

До Орбели медленно доходит смысл сказанного.

— Не смейте! Вы не сместе!.. — орет он. — Вы не сместе ни думать, ни делать этого! Это мой ребенок!

Женщина смеется. Впрочем, с оттенком нежности.

— Сами вы ребенок...

— Но поймите! — умоляюще говорит Орбели. — У меня же никогда не было детей. Я всю жизнь мечтал об этом. Я старик. У меня никогда больше... Я вам запрещаю! Слышите, запрещаю!

— Директор не имеет права запрещать такие вещи...

— Директор... Что вы имеете в виду? — Орбели летает по кабинету и соображает на лету. Есть контраст между современностью посетительницы и наивностью старика. — Ну, так я вам запрещаю как муж! Да, да, как муж! — Как бы он ни был несовременен, решения вызревают в нем выпукло и наглядно, как груши. Это видно со стороны, как они отрываются с его крутого лба, такие же крутые и спелые. — Помните, как только вы родите, с этого самого мгновения мы — муж и жена. Законные, официальные, государственные... как это теперь? С этого самого момента. Вы знаете, я слов на ветер не бросаю...

— Вы, конечно, решительный человек, Иосиф Абгарович. Но вы забываете, что и у меня есть право быть решительной.

— Я вас умоляю! — Орбели почти плачет, интонация во всяком случае ему абсолютно несвойственна. — Не делайте опрометчивого шага... Это же необратимо! — с отчаянием восклицает он.

Антонина Алексеевна долго смотрит на Орбели, словно разглядывает в нем своего мужа.

Орбели встает на колени.

— Хорошо, я подумаю,— говорит она.

Орбели склоняется к ее руке.

— Не надо,— говорит она и быстро выходит.

В комнату заглядывает испуганная секретарша. Орбели в этот момент, по-стариковски кряхтя, подымается с колен.

— К вам Камилла Васильевна.

Входит крайне взволнованная женщина. Ей под шестьдесят. Видно, что она была когда-то очень красива, причем исчезнувшей, аристократической красотой. Вместе эти два старика очень красивы, как-то красивее, чем порознь...

— Иосиф Абгарович! Вы меня простите, что ярываюсь к вам... Но — что вы задумали?

— Я... — Иосиф Абгарович, всегда смотрящий только в глаза собеседнику, на этот раз прячет взгляд откровенно трусливо. Это на него очень непохоже. В смятении он сует себе в рот сухарик и тут же закуривает. Закашливается.

Камилла Васильевна бьет его по спине.

— Володя мне сказал... Он был у вас. Он, правда, сказал, что это всего лишь догадка... Но он очень обеспокоен.

Лицо Орбели светлеет, он испытывает облегчение и смеется.

— Я, конечно, знаю, что вы легкомысленны, но ведь не до такой же степени! Нельзя же ради красивого жеста идти на самоубийство!

— Позвольте, Камилла Васильевна, что вы все-таки имеете в виду? Врываетесь ко мне в кабинет с какими-то курьезными бабьими домыслами! Будто иных забот нет...

— Иосиф Абгарович, я вас умоляю не ходить на это собрание! Все что угодно, но не это!.. Вы вчера чувствовали себя нездоровым. Вы нездоровы на самом деле...

— Камилла Васильевна, позвольте вам заявить, что это сугубо мое дело...

— Но вы же нужны не одному себе! Вы нужны всем — Эрмитажу, науке... Что вы на меня так смотрите? — на глазах ее выступают слезы. — С ненавистью... да, да, и мне! Вы не смеете ради красивого... ради благородного поступка идти на самоубийство.

— Это не красивый жест, как вы изволили не посметь выразиться, Камилла Васильевна. Предать своего учителя — это морс анимэ¹... Камилла Васильевна. — Орбели замолкает, по лицу пробегает рябь, мысли его бурны и тяжелы. То облегчение, какое он испытал оттого, что тема оказалась

¹ Mors animae — смерть души (лат.).

не та, которой он страшился, миновало. — ...Камилла Васильевна... — Что-то есть в его голосе такое, что заставляет Камиллу Васильевну насторожиться, она начинает меняться в лице раньше, чем слышит, что он говорит дальше: это то самое понимание, про которое говорят, что оно — без слов. А слова тем временем звучат, обозначая лишь необратимость сказанного: — Есть вещи куда более жизненные и насущные, чем выступление на собрании... У меня будет ребенок, Камилла Васильевна, — и тут наконец он может взглянуть ей в глаза, как всегда — прямо.

Камилла Васильевна замерла, застыла — жена Лота...

— Она не хочет ребенка. Я ей сказал, что с того момента, как она родит, я зарегистрирую брак.

— Кому — ей? — с трудом разжимая губы, будто звук отстает от движения губ, говорит Камилла Васильевна.

Снова Орбели не может посмотреть в глаза.

— Я знаю. — Лицо Камиллы Васильевны искажается гримасой презрения.

Орбели взрывается:

— Как вы не можете понять, что все это — все, что вы мне скажете, как бы правы и вправе ни были, — все это не имеет уже значения! Тут — жизнь, и она вступила в права, и она права! Я не могу перед вами оправдываться — мне нечем оправдываться. Теперь уже другое время — оправдываться я мог бы в том... Ты же сама, сама!.. — с отчаянием восклицает он. — Сколько я тебя просил, молил, чтобы ты родила ребенка?! Ты воспользовалась тем, что я поехал в Иран... ты тогда обманула меня. Ну почему, почему, ответь хоть теперь, ты не хотела его?!

И она процитировала с мертвой иронией:

Я — сын Давидов, Мгер,
Не могу я остаться здесь.
Ни потомства нет у меня,
Ни смерти мне не дано.

— Прекрати! — стукнув по столу, взвизгнул Орбели.

— Я не хотела быть твоей очередной женой, — ровно и мертво роняет Камилла Васильевна.

— Но как ты могла, если ты и впрямь любила меня, как говоришь, не хотеть от меня сына?!

— Я хотела... тебя, — с болью говорит Камилла Васильевна. — Разве я своего не добилась! Вы со мной тридцать три года. Если б я стала женою, не было бы и пяти.

— Но сына!! — трагически восклицает Орбели.

— О чем мы теперь говорим?.. — усмехается Камилла Васильевна, проводя рукой по лицу. — Посмотри... О каком сыне идет речь?

Кабинет Орбели в Эрмитаже. На столе еще больше беспорядка. Выдвинуты ящики, распахнуты дверцы шкафов. На полу стопками папки с бумагами. Корзина. Не то переезд, не то эвакуация... Орбели за столом: поднимет бумажку, опустит, передвинет папку... гора окурков. Не вынимая папиросы изо рта, он тянется за другой, прикуривает от одной — другую. Видно, он уже давно так сидит.

Вскакивает, пробегает по кабинету, запинаясь о стопку папок, они ршутся.

— Дьявол! — рычит он и бросается снова к столу, решительно берется за перо.

«Москва, Кремль, И. В. Сталину.

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, тридцать лет моей жизни посвящены Эрмитажу, и еще ни разу не обращался я к кому бы то ни было с личной просьбой...»

Перо спотыкается. Орбели смотрит перед собой невидящим взглядом...

...Тот же кабинет. В окно бьет солнце. Орбели стоит у окна — против света, виден лишь черный силуэт. В кабинете — другой свет, чуть иначе стоят вещи, все странно сдвинуто: в нем другое время. В дверь просовывается головка секретарши из другого времени: стрижка, косынка, блузка — начало тридцатых годов.

— Они пришли... — шепчет она таинственно.

Орбели напрягается, будто готовясь к прыжку. Вцепляется в подоконник, удерживая себя.

— Срочно вызовите ко мне Дубасова и Нежного!

Секретарша скрывается, и сразу за ней появляются три товарища ответственного вида: френчи, сапоги, портфели, лица как замки.

Старший выходит вперед:

— Вас должны были предупредить о нашем приходе... Мы сотрудники антикварного отдела Наркомвнешторга СССР.

Он достал из портфеля мандат, испещренный печатями и подписями, и протянул Орбели. Орбели молча взял его и стал внимательно читать.

Дверь приоткрылась, и в ней показался чудовищный человек почти двухметрового роста и необъятной толщины. Вислые седые усы сообщали ему зверский вид. Тем контраст-

нее было выражение предупредительности и почтительного понимания в его взгляде, обращенном на Орбели. Не отрываясь от письма, Орбели жестом приказал ему войти и встать у двери. За ним протиснулся второй, едва ли не более громоздкий человек, и они замерли навтыяжку по обе стороны двери. Орбели дочитал документ, сложил его вчетверо и, шагнув к подателю, сунул ему в нагрудный карманчик френча. Представители только открыли рты, а Орбели, чеканя каждое слово, произнес:

— Прошу немедленно покинуть Эрмитаж. Я не разрешу не только выбирать, но и находиться вам в этом помещении.

Сотрудники были ошеломлены, они не привыкли к такому.

— Профессор! Как вы с нами разговариваете?! Мы же представляем...

— Все! — перебил Орбели. — Только через мой труп вы можете войти в наши залы.

— Вы не смеете так разговаривать! Мы действуем по поручению правительства и не позволим...

Орбели показал на громил, застывших у двери.

— Полно. Вот знаменитый борец Петербурга Нежный. (Вислоусый гордо выпятил грудь, будто зазвучал туш, и преданными глазами вперился в Орбели.) А это знаменитый цирковой атлет Дубасов. Вы же не заставите меня применить физическую силу? Немедленно покиньте Эрмитаж!

— Вы ответите за это! Вы узнаете достойную цену вашего беспримерного поступка!.. — заикаясь от гнева, сказал главный представитель.

С решительным видом они осторожненько просочились между Дубасовым и Нежным.

В комнату ворвалась совершенно очаровательная юная Камилла Васильевна.

— Иосиф Абгарович! Что же вы наделали?.. — в глубоком волнении воскликнула она, бросаясь к Орбели.

— Откроем окна! — театрально сказал Орбели. — После них остается запах копыт.

— Вы же подписали себе приговор!

— Я не мог поступить иначе, — мрачно сказал Орбели. — Я не могу заискивать перед ними, не могу идти на поводу антиквариата. С точки зрения закона я не прав, а с точки зрения интересов культуры оправдываю свой поступок и готов понести любое наказание... Садитесь, пожалуйста, я вам подиктую...

Все так же вцепившись в подоконник, стоя черным силуэтом в окне, он будто читает:

«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, деятельность антиквариата, и до сих пор тяжело отражавшаяся на Эрмитаже вообще, за последние годы приняла особенно угрожающие...»

...Снова старый Орбели за тем же столом, в своем, а не в том времени. Перед ним начатое новое письмо. Он вычеркивает последнюю фразу. Потом открывает ключом один из ящичков стола, достает оттуда шкатулку, которую в свою очередь отпирает крохотным ключиком, достает оттуда листок...

«Ленинград, Государственный Эрмитаж,
Заведующему Сектором Востока профессору И. А. Орбели.

Глубокоуважаемый т-щ Орбели!

Письмо Ваше от 25 октября получил.

Проверка показала, что заявки антиквариата не обоснованы. В связи с этим соответствующая инстанция обязала Наркомвнешторг и его экспертные органы не трогать Сектор Востока Эрмитажа.

Думаю, что можно считать вопрос исчерпанным.

С глубоким уважением *И. Сталин.*

5.XI.32».

— Нет, — тяжело вздыхает он, — из этой пушки два раза не стреляют... — Орбели в сердцах комкает начатое письмо и отшвыривает в сторону. Берет новый лист, задумывается.

«Приказ», — пишет он крупно наверху.

Лезет в пачку за следующей папиросой — пачка пуста. Выскакивает из кабинета с пустой коробкой в руке. Секретарша сидит в пальто, Камилла Васильевна с сумочкой и юный Луконин стоят в углу приемной.

— Что за панихида? — взрывается Орбели. — Что вы здесь торчите! Рабочий день давно вышел! Я вам приказываю всем идти домой! Сегодня я еще директор, и извольте подчиняться моему приказу!

Секретарша вышмыгивает. Луконин испаряется. Орбели возвращается в кабинет.

— Пункт первый... — бормочет он и продолжает «Приказ»...

«1) Назначить т. Луконина В. Г. заведующим Сектора Востока с 15 октября с/г.

2) Принять на работу на должность уборщицы т. Портошину А. В. с 15 октября с/г.

3) Уволить с должности директора Государственного Эрмитажа т. Орбели И. А. (Тут он медлит...)

«...По собственному желанию», — размашисто пишет он и расписывается, продирая бумагу.

Поднимает глаза — перед ним Камилла Васильевна, робко стоит в углу.

— А вы что стоите как с кадиллом! — кричит Орбели на Камиллу Васильевну, передразнивая ее позу с сумочкой.

Она вздрагивает, как от удара, достает из сумочки пачку «Казбека», кладет на край стола и молча выходит.

— Спасибо, — говорит Орбели один в пустой комнате. Кажется, он сейчас заплачет.

Орбели бредет по пустому Эрмитажу. В руках у него огромное кольцо с ключами. За окном ночь и дождь. Слабые блики с улицы едва проникают в залы, едва различимы черные квадраты картин по стенам.

Орбели включает свет, вспыхивают люстры, вспыхивают и оживают картины...

Орбели останавливается перед «Камеристкой» Рубенса.

— Дорогая Камилла Васильевна! Я ведь не очень хорошо понимаю искусство. Помогает живое слово. Если бы вы меня не приучили ходить смотреть картины и не водили по Эрмитажу первое время... Как я вам благодарен, что вы (потому что это именно вы) открыли для меня эту область искусства, ведь я же до двадцатого года никогда не смотрел на картины... Не правда ли, в этой галерее очень хорошая развеска? Не густо, все внизу, много свободной стены наверху. Но в смысле последовательности, по-моему, не все хорошо... Как вы думаете?

Он смотрит прощальным взглядом на «Камеристку».

— Я пришел, и я уйду... — говорит он ей в задумчивости. — А вы остаетесь. Это так верно! Музей — это устои. Пусть всем и кажется, что тут все вечно, все — навсегда. Но если бы кто-нибудь знал историю каждой вещи! Сколько страстей, сколько странствий... Они знают, что вы вечно юны, прекрасны. Что, надо сказать, правда... — прибавляет он галантно. — Они не знают, сколько вам пришлось пережить. И скольких... Каждый день мы хоронили...

...Двое рабочих в ватниках, валенках и треухах снимают «Камеристку» со стены.

— Иосиф Абгарович, к вам там вдову Павлова привезли...

Орбели, в той же блокадной «форме», что и рабочие, обернулся к говорящему.

— Какую еще вдову?!— вскинулся он.

— Академика... Ивана Петровича... — испугался посыльный.

— Хм... — Орбели почти улыбнулся. — Проведите ее ко мне в кабинет... с величайшим почтением... извинитесь за меня, скажите, что я сейчас приду... Слышите, с величайшим почтением! — кричит он вдогонку.

Картины исчезли из рам, пустые рамы смотрятся жутко. Стекла окон как письма: заклеены накрест бумажными полосками. За окнами утонувший в снегу, промерзший, опустевший Ленинград. Черное небо рассекают прожекторы, взывает сирена.

— Вот так. Вчера — библиотеку Пушкина. Сегодня — вдову Павлова. Что же это за слово такое магнитное — Эрмитаж!

Орбели, в валенках, ватнике и треухе, стоит посреди опустевшей галереи. В его ушах стук колес товарняка. Так складываются далекие разрывы и вспышка света за темным окном, будто поезд отходит прямо от Эрмитажа. Перед глазами Орбели проходят кадры воспоминаний: отправка эшелонов с сокровищами Эрмитажа... Образы накладываются друг на друга, и будто поезд промчался по галерее — и снова стало тихо и пусто.

Орбели бредет по вымершему Эрмитажу — постаменты без статуй, спускается в подвалы (они теперь бомбоубежища). Сотрудники укладывают картины в ящики. Орбели бережно опускает в стружку кубок... и как бы продолжает предыдущий монолог, обращенный к Камилле Васильевне:

— Вы, конечно, его помните... я тогда в Москве вырвал буквально зубами. Это был форменный шантаж с их стороны... Ткани нам отдавали сразу, а с этим кувшинчиком...

— Иосиф Абгарович... — это Камилла Васильевна, тоже в «военной» форме: ватник, валенки, бабий платок. — Там... — Изумление написано на ее лице.

Орбели с кубком в руке выходит из задумчивости и тут же взрывается:

— Ну, что там?.. Что такое могло случиться? Ожила мумия?! Что у вас всегда такой напуганный вид?

— Там экскурсия, Иосиф Абгарович...

— Какая еще экскурсия, вы же не хуже меня знаете, что Эрмитажа больше нет!

— Бойцы с передовой... Их отпустили до вечера. Они никогда не были в Эрмитаже.

— Вот как... — Лицо Орбели озаряется решимостью и вдохновением. — Пошли.

С тем же кубком в руке он появляется перед бойцами. Долго смотрит в лицо каждого: юные, открытые лица полны почтения.

— Дети... — говорит Орбели с болью. И впрямь это дети, вчерашние сельские мальчишки. — Дети мои! — поправляется Орбели. — За мной!

Он подводит их к ящику с музейными тапками:

— Обуйтесь.

Он смотрит на бойцов с отеческой нежностью, пока они справляются с этими веревочками и завязками.

— Кто из вас раньше бывал в Эрмитаже?

Бойцы виновато опускают глаза.

— Вы откуда?.. Вот вы?..

— С Орловщины...

— А вы?

— ...Из Брянска... из Татарии... с Псковщины...

— Помните этот день, бойцы! С сегодняшнего дня вы все — из Эрмитажа. Вам повезло, Эрмитаж посетили миллионы людей, но никто из них не видел его пустым! Это величественное зрелище...

Мы провожаем это странное шествие, Орбели снял шапку, вдохновение на его лице, летит его библейская борода. Бойцы задирают головы, провожая взглядом руку Орбели, — с фрески на потолке на них простирает руку старец, очень похожий на Орбели.

Завороженно смотрят солдаты.

По стенам пустые рамы, на одну из них указывает Орбели:

— Помните эту пустоту. Это не рама — это рана. Мы прячем наше национальное достояние, мы его спасаем от фашистов — и спасем. Но само по себе это такое оскорбление нам, нашему достоинству, что его так же нельзя простить врагу, как вы не сможете простить ему свою спаленную деревню, свой порушенный дом. Смотрите! Это не пустые рамы! (Бойцы вздрагивают от этого восклицания.) Они на вас глядят!! Это глаза! Выплаканные глаза...

Торжественно молчат бойцы.

— Вам повезло увидеть великий дворец пустым. Этому кубку повезло больше всех сокровищ Эрмитажа, вместе взятых. Он будет сегодня единственным экспонатом самого великого в мире музея!

Орбели с благоговением устанавливает кубок на пустующую консоль.

— Музеи — великое достижение человеческой культуры. Они — лучшая часть человеческой памяти — память о прекрасном. Но у всего на свете бывает и оборотная сторона: собранные вместе, неисчислимы сокровища мастерства и духа начинают подавлять друг друга. Вы еще вернетесь в Эрмитаж, когда он будет снова таким, как до войны, и вы увидите, что я был прав: у вас закружится голова, устанет внимание, вы будете проходить мимо шедевров, не замечая их. В Эрмитаж надо прийти сто, тысячу раз, чтобы понять хотя бы часть того, что в нем собрано. Мимо этого кубка вы бы наверняка пробежали, не заметив, он был бы поглощен и растворен в тысячах других шедевров культуры. Запомните! Здесь нет менее и более ценных вещей. Здесь каждая вещь бесценна и каждая может стать объектом бесконечного рассмотрения, изучения и восхищения. Смотрите! И как много вы увидите...

Поворачивается кубок, бойцы видят тот или другой фрагмент... Орбели торжественно декламирует:

Ручки с обеих сторон — он словно резцом еще пахнет!
...Женщина дивной красоты посредине изваяна кубка;
В неплос одета она и в повязку. А рядом — мужчины,
Оба с кудрями густыми; они с раздраженьем взаимным
Спорят между собой, — ее же не трогает это.
То одному из них бросит, прельщая, и взгляд и улыбку,
То вдруг отдаст предпочтенье другому...
Дальше на кубке — старик рыболов: на утесы крутые,
Видишь, он тащит с трудом тяжелые сети для лова.
Бедный старик! Посмотри, мне кажется, сильно устал он.

...Орбели со связкой ключей в той же галерее, один. Прикрыв глаза, продолжает ту же декламацию:

Мышцы свои он напряг до натуги, что мочи хватило.
Так что с обеих сторон надуваются жилы на шее.
Волосы, правда, седые, но силой он юношам равен.

...Орбели отпирает кованую дверь, входит в хранилище. Вид его дик, почти безумен. Глаза горят.

— И знаете, Камилла Васильевна, бойцы тогда меня лучше понимали, чем теперь научные сотрудники. Разве теперь есть, кроме вас, с кем вдоволь поговорить на научную тему! Теперь в музеях при попытке завести серьезный разговор о вещах и обо всем, с ними связанном, смотрят по-рачьи, выпучив глаза. Им важно только — подлинное ли, дата, стоимость и чье это... Черт бы их драл! Чтобы определить вещь, им нужна надпись... А мы с вами сасанидские кувшины

слушали как специалисты-отоларингологи — через трубочку! Помните ту вазу, золотую, удлинненную, — как она выиграла, когда мы ее выставили, заполнив водою...

Орбели пристально вглядывается сквозь прозрачную броню витрины, ласкает взглядом каждую вещь... Всклооченный, с горящими глазами, он похож сейчас на скупого рыцаря, колдующего над раскрытым сундуком.

Пока он бормочет как безумец, будто оживают, раскрываясь, вещи, приотворяя часть своей тайны, которую так хорошо знает и ценит он.

— А вот это замечательное блюдо дородосского типа с двумя парами синих козлов, упершихся рогами в вершину горы. Оно было со мною в 1931 году в Лондоне... Именно около него ко мне обратилась королева, посетившая нашу выставку. Она высказала сожаление о поголовном уничтожении аристократии в России, а я не удержался сказать... — Орбели хихикнул хрипло, — что кое-кто еще жив, например, я. А как же, в конце концов, мой род старше, чем ее, восходит к десятому веку! Нет, любезная Камилла Васильевна, это не хвастовство, а факт. К тому же князья не могут пасть так низко, чтобы позволить себе кокетничать с королевами... На самом деле я так тосковал в Лондоне именно по вас! Вы, мой Камушек, да еще мои камни в Ани!.. Что было у меня еще в жизни?... Помню жуткую по чувству одиночества ночь в Кембридже... На дворе страшный ветер, на крыше грохочет железо, окно, то самое, поднимающееся (как описывается в романах), стучит... Я тоскую по вас, ворочаюсь, а у меня внутри вдруг делается все особенное: образы, давние, прекрасные, такие знакомые и милые: небо, Ванское море, 1911 год, величайший утес, скала, обрыв над морем — и все мои мечты, связанные с этим... Им было не дано... Мне уже кажется, что вы и тогда были со мною, хотя до нашей встречи еще должно было пройти время — и какое! — оно все унесло и вынесло меня к вашим ногам. Какие газоны, упругие, как девичья грудь! Какие парки! А мне хотелось гулять с вами в Токсово, пить на балконе чай... Вы понимаете, что это была настоящая ножка трона, великолепная, которую я мечтал бы видеть у вас на выставке. Я говорил о вас персидскому министру просвещения...

Вещи проходят перед нашими глазами, следуя за его горячим бредом, уходят за ним под мелодию дудука, как за сказочным крысоловом... Остается пустая витрина, словно он выпил ее взглядом, прощаясь...

— Нельзя класть десять Сасанидов в одну витрину, —

говорит Орбели сердито, — как нельзя одновременно делить толпу на бородатых, толстых и блондинов... это невежественный бред! А они еще не могут понять моего бешенства по поводу монгольских тканей!..

Вещи, вещи, вещи... Вместе они сливаются, когда мы мируем их почти со скукой, чтобы увидеть известный всем шедевр. Но каждая из них уникальна, иногда она единственно представляет нам целый народ или целую эпоху. Эти вещи — то, что о с т а л о с ь.

Они остались, бронированные, задраенные в пустом подвале... Старик вышел и забыл погасить свет.

В ночи жирно поблескивают мощные ноги атлантов. По ним сбегает капли нудного дождя. Между ними странная, почти оперная фигура: промокший до нитки старик в невыслыимой шляпе с обвисшими полями и чайником в руке... Невидящими глазами смотрит он перед собой, и стоит он здесь давно. Неподвижностью сравнимый с атлантами.

Пролетела по набережной машина «скорой помощи» с сиреной... И будто свист снаряда. И грохот взрыва.

Подвал. Блокадный кабинет Орбели. Входит Камилла Васильевна:

— Опять звонили из Смольного, место в самолете попрежнему бронировано за вами...

— Я же приказал вам, Камилла Васильевна, никак не связываться в эту тему! — загрохотал Орбели. — Вы ничего не знаете, вас не уполномочили, вам запретили, наконец!.. Я им все дважды объяснил: я не уеду, пока не уйдет последний вагон с эрмитажными ценностями! И без вас... — Он утих и продолжил нежно: — Я никуда не уеду.

Звонит телефон. Орбели снимает трубку:

— Да, передали. И не беспокойте больше моих сотрудников — они заняты более важным делом! — снова вскипая: — И если на мое место вы посадите в самолет кого-нибудь другого, пусть, как вы выражаетесь, «более ценного», а не вдову Ивана Петровича, пеняйте на себя. Вы меня знаете... Мне некогда, я опаздываю в радиокomitee! — бросает трубку.

— Иосиф Абгарович, — умоляет Камилла Васильевна, глаза ее полны любви. — Подумайте еще раз! Ваша жизнь...

— И вы туда же! Что за базарные выкладки у всех вас? Одна жизнь, поверьте, ничем не ценнее другой. В каждом человеке гибнет весь мир. Целиком... Я пошел.

— Куда вы! Ведь бомбежка! — всполошилась снова Камилла Васильевна.

— Я опаздываю. Это важно. Я им должен объяснить... Отодвинув Камиллу Васильевну, он стремительно выходит.

...Орбели с молодым сотрудником торопливо идут по пустому городу. Новая волна артналета настигает их. Совсем рядом падает снаряд. Орбели дергает с силой сотрудника так, что тот падает прямо на мостовую. Рядом в снег валится и Орбели.

— Иосиф Абгарович! — Спутник Орбели говорит почему-то шепотом. — Здесь рядом бомбоубежище. Вы обязаны следовать за мной.

— Кажется, перерыв, — говорит Орбели, вскакивая. — Мы опаздываем.

— Это безумие, Иосиф Абгарович! Как вы не понимаете, что ваша жизнь дороже любой радиопередачи!

— Да что вы, сговорились все, что ли! Когда же это кончится!

— Артналет только начался...

— Да я не о том... — устало отмахивается Орбели.

...Передовая. Шеренга танков. Танкисты в боевой готовности около машин. На танках написано: «Давид Сасунский».

Голос Орбели из черного репродуктора, подвешенного на сосне:

«— Сними ты с пояса меч,
Заложи свой храм на мече своем...
Чтоб на крепкой основе стояла я.

Этот сон приснился Давиду Сасунскому накануне великих испытаний и подвигов. Я хочу, чтобы вы знали, что имя, которое носит ваша дивизия, — гордое имя, живое имя. Это не сказка, не легенда. Это память народа. Народа, выстоявшего, смертью смерть поправ...

Сын Давида — Мгер, вы его внуки. Мгер говорит, когда ему враг предложил отдохнуть перед битвой:

Предки мои оставили завет:
Как только встанешь перед врагом —
Не откладывая битвы с ним».

...Снова атланты и старик под дождем...

— Я — Орбели Иосиф, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вызванный в качестве свидетеля по настоящему делу, перед лицом суда обязуюсь и клянусь говорить суду только правду обо всем, что мне известно по настоящему делу.

Идет Нюрнбергский процесс. Вот Геринг — автор зловещего плана уничтожения Ленинграда...

— Свидетель, скажите, пожалуйста, какую должность вы занимаете?

— Директор Государственного Эрмитажа.

— Ваше ученое звание?

— Действительный член Академии наук Советского Союза, действительный член Академии архитектуры СССР, действительный член и президент Армянской Академии наук, почетный член Иранской Академии наук, член Общества антикваров в Лондоне, член-консультант Американского института археологии и искусства...

— Находились ли вы в Ленинграде в период немецкой блокады?

— Находился.

— Известно ли вам что-либо о разрушениях памятников культуры и искусства в Ленинграде?

— Известно.

— Можете ли вы изложить суду...

Идут перед судом чередой, безмолвной и бесконечной, кадры разрушений в Петергофе, Пушкине, Павловске, Ленинграде, Эрмитаже...

— Достаточно ли велики познания свидетеля в артиллерии, чтобы он мог судить о преднамеренности этих обстрелов? — спросил адвокат обвиняемых.

— Я никогда не был артиллеристом. Но в Эрмитаж попало тридцать снарядов, в расположенный рядом мост — всего один, и я могу с уверенностью судить о том, куда целил фашизм. В этих пределах — я артиллерист!

...Дождь течет по раненой (след осколка) пого атланта. Старик в промокшей широкополой шляпе, с кудлатой бородой, с которых стекает дождь. Глаза его прикрыты, губы шевелятся, бормоча строки «Энеиды»:

Venit summa dies et ineluctable tempus
Pardanie. Fuimes Troes, fuit Ilium et ingens
Gloria Teucrorum...¹

Он повторяет:

— Gloria Teucrorum!..

И, наконец, сходит с места. Не оглядываясь, бредет

¹ День последний пришел и троянской земли неизбежный
Гибельный срок. Мы троянцами были, Троя была и слава
Тевкров безмерна... (перевод с латинского).

в сторону Марсова поля. Находит папиросу и не находит спичек. Светится подъезд общежития. За стеклянной дверью — столик вахтера с закипающим чайником и сам дремлющий вахтер за столиком...

Орбели стучит в стекло.

Вахтер пробуждается и возбуждается — ему не видно, кто за дверью.

Прохромав к двери, выкрикивает:

— Куда ломишься в полночь! Знаешь же, что мужикам сюда нет входа, а все равно ломишься, как сохатый...

— Почему это мужикам нельзя?— удивляется Орбели.

Вахтер наконец разглядел старика и еще больше удивился:

— Тебе чего?

— Прикурить бы...

— А...— удовлетворился вахтер,— это можно. Да ты проходи от дождя-то...

Они раскуривают «Казбек», и скучающий вахтер охотно болтает:

— Здесь общежитие женское, а рядом училище, курсанты, сам понимаешь... Ну и ты, думаю... Но ведь странно,— с подозрением покосился он на Орбели,— в такую пору все спят в твоем возрасте, а ты, мокрый как курица, по городу шатаешься, а?...— он хихикнул и щелкнул по горлу.— А? Старуха не пустила?..

— Ага...— рассеянно говорит Орбели.— И старуха тоже.

— Вот бывают же и старики неприкажные...— самодовольно говорит вахтер.— А вроде из образованных?...— И с новым подозрением поглядывает на Орбели:— Или швейцар?

Орбели развеселился:

— Да нет, такой же сторож, как и ты.

— Да ну! Не похож.

— Почему же не похож?— обижается Орбели.— Да я уже лет тридцать в сторожах, тут по соседству...— он кивнул в сторону Эрмитажа.

— И в войну сторожил?

— И в войну...

— Это у тебя ловко получилось. А я до Вены дошел,— он постучал себя по ноге,— да вот мозоль натер...

— Ты вот что,— рассердился Орбели.— Ты бери сейчас свои слова обратно... Ловко?! Я сейчас как дам — ловко!..— Он замахнулся.— Мы тут целиком помирали, а ты ногой хвастаться!

— Ладно, ладно! — отступил испуганный вахтер.— Что

ты, психованный какой... Блокада, знаю. Ну, извини. Ты поэтому сторож? — он покрутил у виска.

— Поэтому, — Орбели рассмеялся и успокоился тут же.

— Тогда понятно. Странно, что я тебя не знаю! Я тут всех знаю... Вон там, на Колюшенной, мой брат работает, в таксопарке, тоже на вахте. Племянник у меня там же шофером. — Вахтер становится доволен собой: — Квартира у меня со старухой теперь отдельная, а сын переехал в Удельную...

— Ловко.

— Что — ловко? — теперь вознамерился обидеться вахтер. — Что — ловко? Что, я нормальной жизни не заслужил?

— Да нет, я серьезно говорю «ловко». Складно то есть. Жизнь у тебя сложилась, говорю. Завидую я тебе. Ты — хозяин жизни. Выжил — и хозяин...

— Где сторожишь-то? — с окончательным подозрением спросил вахтер.

— Все. Не сторожу уже.

— Как так? Что ты крутишь?

— Выгнали меня...

— Брось врать-то. Иди отсюда. Чайник. Со сторожей не выгоняют.

Орбели усмехнулся и пошел с чайником в дождь.

Вышел на Суворовскую площадь. Пустой Ленинград — как пустой Эрмитаж. Орбели один на весь город. Он бредет по дождливому Ленинграду, как по вымершему, закрытому на замок музею... Кружит. Никуда не уйти ему от Эрмитажа, от Дворцовой набережной... Темнеет силуэт Петропавловской крепости.

С тем же прощальным чувством во взгляде провожает Орбели Ленинград, будто Ленинград и Эрмитаж — одно целое... (А это почти так.)

Идти ему некуда, в раздумье останавливается он перед домом, с удивлением оглядывает его, с усмешкой недоумения смотрит на свои мокрые ботинки.

— Надо же, сами пришли...

И входит в подъезд.

Вот он у той же двери, в которую войдет много лет спустя Тамара...

— Господи! Иосиф Абгарович!.. В каком вы виде!.. — восклицает в дверях Камилла Васильевна. — Вы же схватите воспаление легких! — Лицо ее выражает испуг и любовь. — Немедленно примите горячую ванну!

...Орбели, завернутый в одеяло, мечется по кабинету Камиллы Васильевны. В одной руке у него стакан чаю, другая то подхватывает падающее одеяло, то освобождается для жеста. Это одеяло-тога особенно подчеркивает характерную для Орбели античность его образа.

— Мы победим, Камушек! — восклицает он. — Я был трус. Я боялся своего дела с тех пор, как лишился Ани... Все, конец малодушию! Я вам снова буду диктовать, Камушек! Мы напишем, мы напишем!.. Я чувствую в себе еще силы необыкновенные! Надо было только решиться — судьба решила за меня...

— Как я счастлива, Иосиф Абгарович! — говорит умиленная Камилла Васильевна. — Я всегда верила, что настанет этот день. Вы достаточно послужили людям и делу. Вы послужили им больше, чем кто-либо другой. Но ваше дело всегда была только наука!

— Именно, именно! Вы совершенно поняли меня! С чего мы начнем? Берите бумагу, Камушек! Может, допишем наконец про храм Ахтамар? Или... нет, все-таки не сразу... Времени ведь немного, Камушек... И силы не те, которые я упустил в молодости... Басни! Вот правильное начало! Помните, я начинал и бросил переводы из Мхитара Гоша? Вот здоровое и сильное начало.

Отставив стакан, забросив одеяло на плечи, воздев руку, зычно Орбели пропел по-древнеармянски:

— «Орел летел по небу, и поранили его стрелой. Он изумился, кто это сделал. Посмотрел, увидел стрелу и на ней свое перо и говорит: «Горе мне, ибо вот — от меня же причина моей смерти»... Каково! Это же античная сила! — Его лихорадит. — А каков лаконизм... Нет, я обязан отдать сначала дань своему народу — сделать всеобщим достоянием это национальное сокровище, средневековую армянскую басню!..

Он еще побегал, возбужденный, лицо его все время менялось неузнаваемо. По лицу мелькали тени, вспархивали воспоминания... Он постанывал с тоскою и прогонял это наваждение.

— Зря я не пошел в кавалеристы... Я так люблю лошадей и холодное оружие! Наш род всегда тяготел к мундиру...

Он спохватился и сник. Повалился в кресло.

— Вы устали, Иосиф Абгарович... Отдохните, — с трепетной жалостью сказала Камилла Васильевна.

— Устал? Нет, не то слово. Вот еще из Мхитара Гоша... «Один царевич был ужасно измучен блохою и искусно поймал ее. Блоха говорит: «Молю, не убивай меня, ибо так мал тот

вред, который я тебе причинила». А тот говорит: «Все, что в твоих силах, — ты сделала!»

Орбели спит. Камилла Васильевна поправляет одеяло, укутывает его пледом. Смотрит на него с непереносимой нежностью...

Спит старый, измученный человек.

Камилла Васильевна садится за свой столик, занавешивает лампу платком. Мягкое пятно света падает только на тетрадь и руку...

«17 октября 1950 года», — пишет она в дневнике.

Камилла Васильевна и Тамара завтракают. Что-то произошло между ними: Тамара смотрит на старушку влюбленно. Не то мать и дочь, не то подружки... Старушка молодеет от воспоминаний, как девочка...

— Он всегда знал, что война будет. Он же историк. Для него война началась не в сорок первом и кончилась не в сорок пятом... Больше года он посвятил подготовке к тысячелетию эпоса «Давид Сасунский» — составлял, редактировал, организовывал — работал неистово. Он полагал это важным для обороны страны. Это был настоящий праздник!

...Иосиф Абгарович входил во все, любая деталь не миновала его пристального внимания.

— Благородней, благородней! — кричит Орбели.

Перед ним, взмокший и несчастный, стоит знаменитый штангист Амбарцумян, с мечом и щитом, капя (род бурки) с его плеча валяется на земле.

— Гнев твой праведен! Давид — доверчив! Он — заика, заикнись хоть от негодования! — Орбели подхватывает и накидывает капю себе на плечи, отнимает у атлета меч и щит.

Репетиция идет на открытой площадке, стекается народ. Много крестьян, спустившихся в город на предстоящий праздник (чем-то это все напоминает первое шествие нашего повествования...).

В доспехах Орбели преображается, мы перестаем замечать, что на нем европейский костюм.

— М-м-мелик! — восклицает Орбели. — Ты об-б-бм-манул м-меня вчера, — Орбели сбрасывает капю на землю. — Что б-будешь делать ты теп-перь?

Орбели чуть пошевелил мечом, и зрители зааплодировали.

— Повтори, — Орбели передает штангисту доспехи.

Пот катит градом по лбу атлета.

— Ну!

— Не могу, Иосиф Абгарович... — Странно слышать такой жалобный голос из его могучей груди.

— Гениально! Запомни! Вот так и скажешь — грустно, виновато, извиняясь... Ты честный боец, тебе неловко за позорное поведение противника. Умоляй его, как меня. Представь себе, сейчас ты — Мсра-Мелик, противник...

Орбели преображается: ему стыдно, он не смотрит в глаза...

— Ты обманул меня вчера, — скорбно говорит он, — что будешь делать ты теперь?

Холодок прошел по зрителям, никто теперь не аплодировал.

— Страшно? — спрашивает Орбели торжествующе.

— Не могу, Иосиф Абгарович...

— Что, опять? — взрывается Орбели.

— Мсра-Меликом не могу...

Орбели счастлив, смеется:

— Ввести Мсра-Мелика!

Под восторженный вздох толпы с высокой тумбы сдергивают попону, и под ней оказывается чудовище, получеловек, Мсра-Мелик. Он из папье-маше, ярко раскрашен. Он трогается и подплывает к месту действия, словно под ним колесики...

— Повторяем удар! — командует Орбели.

Атлет с радостью замахивается... Мощно выгрызают его мышцы.

— Тише, тише! — умоляет Орбели. — Ты же раскрошишь нам Мсра-Мелика! Ты только замахнись сильно, а потом чуть прикоснись.

Тот исполняет.

— Еще я жив, Давид! — как из бочки кричит Орбели. — Руби еще!

Атлет молчит.

— Ну!

— Мсра-Мелик, а ну встряхнись! — извиняясь, выговорил силач.

— Замечательно! Именно так. Извиняйся перед ним... Он-то ведь еще не знает, что разрублен пополам... Так, Мсра-Мелик встряхивается...

Половинка чудовища стала со скрипом отделяться от другой... Застрыла.

— Что вы там ковыряетесь? Опять заело? — взрывается Орбели.

— Сейчас, сейчас... — доносится изнутри Мсра-Мелика. Наконец под восторженный вскрик толпы чудовище разваливается окончательно.

В середине оказывается подсобник, который его расцеплял изнутри, с веревкой в руке. Он раскланивается публике как герой.

— Плохо, очень плохо! — смеется Орбели. — Опять ты не спрятался как положено.

Пристыженный подсобник воровато ныряет в одну из половин Мсра-Мелика...

...Празднично украшенный Ереван. На стенах домов там и сям красочные лубочные плакаты, иллюстрирующие эпизоды эпоса. Со всех сторон в город спускаются крестьяне, несущие и везущие дары своей земли. Около плакатов стоят группы, восхищенно разглядывающие и сопереживающие эпос. Кое-кто даже перерисовывает плакаты в альбом.

Почетный президиум. 1939 — огромная цифра над президиумом, а над ней, еще крупнее, — 1000 лет. Чинно восседают именитые люди — юбилей «на высшем уровне».

И лишь Орбели, как всегда, не находит себе места. Вскрикивает, бегает как тигр за спиной оратора взад и вперед, взад и вперед: переживает каждое слово. Достает папиросу, характерным для него жестом, чтобы не подпалить бороду, чиркает спичкой от себя, как будто мечет огнем в сторону оратора...

Снова квартира Камиллы Васильевны.

— Он говорил, что память о нашествии у него в генах, что в этом он — армянин. А однажды так мне сказал: «А вы знаете, Камилла Васильевна, может быть, и это призвание — собирать и сторожить вещи... А вам не кажется удивительным, что хранитель Эрмитажа — именно армянин? В Армении я не армянин, а русский ученый; а как хранитель Эрмитажа — я все-таки армянин. Собирать остатки, осколки, фрагменты... собирать и хранить стало уже инстинктом армянского народа, он впитал это в кровь, потому что исходил кровью... Я думаю, что это у меня инстинкт моего народа — он и призвал меня в Эрмитаж...» Орбели редко так говорил о себе, поэтому я и запомнила... Все дело в том, что он был человеком редкого постоянства, хотя многие думали о нем не так, — это говорю вам я, женщина, всю жизнь любившая и любящая его, я-то знаю... Он никогда не покидал меня,

как никогда не покидал Ани, как никогда не покинул Эрми-таж... Вы знаете, мне даже кажется, что он и блокаду не покидал... В сорок третьем году, уже в Армении...

Под открытым небом ряды скамеек: впереди — ходячие раненые, в задних рядах — зеленые фуражки. Мы смотрим как бы из последнего ряда. Перед аудиторией появляется Орбели. Он изможден. Тяжело опускается на стул.

Камилла Васильевна продолжает рассказ:

— Это было выступление на самой границе. Погранчасть соседствовала со школой, в которой размещался госпиталь. Страшно было видеть здоровых солдат рядом с ранеными...

— Разрешите, я отдохну...— говорит Орбели аудитории и опускает голову на ладони.

Голос Камиллы Васильевны:

— Он долго так сидел. И вы знаете, никто не шелохнулся, не кашлянул...

Из заднего ряда мы видим несколько рядов зеленых фуражек и над ними библейскую голову Орбели. Орбели наконец встает. Взгляд его устремлен вверх голов, будто он что-то там вдали видит...

— Я расскажу вам про Армению...

Голос Камиллы Васильевны:

— Вы знаете, что он был превосходный оратор, но в этой лекции он превзошел себя. Большинство солдат ведь почти ничего об Армении не знало: их закинула сюда война так же, как закидывала их в самые разные другие места, далекие от их родины... Иосиф Абгарович рассказал им про Армению так и они слушали так, будто речь шла о их собственной родной земле... Очень жаль, что тогда не было магнитофонов записывать все, что говорил Иосиф Абгарович...

И мы слышим, что он говорит солдатам:

— ...В мирной жизни мы не замечаем ее. Родина — это для нас так же естественно, как дышать, как видеть небо... Мы не подозреваем, что любим это и как мы сильно любим! Без этого нет жизни — это не красивые слова, а точно так: нет жизни, как нет ее в безвоздушном пространстве. Без Родины нам нечем дышать. И вот все, что было нашей жизнью, нашей любовью, нашим воздухом, стало войною. Наша Родина стала войною. Воздух — это не воздух, а война — он обжигает и рвет легкие. Это не соловей поет в кустах — это война. Это не осень на дворе — это война. Это не луна и не солнце — это война. Это не хлеб, и это не вода... Наша

кровь — это не дорогая цена за нашу с вами жизнь, у которой сегодня одно название — Родина.

Орбели замолчал, и глубокая тишина была ему ответом. Солдаты молчали — каждый о своем. И Орбели — о своем... Вот куда был устремлен во время лекции взгляд Орбели, откуда он черпал свои слова...

С этого места видна граница, а за границей — развалины Ани...

Никто не аплодировал Орбели.

Орбели уходит по гравийной дорожке... Вдруг за его спиной слышен сильный гравийный хруст, тяжелое дыхание...

— Отец!..

Орбели оборачивается. Раненый на костылях. Лицо его искажено волнением и какой-то мукой...

— Отец!.. — задыхаясь, говорит раненый. — Мне надо поговорить с тобой... — Видит приближающуюся Камиллу Васильевну. — Наедине.

Собрание Армянского филиала Академии наук (Армфан), будущей Академии наук Армении. Народу немного — ядро, актив... Налицо настоящее и будущее армянской науки. Орбели — председатель. Все слушают докладчика, очень академического вида, «книжного» человека...

Камилла Васильевна продолжает рассказ Тамаре:

— Орбели ушел с раненым, и его долго не было; появился он потрясенный: «Ты знаешь, что он мне сказал?» А когда я спросила что, он не ответил и всю дорогу назад, а мы торопились на очередное заседание Армфана, промолчал, о чем-то думая.

— Я историк средневековья, — говорит оратор, — и мне трудно представить себе, как я могу, при всем желании, откликнуться на призыв уважаемого Иосифа Абгаровича непосредственно заняться сбором материалов об идущей сейчас войне...

— Вы знаете, что он мне сказал? — склоняется Орбели к сидящей рядом Камилле Васильевне.

— Он?.. — недоумевает Камилла Васильевна, взглядывая на оратора. — Он и не думает вас задеть, Иосиф Абгарович...

— А... — пренебрежительно отмахивается Орбели. — Он меня и не заденет, это я его сейчас задену!.. Раненый мне сказал... что он — самострел!

— Вот если бы мне, — продолжает мямлить оратор, — ака-

демия выделила по теме нашей войны несколько аспирантов и они бы начали сбор материалов, то я бы мог потом...

Орбели вскакивает:

— Ага, аспирантов... Я так полагаю, что у Плутарха было полно аспирантов! У Мхитара Гоша было полно аспирантов! У Месропа Маштоца было полно аспирантов! Я вижу здесь все ту же тенденцию, все ту же гуманитарную оппозицию, стремящуюся свести армянскую академию, армянскую науку к одному лишь арменоведению! Так вот, что бы вы тут ни говорили, поверьте мне, так не будет! И это не мое сумасбродство или тирания. Это голос самой жизни. И будет современной история сегодняшнего дня, так же, как обязательно будет физика, химия, астрономия в армянской академии! Она уже есть! — от тычет перстом в сторону молодого Амбарцумяна. — Аспирантов, видите ли, ему...

Орбели выбегает из зала и устремляется в кабинет, лихорадочно набирает номер:

— Военкомат? Академик Орбели говорит. Дайте мне военкома. — Ждет. — Да, это я, здравствуйте, здравствуйте. Не за что благодарить, это мой долг. Конечно, выступлю... Да, товарищ майор, а как там... ну да, с тем, что раскаялся?... — Слушает, молодой человек, боюсь, что за это вам придется ответить, по крайней мере, своими погонами... Вы меня знаете! Я ведь дойду куда угодно! В человеке проснулась совесть, он пришел к вам сам, добровольно... Я не хуже вас понимаю законы военного времени, но ни в какое время, запомните, ни в какое время НЕЛЬЗЯ КАЗНИТЬ СОВЕСТЬ!

— Немыслимый человек... — тихо говорит Тамара.

— Именно! Вы правильно сказали: немыслимый... Знаете, видеть сквозь стены, сквозь камень, сквозь землю — это особый талант у археолога, у реставратора... По-видимому, травма, перенесенная Иосифом Абгаровичем, когда Ани стала турецкой территорией, особенно была сильна в молодости... Он все время поровил что-нибудь раскопать... а что раскопашь в Эрмитаже? Так вот, он, как только объявился у нас в двадцатом году, стал уверять всех, что в Эрмитаже «замурован» целый сектор, большое помещение, и что его надо вскрыть. Люди десятилетиями ходили по Эрмитажу, знали в нем каждый закоулок, и вдруг молодой человек, выскочка, посягает на святыню, требует разборки капитальных стен...

Его тогда еще не знали... Я его еще не видела... Только слышала о нем...

Камилла Васильевна замолкает.

— Нет, не могу... прочтите сами, там это есть в дневнике... я пойду отдохну...

В дверях Камилла Васильевна обернулась:

— Удивительно! Знаете, почему не могу?.. Меня душит ревность! В старости время начинает идти вспять. Человек стареет, воспоминания молодеют. Я уже давно не фотографируюсь, стараюсь и в зеркало меньше смотреть... Я-то все еще старею, а он — все молодеет. И забывать-то я начинаю с конца, последнее-то и не помню... А все первое — я так помню! Может, это вчера и было...

Тамара сидит за дневником Тревер...

«19 октября 1950 года, — читает Тамара. — Как много всего произошло за три дня! Иосиф Абгарович сегодня очень возбужден. Грандиозные планы новой работы. Как он красив во сне!..»

Тамара оборачивается и видит в кресле укрытого пледом Орбели. Тамара в задумчивости листает дневник. Вспять, вспять...

Строки дневника, а Тамара слышит молодой голос Камиллы...

«27 марта 1920 года. Я никогда не водила экскурсий, всегда отказывалась. А вот — не избежала...

Случайно, как с неба, как все теперь, мне достался отрез красного маркетизета и банка сливового варенья... Всю ночь я кроила и шила...»

(Камилла сверкает в потрепанной и поношенной толпе экскурсантов, с энтузиазмом рассказывая и показывая... Она удивительно хороша, и это еще усугубляется нашим современным восприятием: в ней есть что-то, что уже не встречается в наши дни, обладающие, быть может, иной, своей красотой... но этого сочетания нежности, женственности, чистоты и интеллигентности — уже нет. Мы могли бы лишь подозревать, что такое было, а вот — есть...)

«...Еле успела, но на экскурсию прибыла вовремя. С туфлями обстояло хуже — пришлось надеть самосшитые тапочки. (Тапочки, впрочем, и на сегодняшний день крик моды...) Иосиф Абгарович пробежал мимо экскурсии, а потом вернулся и, извинившись, сказал:

— Камилла Васильевна, будьте любезны, подойдите ко мне после экскурсии...

...Камилла, раскрасневшаяся, сияющая, спешит по коридору и стучится в дверь.

— Вы хотели меня видеть, Иосиф Абгарович?

— Да, — Орбели встает навстречу, — пойдемте со мной. Камилла послушно следует за ним. Они входят в пустой зеркальный зал и останавливаются. Камилла в недоумении.

— Посмотрите на себя, — указывает в зеркало Орбели.

Камилла разглядывает себя сначала в испуге, а потом в недоумении.

— Теперь вот в это, пожалуйста...

Камилла уже сопротивляется, но — смотрит. Ничего не находит.

— Иосиф Абгарович, что все это значит?

— Можете посмотреться во все зеркала, минут пять вам хватит?

— ??

— ...а потом снимите, пожалуйста, платье.

— Иосиф Абгарович!!

— Я понимаю все — молодость, красота, роскошное платье... Но из-за вас не видно Рубенса!

И, круто повернувшись, выходит, оставив Камиллу в растерянности среди многих отражений.

«27 апреля 1920 года. Возвращаясь из типографии, я встретил Н. Н. ...»

Дворцовая набережная, солнце, первое тепло...

Жмурясь и блаженно подставляясь лучам, идет-летит Камилла. Сбоку все забегает и забегает спутник.

— А вы не задумывались над тем, легко ли вам будет сработаться с Орбели? — спрашивает Н. Н.

Они останавливаются.

Мы видим сладковатого молодого человека, похожего на Семиратского, только очень юного.

— Ведь не напрасно же его прозвали Громовержцем... — добавляет он.

— Вот с вами всеми часто бывает трудно, а с Орбели я работать не боюсь! — вспыхнула юная Тревер. — Когда я работаю или говорю с ним, я вижу его до дна, а у вас дна и не увидишь.

— Это почему? — обиделся похожий на Семиратского.

— А потому, что словечка в простоте не скажете, все рассчитано и взвешено... Дипломаты и конъюнктурщики!

Озадаченный этой резкостью, молодой человек открыл рот и закрыл рот.

Уже без навязчивого «доброжелателя» Камилла одна идет

по набережной. Хорошее настроение возвращается к ней. Она удивительно хороша.

Тревер идет по Биржевому мосту, ее нагоняет Орбели со шляпой в руке.

— Могу ли я пройти с вами, Камилла Васильевна?

Тревер улыбается ему открыто и ясно, кивает. Орбели — против света, силуэтом, тенью. Тревер, юная и прекрасная, будто светится на его фоне...

— Иосиф Абгарович! Я в полном ужасе от той горы материала, какой вы меня одарили... Как я могу прочесть и перевернуть всю эту массу информации?

— Я верю в вас, а вы мое доверие оправдаете несомненно, — сказал Орбели.

— Я, право, не знаю, чем я заслужила такое доверие и даже расположение ко мне...

— Я привык судить о людях по первому же впечатлению, и, во-вторых, вы напоминаете мне человека, который был мне когда-то бесконечно дорог, которого я глубоко уважал и уважаю...

Тревер потупилась, ей неловко. Орбели усмехнулся:

— Я имею в виду одного из моих учителей.

Теперь хмыкнула Тревер.

— Бодуэна де Куртенэ.

Тревер расхохоталась:

— И это вы говорите женщине?

— Боже! — рассмеялся Орбели. — Но вы мне подали идею. Вы окажете мне огромную услугу, если у вас найдется полчаса времени зайти со мной к Николаю Яковлевичу Марру. Надо поздравить его, и, я думаю, ему будет приятно получить адрес из ваших рук.

— Но ведь я совсем незнакома с Николаем Яковлевичем! — растерялась Тревер. — Почему именно я?..

— Потому что, — сказал Орбели очень серьезно, — я думаю, что среди женщин академии вы — самая-самая хорошая и самая красивая.

Тревер чрезвычайно растерялась и смутилась, но все-таки нашлась:

— Значит, только «из женщин академии»?

Орбели рассмеялся и ничего не ответил.

Они идут по Ленинграду, и город этот становится прекрасен не только сам по себе — он преображен душевным состоянием двух очень красивых людей, которые идут по нему...

В передней квартиры Николая Яковлевича разыгрывается пантомима длительного, чрезвычайно интеллигентного рас-

шаркивания... Орбели торжественно говорит, Камилла галантно преподносит и делает книксен, Николай Яковлевич смущается, и кланяется, и целует руку Камилле. Все очень мило, Николай Яковлевич пропускает в квартиру Камиллу и Орбели, проводит в кабинет, предлагает кресло Камилле...

— ...и это был не вполне удачный поход... Я передала Николаю Яковлевичу дельфина и адрес с охапкой подснежников. Он был очень растроган, благодарил...

...и вдруг, я не заметила как, — они уже стояли, красные, друг против друга как петухи и еле сдерживались, чтобы не накинуться друг на друга. Я почти ничего не могла уловить в их споре...

Бледный Николай Яковлевич, сдержанно трепеща, холодно не перебивает Орбели.

Орбели, несдержанно жестикулируя, удерживается на последней грани почтения младшего к старшему:

— Что бы вы мне ни говорили про так называемый праязык, как бы блистательны ни были ваши выкладки, — это голое теоретизирование. В жизни, в истории, которая не что иное, как та же жизнь, но которой уже нет, ни одного подтверждения вашей теории вы не найдете. Единственное историческое подтверждение лишь в Библии: «В начале было Слово», — но это можно лишь проповедовать, а не преподавать. Лишь двенадцать апостолов могли лечь спать, не зная ни одного языка, кроме арамейского, а проснуться утром говорящими на всех языках, чтобы проповедать слово божье... Помяните и мое слово, уважаемый Николай Яковлевич, по их образцу и подобию завтра проснутся все невежды, не знающие ни одного языка, и возрадутся вашей новой теории, потому что она позволит им так и не знать ни одного языка с полным основанием!

— Ну, это уж вы, дорогой Иосиф Абгарович, — медленно цедит Николай Яковлевич, — слишком. Нельзя так неприлично относиться ко всем вашим коллегам...

— Мое отношение к коллегам не имеет никакого отношения к вашей теории! — кипит Орбели. — Это не научный, а этический довод, даже если я несправедлив к ним. А я тем не менее справедлив!

— Однако вы непоследовательны, дорогой...

— Это вы — непоследовательны! — перебивает Орбели и спохватывается: — Но вы-то пришли к своим выводам, изучив несколько десятков языков!.. — говорит он в отчаянье.

— Вот видите... — удовлетворенно говорит Николай Яковлевич, — значит, у меня есть основания...

...Камилла и Орбели выходят из дома Николая Яковлевича. Проходят по Ленинграду до Петровского парка. Орбели все машет руками, доигрывая сражение.

Они садятся на скамейку.

— Я так его люблю!— восклицает Орбели.— Да я бы прыгнул из окна, если бы он приказал! Но не могу же я любить его ошибки!..

Солнце садится за деревья Петровского парка.

— Какой закат!— говорит Тревер, дотрагиваясь до его руки, чтобы отвлечь от навязчивых переживаний.— Послушайте...

Уже не слышен конский топот...

— Как хорошо!.. А вы знаете, что я мечтал стать кавалеристом?.. У нас в роду уже давно наметилось расхождение двух ветвей по склонностям и предпочтениям: одни выбирали военную службу, другие предпочитали область духовной культуры, как мой отец и дед. А во мне сошлись обе ветви: я страстно люблю лошадей и, наслаждаясь лекцией или дискуссией, мог почувствовать острое желание вступить в драгунский полк. Без памяти люблю оружие, особенно холодное... Вам холодно?— Орбели прикасается к руке Тревер, она вздрагивает и отодвигается.— Вы не должны бояться меня.

— Не боюсь, но... инстинктивно отшатываюсь.

— Вы не должны бояться мужчины во мне!— мягко говорит Орбели.

— Я люблю в вас человека и ученого.

— Это-то и хорошо, и лестно!— усмехается Орбели.

Они поднялись и пошли по аллее.

...Будто они идут все по той же аллее... Меняется освещение, восходит и заходит солнце, набегают тучи, пролетает быстрый дождь... они бегут, прячутся под навес.

27 мая...

«Дружба с Иосифом Абгаровичем меня и радует, и пугает. Странно то, что у нас такие одинаковые вкусы. Меня радует, что он с удовольствием слушает Вагнера, увлекается эпосом и мифами, любит цветы и красоту вообще. Немного пугает его вспыльчивость и импульсивность, привычка не стесняясь говорить все, что он думает или чувствует... Вот сейчас...»

Орбели нахмурился и нехотя сказал:

— Плохо работается последнее время, состояние какое-то подавленное. Не знаю, что со мной творится... Я, кажется, люблю вас...

Камилла выскочила под дождь, Орбели за ней.

Когда он догоняет ее, сияет солнце, лопаются почки и в руке у него красная роза...

«Иосиф Абгарович преподнес мне красную розу. Был очень долгий разговор о моей работе. Иосиф Абгарович сказал, что мечтал бы написать об армянском эносе «Давид Сасунский», но боится — жизнь будет к нему так же безжалостна, как была до сих пор, не дав довести до конца раскопки Ани...»

Они продолжают идти по бесконечной аллее бесконечного парка. Цветет то яблоня, то черемуха, то сирень...

«У него стало такое несчастное лицо...»

— Неужели вы еще не встретили в жизни человека, которого полюбили бы больше жизни? — сказал Орбели.

Тревер молча покачала головой.

— И вы никогда не хотели, чтобы у вас был ребенок?

Тревер продолжает молчать.

— Если вам не хотелось иметь ребенка от человека, который любил вас, — неожиданно мягко сказал Орбели, — то вы никогда в жизни не любили. Неужели вы не способны любить?

Тревер молчит.

Они идут все по той же аллее. Порыв ветра сорвал и понес пожелтевшие листья.

15 сентября...

— У меня просьба, Иосиф Абгарович...

— Да? — пытливо глядя на Тревер, спросил Орбели.

— Не целуйте моей руки... до тех пор, пока я не сниму запрет.

Орбели перестал улыбаться и задумчиво сказал:

— Кто знает, может быть, наша дружба — нечто большее, чем мы можем предполагать...

Резкий ветер срывает последние листья с деревьев парка. Идет снег. Все покрыто снегом. Только Камила и Орбели все так же идут рядом. На Камилле все то же красное платье.

Новый год...

«В душе у меня страшное смятение от разговора с Иосифом Абгаровичем. Сейчас какой-то сумбур, будто в тумане. Деталей не помню. Лишь отрывки фраз. Мы о чем-то спокойно говорили и вдруг...»

— Вы хотите, чтобы я вас любил? — категорически, хотя и очень спокойно, сказал Орбели.

— Не знаю, какой смысл вы вкладываете в эти слова... не знаю, что ответить...

— Я вынужден вернуться к тому, о чем мы уже говорили, — резко сказал Орбели, — это не прихоть, а заветная мечта, все мои мысли и чувства в этом: я хочу иметь сына — сына от вас.

Камилла молчит, не в силах поднять глаза.

Их засыпает снегом.

20 января...

«Передо мною фотография — портрет Иосифа Абгаровича, который я нашла в мусорном ящике в старой академии. Хороший портрет... Бесценный мой друг! Теперь-то я знаю, как много я получила за последнее время!»

Снег падает и на фотографию.

— Камилла Васильевна, что же вы никогда не ответите мне? — печно и устало сказал Орбели. — Ведь я так давно жду... — На плечах у него снежные зполеты.

— Ведь я боюсь привязанности, — сказала Камилла, пряча фотографию на груди. — У меня легко на душе только тогда, когда я знаю, что я внутренне свободна: что если мне вздумается сегодня провести черту — я завтра уже могу жить отдельной жизнью...

Орбели вздохнул.

— Если же я вдруг почувствую, — все-таки договорила Камилла, — что это сильнее, чем я хочу, что я начинаю зависеть...

— То вы уйдете?! — настороженно спросил он.

— Да, уйду. Я не могу жить, чувствуя, что я не свободна.

— Да, это я знаю! — горько сказал он.

«...В полумраке его лицо показалось мне очень бледным. Было очень поздно, уже февраль и за полночь...»

— Вам надо спешить к поезду, — сказала Камилла.

Орбели молча ушел.

«...А я стала прислушиваться к гудку: беспокоилась — успеет ли и как у него с сердцем? Ведь оно у Иосифа Абгаровича большое...»

Камилла одна, в красном платье, в зимнем парке, в ночи...

И снова вспыхивает по-весеннему молодое солнце. Снег в парке осел, по аллее бежит, размывая лед и песок, ручеек. Камилла стоит такая же прекрасная, в том же платье...

18 марта...

«...В Доме ученых встретили Анну Ахматову. Иосиф Абгарович познакомил меня с нею. Она все еще прекрасна, хотя несколько поблекла. А улыбка у нее просто очаровательна.

Иосиф Абгарович расстроен: в типографии неладно, а ра-

бочие голодают — пайка не получили. Смолкла капопада. Говорит, что Кронштадтский мятеж подавлен. Слава богу! Значит, праздник. Сижу дома. Тоскливо. А выйти из дому нельзя — нет калош и есть насморк».

Орбели приближается к ней по дорожке. Она улыбается ему.

— Иосиф Абгарович! Я думала утром обо всем своем... И дошла до корня зла: духота, которая может и задушить наконец. Хочется воздуха, легкости, радости. Я не скупа, хотя и жадна: если мне захочется дать — а дать я могу больше, чем вы, — я дам не меря, не считая, не взвешивая...

Утро. Дохлый ленинградский рассвет пробивается в окно кабинета Камиллы Васильевны. Уронив голову на раскрытый дневник, спит Тамара. Горит лампа. Входит Камилла Васильевна, невидимая, как этот серый рассвет. Вздрагивает и просыпается Тамара...

— Так и не ложилась?.. Ну что?

Тамара освещена лампой, лицо ее искажается нежностью, болью, немотой.

— Ну что, большая я была дура, не правда ли? Страшно, тогда не было чувства юмора... У меня — совсем. Но, кажется, и вообще его не было.

— Как я вам завидую... — Тамара отворачивается, стараясь скрыть слезы.

Молодая Камилла идет по коридорам служебных помещений Эрмитажа. Озирается с удивлением, будто чего-то не узнает... Пыль, штукатурка, удары молота.

Рабочие разрушают стену. Стена поддается и падает.

— А! — вскрикивает один из рабочих. — Что я говорю! — и устремляется в пролом.

За ним следуют остальные. Со всего Эрмитажа сбегается народ. Все завороченно смотрят в дыру, не решаясь пройти.

Камилла, подождав в нерешительности, направляется к пролому, заглядывает...

— Что там, что там? — с любопытством спрашивают за спиной.

Камилла молчит. С разочарованием видит она, что там только пыль, грязь, дрянь.

Из глубины помещения раздается восторженный крик, и появляется, весь в пыли и извести, убеленный, как старец, молодой Орбели. В руках у него — чайник. Он оттирает его — лев и роза...

Видит в проеме Камиллу:

— А вы что думали — здесь гробница Тутанхамона?
И хохочет. С чайником в руке.

Будто очень старая пленка или будто идет дождь...

Так же ровно, хрипло, граммофонно поет «Золото Рейна».

Арарат с другой стороны (так похож на Масис...).

Такие же библейские, пустые холмы до горизонта, будто Ной приплывал сюда вчера. Будто эти места не для людей. Людей и пет.

Озеро-море, на котором виден остров, весь в зарослях мака, с маленькой армянской церковкой на косе (так похоже на Севан...).

Храм Креста на острове Ахтамар.

Северный фасад. Рельеф «Адам и Ева».

Бескопечный рельеф — пояс виноградника, окружающий храм, — первая каменная кинохроника, которой тысяча лет: вот возделывают землю, а вот несут корзины с виноградом; вот пасут овец, а вот их доят; вот дают виноград, а вот пьют вино; вот охотятся на зверя, а вот дерутся друг с другом...

Южный фасад. Рельефы:

Царь Ниневии, как бы произносящий приговор. Жители Ниневии, испуганно прикрывающие лицо рукой, как бы голосящие, согласные с любимым приговором.

Сцены из жития Ионы... Корабельщики выбрасывают Иону в море, в пасть зверю морскому. Иона, спасшийся из чрева, под тыквенным кустом.

Христос на троне, похожий на царя Ниневии.

Снова — крошечная церковь на косе...

Стены города-крепости Ани.

Заброшенные ямы раскопок как разрытые могилы. Здесь когда-то кипела жизнь, та самая, что запечатлена на виноградном поясе.

Стены Ани издали. Мы все еще не теряем их из виду, когда между нашим взглядом и Ани возникают высокие столбы изгороди из колючей проволоки, вспаханная полоса, вышка, часовой... Граница...

Масис (так похож на Арарат...) повернулся нашей стороной.

С двух сторон границы, как в зеркале, два одинаковых села. Их объединяет пейзаж и разъединяет проволока. Два крестьянина с двух сторон, с двух одинаковых холмов, спус-

каются друг к другу. Окрик часового — они останавливаются и возвращаются.

Крестьяне одного села затягивают песню. Медленная и печальная, она течет через границу.

Ее подхватывают на другой стороне.

Вот это двуголосие:

— Дядя Масис умер. У жены Саркиса родилась двойня...

— Вай-вай, как же теперь матушка Нанарик?.. Хватит ли у Нунош молока?.. Племянник Айрапета учиться в город уехал...

— Буйволица Карена заболела, не ест ничего...

А вот и тот, кто все это видит... Это человек довольно романтического вида, в плаще и широкополой шляпе, с посохом. Из-под опущенных полей шляпы не видно лица — лишь бурная смоляная борода. Он неотрывно смотрит через границу в сторону Ани.

Снова звучит «Золото Рейна» — словно из него...

— Fuimes Troes, fuit Plium et engens¹, — бормочет он.

1977

¹ Была Троя, были и мы троянцами (лат.).

ПТИЦЫ, ИЛИ НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

В. Р. ДОЛЬНИКУ

Мне бы не хотелось находить в этом стиль...

То есть мне бы не хотелось, чтобы эффект, которого я намерен достигнуть, объяснившись с вами по, казалось бы, совершенно случайному и не волновавшему вас вопросу, с тем чтобы вы взволновались тоже, даже не взволновались... а, так сказать, «взмыслились», что ли,— мне бы не хотелось, чтобы эффект этот принадлежал стилистике, а не тому, что я хотел бы вам сейчас сказать.

Более того, внезапное, несмотря ни на какие мои намерения, безвольное обнаружение получающегося с т и л я, его неизбежность повергают меня именно в то самое ожидаемое удручение и уныние, которых, быть может, я наиболее и пытаюсь избежать, прикрываясь задачей. Ибо наличие стиля в том, что я изложу, будет каким-то образом противоречить тому, что я собираюсь сказать.

Мы живем на дне воздушного океана. Среди домов и деревьев, как меж ракушек и водорослей. И вот ползет такой краб, скребя своим днищем по асфальту, с панцирно-неподвижной шеей, задерет лишь ненароком голову, переползая обстоятельство на пути,— там полощется небо, в нем повисла, еле шевеля плавниками, птица. Птицы — рыбы нашего океана.

Мы живем на границе двух сред. Это принципиально. Мы не то и не другое. Только птицы и рыбы знают, что такое одна среда. Они об этом, конечно, не знают, а — принадлежат. Вряд ли и человек стал бы задумываться, если бы летал или плавал. Чтобы задуматься, необходимо противоречие, которого нет в однородной среде,— напряжение границы.

На этой границе — постоянный конфликт и инцидент. Мы — напряжены, мы расслабляемся лишь во сне — в какой-нибудь отрысканной безопасности, как под камнем. Сон — наше плавание, единственный наш полет. Взгляните, как тяжело идет человек по земле...

Как будто ему больно. То ли асфальт под ногою слишком тверд, то ли обувь тесна, то ли рабочий день долог, то ли сетки оттянули руки. Вот его поступь.

«Взгляните на птиц небесных...

...они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»

«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего;

У вас же и волосы на голове все сочтены;

Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц».

Легко сказать, не бойтесь...

Боюсь, что этот текст в каком-то смысле обобщает все, что мы знаем о птицах.

Птицы странным образом отсутствуют в нашей жизни, хотя с несомненностью наблюдаются невооруженным взглядом. Будто летают на краю нашего сознания как нарисованные как раз на внутренней стороне того колпака, которым мы накрыли обитаемый мир. Кажущиеся теперь столь наивными представления о небесном своде — по сути точная внутренняя граница нашего знания, которую объявили внешней. Этот непрозрачный колпак, который мы несем с собою, чуть колышется при каждом шаге. Птица летает всегда на краю его, и приблизиться мы к ней не можем — там кризиса, загиб, соскольз...

Так что птица — есть, и ее — нету. Мы смотрим по природе все-таки под ноги, задирать голову — роскошь. От Аристофана до Хичкока — нету птиц, а есть вызванные ими представления. Птицу можно рассмотреть лишь дохлую, еще ее можно подстрелить и съесть. Но контакта нет. Это так же, как и с небесным сводом: мы уже знаем, что он там не кончается, но земля для повседневной жизни остается плоской, а обозримость накрыта сферой опыта, как крышкой.

Я берусь утверждать, что с птицей мы сталкиваемся (в буквальном смысле — столкновения...) в наименьшей степени из всех живых существ. Трудно представить себе, что вы к ней прикоснулись, погладили или что она вас клюнула. Она себе летает. Непосредственного опыта общения у нас гораздо больше с более далекими отрядами уменьшенных перспективой эволюции существ: скажем, с мухами. Самолет

по-прежнему не напоминает птицу, однако вертолет отвратительно похож на стрекозу. Хичкок провел детство в чучельной лавке — стал основоположником фильма ужаса и величайшим его представителем, а шедевр его — фильм «Птицы», стартовым допущением которого явилось, что птица клюнула человека, не защищаясь, а нападая. В искусстве птица — животное по природе сюрреалистическое.

Я приехал сюда — на Косу, на биостанцию, — в седьмой раз, а может, уже и не в седьмой — для круглого счета цифра семь... К этому не привыкнуть — каждый раз я удивляюсь тому, что снова здесь вижу. Казалось бы, затем я и еду каждый раз, что навсегда помню, какое это единственное место на этой Земле и как оно воскрешающе благотворно, насколько оно ничем не грозит и ни к чему не обязывает: настолько оно существует без тебя, что и не исторгает тебя, то есть такое место, в котором, по замечательному выражению, «душа смешивается с телом в любых отношениях». Казалось бы, затем я и еду — и каждый раз — не помню зачем. Вдруг — оказываюсь. Место это напоминает родину, которой никогда не видел...

По небу плыли пушечные облачка.

Кто стрелял? Дымок забыл о выстреле. Артиллерист — о пушке. Облачка были как набор младенческих щечек, соскользнувших порезвиться с колен мадонн. Деревья, однако, пребывали в некоторой растерянности насчет ветра, относительно которого росли... Иные из них особенно покорялись ему и росли от моря под углом 45 градусов. Этот угол обозначал тогда постоянство ветров наглядно, как в учебнике.

(Вообще учебник упомянут кстати. Ибо после курса «неживой природы» начальной школы никогда мне было уже не видать тех идеальных оврагов, холмов и степей, как на тех картинках... а испытывать постоянно ту муку взросления, когда все оказывается не вполне так, как рисовалось: не так чисто, не так точно, не так выражающе само слово, которым обозначено, — не овраг, а род оврага, не лес, а род леса, не рыба, не мясо, не слово «овраг», не слово «роща»... Здесь же все пребывало именно в этом состоянии: море, дюны, облака, кустарник, песок, ветер. Два странных условия оказались у этой безусловности, об этом чуть позднее...)

Но ветер, разбившись о дюны, дул уже во все стороны, и тогда деревья, имевшие в своей породе навык и память линии наименьшего сопротивления, терялись и не знали,

куда расти, и начинали расти во все стороны. Они препятствовали тогда ветру более, чем подчинялись, тем меняя свою задачу. Они образовывали некий живой бурелом, росли, как надолбы, крест-накрест — иксы и игреки во всех направлениях — уравнение не было разрешено.

Автобус остановился, и я вышел.

Первым делом мне следовало повидаться с доктором Д.

Мне было разрешено посидеть в углу.

Передо мною сидело шесть пар студентов, неумные затылки.

Он прошелся по аудитории, заложив руки за спину, мимо доски и мимо доски. По своей манере ходить был он несколько более высок и худ, чем на самом деле. Он чуть выше задирает ноги, чуть поклевывая вперед головою при каждом шаге и взглядывая так, словно глаз его был положен сбоку, как у птицы, оттого в его облике господствовал профиль. Повертывался он так быстро, что снова оказывался в профиль. Словно бегал вдоль прутьев решетки. Наконец он приостановил свой бег против доски и прочертил прямую линию. Звук мела как бы отставал...

— Возьмем...— сказал он. И с этим отстающим «чок», который я, минуя свободные бесклассные годы, тут же вспомнил всей кожей —...возьмем... замкнутое,— чок, чок, чок — нарисовал он квадрат,—...пространство.

И так же боком глянул на нас, словно победил.

Ни проблеска сознания не отметил он во взгляде аудитории. Он втянул живость своего взгляда в себя, как голову в плечи.

— То есть,— продолжил он суше,— ограниченный со всех сторон объем. Герметичный. Без доступа. В нем ничего нет.

Квадрат на доске стал еще чуть пустее, чем был. Одиночеством веяло из этого квадрата.

— И поместим в него птицу.

По суровости, с какою он нарисовал квадрат, казалось, он был способен лишь к прямым линиям и вдруг с живостью и легкостью, одним росчерком нарисовал в углу прямоугольника птичку, естественно, в профиль. Студентка на передней парте хихикнула.

Это было первое допущение. На допущении, как известно, зиждется теория. И это было первое упущение — как, бедная, могла туда попасть?..

— Что в первую очередь нужно, чтобы она могла дальше

существовать? — Он подождал, пробуждая мысль в аудитории, и сам ответил: — Воздух.

Сказав так, он протер пальцем окошечко в верхней стороне квадрата. Все вздохнули — словно туда со свистом вошел воздух. Птичка была спасена.

— Что дальше?..

И он пририсовал чашечку с водой.

Так он снабжал птичку всем необходимым, и ряд этот устрашающе рос и усложнялся. Как молодой Творец, предвосхищал он ее потребности, и они не кончались. Доска покрывалась уже несколько более сложными формулами, чем O_2 и H_2O , с которых все началось, однако все еще недостаточно сложными, чтобы выглядеть наукой в современном представлении. Однако птичке было уже тесно в предоставленном ей объеме: она обросла утварью и семьею, — и все же это было единственное место, где еще можно было хоть на жердочке посидеть, потому что весь объем, предоставленный лектором ей для жизни (такой сначала пустой и маленький на огромной и пустой доске), был теперь окружен, стиснут, сжат со всех сторон формулами ее бытия; там, во внешнем пространстве, развивалось отрицательное давление недостаточного знания жизни... и где-то уже далеко позади осталось радостное библейское начало: воздух, вода, пища. Наука начинается с того, что действительно сложно и невозможно постичь, — с начала — оставляет его где-то на дне начальной школы в виде аксиом и лемм и заканчивает всего лишь тем, чему может научиться любой доктор наук.

Однако уже давно никто и не начинает с начала. Чтобы успеть выбиться в большие узкие специалисты, надо, не задумываясь, начинать с как можно более далекого продолжения. Меня растрогала эта лекционная попытка осмыслить — лектор словно и сам удивлялся, и что-то для себя находил в этой редкой возможности. Специалисты склонны всех подозревать в заинтересованности своим предметом (прием «увлеченности», давно отработанный в романах о науке) — это трогательная и жалкая нагота комплекса. И пока его не слушают студенты, а студентки механически пишут, а я размышляю о лестном для него сходстве с предметом изучения (в том банальном смысле, как хозяева похожи на своих собак), пока мы отвлекаемся и не слушаем его, он незаметно переходит границу общедоступного, общеизвестного, очевидного, завесу которого он было приоткрыл, и вступает в область специальных знаний, в частную раковину специа-

листа, в экологическую нишу самой экологии — и мы не слушаем его уже не потому, что отвлеклись, а потому, что уже не понимаем, опять пропустив заветное головокружение перехода от зримоочевидного к умопостигаемому. Мы его не слушаем — удобный прием перехода к новой ниточке повествования...

Я мог бы это слышать и понять еще в начальной школе... Как это странно, что человечество не понимало что-то вместе со мною, с маленьким школяром! Я эту школу окончил, окончил и вуз в два приема, я стал довольно-таки тридцатилетним человеком, прежде чем заговорили о том, что нас окружает, всегда окружало, — о природе, о том, без чего мы не живем, — о воздухе, воде и пище. Эка невидаль! Оказалось — невидаль. Невидалью оказался сам этот разговор. Теперь столь модный, что уже и как бы затверженный, словно и опасность остаться без чего дышать как бы и не опасность: напугали, а и завтра и послезавтра все еще дышим, — трагедия выродилась в свободную болтовню, способ, каким все остается на том же месте. И выходит вдруг страшная мысль, что запрет темы более перспективен, что ли, чем ее истрепывание после снятия запрета. Сначала время было голодное — не до того, и вдруг — наелись, и живы, и еда нам — ненасущна.

Проходит время, и бессвязные вещи начинают выстраиваться в ряд... После войны в озерах и речках развелась рыба, леса стояли неистоптанные, грибные, ягодные, — мы ехали с отцом на велосипедах, и ничего встречного, ни души. Пустые песчаные дороги и птичий щебет. С какого же года на дачу стали выезжать все, все ходить за грибами и ягодами, все ловить рыбу? Конечно, постепенно, но и вдруг... Я помню это по электричкам, как они вдруг набились — переполнились — вдруг, в какой-то год; надо было десять лет с войны пережить, чтобы перестать съедать непременно вторую тарелку супа и считать такси — разворотом; вдруг, в какой-то год за город поехали все — 55-й? 56-й? Ведь всегда же можно было ездить за город, никто не запрещал — вдруг с т а л о можно. Приладить себе через плечо замечательный ящичек для подледного лова.

Это у нас, это я наблюдал, а там, на Западе, про который мы читаем, — все какие-то выверты, странности, с жиру бесятся: кто-то не ел полгода, кто-то съел автомобиль, кто-то переплыл океан без воды и без еды на надувной лодке, кто-то

полез в пещеры, кто-то в кратер, кто-то прошел на руках через всю Германию, кто-то, наконец, залез на Эверест, кто-то поплыл под парусами без руля и без ветрил.

Но это и раньше... да, немножко раньше, если бы не война... Полюсы, аэростаты, дирижабли, все выше и выше... Это еще и раньше, этот особый коктейль из авантюры, спорта и науки, но особенно почему-то — после войны. Когда стало что-то понятно, когда все что-то поняли — что-то поняли, только не поняли что. И это «что» стало ускальзывать безвозвратно. Бывает такое время, когда человечество живет как один человек, — в каком-то смысле это и есть Время. Тогда оно вместе старится, вместе радуется, вместе понимает. Потом оно не понимает, куда это делось, куда ушло. Кто-то понимает, что состояние общего уже всё, уже утрачено, уже не вернешь, кто-то чувствует это раньше других — прокатывается волна самоубийств, кто-то отчаливает на пустующей лодке догонять романтически окрашенные идеалы. Но и от этого движения остаются в общем употреблении странные вещи: ласты, маски, крупные бусы, мода на свитера и джинсы, новые виды спорта, вроде стрельбы из лука и водных лыж. Кто-то стал приручать львов, жить в волчьей, в обезьяньей стае, какие-то люди стали хронометрировать трудовые процессы каменного века, изготовив себе орудия по их образцу и удалившись от цивилизации (во всех этих упражнениях смущает маленькая рация в пластиковом мешочке и возможность помощи с неба вертолета — вот это пуповинка компрометирует любое бегство). Странные люди. Поведение их вызывало недоумение. Можно было заподозрить их в рекламе. Но в этом была и зависть: вырвался!.. Мы тут тяни и вкальвай, а он пешком вокруг света пошел — так и любой с удовольствием. И вот то и странно, что этих сумасбродов единицы. Чтобы получить право, надо удивить. А удивить этот струженный, зажатый мир трудно. В авантюрах, ставших знаменитыми, поражает лишь одно — простота, как до этого никто раньше не додумался, вызывает зависть, что это было и тебе доступно. И как-то слишком очевидно, что следом уже не пойти, что эта дырка, этот проход уже замазан и охраняется. Удивить этот мир трудно. Как писал поэт, «не легко удивить его словом, поразить выраженьем лица...». Но зато можно удивиться, какими же простыми вещами бывает он каждый раз поражен, этот мир, какими, казалось бы, очевидными и всем доступными. И вот мы живем в мире, который бывает поражен естественным поведением больше, чем формулой mc^2 . Я утверждаю, что именно этот

сдвиг есть история науки экологии, а не длинный список натуралистов всех веков.

Возьмем птицу, запаяем ее в ящик, чтобы убедиться, что без воздуха она жить не будет... Конечно, это смешно. Экология знает мало неочевидных вещей, она ничего не открывает нового — она лишь отворяет заросшие глаза цивилизованного человека. Все сделанное ею — простенькое платьице, все ее попытки прикинуться наукой на современном уровне, ее, так сказать, научный аппарат наивен и беден, но, мне-то кажется, что и он существует почти лишь для того, чтобы зазнавшиеся коллеги из физики не очень насмеялись или чтобы произвести перед людьми привычный вид науки, то есть жречески непонятный обывателю, чтобы у в а ж а л и. Она, можно сказать, и совсем не наука в современном-то смысле. Но я скорее сочту все остальное не наукой. Ибо экология честностью и свежестью своих первых движений как раз то и делает, что забыли все знаменитые науки, увлекшись собою, — она открывает новое мышление, новое отношение к миру, новый способ описать его. Причем именно этот способ есть первый и естественный для человека. Более того, она уже прививает это новое мышление людям, она сделала огромные успехи в человечестве за очень короткий срок. Мода модой, но когда об этом еще говорили так громко? Она восстанавливает в сознании место человека на земле, которое он забыл. Она воспитывает это сознание, более того, она сама и есть новое сознание. Дай бог успеть пожать плоды этого посева.

У человека, как известно, двойная природа: социальная и биологическая. Двойная или двойственная?.. Двоякая. Под лязг прогресса человек уверовал в свою социальную природу гораздо глубже, чем в биологическую. Будто мы не мерзнем, не болеем... Экономические законы правят нами как бы с большей непосредственностью, чем экологические. Это заблуждение трагично, ибо экологические законы тем временем не прекращают действовать, даже если мы придаем им второстепенное значение.

Мы живем в мире людей, родившихся один раз. Прошлому мы не свидетели, будущему — не участники. Инстинкт, память и программа вида в нас ослаблены именно как эта связь времен. Именно на этом ослаблении (предельном, до потери связи с естеством) и произрастает человеческое семя. Человек возникает как раз там, где вымирает любой другой вид. Ни теплой шерсти, ни грозных зубов, ни волчьей морали — брюки, пуля, религия...

Что за новость: человек — биологическое существо? Что за новость — человек живет на земле? Всегда было известно — никогда не знали. Это не новость — это революция сознания, да не подавит ее научно-техническая!

Как странно! думал я, с трудом постигая опыт, с легкостью усваивая вывод. Траектория научной мысли напоминала мне хаотический полет моли. В конце ее неуклюже торчал сам собою напрашивавшийся с самого начала вывод. Как смешно! думал я, будто человек, с недоумением рассматривая собственные ладони, обнаруживает у птицы крылья, а раскрыв от этого удивления рот — находит у птицы клюв. У птиц ли он «открывал» крылья и клюв — или у себя — руки и рот?..

Человек! думал я, ты не способен постигнуть другое биологическое существование — каждый раз, в крошечном этом усилии, постигаешь лишь свое... Но постиг бы он и свое, не сляясь постичь другое? Способность человека знать иную природу кажется мне катастрофически малой, но нет ничего благороднее и необходимее для человеческого сознания, чем это буксующее усилие.

Конечно, не все так просто. И у них есть многое от серьезной науки. Лаборатории, колбочки, пробирки, самописцы, холодильники — весь тот лапутянский антураж, на фоне которого позирует ученый в белом халате, жонглируя предметами культа. Но мы не знаем, что он там с чем сливает на фотографии — и не смеется ли над нами. Жрец науки освещен люминесцентно, с глубоким видом вглядываясь в то, о чем он якобы имеет, а мы не имеем представления. На то мы и просвещенное общество, что чтим непонятное. Я не иронизирую — это и впрямь признак просвещенности. Но вот природу мы не чтим, а науку чтим.

Наконец появляется антинаука, которая чтит природу.

И действительно, зачем он сделал такой понимающий вид на этой фотографии на всеобщей обложке? Вид настоящего ученого должен быть (по моим наивным представлениям) испуганным, потрясенным, растерянным. Ибо он знает в своей области все, что было известно до сих пор, до сего дня, до сей секунды — а дальше ничего не знает. И никто не знает, потому что он — на том самом переднем крае науки, где обрыв знания. Как раз самый первый специалист, если он действительно что-то ищет дальше, ничего не знает. Всем остальным еще учиться и учиться до него, прежде чем они

будут знать столько, сколько он, — они знают кое-что, а он — все. Он один имеет представление о том, насколько мы ничего не знаем. Что же он застыл на фотографии с таким видом, будто имеет представление, что там, дальше, в следующий момент? Самодовольный, ярко освещенный среди сверкающих посуды и подмигивающих сумасшедших стрелок — ведь он впотьмах, у него должно быть вдохновенное лицо слепца, брейгелевского слепца, сыплющегося в яму... Каждую секунду он опускает руки в черный ящик — в какой бархатной абсолютной темноте они пребывают! Неизвестно даже, руки ли он оттуда вынет, из своего вытяжного шкафа. А он их погружает туда и вынимает оттуда, где он не знает что. Острее бритвы тот край между его мозгом и тем, чем заняты его руки, которые так уж смело копошатся там, в потемках люциферичного света.

Из какой уверенности он так уверен?

Есть отличие между знанием и образованием, между талантом и призванием в пользу образования и призвания. В последних больше благородства. Без этого благородства общедаренный человек, так называемый «способный», хлынет прежде всего по линии наибольшего успеха в область, выдвинутую временем, проявит предприимчивость и окажется на гребне, рано развратившись тренировкой социального чутья. Поэтому возникает некая диспропорция, социальная беда — отмена призвания: беда с учителями, врачами, где как раз вдруг остро начинает не хватать людей образованных и призванных. Другая сторона той же беды не от бедности, а от жиру: области, куда хлынул «способный» человек, тоже становятся (по проценту) бедны людьми бескорыстными и призванными, — беда искусств, передовых наук и многого другого.

Здесь жили люди, в разной степени одаренные, энергичные или ленивые, но все они были образованные и призванные заниматься именно этим своим делом. В том самом, желанном, вышеупомянутом смысле.

У этой повести есть и своя героиня, и намек на любовную линию — Клара. Нет, это не была рядовая командировочная интрижка — это была нежность, род чистой влюбленности, — и ровный ее свет скрашивал мне корреспондентское одиночество. Клара была молода, умна и красива. Она любила

блестящие вещи, табак и умела считать до пяти. Она любила другого. Валерьян Иннокентьевич был изящный молодой человек. Она ласкалась к нему, как кошка (сравнение очень некстати: кошек на биостанции не подпускали на выстрел — орнитологическая специфика...). Я думаю, что неразвращенному читателю уже ясно, что Клара... (Ах, Клара! Скобки в прозе — письменный род шепота.)

Помнится, классе в шестом, в грамматике имени академика Щербы, было такое упражнение на что-то про девочку и ее любимого попугая, как она просыпается утром и как он ее приветствует. Это было упражнение на что-то, скажем, на местоимения «он» и «она», но для нас уже все упражнения были об одном — квадратный трехчлен. Мы, помнится, все прикрывали слово «попугай» и необычайно радовались получающемуся тексту.

Через много лет мне представляется случай написать сочинение на эту тему. Это был, безусловно, род ревности, когда я робел прикоснуться к ней, а она дергала Валерьяна Иннокентьевича за рукав, чтобы он снова и снова гладил ее. Нет, тайна женского расположения и есть тайна: серьезность наших намерений — самый слабый козырь. Валерьян Иннокентьевич был пластичен и снисходителен. Он был моложе нас по поколению и разглядывал нас острым и умным взором, пользуясь своим преимуществом во времени происхождения, словно мы ему не предшествовали, а последовали.

Но — довольно и о сопернике. Я носил Кларе лакомые кусочки, давал ей расклеивать сигареты — втирался к ней в доверие, каждый день подвигаясь на шаг ближе, курлыкал. «Ласковое слово и кошка любит...» (Опять кошка... Да что это слово так и крадется за моей Кларой!) Мое постоянство было оценено — она уже отмечала мой приход взглядом. Нет, ее сердце по-прежнему принадлежало другому, но ей, как женщине, льстила моя преданность, она снисходила. Возможно, она бы уже рассердилась и заволновалась, если бы меня однажды не оказалось в обеденное время: этот коварный прием для перелома отношений был у меня в запасе.

Но довольно и о себе. Любовь есть познание. Три вещи я познал с помощью Клары. Если бы не они, то не стоило бы и рассказывать здесь о наших с ней отношениях.

Клара была ручная, то есть не боялась человека настолько, что подпускала на расстояние вытянутой руки. Но она была не только ручная, но и ворона, то есть существо дикое и осторожное, другое, не человек. Поэтому она была щепе-

тильна в отношениях, и на расстоянии вытянутой руки пролегалла качественная граница (успеть отпрыгнуть, взлететь...), которую нарушить мог лишь посвященный. Одинажды...

...она сидела на ступеньке стремянки, прислоненной к стене нашей кухни. Это была ступенька, удобная для общения: Кларин взгляд был на уровне человеческого. Она распотрошила мою сигарету, я протянул руку... Она покосилась, вздрогнула, взглянула на меня оценивающе и решила не взлетать, не дергаться — лишь слегка переступила по перекладине. Моя рука опустилась на деревяшку.

Я испытывал истошно детское чувство — так мне хотелось ее потрогать. Я вдруг понял, что ни разу в жизни не прикасался к птице. В одну секунду во мне пролетела толпа богоугодных соображений: о том, как человеку необходим зверь, что в детстве у меня не было своего зверя (детство вдруг предстало более жалким и нищим, чем было), я вспомнил единственного мышонка, который жил у меня неделю, а потом сбежал, когда я его почти научил ходить по спице (по этой же спице он и сбежал из своей стеклянной тюрьмы), я вспомнил свои пыльные колени, когда, вылезши из-под шкафа, я понял, что он сбежал навсегда... я решил, что на этот раз уже обязательно привезу дочке щенка... И, вознеся все эти молитвы, приговаривая елеино: «Клара — красавица, Клара — умница...» — прикоснулся к ее когтю. И она не тронулась с места.

— Клара — умница, Клара — красавица... — бормотал я, все смелее поглаживая ее когти, и она мало обращала на меня внимания, но позволяла. Я осторожно поднял руку, чтобы погладить ее более ощутимо, — она отпрянула, переступив, — мне предоставлялось лишь ручку целовать...

— А вы ее не по голове, а по клюву погладьте... — Доктор Д. стоял за моей спиной — как долго наблюдал он меня?

— По клюву, вы говорите?... — засмутился я, застигнутый. — Она же таянет!

— Как раз нет. По клюву — не таянет. Она же — хищник. Хищника надо ласкать по оружию — тогда он не боится. Вот вы правильно ведь начали — когти тоже оружие.

Мысль, если она мысль, проникает в голову мгновенно, словно всегда там была, словно для нее место пустовало. Ее не надо понимать. Сомнений она не вызывает.

— Кларра — хорошая, Кларра — славная... — гладил я ее по клюву. Это была ласка значительно более существенная, чем по когтю, — ей нравилось. Она жмурилась, терлась. Вид

вороны не располагает к симпатии. У вороны от природы сердитый вид. Творец не предусмотрел для нее способов проявлять радость, нежность, любовь. Ни улыбнуться, ни заурачить, ни повилать хвостом она не может. Тем трогательнее было это беспомощное усилие приветливости суровой девы... Сыр у нее уже почти выпал... И эта восхищенная мысль о Крылове, что он точен, как Лоренц, пролетела во мне, взмахнув Клариним крылом: Крылов — птичья фамилия... — и улетела. И впрямь, больше всего, казалось, Кларе нравилось: «Клара — красавица». Хотя почему она не красавица, я уже не понимал, смешно мне не было, вполне искренне говорил я: Клара — красавица. Не может быть, чтобы лесть не была сладка и самому льстецу — она бы ничего не стоила... Тут-то доктор и добавил:

— Вы помните, я вам про мораль животных рассказывал?.. Так вот, в первичную, животную, мораль человека, по-видимому, входил запрет причинять ущерб тем, кто ему доверяет... Собака... потом кошки, голуби, аисты, ласточки... все они в разной степени сблизилась с человеком через эту особенность человеческой морали, без специального приручения. Заметьте, что к действительно прирученным животным — курам, свиньям, козам — человек не испытывает инстинктивной любви.

— То есть только доверие вызывает любовь? — воскликнул я.

— Я так сказал?.. — усомнился доктор.

Клара, конечно, умница, но и доктор не глуп. Говорить мне такие вещи — это гладить меня по клюву. Как приятно, однако, принять в себя назад человеческое убеждение в форме научного закона! Это значит, что себе мы не верим. Нужна наука, чтобы убедить нас в том, что нам свойственно. По меньшей мере странна эта разлука человеческого и общезакономерного. Из этой трещины произрастает экология, заполняя ее.

— Хорошо, — говорю я, — мы любим тех, кто нам доверяет. Но нас в этом доверии поражает прежде всего то, что оно проявлено существом совершенно другой природы, — это нас трогает. Мы ни на минуту не забываем, что мы люди, а они — звери, сверху вниз. А они? За кого они нас считают, доверяя нам?..

— Это сложный вопрос. Я придерживаюсь той точки зрения, что, живя с нами, они нас считают другими существами, но исключают из нашего вида — своего хозяина.

— А его-то они за кого считают?

— Наверно, за вожака своего вида.

— Так что же, — возмущился я, — они не видят, что ли? Клара, что же, меня сейчас за ворону считает?.. — Я взмахнул руками, как крыльями, и Клара сердито шарахнулась. Я тут же спохватился и попробовал снова погладить по клюву — она отвернулась. Словно обиделась.

— Вас, конечно, нет. А вот Валерьяна Иннокентьевича она, вполне возможно, и считает вороной.

— Мужчиной-вороной?

— Это безусловно, — сказал доктор, — именно самцом.

— Ну уж извините... — усмехнулся я. — Не может же природа быть настолько слепа! Какой же он муж... то есть, простите, воропа?

— А вот представьте себе... — говорил доктор...

Мы удалялись, пререкаясь, в дюны.

(Клара погибла, но не от кошки. Ее заклевали вороны. Но не вороны, а вóроны. За разицу в ударении.)

...Мысль, если она мысль, проникает в голову мгновенно, словно всегда там была... Это тоже мысль. «Все мысль да мысль! Художник бедный слова...»

Мысли в экологии удовлетворяют прежде всего по этому признаку: они — очевидны. Это, к сожалению, не значит, что они вам сами в голову пришли. Хотя вам вполне может так показаться. Не знаю уж почему, мне такое качество мысли кажется наиболее привлекательным ее достоинством. Мыслить — естественно, не обязательно каждый раз кричать «эврика!» Пафос и пышность мысли-высочки, стремящейся в одиночестве возвыситься над поверхностью реальности, свидетельствуют прежде всего о том, как редко она заходит в голову ее торжествующему обладателю (здесь обязательная застолбленность, поименованность каждого соображения). Парадоксальность, эффектность, изощренность начинают выступать едва ли не как самостоятельные признаки — желание мысли быть узнанной и признанной оттесняет назначение, блеск вторичных признаков ослепляет смысл. Это общая тенденция: скажем, и стихи стали писать столь технично, что поэзия жаждет вдохновенного дилетанта, а возможность произнести что-нибудь новенькое исключает квалификацию, она сродни невежеству. В общем, сказать новое можно, лишь снова и снова начиная сначала: научиться этому нельзя, необходимо р а з у ч и т ь с я. Это кто же там маячит на горизонте, все не приближаясь?.. Такой восторженный, развевающийся, с сверканием глаз и бьющимся

сердцем, который все забыл из того, что все мы наизусть с пеленок знаем?.. Л ю б и т е л ь. Любитель машет нам белым флагом неведения: идите сюда, з д е с ь! На флаге, случайной тряпице, узелками привязанной к ветке, начертано: л ю б л ю ж и в о е. В нашем мире, таком не стоящем на месте, буксующем в своем постоянном развитии — п р о г р е с с и р у ю щ е м, — если что-то и в силах обернуть свое, усложненное до утраты, значение, так это любительство: от Ламарка до Лоренца расстояние ничем не покрыто, между ними два века вытоптано головокружительным развитием науки. Абсолютным гением оказался лишь монах, сеявший горох на двух грядках... любитель-огородник Мендель.

Есть счастливая закономерность в том, что истина удаляется по мере приближения к ней, и если вы так уж рветесь, вам придется довольствоваться всякой дрянью, подобранной по дороге. Истина, как и Муза, женщина — она уступает сама и каждый раз не тому. Трудно анализировать ее выбор. Вряд ли чего добьешься от нее по расчету — необходимо чувство. Насилие исключает познание. Как стремительно познается ненасущное! — насущное и сейчас почти так же далеко и так же рядом, как когда-то. Черт знает что за штуки летают в небе, а про птиц мы с трудом догадываемся, что они есть. Скрежещут сообразительные машины, казалось бы, освобождая нам разум, и параллельно какой-нибудь сверхбомбе мы начинаем с точностью устанавливать для себя вещи, без доказательства допускаяшиеся первобытным мозгом: что все живое чувствует хотя бы.

Наука XX века сильно распугала истины — они разлетелись, как птицы, которых на Косе так неуклюже ловят. Никогда человек не был так презрителен к обезьяне, чем когда поверил в свое от нее происхождение. Недопустимое высокомерие. Современная экология кажется мне даже не наукой, а реакцией на науку. Реакцией естественной, нормальной (еще и в этом смысле она — наука естественная). Почерк этой науки будит в нас представление о стиле в том же значении, как в искусстве. Изучая жизнь, она сама жива; исследуя поведение, она обретает поведение. У этой науки есть поведение, неизбежный этический аспект. Ее ограниченность есть этическая ограниченность: не все можно. Не все стоит думать, не все — понять. Любительство дает урок, бросая естественный, как бы и необразованный — п р о с в е щ е н н ы й — взгляд на живое лишь при непосредственном контакте с ним. И тогда оно легко находит слова для своих понятий. Скажем, ниша...

Н и ш а экологическая — особый у каждого вида способ добывания пищи, в котором он более эффективен, чем другие виды — так сказать, профессия вида.

«Хлеб наш насущный...»

Каждый ест свою траву. Открытием прозвучало это для нас, видевших неоднократно в кино, как антилопы и зебры и еще какие-нибудь козочки с немыслимыми рожками щиплют в однородноплоской саванне (на одном экране) бок о бок общую траву. Мы этого не подозревали, дикари — знали, не выделяя, впрочем, очевидного в жреческую область специальных знаний.

Оказывается, надо обладать мощным пространственным воображением, чтобы поделить общее для глаза пространство, заметить, при кажущемся отсутствии границ, что все поделено и перегорожено, потому что в этом пространстве ж и в у т.

А р е а л — территория распространения вида.

Или — пирамида...

П и р а м и д а (жизни) — «В любой экологической системе численность, биомасса и продукция составляющих ее видов образуют пирамиду, основанием которой являются продуценты, то есть зеленые растения, создающие органическое вещество. Виды, питающиеся продукцией зеленых растений, — консументы первого порядка; виды, питающиеся растительной пищей, — консументы второго порядка; виды, питающиеся консументами второго порядка; консументы третьего порядка и т. д. Обычно продукция каждого следующего уровня составляет лишь несколько процентов от предыдущего...»

Прервем цитату. Достаточно стройно, совсем похоже, сразу понятно. Не увидеть такое сооружение можно, разве что взобравшись на самую вершину его...

Экология не ходит далеко за категориями. Вот какие слова являются для нее терминами, вот какие понятия она осмысляет: пища, территория, возраст, энергия, численность, рождаемость, смертность... Позвольте, да что же тут от науки, что же тут нового, в чем открытие? Это мы и так знаем, это же просто жизнь. Вот именно. Наше сознание устроено кичливо: существующим оно считает лишь то, что ему уже известно. Однако и то, что уже известно, и то, что еще неизвестно, и то, что никогда не будет известно, — есть единая, неразъятая реальность, в которой, по сути, нет чего-либо более, а чего-либо менее главного. Меня иногда охватывает небольшой смех при представлении о том, какой бесфор-

менный, криво и косо обгрызенный познанием кусок содержимым мы в своей голове как представление о реальности. Этот кусок кажется нам, однако, вполне гладким и круглым — вмещающим в себя. Предположение реальности, поглощающей крупицу наших сведений, — и есть научный подвиг. Духовный смысл научного открытия не в расширении сферы познания, а в преодолении ее ограниченности.

Вот в таком смысле экология — самая настоящая наука, думающая о вещах очевидных, в которые упирается непосредственно, взглядом или лбом, как в препятствие, и у нее нет ни сил, ни намерений преодолеть такое препятствие разрушением. Посмотреть под ноги, а затем в небо — вот первый научный метод. В задумчивости поковырять пол и поискать решения на потолке, где, как известно, ничего не написано. Это — доступно.

С большой симпатией разглядываю я в умозрительной перспективе некоего немолодого уже австрийца, бредущего по тропинке австрийской же, паверно, красивой и аккуратной деревеньки... Он задрал голову и смотрит в австрийское, почти такого же, как и у нас цвета, небо. Он видит там орущую птицу, скажем, галку. Чем он, по сути, занят? Считает ворон. Смешное это и давно разоблаченное у нас занятие поглощает его на долгие десятилетия. Чего она орет, куда она летит? Мы отводим поскуцневший взор. А этот дядя — знает. И чего она орет и куда она летит. Он много лет думал об этом. И вот в чем его подвиг, — он знает это не как дикий охотник, а как цивилизованный человек. То есть он п о з н а л это.

Этот великий человек (мне хочется сказать «человек» прежде, чем «ученый», каковым он тоже является) восхищает меня (по моим, впрочем, весьма поверхностным о нем представлениям) тем, как чисто воплощено в нем п о з н а н и е. Конрад Лоренц, крупнейший представитель науки этологии как ветви экологии (экология и этология связаны между собою теснее, чем человеческие науки того же толка — экономика и этика...), недавний нобелевский лауреат поможет сейчас мне примером, которыми так бедны мои рассуждения...

В 1935 году он публикует небольшую статью о морали животных, поразительную по простоте и убедительности. Она опрокидывает с детства укоренившиеся в нас представления о «зверствах» зверей, представления, настолько бесспорные и очевидные, что как бы даже и банальные, вроде что море синее, а небо голубое, а польнь горькая, а волк серый. Если

бы он доказал, что волк синий, едва ли бы это больше противоречило нашим представлениям. Не знаю, из каких книг или сказок, чтобы волки или львы перегрызли друг друга, но вдруг оказывается, что все эти «образы» зверей — в корне неверны, ничему не соответствуют и даже пошловаты. Лоренц строит свою статью с античной простотою, как Эзоп: «однажды Ворон, Волк и Лев...» И впрямь и по размеру и по выпуклости — это басня, только вот содержит в себе не аллегория, а истину.

Лев, Волк, Ворон — вот три сильно вооруженных животных, то есть способных одним ударом поразить животное крупнее себя — отточенным безукоризненным боевым приемом: Лев ударом лапы ломает шейный позвонок быку, Волк клыком с разбегу в долю секунды вспарывает сонную артерию или брюшину, Ворон одним ударом клюва поражает животное размером с кошку. Лоренц доказывает, что никогда, ни в коем случае эти звери не применяют смертоносное свое оружие в отношении представителей своего вида — на такое действие у них наложен сильнейший моральный запрет. Как бы ни был азартен, страстен, оскорблен зверь, воюя за первое место со своим ближним, все ограничится обидными и болезненными ударами по губам, страшно демонстрируемыми намерениями — но не этим ударом. Поединок строго спортивен, причем правила соблюдают сами участники без вмешательства рефери. Никаких вам «ниже пояса» быть не может. Какая-нибудь из сторон достигает «убедительного преимущества», и другая сторона сама признает себя побежденной, вставая в позу покорности, то есть подставляя для коронного смертельного удара самое уязвимое место, выставляя ахиллесову пяту. Бедный зверь! как страшно ему должно быть и как унизительно, зажмурив глаза, ждать смерти... Но — бедный победитель! — этого никогда не будет. Победитель будет кататься по траве, обиженно воя, остужая свой раскаленный добела пыл, пряча свое оружие... О, если бы побежденный трусливо бежал!.. Можно было бы истолковать это нарушением и погнать его со своей территории, обидно докусывая на бегу. Но нет, этот сопляк, этот щенок, этот малахольный негодяй все стоит зажмурившись, отогнув шею, подставив соблазнительно пульсирующую сонную артерию своему врагу. И с этой покорной секунды моральный запрет включен на полную мощность: каждый получает свою кару: побежденный — за слабость, победитель — за благородство. Отметим, что оба профессиональные убийцы, для которых смерть и кровь — как для нас труд и пот.

...Именно об этом и поведал мне доктор.

Беседа завела нас от моря в чащу. Ноги вязли в песке.

— Ну и чем все это кончается? — спросил я, и впрямь пораженный таким поворотом.

— А ничем, — сказал мой доктор. — Покатается, повалится, порычит и успокоится. Тогда побежденный тихо, не оглядываясь, уйдет с территории.

— С территории?

— Ну да. Я же вам говорил, что хищники имеют свои участки охоты со строгими границами...

— А...

Действительно, а... В этой крошечной статье Лоренца была еще и вторая за той половина. Поднявшись на вершину звериного благородства, он приоткрыл и бездну, симметричную ей. Нежнейшие из голубков, символ поцелуйной любви с пальмовой веточкой в клювике, никому не способные причинить зла, ничем не вооруженные, кроме клювика, которым они вряд ли и жука-то расклюют, да коготками, которыми и земли не роют... так вот, если их не разнять, то они-то и заклюют друг друга до смерти. И победитель никак уж не останется над поверженным издыхающим врагом, а таки дотюкает его нежным своим клювиком, и после смерти врага не останется в своей воинственности, а общиплет его наголо и истерзает в крошево. Он слабо вооружен — у него слабая мораль. В отношениях с особями своего вида у него нет моральной преграды.

— Головокружительная идея! — воскликнул я, подхватив то, что мне было в ней нужно. — Всю жизнь не терпел голубей...

— У вас нет никакого морального права их осуждать, — мрачно сказал доктор. — Они не подлежат нашей нравственной оценке.

Мы прошли лес, скрывавший от взгляда дюны. Они открылись, неожиданно высокие, вдаль терявшие желтизну, приобретая зеленовато-серый, живой оттенок. Плавные их очертания были тоже живыми. Они там паслись как стадо, заслоня друг друга горбатыми круглыми спинами, притершись боками, высовываясь. Они покачивались перед глазами при каждом шаге, как ушедший вперед караван слонов. Этот живой их цвет очень напоминал слоновью шкуру.

Мы шли мельчающим до границы с песком подлеском и вспугивали зайцев. Они срывались со своих лежек в последний момент и вспархивали прямо из-под моих ног. С детства я питал к ним особое пристрастие и играл исключительно

в зайцев. Я не охотник и городской человек — зайцы у меня еще под ногами не шныряли ни разу, я с умилением разглядывал свое ожившее детство. Снявшись, они мчались от нас почему-то не в лес, а по открытому пространству в дюны, и я имел счастливую возможность провожать их взглядом. Такой медленный бег бывает только у самых быстрых существ — все кажется, он медлит в своем побеге и словно оглядывается на бегу. На самом деле он летит, а не бежит, в этом полете мало суеты, не хватает мельтешения лап — оттого съемка эта кажется замедленной. Неторопливые зайцы, однако, быстро исчезали с глаз, это нам предстояло проверить, тяжело карабкаясь на ту же дюну. Заяц летел по дюне вверх — серо-желтый на желто-сером и, достигнув края, пропал в небе.

— Ну а зайцы? — спросил я.

— Зайцы слабо вооружены. В драке между собой они могут нанести друг другу весьма тяжкие увечья. Вам не приходилось видеть?

Очередной заяц взлетел из-под ног в синее небо. Подлесок истаял, мы ступили на голый песок. Под ногами он не напоминал слоновью шкуру, а был ярко-желт.

— А вы видели?

— Видел.

Я расстался с зайчиками детства, обнимал их, ватненьких, и плакал. Это было лишнее разочарование. Надо же, какие звери именно зайцы! а не волки...

— А драку волков видели? — вредно спросил я.

— Не видел. И драку львов не видел. — Доктор был чуткий человек. — Я сам видел такую драку у воронов. Победенный подставил темя — так победитель хватал себя когтями за клюв, словно желая его снять, чтобы не тюкнуть.

— Смешно, — сказал я, очень живо себе это представив. — Так и хватает себя за нос... Ха-ха.

— За нос — это смешно, — сказал доктор, — а за клюв — это серьезно.

— Вложить шпагу в ножны?

— Скорее уж так.

— «Ворон ворону глаз не выклюет» — об этом?

— Ну да... — уклончиво сказал доктор. — Может быть. Я этим не интересовался. Хотя, как всякая басня, это про людей, конечно...

— Ну а люди? — спросил я со жгучим любопытством.

— Что люди? — спросил доктор, как бы недопоняв.

— Люди сильно вооружены?

— А как вы думаете?

— Куда уж сильнее...

Доктор только хмыкнул.

— Вы так не думаете?..

— Видите ли, я с т а р а ю с ь так не думать, — неохотно сказал честный доктор.

— Это стоит усилий?

— Это с т о и т их. Мы с вами только что разобрали классический образец. Лоренц совершил свое открытие, преодолев тяготение антропоморфизма. — Взглянув на меня со слабой надеждой и обнаружив, что я ничего не понял, доктор продолжил: — Антропоморфизм — ошибка, в которую мы чаще всего впадаем, изучая животный мир. То есть мы наделяем животных своими свойствами и толкуем их поведение, исходя из своего опыта. Поэтому, скажем, мы так долго не имели представления о той же волчьей морали хотя бы, рассуждая о ней скорее по-человечески, чем по-волчьи.

— То есть вы хотите сказать... — подхватил я.

— Я сказал то, что сказал, — рассердился доктор. — Прощу меня не истолковывать. Я сказал это к тому, что постоянно существует тенденция, как бы обратная антропоморфизму по знаку. Она характерна уже не для людей вообще, а для нас, специалистов, которые что-то начинают в своей области знать, — это, как бы сказать, зоо- или биоморфизм. Мы начинаем переносить свои знания и опыт из области специальной в область общечеловеческую. А вы видели только что, к каким заблуждениям люди приходят, греша невинным антропоморфизмом. Этот, однако, невинный грех баснописца нанес неисчислимый вред животному миру. Трудно его исчислить, но неправильно и недооценить...

— Я замечаю, вы как-то особенно против басен...

— Я где-то читал и совершенно согласен: холопский, рабский жанр. И потом, мне совершенно не смешно, и неумно, зачем противопоставлять муравья стрекозе? То есть мне смешно, но совсем не так, как хотел бы автор. Чем неграмотнее в биологическом смысле басня, тем у нее, я заметил, и более низкая, плебейская мораль.

— Ну уж! — сказал я. — Лихо...

— Не более лихо, чем вы о зверях... Я, может, и перегнул. Это опять же совсем не мое дело. Или, так сказать, мое сугубо частное дело, что одно и то же: для ученого специальность должна быть резко отграничена. И все-таки чем свободнее, абстрактней замысел, тем свободней он и от конкретных, специальных ошибок. Например: «Однажды лебедь, рак да

щука затеяли сыграть квартет»... Эта байка никак не противоречит...

— Квартет затеяли другие, а эти тянули воз... Вы сместили две басни в одну — тоже, позвольте заметить, не дозволенный в критике прием.

— Я не критик. Не знаю, чем различаются морали этих басен, — для меня в обеих один и тот же смысл: принципиальное различие биологических видов не позволяет нам переносить свойства одного на свойства другого, звери — не другое человечество, а отдельные, столь же биологически самостоятельные, как и человек, существа. В этих баснях есть даже некий экологический оттенок, уловленный Крыловым: они не сыграют свой воз... или не свезут квартет, простите мне мой студенческий юмор. Это басни о нелепости антропоморфического переноса.

— Ну уж, — рассмеялся я, — дедушка Крылов не отнимет приоритет у Лоренца. Он никак не имел этого в виду.

— Но выразил он именно это. Другого объективного смысла в них не нахожу.

Беседа наша в очередной раз зашла в тупик. Сильно мы уклонились вбок. Мы одышливо карабкались на дюну. Мир был выкрашен в два чистых цвета: желтый и голубой — мечта сюрреалиста. Поверхность дюны была аккуратнейшим образом гофрированной, как песчаное дно в полосе прилива, — еще одно указание на то, что мы живем на дне в прямом смысле: эту рябь навевал ветер. Мы безжалостно разрушали безукоризненную эту поверхность, на которой не было следа человеческого. Поверхность была то твердой, как на отмели, и тогда мы оставляли ровненький и плоский босой след, то вдруг оседала под ногой, песок осыпался, вместо следа оставалась бесформенная коровья яма. Так шаг за шагом не ведали мы, какая нога ступит твердо, а какая провалится. Ветер сдувал с гребня песок, покалывая кожу; по склону перекачивались прозрачные трупики жучков и паучков, высушенные и выбеленные песком и солнцем. Редкая былинка торчала, склоняясь из этого сплошного желтого — вокруг нее был обведен магический кружок, — казалось, солнечные часики произрастали здесь и там, что как-то таинственно рифмовалось с песком, может, из ассоциации с часами песочными. До происхождения этих кружочков я допер сам, не успев задать лишнего вопроса доктору: под ветром былинка склонилась и остреньким концом чиркнула по песку, проведя дугу, — так, за день, склоняясь под ветром во все стороны, прочерчивает она идеальный круг, укоренившись в центре.

Трогательно это ее частное владение! Еще легкий птичий след, не разрушавший, как наш, одиночества этой поверхности, попался изредка в какой-то геометрической связи с солнечными часиками травинок, да пролетела, шатаясь над желтым, на голубом — выцветшая бабочка. Маленькие черненькие жучки покусывали, как раскаленный песок, были похожи на песок, были ожившим песком. Божьи коровки в фантастическом количестве шли через пустыню к морю, неумолимые; вниз катились их высушенные погибшие пятнышки. Сказать про тишину — ничего не сказать: в руках у нас были сандалии. Еще реже травинок из песка вдруг коротенько торчал розоватенько-голубоватенький микроцветочек — нежнел.

Фиалка в воздухе свой аромат лила,
А волк злодействовал в пасущемся народе;
Он кровожаден был, фиалочка — мила:
Всяк следует своей природе.

— Вот именно, — осыпался на меня сверху со стружкой песка голос доктора. — Здесь то же самое сказано точнее и короче.

— Это — Пушкин, — сказал я. — Он не делает ошибок. Он — гений.

— Не знал. Не вижу здесь доказательств гения. Это очевидно. Точность — не заслуга, неточность — грех.

— Так это же с юмором... — удивился я докторовой прямолинейности.

— Что ж юмор... — сказал доктор. — Он, конечно, подправляет неточность. Но сказанное с окончательной точностью в юморе не нуждается.

— А бывает такое — окончательная точность?

— У вас не знаю, а в науке — да.

— Ну да!.. — Я вложил в эту реплику столько иронии, сколько мог.

— Да вот тот же Лоренц, о котором мы сейчас беседовали, — парировал доктор. — Это что: всерьез до неточности или смешно до точности? Ни то и ни другое — просто точно.

Я согласился и нашел ход:

— Да, он точен. Ну а как же тогда быть с человеком?.. Вы же уклонились от точного ответа. Может ли быть человек точен в определении чужого существования, неточно представляя себе даже свое собственное?

Я был доволен. Вслед за доктором — еще шаг — и я стоял на вершине дюны.

Я успел настичь его вопросом на подступе — и хорошо: здесь бы я его забыл. Сказать, что отсюда открывался вид, — тоже ничего не сказать: я бросил сандалии на песок для свободного жеста руки, которого не произвел. Я смотрел то на одно море, то на другое, но можно их было видеть и одновременно: Западное море было в этот ветреный (открылось на вершине...) день сапфирового цвета с белейшими как облачка и словно бы неподвижными барашками. Оно было таким синим, что начисто, будто впитывало, лишало цвета небо над собой. Так что, когда я на него смотрел, то чувствовал себя слегка вверх ногами, будто стоял на голове и смотрел под ноги на небо. Я смотрел на Восточное море: здесь, ровно наоборот, небо выпивало цвет моря, в нем остановились легкие перистые барашки, а обесцвеченная тишайшего, лайкового штиля вода теряла свою поверхность, походя на небесное марево. Западное море было настоящее: соленое, бездонное, а за горизонтом, милях в трехстах, плавала разбогатевшая Швеция. Восточное море было почти пресным, мелким заливом, всего в тридцати километрах был литовский берег. Но не было отсюда видно ни Литвы, ни Швеции: оба моря были равны и безграничны, глубоки и солены на вид.

— Да, я вам не ответил на вашу атомную бомбу. Ведь вы ее имели в виду, считая человека столь уж чрезвычайно сильно вооруженным?

У меня все еще кружился в голове Восток и Запад, небо и море, и земли под ногами не было. Именно что ее не было и на самом деле, но это я понял еще позднее. Я кивнул.

— Видите ли, оружие массового уничтожения нельзя считать вооружением в том смысле, о котором мы говорили... Если уж проводить биологические параллели, на что вы меня так бестактно толкаете, то какую-то аналогию с оружием массового уничтожения можно обнаружить в механизмах регуляции численности вида, это гораздо более сложная область, чем та, которой мы касались... Но, в общем, некоторые кажущиеся таинственными до недавнего времени явления получают свое объяснение... как бы сказать... В генетическом коде есть... Это будет вам сложно. Короче, в природе предусмотрены некоторые вещи... Но бомба — это все-таки чисто человеческое, и, без вашего насилия, я бы такой аналогии проводить не стал...

Я не все понял, оглушенный возникшим здесь зрением, но с истовостью репортера не отступал:

— Ну хорошо. Отбросим это. Но человек — биологическое существо?

— В трех неоспоримых проявлениях: он размножается, питается и умирает, как животное.

— Ах, поразила меня эта фраза!

Этому месту как-то существенно присуща смерть, хотя со всех точек зрения тут суший рай. Я уже заикался о некоей чрезвычайной воплощенности, свойственной именно этому месту. Не знаю, много ли подобных точек на нашем глобусе, — я увидел такую впервые и с тех пор такой же не видел. И каждый раз, возвращаясь сюда (возвращаясь, а не приезжая...), я обнаруживал ее в том же стойком значении. Я обещал объяснить особенность ощущения этого географического небытия и дважды откладывал — не мог объяснить себе.

Я говорил, что здесь все как в первом учебнике, что здесь наконец разрешается то, почти незамеченное, детское разочарование несоответствия. Преподанное не соответствует действительному — это и есть смысл нашего образования; образования нас — первая трещинка опыта, залегшая в подсознание, которой предстоит быть размытой течением жизни до размеров оврага, быть может тоже более похожего на овраг в учебнике, чем на овраг в природе. Ах, эта картинка плохой печати, где цвет наплывает на цвет, отменяя и усугубляя линии! Именно тот апокалиптический овраг был обнажен, напоминал мертвое дерево, молнию, мозг! Наши юные романтические образы бились как волны о бетонный берег действительности: навестив чуждую троюродную тетю в знаменитом портовом городе, мы не видели ни кораблей, ни моря; на нулевом меридиане мы не обнаружим ни линии, ни нуля; из-за деревьев ведь и впрямь не видно леса.

Здесь все было заповедно, в этом заповеднике — география в том числе: море, залив, дюны, берега, лес, травы и небо, и птицы — не только имелись здесь в самом близком соседстве, но и соответствовали тем самым сокровенным представлениям, связанным с произнесением про себя, закрыв глаза, слов: залив, лес, птицы... Овеществление понятий, осуществление словаря.

Здесь пространство будто бы меньше на одно измерение. За счет этого два другие раскрываются полностью. Здесь теснее на одно, зато просторнее на два... Поскольку теорию относительности трудно пояснить каким-либо доступным нам в опыте примером, математики предлагают вообразить себе некоего юмористического персонажа, существующего в двумерном пространстве. Признаться, его не легче себе предста-

вить, чем саму теорию. Однако здесь, на Косе, я мог существовать почти как такой, более чем плоский, человек — в один лишь профиль. Должен сказать, что существованию этого бедняка, обделенного на измерение, можно лишь позавидовать.

Я мог выйти, скажем, из своей будки на западный берег и пойти вдоль моря на север по кромочке прибоя, не встречая ни одного человека, голый, как Адам. И так идти и час, и другой, и третий — целый день и всю ночь, все так же не встретив человека, все так же на север, как по компасной стрелке. Я шел бы так, пока мне не надоест, — скажем, час и другой по западной кромке вдоль шоссе на север... а как мне надоест, то и повернуть: перейти шоссе и поплестись назад уже по восточному берегу, но уже строго на юг, по опять по кромке воды, но опять вдоль шоссе, но точно так же имея безграничную воду слева и шоссе справа... Коса вытянулась с юга на север (с неба или по карте по ровной прямой) на сотню километров, а в месте, где я на ней жил, была не шире километра. Так я и разгуливал по этому географическому лезвию лишь на север или на юг, балансируя между западом и востоком.

В ранней школе я помню такие трогательные зоогеографические карты, покрытые профилями зверей соответственно зонам их распространения. Поскольку это были наглядные учебные пособия, то узнаваемыми на карте должны были быть прежде всего звери, и это приводило к нарушению масштабов совершенно катастрофическому. Какой-нибудь зайчик покрывал собою Бельгию и Голландию, «вместе взятые», и кусочек Дании помещался между ушами. Какой-нибудь баран с баснословными бубликами рогов стоял передними ногами по одну, задними по другую сторону хребта Гиндукуша, не говоря уже о слоне (пропорции зверей соблюдались на такой карте с большей строгостью), который легко накрывал собою любую из новоразвивающихся стран. Эта карта невольно сильно преувеличивала место зверей в современном мире, отменяя в детском сознании беспокойство за их судьбу на долгие годы. Так вот на Косе и эта карта вспоминалась как не такое уж и большое преувеличение. Не говоря уже о зайцах, потому что я о них говорил, в каждую свою прогулку вы имели все шансы встретить косулю, а если повезет, то лису или даже кабанчика. И когда такой зверь в нескольких шагах от вас откровенно перебежал дорогу, пересекал по параллели этот естественно обозначенный меридиан, и был он не в масштабе, а, что называется, «в натураль-

ную величину» на этой самой узкой земле из виданных мною, — масштабы сдвигались, зверь и впрямь почти перекрывал Косу от моря до моря, — я каждый раз вспоминал эту карту и снисходительно улыбался этой утрате.

Оттого и птицы летят так охотно над Косою, чиркая крыльями за оба моря. Они летят над обнажившимся меридианом, на время отключив все те локаторы, с помощью которых с такой точностью прокладывают свой безукоризненный маршрут через леса и горы: весной на север, осенью на юг. Птицы отдыхают над Косою, включив автопилот: здесь все ясно, лети себе над. Птицы ночуют на Косе, собирая остатки сил на остаток пути... В общем, Коса — это самый крупный в мире порт воздушного океана, которому нет равных по птицеобороту. Здесь угнездились их исследователи. Здесь и раскинуло свои западни и ловушки — рассеянное человеческое сознание.

Какой бы техникой ни оснастил себя человек, каких-то основных вещей он не смог перепридумать наново. И последний автомобиль катит на колесах, как телега, и пицца готовится на огне в кастрюле, и рыбу последнюю, хоть и с новейшего сейнера, вылавливает он сетями. И птиц — рыб воздушного океана — ловит он донными сетями, как и рыб — глубоководных птиц. В этом океане слабеет закон Архимеда, усиливается всемирное тяготение, пробка здесь всплывает вверх лишь чуть-чуть, и то из бутылки шампанского, поплавки здесь тонут, а не взлетают, как в воде. Странно смотрятся эти сети со стороны, встающие на фоне дюн из молодого леса. Издали эта сквозящая, как бы повалившаяся усеченная четырехгранная пирамида может выглядеть легко и ажурно, по-своему вписываясь в классическую топографию Косы. Вблизи, когда видишь эти громоздкие бревна-распялки, ржавые тросы-растяжки, с трудом вздымающие на едва ли пятнадцатиметровую высоту невесомые на вид сети, то, с долей справедливого успокоения, становится понятно, как трудно по-прежнему человеку своими руками осуществить несложные строительные решения, как сам-то человек по-прежнему неловок и первобытен. И хотя этих птиц ловят не для живота насущного, а надев им на лапку невесомое колечко и переписав, отпускают в океан, какая-то есть справедливость в этой по-прежнему первобытной охоте — равноправие, что ли, птицы и орнитолога, некая доля нравственности в этой ловле (тут я готовно вижу пожатие их плеч: они бы с удовольствием оснастились современнее — была бы возможность).

Летом в сети заплывают случайные глупые пташки. Ло-

вухи уже развернуты после весны зевом на север в ожидании осеннего пролета-путины. После первой марсианской их странности глаз вполне привыкает к ним, они даже что-то добавляют вам к пейзажу, когда вы, взойдя на дюну, охватите в целом этот сюрреалистический пейзаж из песка, неба и моря, — вполне пристала здесь и раскинутая пустая сеть в этой пустоши, словно здесь недавно было и схлынуло... Глаз привыкает, привыкают и живущие здесь птицы: они расселись на перекладах и растяжках — смелые вороны — на краю грозящей гибели. Не менее смелости, впрочем, для столь уж отрешенного взгляда можно обнаружить и в людях, переходящих, скажем, улицу. Человек не полезет под машину, как и ворона в сеть.

Привыкли к этим сетям и местные жители — в основном рыбаки и семьи рыбаков. Разве что смешно им и жадно, что сеть пошла не по назначению, что так нелепо занятие праздных ученых, получающих, однако, за то не слишком, правда, большие, но все же бесплатные деньги, пока те вкалывают на сейнерах, утруждая мускул...

Я бы не стал, пожалуй, и упоминать об этом косом взгляде на их ученые занятия, если бы не поймал себя практически на таком же. То есть, конечно, в моей усмешке, в моей иронической мысли, казалось мне, не содержалось ничего от грубого непросвещенного ума. Наоборот, я полагал, что именно мое идеальное представление о науке, некий пистет лежит в основании моей доброжелательной критики. Однако...

Однако от меня требовался небольшой мозговой подвиг, чтобы преодолеть и эту ступеньку, запнувшись об нее, и обнаружить, что, по сути, моя ухмылка не многим лучше той, местной.

Я и сейчас, многое среди них повидав и осмыслив, нахожусь в затруднении, пытаюсь описать, чем же эти люди были заняты, в чем состоял их труд. Отлов птиц и кольцевание, так же как и обработка этих материалов (мною уже не наблюдавшаяся и оттого как бы и несуществующая), не были, по словам сотрудииков, сколько-нибудь существенной частью их работы. Это была обязательная, ежедневная, но периферийная ее часть. Однако именно она, в глазах населения и многочисленных журналистов, выступала как основная. Ловушки были издали видны, колечки — забавны. Эта часть их деятельности была очевидна и как бы понятна, как понятны нам цирк, зоопарк или охота (спорт), необязательность

которых допущена и оправдана общим сознанием. Остальная часть была с п е ц и а л ь н а я, что и следовало мне более глубоко понять. Однако здесь и возвышался тот риф образования, которым обладали они и не обладал я. Есть ряд злополучных областей человеческого сознания, в которых все себе кажутся в той или иной степени специалистами (мне ли было этого не знать, занимаясь литературой!..). Их заповедная деятельность не была отгорожена от непосвященного тем же счастливым (во многом искусственно возведенным...) барьером, каким оградили себя в недавнем прошлом, скажем, математика и физика. Кажущаяся доступность их занятий есть мишень для невежды: он в нее попадает.

И впрямь. Следующим объектом, после ловушек, оставившим экскурсионное внимание, была некая просвечивавшая насквозь будочка под названием «марковник» (в честь Марка, построившего ее...). На крыше ее были таинственно расположены круглые коробки; в домике щелкали приборы, выглядевшие чрезвычайно усложненно; множество разноцветных, навсегда перепутанных проводов внушало почтение. И тут я про себя отмечаю, что эталоном сложности на всю мою жизнь была и осталась швейная машина, которую мне запрещали крутить...

В науке, как теперь понимаю я, не самоцелен ни прибор, ни идея, ради доказательства которой он создан. Самоцелью доказательство. Нам кажется странным, что прибор может строиться год, дабы произвести один замер, а потом он не нужен. Это же была вещь! Зримый труд... а он тут же разобран, заброшен, забыт. Или нам покажется странным, что идея, которую нам популярно изложили за пять минут и мы ее как бы поняли, нуждается еще и в многотрудном и дорогом доказательстве: она же — очевидна!

Скажем, эти таинственные круглые коробки на крыше оказались всего лишь открытыми небу клетками, в которых по радиальным жердочкам прыгало всего по одной птичке. Жердочки эти системой проводов соединялись с электрическими счетчиками, которые и щелкали каждый раз, как птичка прыгала на очередную жердочку. Хотелось Марку знать, на какие из жердочек птичка прыгает охотнее и чаще и в какое время года: на северные? на южные?.. Он изучал ориентацию перелетных птиц.

И только-то?! А какое замечательное сооружение! Прямотаки атомное... Всего лишь?

Достаточно. Стоимость строчки окончательного утверждения трудно учесть. Может быть, вся жизнь.

Вот на чем я, всем сердцем находящийся на их стороне, милостиво допущенный в их среду, вот на чем я себя ловлю...

В прошлый свой приезд я был поселен на чердаке, над так называемой «людской», где велась камеральная работа. Это был роскошный чердак — собственно говоря, второй этаж самого большого на наблюдательном пункте дома. На чердаке были свалены старые сети и кос-какой стапционный хлам. Я бродил по чердаку, набредавая на странные вещи, скажем, связку стеклянных глаз различных размеров, от совиных до воробьиных, для чучел... Мне было здесь хорошо. Я вышагивал мимо сетей по длинному чердаку в напряженном творческом молчании. Наскучив вдумчивым хождением, мог я выйти на своеобразный мостик, площадку наружной лестницы, и посмотреть сверху на открывавшийся мне вид с капитанским прищуром: я видел дюны, и лес, и небо, и ловушку с рассевшимися на растяжках отдыхающими птицами. Я мог посмотреть вот так как бы в глубокой задумчивости и со вздохом вернуться к своим не подвигавшимся ни на строку рукописям. Оказалось, что я очень много наработал на этом чердаке: полромана. Это я с удивлением обнаружил вернувшись, и мое чердачное существование окрасилось особым счастьем и успехом. Я рассчитывал на этот чердак и в этот раз, исчерпав все другие способы. Поэтому, когда чердак оказался занят, я ощутил это жестко, как удар по последним творческим возможностям. В чердаке таилась единственная причина моего молчания.

Чердак теперь был заселен куда более многочисленно, чем мною. Он был уставлен серией клеток с юными птицами, выращенными так, чтобы звездное небо было как раз тем, чего они ни разу в своей жизни не видели. Сотрудница Н. изучала, какую часть в общем комплексе ориентации играет звездное небо... Каждое утро я желчно наблюдал, как она стаскивала с чердака клетки, с тем чтобы в течение дня юные птички находились в более естественных, чем ее опыт, условиях, на воздухе и солнце. И каждый вечер, как начинало темнеть, я наблюдал, как она втаскивала их назад под чердачное небо взамен звездного. Лестница была узка, крута, с шаткими перилами... клетки были громоздки и неудобны, заслоняли ей дорогу... мой взгляд, провожавший бедную Н., не был доброжелателен...

— Не считаешь ли ты, — сказал я, в очередной раз застигнув ее за этим неуклюжим занятием, — что ты давно уже изучаешь влияние ежедневной переноски птиц на второй этаж, а не звездного неба?..

Не получив ответа, я побрел в свою будку.

Будка эта была любезно предоставлена мне сотрудником, ушедшим в отпуск. Она была выстроена «для себя», с большим уважением к собственному вкусу. Личность строителя была запечатлена здесь на всем, к чему бы я ни прикоснулся, — клеймо умельца. Это мастерство в прикладных занятиях было особенно характерно для обитателей станции. Самое наличие мастерства в наше время всегда являлось для меня значительным свидетельством. Я сознавал, что оно — не даром. Значит, и их основная работа, невидимая обывателю, так и не понятая мною, содержала в себе это качество, раз уж оно столь наглядно проявлялось по периферии... Стройматериалы были найдены на берегу моря; стены были оклеены географическими, историческими (крестовый поход для детей, Османская империя...) и морскими картами, на которых я нет-нет и с удивлением обнаруживал эту вот будочку, в которой жил; все откидывалось, складывалось — столик, стулик, кровать... — не занимая никакого места, крайне удобное в обращении... Я играл в личные вещи хозяина, не находя применения своим. Мысль моя паразитировала в столь уютном пространстве.

И я выходил прочь из будки — болтаться без дела по территории, разминаться на узких тропках с сотрудниками, болтающимися по делу. Я заметил сотрудницу Н. с плоским ящичком улова в руках и прошел за ней в «людскую» посмотреть, что она такого поймала...

Время было непролетное, улов был случайным — она поймала всего трех птичек. Занятие обмера и записи было тысячекратным — мне всегда нравились эти заученные движения, которым было некуда развиваться как в артистизм. Птица в руке — это более чем редкое в обыденной жизни явление. Здесь, казалось, ладонь была для того и выдумана: как удобно, как точно соответствует наша пустая горсть тельцу птички, повторяя его! Как быстро и четко это все: алюминиевая полоска обжата вокруг ножки — запись в журнал, обмер крыла... вот Н. дунула птичке в затылок, раздвинула перышки, определяя возраст, и бросила ее головой вниз в узкий прозрачный кулек — чашку специальных весов: птичка весила свои восемнадцать граммов. Далее — роскошным жестом — взмах кульком в открытое окно... птичка, легко выскользнув, три раза стремительно провиснув в нежданной свободе, улетела навсегда от нас...

Я сунул свой негибкий и корявый в сравнении с птичкой палец сквозь сетку — оставшаяся последней птичка глянула

на меня сердитой бусинкой и небожно, но отважно клюнула это чудовище моего пальца.

Я хотел спросить сотрудницу, не влияет ли шок кольцевания на дальнейшую жизнь птицы (шутка ли, с вами бы так!..), — и на этот раз удержался, не спросил.

— Какая славная птичка... — сказал я лирически, доставая из сетки палец.

— Птичка... — презрительно сказала Н. — Какой год ты к нам едешь, хоть бы одну птицу запомнил, как называется... Хоть бы эту!.. Ведь станция названа ее именем!

— А как называется станция? — спросил я.

— Выйди и прочти.

Я вышел. На доме было выведено *Fringilla*.

Fringilla — это всего лишь зяблик. Слово «зяблик» я знаю давно, птицу зяблик я не узнаю никогда. Я принадлежу своему поколению каждый раз гораздо больше, чем предполагал. Не знаю уж, какими изгибами истории, или прогресса, или века оправдать эти бельма сознания?.. Птица, дерево, куст, трава... до личного знакомства так и не дошло. Каким обделенным чувствую я себя каждый раз в лесу! Вот птица вспорхнула с ветки... с какой ветки? какая птица? «У животных нет названий. Кто им звать повелел?» Как я ценю этого поэта, нашедшего мне оправдание. Действительно, незнание не мешает мне немо и молитвенно упиваться природой, если я ее невзначай замечу... Но — какая же нищета и бедность!!!

Птица? — Сорока-ворона, воробей... Может быть, синица...

Цветы? — Роза, ромашка, подснежник...

Бабочка? — Капустница... (Прощай, Владимир Владимирович!..)

Тут входит моя двенадцатилетняя дочь, и я в строку этого текста продолжаю опрос:

— Скажи, только не задумываясь, подряд, какие ты знаешь деревья?

Дочь, несколько удивленно, но послушно:

— Ель, сосна, береза... — Пауза. — Клен, дуб... Может быть, каштан?..

Дочь честна, она не называет далее чего не знает: бук, граб, ясень. Это слова, а не деревья. И далее:

— Травы?.. Лопух, подорожник, одуванчик... Остальное — просто трава.

— Майский жук, навозный...

— Кусты... Черная рябина, сирень...

Как быстро захлопывается ряд! Она не знает больше

меня. Она знает столько же, сколько я. Ее поколение не поправит ошибки моего, а усвоит их...

— Божью коровку забыла — тоже жук... Птиц больше знаю!.. — обрадовалась она и далее, как молитву, отбарабанила слово в слово мое невежество: — Воробей, ворона, синичку какую-нибудь знаю, попугая маленького, снегиря не видела, снегиря знаю...

Молчит.

— Дятла знаю... Гуся. Утку не знаю. Ну, курицу. Курица — не птица.

— Аиста не знаешь?

— На картинке не считается.

— Чайку? (Молчит.) Рыбу?

— Рыбу совсем не знаю, — обрадовалась она. — Никакой. Лебедь — птица?.. Знаешь, кого знаю! — обрадовала она меня. — Фламинго!

Конечно, век. Вал информации, поток коммуникации... Может, мы для того держим голову столь пустой, чтобы забить ее однажды ценными, практически полезными сведениями? Иначе они могут уже не поместиться?.. Я в это не верю. Я слышом много помню марок автомобилей и телевизоров, больше, чем трав и деревьев. Невежество и есть невежество. В век космоса в космосе побывали единицы, пусть они и не знают имен живого. Но не я же! Это я не знаю, а не все...

Вот что так окончательно и останется для меня неразъясненным: не знать всего этого для нас естественн о. Мне не понравится человек, зазубривший из снобизма вопреки всем имена мышей и травинок. Он будет вычурен, как сумасшедший, ненатурален как раз со своим натурализмом, и с к у с с т в е н е н. Не знать в век науки свойственно, как дышать. Это меня и изумляет. Всегда кто-то и что-то знает не то, что все. Неужели все не знают одного и того же?..

Существование лишь в двух измерениях: только вдоль и, малодоступное нам, только вверх, — подчеркивает соотношение верха и низа, приближает нас к идеалу однородной среды. В каждом скепнике, за маской неверия, задыхается романтик. «Белеет парус одинокий...» Романтизм связан с идеей существования в однородной среде, недоступного нам по природе. Поэты с завистью провожают взором моряков и авиаторов, осуществивших мечту. Там наконец осуществляется идея, в чистом, неразочаровывающем виде — «как

будто в бурях есть покой». Но — не до конца, не до конца... Они проникают, но не принадлежат. Лишь в аппарате и только скопом и не навсегда: разврат возврата — душа разочаруётся подделкой. «Ничего больше! Только — лодку и весло! Лодку и весло...»¹.

Лишь сфера духа является для человека доступной однородной средой. Высшая мысль доступна каждому, ее можно подумать разным людям в различных точках Земли и времени, то есть к ней ведут любые пути, но она сама, достигнутая, будет одна и одинакова. Лишь на самом верху мы будем иметь окончательно общую природу, отменяющую одиночество, ту общую природу, с которой мы рождены... Если кто-то дошел до Истины и еще кто-нибудь дойдет до нее, то это будет та же Истина, пути пересекутся. Окончательно равны мы лишь в самом низу (прах) и на самом верху; остальное — пути. Притомившись, странники смотрят в море и в небо — горизонт отступает, и небо все так же высоко.

Так толковал я для себя непонятную идею высшего — так я мечтал на этой наиболее отрешенной из земных поверхностей, с истончившимися, почти невидимыми нитями всех четырех измерений. Два из них перетерлись. Казалось, перетрись последние — и отлетит это земное облако.

Но и эта узость Косы, практически ликвидировавшая одно измерение, и эта безвременность песка, воды, неба и безлюдья в сумме не могли бы дать того эффекта однородности среды, в которой я здесь почти пребывал. И все прочие объяснения, какие я для себя находил, были частичны — не объясняли... Скажем: это западнейшее место страны... но еще западнее я уже бывал: там земля становилась Польшей и была Польшей, но больше ничем она не была, то есть и на запад не продолжалось это небывалое состояние земли (впрочем, на этот счет я никогда слишком не обольщался...). Или другая, более основательная, причина — государственная: на эту территорию был наложен двойной запрет: заповедный и пограничный — этим непоэтично, но реально объяснялось безлюдье, нерастоптанность, звери... Но опять же — не бесплотность. Находилась и более неожиданная для этой земли, такой органичной и гармоничной, причина: не такой ее создал бог, такой, оказывается, создал ее человек. Пресловутая ноосфера выглядела здесь в таком случае наиболее оправданно и благородно. Человек по своей

¹ Из стихотворения Галактиона Табидзе.

инициативе посадил на Косе леса и пустил зверя. С тех пор как возникла та Коса, которой я теперь восхищаюсь, и века не прошло. В это трудно было поверить, настолько Косе был присущ ее современный вид. Слабым умозрением пытался я представить себе, какой она была без человека, то есть без сосен, берез и ежевики, без лосей, косуль и кабанов: бесчеловечный ветер неистово шнырял по дюнам, катая их с места на место, сдувая их на восток, бесчеловечный жидкий ивняк трепетал под ветром, бесчеловечно пролетала птица... Здесь хватило бы на пронзительную, воющую, как ветер, но одну балладу: поэт бы позаворачивался в плащ, поприщуривался вдаль, поскрипел песком на зубах, шепча эту великую строку, выразительную, как эта голая Коса, и укатил бы в том же экипаже, подняв верх и задрав штормку, не оглядываясь. Бессмертная поэма уже видела все своими зрячими строками... Нет, такой Косы я не видел и не скорбел о ней — повод задуматься, всегда ли правильно скорбеть об ушедшем: не все воды утекли на наших глазах...

Но и это удивление, что земля эта отчасти искусственна, как и то, что она не моя, как и то, что она запретна, не объяснено еще этого ее особого бесплотного состояния — была и еще, последняя, наконец и впрямь — причина: эта земля не была землею вообще. Принципиальный картограф мог бы не наносить ее на карту или должен был подыскать новый род условного обозначения — не земли и не воды — род пунктира. Она не удовлетворяла признакам, которыми мы определяем сушу, во всяком случае, основному признаку, то есть с точки зрения науки, верящей признакам, а не глазам, землею и не была. Коса — с такой, буквальной точки зрения была морем, а не землею. Это было дно, гипертрофированная отмель, высунувшаяся из воды. Строгий ученый сказал бы, что она не более земля, чем спина кита, вынырнувшего из воды, с тем чтобы через время нырнуть опять. Он бы снисходительно усмехнулся: обычная ошибка — путать человеческое время с геологическим. С геологической точки зрения Коса временно высунулась над поверхностью Мирового океана, на время, столь короткое, что и действительно более сравнимое с существованием как суши спины кита, чем с какою бы то ни было, даже самою мимолетной, геологической эпохой. Она и впрямь мимолетное образование, эта Коса, — ее перегоняет ветер, она несется в сторону материка со сказочною скоростью: десятки сантиметров в год. Человек пытается остановить это геологическое мгновение: оно прекрасно. Он насаждает леса, проектирует некую чудовищ-

ную дамбу, ограждающую Косу от моря. Когда он ее наконец остановит, это будет уже не Коса, это будет — дамба.

Это уже годилось в объяснение, превращая удивительное в убедительное: здесь не было ничего от материка. То, что это не область внушения — особое состояние земной поверхности на Косе, — доказывается не только обратной последовательностью, необъявленностью причин и первозданностью удивления, но и следующим, еще позже настигшим меня фактом: в духовную чистоту Косы был вкраплен материковый прыщ — Коса в своем беге настигла островок, но еще не обогнала его; на этом слившемся с Косою отрезочке материка вы ощутите разницу: здесь иные токи пронизывают землю, здесь более плоское, более плотское и злостное все, даже небо; здесь поселились рыбаки, корявые люди, бегают низкорослые, корявые их собаки (будто особая порода под постоянным воздействием ветра...). Здесь другой воздух, другие дожди — здесь не земля. И местные жители будто и впрямь живут, как на острове, не считая Косу за сушу, с каким-то, чуть ли не пренебрежительным прищуром, если не испугом, смотрят они со своих огородов на нее, как вдаль, как в море. Чужое — это не свое.

По имеющимся у нас сведениям, человек не способен вообразить себе то, чего он так или иначе не видел. Образные представления человека об аде гораздо более развиты, дифференцированы и детальны, чем о рае. К тому же ад, так сказать, хорошо заселен нами и нашими знакомыми. Ад нам как бы понятен. Достаточно изобразить в тесной близости (скажем, на одном холсте) и одновременности встреченное нами в повседневном опыте, и ужасное соседство кастрюли, розы и слизня в раковине (прелестный дворик хозяйки в Крыму, где я пишу вот эту страницу...) исполнится адского смысла. (И птицы еще не улетели из этого повествования... у Босха мы обязательно встретим и птицу и рыбу, причем взгляду птицы, что самое ужасное, он всегда придаст не устрашающее, а такое любопытно-добродушное выражение...) ¹ Рай мы представляем себе бедно и непривлекатель-

¹ Ад Босха состоит чуть ли не прежде всего из полного перечня предметов быта и орудий ремесел его времени. Судя по подлинности изображения, они воспроизведены в точности. По всем правилам и со всеми приспособлениями строительной техники строится нечистыми их башня. Грешники подогреваются в кастрюлях и сковородках, которыми, по-видимому, пользовалась любая домашняя хозяйка. Просто этих обыденных предметов и орудий много, они все сразу, за один взгляд. В аду Босха пугает именно сходство с жизнью... Ад обетованный...

но, до сосущего ощущения скуки во рту: кущи... Побывав на Косе и не встретив в своей жизни ничего ей подобного, я могу себе представить рай будто бы с большей достоверностью: этот мир тоже неотличим от нашего, в нем не придумано не виданного нами, зато многое из виданного устранено. Этот мир безгрешен и свободен, он бесстрастен, в нем нет боли и нет надежды: он лишен нашего отношения к нему: он есть, но он без нас, он как бы и без себя. Оттого и существование здесь так удивительно не отягощено, что нас в нем нет, а когда мы в нем, то это уже — как бы и не мы.

Не знаю, почему в этом раю так легка мысль о смерти... Может быть, потому, что ведь и сам рай — после смерти, потому, что смерть — уже была...

С этого дня и каждый день... я выходил из-за своей пишущей машинки и сразу, за порогом, оказывался там, где писать нечего и незачем, потому что достаточно видеть, видеть и благодарить судьбу за то, что даны глаза и дано глазам. Я делал несколько шагов по песку в сторону моря и, за следующим барханчиком с растрепанной причесочкой осоки, знал, что увижу море. Это каждый раз оправдывавшееся ожидание никак не утрачивало своей остроты: я огибал полбарханчика, в ложбинке, последним, самым сильным порывом, будто не пускал ветер, — и вдруг стоял на берегу и опять понимал, что и там, в будке, где машинка, и пока я шел, все время шумело море, что этот шум и выманил меня посмотреть, что шумит: оно и шумело. Я вдыхал подчеркнутой грудью и неизбежно смотрел вдаль.

«Вот так бы всегда и смотрел...» — эта банальная фраза достаточно точно передает смысл моего занятия: за ней следует вздох и я уже не смотрю на море. Меня занимает вопрос: чем ограничено наслаждение, если на его пути нет препятствий? Мне некуда было торопиться, и не было человека, который бы меня поторопил. Не полчаса и не пять минут, думаю, что и не минуту, а так с полминуты, причем последние секунды натужные и искусственные, прищуривался я вдаль, а там — произнес этот мысленный вздох — и все было кончено.

Я спросил доктора, что он по этому поводу думает, когда мы повернули назад...

— Простите, что я в сторону... Но вот мы шли и шли с вами по берегу, вполне поглощенные беседой, которою и сейчас поглощены, а я вот последние минут пять нет-нет

и думал; когда мы повернем назад? Мы не голодны, и не устали, и, судя по всему, никуда не торопимся и не скучаем; берег на всем протяжении практически одинаковый, местность не переменится до завтрашнего дня... Однако, думал я, мы — повернем. Что было и что кончилось, что мы повернули назад? Какая константа срабатывает в нас, определяя степень насыщения и протяженность каждого действия? Допустим, нас ничего не связывает и не обязывает — мы не можем на симпатичную необязательность беседы отвести всю жизнь... Но представьте, что вы влюблены, идете с любимой — ведь тоже повернете назад. Ждать под часами вы будете полчаса, час, у подъезда — всю ночь, но не до Нового года. Вы расстаетесь с рассветом: девушке пора домой, мама и все такое... но ведь и час назад была та же мама и уже много часов пора было расстаться, однако почему-то именно в эту минуту становится окончательно пора. Соловей или жаворонок? После какого по счету уговаривания Ромео наконец уходит? Почему не раньше и не позже? Почему я не думал о времени, пока мы шли, и сейчас не думаю, а мы идем уже назад? Какая мысль заставила нас повернуть?

— По-видимому, в данном случае вот эта и заставила, — сказал во всем точный доктор. Мои рассуждения были настолько ненаучны, что он их миновал. По этому поводу он мог мне поведать лишь о биологических часах. Но это было уже совсем о другом... — Видите ли, биологические часы — это...

Я слушал его, и меня донимало теперь следующее соображение: чем занята, а чем не занята наука? Разве мой вопрос не может быть изучен с точностью, рассчитан, объяснен? Какую закономерность из множества закономерностей выхватывает наука для изучения (речь не идет, естественно, о развитии направлений, связанных с прикладными необходимостями, — речь о так называемой чистой, естественной науке, связанной с познанием окружающего мира)?

— Следующую, — сказал доктор.

— То есть?

— Мы ищем закономерность, следующую за открытой нами.

— Не кажется ли вам в таком случае, что вы неизбежно уйдете в сторону?

— То есть? — спросил доктор.

— То есть вы начали изучать явление, открыли некую закономерность, от нее нащупали ход к другой, от той к пятой

и так далее. Не забыли ли вы о явлении, которое начали изучать?

— Ага,— сказал доктор.— Не забыли.

— Ну как же,— осклабился я.— Вы изучаете птиц. Вас заинтересовали перелеты. Вы изучаете перелеты — вас заинтересовал энергетический фактор. Вы изучаете обмен, как там, метаболизм?— сосредоточиваетесь на изменении веса птиц. Изучаете жир птиц. Не кажется ли вам, что вы уже изучаете жир?

— Но ведь мы все до этого уже изучили?

— Но у птицы есть глаза, крылья, птичий мозг есть у птицы?

— Скажите,— рассмеялся доктор,— вы никогда не были двоечником?

— Был,— согласился я.

Вот так выходил я на море, либо чтобы застать на берегу только что вышедшего на берег доктора, либо он выходил следом за мною, заспанный, прошедший бессонную ночь в расчетах. Не складывались его цифры, молчали мои буквы — не здороваясь, мы продолжали вчерашний разговор.

Я потерял всякий стыд. Я отдавался тщеславию быстро-схватывающего ученика. Я задавал ему вопросы, не заданные в раннем детстве. Может, я и не получал на них ответа, но от комплекса освобождался. Все те вопросы, без ответа на которые я отказывался понимать дальше и получал неуд. Больно ли насекомому? думает ли птица? чувствует ли дерево? есть ли у зверей чувство юмора? куда подевались промежуточные эволюционные звенья (то есть почему человек бежал по этой лестнице через ступеньку?)? прекратилась ли эволюция и почему? чем питается такое количество комаров в мое отсутствие? можно ли без ущерба удалить паразитов из биологической цепи? есть ли наружные половые органы у птиц? И все это довольно быстро сводилось к какому-нибудь из коварных вопросов, которые, в свою очередь, сводились к одному: что есть человек?

И не было ответа на этот вопрос. Одни косвенные оговорки.

— В том смысле, в каком вы хотите,— сказал наконец доктор,— ответа и быть не может. Человек равен самому себе. На большее он не способен. Что такое человек, мог бы знать один лишь бог, если бы он был.

— Вы уверены, что его нет?

— Думаю, что его не было.

Я открыл было рот еще дальше — он сказал:

— Не будем говорить о нем всуе. Эта заповедь не противоречит науке.

Я слаб насчет полезных сведений... Все, что он знал как специалист и что я мог почерпнуть от него с точностью, пролетало сквозь меня, навывлет. Меня всегда интересовало, как в конфеты «подушечка» варенье кладется...

То, что я от него узнал по делу, вполне могло уместиться на какой-нибудь задней обложке «понемногу о многом» или «ничего обо всем». Кажется, в Новой Зеландии водится некая птичка, которая в брачный период строит на земле домик с дверью и, ухаживая за самочкой, приходит на свидание с цветочком в клювике. Или — что птицы раньше людей всегда знали, что Земля — шар, в то же время азимут во время перелета птицы берут из допущения, что Земля — плоская (может быть, я уже перепутал...). Или — что птицы не болеют...

Последнее я пережил несколько с большим вживанием, чем прочие занимательные сведения... Это утверждение пришло в полное противоречие с другим, накануне поглощенным мной (я, естественно, все принимал на веру), а именно: что все птицы больны, что нет не больной птицы.

— Это только кажется, что птицы весело порхают, — с долей элегичности сказала мне сотрудница Н. (она возвращалась с ловушек и несла в специальном плоском ящичке, затянутом сверху сеткой, с фоторукавом на входе, — трепыхающийся улов). — Это сверху — перышки и чистота. Подержал бы кто-нибудь их, как мы, в руке — увидел бы, что они кишат, бедные, паразитами, покрыты болячками и травмами...

Эти тяготы за внешним покровом легкости (сче бы — парят!) вызвали во мне доверие и сочувствие. Доктор пояснил мне мое недоумение: это все внешнее, и это так; птицы не болеют в том смысле, как другие теплокровные, в том числе и мы: они не болеют с температурой, ей некуда повышаться. Тут я понял в полной мере те 42 градуса, немногое из того, что помнил со школы: птицы живут на пределе (цена полета...). Их обмен протекает на пределе интенсивности, возможной для теплокровного. Они все в горячке и лихорадке. Наше легкое 37,5 это их 43, то есть смерть. Вот в каком смысле не болеют птицы.

Мне представилась действительная теснота жизни, на которую каждый из нас жалуется с такой интенсивностью именно, чтобы не представлять себе полную меру (наши

трудности все — временные, нам не хочется представлять себе, что они и есть норма, что бывает, например, война, когда люди не болеют почти как птицы). На этой редчайшей Земле, где кислород разведен ровно в той мере, которую мы можем дышать, где нам еще с грехом пополам хватает пресной воды, еще и температура тела заключена в узенький, как луч, диапазон, где $T^{\circ} \leq 42^{\circ}$. Все это пространство поделено и переделено на ниши и ареалы, где нам, летая и глотая с утра до ночи, еле хватает пищи продержаться эти 42 (37) градуса, где переостыть или перегреться, как недоест и недопить, — смерть. Все это вплотную и впритык, все пересечено и взаимосвязано так, что, если бы было время оторваться от насущности прокорма, когда твое существование необходимо кажется тебе единственным, и задуматься, то и не смочь отделить свое существование от другого, и отдельные ли ты тело или срощаяся часть общего, так и не скажешь наверняка.

Вот — птица. Это большая птица. Загляните ей в растопыренный глаз — вы не встретитесь с ней взглядом. Это у маленьких пташек те живые бусинки, что кажутся нам понятными. У этой — дикий, ужасный, красный глаз. Это в небе она красива («то крылом волны касаясь...») — здесь, в руке, она уродлива и страшна. Она — настолько не мы, что ни в какой грех антропоморфизма тут не впадешь.

Это была чайка (сотрудники спорили, определяя ее вид). Чайки не попадают в ловушки. Ее принес мальчик Саша, юннат, приобщавшийся к будущей профессии на биостанции. Он был розов, круглощек, черноглаз, юн, здоров, любим мамой. Чайка была потрясающе на него непохожа. Он был возбужден и без конца повторял свой рассказ.

Как Иван-дурак жар-птицу, он поймал эту чайку руками. Прыгнул, как вратарь, и поймал. Честное слово! Он шел по берегу моря, вся стая снялась, а эта сидит. Он прыгнул. Правда, руками... Он сам в это не верил: мыслимое ли дело, человек, который ловит руками чаек!.. Подвиг его таял в собственных глазах. Никто его не осудил, но никто и не одобрил. «Я ее два часа нес!» — обиделся он.

— Так она же с голодудохнет! — сказал кто-то.

Это предположение повлекло за собою немедленные действия...

(Я часто про себя отмечал некоторую достойную несентиментальность практических дел (и это мне, уже более сентиментально, всякий раз нравилось). Так сотрудники полевого стационара, сами питаясь весьма однообразно (каши и кон-

центраты), каждый день варили и крошили яйца, терли морковь и т. д., чтобы кормить своих пернатых пленников тем, чего сами не ели. Они напоминали родителей, дети которых никогда не выйдут из детского возраста. Или, например, каждый из них без малейших угрызений совести распотрошит птичку для своего бессмысленного эксперимента, однако, если случится какая непредусмотренная порча, они чрезвычайно досадуют и огорчаются. Однажды в ловушку залетело слишком много птиц, их не успели своевременно освободить, и много птиц погибло — так они их съели! Дело не только в некотором профессиональном шике, в подчеркнутой небрежливости к живому, в профессиональной свободе от обывательских представлений — они способны съесть и ворону и лисицу (отравленного или несъедобного мяса нет! — еще одно периферийное открытие, сделанное мною для себя в их среде: памятка на случай голодной смерти в лесу — чего не бывает!..) — дело еще и, пусть в неосознанном, искуплении вины перед природой, в которой ничто не гибнет напрасно. Они превратили этот прецедент в охоту (волк не кровожаден, а голоден, добывая себе пищу...), они искупили вину, ритуально вписав свою оплошность в экологическую систему, сделав вид, что птиц этих они добыли для живота своего...)

...Было раскрошено крутое яйцо, и сотрудник, умело держа птицу, умело раскрывал чайке клюв и пытался ее накормить. Чайка понятия не имела о том, что ей желают добра. Она не имела понятия и о том, что отказ от пищи грозит ей смертью. Она не представляла себе, что она в руках профессионала и ни единое перышко ее не будет повреждено: наверно, она полагала, что ее схватили, чтобы сожрать (чайку, в случае чего, тоже можно съесть, хотя она чрезвычайно невкусна). Она видела себя в окружении людей, совершенно непохожих на чаек, и не видела спасительного моря. Она не хотела есть, она страстно исторгала из себя эту спасительную пищу, будто отраву. Герой оказался в стороне, он недоумевал, он растерянно смотрел на свои пустые руки, поймавшие птицу. После обеда чайка умерла. Ее тоже пытались «пристроить» во имя цельности экологической системы — отдали Кларе. Клара была, однако, возмущена. Это возмущение она выражала очень по-человечески: каркала, отмахивалась крыльями, как руками, оскорбленно молчала и отворачивалась на ласковые увещания. Я не стал расспрашивать об истинной природе этой оскорбленности (плохая еда), по-своему разделяя Кларины чувства.

Со своим бешеным, исполненным смертельного ужаса глазом, не исполняющим никакого взгляда в нашем понимании, эта давящаяся чайка стоит перед моими глазами, представляя собою для меня как бы обобщенно одну птицу. Эта одна — птица, если бы мы не привыкли к их вообще существованию на земле, представляет собою чудовище, то есть устрашающе-огромное чудо, какого на самом деле быть не может. У нее только две тонкие ноги, на ногах когти; она покрыта даже не шерстью, а какими-то жестковолосыми плоскими костями, которые нельзя назвать никаким уже понятным нам словом, и мы изобретаем слово «перо»; у нее маленькая змеиная головка с невидящими глазами по бокам, она не посмотрит на вас одновременно двумя глазами; у нее совмещен рот и нос — вместо всего этого у нее рог, который она раскрывает с мерзким звуком, мы не найдем для этого слова и условно обозначим «клюв». Вместо рук или передних ног у нее два веера, — если бы к ним не было приложено это обтекаемо-горбатое противоестественное тулово, они бы, может, показались и нам красивыми. Но если страшны порознь эти противоестественные детали, какой же это монстр в собранном виде! Увеличьте насекомое, к которому мы все испытываем инстинктивную брезгливость и неприязнь, до размеров кошки — и вы поймете, какие на самом деле испытываете эстетические чувства, впервые увидев эту одну-птицу.

Я вышел к заливу. Если берег моря был жив прибоем, всяким меняющимся интересным мусором в его полосе, изрезанностью и неровностью облесенных дюн, то лысый, безлесый берег залива, замершего в штиле, был особенно голопуст и безжизнен. Линии здесь были другие, чем на море, особенно плавные, непогрешимо лекальные. Дюны здесь высились и подступали вплотную к воде, круто обрываясь под тем максимальным углом, который сразу наводил на мысль о математике — сыпучее тело. Все это сыпалось — только тронь. Но никто не трогал, и все это застыло в немислимом знойном равновесии. Над раскаленным за день песком дрожал воздух, превращая этот, и без того приснившийся вид, в мираж. Я стоял на гребне гигантской песчаной волны, не прекращающей своего мучительно замедленного бега в сторону материка: здесь она разбивалась о мертвую гладкость залива точно так, как море разбивается о берег. Этот негатив привычных представлений, плавность этой песчаной крутизны под ногами была головокружительна. Здесь запускать планеры и бумажные змеи... Эти перепон-

чатые бесшумные призраки самолетов подошли бы пейзажу едва ли не больше, чем птицы. В снастях моих ныл ветер. Я сделал шаг в пустоту, испытывая чувства Икара. Песок провалился под ногою, огибая икры. Тремя гигантскими шагами слетел я с тридцатиметровой высоты к воде, меня догнала и засыпала по колено река песка. Я прибавил свою миллимиллидолю, ускорив общий бег Косы: за спиною тоненько просыпался песок, выравнивая мой след. В нескольких шагах у воды лежал на своем широком боку мертвый лещ, торчал съеденным боком. Его еще продолжающаяся смерть была, казалось, единственной здесь жизнью. И тут надо мною, неподвижная, как планер, медленно проплыла умершая вчера птица. Была такая сказка о человеке, искавшем страну бессмертия... он ее как бы нашел: там ничто не менялось, не старело, и время там не шло, но оказалось, что раз в тысячу лет туда прилетает птица и уносит ровно одну песчинку, означающую эту тысячу лет, как секунду. Человек этот был разочарован: и в этой благословенной стране завелось время... Эта вчерашняя птица надо мной показалась мне из той сказки: неумолимая песчинка моего времени была зажата в ее клюве. Не вынимая ног из песка, как бы вросши, я прислонился спиной к дюне. Не было имени у того, что я видел. Я увидел воду, я увидел рыбу, я увидел небо, я увидел птицу... не было у них имен. Я не знал, что это называется водою, небом или птицей. Может быть, передо мной до горизонта простиралась рыба, а над головою была одна бездонно голубая птица? Может, передо мной умерла вода и испарилось, скрывшись из взора, небо? Мне не было известно, что за горизонтом не обрывается мир. Слова были наконец пусты, как легчайшие хитиновые покровы, смешавшиеся здесь с песком. Так ведь они и есть — пусты. Я отделился от языка, бубнящего мне, что мир есть, что он на каждом шагу, что — вот он. И как всегда, я вздохнул, я оторвал спину от дюны, глазами которой секунду смотрел перед собой, вытащил по одной ноги из песка: рыба была рыбой и называлась лещ, птица была не небом, а чайкой, передо мною простиралась не рыба, а вода под названием залив, ну и небо — воздух, воздушный себе океан. За горизонтом прочно лежала невидимая мне Литва. Одно лишь небо не имело горизонта, за ним находилось неизвестно что, впрочем тоже кем-то расслоенное на сферы и термины, но слова эти живут лишь в учебнике — оттого в небо мы еще можем взглянуть иногда в этом немом смысле зрения. Я был смущен названностью всего, этой прикрепленностью, знанием, никак

не содержащимся в вещах, которые я вижу. Что мы видим: предметы или слова, называющие их? По крайней мере, ясно то, что у мира, который мы познаем, нет обратной связи с нашим знанием. Даже если оно точно отражает мир. Оно его лишь отражает. Но мир не смотрится в это зеркало.

Это и есть человек. Вы, конечно, можете поднести руку к глазам: моя рука; посмотреть в ноги: мои ноги... но сам-то по себе вперед смотрящий человек не видит себя, тем более не видит он своих глаз, как не видит себя и зеркало. Но и то, что вы можете увидеть на себе, как принадлежащее неотторжимо вам: руки, ноги, пуп, — это ведь не вы, это оболочка, тело, вы внутри которого... Посмотрите вперед — вас нет. Может быть, вы и есть то, что у вас перед глазами?

Небо было пусто и перестало быть пустым. В нем пролетело сразу много птиц, стая. Небо стало пусто. Когда летела одна птица, я видел одну птицу. Это точно. Сколько их пролетело сейчас? Десять? Больше. Сто? Меньше. Я не знаю точно, сколько их пролетело: пятьдесят пять или пятьдесят девять — я не успел их пересчитать. Но точно одно — их было конечное число, и ни одной больше или меньше, я это число не смог узнать, и больше не узнает его никто. Но раз это число было точным и конечным, то оно есть так, будто его кто-то знал... «У вас же и волосы на голове все сочтены...»

Одна птица, а потом сразу много, но сколько?.. Единичка — вот число, которое я знаю. Один — вот счет, который веду.

Деление на единицу есть реальность.

— С трудом, но, кажется, я догадываюсь, о чем вы... — сказал доктор. — Науке и впрямь свойственна некоторая узость — она занимается не столько мировыми проблемами, сколько вещами, которые способна установить в точности. Но в ваших претензиях, выражаясь в близкой вам терминологии, есть некоторое непонимание жанра. Блестящая мысль, которую мы не можем доказать или подтвердить экспериментально, для нас непрофессиональна. Это дилетантство, в лучшем случае — досуг. Принятая на веру, красивая мысль может увести далеко и непоправимо. Некоторая косность должна входить как бы в этику подлинного ученого, у которого идей — пруд пруди. Действительно, меж единицей и множеством у нас отчасти пропуск; множество ведь тоже берется, в каком-то смысле, как единица. Зато единица берется как элемент множества...

Мы шли вдоль берега и не видели моря. Вчера был «ящичный» шторм — на берегу были разложены разные любопытные вещи, как товар на бесконечном лотке. Мы шли по этому ряду. Реже деревянных попадались ящички пластмассовые, яркие. Можно было найти бочку или ведро, тоже легкие и цветные. Если повезет, они могли оказаться даже целехонькими, без причины смытыми с палуб. Красивые, там и сям валялись пластмассовые шары — поплавки рыбацких сетей. Шары находились в полной сохранности, только неизвестно было, что делать с их окончательной формой и утраченным назначением. Мы шли, развивали мысль, и вдруг в этой мысли проскальзывала некая невнимательность: впереди что-нибудь синело или краснело, притягивая. Мы старательно не убыстряли шаг. Мысль цепене-ла, сужалась и как бы находила свое естественное завершение: это была половина алого пластмассового ведра, вертикальный срез. Ведро было повернуто к нам назло цельной стороной. Мы миновали этот обман — новая мысль набирала новую силу. Новый призрак новой вещи впереди означал следующую паузу или неожиданный поворот темы...

— Вы никогда не думали о природе этой тяги человека к собирательству? Грибов, ягод, птичьих яиц, коллекций? Или даров моря?.. — сказал доктор, подкинув погой желтый поплавок — тот скатился назад, в вялый после шторма прилив. — Чтобы понять, что мы унаследовали от предков, нужно знать, каков был наш предок. Человек морфологически мало специализирован к добыванию определенной пищи, и исходная экологическая ниша человека — собирательство плодов, побегов, корней, яиц, мелких животных и прибрежных выбросов. Такой способ пропитания малопродуктивен и требует энергичной и разнообразной деятельности. В отличие от многих других видов (например, растительноядных) пищевые ресурсы человека были ограничены, а голод был перманентным состоянием...

Так он сопротивлялся, когда я пытал его насчет человека, зато легко проговаривался сам. Хоть он и был полон благого убеждения не использовать свой опыт эколога и этолога в отношении человека, но — сам был человек и не думать о том же, о чем и я, он не мог. Так, сам того не желая, повсдал он мне уже достаточно. Соображения эти были для меня в чем-то настолько убедительны, я с такой легкостью верил в них, что сама эта легкость казалась мне лучшим из доказательств. С увлеченностью дилетанта я уже пользовался многими пре-

поданными мне понятиями, как своими. Разговор наш строился по такой схеме:

— Вы говорите, — вцеплялся я, — что... Не следует ли из этого, что... Нельзя ли в таком случае заключить так?..

— Да, пожалуй, так можно сказать, — неохотно соглашался доктор.

— Тогда, — говорил я, — можно предположить, что...

— Можно и так предположить, — вяло соглашался он.

— Выходит, что человек... — выходил я на свою прямую.

— Нет, — говорил доктор и легко, с запасом, опровергал меня.

Временно я отступал, кивая.

Но он уже привык к необязательному характеру наших бесед. Исподволь я развратил его. Его императив слабел. Думаю, что это не я был убедителен, — давно и неприменимо скучали в нем все эти мысли... Сначала он говорил лишь о первобытном человеке. В этом смысле он мог обронить такие окончательные фразы:

— Человек имеет невысокую плодовитость по сравнению с другими животными.

Или:

— Процветающие виды стремятся увеличить свою численность и территорию настолько, насколько это возможно. Человек — процветающий вид; его стремление к расселению и увеличению численности естественно. К началу нашей эры численность людей на земле оценивается в два-три миллиона... Это античный мир... — вздохнул он задумчиво.

История манила его. Там, в глубине ее, где были стерты суетные детали и счет шел не на десятилетия, а на века, проступали эпохи, соблазнявшие в нем эколога.

— Вы думаете, почему остановился Александр Македонский?.. Нет, нет, его военная машина была безукоризненна. В мире не было ничего, что могло сопротивляться ей. Просто он настолько далеко ушел за пределы своего ареала, настолько давно уже были завоеваны земли, достаточные для дальнейшего упрочения и процветания родины, что биологический смысл этой агрессии (расширение территории для процветающей популяции) полностью иссяк. Он достиг Индии и Средней Азии уже как путешественник, чуть ли не любитель-этнограф: рядился в национальные одежды новых стран, которые покорялись ему уже условно: ему нечего было делать, как уйти из них без каких-либо шансов впоследствии дотянуться до покоренной страны... Повернуть назад он не мог, словно забыл, откуда вышел. Смерть его была невнятна. Так

захлебывается любая агрессия, устанавливая лишь необходимую границу расширения своего ареала.

То же оказалось, с точки зрения доктора, и у более поздних — норманнов (так он подползал в более близкие нам эпохи, а я как охотник, притаившийся в своей заимке, не дышал и не шевелился — не перебивал). Викинги тоже обладали военной мощью, сравнимой со Спартой, им не было равных — они могли бы завоевать мир, с нашей точки зрения куда более пригодный для жизни, чем их скалы и фьорды. Но они поступили с биологической точки зрения последовательней Александра: они были в силах овладеть Европой, однако открыли нежилые для европейцев Исландию и Гренландию и, до Колумба, добрались до северных берегов Америки, — они распространялись лишь в пределах свойственного им ареала северных морей.

Теплее, теплее... От викингов уже начиналась история России.

— Хоть и север, а не их ареал, — сказал доктор, — в России они обрусели. Их власть увязла.

— Это как в прибайтке, — сказал я, — иди сюда, я медведя поймал...

— Вот, вот, — согласился доктор.

— А татары почему застряли в нас же? — продолжил я.

Доктор хмыкнул, пожевал и заключил:

— Степи кончились.

Но дальше он не шел на заман моего восхищения. Он остановился, как Александр, слишком далеко зайдя в своих выкладках. Смолк. Посмотрел вдаль.

Море к вечеру совсем успокоилось и замерло, отлакированное, словно сытое и более густое, чем вода. Бродя по нему каждый день часами, давно я его не видел... Кроме ящичных штормов, бывают еще штормы «бутылочные», выбрасывающие невиданные, не питые мною бутылки и фляги из-под виски и джинов, бывают «янтарные», выбрасывающие последней волною крошку янтаря. Давно уже я смотрел только под ноги в надежде найти янтарину «с голову ребенка», или целую канистру, или хотя бы плоскую фляжку... но ничего из того, чем набита была кают-компания Станции (однажды — большая банка черной икры, к сожалению, уже негодной), я упорно не находил, не зная, что в поисках этих мною руководит пращур, что это — моя экскурсия в пра-нишу человека... Давно я, оказывается, моря не видел, не поднимал головы, довольно быстро располагаясь в нише предка. Вечер-

нее море серо розовело, опалово высветлялось к горизонту; и там истаивало, исыкало такой нежной линией, которую проявлял лишь тоненьким острым штришком намеченный там пароходик. И солнце сходило, неправдоподобно увеличиваясь и краснея. Глаз не оторвать... Я оторвал — наконец увидел, прямо под носом, темно-вишневый пластмассовый ящик из-под шведского пива с тремя невцветшими золотыми коронами на нем...

— Пусть так. Хорошо...— вдохновенно рассуждал я.— Если экологическая ниша первобытного человека — собирательство и раз он покинул эту нишу, пробравшись по пирамиде жизни на самый верх, до предела расширив свой ареал и расселившись по всем территориям Земли, вытеснив все другие биологические виды, то что же теперь его ниша, его ареал? Что можно обозначить как экологическую нишу современного человека? Саму планету Земля? Можно так выразиться?

— Это несколько тавтологично,— пожал плечами доктор.— Впрочем, пожалуйста.

— Хорошо,— закрепился я.— Тогда, с другой стороны (прекрасный ящик ритмично бил меня по колену...)...— можно рассуждать о Земле как о единой экологической системе, как об экологической нише самой жизни на Земле... (Доктор пока не возражал.) Можно сказать, что к моменту появления человека на Земле завершилась как бы и эволюция жизни? (Доктор все молчал...) Что к тому моменту земной шар в целом представлял собою совершенную, хорошо развитую, надежную, окончательно сбалансированную экологическую систему, где все было взаимосвязано, образуя замкнутый кругооборот, не нарушавший никак точности общего баланса жизни и возможности постоянного возобновления земных ресурсов, куда, гармонично и ничего еще пока не порушив, поместился и первобытный человек — собиратель? Так, я пока не противоречу?

— Да вроде бы и нет,— скучно согласился доктор.

— Человек покинул свою первоначальную нишу, в которой он существовал наравне с другими видами. Он извел массу видов живого на Земле, а те, что остались, способны сохраниться лишь по его благоденствию, в запovedной системе; он повывел леса, погубил реки; он сжигает кислород уже давно с такой скоростью, с которой тот не возобновляется редееющими зелеными растениями... Не мне вам это излагать — сейчас об этом, в той или иной степени, знает любой, даже читающий одни лишь газеты человек. По-видимому,

Земля как экологическая система накопила к моменту выхода человека из его ниши достаточный, так сказать, «запас прочности». Земля все еще Земля: ось ее не сместилась, льды не растопились, атмосфера не оторвалась — нам, почти четырем миллиардам, все еще хватает: мы дышим, едим и пьем. Человечество в огромной части все еще живет впроголодь, как и первобытный человек. Мы, по-видимому, не собираемся потреблять меньше и во имя этого смело хозяйничаем на Земле. Можно ли сказать, уже не в том смысле, который вы упрекнули в тавтологии, а в более соответствующем определению, что экологическая ниша человека как раз и есть тот «запас прочности» Земли как наиболее общей экологической системы, то есть некий диапазон ее существования от времени человека-собирателя до мировой катастрофы, приводящей к гибели всего живого? В начале века нас было полтора миллиарда, к концу будет шесть.

— Если хотите, можете считать так, хотя, элементарно, нельзя измерять пространство временем, как делаете это вы. Экология рассматривает лишь уже существующие экологические системы. Лишь в этом смысле она — наука.

— Несколько неловко должно быть человеку, — сказал я, будто это доктор все подстроил с его экологией, — если не стыдно: быть венцом творения и понимать это лишь так, что он рожден воспользоваться творением.

— Можно не называть нашу Землю творением, но в остальном я с вами согласен: некоторая неловкость имеется. Но ведь это теперь осознаем не только мы с вами. В этом направлении сейчас имеется явный сдвиг в сознании...

— Вы — ученый, — напал я, — то есть знающий и трезво оценивающий действительность человек. Разве вы верите, что человек способен остановиться? Пока что он лишь развивает ускорение. Технический прогресс — это процесс, а не программа. Человек давно биологическое существо лишь в тех трех неоспоримых смыслах, о которых вы мне как-то сказали. В остальном он уже не природа, а ее приговор. Человечеством правят экономические, а не биологические законы. Экономически невыгодны даже те охранные меры, которые предпринимаются сейчас, а они, я думаю, в целом имеют не больший эффект, чем воздействие каких-нибудь английских старушек из общества охраны животных...

— Зря вы так про старушек... — сказал доктор. — Их деятельность совсем не так незначительна, как вам кажется.

— Ничего, — сказал я сардонически, — может прийти время и для общества охраны старушек... Скажите, только

честно, что вам больше по вкусу: голая ледяная Земля, над которой зря восходит Солнце, или...— Я покосился на море: огромное солнце, приближаясь к горизонту, приняло неправильную форму, напоминая грушу; гладь пошла алым шелком... Жаль было солнца, хотя оно в моих прогнозах оставалось в целости.— Или — зеленая, населенная зверьми и птицами, с реками и озерами, полными рыбы, с подбирающим корешки человеком и, быть может, разумным дельфином, не пошедшим по нашему неразумному пути?

— Я понял вашу антигуманистическую мысль, — сухо вато сказал доктор, — дальше не говорите вслух того, что хотели у меня спросить. Да, я задавал себе тот же вопрос...— Солнце скатывалось к горизонту все стремительнее, как яблочко; оно расплющилось, как капля, о поверхность; и, против ожидания не зашипев, быстро ушло под воду, оставив на воде неповторимый серый свет с испариной розового...— Вопрос этот лишен смысла. Тогда некому было бы посмотреть на это счастье...

— Как же! — воскликнул я. — И это говорите вы?.. Разве не радуется жизни все живое на Земле!

— Да, но только человек способен оценить совершенство в полной мере...

— Да но...

— Не роняйте преждевременно бомбу, которая у вас в сердце. Мы не все знаем. Мы не знаем и того, с чем суммируется и во что выливается даже невысказанная адская мысль. Я сейчас сделал вам признание, на которое не имел права как ученый...— Слабая его улыбка еще отражала закат.

Так мы договаривались о перспективах человечества, словно от нашего решения и впрямь что-то зависело. Мы искали на ощупь выход из собственного умозрения. То нам казалось... но каждый раз и этот путь зыбился и испарялся от малейшего реального представления. Любые меры были недостаточны. Человек решительно отказывался понимать свое действительное положение, озабоченный лишь тем, что было или казалось ему непосредственно насущным. Настоящее отрывалось от будущего, и в этом отрыве испарялось милое прошлое, среда, доставшаяся нам в наследство. Мы договаривались до того, что учреждали некое тоталитарное правление экологии над человечеством, где средневеково рубились руки за обрубленные ветви и отсекалась голова за голову зайца. Все это творилось нами во имя человека... Хоть так о н и нас наконец поймут!.. Они были — все остальные, кроме нас. По трезвом рассуждении, наш кабинет вскоре пал.

Свергнутые с престола, мы возвращались домой и поднялись на дюну. Солнце на миг вынырнуло из моря, чтобы погрузиться в него опять. На вершине дюны лежал розовый песок, длинная бархатная тень вогнуто, изнанкой, ложилась по склону, в ложбинке меж дюн шевелилась, просыпаясь, ночь.

— Никогда бы не поверил, что Мальтус жил в восемнадцатом веке... — вздохнул я. — Экипажи, роши, шлейфы, струнные квартеты... Воздух... какой тогда, должно быть, был воздух.. Журчали ручейки... гудел шмель... пастухи и пастушки, свирель... а он, завернувшись в мрачный плащ, покачивался в карете, обдумывая свою далекую и черную, ничем вокруг не подсказанную мысль...

— Не странно ли вам, — сказал доктор, — что именно здесь мы проговорили весь вечер, не встретив ни одного человека, в первозданной природе... и — о чем?..

— Да, нашли место!.. — рассмеялся я, благодарный ему за это его «мы». В руке у меня был ящик из-под шведского пива, подтверждавший мое намерение жить.

И только солнцу окончательно ушло в море — напротив, со стороны залива, не дождавшись сумерек, из-за дюны вывалилась луна. Словно они качались на Косе, наши два светила, именно через нее перекинув свою невидимую доску... Лицо луны было зеленым, будто она там у себя черт-те что видела, прежде чем выйти к нам.

Наверное, из-за нее так ворочалось, так не спалось: во все щели пробивался ее испуганный свет. Я привстал и выглянул в окошко: тучки пробегали по ее и так невеселому челу. На секунду она скрылась, скраденная толстым облаком, чтобы вынырнуть еще более ядовито разгоревшейся. «Луна зашла за тучу...» — повторил я про себя эту спокойную фразу, и меня разобрал смех: «Луна-то никогда ни за какую тучу не заходила! То есть, представить только себе, где туча, где я, где Луна... — трудно привести пример более юмористического смещения масштабов!» — «Солнце скрылось за горою...» — с чего бы это мне вдруг так расчихикалось?..

Я представил себе действительную самостоятельность Солнца, которое, видите ли, «шлет нам свой свет», «свой пламенный привет». Дудки, сообразил я, оно этим никак не занято. Ничего оно и а м не шлет. Оно вполне собой занято — мало ли, в виде какой пыли мы проплываем мимо... Единственный гвоздь, на котором повисла вся наша земная жизнь,

зашатался в моем мозгу. Самонадеянность и нахальство человека вполне выразилось прежде всего в языке, хотя бы в этих простых формах. Человек каким-то образом, считает, что все, чем он пользуется, имеет к нему прямое отношение. Но это и впрямь смешно. «Кладовая природы», «природные богатства», «покорение природы», «черное, белое (и еще кое-какое) золото»... — перебирал я все новые свидетельства человеческого разбоя, оставленные им в языке, как отпечатки немых пальцев. Я лежал на спине, и лицо мое отдельно и самодовольно ухмылялось, залитое, видите ли, лунным светом...

Я проснулся от тяжкого грохота, разверзшегося прямо падо мной, чуть ли не в моей собственной голове. В кромешной темноте, от внезапности, я не только не понял и не вспомнил, где я, что со мной, но и — кто я. Проснулось в ужасе нечто живое, способное испытывать страх и не желающее погибать; оно не знало, что оно — я. Следом за грохотом и сотрясением наступила, как на горло, полная, черная тишина, в которой не было ничего, кроме протяжного страха и удушья. Раздался ослепительный белый свет, озарив спичечную коробку, в которой я спал, и меня, стоящего на четвереньках на кровати. Именно показалось, что я увидел и себя, свое тело, словно покинул его, пока еще на небольшое расстояние, в задумчивости, вернуться или нет. Следом на крышу обрушился удар, крыша ухнула, но, как ни странно, выдержала, пружиня и постанывая под сплошным потоком воды, лившимся на нее. В этом шорохе и гуде раздался новый, на этот раз будто красноватый свет, проникший сквозь толщу бсжавшей по стеклу воды, и опять все замерло в полной черноте и ровном шуме потопа. Тут-то и вдарил, в такой близи, что опять будто в черепе, следующий гром. Сна не было ни в одном моем вытарашенном глазу, но от этого испуг мой только возрос. А дальше запылило и засверкало с такой частотою, что свет от вспышки до вспышки не успевал померкнуть в глазах — избушка моя была охвачена розово-белым пламенем. Я различал при этом свете карту над кроватью: все жилки рек и железных дорог и кружочки городов; пыхнуло — и я прочел бессмысленное слово «Амстердам». Такого города больше нет, равнодушно подумал я, Голландию уже смыло... Я не уверен, были ли у меня отчетливые представления о том, что происходит: столкновение с кометой, взрыв атомной бомбы, отрыв атмосферы, потоп или я схожу с ума, — одно мне было ясно: конец. Чтобы

придать себе немножко бодрости, я повторил вслух его синоним. Этот висельный юмор не выручил меня. Я не знал, что обычно делают в таком единственном случае, как конец света, — опять одно мне стало ясно: я ни за что не хочу погнубнть именно здесь, на этой постели и в этой будке. На тех же четвереньках я сполз с кровати и, мыча от ужаса, лбом отворил дверь. Это было правильно, что я выполз на карачках: вода лила стеной, и в другой позе было бы невозможно дышать. Здесь было еще светлее, чем в домике, сверкала, гранясь, вода. Из-за черных стволов сосенок я понял, откуда свет. Теперь я не умру в этом домике!.. — одно было сделано. Но мне не хотелось погнубнть и в этих тесных сосенках. Я деловито пополз на свет, желая — на открытое пространство. Быстро, как животное, я побежал на четвереньках, оставляя в сыром песке свой новый след. Так я выбрался на открытое место, к подножию дюн. Передо мною, над заливом, стояла огненная пульсирующая стена. Она была красно-желтого цвета. Грохот мощнее пушечного обнимал меня со всех сторон. Я остановился, замороженный зрелищем этого колеблющегося, плотного, гремящего занавеса. Больше у меня никаких решений не было, я не знал, что дальше делать, и я заплакал. Я захлебывался ливнем, а мне чудилось, что у меня стало столько слез. Я не хотел погнубнть. И не то чтобы мне так уж захотелось в эту минуту жить или не хотелось вот так погнубнть — мне не хотелось погнубнть т а к и м. Я не был готов. В отчаянье я еще немного пополз вверх по дюне, волоча за собой как бы узелок с потрепанными и неизбытыми, как недвижимостью, моими грехами: ненаписанное письмо матери, так и не подаренный дочке щенок, позор сегодняшнего многословия... не знаю, почему так мало и такие невинные припоминал я свои грехи, искренне готовый каяться во всем... наверно, подсознательно, хотел отойти для себя в лучшем виде. У меня не было намерения надуть Всевышнего, — самым большим и позорным, покрывающим все эту мелочь, был грех моей неготовности предстать перед ним. Я вознес ему какую-то мычащую молитву без слов и перекрестился. Это изумило и даже отрезвило меня: неким несомненным чувством я понял, что сделал это п р а в и л ь н о. А ведь раньше... я хорошо помню, что никогда толком не знал, как надо креститься: слева направо, справа налево? как начинать — по вертикали или по горизонтали? пуп — последним или вторым, сколько перстов сложить?.. Я не был религиозным, но относился к храму с достаточным почтением — но перекреститься в нем

никогда не мог не только потому, что это было как бы недостаточно оправдано и обеспечено, но и потому, что толком не знал, как это. Я косился на молящихся, стараясь усвоить, но то ли они крестились так мелко и часто, то ли... В общем, хорошо помня свое постоянное недоумение по этому вопросу, стоя на коленях у подножия дюны, перед огненной стеной, как перед Явлением, я так по-детски обрадовался, что у меня все это получилось! И так ловко бил я поклоны, так истово крестился, что ужас покинул меня, и страх, этот бич человеческий, смыло с меня водою. И больше я не помню, что...

Я и проснулся, не помня. Вышел в раннее утро. Солнце сияло. Сверкали капельки на ветках. Курилась трава. Еще яростнее, чем обычно, щебетало птичье царство. Тащил мушью тушу муравей. Сотрудница Н. стаскивала клетки с чердака.

Все было на месте, прежний рай. Только словно еще голубее небо, еще желтее песок. Тем не менее утро показалось мне неискренним: оно прикинулось — утром. Я искал примет измены — не находил. Оно делало вид, что не помнило, посмеивалось над ревнивцем. С кривой усмешкой попробовал я так же правильно сложить персты и перекреститься — рука не поднялась, я опять не помнил как. «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Хоть эта радость не изменила мне: в очередной раз обомлеть от точности языка. Хмурый доктор прошел мимо меня с помазком в руке, вернулся.

— Я всю ночь думал о нашем разговоре, — сказал он. — Я подумал, что нет ничего беднее, чем богатое воображение. Оно гипнотизирует обладателя яркостью первой же, как правило, самой банальной и примитивной картины. Пессимистический взгляд, по той же природе, как бы более убедителен. Мы не можем убедиться в сколько-нибудь далеко идущих причинах и следствиях на собственном опыте, мы не дождемся результатов своего опыта на протяжении своей одной жизни... Таков человеческий век — он не равен ни истории, ни жизни. Еще одна опора для пессимизма, его второй глаз. Мой оптимизм может показаться человеку молодому и честному неубедительным, вымученным, выгодным... Однако во всей этой игре всегда запасен ход, которого мы не учитываем. Назовите его как угодно: нашим ли неведением или волей Всевышнего. Вы вчера обозвали человека паразитом, заведшимся в «запасе прочности» Земли (ваши

слова?), как в коже. Я почти согласился с вами. Все это, может быть, и так, но никто из нас не может — не предположительно, не фантастично, а практически — оценить размеры этого запаса. Это как в карты: да, дорога, да, казенный дом и, конечно, дама... но — когда? Время не названо. Не определив временную координату, можно предположить что угодно, что-нибудь да совпадет. И если мы не можем определить этого коэффициента «запаса», то не можем определить и роли человека и прогресса. В равной степени как и то, что человек не остановится и срубит сук, на котором сидит, топором прогресса,— в той же мере можно предположить и вещь, по смыслу обратную... Раз уж Земля наша все еще велика и достаточна для жизни, то не есть ли ее катастрофическое уменьшение в нашем сознании (коммуникация, информация и т. д.), ее вопиющее оголение и разорение тоже в нашем сознании — лишь форма ее защиты, знак предостережения, сигнал, включенный много раньше реальной опасности, дабы мы успели внять и успеть... То есть я считаю, что скорость нашего представления об опасности — не пропорциональна реальному положению Земли, и в этом тогда, выражаясь в вашей терминологии, — «запас прочности» человека, гарантия успешного (опять от слова «успеть») обучения наглядностью прогресса; то есть ускорение прогресса не слишком велико, а достаточно велико, как раз чтобы успеть до катастрофы. Быть может, совсем скоро — выпускной класс, конец среднего обучения человечества... по ановка опыта в школьной лаборатории, фальшивый взрыв... искрит в кабинете физики, воняет из класса химии — не больше.

Я почему-то обиделся. Обиделся, что я — «молодой» (хотя и «честный»). Тоже мне старик! Года на два меня моложе. И тут вдруг, повернувшись, дошла и мысль. Мысль о том, что наше представление о реальности может оказаться быстрее реальности, что в этом — залог, в этой высокой реакции... эта мысль показалась мне новой, несмотря на ее жизнеутверждающий смысл. Практический опыт заставлял меня криво усмехаться: я ли не свидетель, что люди не обучаются ничему! что им хоть кол на голове теши... Но — «всегда есть в запасе ход...» — так он сказал... Этот ход мне нравился.

Утро было прелестным. Если оно и прикидывалось, то это получалось у него еще лучше, чем на самом деле. Я вышел к ловушке... Еще не просохшие ее сети, отяжелев, провисали крутыми кривыми. В самой узкой ее части был своего

рода последний приемник, где томились пернатые узники. Их было не так много: две или три воробьиных... Я услышал за плечом несколько странный, незнакомый, но отчетливый смех. Будто ко мне подошел прокуренный, небритый, малость безумный старик... Откуда бы здесь такому?.. Оглянулся на... Никого. Пришлось мне на всякий случай пожать плечами. Тогда оттуда же тот же старик, дразнясь, отчетливо каркнул. Я оглянулся гневно и увидел Клару. Она заняла удобное, просторное место на нетолстом и нетонком суку и комфортабельно наблюдала за мной и за ловушкой. Увидев, что я ее увидел, она повела себя более чем странно: клетотно, взახлеб раскаркалась — карканье это, по прежней нелепой ассоциации, напоминало хохот; захлебнувшись, она перевернулась на ветке, покачалась вниз головой, подкаркивая; затем, ловко вернувшись в прежнее положение, снова разразилась порывистым карканьем, от восторга маша крыльями и нетерпеливо переступая, но вовсе не собираясь взлететь. Я осмотрел себя: чем я мог вызвать такое ее поведение? — это было нелепо, это был не я... Я внимательнее проследил ее взор и лишь тогда увидел посреди ловушки мечущуюся большую птицу. Черт ее знает, кто это была — так быстро она металась — совка, сойка, кукушка? не сорока... птица не меньше Клары. Она угодила в ловушку, металась в поисках выхода и, неизбежно ткнувшись в сетку, шарахалась и спускалась глубже и ближе к тому окончателюному приемнику, у которого наблюдали мы с Klarой. Выход по-прежнему был ближе к пленнице, чем конец ловушки, и он был широко раскрыт в отличие от стремительно сужающегося горла ловушки, — однако птица, как ни сопротивлялась, подвигалась лишь вглубь. «Странно, — подумал я за нее, — ведь тебе сейчас проще вылететь, чем влететь...» Клара искаркалась вовсю. И это не было сочувствием или призывом. Это по-прежнему напоминало смех. Она переворачивалась, раскачивалась вниз головою, как «ой, не могу!..», и снова восторженно и счастливо захлебывалась как бы хохотом. Вдруг я понял, что хохот это и был. Никакого сомнения. Помнится, я расспрашивал доктора о чувстве юмора у зверей... я получил теперь ответ. Кларе было невыносимо смешно: в ловушку попала птица, равная ей. Я уже говорил: такое случается достаточно редко — крупные птицы умнее и понимают ловушку. Была, конечно, и доля жестокости, низкого торжества (не я!) в Кларином смехе. Но это был именно смех. «Экая дура! карр! — хототала Клара. — Такая большая! Карр-карр! И такая дура! Кр-р...» Может, ей и впрямь была так поразительна

глупость большой птицы, что и личного торжества никакого не было. Дур-ра!

...Как мне было не посмеяться над собою, еще более крупным существом!..

За труд под солнцем бывает и воздаяние. Не следует ни недооценивать, ни переоценивать его размеров. Следует — благодарить.

Пока я корпел над разговорами двух перипатетиков, и сам что-то понял. Это, само по себе, оправдание моим попыткам. К тому же я был вознагражден двумя небольшими историями, которые полностью перекрывают мой текст, и мне кажется, что историям этим было бы труднее меня найти, не напиши я все это. Может, я бы не настолько восхитился ими, не имей к ним сам некоторого отношения.

Одна история — классика зен-буддизма:

«Ученики собрались под деревом и ждали учителя. Когда он приблизился, в ветвях запела птичка. Учитель замер, вслушиваясь, — прислушались и ученики. Когда птичка спела свою недлинную песню, учитель сказал:

— Проповедь окончена.

И пошел назад».

Другую историю сочинила первоклассница Юлия (я встречал мало людей, которые с тою же скоростью и точностью, а главное, естественной легкостью, как она, выражали в слове самые тонкие отношения). Эту историю она сочинила от мужского лица (по соображениям стиля, надо полагать...).

Вот, дословно:

«Вчера к нам на студию приходил иностранец. Он много рассказывал забавных историй, но мы его не понимали. К счастью, с ним был переводчик. Он объяснил нам, что иностранец рассказывал о воронах и сороках. Оказывается, эти птицы, такие похожие, очень мало понимают друг друга.

Когда я утром пришел домой, то подумал: «Как странно! Мы так плохо понимали его, а он нам рассказывал как раз об этом...»

ЧЕЛОВЕК В ПЕЙЗАЖЕ

Взгляни на камень, который выбросили строители: он — краеугольный.

Это место мне явно не принадлежало. Я его не назову. Анонимность будет моим оправданием. Описание из опасения быть неточным будет минимальным. Тот, кто узнает, пусть простит.

Оно было внезапным, это место. Или с т а л о внезапным. За обозримую нашу жизнь это произошло. Раньше, возможно, оно как бы произрастало из местности более широкой, венчало ее. Теперь оно бьет по глазам, его не может быть... ибо уже не стало того города, что его обосновывал. Нет, это не описание после атомного удара... Здесь строилось и жилось; все прямо и прямо, проспект, ни в чем не изменившись, становился шоссе; те же многоэтажные мертвенно-бледные коробки, равно нежилые: заселенные и незаселенные, достроенные и недостроенные; людей не было видно, чтобы они входили или выходили из них; казалось, едешь по одному и тому же месту, то есть как бы и стоишь; и вот на пределе города, когда шоссе уже окончательно ныряло в не столь освоенное пространство России, надо свернуть налево, и усыпленное однообразием дороги сознание оказывается совершенно не готово к восприятию...

Во-первых, холмы, во-вторых, деревья. Будто земля задышала, будто вздымается и опускается грудь — вы и дышать-то начинаете в такт взгорбам и поворотам дороги, уже почеловечески узкой. И тут по холму змеей побежит белокаменная стена некоего кремля, и вы упретесь наконец в неправдоподобно прочные и толстые его ворота, а там, на территории, все другое: ровные газоны, старые деревья, храм божий... Музей и заповедник, воронье счастье. Пространство. Снача-

ла культурное, а потом окультуренное. Несвойственно стоят здесь и старинные деревянные постройки, сами по себе очень приятные. Они свезены с Севера со всех уголков. Вы посетите избу, в которой останавливался в Архангельске Петр. Там вы смеряетесь с ним ростом и ладонью (зарубка на дверном косяке и отливка с отпечатком пятерни). Постепенно вы минуете уже окончательно отреставрированную и отрепетированную часть заповедника, все чаще станете наталкиваться на кучи строительных материалов и мусора с видом на удивительную колокольню, шедевр русской готики: островерхий многогранник ее шатра вписан в подобный ему многогранник строительных лесов, и эта непривычная глазу острота и граненость каким-то образом останется все-таки русской. Насытившись осмотром всего, что восстановлено и восстанавливается, вы можете проследовать и дальше...

О этот незаметный переход из жизнеутверждающей не-красоты стройки в запустение и одичание! Бурьян. Единственно ли подорожнику под силу победить вытоптанность, или он ее полюбил, предпочел? Репей, лопух, одуванчик... И чистый их лист уже пылен. Консервные банки прорастают в землю, ржавая и рыжая; в газетных клочках выгорают текст; тряпье дотлевают трупом, тоскуя по человеческому телу, на смену пыльному лопуху поспевают от рождения пыльный лист, такой ласковый на ощупь, — это жизнь, обученная смертью. (Здесь увидел я наконец-то пробивший свалку, непристойно торчащий красный петров крест. Как ужас детства пронес я его — он оказался потом всего лишь растением — сквозь всю жизнь, как слова «война», «фашист», «изолятор»: он рос для меня в сорок четвертом году за пищеблоком первого пионерлагеря, и мы называли его рак земли.) Замечательно борется природа с культурным слоем! Эти мусорные цветы и травки, как пехота, отвоевывают ей землю, чтобы восстановить свою культуру. Дикая природа не будет такой запущенной. Запущена она лишь там, где что-то раньше было, пусть даже прекрасный парк. Одичавший и измельчавший малинник сбежал в овраг, и я за ним. Там струился загнивший ручеек, и новая дощечка была перекинута через него.

От новой дощечки шла вверх круто и высоко гнилая лестница с одним обрушенным и другим топорно восстановленным перилами. Тут была тень и серь, веяло сыростью. Все то же качество одичалости проявлялось во всем, особенно в зеленом листе. Лист не был зелен, хотя он уже не был и пылен. Он был такой жестяной и обесцвеченный, как лист искусственного

венка на заброшенном кладбище. Но стоило наконец подняться, минуя проваленные ступени, чтобы там и оказаться!.. наверху кладбища и было с тем мусорным венком...

Культура, природа... бурьян, поваленные кресты. Испитое лицо. Тяжко вообразить, как здесь было каких-нибудь три-четыре века назад, когда строитель пришел сюда впервые... Как тут было плавно, законченно и точно. Роскошный скелет все еще проглядывал сквозь прохудившуюся рвань драпировки: так же крут был берег, так же широка река, так же внезапно отступал он, оставив под собой нежно-зеленое озеро пойменного луга, и вдали вдруг поворачивался как от окрика и замирал в далекой синеве леса, словно река, вильнув, поменялась берегами, и левое стало правым, а правое левым... и небо, разве чуть подвыцвев, оставалось, наверно, прежним. Какова же была здесь линия, если она еще оставалась!.. А такова, что настоятель и строитель вздохнули дружно и глубоко, и сомнений у них не стало: здесь!

Большого природа предложить не могла. Завершенность предложенного была очевидна. В такие места просится храм, кремль, город. За какой-нибудь век люди справились с этим пространством, в него вписавшись, и оно стало к у л ь т у р н ы м. О мере законченности и совершенства этого культурного пространства можно было теперь лишь судить. По тому «участку» при входе (уже не в монастырь, а на «территорию»), где все было восстановлено «как было». В новизне и прибранности видна была скороспелость «плана». И краска тут пошла какая была, и трава росла не сотню лет, и дерево досок и бревен еще помнило о торопне топора. Но это ладно, бог с ним. Пройдет время (и небольшое!) — и, прежде чем все здесь снова начнет рассыпаться (на этот раз еще быстрее), будет-таки пауза времени, когда все станет так: почти как было. Время ведь тоже трудится, как человек: сначала совершенствуя и лишь потом — разрушая. Занятое количество границ! Дикой природы — с одичавшей культурой, одичавшей культуры — с культурным пространством, культурного пространства — с разрушением, разрухи — с одичанием, одичания — с дикостью... Все тут было во взаимном переходе, во взаимном обрыве...

Я вскарабкался по обрыву. Никогда, ни в каком буреломе не можете вы наблюдать той мерзости запустения, как в разоренном культурном пространстве! О, насколько одичание дичее дикости!.. И ветер победно шуршит в помойке, бывшей когда-то храмом и кладбищем. Раскачиваются венки, перекачиваются банки, перекаати-полем скачет газета. Произрастают

кирпичи и мерзкие кучки. Вспархивают вороны, кружась над былым, не над настоящим. И слой сквозит сквозь слой, как строй сквозь строй.

И вот из слоя в слой, оскальзываясь и огибая, попадешь во внезапную точку, и в ней острый, со свистом (отнюдь не облегчения...) вдох прервет тебе прокуренную грудь: отсюда в с е видно! Все как было. Каким образом всегда сохранится эта единственная точка, уже не зрения, а — луча, с которой вы очнетесь и вспомните, именно в с п о м н и т е, как было?! Что же это?!

Но не попробуйте сделать и шаг в сторону! Если уж почастливилось, нет, сподобилось, оказаться в такой точке — она единственна. Шаг влево — и стадо подъемных кранов расклеивает пространство на горизонте; шаг вправо — и вы летите под кручу, в помойку и свалку; шаг назад — и либо наступите, либо порвете брюки о колючую проволоку...

Культура, природа... Кто же это все развалил? Время? История?.. Как-то ускользает, кто и когда. Увидеть бы его воочию, схватить бы за руку, выкрутить за спину... Что-то не попадался он мне. Не встречал я исполнителя разрушения, почти так, как и сочинителя анекдота... Одни любители да охранители кругом. Кто же это все не любит, когда мы все это любим? Кто же это так не любит нас?..

Я смотрел из единственной точки.

Нет, в мире — осталось!

О, знал бы я, что это не я так видел и понимал, как сейчас пишу... Дал бы я деру! Это я теперь так понимаю и вижу. Трудно не перепутать прошедшее с будущим вплоть до их последовательности в настоящем, если само пространство, кажущееся нам более объективным, настолько их (времена) перепутало...

Я стоял покачнувшись, опасаясь, или робея, или не смея сделать хоть шаг. Неустойчивость позы объяснялась единственностью точки зрения.

Там он и сидел. Разрушитель последней точки... В неправдоподобной позе, на неустойчивом, накренившемся стульчике, держась за кисточку. Я повис у него над плечом. Он обернулся...

Не берусь описать. Меня не было в этом взгляде настолько, что не знаю, как я не исчез. Мало сказать: он взглянул на меня с испугом; неправильно — со страхом, неточно — с ужасом. Лишь долю секунды провисел я в его покачнувшемся взгляде, но покачнулся и стульчик, дрогнула кисть, он поспешил в прежнюю точку, совершенно меня не заметив. Секунду

лишь покачался на нити моего взгляда, как канатоходец, восстанавливающий равновесие.

Нас с ним снова ничего не связывало. Он себе сидел и писал из единственной точки, в которой я и оказался. Не было со мной любимой, чтобы полюбоваться вместе. Полюбоваться вместе... никакой двусмысленности. Ее не было. Давно же ее со мной не было!

Бездна не пустота, и пустота не бездна. Я пролетел насквозь и то и другое.

Я разозлился. И именно на этот рисующий пень. Он заткнул мне единственную точку зрения. Пейзаж из-под его кисти совершенно не соответствовал единственности, избранности положения. Нелады с цветом... Он шел из левого верхнего угла холста — по-видимому, по диагонали — в правый нижний. Синий лес слева вверху, серебряная подкова речной излучины посреди; в правом нижнем углу, невидимый себе, зацепившись, прилипшим волоском сидел уже сам живописец. Правый верхний угол пустел для неба, еще никак не прорисованного, ни облаком, ни крестом, ни птицей не осененного. В левом нижнем темнело расплывчатое поле зрения. Я оглянулся через левое плечо. Это было неоправданно, будто он мог написать что-нибудь из того, что у него за спиной, будто, оглянувшись, я мог увидеть самого себя... Там из кучи мусора произрастал устрашающе напряженный фаллос петрова креста. Я содрогнулся. Это тоже был взгляд. Надо же, чтобы этот моховик с мольбертом именно так на меня посмотрел. Как она! Ее не было. Он — был.

Он уже знал о моем существовании, хотя и не оборачивался больше. Я до него д о ш е л. Нить, натянутая между ним и пейзажем, ослабла и провисла. Неустойчивая, вдохновенная его фигура, цеплявшаяся за угол холста, успокоилась и осела. Стульчик стоял устойчиво, плечи повисли покойно, кисть увязла в палитре. Был тот последний, вечерний час, когда небо еще раз светлеет, как та свеча, что вспыхивает перед тем, как погаснуть. На холсте у него уже смеркалось. Он напоминал рыболова, у которого не клевало целый день, но именно сейчас он решил сматывать удочки, все еще подергивая поплавков... Бояться мне было нечего. Недавняя чувствительность уравновешивала наглость.

— Я вам не помешал?

— Помешал, помешал! — живо откликнулся он и с облегчением отложить кисть.

— Тогда позвольте...

— Позволил, уже позволил.

— Спросить, я имел в виду...

— И я ничего другого.

— Учтите, я профан. То есть, простите...

— Я вам охотно верю. Иначе бы вы сразу увидели, что и я профан.

Его неоправданная, на мой взгляд, гордость обидела меня. Но я сдержался.

— Что же вы молчите? — напал он. — Или вам не нравится?

Он мне показался ясным: не из тех, кому можно сказать что думашь.

— Нет, что вы. Прекрасный вид.

— Вид!.. — Он пренебрежительно поджал губы.

— Я ведь предупредил, что я профан... Вид и пейзаж — есть разница?

— Принципиальная! — тут же клюнул он. — Вид — это то, что и вы увидите. Пейзаж — это то, что увидел я. Вид, собственно, — и он взглянул на картину и вздохнул, — не может быть написан никогда...

— То есть?..

— И никем, — уточнил он гордо. — Кто написал снежные горы? Или лес?

— Шишкин, — сказал я не раздумывая.

— Ну знаете ли... — Всем своим видом он дал понять...

— Гор я и впрямь удачных не вспоминаю, — чуть поправил я свое положение.

— Вот видите! Разве можно написать то, что равно себе, — в том же значении? Кто нарисовал пустыню? Море?

— Айвазовский, — естественно, сказал я.

— Ну знаете ли! — Он был возмущен. — Скажите: Тернер, — я и то поспорю.

— Ну Тернер-то чем плох? — с апломбом сказал я, не уверенный, что не путаю его с Тенирсом. «Вы имеете в виду старшего или младшего?» — хотел блеснуть я, но, к счастью, удержался... — А Левитан, Васильев?.. Разве им не удавался лес?

— Я не такой уж поклонник Левитана... Цвет, знаете ли... — Он осторожно покосился на собственный холст. — Тучи, — сказал он задумчиво.

Я посмотрел в небо: оно было ясным.

— Тучи им удавались. Поле, а не лес. Поле — это уже море. Чистое небо им не удавалось. — Он повторил мой взгляд в небо. — А тучи, блики, отражения... Оправданный абстракционизм. — Он поджал губы. — Самовыражение... —

Похоже, он презирал «самовыражение»... — Нет, вида никто не написал! То, что им удавалось в какой-то степени, есть не вид, а состояние.

— Импрессионизм? — проявил я догадливость.

— Если хотите. Преддверия, предчувствия... Пред-верие в лучшем случае. Но они считали себя объективными, то есть это мы их считаем реалистами... То есть я хочу сказать, что они всегда оправдывались. Оправдывались, что так бывает, оправдывались реальностью опыта, пусть самой мимолетной. Их всех побеждала фотография, и они с нею боролись.

— Ну, качественную разницу между живописью и фотографией и я знаю, — несколько обиделся я.

— Знаете? Ну-ну... А я и не ругал фотографию. Это вам показалось. У фотографии заслуга перед живописью перво-степенная!

— Какая же? — спросил я, как бы снисходя к его ортодоксальности.

— Прямая. Она обозначила, чем живописи заниматься не следует. Раз этого же можно достичь механически, аппаратом. Именно она породила импрессионистов.

— От противного? — догадался я.

— От очень противного. Фазан — отдельно, сазан — отдельно, как говорил один замечательный грузинский художник. Сезанн — отдельно... — И облачко восхищения и скорби подернуло его чело.

— Что же нам породило кино? — усмехнулся я.

— А это уж не моя компетенция. Может, следовало бы прекратить писать романы, а?

— Ну романы-то тут при чем?

— Вам виднее. Я хотел сказать, что пейзажист лишь индивидуализирует вид. Он не способен его отразить, он способен лишь отразиться в нем. Вид и индивид — один корень?

— Нет, — ответил я, в твердость свою вкладывая и Шпш-кина, и Тенирса, и фотографию.

— А подходит... Я имел не только это в виду... Видите, опять вид?... Пейзажист индивидуализирует вид не в том только смысле, что вносит свое видение и свою индивидуальность... а в том, что и сам вид, зафиксированный в пейзаже, должен или вынужден стать частным по отношению к самому же себе, замереть поневоле, приобрести выражение: освещение, ветер, прочие метеоусловия... Хм, — удивился он, — вот поворот! Ровно наоборот — в портрете. В портрете —

писать состояние модели равно по вкусу Шишкину. Нелено было бы писать портрет взбешенного, или рыдающего, или хохочущего человека.

— Разве не хохочет запорожец у Репина?

— Я и говорю. Это частность. Это жаир в лучшем случае. Это характер, а не портрет. Портрет — это обобщение, сущность, ну, внутреннее состояние. Пейзаж обобщенным быть не может. Кто вы, чтобы претендовать на понимание внутреннего состояния моря или горы? Вот вы говорите: Шишкин. Он и есть доказательство. Пейзажа как портрета вида не существует. Нарисовал Шишкин портрет дерева?..

Какая-то не оправданная для меня скорбь прорезала его чело. Бороденка его дрогнула.

— Что с вами?

— Сезанн... — сказал он так, как говорят про больной зуб.

— Что Сезанн?

— Потом, потом... — отмахнулся он так, будто «сейчас пройдет». С тоской взглянул на мольберт. — Не получится уже...

— Что вы, что вы!.. — попытался я. — Очень мило. Вы нашли единственную, по-моему, точку.

— Вы ее тоже нашли...

— Ну, это не такая моя заслуга.

— Вот видите, вы совсем не так мало понимаете, как говорите... — Он быстровато взглянул на меня взглядом и мутным и лукавым и, пересилив себя, с прищуром метра заставил нанести невнятный мазочек — табуретка под ним сразу покачнулась, но он устоял.

Польщенный, я таки начал со лъстивостью ученика:

— Почему именно в таком вы решили формате?.. Меня всегда занимало...

— Окно. Это такое окно. Живопись, по-моему, это окно. Или зеркало. Зеркало — это ведь тоже окно. Окно сквозь стену — в мир. Так ей потом и висеть — на стене.

— Понимаю, — сказал я, не до конца поняв. — Холст, формат, перспектива, взгляд. Рамка видеоискателя... Выбор точки... Но вот точка на холсте... с которой вы начали его заполнять... где она и почему?

— Заполнять... — брезгливо поежился пейзажист. — Скажите еще — рисовать!

— Ладно, — сказал я, тоже злясь, — п и с а т ь. Вы можете указать мне точно, в какой точке вы начали писать этот холст?

— Это сложный вопрос. Все зависит от натуры. Птицу, например, надо писать с клюва.

— Какую птицу?

— Ну вообще...

— А вот здесь? — Я ткнул в его холст.

— Уже не вышло, — уклонился он.

— Почему же не вышло! — Опять надо было щадить его самолюбие! — Очень даже.

— Потому и не вышло, что не оттуда начал! — зло сказал он, снимая холст.

— Отсюда? — Я ткнул пальцем в сторону реки.

— Угадали... — Сквозь его седоватый бурелом проступила краска. — Угадали! Я вовсе не художник! Я на это не претендую! Я не за тем сюда хожу!..

— Зачем же?

— Вам этого не понять.

— Вы слишком строги, — обиделся я, — и к себе и ко мне. По-вашему, вообще ничего нарисовать невозможно: ни пейзаж, ни портрет... А натюрморт?

— Вот его можно! — ни с того ни с сего возликовал он, будто тут же собрался, оставив пейзаж, взяться за натюрморт. — Вы сами не понимаете, как вы правы! Портрет тоже можно... Но — единицы! гении! Леонарды! Животное кто-нибудь написал? — выпалил он в меня.

— Птицу — с клюва, — процитировал я.

— Птица — существо удаленное... — непонятно сказал он. — Возьмем зверя. Никто! Разве что Дюрер носорога. Так он рисовал его по клеточкам. На этот раз не писал, а — рисовал. Это был первый носорог в Германии, может быть, в Европе. Дюрер был поражен. Не как гений, а как нормальный человек. Вот пораженность-то у него и вышла. А какой был рисовальщик! Какие тогда были рисовальщики!.. Любой экспедиционный художник... Иногда мне кажется, что только они и художники... Которые ничего не хотели... — Он забормотался и забыл про меня.

— Дюрер, — сказал я, — нарисовал зверя?

— О да! Он хотел лишь зафиксировать. Он отнесся к линии как к букве. А вышел гениальный апокалипсический зверь!

— Не противоречите ли? — вкрадывался я. — Только что зверя было невозможно нарисовать.

— Нимало! — ликовал он, радостно складывая свой скарб. — Нарисовать можно. Написать нельзя. Невозможно. Поэтому, кстати, живопись и стала искусством.

- Но ведь рисуют же!
 - А вы не писатель, случайно?
 - Случайно, — был я вынужден.
 - Так вот. Я вам скажу: пишут же?..
 - Не хотите ли вы сказать... не можем ли мы заключить..
- что то, чему можно научиться, не есть искусство?
- Вот видите.
 - А если учиться, учиться и учиться? — обрадовался я.
 - Недостаточно.
 - А если работать, работать и работать?
 - Того меньше.
 - А если просто вдруг... ни с того ни с сего... как бы
- понять...
- Вдохновиться?
 - Ну.
 - О да! — возликовал он. — Может быть... — вздохнул
- он. — На один раз.
- Так как же быть?
 - Бог знает.
 - И все?
 - А вам мало?
 - Мне — много.

Мы рассмеялись и вместе спустились в овраг.

— Вот вы говорите — гений... — сказал он, хотя я этого не говорил. Я уже перешел дощечку, а он еще нет. В овраге была уже ночь и затеплились гнилушки. Из глубины его оволосения тускло и смело сверкал вдохновенный взгляд. — Гении все мадонну с младенцем писали. Мадонна получалась, младенец — никогда. Замечали? О, это такая тайна! Вы сразу не поймете... Гений нам кажется особенно воплотившимся человеком. Мол, обычный человек не сумел, а он — на сто процентов... Дудки! (С чего это он так вскипятился?..) Гений есть максимально неудавшееся воплощение! С его, естественно, точки зрения, а не с нашей. Ни по вертикали, ни по горизонтали. То, что у гения за спиной (а ведь гений-божество так и помещается — за спиной...), есть безмерная диспропорция по отношению к так называемому выходу... (Знаете, в столовых в меню пишут «выход»... мяса в котлете?) То, чем мы восхищены, есть для гения полная неудовлетворенность и несчастье. Он-то знает сколько! Вот настоящее он и воплощен, насколько получился у него младенец. Если гения, не дай бог, признают при жизни, его убивают, лишив именно этого неудовлетворения. Впрочем, чаще их просто распинаят. Так гораздо рациональнее, все дос-

тается людям, включая и лестность нашего ими восхищения...

Он наконец перешел по дощечке. «Уж не с гением ли я опять имею дело?» — криво подумал я: больно выстрадано прозвучали его слова. Но он был и впрямь гений...

Перейдя дощечку, как пропасть, он снова остановился и стал рыться в своей рыбацкой сумке (из-под противогаза... как она у него уцелела?). Само собой, извлеклась оттуда бутылка портвейна «Кавказ» (0,8) и стакан (один). Стакан он протянул мне:

— Не откажите?

— Я не пью.

— И давно?

— С некоторых пор.

— Ну, это не страшно.

— Я портвейна не пью... — настаивал было я.

— А вы не пейте. Я ж не вынуждаю, — ласково сказал он, стакан оказался сам в моей руке, и меня обдало жаром его непонятной власти.

— Вы — гений... — прошептал я.

— Гений и злодейство — две вещи... Гениев сейчас нет. Они не работают. Нельзя написать лишь шедевр, с которым остаются. Нельзя одну Джоконду... Нельзя написать сразу избранное, не правда ли?

— О да! Вы правы.

— Перепроизводство — условие гения. Кому нужен тридцатый том Диккенса? Или девяностый Толстого? Что они, в двенадцатом не выразились, что ли? Нам бы не хватило?

— Кажется, вы перегибаете?

— Перегибаю. Так я ж не в ЖЭКе. Я не правильно, а — правду хочу сказать. Вам достаточно Дон Кихота из всего Сервантеса, Гамлета из всего Шекспира?.. Вот вы, профессионал, сколько прочли книг?

— А сколько картин вы не видели? В Лувре, в Прадо, в наших запасниках?

— В наш век есть книги, передвижные выставки... Нам как бы проще. Хотя картины не картинки, чтобы их смотреть. Их у в и д е т ь надо.

— Вот и книгу надо прочесть.

— А я и спрашиваю: сколько книг вы прочли?

— Да я «Дон Кихота»-то не прочитал...

— А «Гамлета»?

— Его прочитал. Недавно.

— Сколько вам было?

— Сорок.

— Спасибо. А Библию?

— Что вы меня допрашиваете?!

— Да вы не сердитесь... Я Ван Дейка от Ван Эйка отделил еще позже. Узнал, что такой был Ван Эйк, представляете?

— Старший или младший? — Тут уж я обнаглел.

— А вы будто знаете! — насупился он. — Вы тоже только одного знаете, а про второго слышали. Я же вас не спрашиваю, что Ван Эйк написал! Чтобы вы в Благовещеньях не запутались... Я думал, вы человек, что с вами говорить можно.

Он не на шутку обиделся. Разочаровался он.

— Ладно, — согласился я, — в двадцать семь лет. В двадцать семь лет я впервые Евангелие прочел. И то от одного Матфея. А Ветхий завет так и не прочел, кроме псалмов и Екклесиаста. Но с тех пор при себе держу.

— Раскрываете и закрываете?

— Раскрываю и закрываю. — Он мне положительно нравился.

— По половине?

— Ну разве что... — замямлил я. — По половинке.

— Так вы ж не пьете? Вы не пейте, я не обижусь... Моцарт — гений? — спросил он, приняв.

— Вот уж гений!

— Всё-всё — гений?

— Всё-всё гений.

— И вы все слушали?

— Ну не все. Но много. Сколько удавалось.

— А вы знаете, сколько вещей его вообще исполняется?

Я не знал. Уж больно он таинственно спросил.

— Десять процентов! — Он не в силах был сдержать ликования.

— Да ну! — Я был изумлен.

— Вот! Перепроизводство — это еще одно свидетельство невоплощенности гения, уже по горизонтали. Чего ему гнать да гнать, если он уже воплотился?

— А — кушать? — тут уж я его подловил. — А «не продается вдохновенье»?

— М-да, — тут он вздохнул. — Вы знаете, во что обходился Моцарту новый камзол?

— Этого не знаю.

— В симфонию!

Стояла полная ночь. Во всяком случае, здесь, в овраге. Мы дышали друг другу в лицо. Мы осветили их, прикуривая. На лбу его вздулся драгоценно комарик.

— Вы позволите? — И я стукнул его по лбу.

— Спасибо.

И мы полезли к выходу, там еще светлело разбавленными чернилами небо.

— Вы бы видели этот камзол! — пыхтел он спизу.— Это же райская птица! «Взгляни на лилию, как она одета!» Не хуже был вынужден одеваться и Моцарт...

— А как же... при дворе... — с пониманием отозвался я.

Мы вышли к строительной площадке. Там было лысо и неожиданно светло. Внизу осталась совсем уже ночь. Особенно светлела колокольня в лесах, а звонница даже будто светилась отдельным, сквозящим светом. «Изумительно!» — хотел уже воскликнуть я, как бы забыв о новом друге, все-таки — кому-то...

— О да! — сказал он мне в затылок. — Наша, русская готическая... Хотите внутрь?

Я хотел. Он чувствовал себя здесь уверенно. Он имел к этому всему какое-то отношение.

В двери торчал огромный кованый ключ. Но дверь была заперта и изнутри. Он потряс ее и постучал. С карканьем с колокольни снялись вороны. Небо от них еще побелело.

— Сейчас откроет, — сказал он, еще раз постучав.

С реки, обозначив пустоту сумерек, продудела по-бычьи баржа. Потянуло лиственным дымком словно от этого прощального мычания.

— Да что же они там... что ли?

Это замечание меня до некоторой степени протрезвило. Я слишком себе это представил.

Он загрохотал в дверь изо всей силы.

Гигантское, серое, змеевидное существо выткалось из сумерек. Я вздрогнул и чуть не заорал «мама!».

— Линда! Линдочка! Чертыка! — ласково потрепал пейзажист этого дьявола.

Это была мраморная догиня ослепительного ужаса и красоты.

— Заждалась? — Нежность в голосе была необыкновенная. — Пошли! — сказал он решительно и повернул ключ в скважине. Но тут и еще мысль постигла его, и он ключ этот из скважины вынул и протянул мне: — Держите.

Я недоуменно держал в руках. Это была вещь. Размером с нашу догиню.

— Держите, не бойтесь. Это вам на память. Когда захотите придете.

А как же они?..

— Найдут способ. Пусть не запираются... Да там и нет никого.

Окончательно не поняв, я проследовал за ними с ключом в руке. Дорога шла в гору, и я на ключ опирался. Дьяволица бежала впереди, то растворяясь, то выпадая из густеющих сумерек.

— Актриса! — гордо повествовал он сверху вниз. — Я ее сегодня на съемки водил. Здесь, рядом. Снимают оккупацию. Нет, здесь, собственно, немца не было. Это повгородская досъемка. В роли любимицы оберштамбамбрамсельфюрера... — Он засмеялся невидимо, провалившись в какую-то лужицу ночи. — Линда, кормилица! — Видно, она подбежала, и он сейчас, поджидая меня, чесал ее за ухом. — Семь пятьдесят съемочный день! — хвалясь, сказал он, оказавшись вдруг прямо передо мной: я в него уперся. — Все равно — барочная... — то ли с грустью, то ли с удовлетворением сказал он, глядя над моим плечом, и я обернулся.

Отсюда, сверху, снова предстала колокольня. Луна, красная и огромная, как солнце, выползла из-за невидимой отсюда реки. Вокруг острого шпиля как-то склubilся черно-розовый отсвет. Храм дотлевал последним углем в ночи.

Мы шли куда-то, я не обсуждал куда. Длинное хлевное тело густело впереди. При нашем приближении подвальное окошко зажглось и погасло.

— Трапезная... — сказал он.

Мы проникли, гроыхая и спотыкаясь.

— Сейчас я включу... — сказал он, и все озарилось.

Это была, по всей видимости, реставрационная мастерская. Верстак, муфельная печь, стеллаж с банками... Голая лампочка под потолком. На стене календарь с Аллой Пугачевой и реклама автогонок. Огромный деревенский ларь. Такие же топорные и старинные лавки. Крошечные зарешеченные окошки из глубины крепостной толщины стен слепно смотрели внутрь, будто щурясь, будто опухли со сна. Вдоль стен, как хлам, как рассыпанная колода, во множестве сложились иконы, оклады, иконостасы.

— Вас интересуют доски? — Я не понял, но глазами он указал на свалку икон.

— О да, — конечно, сказал я.

— Сейчас, Линдочка, сейчас... А вы смотрите пока, не стесняйтесь.

Бережно отгибал я небрежно сваленные доски одну за другой. Трепет прикосновения был выше моего разумения.

Пейзажист хозяйничал. Вокруг вилась догня. Включил

муфельную печь и поставил разогревать в нее банку консервов. Открыл ларь и залез в него с головой; на какой-то момент даже ноги его оторвались от пола. Лицо его покраснело, когда он вылез.

— Неужто увели!..— Лицо его выражало нешуточную тревогу. И он снова исчез в ларе. Оттуда летела ветошь; пустые мятые оклады и консервные банки издавали об пол один и тот же звук... — О господи! — раздался вздох облегчения. — Надо же было так зарыть!

Он извлекся с бутылкой «Русской».

Я разделил его неподдельную радость, стоя с темным, еле различимым «Спасом» в руке.

— А кто же зарывал?

— А я! — счастливо сказал он.

Консервы в муфельной печи разогревались, однако, не для Линды.

Не могу даже дать представления о том, как мне здесь с ним нравилось! И как было страшно... Надо же, чтобы так, ни с того ни с сего вывалиться из своей обыденности и серости в н а с т о я щ е е, в такую внезапную дыру... Табуретку накрыли газетой — уютнейше, с мужской дельной неспешностью и функциональностью был им накрыт наш пир: луковица, хлеб, тушенка... Засверкали два отмытых стакана. Плечистая бутылка встала как колоколенка.

— Я сразу вас заподозрил, — сказал он, разливая. — Вон из какой кучи вы тотчас самую ценную утянули...

Я по случайности держал в руке ту самую темную доску, на которой был застигнут обретенный наконец его значком. Однако не признался.

— А вы поставьте ее на стул, рассмотрите получше...

Так мы соображали на троих, Линда не в счет: Павел Петрович (так все-таки звали пейзажиста), я да потемневший наш Спаситель ликом к нам, на отдельном стуле. Павел Петрович, может по профессии, не видел в этом кощунства, и я тогда не отмечал.

Павел Петрович не закусывал и скармливал Линде пропитанный соусом тушенки хлеб.

— Я ведь не из гордости сказал, что я не художник. Я совсем с другой целью. Я выхожу на контакт! Понимаете?..

Я еще или уже не совсем понимал.

— Я ищу свое место. То есть не свое в частности, это меня мало заботит. А — ч е л о в е к а! В пейзаже вы не найдете человека. Чем Шишкин все-таки хорош — кажется, ни одного человека не пририсовал.

— Мишек пририсовал... — вставлял я.

— Так это же конфеты! — безапелляционно рассудил Павел Петрович. — И мишек, кстати, не он пририсовал. Что ж, вы не знаете кто?.. И Айвазовский разок не удержался. Правда, тоже не сам... Но кого-то попросил себе Пушкина пририсовать...

— Репина, — сказал я, смело двинув свою пешку против его мишек.

— Вам бы кроссворды заполнять, — сказал он, ничуть не оказавшись задетым. — Да хоть бы кто! И — ничего у них не вышло! Как это замечательно! Стоит нестати, еще хуже, чем море, нарисованный, и скалится с цилиндром на отлете... А Пушкин-то, ласточка, гений... как он-то все это сделал в своей-то живописи! «Прощай, свободная стихия...» — и все, его уже нет, остался один жест, один взмах его руки. Гениальная мера вкуса и живописной точности! Я вот свой нос только вижу, когда рисую. Меня иногда тянет его пририсовать, когда не получилось. А — всегда не получилось... — Он отмахнулся от себя, как от мухи, испугал Линду. — Так я ведь его каждый раз не рисую!

— Нос?

Линда отошла от него и положила свою телячью голову мне на колено. Первый раз в жизни я имел дело с такой большой собакой. Что за страшная, но и приятная тяжесть лежала на моем колене! Она же пополам в секунду перекусит мою руку, которая ее гладит...

— Никогда не укусит, — сказал Павел Петрович. Я мог ему ничего не говорить, он явно читал мысли... — Ладно. Покинем прискорбные примеры. Возьмем что-нибудь, что постоит за себя. Вот Брейгель, «Икар», помните?

Я кивнул, хотя помнил не совсем.

— Не младший — старший... тут вы меня не подловите. Что у него от человека в пейзаже, пусть и от божественного?.. Пятка! Пятка у него от Икара! Ее и не заметишь...

— А как же пахарь? — Картину я с его помощью всю припомнил. — Пахарь там вовсю пашет, крупно!

— Пахарь! Сказал тоже — пахарь! Пахарь — естественно, пахарь — часть пейзажа. Он еще, обратите внимание, со спины, почти без лица. Личность его не важна — вот в чем дело. Поэтому он и вписывается, что он всего этого часть.

— Там еще и корабль — тоже не природа...

— Творение — уже природа! Он прекрасен, парусник. Хотя и менее уместен в картине, чем пахарь. Вот вы сами и наметили все точки: пахарь, судно и пятка Икара. Лучше

всего паши; если уж нейма — плавай, но — не лстай!

— Но это уже басня, а не живопись, — возражал я.

— В данном случае! В данном случае это и то и другое: живопись у Брейгеля, само собой, не подведет, а мышление — да, в данном случае литературное. Но тогда ведь так и писали — на сюжеты. Но живопись, однако, не забывали... И законы ее работали. Не может человек как личность, как черт-те что, как царь, видите ли, природы, уместиться в пейзаж — никогда вы такого не найдете. Пятка, только пятка или нос пейзажиста, который рисовать необязательно. Куда правдоподобнее и уместней вставить свою морду, раз уж ты так претендуешь на вечность, в дыру с подмалеванным вокруг морем и кипарисом. Это — по правде. А любые попытки вписать личность в пейзаж будут убогой пародией.

Он вздохнул, он был удовлетворен тем, как все это у него изложилось.

— Вот не думал! — восхищенно покрутил он головой.

— Что именно?

— Про Брейгеля впервые сообразил...

— Да, хорошо, — согласился я. — А как же быть с портретом Возрождения? Там обязательно даль, глубь, перспектива, поля, и виды, и холмы, и воды...

— А это совсем другое! Там что впереди? Лицо, лик, личность. Обязательно личность! Мы что чуем: неизвестно кто, когда жил, чего делал, а — личность! Непременно. И лишь там, вдали, откуда она взялась, из какого мира. Там отдельный мир! Ко-о-ордината! — Он так все время говорил, с лишним «о». — Координата лица!.. Там как бы картина. Обязательное окно, обязательная рама для второй. Портрет отдельно, и пейзаж отдельно. Это очень отдельно и крайне условно. Это нам от древности кажется таким уж реализмом...

И я чокнулся, совершенно с ним согласившись.

— Встаньте на берег моря, как Пушкин, или на край пашни, глядя в светлое будущее, или вот как сегодня, когда вы подошли, если бы я вам не мозолил взгляд... что бы вы увидели и где бы были вы?

Я задумался.

— Ну?

— Меня как бы тогда не было...

— Вот видите? И вы правы наконец. И сейчас мы приближаемся вплотную к тайне. Где человек? кто человек? и зачем человек? Вот этим я и занимаюсь каждый раз, пытаюсь воспроизвести то, что вижу. Вхожу в контакт.

— С кем?

— Ясно с кем, — он рассердился, — с мировой мыслью хотя бы. Вот вы себя не видите, когда смотрите. А то, что вы видите, разве видит себя? Ну тварь земная видит для своей насущности. А деревья, травы, горы, реки? Они не видят. Вы никогда не представляли себя камнем или ветвью? Конечно, представляли. Закрепляли себя на месте, располагали в пространстве... И при этом тосковали от бедности доставшегося вам для обзора мира. И каждый раз, не замечая того, вы продолжали в и д е т ь и даже слышать, будто у камня или ветки есть глаза и уши. Этого отнять у себя в представлении вы никак не могли, вам даже в голову не приходило не правда ли?

— Не так уж часто я представлял себя камнем, но, пожалуй... не без глаз...

— Представляете, какая но-о-о-очь! — Он провыл слово «ночь» так ужасно... — Какое непонятное бескорыстие есть в этом слепоглухонемом существовании! Ведь все, что есть, связано между собою, не ведая об этой связи. А мы в и д и м это — в единстве, которое никто из участников этого единства не ведаёт! Вы вышли на берег: плещет вода, песочек, камушки, лес отражается в воде, — вы знаете, что все это, конечно, не думает, как вы, но вы и представить себе не можете, до чего для себя отдельные камни и воды, для них нет целого! Они все в себе! Как те вещи у немцев. Но целое-то — есть! Вот в чем парадокс. Не вы его выдумали, и это нам не кажется, что все, что перед глазами, есть к а р т и н а. Значит, кто-то... Нет. Значит, она была... Нет. Как оно могло соединиться, розное, само? И про красоту — нам не кажется про красоту. Вовсе не удовлетворением наших жизненных потребностей вызвана наша эстетика. Я замерзал однажды зимой в тундре... Там ничто не годилось ни для какой жизни... Я погибал — в красоте. Так — кто-о-о-о же?! — И он опять ужасно провыл слово «кто».

— Если вы имеете в виду творца, — проямлил я, — то я совсем не против того...

— Ненавижу! — прорычал Павел Петрович.

— За что?.. Но я ведь тоже верю...

— Тоже... — повторил он ядовито, совсем меня изничтожив. — Да я не вас имею в виду. Вы добрый малый, хотя и много о себе думаете. Уж как я е г о не л ю б л ю!

— Кого же?

— Ч е л о в е к а! Именно того, с большой буквы... Венец творения. Всюду лезет, все его, все для него!.. Ну хуже любой твари. Хуже. Потому что вместо пяточка еще ковырялки себе

всякие, от ложки до атома, выдумывает. И жрет, жрет, жрет. А чтоб остановиться, а чтоб вокруг посмотреть, а чтоб заметить...

— Так, так, — кивал я. — Со всем согласен. Но если вы верите в творение...

— Другой гипотезы нет. — Павел Петрович замрачнел.

— ...то и человек — создание. Зачем же тогда?.. Венец творения — это, может, и сам про себя человек сказал, хотя книга, по всему, тоже не им писана... Но ведь даже — «по образу и подобию»...

— Ах, как вы все схватываете! — Похвала была сомнительной в его устах. — На лету. Прямо цивилизованный вы человек — вот вы кто!

Кровь прилила к моей голове непобедимой волной постыдного воспоминания. Павел Петрович никак тут не был причем... В каком же это классе проходили мы того, у кого этот самый человек с большой буквы?.. а именно: «Что сделаю я для людей! — крикнул Данко»... нет, «Высоко в горы вполз уж...» — и опять нет! «Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, то крылом волны касаясь...» Вот! «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...» «Часть шестая их в квадрате в роще весело резвилась...» Это уже другое, более человеческое, про обезьян... Так вот, наша учительница по литературе заболела, а ее замещала какая-то особенно выдающаяся, из района, с чудовищным бюстом... ну, просто, когда мы сидели и царапали в тетрадках, а она ходила меж партами, то сначала на тетрадь склонялась, издалека, тень груди, потом сама грудь, наша головенка терялась в этой дышащей груди, а где-то, наверху, с трудом было разобрать особую ласковость ее взгляда и воркование, опять же грудного, голоса... А был это еще год, еще всюю при счастливом детстве это было. Брат мой уже в университете учился и отличником там был. Почерк у него был замечательный и конспект образцовый. Вышло так (теперь это меня забавляет), что и он на своем втором или третьем курсе, и я в своем седьмом или восьмом классе проходили одно и то же — про «глупого пингвина», и я как раз накануне в его конспект заглянул, а там было написано, уже не для школы, а для Высшего учебного понимания, что Горький имел в виду под каждым животным, и «пингвин», кажется, был не то кадет, не то эсер... и тут наша высокогрудая заместительница задает сложный вопрос, будя инициативу класса, вопрос «на засыпку» (она, наверно, тот же университет кончала...) про этих самых животных, про аллегоррию... Ну, никто не знает,

все жмутся, потому что и вопрос поставлен так, что на него только сам же учитель и способен ответить, а я, вообще-то безынициативный, тяну единственный свою руку (которую надо бы отсечь по Евангелию...), дабы блеснуть... А у нее, надо сказать, когда она такое спрашивала, всегда была такая поощрительно-властная приговорка: «Думайте, думайте!» И вот, все думают, а я тяну руку. Она снисходительно улыбается, готовая выслушать наивную ребячью догадку, а я выпаливаю по писаному случайно подсмотренное и случайно запомненное, но, надо же, как удачно! — выпаливаю как свою собственную догадку. Тетка была, по-видимому, удивлена, но я от смущения уже плохо помню ее реакцию. Она продолжала развивать мысль, «которую я ей подсказал». И вот, когда мы все за ней писали, а она ходила по проходу, моя голова вдруг очутилась меж ее грудей, и, обняв меня сзади, она гладила меня по голове и приговаривала: «Головенка-то варит... варит головенка...» Но я не провалился сквозь землю и тогда, хотя именно в таких вот несчастных положениях, пожалуй, и проваливаются, не провалился и сейчас, когда это вдруг из-под толщи последующих стыдоб выволок... не провалился, и рассказав весь этот мемуар Павлу Петровичу...

Уж как ему эта моя история пришлось по сердцу!

— Нет, нет! И не говорите! Вы совсем не безнадежны... — хохотал он. — Я даже не предполагал.

Я ничего вроде и не выпил, но бутылка кончилась.

— Так вот, — произнес он, с удовлетворенной укоризной отметив ее совершенную пустоту, — и я вам тоже ставлю пять. Не знаю уж, где вы это подсмотрели, но самый сложный вопрос сумели задать... Вы и не представляете, сколько я над этим бьюсь. Но в пейзаже на все есть ответ, даже на то, для чего человек, но почему «по образу и подобию» — нет ответа.

Теперь он осматривал дно стакана, так и так поворачивая.

— А для чего, собственно, создан человек? Это тоже вопрос весьма живописный. Почему художников тоже зовут творцами? Конечно, преувеличение, лучше было, когда — мастер... Художника в полном смысле никак творцом не назовешь. Он в лучшем случае пересоздал, но не создал. Но и творец, хотя это его никак не исчерпывает, не есть ли величайший художник?.. «В начале было Слово...» А собственно, и не слово, а логос, знание... Значит, образ мира существовал раньше мира, до акта творения? И это был не просто образ мира, даже божественный... Образ — был богом!.. Понимаете, с чем мы имеем дело? С х у д о ж и н и к о м. Все-

гда сначала образ, а потом картина. Это основа эстетики. Но картина ведь всегда для кого-то, для кого-то, кто способен понять или оценить. Ну, оценка наша, допустим, ему не важна. Он выше этого... А вот не верю, что не важна наша оценка! Не то, что мы похвалим, а то, что — поймем! Понимание, одиночество — в этом смысл творения, как и художественного создания. Чистым искусством, надо полагать, он не занимался. Да и никто, если вникнуть, не занимался. Это гордыня — искусство для искусства, унижение паче гордости... Все жаждут понимания, кто создает. А так, не понятно ли происхождение человека и зачем человек?? В и д е т ь творение! Не только пользоваться им и составлять его, как и всякая божья тварь, но — в и д е т ь! То есть понять и постичь. Поэтому, надо полагать, и создал он нас «по образу и подобию»... Иначе этого не понять, зачем уж человека — «по образу и подобию», чего ради? Не может же творец боготворить сам себя, чтобы копировать венец творения с себя же?..

Он окончательно перевернул стакан как доказательство.

— А кто тот, для кого создается картина? Ну, обычная картина?..

— Народ, — сказал я, — люди... — уточнил я, и опять не точно.

— Заказчик! — вскричал Павел Петрович.

— Кто же у самого бога заказчик? — очень удивился я.

— А образ мира, который раньше мира? Но это я только предполагаю... Это не так, но... А ведь и заказчик раньше художника, а?

Он торжествовал, будто подсказывал ответ уже не мне, а самому богу.

Мне нечего было ему ответить. Я мог лишь кивнуть.

— Если бы я мог поставить так вопрос, — глубокомысленно сказал я, — то я бы поставил его именно так... — Про себя же я решал задачу: переводил крепость «Кавказа» в крепость «Русской», чтобы уточнить объем выпитого Павлом Петровичем в водочном эквиваленте. Я почти сосчитал, но не был уверен в последних пятидесяти граммах: 0,75 или 0,8 был «Кавказ»? Именно посреди этих пятидесяти граммов проходила в моих расчетах граница меньше литра или больше литра.

— Есть одна любопытнейшая гипотеза на этот счет... — мечтательно сказал Павел Петрович. — Даже не гипотеза, а миф, но боюсь, что нам его будет уже не потянуть.

Судя по тому, как я стремительно обиделся насчет своих

умственных способностей, литр моим старшим другом был уже выпит...

— Вы не так меня поняли,— ласково читал мои мысли Павел Петрович.— Я не вас, а себя имел в виду... Собачьи-то деньги у меня все вышли...

Как я обрадовался повороту! Я просто не смел сам предложить... Но у меня — были, были! Хотя тоже немножко «собачьи», не то на туфельки ребенку, не то... уж не помню. Какая разница! Были, есть, будут!

— Только где вы сейчас возьмете?

— Это не беспокойтесь,— сказал Павел Петрович.— Этого хватит,— сказал он, забирая у меня пятерку. (Я вытащил их три, все, какие у меня были...) — Этого хватит,— сказал он, забирая и вторую и внимательно и заботливо провожая взглядом третью, дабы я не опустил ее мимо кармана.

Он совсем не шатался, а как-то даже прочнее стоял на ногах и мягче, будто пол стал земляной... Он не спеша все прибрал. Не забыл и выключить муфельную печь, зря я беспокоился. «Спас нерукотворный» был прислонен назад к стенке, предварительно им поцелованный.

— А когда реставрируете...— я робел задать неточный вопрос,— вы тоже... вступаете... в контакт?..

— Конечно,— сказал он, именно в этот момент и прислоняя доску к стене.— Но это другое. Икона, какая бы ни была, даже нерукотворная, писана человеком, не то что само творение... Там я в контакте с творцом,— он сказал это так легко, как будто сел в трамвай или вошел в контору,— здесь — с верой человека, иногда истинной, иногда нет, иногда,— тут он задумался,— и со своей верой...

Порядок был восстановлен в том смысле, что следов не осталось. И мы прошли за ларь, в какую-то никуда не ведущую дверцу. Обреченный, человеческий вздох догини, оставленный нами, раздался за спиной, в новой темноте...

Мы погружались в средневековую глубь. Глубь была буквальной, каменной и тесной. Или мои плечи стали значительно шире и рост? Я царапал за стены плечами, пересчитывал некие невидимые балки головой. Взбираясь по крутой лесенке, увидел я вдруг над собою звезду, свежий ночной воздух ворвался в мой подвальные легкие. Мы оказались на верху стены, окружавшей кремль. Стоя на ней, особенно можно было оценить ее толщину. Там мы стояли, подчеркнуто вдыхая и выдыхая. Это была граница. По одну сторону все молчало, слившись в ночи: постройки монастыря, невидимые; как бы сбились там в кучу, терлись пухло-белыми боками и

дышали, — лишь острую колокольню еще можно было различить. По другую — убежали вдаль цепочки уличных фонарей, раздавался автомобильный гудок, стройно горели окна в громоздком порядке ближнего микрорайона... Глоток воздуха был как добрый стакан.

С этой площадки, обращаясь в никуда, просилось слово. Оно предоставлялось здесь Павлу Петровичу...

— И вот он его создал... — Павел Петрович посмотрел налево и стал смотреть направо: то был мрак монастыря и свет новостройки. — Он сотворил пейзаж и пририсовал человека... Ошибка Айвазовского!.. Знаете, что занятно: что, может, и тут человека не он пририсовал, а?

— Так кто же? — И я посмотрел направо и налево.

— Пока что секрет, — поблескивая в ночи лукавством, сказал Павел Петрович. — Моя тайна. Впрочем, догадка, намек... Вам я скажу. Но не сразу.

— Понимаю, — я не то сказал, не то кивнул. Скорее кивнул.

— То, что вы понимаете, не важно, важно, что вы еще поймете, — сказал он несколько зловеще. — Сами рассудите... Мир был окончательно готов, когда в нем появился человек. Человек в нем ничего не создал. Он не сотворил пейзажа. То, что он сотворил, — он натворил, он испортил. Вы скажете, что телеграфные столбы, рельсы и аэропланы давно стали частью пейзажа... Именно что с т а л и! Зверь носит под кожей пулю — и ничего, живет, прихрамывая. Человек не сотворил пейзажа, но он не сотворил и пожара. И пустыня и пепелище — опять творение не его рук, они лишь — на его месте. Не им посеян бурьян, не им наваяны барханы. Единство пейзажа, разрушенное им, лишь брешь для действия законов этого единства, не им основоположенных. Хирург режет, но кто затянет рану, свернет кровь, оставит рубец? Кто оставляет рубец на творении божьем? Вы скажете: человек — и будете тысячу раз не правы. Человек наносит рану, а рубец — от бога. Человек!.. — взвыл он. — Единственное слово, которое ничего не значит!

— То есть как? А что же тогда...

— Есть что-нибудь в этом мире, что может назвать себя?

— Да нет... — промямлил я.

— Вот наше слово! Данет... Чем не имя человеку? Зовет себя как-нибудь луна, сосна? Корова говорит: я корова? У них нет языка, скажете вы. А жизнь, бытие — разве не язык, разве не выражение? Нам дан язык слов, чтобы мы все назвали. Камень не скажет про себя, что он камень, а мы про него

скажем. А кто же про нас скажет?.. Я — сказал Адам после грехопадения; ты — сказал Каин Авелю; он — сказал его потомок про другого потомка; он — это я, напомнил всем Христос... Ну где тут слово «человек»? Человек — это лишь местоимение: я, ты, он, они и, наконец, мы. А если он не местоимение, а человек, да еще с большой, этот венец творения, вершина эволюции, этот пуп земли, то он лишь фактор эрозии, коррозии, гниения, всяческого окисления... Стресс природы.

«А искусство?» — хотел было сказать я.

— А что искусство... — махнул он рукой. — И его не сотворил человек. Хотя это и единственно допустимая натяжка для названия его творцом или создателем хотя бы с маленькой буквы. И что оно доказывает? Что наивысшее создание рук человеческих почти не потребило материи. Что там потрачено-то на холст, краску, бумагу и чернила? На это природы хватит с избытком. На порождение еще одной природы...

Грозен был Павел Петрович и красив. Будто на горе стоял.

— И вы знаете — что? Знаете ли вы — что? Что на творчество никакого не требуется даже и времени? Человек его не знает, когда создает... Когда — любит... — Он вздохнул. — Перед смертью он обнаружит, что все остальное время он разрушал, то есть потреблял, то есть сам разрушался, вот и умер. Время! — взвыл он. — Кто ты? Может, ты — человек? Может, человек — это личинка такая, тля, моль пейзажа... личинка времени, куколка смерти?.. Как фараонов бинтовали? Не так ли, что они, как куколки, лежат? Пирамиды — памятники смерти... все попытки обессмертить, вынести за скобки времени окажутся памятниками смерти. Страх — уже культ. Здесь все меня, видите ли, переживет, «все, даже ветхие скворешни...». Мы снисходительны к пейзажу, но лишь к такому, что смертен с нами, — вскорости и скворешня рассыплется, нас догоняя... Что нам не нравится — так это черви... Черви, господа, черви, господа, черви... — забормотал он. — Начинается... — мрачно сказал он.

— Что — начинается?

— Время, его мать! Водка кончается — оно начинается. Они перетекают. Там нет зазора. Это одна вещь. Время тоже течет. Язык, он все скажет. Пора вскрыть этот могильник...

Беззвучно и сильно прорвалась сквозь тучу луна каким-то прокисшим ломтем. Взор Павла Петровича вспыхнул ей навстречу сходным светом. Он был столь неожиданно весь пьян, как мертв. Последним, героическим усилием вытряхнулся он из своей летаргии, судорога пробежала по всему

телу, сочленя разрозненные, расплавленные и сплывшиеся части.

— Пошли! — решительно сказал он и, словно под ним люк открылся, стал спускаться.

Крутые ступеньки, оказывается, перед ним были и вели в толщу стены. Вот уже одна голова осталась над, еще раз освещенная выдыхающейся луной; голова обернулась ко мне, общим контуром напоминая... черный мяч валялся, заброшенный, на верху стены, голова Крестителя все никак не скатывалась с блюда... голова звала за собой, и не было сил стронуться с места, не было сил не следовать за ним... В последний раз взглянул я окрест — одесную навечно спал монастырь, ошуюю дотлевал, объятый жизнью, город будущего, стекло и бетон, последняя головешка всемирного костра... Еще раз прыснула луна, и, угрожающе шевельнувшись, как ожившие мертвяки, пододвинулись монастырские строения... В последний раз повертел я оставшейся на воздухе головой и провалился в подземелье, сверкнула надо мной последняя звезда, словно это она упала...

— Осторожнее! — ласково прозвучал Павел Петрович. — Подайте руку... Да вот же рука! — Рука оказалась неожиданно живой, сильной и теплой. — Вот так. Сейчас придем.

Все уверенней двигались мы в этой катакомбе, что-то даже жизнеутверждающее, оптимистическое объявилось в нашем продвижении, будто впереди мог оказаться свет...

— Ну что такого неприятного в черве? — напутствовал меня голос, снова звучавший уверенно и трезво. — Паук чем не хорош? А не нравится человеку, неэстетичным кажется, особенно некрасиво ему именно то, что его переживет. Переживет даже не личность, а самого человека переживет, сам вид его переживет... вот он и морщится от напоминания: бурьян, пустошь, тараканы, мухи... Они ему опять и опять: тебя не будет, тебя не будет!.. Тьфу, заладили...

Тут я наткнулся на Павла Петровича, потому что тот в свою очередь уперся. Это был тупик. И темно же было! Я поднес растопыренную ладонь к глазам — и не видел.

— Пришли! — Даже голос его повеселел.

«Кончатся он, что ли, меня будет?» — столь же весело подумал я и потрогал заодно свой бесполезный глаз. Самостоятельной жизнью дернулись под рукой реснички: я совсем не испугался, но нежность к своему замкнутому, самостоятельному существованию сладострастной волной пробежала по спине... Павел Петрович пнул в преграду, и она отозвалась радостно и гулко.

— Семс-с-сп! Семи-он! — кричал он, барабания.

Это была дверь. Куда она могла вести еще?

— Се-е-час! — наконец недоброжелательно донеслось от-туда.

Мне послышался облегченный вздох Павла Петровича: слава богу...

— Кто там? — Голос мой прозвучал испуганно, что меня удивило и задело.

— О, это... — Павел Петрович переминался нетерпеливо. — Великий человек... Не нам чета... Мудрец!

— А кто он? — настаивал я.

— Семен-то?.. Да так. Отшельник.

— Ну!.. — Я балдел от происходящего. — Он Семен или Семион?

— Точно не знаю. Сейчас спросим. — И Павел Петрович заколотил по двери снова, и словно под ней все это время стояли... залязгал засов, брякнул крюк, визгнула жесь, острое лезвие света резануло из щели...

Ослепительно светила пятнадцатисвечовая лампочка. Семион был высокий, на грубых шарнирах мужик, длинное молчаливое его лицо выходило за рамку: то челюсть, то лоб; он был в измазанном фартуке и пах краской. Павел Петрович повлек его, молчаливого, вглубь под локоток, оставив меня озираться. Погреб был долог, тот его конец тонул в темноте. Посреди в два ряда были вмазаны в цемент огромные бочки, накрытые тяжкими крышками. Сложный и могучий дух кислоты и соленой сырости (будто тут умерло море) не вязался с запахом краски, оставшимся от Семиона. Они прошли еще в одну дверцу, откуда вспыхнул и впрямь яркий свет. Семион, ярко освещенный, взглянул через плечо на меня, будто проверяя что-то из нашептанного ему Павлом Петровичем, и они оба там скрылись.

Долго стоял я, про меня забыли. А может, бросили?.. Наконец я рискнул заглянуть... Они обернулись с подозрительно трезвыми лицами, как застигнутые. В руках у Павла Петровича была икона необыкновенно свежая и яркая, он ее как бы повертывал и так и этак; руки же у Семиона были заняты иначе: в правой — кисточка, в левой посверкивали пол-литра. На верстачке под сильной лампой в рабочем беспорядке толпились тюбики и бутылочки, и вся комнатка была величиной с бочку, которую мы всю и заполнили. На единственном стуле отдельно стояла еще одна икона, оказавшаяся тем же самым «Спасом», с которым мы выпи-

вали. Как она сюда попала? Я не заметил, чтобы Павел Петрович что-нибудь нес в руках...

— Узнаете? — спросил он.

Я кивнул. Но оказалось, не про то он спросил.

— Кирилл и Мефодий, — сказал он, обращая ко мне свежую икону.

— Этот Кирилл? — растерянно указал я.

— Угадали, — усмехнулся Павел Петрович.

Я хотел было спросить Семиона, как так получилось, что и он реставратор, но Семион, прихватив два стакана, кивком позвал нас за собою.

Я уже не удивлялся, завороченный. Семион поставил бутылку и стаканы на бочку и, подналегши, сдвинул крышку с соседней; ниоткуда взялся в его руке ковшичек-черпачок, которым он из бочки и черпанул. Не что иное как соленые огурцы заплескались в ковшичке, как рыбки. Он выплеснул ковшичек на крышку; живописной кучкой насыпались они, лоснясь.

— Патефончиков бы... — сладковато сказал Павел Петрович.

— Кончились. — Это было первое слово, услышанное мною от Семиона.

— Ну, с донышка?.. (Семион молчал, так же клоня набок голову и будто меня разглядывая.) Я сам полезу... — умолял Павел Петрович.

Семион нехотя согласился, и Павел Петрович направился к третьей бочке; крышка на ней была откинута, и, свесившись в нее, он стал шарить в ней ковшиком, как недавно в ларе, будто и в бочке была еще бутылка...

— За ноги поддержи, — донеслось из бочки.

Семион не шевельнулся, и это был я, кто стал держать его за ноги.

— Тяни! — наконец крикнул он в гулко отозвавшуюся бочку. И вот он стоял, красный от прилива крови и победный, держа в руках два патиссона. С рук его капал рассол.

— Где мы? — наконец осмелился я.

— А я вам разве не сказал? — удивился Павел Петрович. — Да ведь ясно где! Вы что, никогда не бывали на засолочной базе?

Что-то страшное вроде улыбки осветило мрачное лицо мудрого Семиона, и я понял, кого и что все это мне напоминало. «Три мушкетера». Лилльский палач! Этот привет от любимого писателя тронул мое сердце, и не стало предела моему восхищению...

— А Семион? — любезно спросил я, принимая от него второй стакан.

Семион с зубным скрежетом заиграл желваками и отвел взгляд.

— Он не по этой части, — сказал Павел Петрович, разливая. — Он выше этого...

Мы чокнулись. Я подобострастно поднял стакан, приветствуя нашего гостеприимного хозяина. Он еще поиграл желваками и ничего не сказал.

За что он меня так презирал? Когда я заранее, через Павла Петровича был к нему преисполнен. Мне было обидно.

Сначала даже плохо помню, хоть и под патиссончик, а потом — хорошо. Не заметил, куда делся Семион. Ну да, раз уж он был не по этой части... Я все хотел спросить, по какой же, да все и забывал. Павел Петрович все говорил, и мысль его не ослабевала:

— Еще почему вряд ли я художник... Я все постичь хочу, а не изобразить. Художник не должен особенно думать. У него глаза и руки думают, голова молчит. Словами он, во всяком случае, думать не должен. А для меня то не мысль, что не в слове. Художник мыслит образами... Слыхали такое? Какая же это мысль? Это наскальная мысль. Вот кто, кстати, зверя-то нарисовал! Питекантрон!

— Кроманьонец, — сказал я.

— Ну да, вот он. Все настоящие художники — кроманьонцы. Они потому и любят блузы и длинные волосы... чтобы хвост прикрыть. У них и в лицах — замечали? — сплошь такая узко- и крутолобость, глаза глубоко в глазницах. Еще больше — у скульпторов. Те еще пещернее. На пару сотен тысяч лет. У них щетина на ушах, на плечах, на спине. Непременно! Волосатый человек Евтихийев, вы его не застали уже... в старом учебнике естествознания... с детства казался мне скульптором. Потому они и любят голеньких ваять, что те, как люди у них, без шерсти... Не люблю я их, признаться. Вы думаете, я из зависти? Мол, неудачник...

Я хотел было сказать, что так не думаю, но, к удивлению своему, услышал лишь собственное мычание. Павел Петрович меня понял по-своему и разлил по новой.

— Ни на что я не променяю мысль! Даже на их гений... Хотя мысль, — горько сказал он, — смертельна!

Я хотел спросить почему, но не мог.

— Сейчас я вам скажу почему, — сказал он, зажевывая огурцом. — Это великая мысль. Мы рождаемся не в беспредельном мире, не так ли? Мы его постепенно познаем. Спеле-

натые, мы шарим глазенками и видим мать. Она — весь мир. Потом мир становится размером с комнату, с дом, с улицу. Потом мы убеждаемся в том, что никогда не дойдем до его края... Потом нам объясняют про шар, про материки и страны, про Солнечную систему, про галактику, про космос... И, преподав нам то, что мы не в силах вообразить, обучат нас подменять представления словами, убедят нас не столько в беспредельности мира, сколько в беспредельности якобы наших возможностей познания. Мол, мы не все еще поняли и знаем, но теперь знаем больше, чем раньше, а потом станем знать еще больше, а потом однажды едва ли не все будем знать... И человек со способностью мыслить начинает рваться этой своей способностью все вперед, все дальше, и это почище наркотика, я вам скажу. Из наркотика-то можно не выйти, а там и остаться, не то что из мысли... Как Семиян... (Я посмотрел в сторону, в которую он кивнул и где Симеона не было). Бывший десантник... Там и остался, где его высадили... Там и начал колотиться. Как говорят, сел на иглу. Ему теперь ничего не надо... А нам объясняют, что для жизни нужны кислород, вода, пища, и это тоже будет правда, потому что так оно и есть... объясняют, что жизнь на Земле — это редчайшее чудо, потому что сочетание условий, при которых она возможна, уникально и неповторимо в космосе, что диапазон жизни феноменально узок, что мы погибнем тотчас, как нам не хватит градуса тепла, глотка воздуха или воды... И это опять правда. И только сознание наше, видите ли, всемогуще и беспредельно, как мир... Не улавливаете несоответствия? Нет еще? Поясняю. То, в чем мы живем, то, что мы видим, воспринимаем и постигаем, то, что мы называем реальностью, — тоже диапазон, за пределами которого мы так же гибнем, как замерзаем или задыхаемся. Мы думаем, что реальность наша беспредельна, только, видите ли, мы ее еще пока не всю poznали; на самом же деле наша реальность — тот же диапазон, отнюдь не шире того, что мы слышим или видим. Мы живы лишь в этом диапазоне. И мы живем лишь в нем, мы живем совсем не в реальности, а лишь в слое реальности, которая, по сути, если бы мы были способны вообразить реальные соотношения, не толще живописного слоя. Вот в этом масляном слое мы и живем, на котором нас нарисовали. И живопись эта прекрасна, ибо какой художник ее написал! Какой художник! Леонардо с ним несравним, как... как... И сравнение-то с ним — несравнимо! Для нас он нарисовал жизнь, устройство которой мы понемногу разбираем, разбираем еще и в буквальном смысле... «Так по камешку

по кирпичику растащили мы этот завод...» Мы копошимся, ползая по слою, и все думаем, что проникаем вглубь, не в силах понять, что там, в глуби, совсем уже не наша реальность, нам не отпущенная, отнюдь не данная нам в ощущении... что устройство нашей жизни имеет еще свое устройство, отнюдь не внутри нашей жизни расположенное. Не в яблоке заключен закон Ньютона и не в ванне — Архимеда. В слое нарисованной для нас жизни есть устройство, являющееся, в свою очередь, слоем реальности, у которой, в свою очередь, найдется устройство, помещенное не в нем, а еще в одном, нескольких, не знаю скольких еще слоях, но опять ничего нам, даже если бы мы туда проникли, не объясняющих. Не было такой задачи, чтобы мы поняли, была задача, чтобы мы жили! Она и была прекрасно — господи, как прекрасно! — в о п л о щ е н а. В воплощении и плоскость есть, не только плоть... Теперь — мыслящий человек, теперь — художник... Художник не понимает, а отражает, поэтому это прекрасно, что отразиться в нем может лишь то, что было уже прекрасно. Но если он при этом еще и постигает, видите ли, то, полагая, что идет вглубь, он идет поперек слоя, а слой-то узок, не толще масла, а что за ним?.. За ним грунт, за ним холст, основа, а за ним — пропасть, дыра, рваные края, а там — пыль, темнота, стена с гвоздем и веревкой, чтобы повеситься, бездарная подпись с бессмысленным названием... Про живопись никто не знает, кроме живописцев, но, поверьте мне, истинный талант в живописи никогда дальше немой догадки, что за красотой есть что-то, не пойдет, а мыслящий дурак — пойдет. Там, там они все — Леонардо, Эль Греко, и Гойя, и Ван Гог... все они вышли за диапазон, за пределы изображения и ничего, кроме безумия, за этими пределами не обрели... Сезанн... — И опять его перекосило как от зубной боли.

— Что же все-таки Сезанн? — вдруг отчетливо сказал я, удивившись металлическому своему голосу.

— А что Сезанн? Ничего себе Сезанн. Никогда нормальным человеком и не был. Вы все равно ничего не можете понять в живописи. Так что и не будем. Возьмем художника слова... Кто был наиболее близок к живописи в слове?

— Гоголь. — Тут я не сомневался.

— Правильно. А в живописи ничего не понимал... Ну и что с ним дальше-то было? Ясно? То же самое. Он истощил слой реальности, отпущенный ему господом для отображения, двинулся поперек слоя и вышел за пределы изображения. Там начинался другое — там вера. Да какая же вера у кро-

маньонца, когда он поклонялся тому, что видел? Там, где вера, там уже нет художника. Художник не может этого понять, потому что он еще и наркоман, потому что искусство не только образ, но и способ жизни... Нам, не гениям, все что-то мешает стать гениями: лень, косность, общество, грехи... — и мы никак не можем допустить, что это инстинкт, страх гибели и жажда жизни нам мешают. Мы подсознательно боимся вывалиться из слоя реальности, мы хотим остаться живы. Но мы этого не поймем, потому что никогда не согласимся с тем, что мы не гении. Нам помешали, и только. Кризис художника — это не обстоятельства. Они всегда тут как тут, чтобы свернуть с дороги. Кризис в том, что ты подошел к краю слоя, в котором только и может осуществляться изображение, и теперь хочешь окрасить невидимые предметы в видимые цвета. И ничьи советы и рецепты не помогут, никакая схема, никакой подвиг: все легче, чем продолжать писать жизнь, только что казавшуюся живой и изобразимой, да и бывшую живой, а для кого-то так и оставшуюся навсегда живой, потому что он и не претендовал. Легче не пить, не курить, воздержаться от баб, легче все то, от чего не в силах отказаться другие люди, чем написать с л е д у ю щ е е за тем, что уже изображено. Он нам нарисовал пейзаж и нас нарисовал в нем, но не нам понять, как он это сумел сделать. Гений движется с космической скоростью в своем постижении и прорывает изображение. Искренность его недоумения и отчаяния равняется лишь постигнувшей его слепоте или немоте. Догадка об устройстве мира если не сведет с ума, то лишит дара любой речи. Судьба гения — это космическая катастрофа не в том смысле, что нам его в таких масштабах жаль или что это на нас космически же отразится, не в том смысле, что бы он нам еще преподнес хорошего, кабы не сгорел в более плотных слоях, а в том, что у них общая с космосом природа. Все они взорвались и рассеялись пылью, как вот-вот рванет наш шарик. Человечество приблизилось к того же масштаба катастрофе, какую пережил каждый гений. Только художник вываливался сквозь холст, а эти за саму раму, люди истощают пейзаж по самой поверхности слоя. Нам было сделано все, чтобы мы жили и прожили. Ни более и ни далее. Далее — смерть. Сначала смерть того, что мы прожили, потом и нас самих. Всего было столько, сколько надо. Значит, не больше, чем надо. Не так много. Столько. Запаса обольщения в том числе. Господи, когда же они поймут, что кончилось — это кончилось? Нету больше. Не-ту! Откуда я вам возьму, когда нету! — кричал на меня Павел Петрович. — Богом со-

считано до одного. Дальше — ревизор. К нам едет ревизор! А ревизор-то — дьявол.

Мощность этой идеи окончательно сразила меня, хотя надо сказать, что и бутылку мы прикончили.

— В дьявола я не верю, — вдруг воспротивился я.

— То есть как?! — воскликнули Павел Петрович с неведомо откуда слетевшим к нам Семионом.

— То есть в творца, в Христа... — залепетал я, зажатый двумя мудрецами. — Верю как в реальность, что они были... есть... а что дьявол так же есть, как они, — нет.

— Он не верит... — испуганно прошептал Семион Павлу Петровичу. — Во что же он тогда верит??

— Слушай его, слушай, — сказал Павел Петрович.

— Да ведь весь воздух кишит!.. — И Семион, как всполошенный петух, взмахнул рукавами, обводя доставшееся нам здесь пространство.

Я отшатнулся, Павел Петрович предательски согласно кивал.

— Чем кишит? — разозлился я.

— Невидимыми существами! — И он заозирался будто в страхе.

— И в тот свет — не верю! — уперся я.

— То есть как?! — Семион, казалось, лишился дара речи. Павел Петрович не без интереса на нас поглядывал.

— А так, — сказал я зло.

— Так ведь раз есть свет этот, — сказал Семион голосом вдруг мягким и вкрадчивым, — так есть и тот...

— Слушай его, слушай, — с удовольствием поддержал Павел Петрович.

— Как магнит не разрубишь пополам, — сказал Семион.

— Как свет и тьма! — воскликнул Павел Петрович.

— Как жизнь и смерть! — заиграл желваками Семион.

Будто они меня приговорили и сейчас пришла пора моего заклятия... Я плохо соображал, мне показалось, что они заговорили на каком-то умершем, пещерном языке. Слова их все висели в воздухе всей речью, как невидимый, прозрачный лист, как такое стекло между ними и мной, по которому стекает ливень, утолщая его, прозрачный, тягучий и волокнистый... То лицо Семиона свирепело от ласки, то лицо Павла Петровича одухотворялось и сатанело, будто и по нему катились эти плачущие струи, как по стеклу, то лик его вдруг становился ничтожным, растворялся и размывался в этом потоке, проявляя вздернутость и вздорность антипрофиля императора Павла... Тогда тусклеющие его глазки особенно

наливались умом, как безумием, и Семиона снова как не бывало...

— Ты кто? — спрашивал я Павла Петровича.

Кто он?..

— Ни одного более носорога! Почему с появлением человека не появилось ни одного более вида? И если дрожь омерзения пробирает нас от какого-то паука или гада, что был до нас и нас переживет, то какими глазами сама природа смотрит на нас, какая дрожь пробегает по ее коже? Представляете этот взгляд? Н а н а с?

Я восхищался его умом, я был им переполнен и подавлен, хотя и водка плескалась во мне через край. И вот почему я еще стоял на ногах... Сколько бы он ни возносился, сколько бы он еще ни говорил, ни он, ни я не могли изменить нашего исходного положения: он выступал, а я слушал, и как бы я ни молчал, хотя бы потому, что ничего вровень ему и сказать-то не мог, я — тоже выступал и не мог отступить от роли, как от верховности положения: я выступал оценщиком, конечной инстанцией, ОТК его идей, браковщиком его истин, — так или иначе, я был тем, ради кого он говорил... Что-то с ним когда-то случилось непоправимое, чего-то он не скушал, не переварил, не простил чему-то такому, чему принадлежал без остатка и любил без памяти, ревность пылала во всем... Что это было, чего он не снес? Культура, искусство, сама жизнь? Или сам бог?

— В творении не предусмотрены наши блага, блага — это дело наших рук! — Голос Павла Петровича звучал отчаянно, словно он уже не догонял мысль, а убегал от нее и она его нагоняла. — Было предусмотрено столько, чтобы мы успели выполнить назначение, — любовь, смерть. Это конец программы. А мы-то полагаем, что наше познание только начинается, когда мы покидаем свою программу... Но ни жадности, ни аппетита, ни чувственности, ни тщеславия не хватит познающему, потому что знания, как и бога, неизмеримо больше, чем нас. Ни Екклесиасту, ни Фаусту...

Сквозь эти имена проступил Павел Петрович, будто ливень кончился или растворил в себе стекло. Я вдруг увидел, где мы. Тусклый свет, осклизлые, серые стены, помойный цементный пол; в бочке плавал последний огромный огурец, не помещавшийся в чане, высовывающийся любопытствующим тупым концом наподобие крокодильчика. Одно мне стало окончательно ясно: что там мы и находились, где стояли, и речь его не представлялась мне больше никаким преувеличением. С той стороны слоя мы и были, о которой он говорил.

С сомнением, что это было когда-то, мог я припомнить пейзаж нашего знакомства. Правда была здесь, а не там; правда, то есть реальность, был вот этот огурец. Безумие — это не то, что мы можем себе вообразить и испугаться, безумие — это когда уже т а м, а не здесь. Мы были по ту сторону, и нам улыбался Семион, потому что то, что исказило его лицо, было улыбкой. Он протягивал мне кованый ключ от храма.

— Опять забудете,— говорил он ласково.

Потому что мы, оказывается, собирались.

— Ну ты нашабился! — восхищенно сказал Павел Петрович трезвейшему, на мой взгляд, Семиону. — Дал бы дернуть...

С той же устрашающей и подкупающей маской любезности Семион вынул из-за уха непомерно длинную папиросу и протянул Павлу Петровичу.

Я направился к двери, в которую мы вошли, представляя себе то же карабкание в стене и там долгожданный глоток воздуха и неба... оказалось, не туда я пошел. Мы вышли совсем через другую дверь, и никуда не надо было карабкаться — очутились прямо на улице по ту сторону кремля.

— Мы сейчас пойдем в одно место,— сказал Павел Петрович.

— Куда уж... ведь ночь... — Это не я — моя плоть боялась: я весь состоял из водки, она прозрачно дрожала во мне.

— Там нас очень ждут.— Павел Петрович был безапелляционен, однако находился как бы в некотором раздумье, куда идти, направо или налево, и что-то про себя взвешивал и решал.

Мы стояли под единственным фонарем, дорога, изогнувшись вокруг фонаря, уходила вниз, зарываясь в сомкнутые деревья. В раздумье же Павел Петрович достал, теперь из-за своего уха, Семионову папиросу, покрутил и понюхал. Он понюхал — я ощутил, до чего же сладко здесь настоялась ночь: общий запах асфальта, листвы, травы и тумана, остывая, излучал тепло. Воровато курнув себе в рукав, Павел Петрович передал папиросу мне. Я затаился, и мы пошли.

То есть это мне так показалось, что мы пошли. Потому что и фонарь почему-то пошел с нами, и дорога повлеклась, как эскалатор... Павел Петрович, конечно, говорил, но я уже не улавливал, то и дело выпадая из его речи в соседнюю темноту улицы, он меня бережно поддерживал под локоток, снова вводя в русло, освещенное все тем же фонарем...

— Многоэтажный человек... — говорил он. — Он и обезьяна, и питекантроп, и каменный, и бронзовый, и золотой, и язычник, и ранний христианин, и атеист, десятый век

соседствует с первым, а первый с двадцатым, он в галстук и набедренной повязке, с пращой и автоматом, рабовладелец, смерд, буржуа и пролетарий, грек, монгол и русский — все это одновременно, все это сейчас, не говоря уж о том, что он и женщина и мужчина... Мы судим по верхнему этажу, который он надстроил уже в наше время, но мы не знаем, какой из этажей реально заселен в нашем соседе: может, это монгольский сотник пятнадцатого века в «Жигулях», а может, слушатель платоновской академии в джинсах... Мы все из кожи вон уподобляемся друг другу, настаивая как раз на несущественных отличиях как на индивидуальности... и никто нам не подскажет, кто мы. Что ты скажешь про возраст дерева?.. Нет, не надо его пилить, чтобы считать кольца! — перебил он меня. — Что за варварство! Каждая клеточка дерева — разного возраста. Не старше ли нижняя ветвь верхней? А не моложе ли свежий лист нижней ветви старого листа верхней?..

Я не знал. Я стоял в замешательстве перед бурным потоком, внезапно преградившим путь. Павел Петрович заботливо помог мне перешагнуть его, ибо это была лишь жалкая струйка из протекавшей в муфте водопроводной трубы. Он развивал теперь передо мной в противовес теории слоя, в которую я уже веровал, некую теорию фрагментарности жизни и был крайне сердит на создателя.

— Подумаешь, понастроил! Без плана и контроля, как получалось и из того, что под руку попадалось... Это мы населяем, мученики, все логикой и стройностью, которая нам не дается, за что себя же и виним. А это самый обыкновенный курятник, только очень вычурный, с пристройками, лесенками и надстройками, выданный нам за совершенное здание, благо мы другого не видели. По кусочкам — и в кучу! А все — отдельно, все отдельно! — вскричал он. — Не завершено, недомалевано, сшито на живую... Стоп! — ликовал он. — Вот что живо, вот что грандиозно, вот что велико и божественно — нитка! Нитка-то — живая! Она-то и есть присутствие бога в творении! Как я раньше не подумал! — Павел Петрович плакал, по-детски растирая слезы по лицу.

— Ты что? Ты что?.. — умолял его я. — Что с тобой? — спрашивал я, еле сам сдерживая слезы.

— Бога жаль! — сказал он и, круто, по-мужски смахнув предательскую слезу, заиграл желваками, как Семион.

— Ну уж, — опешил я, — чем мы можем ему помочь?

— Именно мы и должны! — убежденно сказал Павел Петрович. — Он же верит в нас! Это не мы в него, а он в нас верит.

Ты думаешь, ему легко? Взгляни на нас!.. Вот что тут... — И он опять заплакал. — Нет, ты не знаешь! Ты не знаешь! — причитал он. — Ведь он — сирота!

— Семион?..

— Бог — сирота, болван! Он — отец единственного сына, и того отдал нам на растерзание. Каково ему, от вечности лишенному родительской заботы, той же участи подвергнуть дитя свое единокровное!

Чего не ожидал, того не ожидал! Хмель вылетел у меня из головы. Во всяком случае, фонарь наконец отцепился от меня и отстал. Тьма вокруг густела.

— Разъясню, — доносился Павел Петрович из темноты. — Сначала тебе вопрос. Адам был создан по образу и подобию... Можно ли считать его сыном бога?

Шея как-то свободно болталась у меня в воротничке, почему-то показалось, что мне ее сейчас с легкостью свернут в темноте невидимой громадной рукою, тянущейся с неба.

— А вот нельзя! — ликовал Павел Петрович. — Потому что он сотворен, а не рожден! А Иисус — рожден! Иисус — сын. Я об этом еретическую книжку одну читал, не помню автора... Творением мы можем быть удовлетворены, даже горды, но это чувство еще любовью не назовешь, любить собственное творение может лишь дилетант, а не истинный творец. Творение любить нельзя, а сына — нельзя не любить. Творение может не удовлетворять, но вряд ли в нем можно что-то исправить: сотворенное, оно не принадлежит создателю. Ты перечитываешь свои книги, ты можешь поправить хотя бы опечатку во всех экземплярах? Я люблюсь своими пейзажами?.. Такова реальная возможность любить свое создание и поправлять в нем. Творец не может войти в контакт с творением, когда оно закончено, как бы оно ни огорчало его. Он может его лишь уничтожить. Но оно ведь живое! Единственный способ находит господь — отделить себя от себя, послать другого себя, сына своего... Он отдает нам единственное и самое дорогое, чтобы тот доделал то, чего не мог он сделать сам. Учти еще и то, что не только Иисус — человек, но и создатель, не нисходя к нам, становится человеком, ибо он отец человека Иисуса и этим он приносит еще одну жертву, обожествив творение, усыновив его. И тогда мы, бывшие лишь созданием, подобным ему и сыну его, станем и детьми его, ибо его сын — наш брат по матери и по крови. Но, став братьями Иисуса, не старше ли мы Иисуса? Адам старше Иисуса во времени, и, как дети его — Каин старше Авеля и Каин убивает Авеля, — не Каин-

пом ли стало Адамово человечество, распяв божьего сына, а своего брата?

Мы вышли на свет следующего фонаря, я еще покрутил шеей, и тут нас разглядело возмездие. И не надо было крутить шеей — оно последовало не сверху, хотя, возможно, и свыше.

Из оставшейся за спиной темноты нас нагнал и круто тор-мознул «воронок». Два милиционера проворно выскочили из кабины, и один уже крепко сжимал мне руку повыше локтя, а второй, проскочив мимо, грузно шуршал в кустах, как лось.

Я оглянулся — милиционер смело заломил мне руку за спину; я ойкнул.

— Полегче,— сказал милиционер.

— Это вы полегче,— сказал я.

— Ты у меня! — сказал он.

— Я у тебя не убегаю и не сопротивляюсь,— сказал я.

— Это точно,— сказал он,— куда ты... денешься.

И он улыбнулся открытой, детской улыбкой. Был он сам мелковат, а зубы были замечательные и крупные. «А ведь я мог бы с ним справиться»,— подумал я, сжимая в свободной руке ключ от храма. Бог меня спас, я мог бы и убить таким ключом...

— Ключик-то отдай мне,— сказал он тогда.

Я отдал.

— Ну и ключик! — восхитился он.— Откуда такой?

— От квартиры,— не удержался я.

Милиционер, к счастью, не обиделся, а засмеялся, довольный.

— Скажешь...— сказал он утвердительно и удовлетворенно.

— Да отпусти ты руку, не убегу,— сказал я.

— Прописан? — спросил он.

— Прописан,— сказал я.

— В Москве?

— В Москве.

— Где?

Я назвал.

— Далеко же ты забрался. Как добираться-то будешь?

— На такси.

— У тебя что, и деньги есть? — искренне удивился он.—

Не все разве пропил?

— На такси осталось.

— Покажи прописку.

— Да не ношу я собой паспорт! — Это меня всегда бесило.

— И зря,— сказал он, но руку отпустил.

Этот милиционер был ничего. Другой был хуже. Он вылез, запыхавшийся, из противоположных кустов: как он перепорхнул?

— Ушел, гад! — сказал он.

Что Павел Петрович сбежал, вызывало во мне смешанное чувство: с одной стороны, я был, конечно, за него рад; с другой — он меня этим очень удивил, такой своей способностью; с третьей... «Адам, Каин, Авель...» — думал я и усмеялся не без горечи.

— Взгляни, — сказал мой, протягивая ключ коллеге.

— М-да, — протянул тот. — Откуда такой?

— Не говорит, — доложил мой, — и паспорта нет.

— Так ясно, — сказал тот, — без прописки, значит.

Я было вскипел, но мой поддержал:

— Говорит, что прописан в Аптекарском переулке.

— Где это?

— У трех вокзалов, — сказал я.

— Ну, у трех вокзалов вы все прописаны... — засмеялись они вдвоем. — А друг твой что, тоже там прописан?

— Да не друг он мне...

— Что, впервые видишь?

— Впервые вижу.

— Чего же в обнимку шли?

— По дороге было.

— На три вокзала?

— Да нет, до трассы. Я тут заблудился, а он сказал, что покажет.

— А ведь не простачок, а? — поощрительно кивнул тот моему.

— Это да, — согласился мой.

— Заблудился, видишь ли. А где ты заблудился-то, хоть знаешь?

Вот это был вопрос! Это он меня взял. Этого я совершенно не знал, где я.

— Откуда хоть идешь, скажи, — подсказал мне мой, словно и впрямь был на моей стороне.

— Из монастыря.

— Из монастыря?! А что ты там делал?

— Причащале.

— Все ясно, — сказал тот. — Что мы стоим? Поехали.

...Можете мне не поверить, но меня в конце концов отпустили. Не ожидал я от них, но еще меньше ожидал от себя.

Проснулся я, сидя на обычном канцелярском стуле, в по-

мещении, до странности не напомиравшем камеру. Это был такой загончик, в котором содержат некрупных животных, вроде кроликов или в крайнем случае лисиц... Сквозь проволочную стенку, отделявшую меня от дежурки, видел я мирного милиционера, дремавшего на посту. А вот обок со мной помещался на таком же стуле человек, которого никак нельзя было бы здесь ожидать: солидник. Он был в драгоценном на вид пальто с бобровым, как мне показалось, воротником; в каракулевом пирожке, оттенявшем благороднейший бобрик седых волос; в тонких золотых очках, свирепо посверкивающих... и он спал, оперев выбритейший массивный подбородок на набалдашник (слоновой кости!) столь же массивной трости.

— Проснулся? — услышал я добрый голос милиционера. — Выходи.

И он отпер сетчатую дверь в нашей клетке.

— Выходи, не бойся, мы ничего против тебя не имеем... (В жизни со мной так не разговаривали!) Как раз майор пришел, сейчас тебя отпустим... Сиди, сиди. Тебя не касается! — грозно прикрикнул он на шевельнувшегося за мной сановного соседа. — Ты у меня еще посидишь! — Два «и» в последнем слове прозвучали у него тоненько, как у комарика.

Образцовый и показательный, выпорхнул я из камеры, как птичка, осуждающе посмотрев на моего, теперь уже бывшего, коллегу... Протрезвел я, конечно, сам удивляюсь как. Правда, разило от меня!.. Майор, чисто выбритый, образцовый, со спортивным румянцем на подтянутых скулах и университетским ромбиком в петлице, брезгливо попросил меня не подходить к нему и говорить на расстоянии. Все-то я ему сумел объяснить... За что я люблю кино — так это за то, чтобы в милиции сказать, что я в нем работаю. Тут, конечно, начинаются вопросы, на которые я могу ответить, то есть вопросы, переходящие в разговор, переходящие в беседу. Не то чтобы майор видел хоть одну из снятых по моим сценариям картин, но удостоверение-то, хоть и не паспорт, у меня было. И адрес мой подтвердился и ФИО. И не дрался я, не пел, не матерился, не оказал сопротивления. И в монастыре, как оказалось, был я в гостях у друзей-художников, а художники, известное дело, сами понимают... И запах у меня такой, просто несчастье мое — пищеварение такое или печень: выпьешь на грош — разишь на рубль.

— Что ж вы здоровье-то не бережете, раз так? — напутствует майор.

— Да не могу сказать, чтобы часто злоупотреблял-то, — сокрушаюсь я на голубом глазу.

— Что ж они вас не проводили-то?

— Да набрались как поросята, — осуждающе говорю я, — я-то не вровень с ними пил.

Ключ же, оказалось, я нашел в деревне (отдельно разговор о деревне — где, в какой области, оказались почти земляки...), ржавый-ржавый; вот ребята мне его и отреставрировали, я его на стенку повешу.

— Вот ключик-то у нас и оставьте... А Голсуорси, что обещали попробовать достать (уж больно жена им увлекается), когда достанете, зайдете к нам, я вам и верну...

И телефончик даже записал, выдернув листок из прошедших дней календаря.

И я настолько воспрял, что даже спросил, что патворил мой вельможный сокамерник.

— И не спрашивайте! — презрительно отмахнулся майор.

А было уже утро, и не самое даже раннее. Солнце грело. Небо синее. Господи! Какое же это счастье! Выйти из КПЗ, выйти сухим, выйти на воздух, на свободу, да еще и погода! Чувствовал себя даже молодо и свежо, будто не зашел вчера за литр, а возвращаюсь себе с утреннего бассейна или корта. Не то что вспоминать — подумать во вчерашнюю сторону омерзительно и страшно. Чем я жив, отчего единственно все еще считаю себя неконченным, так это ханжеством. Я ведь как их сумел убедить? Да только сам во все поверив. И вышел я оттуда с полным ощущением, что справедливость торжествует, и, что особенно характерно, что именно в моем случае. И тот, с тростью, убедительно подтвердил это...

И только отделение скрылось из виду, только я окончательно полной грудью вдохнул воздух, убежденный в том, что вчерашнего фантастического ужаса просто не было, что все это воспаленный бред, который я, к счастью, преодолел, победил и забыл, как меня решительно потянули за рукав... Продрогший и осунувшийся, бессонный, стоял передо мною Павел Петрович.

— Неужто выпустили? — озираясь и шепотом сказал он. — Вот уж был уверен, что пятнадцать суток — твои.

— А ты как узнал, что я здесь? — опешил я.

— А куда тебя еще могли повезти?..

— И ты меня все время ждал?

— После одиннадцати не ждал бы. К одиннадцати приезжает судья...

— А сейчас сколько?

— А сейчас ровно столько, что откроют магазин¹. Пошли!

Так я был наказан, и опять свыше, за ханжество, только что столь меня преобразившее! И выходили мы уже из магазина с двумя бутылками, на этот раз точно портвейна «Кавказ». Причем угощал опять он, вот что удивительно. Ибо целы у него оказались мои пятерки, и вовсе не покупал он водку у Семиона, а тот был ему ее должен... И вот, щурясь на белый свет, и ощущая взгляды на своей испитой коже и впе-запной щетине, и прижимая к пузу петарды с «Кавказом», будто под танк с ними бросаюсь, а вернее под «КрАЗы» и «МАЗы», стоим мы посреди улицы, задыхаемся, и никак нам этот поток не перейти, и уж я-то точно не знаю, куда дальше, и уже больше совсем не хочу туда, «где нас очень ждут», да и ПП будто сник после ночи... Ни тебе садика, ни скверика — крошечный район: новостройка, которая уже не новостройка, а застройка пятидесятых. Слоновые строения с глухими крепостными подъездами и особыми, выросшими за эти четверть века старухами на лавочках у подъездов... И даже всюду вхожий Павел Петрович будто наконец растерялся. Но вы не знаете Павла Петровича! И я тогда еще не все про него знал... Буквально в двух шагах было дело, на них-то он и прищурился, не от растерянности, а для рывка... Напротив магазина шел ремонт, а вернее, перестройка первого этажа под что-то такое, под другой, скорее всего, магазин. Рассыпающаяся звезда сварки и был наш ориентир... Работяга, накинув забрало, варил некую конструкцию в чернеющем дверном проеме. К нему-то и направился уверенно Павел Петрович, а я безвольно, уже опять подпав, за ним. Павел Петрович подошел к сварщику и даже не сказал ему ничего, хотя точно на этот раз это был не Семион, а, как и мне, совершенно незнакомый ему человек, — не сказав ему ничего, лишь сказал: «Дай пройти». И тот, совершенно не матерясь, а тут же входя в положение, притушил свою сварку, приподнял забрало, открыв свое хорошее рабочее лицо, готовно отошел в сторонку, освободив нам проход и тоже ничего не сказав, только сказал: «Только вы отойдите туда поглубже...» — мысленно я моментально продолжил фразу: «...чтобы вас не увидели», — но опять был не прав, потому что окончание фразы было другое: «...чтобы я вас не слепил». «Отойдите в сторонку, чтобы я вас не слепил» — не меньшим счастьем, чем утро, встретившее меня за порогом

¹ Отсюда ясно, что действие происходило до 1 июля 1985 года. (Прим. автора.)

милиции, одарила меня эта фраза! Мы прошли, и он, впрямь не провожая нас взглядом, ничем нас более не напутствуя, продолжил прерванную работу.

В глубине пустого темного зала, наверно будущего магазина, стояли строительные козлы; на них-то Павел Петрович и расположил — и опять уютнейше! — наше достояние. Рабочий (не хочется называть этого благородного человека работягой) сверкал в единственном светлом на все помещение проеме, и мы молча выпили по первому стакану и молча подождали довольно быстро пришедшего обновления наших организмов, и стало хорошо, опять хорошо и снова хорошо, и мне показалось, что рабочий защищает нас, отстреливаясь, от нехорошего, недоброжелательного к нам мира...

— Хочешь, совсем честно тебе скажу, — сказал Павел Петрович и посмотрел на меня так грустно, что я не понял.

Но я был настолько снисходителен к нему ввиду такого благородства нашего рабочего, нашего защитника, нашего пулеметчика... что уже как бы не помнил (хотя на самом деле помнил) его ночного предательства, я был снисходителен и не хотел слышать его оправданий, унижающего его лганья, и я сказал, любуясь моим рабочим:

— Что ж ты ему-то не предложил, а?

— Он не будет, — ясно ответил Павел Петрович.

— Почему же не будет?

— Потому что он в обеденный перерыв будет.

— Ты с ним знаком?

— Откуда?.. В первый раз вижу. Так хочешь, я тебе скажу?

— Ну? — спросил я недовольно, все еще не пережив своего героического поведения в милиции.

— Честно говоря, я ужасно струхнул, поэтому тебя и бросил.

Нет, я еще не знал этого человека! Он никак не мог смириться с мыслью, что предал меня. Нет, он не предал. У него как бы не было выбора. По целому ряду обстоятельств, о которых он мне когда-нибудь расскажет, он не имел права рисковать. С другой стороны, я должен был понять, что я у него на всю жизнь и должен положиться на него как на себя. Но если бы я знал все, если бы имел хоть какое-нибудь представление о том, что ему пришлось за жизнь пережить...

Что же это за власть он захватил, хотя бы и над одним мною?.. Вряд ли я один... Опять я поплелся за ним, как зять Мижуев.

Вот это было то, что мне никак не удавалось уловить и на

что я бесспорно попадался: пауза и доза. То есть я не мог уловить закона и ритма, по которым он это варьировал: то полстакана, то стакан, то треть, то через пять минут, то через час... За точность времени я, конечно, не мог ручаться, потому что вряд ли хоть какое-то чувство времени во мне сохранилось. Но было что-то от власти над собой и над процессом в его неумолимом, самоубийственном пьянстве, и уж совсем непонятно было, как я-то выдерживал это с ним равенство, но всякий раз, как он находил нужным добавить или повторить, я оказывался вполне способным, а иногда даже готовым это вынести. И рассказ его, и бурные барашки мыслей, предвещавшие штурм очередной системы мира, были каким-то образом подчинены и организованы кажущейся бессистемностью тостов. Ибо он держал руку на этом аритмичном пульсе! Трудно было в это поверить, а тем более оформить как мысль, но он пил как бы не сам, а — мною, и не я подчинялся его желаниям продолжить, а он — руководствовался моими сначала способностями, а потом и возможностями. Страшные истории своей вызывающей сочувствие и ужас жизни помещал он между этими неравными в пространстве и во времени стаканами... Фашисты подожгли дом; мычали овцы; трепетал флаг над сельсоветом; трактор раздавил пьяного в колее; ночью под фары «студебекера» вышел кабан; их нашли лишь через неделю в погребе оголодавших и забывших слово «мама»; брат бежал из колонии, но оказался «коровой»: его съели товарищи по побегу в пятидесяти километрах от Улан-Удэ; в пирожке в станционном буфете нашли детский пальчик; отец изнасиловал сестренку в борозде... Это был многосерийный телевизионный рассказ, в котором им оказались сыгранными все роли. Но я не сомневался. Иногда мой слабый разум пытался высчитать возраст героя и сбивался, как и от попытки высчитать количество выпитого. Мой собутыльник и современник прожил несколько жизней, достигая иногда и семидесятилетнего и семилетнего возраста одновременно; события, которых он был участником, а иногда лишь свидетелем, бывали историческими, но тогда роль и ракурсы становились фантастическими и, ровно наоборот, убедительность и реальность фактов личной его жизни окрашивали факт исторический в самые фантазмагорические цвета. Но каждое из этих биографических колен имело все один и тот же подтекст: предательство. Всякий раз он был несправедливо, незаконно, случайно, умышленно, не по своей воле и т. д. изгнан, отторгнут, выселен, посажен, казнен, унижен, растоптан —

в университете, в армии, в оркестре, в бригаде, в детском саду, в Академии художеств — упиралась и обрывалась его столбовая дорога, светлый путь, призвание, назначение. Всякий раз его п р е д а в а л и. И каким бы я ни был ему безукоризненным слушателем и сколь бы плохо я ни соображал, от меня не могла вполне ускользнуть связь этой бесконечной цепи предательств с тем, что этой ночью он смылся, а меня — забрали. Мое сочувствие его злоключениям и вера в истинность происшествий потому и не устраивали его, что чем больше он говорил, тем больше и оправдывался, и чем больше я с ним соглашался, тем туже он эту собственную петельку и затягивал. Моего умысла в этом не было, и то, что я преисполнялся в его глазах и все возвышался, по-видимому, изводило его...

— Вот и ты меня предашь... — тихо и властно, будто склоняясь на вечере к Иуде, наконец произнес он.

Я ничего ему не ответил, во-первых, потому, что не мог, а во-вторых...

— Достаточно во-первых, — прервал он мое молчание. — Так сказал Наполеон.

Иуда, кажется, ведь тоже промолчал... И впрямь «Кавказ» весь был выпит. Здесь, из темноты, так ярко светился дверной проем, такое за ним было солнце, будто сразу за дверью было небо, а не улица. Звал этот проем. Искры сварки, казавшиеся такими слепящими, когда мы входили, теперь бледно рассыпались в солнечном свете. Рабочий так же молча посторонился, пропуская нас...

Там мы и оказались на солнечном свету. Чувствительность моя была как у фотопластинки, я пытался спрятаться в собственном рукаве, и не вполне мне это удавалось — я засвечивался по краям... Павел Петрович, опечаленный моим грядущим предательством, больше не говорил о будущем, даже ближайшем. Однако к у д а-т о мы уже шли, взгляд милиционера останавливался на нас и, взвесив и оценив, пропускал до следующего. Он пропускал нас, как мы стакан, в том же неявном ритме. Тут я уже что-то плохо помню... Мы говорили теперь только о России. Самый неотступный, самый невоспознаемый разговор.

Но продвигались мы упорно. Бесспорно по России. Кажется, опять нас где-то «очень ждали». Кажется, даже к нему домой. У него, оказывается, и дом был. И семья. И жена. Она нас тоже очень ждала. Но как это было далеко! За семью долами, за семью горами... На каждой из гор добывалась бутылка и в каждом долу распивалась...

Я обнаруживал себя то там, то тут и где-то, наверно, бывал между тут и там. Тут — был зеленеющий дворик меж хрущевских пятиэтажек, выстроенных в каре. Зеленеющий дворик с подростшими за прошедшую так быстро историческую эпоху деревьями, но все еще не окончательно выросшими. Они торчали вокруг детской площадки с грибками, и песочницами, и ракетой в виде детской горки и оттого напоминали второгодников-переростков, кстати как раз возвращавшихся уже в наше время из школы — сбежали с последнего пения, — тоже выросших из школьной формы. В тени одной из таких школьниц с коленками, в тени юной тополихи, на доминошном столике, раздавив с игроками и снова сбежав и раздавив, играли мы в рулетку, сделанную из стирального таза, принадлежавшую некоему Жоржику... Там проиграл я, под ласковыми и нежаркими солнечными лучами, свои все еще остававшиеся пять рублей, а Павел Петрович отыграл их, достав со вздохом заначенные от «собачьих» денег три... как говорил Павел Петрович, «три рубли». «Посылаем семь рублей на покупку кораблей, остальные три рубли...» — декламировал Павел Петрович, ставя сразу на красный и на нечет, и выигрывая и там и там, и тут же все вместе просаживая на зеро.

Проигрыш уводил нас в новую даль и приводил почему-то на базу спортторга, закрытую к тому же на переучет, но там-то нас как раз и впрямь «ждали». Павел Петрович и здесь был совсем свой и даже нужный человек. Ему обрадовались, на меня не обращали внимания. Старейший плейбой заводил нас в свой кабинетик, где Павел Петрович разворачивал газетку, в которой было что-то вроде книжицы (она была с ним, выходит, весь наш нелегкий путь — и он не забыл, не выронил и не потерял...). Книжица эта была не чем иным, как освеженной доской от Семиона с теми же Кириллом и Мефодием, что и вчера. Они ласково и трезво блестя тельер под японским календарем с голой японочкой, искусной позой скрывавшей некоторую краткость ноги, зато не скрывавшей всего остального. Изысканно, даже с икрой накрыл нас щедрый плейбой на гимнастическом коне. Плейбой накрывал и уронил с неловкой поверхности коня хлеб, я покачнулся поднять, а он махнул рукой: пусть, — а Павел Петрович — тот трепетно поднял его, поцеловал и сказал: «Прости, хлебушек». Хотя был хлебушек — с икрой. И, усевшись на гряде матов, меж лыжами и рапирами, вдыхая дивный запах дерева и резины, пришли мы немножко в себя. Весело стало мне среди этих неуклюжих спортивных чудищ,

дисциплинированно сработанных в неких выселенных за края нашего сознания артелях — слепыми, малолетними преступниками, престарелыми актерами и прочими отверженными кастами! Весело, и захотелось плакать. И плакал я, обнимая школьной памяти козла за прочную его ногу. И очень заботливо и тактично входил в мое положение добрый зав, и, утешенный, выходил я с Павлом Петровичем далее, откуда, как уверял он, нам было уже рукой подать.

Рукой подать нам стало в некоем одичавшем яблоневом саду, предварявшем самую отдаленную в городе новостройку. Рассыпанной пачкой рафинада искрились корпуса в лучах закатного солнца, подавляя остатки моего сознания чистотой и недоступностью всеобщей созидательной жизни. И сад, по которому мы уже шли, был необыкновенно красив и велик со своими редко и стройно, по-солдатски расставленными корявыми и приземистыми деревцами, в ветвях которых уцелевало по одному корявому, в точечках, яблоку, которыми мы и закусили. Здесь, в густой траве, меж деревьями, на красиво отлогом склоне, в виду того дома, где нас «очень ждали», был наш последний привал. Это была и впрямь долина, дол, отделявший предпоследний микрорайон от последнего. И сил у нас уже не оставалось. И мы были у цели. И какая-то оконченность, исполненная скорби и счастья, светилась в закатном воздухе, застоявшемся между яблонь. Здесь было преддверие рая, последняя черта раздумья перед тем, как — неизвестно что. Мы дошли до конца. Мы выпили, и сознание мое прояснилось как еще ни разу в жизни. Павел Петрович этого только и ждал, будто два дня сознательно и неуклонно вел именно в эту точку.

— Теперь я скажу то, что преждевременно было тебе говорить раньше... — сказал Павел Петрович со светлой грустью во взоре. И он положил мне руку на плечо так, как, наверно, клали меч, посвящая в рыцари.

Я сознавал вполне высшую ответственность этого посвящения...

— Все было закончено к приходу человека, налажено и заведено, как часы. Человек пришел в готовый мир. Никакой эволюции после человека не было. Она продолжилась лишь в его собственном сознании, повторяла ее в постижении... Но человек перепутал постижение с обладанием, с принадлежностью себе! Мир был сотворен художником для созерцания, и постижения, и любви человеком. Но для чего же «по образу и подобию»? — будучи несколько знакомым с людьми, никак этого не понять. И только так это можно

понять, что — «по образу и подобию»: чтобы был тоже художник, способный оценить. Художник пуждался в другом художнике. Художник не может быть один. Еще больше был нужен Адам творцу, чем Адаму Ева. Что такое творение, что такое готовый этот мир? Лишь в художнике найдется если не ответ, то отклик, если не любовь, то жалость. Не то что творение... — когда я вижу обыкновенную великую живопись, я плачу от жалости. Ибо за любым нашим восторгом таится чувство обреченности: продадим, предадим, распylim, растлим, растратим! Так нет же, и тут мы преувеличиваем себя. И до этой-то мысли дошли лишь индейцы племени яман...

— Как-как? — встрепенулся я. — Какие индейцы?

— Последний индеец племени яман, — печально и торжественно продолжил Павел Петрович, — умер в аргентинском городе Ушуая в тысяча девятьсот шестьдесят втором году. Родиной племени была Огненная Земля. В середине того века оно насчитывало три тысячи человек. У них не было никакой политической организации, слово старейшины было для них законом. То есть, с нашей точки зрения, они находились на крайне низкой ступени цивилизации. Даже ростом они были метра полтора. И жили себе в хижинах, крытых травой или овечьими шкурами. Однако у них был весьма развитый язык, делившийся на множество диалектов, что особенно затрудняло работу этнографов. Так что ничего от них не осталось. Ни слова, не то что диалекта. Только оказалось, что перед смертью последнего ямана доктор из больницы, в которой тот помирал, записал-таки его на магнитофон. Яман был без сознания и говорил безостановочно, торопился нечто поведать. История с этой пленкой — целый детектив. Она пропала. Потом была найдена чудом, уже в Австралии. Но не в этом дело. Когда ее расшифровали, там вместе с эпизодами истории великого племени оказался изложенным и примечательный миф о творении, впервые, по-моему, трактующий творца нашего как художника. Когда великий бог, кажется Никибуматва, что в переводе означает «пасущий облака», взялся воссоздавать картину жизни, в его дело сразу вмешался его тень-дьявол, кажется Эсчегуки, в переводе означающий «сырое имя бесследного существа». Никибуматва умел творить форму, а Эсчегуки его ревновал и ни в чем старался ему не уступить, но он не умел творить форму и очнь боялся это обнаружить. Присматриваясь к тому, как творит форму Никибуматва, Эсчегуки пробовал повторить, но у него и повторить-то получалось уродливо и коряво. Тогда он

начал делать вид, что смеется над Никибуматвой и нарочно делает так уродливо, чтобы показать ему, как нелепо все, за что только ни возьмется великий бог. Никибуматва, будучи истинно велик, не обращал на него внимания, хотя тот ему и досаждал как только мог. Никибуматва сотворил, скажем, форму рыбы и сделал многих рыб, пока не дошел до совершенного дельфина; Эсчегуки, подсмотрев за его работой и бездарно повторяя, к изуродованной форме прибавлял еще обломки других несовместимых существ, тоже совершенно созданных Никибуматвой, и наконец, выдохшись, получал крокодила. Великий бог создавал певчую птицу — Эсчегуки легучую мышь. Никибуматва — бабочку, Эсчегуки — грязную муху. Никибуматва успевал сделать десять прекрасных животных — Эсчегуки их всех уродовал и склеивал ядовитой слюной одного. Но, несмотря на завистливость и бездарность, и Эсчегуки многому научился, потому что втайне вовсе не насмехаться, а сравняться хотел с Никибуматвой. И вот когда великий бог сделал благородного волка, Эсчегуки старался особенно долго, но у него получился шакал. И отчаялся Эсчегуки, и разгневался Эсчегуки, и сообразил он жуткую шутку — стал лепить существо наподобие великого Никибуматвы, и получилась у него — обезьяна. Все терпел великий бог, чтобы только не отвлекаться от великой работы, но этого не стерпел. Но так как он не мог вмешиваться в чужое, пусть и уродливое, творчество и так как он не мог помешать жить тому, что уже живо, он и не уничтожил крокодилов, летучих мышей и шакалов и не поправлял их, раз уж они есть, — так и обезьяну, карикатуру на себя, не стал он никак исправлять, а только брызнул на нее слезой своей досады и капелькой своего пота, на секунду отвлекшись от работы и смахнув слезу и пот усталой рукой. И обожгли обезьяну обе капли, попав ей прямо в глаза, и стало с обезьяной что-то твориться, что она с а м а стала меняться на глазах у ее создателя Эсчегуки, во всем стараясь подражать и походить на Никибуматву; и изменилась она, став человеком, и создали его слеза и пот великого бога, и оттого уделом человека стали любовь и труд: любовь видит форму, а труд ее создает. Но оттого же и человек оказался «по образу лишь и подобию», потому что вовсе не собиравший великий бог копировать самого себя, ибо он был настоящий творец, не то что бездарный пародист и карикатурист Эсчегуки. Оттого человек и двойствен по сию пору, что создан он дьяволом, а одушевлен богом. И мог бы он стать во всем подобен богу, да мешает ему дьявольская природа, с которой

он борется, но не побеждает, потому что плоть его от дьявола, а дух от бога.

Павел Петрович торжественно умолк, налил в стакан, но так и не выпил и мне не предложил, а снова надолго задумался, как великий Никибуматва, я же молчал, как воодушевленная им обезьяна, у его подножия, глядя на него снизу вверх с обожанием. Тут-то он залпом стакан и осушил.

— И знаешь, что я понял благодаря этому мифу? — сказал он, теперь наполнив и передав стакан мне (он у нас, забыл сказать, был один). — Понял я наконец первую фразу в Библии...

— «В начале было Слово»? — подхватил я.

— Все-то ты знаешь... «Земля же была безвидна и пуста...» А ты так и думаешь, что — слово. Тогда вы, пишущие, первые люди, не так ли?

Уличенный, я скромно потупился.

— «Слово» в оригинале — логос, знание, и я тебе уже это втолковывал, но ты еще не смел понять... В начале мира было знание о мире, то есть образ мира. Что и есть по любой системе эстетики основа творчества. Так что уподобление творца художнику не так уж и метафорично, как — точно. До мира существовал его образ, а раз есть образ, художник способен его воссоздать. Значит, образ старше творения во всех случаях, что и подтвердит любой художник на практике. «Слово было Бог...» Не так ли? Так кто же тогда заказчик, а?

Я не знал.

— Почему моцартовский черный человек так и не пришел за своим заказом? Только потому, что заказ был выполнен... Величие замысла есть величие изначальной ошибки. Замысел всегда таит в основе своей допущение, то, чего не может быть. Это и есть жизнь. И жизнь есть допущение. Она заказчик, она изначальна, потому что только жизни — совсем уж быть не могло. Не только в творении, в любом обычном великом произведении найдешь ты эту ошибку... Что неверно в «Преступлении и наказании»? Что Раскольников убил старуху. Лизавету, вторую, он мог убить, но первого убийства совершить не мог — он не такой. Но был ли бы роман, если бы он был «по правде», без убийства старухи? Не было бы и романа. От неправого допущения, лежащего в основе, расползаются по всему созданию по мере исполнения бесконечно выходящие за пределы неточности. Этот труд уточнения и исправления и создает произведение. Воплотить образ или слово значит не только его воссоздать, но и подделывать под замысел. Страдания гения неизмеримы от этой борьбы с изначальным

допущением, но тот и гений, кто много до п у с т и л. Без этой первородной лжи замысла ничего бы и не было; только мертвая материя точна. И вот чтобы была ж и з н ь, надо было допустить неточность и в точном — в самой мертвой материи. Вода! — вот что изобличает в творении творца, в творце — художника. Как там она расширяется и сжимается, кипит и замерзает единственным и противоречивейшим способом из всех жидкостей? Ты, специалист по кроссвордам, должен лучше меня знать... Из воды и вышла жизнь, что всем известно. Так вот не жизнь изумительна, а — вода! Она есть подвиг творца, преступившего гармонию во имя жизни. Не нам себе представлять, чего это ему стоило. Вот что он воистину создал! Воду... От ее капли до нас с тобой меньшее расстояние, чем от неживой материи до воды. Эволюция — это всего лишь роман с неизбежной развязкой; возможно, мы и закроем всю книгу... Поправки, вписки, вычеркнутые места... Есть, впрочем, еще одна принципиальная вставка: нефть! Тоже никто не объяснил толком, почему нефть, как и зачем. А вдруг, создав жизнь, в неизбежности поправок и дополнений он сам нам ее запас, в наше продолжение и будущее... Будто и впрямь куда-то мы должны залезть в нашем будущем. Но не нравится мне. Куда этому допущению до величия первой воды!

Что-то и впрямь плескало во мне и вокруг, как прибой... Серебристая гладь, и дома всплыли... Запахло вдруг морем, как родиной...

— Младенец... — лепетал Павел Петрович, уже тоже прозрачный, растворившийся в смыкающемся вокруг оксане. — О, если бы я смог — младенца!.. Его еще никто не нарисовал. Потому что он не человек, не зверь, не бог... А может, и бог... У него лицо — как великая вода, всегда течет, ничего нашего не значит. Видел ли ты истинный пейзаж? Взгляни в его лицо! — ослепнешь. Пейзаж этот проступает в лице матери, ждущей его, носящей его под сердцем... Там, вглядываясь, еще что-то могли бы мы понять, кабы могли... Но нет, творение нам недоступно, только — страсти...

Последний стакан несколько раз перевернулся во мне от неподъемности этой мысли, и я нырнул серенькой темной мышкой в мелькнувшую передо мной глубину...

Проснулся я как от толчка в голой кухоньке панельного дома. Следы строительных недоделок возвещали о его новизне. Покоился я на раскладушке, завернутый в одеяльце, и туфли с меня были заботливо сняты. У изголовья стояла бутылка пива и лежала рядом с ней открывалка. Отврати-

тельна показалась мне эта забота... О бутылку я и запнулся, встав в носках на линолеум, встав, как колосс на свои глиняные ноги, и шатаюсь, как колос. Подошел к розовеющему окну, чтобы понять, где я и что это за странный живой шум за окном. Я был очень высоко. В сторону от окна простирались бескрайние просторы, уже не городские, а российские. Лес тянулся до горизонта, лишь вблизи дома, за пустующим в этот час шоссе сменяясь молодым густым подлеском. И вот, раздвигая сильной грудью этот подлесок, отчего и происходил дивный шорох, пробудивший меня, мчался в сторону почему-то не леса, а дома чем-то вспугнутый и обезумевший лось. Не такой уж я знаток, не охотник, но был он явно молод, хотя и достиг вполне взрослого размера. Он мчался, раздвигая лесок, как траву, и безумие его взгляда было видно даже с многоэтажной высоты... или мощные его ноги так шли вразнотык и наобум, что казалось, что он ничего не видит перед собой? Над лесным горизонтом краснело солнце ровно на том уровне, как вчера, когда я больше уже ничего не помнил... Тот же ли это был закат, новый ли восход, следующий ли закат?.. На запад я смотрю или на восток?.. Но сада яблоневого передо мной не было, и можно было предположить, что я смотрю в противоположную все-таки сторону, если вспомнить, что окончательный дом, где нас «очень ждали», был тогда в саду перед нами... Тогда получается восход! Особым, неизъяснимым перламутром еще лишь начинало вспыхивать подернуто это прекрасное все... Значит, я в доме Павла Петровича! Ужас, который нельзя объяснить похмельем, охватил меня. Лось промчался на меня и скрылся из глаз моих. Я отлепил лоб от стекла и бесшумно, в носочках, последовал на рекогносцировку.

Квартира была однокомнатная. Тихо приотворив дверь, я застал комнату, столь же, как и кухня, пустую. Только стены были увешаны бесконечным количеством пейзажей. Подойдя поближе к одному из них, я не без изумления признал в нем тот самый, с которого все и началось. И на соседнем. И на еще соседнем... На всех полотнах был один и тот же пейзаж. Облетали листья, закатывалось и восходило солнце, покрывал все снег, набегали тучи, и лил дождь, и даже в ночном мраке с одинокой звездой угадывались его черты... Все тот же пейзаж, все из той же точки. При всем сочувствии не мог бы я назвать все это сносной живописью, или, что тоже возможно, я ничего не понимал. Но ничего от духа Павла Петровича, два дня трепавшего мою уютную лодочку по своим валам, я в этих картинах не увидел. Но особенно в двух

неудачных — непонятная размытая тень, серое расплывчатое пятно неоправданно висело как раз над той точкой, из которой он этот пейзаж писал... Нос! — наконец догадался я. Нос это был. Тот самый, про который он мне объяснял, насколько он в пейзаже не нужен. Осмотрев, я повернулся выйти из комнаты и тут, чуть не вскрикнув, увидел Павла Петровича...

В углу за дверью прямо на полу простирался широкий матрас; около него на коленях — Павел Петрович, осторожно уронив на краешек матраса свою голову, а на самом матрасе — я сразу не понял что... что-то непомерно большое и круглое было прикрыто простыней. И там, вдали, в углу, у самой стенки, за дюной простыни, разглядел я женское лицо. Позы обоих были настолько безжизненны, что ужас обуял меня, и те самые только в литературе встречающиеся волосы зашевелились, как черви, на моей пропитой голове. Комар сидел на ее лбу, его вздувшееся брюшко отдаленно алено, по чему можно судить было, что рассвело окончательно. Мог ли комар сосать мертвую? Еще теплую?.. И тут я разглядел и бьющуюся на виске жилку, а затем и мерно задышала гора под простыней, и Павел Петрович чуть слышно посапывал... Непомерное ощущение счастья переполнило меня. Я глядел и глядел на это безбрежное беременное лицо, пейзаж степной и вольный, в котором нас уже нет, древний, как курган, и юный, как полевой цвет... И успокоенное и мяконькое личико Павла Петровича... И на обоих следы слез прошедшего ночью быстрого грозового ливня... Тихо, на цыпочках, вышел я из квартиры, дверь была открыта, и замок болтался на последнем винте бесполезный... и никого еще не было на улице, лишь с чьей-то лоджии прокричал петух, и, чуть подумав, ответил ему другой... Тут только я заметил, что я в носках, но за туфлями решительно не вернулся, а направился в сторону предполагаемой трассы ловить машину и ехать туда, где меня ждало свое объяснение.

Я мог бы отыскать по памяти дом Павла Петровича или, еще точнее, мог назначить ему свидание в точке его пейзажа... Непобедимый страх сковывал меня каждый раз при одной мысли об этом. Даже в милицию вернуться (книга у меня уже была) я не так опасался, хотя тоже так и не пошел. Так что памятный ключ от храма по-прежнему там и я в него по-прежнему не вхож. Прошло немало лет, многое произошло. То ли я ушел из дома, то ли от меня ушла жена, но и не верну-

лась невеста. И хотя Павла Петровича я больше не встречал, но все сказанное им в те крошечные дни, когда я провалился в его люк, хотя и напрочь забытое, видно, ушло на самое дно, или, как теперь говорят, залегло в подсознании, и время от времени, а главное, ни с того ни с сего всплывает на поверхность в виде потрясающих, прежде всего самого меня, озарений; некоторое недолгое время, сокрушенный и возвеличенный мыслью, кажущейся мне самому моей, «получаю я награду свою», самодовольствуя, но тут же и выгребаю всю награду, внезапно поняв, что и она не моя, моя мысль, а тогдашняя, павлопетровичева... и тогда то огурец, как крокодил, всплывет в моем мозгу, то завертится азартный стиральный таз, то забьет копытом гимнастический конь, то пузо Фудзиямой застит взор, то вспыхнет в мозгу электросварка, то нос Павла Петровича вспомнится на фоне... Времена года бегут, как на его пейзажах, означая мои годы, мысль прикипает к мысли, и пусть и не моя, но я ее уже вторично не забываю... На Сезанна с тех пор не могу спокойно смотреть — все боюсь, что не понимаю его до конца... И, натыкаясь на чьенибудь великолепное откровение — непременно о судьбе, непременно о боге, душе или родине, — пугаюсь тут же, как восхищаюсь, потому что Павел Петрович, кабы я мог его вполне воспроизвести, говорил совсем не хуже, а чуть ли и не лучше почти то же, что и наши пророки, — мне вот самому так и говорил.

Да... сказано было... Но кто и кому все это говорил? В истинности чего кто убеждал и кто убеждался? К о г д а и г д е? И что произошло? Что произошло из всего этого сказанного? Где витали, куда залетели и где проползаем? Прорывая слои и за края вываливаясь? Углубим наш взлет еще более глубоким падением! По законам соотношения верха и низа, реально их к реальности прикладывая, меняя внешнее на внутреннее и обратно, не меняя жизненного пространства и ничего не поделав в нем и с ним, ничего не произведя... меняя внешнее на внутреннее и внутреннее на внешнее, как на базаре вещь на вещь... чтобы женщина стала мужчиной, мертвое живым, мужчина женщиной и живое мертвым... и каковы наш навар и корысть на этом духовном рынке? Столько раз взлетая и падая, столько раз вывернувшись наизнанку или уйдя в раковину, где мы очнулись наутро и с кем? Кем мы проснулись — вот еще вопрос. И кто проснулся?? Странная эта ощупь самого себя — кто это? Вот я до сих пор... с моею даже мне иногда кажущейся пригодностью... другие же, будто сговорились, так в ней убеждены... меня пригла-

шали, потеснялись, звали к себе... звали как своего, как такого же, как не хуже, как даже лучше... звали в люди, звали в народ, звали в народы, в семью... я старался, я подходил, я нравился... Когда это кончалось? В какую черту я упирался, каждый раз ее не перейдя? Кто очертил меня этим магическим кругом?.. Я упирался в невидимую черту, за которой кончалось знакомство и начиналась жизнь: обыденность, нагрузка и разочарование. Я никому не был обязан каждый раз: не просил, сами позвали, не очень-то и хотелось, на себя посмотреть... И входил, улыбаясь и скромничая, в следующее чужое существование как в свое. Поэты, женщины, армяне, литературоведы, иностранцы, крестьяне, нувориши и бывшие, классики и модернисты, монахи и заключенные, поколения целые отцов (оно же детей) — все подвигались и чуть ли не уступали место... Я усаживался как на свое, как на пустое, как на никем не занятое, как на никому не нужное... и только родственник человек не подвигался, а требовал разделить с ним вовсе не жизнь, а пол-литра для начала, не подвигался, узнавая не то во мне, не то в себе такого же, на всякий случай подозревая меня в более спорной реакции предательства.

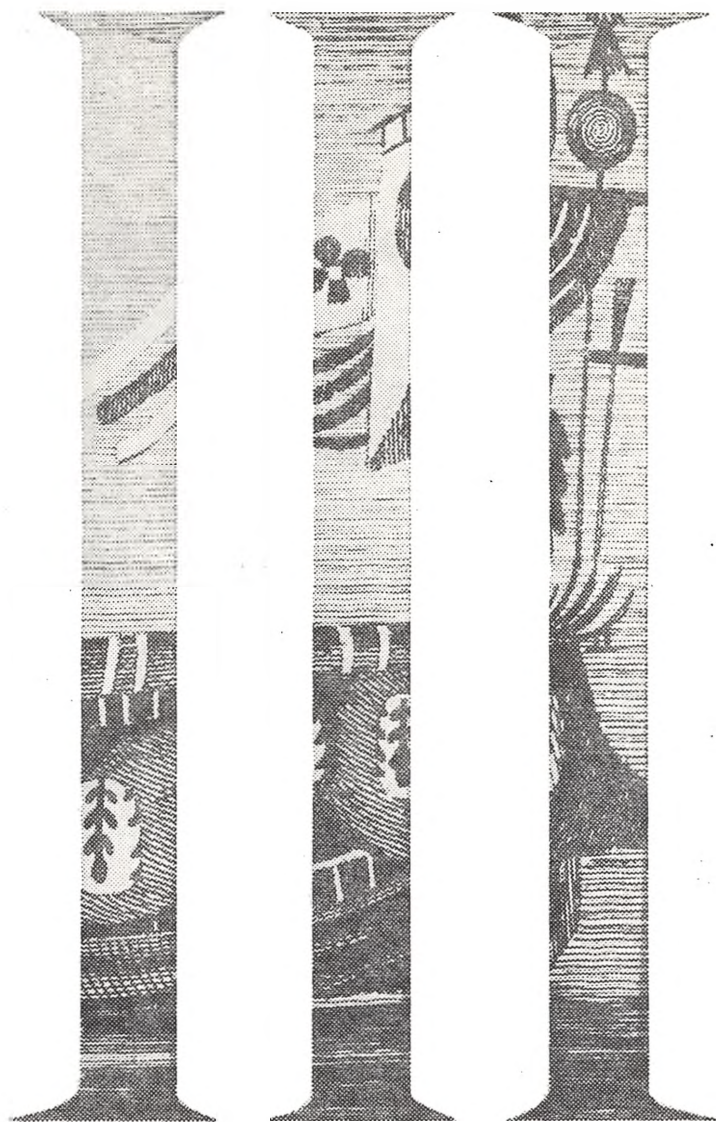
Еще недавно всего было хоть... ешь. Земли, воды, воздуха. Казалось бы. Ан нет. Почти нету. Осталось чуть поднатужиться — и у ж е нет. Но это еще что — грабеж среды обитания. Золото и драгоценные камни по-прежнему в карманах, хоть и чужих. Проигранная в карты деревня не исчезала. Закон хоть как-то стоит на страже твердой материи. С материей попрозрачней куда хуже. Куда утекла вода и испарился воздух? А ведь есть вещи еще потоньше и попрозрачнее, чем вода, побесплотнее, чем воздух... Дух! Какой еще никем не ловленный разбой кипит на его этажах! Идеи крушатся по черепам как неживые, как ничьи. Никто за руку (за голову) никого не схватил. Не поймали никого на слове...

Где он? Надеюсь, что жив. А впрочем, уверен. Я же вот сижу... и даже... Чем восхитительна жизнь?! Тем, что она и впрямь — жизнь. Ее — не представишь. И если кому-нибудь эти мои воспоминания могут показаться в чем-то неправдоподобными, то пусть и впрямь что-то в моей памяти сгустилось, а что-то выпало... Куда неправдоподобнее описанного выше просто вот это утро живой и вечной жизни, которое я пишу прямо с природы, утро, на будущее существования которого у меня бы не хватило никакого воображения всего неделю назад... Мог ли я еще месяц назад, опасаясь смертного своего часа, представить себе, что и он минует, и что я не сплю, не пью, не ем мяса, не знаю женщин, — пишу вот, и рука не

подымется у меня перекреститься, как подымалась в неизбывном грехе? Мог ли бы я вообразить себя именно на этой вот кухне, которой раньше никогда не видел, на кухне, куда я удалился на ночь, чтобы не грохотал под моей машинкой гостеприимный дом и не будил хозяев, после многотрудных крестьянских трудов и очередных родственных похорон наконец уснувших? Разве мог я знать, что на кухне, где я сижу, кроме меня, два цыпленка, большой и маленький, — все передохли, остались только эти двое от двух последних выводов, но и на кухне им холодно, и маленький все пытается подлезть под большего, хотя на самом деле тоже не большого, но большой его прогоняет, и тогда, проснувшись, начинают они цокать гуськом по цементному полу, пока наконец не додумаются до того, до чего я бы ни в жизнь не додумался: усесться у меня на ноге как на самом теплом в кухне месте, и хотя я строчу как пулемет, приближаясь к заветному концу, они попискивают пугливо от этого стука, но не сходят с ноги, попискивают, но терпят, и кто мне сейчас скажет, что я не жив, если на мне, живом, согреваются цыплята, и мы все втроем сейчас живы, живы и выживаем, борясь пусть с разным, но все — с холодом? Никто бы, ни тем более я, не предположил такого еще вчера, но кто-то знал... как я вот знаю сейчас, когда за окном начинает сереть и проявляется из мрака белая стена дома и дивный английский (абхазский) газон (агазон), ковровый двор, — знаю точно, что сейчас выбегут на эту восхитительную поляну куры и индюшка с бездной индюшат, и просунет ко мне в дверь свою морду телка Мани-Мани (Moneу-Moneу) и будет смотреть на меня, здесь неожиданного, как на картине «Поклонение волхвов», и ее прогонит мама Нателла и начнет ставить в духовку хачапури как раз в тот момент, когда я кончаю эту повесть с цыпленком на правой ноге.

23 августа 1983 г.

Тамыш



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СИММЕТРИИ

Предисловие переводчика

Я полагаю должным предварить некоторую неожиданность последующих повестей некоторым объяснением. Давным-давно, еще в дописательской молодости, в моем «геологическом» прошлом, мне попалась книжка неизвестного английского автора Э. Тайрд-Боффина «The Teacher of Symmetry». Я прихватил ее с собой в экспедицию с благими намерениями самообразования, да, по лени, тяжелой работе и под ироническими взглядами работяг, так и не раскрыл. А тут — осень, ненастье, нет вертолета, ждем погоды... Все читано-перечитано, во все игры переиграно... На беду, кто-то вспомнил, что видел у меня иностранную книгу, и пришлось мне ее, нечитаную, без полного понятия как языка, так и смысла, пересказывать под непрекращающимся дождем. Кое-как, без словаря, до чего догадываясь, что присочиняя — по рассказу в день, как Шехерезада... Прилетел, наконец, вертолет, и я отмучился и с удовольствием забыл и муку, и книгу в той мокрой тайге.

Лет десять спустя со мною случилось небывалое происшествие, нечто поразительное по невозможности быть, и ничего мне не подсказали ни опыт, ни память в поддержку, кроме внезапного воспоминания об одном рассказе из этой забытой книжки. Рассказ выплыл так полностью, так отчетливо, будто я его читал вчера... Зато теперь я никак не могу вспомнить того небывалого случая собственной жизни, из-за которого я этот рассказ вспомнил.

Я разыскал на антресолях, в обломках лыж и весел, небрежную рукопись моего «перевода» и вспомнил и другие рассказы из этой книжки, и, таким образом «перечтенная», книжка эта завладела моим воображением — я стал ее искать.

Но я не мог вспомнить фамилии автора! Было в ней что-то не то английское... не то голландское, не то даже японское... Нет, не помню! Я стал расспрашивать знатоков, пересказывая содержание, и не достиг успеха. Никто такой книги не читал. И вот уже пятнадцать лет прошло с того внезапного мысленного «перечитывания», а она все не идет у меня из головы. Так она и не нашлась.

Чтобы как-то отделаться от ее навязчивости (ведь не я же все это придумал!), я стал потихоньку «переводить» ее, как переводят не тексты, а именно переводные картинки. Не без домысла, конечно (к сожалению, те места, где похуже, безусловно мои). «Переведя» таким образом некоторые из них, я окончательно забыл оригинал (как, в свое время, тот факт из собственной жизни...). Концов теперь уже почти нет. Зато теперь, вместо воспоминаний о пропавшей книге, меня тяготят происшедшие по ее причине рукописи. Я решил рискнуть отделаться и от них, чтобы окончательно обо всем этом забыть.

Ничего из биографии автора... Разве что он наградил своего пишущего героя (Урбино Ваноски) какими-нибудь черточками своей биографии... Ровесник века. Прихотливое сочетание кровей (польская, итальянская и чуть ли не японская). Позднее вхождение в язык своей будущей литературы, оттого некоторые стилистические изыски. Так, например, чудовищное количество грамматических времен в английском языке он воспринял буквально, написав каждую главу в каждом из грамматических времен и расположив оглавление таблицей. Половина ее сохранилась в моих набросках:

	Present	Past	Future	Future in the Past
Indefinite	Последний случай писем	Битва при Альфабете	Таблетки для Свифта	О — цифра или буква?
Continous	Вид неба Трои	Стихи из кофейной чашки	Кнопка для вызова	Ход рассуждения
Perfect	Столетие отмены календаря	Ухо Моцарта	История двадцатых веков	Евангелие от лукавого

Другие книги того же автора

Perfect Continous	Жизнь без нас	Новые сведения о Японии	Погребение заживо	Сожженный роман
-------------------	---------------	-------------------------	-------------------	-----------------

... Это так, для любопытства... Средствами русской грамматики все равно не передать подобного своеобразия — оно непереводаемо в принципе.

С трепетом предлагая искушенному читателю пока что всего лишь три вещицы из этой таблицы (надеясь впоследствии предложить еще три плюс две...), опираюсь на цитату из любимого мною автора:

«Как бы то ни было, в ожидании появления моего знаменитого *in quarto*, я намерен сделать для вас несколько выписок из моей тетрадки. Наперед вас предупреждаю, что в ней воровство ужасное: на одну мою страницу в ней иногда десять страниц чистого перевода, а потом столько же страниц извлечений. Пестрить страницы ссылками на источники моих похищений было бы бесполезно; некоторых из книг вы не найдете, других не станете читать; это — семь книг умных и безумных, медицинских, математических, философских и не принадлежащих ни к какому разряду. Наперед кланяюсь пред всеми жертвами моего грабительства; немногие в наше время способны на такую откровенность...» (В. Ф. Одоевский, «Письма к графине Е. П. Р. ...й о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, магии, кабалистике, алхимии и других таинственных науках»).

Вид неба Трои

Как вспышка молнии,
Как исчезающая капля росы,
Как призрак —
Мысль о самом себе.

Принц Иккю

Я единственный человек в мире, который мог бы пролить некоторый свет на загадочную кончину Урбино Ваноски. Но, увы, это не в моих силах. Легенда на то и легенда, что — неколебима. Он так и умер, а вернее, воскрес в сознании читателей и критики — в полной безвестности, не ведая о своей славе, бедный, как церковная крыса (я бы не пошел на такое сравнение, если бы оно не было буквально: по легенде, последние годы своей жизни он служил сторожем в костеле и торговал свечами). Могила его утеряна — это красиво: прижизненная неизвестность питает лучи его запоздалой славы, а они раскаляют его несуществующий надгробный камень. Крупнейшая литературная премия навсегда осталась посмертной, основоположив фонд его имени, на средства которого

мы, его исследователи, ежегодно собираемся где-нибудь в Адриатике, а потом издаем нами же самими читаемый том наших прений, ничего не оставляя в пользу потенциальных гениев из церковных сторожей.

Бум Ваноски, безвестного автора 30—40-х годов, пришедший на конец шестидесятых, есть целиком заслуга бесменного председателя Фонда В. Ван-Боока, и я буду с позором изгнан коллегами из наших сплоченных рядов, если попытаюсь пошатнуть им воздвигнутый миф. Мне никто не поверит, меня убедительно опровергнут, обвинят в фальсификации... И где будет тогда мой ежегодный летний отдых?

Между тем Урбино Ваноски не был церковным сторожем — он был лифтером. И умер он (а может, и не умер еще...), зная о своей внезапной славе, и о своей гран-при — зная. Ибо это был я, кто нашел его перед смертью (а может, и не перед...), кто видел его последним, кто сообщил ему все эти радостные известия. И это мне он дал свое последнее интервью. Это было даже не интервью, а исповедь. Не всему в ней можно верить — я имею основания подозревать, что рассудок его уже не был вполне здрав. Но все равно это могло стать грандиозной сенсацией. Я был молод, мечтал о славе. Умный человек отсоветовал мне, впрочем угрожая потерей работы. Кто я был? Моя сенсация неизбежно разбилась бы о скалу с размахом возведенного мифа. Иногда мне кажется, что и сам бедный лифтер именно об нее и разбился. Его вполне могли и придушить...

Может, все-таки получше — в храме, торгуя свечами, ни о чем не помышляя?.. Легкая, светлая смерть...

— В этом еще нет ничего необычного, если в Гарден-парке к вам подсаживается незнакомый человек, толстый, лысый, потный, собственно, не подсаживается, а плюхается, будто — уф! наконец и успел! — успокаивается, подсыхает под апрельским солнышком и, отпыхтевшись, говорит: «Ну что ж, Урбино, много я не могу, но вашу фотографию могу вам показать...» Но если с вами случится такое, как случилось это со мной, не удивляйтесь и не раздумывайте, а сразу пошлите этого господина подальше. Кстати, послать подальше — это всегда лучшая философия, мудрость достоинства... Только понял я это значительно позднее. Только, и поняв, не стал я обладателем этой доблести по сей день...

Так протяжно вздохнул старый Урбино Ваноски, подняв на меня свои прекрасные глаза, — ни у кого не встречал я такой прямоты и безответности во взоре, слитых воедино. Впро-

чем, он тут же прекрасный свой взор отвел в смущении, как бы я не подумал, что философия эта и ко мне имеет отношение, хотя как раз ко мне-то она и имела...

Как корреспондент «Серсдэй ивнинг» и «Йестердэй ньюс» я брал у него интервью. Мы сидели в крохотной его камерке, но такой чистой и пустой, что как бы даже чересчур просторной. Всей мебели был один фанерный дырявый шкаф. Это была бы настоящая тюремная камера, если бы не какая-то по к о р н о с т ь обстановки: комната была узницей его взгляда, а не он — ее узником. Комната обрамляла лицо хозяина, а лицо было рамкой его глаз. Эта вписанность друг в друга была как бы обратной: лица во взгляд, комнаты в лицо.

Конура его находилась под самой крышей, и в скошенное оконце уже не были видны ни двор, ни крыши, а только клочок неба с всплывшим в раму облачком. Я сидел на единственном венском стуле, очень непрочно; Ваноски — на своей узкой откидной койке. Его очень бритое длинное лицо было таким чистым и даже младокожим, что почему-то подчеркивало его старость, придавало ей г л у б и н у. Ах, как пусто, как чисто, как подготовлено, чтобы покидать каждое мгновение в полном расчете с внешним миром! Ничего здесь не было, в этой комнате, — лишь я, с толстою и неприличием своего здоровья и желания быть, ощущал не то кухонный жар своего тела, не то прохладу склепа: то ли я был здесь из другого пространства, то ли оно — было другим... Что-то сместилось в моем восприятии: я беспрестанно путал внешнюю и внутреннюю поверхность явлений и предметов — чувство из неуютных! — уже с неприязнью взглядывал на этого маньяка, написавшего, однако, «Последний случай писем» — книгу столь удивительную, что только я сам бы мог ее написать, если бы мог... С такой радостью схватился я за это безнадежное задание — отыскать могилу загадочного Ваноски! И вот н а тебе, нашел! не могилу, а самого и живого! Но вот живого ли? Нашел — чтобы стынуть от соседства этого минус-человека, удивляться иронии провидения, посылающего способность, даже не способность — возможность, даже не возможность — случай возможности создания такой книги... такая сила — в мертвых чреслах неживого человека... наткнуться горячей, пульсирующей завистью на напрасность любой зависти и еще испытывать мучительное чувство неловкости оттого, что тормозишь добросовестно удалившегося от жизни человека, словно это твоя роль — доставить ему последнюю, еле живую, боль. Любое мое движение разрывало его ветхий пепельный кокон, похожий, по детской

памяти, на опустевшее осиное гнездо! Теперь мне казалось, что с первого взгляда, как только я вошел к нему в лифт, старик признал во мне своего палача — столько тоски, в пределах воспитанности и приличия, но до краев заполнив площадочку этих пределов, выразил его первый взгляд. Не мог он вот так смотреть на каждого пассажира — значит, уже ждал... Но, в то же время, это было мне точно известно: меня-то он ждать не мог, потому хотя бы, что ничего уже не ждал от своих книг, никакого эффекта, — значит, он ожидал к о г о - т о. Этим «кто-то» мог оказаться я, но не оказался — это я понял по тому, как быстро страх покинул его, когда я объяснил ему свою задачу. Но когда он его покинул, то было это, как мне показалось, не только облегчением, но в ту же секунду — разочарованием. Ему стало скучно, напрасно и досадно в той последней мере, о которой я мог бы лишь предполагать, но не иметь представления: не знал я о той пропасти отсутствия, в которую повергнут автор, воссоздающий близкие и понятные нам вещи...

Ваноски сказал, что до конца дежурства не может уделить мне внимания, и это я тут же взялся уладить. Он пробовал остановать меня, испуганно и робко, — я заявил, что это решительно не составит мне никакого беспокойства. С самоуверенностью молодого болвана я предположил, что затерянному в нищете и безвестности гениальному старику будет приятен тот взрыв предупредительности и подобострастия, который последует от его хозяев непосредственно вслед за предъявлением моих мандатов могучих «Йестердэй ньюс». Действительно, все так и было, как я предполагал: хозяин засуетился — конечно, конечно! — и отпустил старика на весь день, без труда заменив его кем-то. Но той синей мѳки, что отразилась на лице старого Ваноски от всей этой суеты, от холуйски-любопытного взглядывания хозяина, от каннибальского облизывания перед бесплатностью чуда, — такой тоски во взгляде я не предполагал: так глядят из клетки на посетителей зоосада. Я разрушил весь энергетический баланс старика: это уже произошло, и было ему ясно.

Сценарий, в который он угодил, был заранее определен: сенсация новой звезды — из ничего небытия в великие художники — затмевала и художника и нищету: сенсация — и была содержанием. Так что бедный старик уже никак не мог бы стать самим собой ни в одном отношении, а должен был быть лишь тем Ваноски, легенда о котором уже рождена без него, — она же и должна быть развита, пока есть для нее время, по весьма простым и заранее определенным сюжетным

законам. Шедевр, созданный в нищете, подразумевал нищету, создавшую шедевр, — и позитивизм торжествовал. Я спросил его, как он сумел написать такое, и он ответил: «Не знаю». Я спросил его, что он будет делать с двадцатью тысячами долларов, он сказал: «Не помню».

Собственно, я мог бы и уходить, потому что старик уже ничем не мог быть мне полезен. Ему ничего не было нужно, и, следовательно, подыграть мне, из соображений общей выгоды, он не мог, а ничто другое газету бы не интересовало. Истина могла интриговать лишь меня лично, но до нее было далеко и не было времени. И взгляду в этом вылизанном гробу остановиться было не на чем: лишь один предмет украшал комнату, впрочем достаточно странный, если отметить его вниманием, — застекленная, в тоненькой металлической рамочке фотография довольно большого формата. Но на фотографии, собственно, ничего не было отображено: она была, в основном, пустой, и лишь в одном углу помещалось что-то вроде облачка. Расположившись напротив окошка, над кроватью, над головой старика, она была как бы декорацией — вторым окошком, в которое я смотрел, в то время как старик, сидевший напротив, смотрел, выходит, в настоящее окно. Эта фотография еще могла бы мне послужить в качестве причуды гения: поместить над кроватью вид из собственного окошка, из которого, в свою очередь, ничего не видно, кроме небесного клочка! Под фотографией была медная табличка с кудряво-выгравированной надписью, как на дверной дощечке, — я еще подумал с ухмылкой: неужели у этой жалкой фотоработы есть тщеславный автор? Вторым предметом, который меня бы самого уж никак не заинтересовал, если б не поведение старика в его отношении, была некая кнопка наподобие звонка, расположенная тоже над кроватью, но несколько ниже «картины». Звонок этот был вмазан в стену, так что одна кнопка и торчала — круглая, гладкая, белая, довольно широкая для кнопки, со среднюю пуговицу. По-видимому, устройство было недавно установлено, потому что вокруг него просыхало, но еще не просохло, серое цементное пятно. Вот на эту кнопку изредка, будто с испугом, косился старик, но тут же и пытался этот свой испуг от меня скрыть, неумело придавая своему взгляду вид случайно брошенного. Кнопку я легко себе объяснил: что она установлена для вызова старика к лифту, а что он на нее косится, я тоже истолковал как затравленность несчастного и подчиненность.

— Хозяин вас сегодня уже не будет беспокоить, — сказал ему я как можно мягче, с тем чтобы он хоть с этой кнопкой не

дергался, — и так я отчаивался вытянуть из него что-нибудь мне пригодное.

— Благодарю вас, это я понял, — сказал старик — все-таки поразителен был этот его вставленный в лицо взгляд!

И я подумал: до чего же социально predeterminedено восприятие! ведь я же прекрасно знал, кого искал, пока искал... и так забыл, когда нашел... В этой конуре я отводил ему меру разума, определенную нижней линейкой социальной лестницы. Господи! Ведь если он написал т а к о е, то как же он все видел, и меня видел... все это время. Мне стало тут настолько неловко моей снисходительности и покровительства, что я в замешательстве вскочил со стула, а чтобы как-то оправдать эту резкость движений, сделал вид, что поднялся прочесть подпись фотографа под картинкой. И то, что я прочел, было впрямь причудливо: «ВИД НЕБА ТРОИ».

— Вы были в Трое? — глупо спросил я,

— Как же я мог там быть? — Старик слабо ухмыльнулся. — Меня тогда не было.

— Конечно, я имею в виду... — забормотал я, опять наткнувшись на свою глупость. — Я говорю о том месте, которое, я читал, недавно отрыли, где была Троя... я современную Трои имел в виду...

— Нет, это небо именно т о й Трои, т о небо, — монотонно произнес старик.

Холодок прошел по моей спине. Как человек молодой я страшился встречи с безумием. Да что говорить! я ни одного мертвого за свою жизнь не видел, не считая жертв несчастных случаев — а это еще не мертвые, не т в о и мертвые. И безумных... лишь юмористические тени в уличной толпе. Но слабоумие — не безумие. Здесь же — я испугался Ваноски, отвел взор и уставился на его шкаф.

У него в «Последнем случае писем» есть такое место. Ах, какое место! Не могу объяснить, почему именно оно так на меня каждый раз действовало, а я перечитал его уже много раз, заиграл, как пластинку с любимой мелодией, так... Там герой ждет письма, а его нет, и вот он, совсем уж раздербанный страхом и страстью, идет по пустоши на берегу моря; там стоит вдруг на дюне дырявый фанерный шкаф, видимо выкинутый прибоем, герой раздраженно и автоматически отворяет дверцу — там письмо. Он яростно вскрывает его, впивается, и в нем: «Дорогой Урбино!..» — а дальше не прочесть никак; сломно бы и слова, и буквы, и ее почерк, и он прочитывает залпом, а опять — ничего не прочел, и он читает снова и снова — и не может прочесть. Он тут же спешит до-

мой, садится и стремительно строчит ответ. И дальше — господи! как это там написано!.. — клубятся слова, дымятся чернила, идет текст, который он страстно строчит, но в конце каждой строчки исчезает этот текст, страсть повисает, пропадает без обрыва за полями страницы, а вместо только что произнесенной фразы — на бумаге оказывается совсем другая, что-то про тетю Клару и ее попугая... И в бессилии рыдает бедный Урбино, смывая слезами тетю Клару, и когда, утешившись, поднимает свою прозрачную, проточную голову, то снова обретает силу и соответствие и пишет письмо уже спокойно и быстро, деловито, а на самом деле просто линейчки ведет — детское море... Тут к нему приходит сосед, и они начинают обсуждать одно их давнее дельце, очень толково сговариваются и едут в город Таунус. И так там написано, я каждый раз стремился схватить этот переход — и не хватывал: что и в книге больше не оказывалось этого места, сколько ни листай...

Вот и сейчас мне показалось, что я стою на краю его безумия, и так плавно, так неуловимо и непрерывно, закручивается оно, так головокружительно — воронка, куда утекает сознание, как в песок, — что и не заметишь, как окажешься на внутренней поверхности явлений, проскользив по умопомрачительной математической кривизне, и выглянешь паружу оттуда, откуда уже нет возврата...

— Да, да, понимаю, то небо... — сказал я, как бы пяясь во взоре.

Старик ухмыльнулся:

— У меня есть вполне реальное основание верить, что это так. Вы молоды... И потом, разве не одно и то же небо накрывает и ту Троию и эту, и нас, и после нас... Вот вам хотя бы метафорически...

— Это истина! — Я радостно закивал, успокоившись возвращением Ваноски в допустимый нами логический ряд.

— Вот любопытно, почему вам отвлечение, образ, метафора своим удалением кажется приближением к истине, в то время как реальность, окружившая нас, — бессмысленной, засоренной чем-то лишним, как бы недостаточно обобщенной и абстрактной и, в силу этого, не истинной... Все — наоборот! Вряд ли вам пора это понять... Я могу вас только предупредить — и, по-видимому, напрасно... Вряд ли вам пригодится мой частный опыт, опыт вообще не годится... Да и вряд ли вам достанется такая открытая форма судьбы... Во всяком случае, мой вам совет: никогда не соглашайтесь ни на какие заманчивые предложения, вы человек простодушный и беско-

рыстный (на первое определение я вздрогнул и надулся обидеться, на второе, кажется, согласно и ослабев, кивнул), — поэтому вы все предложенное всегда примете как подарок, или как авантюру, или как судьбу, вы вцепитесь, как нежданный человек, которому не достается... Отклоняйте любое предложение — это всегда дьявол. Поэтому-то это небо настоящей Трои...

Тут-то он и произнес эту фразу про лысого толстяка в Гарден-парке, и я его, уже в очередной раз, не понял. Тут-то он и сказал, что посылать подальше — лучшая философия, соответственно взглянув с тоскою, что вот опять и уже — не послал...

— Вам что-то от меня надо, потому что на самом деле я вам совершенно не нужен, а строго необходимо нечто заподозренное на моем месте. Все теперь — насильники реальности, практиканты прогресса... Считайте потому, что меня как бы и нет. Но поскольку вам что-то от меня, хотя и не меня, нужно, а я именно потому исключил вокруг себя жизнь, что считал всегда должным отвечать на нее, то и теперь считаю себя обязанным ответить, поскольку вы — жизнь, раз пришли ко мне... Но поскольку вам нет до меня дела, а есть дело лишь до того, что вам предполагаемо нужно, то и я вправе ответить вам тем, на что считаю себя способным. И это полное несоответствие, равное по весу, и есть — существо вопроса и ответа... Про эту картинку я вам расскажу, у меня есть повод приближать ее нынче, — он опять сделал вид, что не покосился на кнопку, — то есть я сам непрестанно думаю сейчас о ней, поэтому и расскажу вам про нее более или менее с легкостью. Нужно это вам или нет — ваше дело. Вы пришли ко мне сами и с самим собою, поэтому ничего удивительного, что перед вами именно я, никакого отношения к вам не имеющий...

— Так это был дьявол? — спросил я, рассердившись на его поучения.

— Зачем с рогами?.. — удивился Ваноски. — И глаза у него были голубые-голубые — совсем не угли. И лысина — словно специально, чтобы подчеркнуть отсутствие рогов... Толстый. Толстый не внушает подозрения — это народное чувство. О, лишь потом я оценил всю меру его благодушия! Он совсем не напрягался. Он совсем меня не обманывал — искушение и не имеет ничего общего с обманом: искушаемся мы вполне самостоятельно. Пожалуй, он и впрямь присел просто так — отдышаться, слишком было жарко.

Англичане, как известно, очень болтливы. Может, мы пото-

му и распространили миф о нашей молчаливости и сдержанности, что стараемся скрыть этот порок. Я, во всяком случае, не преминул одернуть навязчивого незнакомца: мол, не имею чести, etc.

Он был как-то действительно весь некстати: и мне, и в данный момент, даже как-то и внешне так выглядел — некстати. Я был молод, как вы; мною владели сильные представления о себе: чем неопределенней, тем сильнее. Особенно, когда ни пенни в кармане. О любви, о славе... Я унесся в тот момент достаточно далеко. Тем неприятнее поймать себя на мысли... В этот момент некое неопределенно-прекрасное существо, почему-то в индийском сари, на берегу лазурного моря прижимало к груди мою розу... И я одернул его, с ледяным достоинством истого британца.

— То есть как это вы — не Урбино?.. — обиженно сказал толстяк.

Тут только дошла до меня вся нелепость моей только что с таким достоинством произнесенной фразы, а именно, что никакой я не Урбино. А он уже раскрыл свой бесформенный обшарпанный портфельчик и запустил в него свою мясистую лапу вора. Так мне вдруг показалось, что он у себя в своем собственном портфеле ворует.

— Может, и это не вы? — И он выдернул, не глядя, как из грядки, одну фотографию и торжествуя сунул мне под нос.

Но это был действительно не я! То есть это кто угодно мог быть. Пол-лица было закрыто неким аппаратом, отчасти напоминавшим фотографический, отчасти некое фантастическое оружие с дулом наподобие ружья, — во всяком случае, этот тип с фотографии как бы целился, и те пол-лица, что не были скрыты аппаратом, были прищурены и перекошены. И одет он был как бы не по-нашему причудливо. И я сказал, торжествуя над недавним своим смущением, что это уж никак не я.

— Не вы? — удивился толстяк, наконец взглянув на фотографию. — Ах, я старый дурак! — Огорчение его было столь неподдельным! — Простите меня ради... — Тут его стало корежить от досады, и будто он даже пытался сам себе дать пощечину этой фотографией.

— Прекратите вашу неприличную клоунаду! — холодно сказал я.

— Вы даже не представляете, какой непростительный я совершил промах и как мне за это попадет! — сокрушался он. — Сроду со мной такого не случилось! Действительно, это не ваша... Это фотография одного вашего будущего знакомого... Но есть и ваша... Честное... Клянусь... Не иначе как

бес попутал... — Он опять замахнулся сам на себя, но как-то уже ласково. — Не сердитесь, я сейчас... Уж теперь не ошибусь...

Он рылся и рылся в своем портфеле, извлекая толстые кипы фотографий разного формата и возраста, словно наворованные из многочисленных любительских и семейных альбомов, — недодержанные и передержанные, в подтекстах проявителя, с лохматыми пятнышками клея и оборванными углами.

— Куда же она задевалась... — Редкий набор неумелости проплывал перед моими глазами: то клиент без головы, зато в рыцарских доспехах, то одна рука со стаканом, то куст с одной размазанной ветвью, словно хотели снять птичку, а она улетела. — Вы очень наблюдательны, — сказал он, продолжая поиски, — почему я, собственно, и подсел к вам... Редко кто сразу находил на этой фотографии птичку. Для этого надо родиться поэтом! А такое три-четыре раза за век... Вот, как вы, или... Впрочем, вы ведь не любитель озерной школы... Между тем именно эта птичка вдохновила... Впрочем, ладно, это ни к чему... Я ведь что хочу вам сказать: это все абсолютно случайные отпечатки, они бессмысленны и ничего не значат... Вот, например, это — Шекспир... И это вовсе не момент написания монолога «Быть или не быть...», и не свидание со смуглой леди, и не встреча с Френсисом Бэконом... это он, усталый после спектакля... — На фотографии стоял фаянсовый таз с отбитым краешком, действительно как бы и устаревшей формы, но из него торчали две нормальные голые ноги, не то кривоватых, не то криво туда поставленных, один палец высунулся так, как, когда там, в тазу, ими шевелят, и струйка воды лилась из правого угла фотографии в таз — и все. — Нет, я не сумасшедший, не фотограф, не фантаст — не все, что вы сейчас по очереди заподозрили, куда ниже собственных возможностей фантазии. Все, что у меня в руках, это чистые исторические подлинники, хотите верьте, хотите нет... А вот это уже прекрасная ваша мысль: с чего бы исторический факт должен выглядеть точнее или привлекательнее, чем тот, что у меня в руках. История происходит всегда на наших глазах, тут я с вами не могу не согласиться... — Он и впрямь с легкостью угадывал все мои мысли, причем успеваля ровно в тот момент, когда я либо собирался наконец его одернуть и поставить на место или попросту встать и уйти, таким образом прервав его невыносимую навязчивость. Этот поворот, который позднее вы назовете крупным планом, показался мне и впрямь занимательным с поэтической точки

зрения — тут легко и головокружительно наклеивалась поэтическая строка: грязь под копытами войска Александра Македонского, волны, сомкнувшиеся над «Титаником», облака, проплывавшие над Гомером... Что знала эта грязь о победном копыте? что было воде до сокровищ испанской армады? что небу — о стихах?.. — «Вот щель в полу, откуда бьется свет...» — пробормотал он про себя, но в то же время со мною строку, только что вошедшую мне в голову. — Не плохо, не плохо... Видите, я вполне мог довериться именно вам. Возможно, что в наше время — только вам... Нет, это не лесть, и я не простой медиум и жулик. Честно говоря, что там такого особенного — в любой голове, чтобы считать чудом угадать это? потом, сами посудите, какая мне корысть? поморочить доверчивую голову из чистой любви к собственному искусству?.. — это уже соображение, но я не так мелочен в своем тщеславии. Есть ведь и более спокойные, хотя и менее романтические, объяснения, чем непременно Мефистофель или Калиостро. Сейчас у вас в моде фантастика, Герберт Уэллс, к примеру, «Машина времени»... Нет, это вы по молодости так строги: у него совсем неплохой слог; я бы даже сказал, приятен его именно английский привкус. Это теперь редкость. Такое детское удовольствие... Не Диккенс, конечно. Ну, так, знаете, извините, конечно, но и мы с вами не Диккенсы. Ну, почему же хамство, когда правда... Хотя не могу не согласиться, в правде всегда водился этот отеночек. Потому что не всякий вправе, хотя, с другой стороны, не каждому и дано... Вот лучше взгляните, прелюбопытный отпечаток: ящичек с головой Марии Стюарт. За подлинность ручаюсь. Как ящичка, так и головы. Нет же, это не просто ящичек из-под головы. Голова в этот момент, когда было снято, там, внутри. Ладно, не сердитесь уж так. Ну, представьте хотя бы в духе бедной фантазии нелюбимого вами Уэллса, что такое возможно, что я именно изобретатель подобной машины... Так знаете ли вы, с какими трудностями столкнется он, пока достигнет чего-либо путного? Материалов никаких, средств никаких, с квартиры гонят, в первый полет не то что фотоаппарата приличного, хотя бы и школьного... бутерброда с собой не на что купить!.. Вот наконец-то! Только я вас предупреждаю... Нет, все-таки я вам лучше не буду показывать, это я зря, вы все равно не так все поймете...

И он попытался вырвать у меня фотографию из рук, но я уже рассердился не на шутку, я мог бы уже и прибить этого непристойного джентльмена.

— А вот этого не надо, этого не надо, молодой человек!

А то я вам могу ведь и не показать. Но, так и быть, я не изменю своему обещанию, если вы изволите меня внезапно выслушать и запомнить, что я скажу. И обязательно вы должны мне поверить. Клянусь, не знаю даже чем, настолько вы мне во всем отказываете, клянусь, я вас не обманываю. У меня сейчас в руках ваша фотография. Из вашего будущего, не такого далекого. Когда? — я знаю, но этого вам не скажу, а то вы будете ждать, а я не хочу вам портить вашего будущего — оно у вас есть. Я знаю и год, и число. Что значит, когда? как же вы, юные, нетерпеливы! Ну, не через пять... Вам сейчас двадцать один без малого. Вы мечтаете о любви и о славе. О, я знаю, какого качества! Самого! Вы вправе, больше скажу: у вас эти возможности и есть, и будут. Но и не через десять... Да нет же, я не об успехе, а об этой вот фотокарточке говорю. Так вот, она столь же случайна и бессмысленна, как и все те фотографии, что вы уже у меня видели. Она столь же подлинна, но абсолютно случайна. Можете считать меня поклонником поэзии, не удержавшимся запечатлеть вас уже тем, кем вы еще только будете... Ладно, держите... Только зарубите себе: это случайный момент, а никакой не факт вашей биографии. Так, забавы вашей ради...

Но я уже не слышал его увещаний. Я вперился в этот отпечаток, на этот раз даже куда более отчетливый, чем ноги Шекспира или птичка озерной школы.

На меня в упор смотрело отраженное в зеркальной витрине лицо незнакомого молодого человека — он был старше меня лет на десять, может, даже поменьше, просто выглядел куда мужественнее. Лицо было привлекательным, но искаженным таким страданием и потрясением, какое редко встретишь на лицах людей, еще реже увидишь запечатленным. Подобную маску можно было бы отыскать в мифических сюжетах, когда герой обращается в камень от столкновения с чудовищем; может, у самой Медузы было подобное лицо, когда она узрела собственное отражение. В общем, отражение это поражало, хотя заключено было в витрине обыкновенного магазина готового платья между двумя манекенами, мужским и женским, как бы шагнувшими навстречу друг другу, чуть ли не руки протянувшими, — но между ними было заключено нечто ужасное, что и увидел Тот, Кто Отразился. А Тот, Кто Отразился, увидел Ее. А Она никак не могла вызвать подобного ужаса. В ней ничего ужасного такого не было. Да и не ужасного тоже. Бывают же потрясены и красотой. Во всяком случае, так пишут в книгах. Ничего подобного. Бледная моль, так я себе сразу сказал. Однако глаз не мог отвести. Что Он в Ней

увидел? Может, так прозревают Судьбу? Может, Судьба так и выглядит? И наряд ее не привлекал внимания: какой-то для женщины безразличный к себе наряд — свободный, и только, и в руке хозяйственная сумка. Пепельные длинные волосы, всклокоченные, будто дыбом вставшие. Халда. Халда и есть, так я себе сказал. Не мог отвести глаз. Глаза! Глаз я не мог отвести от ее глаз! Большой лоб, широкие белесые брови, глаза скорее все-таки серые, чем голубые (фотография-то черно-белая), но — большие, немаленькие таки глаза, прямоугольные какие-то, и расставлены волшебным — так далеко от переносицы, как и не бывает. Скулы тоже невозможно широкие, но этого как раз и не заметишь — так широко стоят глаза... Смотрят в разные стороны, как у рыбы. Рыба, сказал я себе. Моль, халда и рыба, так я себе сказал. Но никто никогда не был так строен под своей одеждой, как она...

Ах, нет, этого мне не пересказать. Я не помню, что я увидел сразу, а что разглядел потом, в какой последовательности это было... Это очень важно, в какой последовательности. Первое — это его потрясенное лицо. Потом недоумение перед ее лицом: в нем не было того, чем так уж потрястись. Потом ее отраженное лицо, еще более бледное, смытое, но и удивленное. Потом его отражение, словно бы искаженное еще большим ужасом уже от себя самого — от вида собственного потрясения. На какую-то долю секунды фотография ожила и повернулась. Слово кто-то еще вышел или вошел в магазин, и стеклянная дверь повернулась и качалась... по сначала он смотрел на нее, а она на витрину, а потом он — на витрину, а она — на него. Фотография запечатлелась во мне навсегда, она у меня и сейчас перед глазами. О, я изучил ее, как ничто другое за всю мою жизнь! Но только, может, их было последовательно три, как кадры киноленты. Или, на долю секунды, фотография стала стереоскопична настолько, что можно, казалось, было заглянуть и за спину сфотографированных...

«Не придавайте значения... Чистый случай... Абсолютно фрагмент... Не верьте ничему... Зря это я... Не думал, что вы...»

Его лепет неприятно чесался в ухе и заставил меня наконец оторваться от этого — и впрямь не столь значительного — изображения, но безумца уже не было. Казалось, спина его мелькнула в конце аллеи, но, может, и это был уже не он... Я хотел побежать за ним, но почему-то так и остался сидеть; не знаю, как долго всматривался я в конец аллеи, загнипотиженный его испарением, только очнулся я оттого, что

фотография выпала из рук моих на песок: значит, фотография была! Я нагнулся, машинально поднял... Это была не та фотография. Но эту я тоже мельком видел, пока он рылся в своем портфеле: облака... «Вид неба Трои»... Да, эта самая, что здесь у меня висит.

Не кажется ли вам сюжет «Илиады» несколько странным? натянутым, что ли? Я понимаю, он уже не обсуждается. «Одиссея» как сюжет следующий — более для нас узнаваема. Тут уж ничего не остается, как плыть и плыть. Волны... А вот Елена... Последовавшие в веках поэтические реминисценции по ее поводу куда более реальны, чем она сама. Нет, не ее неопишуемая, а вернее, так и не описанная, не написанная красота волновала и волнует поэтов — а сам факт ее существования, что она была. Факт этот ничем не доказан, кроме того, что из-за нее разыгралась Троянская война. Надо же войну чем-то объяснить? Война была, но была ли Елена ее причиной? и была ли сама Елена? Поэты любят не Елену, а причину в ней. Потому-то и можно до бесконечности вызывать ее образ, что ее самой и не было. Естественно, что я тут же прозвал свою фотонезнакомку Еленой, но поначалу лишь из-за этих невразумительных облаков. Не думал я тогда так, как вам сейчас говорю. Ни про «Илиаду», ни про «Одиссею». Не ведал, что война уже проиграна, что я уже плыву... Не странно ли, что мы с вами видим облака, которых не видел Гомер? Вы воображали себя слепым? Каждый воображал... Что видит слепец перед собою? Ночь? Нет, бесконечные волны.

...Лицо Ваноски стало слепым, меня перед ним не было, мне даже показалось, что я вижу в его взгляде волны, но это был страх: он снова вперился в эту нелепую белую пуговицу на стене. Боялся ли он ее или того, что я спрошу его, для чего она предназначена? Во всяком случае, именно про эту кнопку я собирался его спросить, и он меня именно что перебил:

— Вы спрашиваете, что было дальше? — Я не спрашивал, а ему совсем не хотелось продолжать.— Дальше все очень просто и слишком точно. Как по нотам. Нет, я не сразу в нее влюбился. Я не солдат, чтобы влюбиться в фотокарточку. К тому же, я уже был влюблен. И я усмехнулся над собою тою усмешкой юности, которой она освобождается от смущения, что кто-нибудь мог заметить ее неловкость. Никто не заметил. И, стряхнув наваждение, как не относящееся к моей прекрасной упругой жизни, а потому и небывшее, я засунул «облака» в конспект и поспешил туда, куда и направ-

лялся с самого начала, только слишком заблаговременно вышел на свидание, отчего и оказался на этой проклятой скамейке, — поспешил к моей Дике. Она была Эвридика, это я ее так звал. Нет, она не была еще моей... Вам кажется, что слишком много Греции? Так у нее и впрямь отец был грек, хотя она его и не помнила, как и родину, всю жизнь прожив с матерью в Париже, как и я не помнил ни отца, ни своей Польши. Теперь мы оба были сомнительные англичане. Это нас роднило. Мы учились на одном факультете. Она была меня младше, но сильно обогнала в науке, пока я пробовал свои силы в поэзии, и теперь она натаскивала меня по ее истории, чтобы я переполз с курса на курс. Ей нравилось меня учить, а мне нравилось у нее плохо учиться, наука наша развивалась медленно — мы уже целовались. О, у нас тогда было очень много времени!

И теперь, через полвека, не нуждаясь ни в чем, кроме покоя, я полагаю, что счастье все-таки есть и бывает. Потому что — оно таки было! Было это бесконечное время за конспектами в комнатке Эвридики. Оно не начиналось, и оно не кончалось — оно б ы л о, оно жило в этой квартире, как пригревшая кошка, и никуда не собиралось уходить. Я и впрямь недолюбливал озерную школу, помню, над нею мы бились особенно долго — ни у кого не было слаще губ!.. Если бы мы знали, как нам это нравилось! Она снимала самую маленькую квартиру, какую я когда-либо видел. Верите ли, она была вдвое меньше этой моей конуры! Квартирка была рядом со школой, в которой я учился, и мне уже казалось, что мы выросли вместе. И мы вспоминали с ней школьные игры: крестики-нолики, морской и воздушный бой... — и заигрывались в них за полночь. «Спать! Спать!» — кричал ее любимый попугай Жако. «Как он-то здесь оказался? — удивлялся я. — Как он здесь поместился...» Комнатка была вся завалена книгами непостижимой для меня учености и сувенирами, немислимыми по наивности. И они все время сыпались! Я бросался их подбирать, она меня отстраняла, потому что я, мол, все перепутаю; мы ползали на коленях, собирая, а ползать-то было негде! Между столом и диваном совершенно не было места, чтобы вдвоем ползать, — мы упирались лбами. Так нам и пришлось впервые поцеловаться...

Ваноски совсем растрогался — неловко мне стало ощущать свою молодость, свежесть вчерашних поцелуев на своих губах, глядя на его детский восторг...

— Книжность и нежность... — лепетал он. — О, это был самый очаровательный синий чулок, который когда-либо су-

ществовал. Впрочем, синее она не любила, она любила все красное — вольные кофты, длинные юбки... бусы, браслеты, дома она надевала их даже на ноги... Я ползал и собирал с полу книги, от одних названий которых у меня сводило скулы, и я любил их, в закрытом, правда, виде: я собирал эти обрушения — вперемешку с кастаньетами, лаптями, африканскими масками, коробочками из-под чая, поздравительными ни с чем открытками, которые она любила получать со всего света, бесконечными ее фотографиями, которыми она очень дорожила, потому что полагала себя фотогеничной, видимо считая, что на них она лучше, чем на самом деле... но как она заблуждалась! я подбирал и снова ронял все это, будто ненароком выдергивая из стопки томик, чтобы вызвать очередной обвал... в последний момент она все-таки вырывалась, раскрасневшаяся, предельно хорошенькая в торжестве своего смущения, и начинала готовить н а м кофе. Готовила она его на спиртовке, в какой-то дикой кастрюльке, даже не греческой, а почему-то турецкой, я подкрадывался сзади — кофе у нее убежал, конечно, и она с т р а ш н о на меня за это сердилась, ибо особенно гордилась своим секретом варить кофе, который варила скверно.

Встречала она меня каждый раз чопорно, мы продолжали быть на «вы»; книги были выстроены аккуратными стопками до потолка, готовые к очередному падению. Мы чинно усаживались за письменный стол, он же, впрочем, обеденный.

— Что это у вас за камни? — спросила она, раскрывая мой конспект.

А я и думать забыл!

— Это не камни. Это облака...

Я хотел пересказать недавний эпизод — и не мог... Перед глазами встала другая фотография, и я снова вглядывался в лицо незнакомки.

— Эй! — окликнула меня Эвридика. — Где вы?

— Ах, вы об этой фотографии... — сказал я и вдруг покраснел. — Это, кстати, ваша родина. Вид неба Трои.

— А вы и впрямь поэт... — задумчиво сказала Эвридика. — Вы принесли ее... мне?

— Вам, конечно, — торопливо согласился я.

Да, это она заказала к ней такую рамку...

Так все и началось. Вернее, все еще тогда и кончилось. На самом деле, легче всего мы поверим тому, чего не может быть. Этот блеф, абсурд, бред... а потом — мираж, видение, искушение. В тот же миг я вычеркнул этот нелепый эпизод в парке как несуществующий, как небывший, и в тот же миг

я безоговорочно поверил в подлинность показанной мне фотографии. Облака могли и не быть теми облаками, но в витрине отразился я! и тот, кто отразился в витрине, был тоже я. И значит, та, которая отразилась в витрине, была той, которую я увидел. И это была уже Она! Ибо это был бесспорно я. Чем больше я вглядывался в фотографию (а она была словно наклеена у меня на внутренней стенке лба, как на экране), тем меньше могло быть сомнения. Собственно, сразу — и тени не было... Это был я, лет на семь себя старше, и я себе, в принципе, нравился как чей-то потенциальный объект: за эти семь лет я проделал еще неведомый мне, но явный путь, и уже носил лицо, а не симпатичную живую мордочку, которая нравилась кому угодно, кроме меня. Особенно импонировала мне благоприобретенная к тому времени впалость щек и чуть намеченная проседь. Это не новость, но это факт: к своему концу мы стремительнее всего рвемся в юности, тогда и пробегаем за кратчайшее время основную часть дистанции до смерти, а потом как раз перед смертью, медлим всеми нашими немощами — но что наши старческие тормоза перед однажды избранной инерцией юности! Итак, на фотографии был бесспорно я, и мое будущее лицо мне нравилось и подходило, но чем же оно тогда было так искажено? Чем мог быть я настолько потрясен, ибо в имевшемся уже опыте и в том, который я был способен себе вообразить как будущий, не было и не могло быть у меня такого выражения лица? Да и на других лицах не подмечал я ничего подобного ни разу — только в литературе, в детском каком-нибудь чтении: «Лицо его исказили неопишуемые боль и страдание, отчаяние и ужас». Но я разглядывал и разглядывал про себя эту фотографию и убеждался, что эти провинциальные подмостки, мимические задворки, на этот раз, были ни в чем не поддельными, настоящими. И если такое могло быть в жизни, причем, к тому же, не с кем-нибудь, а именно со мною, — то что же это было? И тут сомнения не оставалось — выбора не было: это была Она. Как хотите назовите: женщина всей жизни или сама судьба. Она мне не нравилась, она была не в моем вкусе — я не мог отвести взор. Я никогда не задумывался, насколько хороша «моя» Дика, — мне не надо было объясняться с собою по этому поводу: не знал я, насколько она хороша, — настолько все в ней было х о р о ш о. Мне неважно было, как она выглядела — выгледеть можно лишь для других, и я не сравнивал, поскольку она была — для меня. Необсуждаемость есть благословение любовью. Мне было все равно, какая она. Но как же мне стало тут же не все равно,

какая эта «немая» Елена! А если Елена не мне, то кому? Ведь она уже есть сейчас, пока мы не встретились еще?.. Ревность, со всею ее внезапностью, пронзила меня навывлет. Я ее не знал, она мне не нравилась, я ее не любил, но я уже ревновал. Я был уверен, что встречу ее на днях. Ибо что же надо пережить друг с другом, чтобы и через несколько лет случайная встреча у магазина так поразила меня? Что же в ней могло быть такого непредставимого, без чего потом и жизни не станет?..

— Вы принесли ее... мне? — спросила Дика, обреченно разглядывая «облака».

И, глядя на нее сквозь белесо-прозрачную Елену, я вдруг увидел перед собой чужую девушку, совсем не ту, к которой пришел. До этого я всегда приходил именно к ней, и радость состояла в том, что каждый раз это оказывалась именно она. А сейчас я вглядывался в ее, ставшее незнакомым, лицо, впервые сравнивая... Сравнение ей бесспорно было в пользу! Она выгодно отличалась. В ней все было окрашено в отличие от этой фототени: свет остановленный — и свет льющийся... Юное лето, младенческая листва, ясный ветер, тень облака несется по цыплячьей траве, небо плещется в листве — такое лицо. Я впервые любовался им — оно было уже не мое. Ничье, как и та погода, которую напоминало: покинутый рай. Дьявол! какое непохожее яблоко ты мне подsunул...

Я его сгрыз и не заметил. Дикую я мог обнять, поцеловать — вот она — она ждала этого. Она хотела стать моей. А м о я была уже эта бумажная Елена, которой не было. Сумасшедший! идиот! — проклинал я незнакомца и тут же понимал, что проклятья эти точнее всего относятся ко мне самому. Как я мечтал встретить его снова, вытрясти из него имя и адрес, или признание в обмане, или диагноз безумия, или тайну его, или душу — но он, конечно, не забредал более в Гарден-парк.

Он был так же похож на дьявола, как фотография на яблоко. Я бесконечно бродил по городу в поисках Елены, вглядываясь во все лица и витрины, но даже витрины той не нашел — только собственное отражение досаждало мне сходством: никогда я его так часто не встречал! Оно мне надоело, я себя не узнавал, я стал себе казаться безликой толпой.

Все вокруг напоминало что-то, я силился и не мог вспомнить. Всякое что-то стало схоже с неким чем-то: мир был весь зарифмован и многократно отражен. Все что-то напоминало, и все было — не то. Я бродил как близорукий без очков, в тумане и мираже, как слепой. Асфальт передо мной рассти-

лался в водную гладь, и по ней мчались вдаль, от меня, волны... Что это была за корма и куда я отплывал? Волны, фотографии, зеркала... о, как я был слеп! Слепец, певец — я натыкался на собственное отражение и вздрагивал, будто в нем отразился другой, и удивлялся неизвестному мне стихотворению, писанному, однако, моею рукою.

Сбылось то, о чем я мог лишь мечтать, кропая прежде свои стишки: я был Поэт! О, тут не обманешься: поэзия — либо есть, либо нет. Я и раньше это чувствовал безукоризненно, а потому никогда не обольщался собственными опытами. Здесь же и сомнения быть не могло — я не замечал, как они возникали, будто они и не мной были писаны, я мог их оценивать как не свои — и они того стоили. Но, господи, как мало это меня утешало! Они не стоили того, как бы ни были хороши: ни Дики, ни меня, ни Елены...

Как я ее ревновал! Сначала этот вирус носил еще легкие, прустовские формы: не найдя сходства с нею в прохожих, я забредал в музеи, книжные лавки, ловя отблески ее лица сквозь толщу веков в портретах, в пыли Возрождения. И у меня, в студенческой моей келье, хронически висела то та, то другая предшественница моей неузнанной Елены: Боттичелли сменял Гирландайо.

Бедная Дика! как она ревновала... эти репродукции. Как она смирялась с соперницей и даже одобряла мой вкус... но тут ей на смену приходила другая, вдруг казавшаяся мне более похожей. Зато новые мои стихи Дика принимала безоговорочно.

Она входила ко мне стремительно, в новой юбке — «Правда, прелесть?» — в новых браслетах... Вся такая легкая, просветленная, будто ничего не случилось, щебеча какую-то университетскую чушь, приносила цветок, искала для него вазу... находила листок. «Ты сам не знаешь, какое это чудо! Это просто поразительно, как ты ничего в собственных стихах не понимаешь...» Слезы восторга наворачивались ей на глаза, и голос дрожал. И я прозревал в ее восторге такое глубокое страдание, которое она не перенесла бы, если бы осознавала: музой этих стихов была другая, не она.

Но Дика и виду не показывала. Я не мог этого вынести: ни взгляда ее, ни голоса, ни восторга, ни всей этой беспечной легкости, чем лучше выдержанной, тем больше отдающей лишь стойкостью, самоотверженностью и безответностью. Я не мог вынести ее страдания и был груб. Мне не нужна была ее оценка, ее помощь, ее порядок — неужто она не понимает, что бывают состояния, когда человек имеет право быть

один!.. Она не замечала моей грубости, она даже не прощала меня, а просила у меня прощения и испарялась, прихватив с полу листок. Это она их все собрала и сохранила, а то бы они пропали: я же их мог лишь оценить, но не ценил ни капли, а почти что и ненавидел, как и Елену, когда наконец прогонял Дику. О, я так ее ненавидел в тот момент, когда за Дикой затворялась дверь, что встретить я ее — задушил бы, как Отелло. За мучения, которые доставались от меня Дике, я ненавидел Елену, может, даже больше, чем за отсутствие.

Но Дика уходила, и я ее тут же старательно забывал, опять оставаясь наедине с отсутствием Елены. Я сдирал со стены репродукцию: ничего похожего! в чем это я находил сходство? И снова бродил по улицам, вглядываясь в каждую встречную, пока меня не валили с ног усталость и стихи. Просыпаясь, я с неприязнью отдавал им должное и отбрасывал. Потом их подбирала Дика.

О, я знал лицо Елены наизусть! Я знал его так, как только заблудившийся в лесу знает лес, верша свои круги... как умирающий от жажды знает пустыню! Не могу описать его смертельной прелести. Да и тогда не мог. А тогда мне в слове поддавалось все, что невыразимо. В тех моих стихах ее почувствует любой, но — тоже не увидит: только что она была здесь — и вот ее нет опять. Халда, рыба, моль... Бледнее самого неконтрастного отпечатка было ее лицо! Это не было лишь свойством неудачной фотографии: скорее уж только слабая фотография и могла хоть отчасти эту свойственную ей размытость и выразить... Такое ускользание взгляда и черт... Я думаю, польки бывают такими. Вам не приходилось бывать в Польше? Они же славятся, польки. У них репутация особенных красавиц... Именно особенных. Одно это допущение в ту же минуту привело меня на мою прародину, к которой я никогда не тянулся и ни разу не бывал. И впрямь, думал я, с чего это я взял, что витрина, в которой мы с ней должны отразиться, находится там же, где я живу? витрина может быть где угодно.

Мир разбух в моем сознании до размеров, какие принимает только отчаяние. Только океан и пустыня успокаивали меня отчасти в качестве пространства, где нет ни магазинов, ни витрин, ни отражений. Но я знал, что в конце семи лет витрина эта возникнет все равно: раздастся легкий щелчок диафрагмы, полыхнет магний — и наконец состоится кадр. Я знал — и ничто не могло остановить меня: не все ли равно, в какой точке света стану я ее искать? Известно, что в рулетку выигрывают новички и проигрываются опытные игроки,

выстраивающие из опыта систему. Почему бы и не в Польше?.. Я изъездил ее вдоль и поперек. Там их были тысячи, таких, как она. Это так с польками, что, впервые оказавшись, тут же начнешь недоумевать: где эти знаменитые красавицы? Удивительно невыразительные, неочевидные лица. Вы настроены, вы хотите их узреть, вы так и так наводите свой хрусталик, упрекая себя в недостаточной проницательности, и уезжаете, наконец, разочарованным. Уезжаете — и тогда они до вас доходят, начинают сниться. Независимость и покорность, уступчивость и недоступность: сама женственность. Вам отдаются, а это, оказывается, не вы. Они остались — а вас не было. Странное чувство... Я их видел тысячи, таких, как она. Но ЕЕ среди них не было. Я бы ее узнал из миллиона, но среди тысяч — ее не было. Я остался бы там навечно, если бы она там была. Но ее там не было, поскольку я уехал...

Это мне вдруг так стало ясно, что не там она, не в Польше! Уже с обратным билетом в кармане, не зная, куда деть последний день, забрел я на знаменитое городское кладбище.

Может быть, я хотел оправдать свое поражение — но на этом кладбище ощутил, что приехал сюда почувствовать свою прародину, а не ради иных поисков. Прекрасный сентябрьский день клонился к вечеру, кладбище было не кладбище, а ухоженный старинный парк, двухсотлетние дубы и клены полыхали своими листьями, как национальными знаменами: деревья стояли, а нация под ними — лежала... Меж стволов мелькали огоньки: это женщины в черных накидках со свечами в руках шли к могилам, которых пока еще и не было. Вдруг деревья слегка расступились, и стали попадаться древние замшелые камни, они вытягивались в бесконечную линию, как ледниковая морена... затем деревья снова сомкнули свои ряды, чтобы в очередной раз расступиться перед надгробиями поновее: наступил уже восемнадцатый век. Редкие свечки догорали на отдельных камнях, а остальные продолжали мерцать впереди. Я шел следом за свечами, ощущая пустоту в руках. Тишина густела, и ожидание росло. Я слышал будто гул впереди, он нарастал — и следующая гряда могил ложилась у моих ног, как последняя волна прибой: я был уже в девятнадцатом веке. Война, восстание, война, восстание — поражение, поражение, поражение... Но снова — восстание и война... Это было и впрямь море, история застыла здесь валами братских могил — где-то впереди рокотал, еще невидимый, вал девятый... было ему быть уже в моем, в нашем

веке. Чаще догорали на надгробиях свечи, чаще лежали на них цветы, чаще скорбная фигура стояла около. Я не сразу заметил, что руки мои уже не пусты — ни свечи, ни цветка — полыхающий флажком кленовый листок... Роща молодела на глазах, впереди открывался простор — уже совсем робкий, детский подлесок, — но там будто уже рылось, заготовлялось будущее. Я повернул обратно, почитывая имена юных подхорунжих и ополченцев; на одной братской могиле в алфавитном списке вычитал и самого себя, неведомого мне У. Ваноски, legionера войск польских, погибшего в 1920 году. Туда я и сложил свой листок. Мне вдруг показалось, что совсем не женщину я любил и искал, а родину в ее образе. Странное чувство восторга от поражения охватило меня: родина, народ, не сгинела... Кто-то смотрел на меня. Я это почувствовал спиной, почему-то испугался. «Пан поляк?» — спросил меня низкий женский голос. Я не знал польского, но и она была не полька — я расслышал явственный акцент. Я обернулся наконец — это была ОНА! Мы встретились в День поминовения усопших у могилы моего возможного родственника.

Но это была НЕ она. Я понял это лишь утром, в чужой постели, разглядывая чужой потолок. А она сидела в кресле и разглядывала меня, одетая как в дорогу, мне даже показалось, что в углу стоял собранный чемодан. «День добрый, — сказала она с акцентом, — кофе?» Больше она не знала ни слова по-польски. Япил кофе, она крутила самокрутку одну за одной и курила. Она была из Голландии и знала еще лишь немецкий и французский, я же лишь английский и итальянский. Так мы красноречиво помолчали, будто все нам уже было известно. Голландка была значительно красивей моей Елены, и я с трудом обнаруживал столь неоспоримое вчерашнее сходство. Она была темнее, сильнее как-то окрашенной и богаче, что ли. И какая-то тяжесть, серьезность в позе, в движениях. В этом монументе что-то кипело и происходило, пока она курила и молчала. Огромные ее глаза имели свойство менять цвет или, скорее, свет — они и жили бурно в этой неподвижной громаде. Ибо, вдруг я увидел, она была громадна! Так она сидела, как гиря, глаза ее вдруг особенно глубоко потемнели, она неуклюже поцеловала меня и сказала на полуанглийском языке: «Выходи за меня замуж». Я рассмеялся, она обиделась; я согласился и обещал приехать к ней в Амстердам.

Но я уже мчался назад, домой, к моей Дике! Прочь, наваждение!

Ведь вот же в чем был дьявольский умысел! Ввергнуть

меня в ожидание, лишит меня настоящего времени... и а-ст-о-я-ще-го — то есть счастья. А настоящее, то, что мне досталось от Бога, само, мое, — это была Дика. Как она была счастлива моему возвращению! как я был весел... И здесь, под ударами сыпавшейся на нас науки, под крики Жако: «Кофе уйдет! Кофе уйдет!» — под неистовство наших поцелуев все и произошло. Дика вдруг помрачнела, вырвалась из моих объятий, вышла в свою крошечную ванну-кухню-прихожую-туалет, долго и остервенело чистила зубы, вошла, топая, как солдат, отодвинула меня в угол за штору, накрыла клетку Жако юбкой, восстановила книги, раздвинула диван, как-то тщательно-сердито, незнакомыми мне движениями, умело и некрасиво, как пожилая горничная, постелила постель, потушила свет и стала свирепо раздеваться. Снимала она все с себя решительно, а складывала на стул — робко, будто ненавидела на себе одежду, а потом жалела ее. Сложив все на стуле аккуратнейше, как школьник в немецком букваре, как солдат в казарме, она легла. Я все стоял там, куда меня задвинули, слившись со шторой, растворившись в темноте, забыв себя. Страшное чувство — меня здесь не было. Здесь лежала Дика, неподвижно, под белеющей простыней; рядом, стопкой, ее одежда, как уже не ее, как одежда мертвой, которую возвращают родственникам, и свет уличного фонаря пробивался сквозь щель в шторах, как лунный, падая на все это. И такая стала тишина, и неподвижность, и отсутствие, и бесчувствие, что не знаю, сколько могло пройти минут, веков, секунд, прежде чем я услышал оттуда, из белого пятна, чужой, неживой голос: «Где ты?»

Утром мы выпили кофе и заторопились в университет так, будто делали это каждое утро уже много лет. И никогда мы больше так не целовались, как когда-то.

Как же я ее мучил! Это был как бы мой творческий поиск, некий супердомысел, захвативший меня. Это он меня мучил, а не я ее... Я ей все рассказал, но не как правду, а как идею романа, родившуюся еще тогда, когда я случайно наткнулся на эту дурацкую фотографию облаков (она висела теперь над нашей кроватью). Я ей рассказывал про поиски моего героя, про переживания его, все, как есть, кроме одного: никакой Дики у моего героя не было. Он был один, наедине со своим образом — никакой измены. Это будет, говорил я Дике, новый рыцарский роман, эдакий рыцарь печального образа, победивший своей верностью и любовью дьявола, внушившего ему этот образ, преодолевший искушение тем, что поверил в него, как в истину, и не усомнился в нем. Дика

сокрушалась каждый раз, когда я обогащал сюжет какой-нибудь свежей деталью или неожиданным, но убедительным сюжетным поворотом. Она выдавала тут же свою ревность за восхищение полетом моей творческой фантазии и отыскивала мне в своей филологической эрудиции аналоги в мировой культуре, утончая и уточняя мою мифологию.

А я — искал. То ли очередное сходство, то ли очередной поворот романа. Не знаю, что было впереди чего. То ли замысел моделировал события, то ли события гнали замысел. Стоило мне что-нибудь выдумать, как оно сбывалось, отменив все мое предвосхищение. Стоило чему-нибудь произойти, как оно уничтожалось в памяти, фантастически перекроенное в сюжет. И всегда — в последний момент. В день отъезда. Я много путешествовал. Не так много, как часто. Побег и возвращение... это был мой наркотик. Я воровал и коллекционировал дни прибытий: в эти дни я бывал счастлив, ибо ни для кого не существовал. О, этот последний день — первый день, когда ты свободен! В Грецию мы направились вместе с Дикой. На этот раз впервые на своей прародине была она. В отличие от меня, она сразу на ней оказалась. Как она гордилась всем вокруг передо мной! Как только сошла с подножки поезда, с первого шага, походка ее стала другой. Тут же на перроне мы купили друг другу сандалии, как кольцами обменялись. Она была счастлива, и я вдруг ощутил себя в Греции, как в той нашей первой комнатке, когда мы всего лишь целовались. Всего лишь!.. Я подумал, может, нам куда переехать... может, здесь остаться... и все еще может стать по-прежнему...

Мы посетили тамошний университет — Дика и там могла бы преподавать, да и я, с грехом пополам, повел бы какой-нибудь спецкурс. Дика устроила мне в университете рекламу, и у меня был там крошечный поэтический вечер для посвященных накануне отъезда. По-моему, никто ничего не понял, но успех почему-то был. И тогда я увидел ЕЕ идущей по проходу ко мне с желтой розой в руках. Это была опять Елена. Сходство было поразительно — куда было до такого той голландке! Хотя, на этот раз, я знал уже точно, что это лишь сходство. Тем не менее на прощальном вечере в греческом ресторанчике мы обменялись с ней адресами и договорились о встрече: она собиралась в скором времени в Англию. Она обещала написать мне на *poste-restante*. Подошел гадальщик, и птичка вытасила мне — славу, Елене — красоту, а Эвридика отказалась объявить, что у нее... Суп из мидий был изумителен; окруженный поклонниками, я был весел и остроумен,

а от соседства французской Елены и красного вина несколько более пьян, чем обычно: я будто стоял на носу некой античной галеры, как Одиссей, и плыл в ночи, овеваемый ветром, навстречу звездам, сиренам и волнам, плыл и пел — вдруг словно бы риф, галера раскололась, я провалился в трюм, трюм оказался кабачком, в который мы, я точно помнил, пришли большой компанией, однако оказались наедине с Дикой. У нее был опять толстый нос. У нее теперь часто бывал толстый нос — верный признак того, что она ревнует. Поскольку я не был уверен на этот раз, что не подал повода, то особенно рассердился и перешел в нападение. «Что было в твоей записке?!» — неистовствовал я. Она была, как всегда, безропотна, успокаивала меня и жалела, но записку так и не показала, сказала, что выбросила.

Как я мучил ее!.. Я злился, что она помешала мне точнее договориться с Еленой, бегал тайком на почту — там, конечно, ничего не было, писал в Париж страстные письма, зачитывая их Дике как наброски романа, и опять возвращался с почты пустой, оправдывая перед Дикой свою досаду очередными творческими затруднениями. Роман между тем все разрастался в моем мозгу. Он назывался «Жизнь мертвого» и повествовал о человеке, который потерял душу и обвинил саму жизнь в ее гибели. Он решил отомстить жизни, уничтожив свое напрасное бездушное тело, но не обычным актом самоубийства, а на манер японского камикадзе, взорвав себя, как бомбу. Этот человек-бомба долго готовился к своему акту, и его потерявшая смысл жизнь обрела хотя бы цель. Он очень легко и быстро достиг всего того, к чему стремился столь неудачно, пока была жива его душа, пока он всего этого — счастья, славы — на самом деле хотел. А тут, когда уже не хотел, его карьера оказалась мгновенна и головокружительна, потому что привлекала его лишь эффективностью будущего взрыва: он намеревался взорваться на вершине, таким образом поразив властвующее зло. Он был слаб, и беспомощен, и неудачлив, пока была жива душа, и оказался силен, точен, безукоризнен в достижении этой своей жуткой цели. Он ничего не боялся, ничего не хотел — автоматизм его преодолевал любое препятствие. Он своего достиг. И вот, уладив все мирские свои дела с великой аккуратностью, не оставшись никому должен, он направляется на некий грандиозный международный прием в качестве полноправного гостя с двумя гранатами, подвешенными на специальных ремешках (деталь, заимствованная у Достоевского) под причинным местом. И здесь я запинался в дальнейшем ходе

сюжета, сама развязка была мне неясна, я знал, что он не побойтся осуществить задуманное, знал, что план его не сорвется по какой-либо внешней причине, что его никто не поймает, не разоблачит, не обезоружит, что никаких препятствий не будет осуществить задуманное, но он этого, по каким-то причинам, не совершит. А вот по каким? Я упирался в это продолжение, как в непреодолимую преграду. Она была словно черное зеркало, возвращавшее мне мои творческие потуги, как мое собственное темное отражение. И вот, когда я уже не надеялся, а так же безнадежно и машинально клал перед собой чистый лист бумаги, как и спрашивал почту на poste-restante, я получаю из Парижа телеграмму от Елены, назначающую свидание на той же почте такого-то во столько-то. Я, конечно, как вы понимаете, уже за час стою там с символической желтой розой в руках, точно такой же, как была мне ею когда-то подарена. Как ни странно, но Елена не появляется. Я справляюсь в справочном о прибытии поезда — все давно уже прибыло, никакой отменной телеграммы тоже нет. Поздно вечером я возвращаюсь домой в полном отчаянии и только нос к носу с Дикой понимаю, что в руках у меня... эта дурацкая роза. Меня охватило бешенство, еще бы секунда и я... «Она приехала?» — спокойно, без тени сомнения спросила Дика. «Нет, — вдруг так же спокойно отвечаю я. — Это тебе». Вручаю розу, целую ее, обнимаю, ликую. «Нашел! Наконец нашел, как это все кончится!» — бросаюсь к столу и строчу до рассвета и весь следующий день. Мой герой не взорвался не почему-либо, а — потому что. Потому что всякая цель достигается для продолжения, а у него продолжения не было. Все у него сошлось в расчетах — и это оказалось все. Дальше — ничего. Не потому что испугался, не потому что помешали, а потому что н е з а ч е м уже, он и не взрывается, а покидает тихонько банкет и бредет в ночи, окончательно по ту сторону жизни. Эта финальная сцена мне особенно удалась: как он выходит на берег моря, ночь беззвездна и безлунна, полная тьма, и, стоя перед этой чернотой, как перед бездной, он расстегивает ширинку, достает оттуда по одной свои гранаты и швыряет в море, и они лопаются там во тьме, как перегоревшие лампочки. Этот символ мне страшно нравился — что он на самом деле выбросил...

Я свалился одетый на кровать и проспал шестнадцать часов подряд. Мне приснился красивый и странный сон, будто я с туристской группой в Японии. Что замечательно в снах — это необсуждаемость. Перед нами была бухта, которую я видел в Греции, но это была тем не менее Япония.

Бухта была окружена дивными скалами, и мы, гуськом, спускались с них к морю. Тропинка наша была весьма прихотлива, что, по-видимому, и подтверждало, что я именно в Японии, хотя, может быть, Япония была потому, что мой прадедуська был на японке женат... Тропинка наша развивалась таким образом, что постепенно мы стали прыгать с камешка на камешек. Стало ясно, что мы находимся в некоей особой разновидности знаменитых японских садов, что эти камешки искусственного происхождения: алогично по-японски расположенные плиты, какими мостят пешеходную тропу. Прыгая с плиты на плиту, то влево, то вправо, то даже назад, надо было быть особенно точным, чтобы не оступиться потому что между плитами были не просто кустики или трава, а такие крошечные японские садик, живые икебаны, которые грех было бы как-то порушить. Увлечшись этим занятием, я обнаружил, что заблудился. Заблудился, в сущности, в одном из таких садиков, потому что вдруг, меж двух плит-камней, той, на которой стоял, и той, на которую должен был прыгнуть, увидел под собой ту же бухту, то же море, к которому мы спускались... Но «мы» — это было неточно, потому что вся группа уже находилась внизу, рассыпалась по узкой прибрежной полоске, собираясь, наверное, купаться, а я был все там же, наверху, на скалах. Я помчался вниз сломя голову, догонять товарищей, огромными скачками — это было легко и весело, почти полет. Станным было, однако, что при этом мне не удавалось к ним приблизиться. Так спускаясь, я приблизился к странному сооружению, чем-то напоминающему зеркальный телескоп, он преградил мне дорогу. Я стал карабкаться по его фермам, соскользнул по некоей лесенке и уперся в зеркало. В нем отражалась все та же бухта, тот же берег, то же море, но товарищи мои уже уходили вдаль по берегу. Я понял, что надо действительно спешить, повернулся от зеркала, ища проход, и опять наткнулся на зеркало. Я бежал, ища выхода, — всюду были зеркала, всюду я на них наткался, мечась, пока не осознал с ужасом, что кручусь на одном месте, ограненный зеркалами, замурованный в зеркальную призму... Очнулся я с этим страхом, что я отстал и не догоню, увидел Дику. Она поцеловала и поздравила меня. С чем? — я все забыл. Она прочла: это замечательно. Ах, я болван! все забыл. Я хлопнул себя по лбу, увидел, что одет, и, не умытаясь, побежал на почту. Там ждала меня телеграмма от Елены, что она меня прождала как дура целый день и уехала и чтобы больше я не писал ей. Перечитав телеграмму предыдущую, я понял, что перепутал дни и, от нетерпения, ждал

ее на день раньше, чем она приехала, а потом, значит, она ждала меня на следующий день, когда я дописывал свой роман... Почему-то я легко смирился с потерей, сказав себе, что все равно она была ненастоящая, да, пожалуй, и не настолько похожа... Потер подбородок — я чудовищно оброс за эти три дня! Вы замечали, что, когда пишешь ночь напролет, борода растет вдвое быстрее? Просто неприлично было в такой щетине появиться на улице — я понял недоуменный взгляд почтальонши. И я направился в ближайшую парикмахерскую.

Я ничего не видел вокруг, не глядя плюхнулся в свободное кресло, откинул голову и прикрыл глаза. «Вы спите?» — нежно спросили меня. Я открыл глаза — и не знал уже, внутри какого сна я спал: передо мной было зеркало! Еще бы его не было в парикмахерской!.. но в ту секунду я настолько забылся, настолько его не ждал, что оно поразило меня. В зеркале отразилось небритое и мятое лицо, как чужое. И — именно чужое — оно мне кого-то очень напоминало. Всем знакома эта досадная щекотка припоминания... Все это, впрочем, была доля секунды, тут же разможенная следующей своей долей, — справа над собой я увидел ЕЕ лицо! Не опять, не еще раз... это уже не было сходство — полное совпадение. Полных совпадений не бывает — значит, ОНА. Две вещи неопровержимо подтверждали это: во-первых, мое собственное лицо, которое я застиг в зеркале следом, — что говорить о его выражении! Оно было в точь с той самой фотографии. Во-вторых, когда я снова перевел взгляд со своего отражения на ее, то увидел, что оба мы, ко всему, отражаемся еще и сзади, в противоположном зеркале, отразившемся в нашем... Это был мой утренний сон! В руку... вещей... Я смотрел на нее — она улыбалась весело и ласково, почти смеялась. Стоило мне повернуть голову направо — и я бы увидел ее ЖИВУЮ! Шея моя задеревенела, сердце билось, я не мог отвести взгляда от ее отражения, будто оно исчезнет. Оно — не исчезало, оно — менялось: улыбалось, удивлялось, недоумевало... оно — жило! Раздался хруст в шее, я обернулся к ней — она не исчезла. Не знаю, что я испытывал: облегчение? опустошение? радость? разочарование? свободу?.. Свободу я испытывал — вот что! Мы были окружены зеркалами, стократно повторенными друг в друге. Уходили в бесконечность эти отражения отражений. И они смеялись, отражения, потому что смеялись мы. Сначала рассмеялся я из-за этого слова «свобода», а она, уж не знаю почему, так охотно мне ответила: может быть, ей и было смешно. Я смеялся над собой, она

надо мной, зеркала над нами. Ну и что ж, что в белом халате, а не в платье, — парикмахерская ведь! ну и что ж, что не магазин, а парикмахерская, — парикмахерская тоже своего рода магазин, ну и что ж, что не витрина, а зеркало — отражаемся же! Каждый из этих доводов приводил меня к новому взрыву смеха: фотография совпадала, как пародия. Но что пародировало что? «А это уже и не важно... — облегченно подумал я. — Есть еще и третье подтверждение: она — третья». Магия цифры «три» уже не требовала доказательств. Я рассмеялся в последний раз, и мне показалось, что она мне отвечает смехом не просто веселым, а — счастливым. Значит, это уже не я над собой, а она надо мной — МЫ смеялись! Вместе.

Нет, ее не звали Еленой. Это уже было бы слишком. Тогда бы уж ее звали Калипсо. Позвольте, как же ее звали?.. Неужели не помню... Она отпросилась у хозяйки, и мы поехали за город. Кажется, мы вообще не разговаривали — нам было весело, как детям. Мы купались и бегали, голые, друг за другом, как в раю, как Адам и Ева. Вот! Кажется, Евой ее и звали. Точно. Может быть...

Ни с кем мне не бывало так легко. И не будет (это я теперь знаю). У нас не было ни гроша. Мы без труда, однако, просуществовали: нас содержали ее многочисленные поклонники. Нет, что вы! я не стал сутенером. Может, это было и не совсем красиво, но, поверьте, совершенно чисто. В Италии, в жаргоне, есть даже специальное слово для этого — *dinamo*¹. Мы его — «крутили». Она соглашалась на свидание, говорила, что хочет выпить и чертовски голодна: поклонник раскатывался с полным автомобилем вин и закусок; она накрывала, зажигала свечи — и тут объявлялся я; она чудовищно смущалась, отводила меня в сторону и виновато шепталась со мной (поклонник не ведал, о чем); потом отводила в сторонку поклонника и таинственно шепталась с ним (я знал о чем: мальчишка, сосунок, страшный ревнивец — итальянская кровь... и самый убедительный довод: обещал жениться, — а поклонник — не обещал...). И мы садились вместе ужинать. Никто не бывает так предупредителен, как следующий мужчина к предыдущему, как обманывающий к обманываемому, — наблюдать это бывало очень смешно. Я сначала дулся и супился, но недоигрывал: очень уж есть хотелось. Вы бы только видели, как предупредительно бывал я обслужен — лучшего официанта не сыскать, чем счастливый

¹ Не требует перевода, это и у нас — так (авт.).

соперник! Еще и занимает разговором, чтобы затушевать неловкость... Чем больше я молчу (а я — ем), тем больше он говорит, косвенно пытаюсь убедить меня в том, что я не рогоносец. О, это милейший водевиль!.. До чего тщательный выбор слов — прямо танец между ножами. Я наедался и пачинал мрачнеть; поклонник находил первый попавшийся повод, чтобы удалиться, как правило не отведав собственных припощений; мы бросались друг к другу в объятия. Должен сказать, они были симпатичные люди, и я совершенно не ревновал ее прошлое (смешно, по той же логике, что и мои соперники...); кажется, и они отдавали нам должное как паре. И только один нас разоблачил — так с ним мы стали даже друзьями, настолько все понравилось друг другу. Толстый, лысый, живой, он много пил и все время потел; странная у него была профессия — конферансье... всегда в разъездах... он все время хвастался и совсем не требовал, чтобы ему верили, хороший человек... только на одном настаивал, что он близкий друг Чарли Чаплина, в доказательство чего рылся в бездне растрепанных квитанций и документов, все никак не находя его визитную карточку; тут-то мы ему и не верили, и он искренне огорчался.

Не знаю, сколько прошло дней... наверное, сколько поклонников. Начали мы в воскресенье, это точно. То ли поклонники стали реже, то ли дни длиннее. Только вдруг мне принился роман. Его новое окончание. Вариант. Будто мой герой перед тем, как пойти «на дело», когда он раздаст долги и гасит квитанции, а потом тщательнейше моется, бреется, одевается, подвязывает свои гранаты... Так вот, перед самым банкетом он отдает еще один долг: идет проститься с единственным человеком на Земле, которому он безразличен, естественно, к преданной ему женщине (вы догадываетесь, что мой одинокий мститель, кажущийся себе бесчувственным, втайне очень сентиментален, что, впрочем, не противоречит). Он разыгрывает перед ней сцену расставания навсегда, говорит о своем бессердечии, что он не вправе и т. п., и, побежденная честностью и убедительностью его доводов, она, наконец, верит ему, что это — все, что — конец, и, несчастная, отпускает его. И вот, когда он не взорвался, когда он выкинул эти перегоревшие свои лампочки в черный провал океана, он оказывается и на самом деле совсем один. Ему — некуда: даже дома теперь у него нет, он его продал, а деньги раздал; даже денег у него нет — зачем бы они ему после взрыва? Ему — не к кому: у него нет родственников, и даже с единственной женщиной, терпевшей его, он расстался

навсегда. У него окончательно нет души, но тело-то у него по-прежнему есть. И вот, пробродив ночь, продрогнув и изголодавшись, он обнаруживает себя стоящим у порога покинутой женщины и не решается дернуть звонок... как тут дверь отворяется сама. Она ничуть не удивлена, что он вернулся. Она его ждала. Ужин еще теплый...

Мне казалось, что я возвращаюсь за рукописью. Сколько же времени прошло? Три дня? три года?.. Мне будто огнем в лицо полыхнуло, я покрылся испариной. Это был не стыд, не боль, не страх, не совесть, не раскаяние... Это было... Нет слов для чувства непоправимости. «Дика!» — вскрикнул я и побежал.

Замок не попадал в ключ, дверь отворялась не в ту сторону... Дики не было. Все было аккуратно и пусто. Пустее, чем когда Дики просто не бывало дома. Не было и попугая. Клетка была пуста — вот в чем дело. Три дня? три года?.. Я напарил на столе записку; шторы были задернуты, и было не разглядеть. Выключатель не находил руку... наконец — свет. Записка с руками ходила ходуном, строка промахивалась мимо взгляда. Я положил ее обратно на стол, на то же точно место, где она лежала, и, упершись в край руками, сумел наконец прочесть: «Жако улетел. Я побежала искать. Каша на плите. Целую. Э.». Мне должно было стать легче, но не стало. Три дня? три года?.. — все бормотал я, кружа по комнате. Я задел стопку, и книги посыпались на меня. Они сыпались и сыпались, как крупа. Каша! — сообразил я и, ликуя, бросился к плите. Каша была еще теплой! Она не могла быть теплой ни три года, ни три дня. Время стремительно сокращалось, как живое, как сердце. Казалось, мне должно было стать легче от этого. И опять не стало. Время сжалось окончательно, до сегодня, до этого мгновения, до точки, и остановилось, как сердце. Игла, еще тоньше мгновения, пронзила его, как время. Я прикрыл глаза, и мне почему-то пригрезился стул, как он стоял в ту нашу первую ночь, со сложенной, будто у покойника, одеждой. В испуге я открыл глаза — стул был пуст. И сердце по-прежнему не билось.

Я так и вбежал в зоопарк, с остановившимся сердцем. Почему в зоопарк? Не знаю, как и объяснить. Я был уверен, что она там, и все. Это потом я все довообразил... Как она ждала меня, ждала... как забыла запереть клетку... как ей стало душно, и она распахнула окно... как она, внезапно и со всей бесповоротностью прозрения, поняла, что я ушел и не вернусь, поняла потому, что Жако улетел... как она бросилась за Жако, как за мной... как она металась по улицам, крича:

«Жако! Жако! Вы не видели Жако?..» Что дальше? внезапный автомобиль? трамвай?! Нет! нет!! — кричал я на бегу. Догадка моя была настолько внезапной, что сомнения у меня не оставалось, как и у нее, когда она, отчаявшись, догадалась: конечно, он улетел к СВОИМ! Куда еще?.. Она бежала, радостная, окрыленная, задыхаясь от счастья, что он там, в зоопарке, где же еще?.. Она в сотый раз прочесывала зоопарк — о, эта перенаселенная пустыня, где нет Жако! «Милый! милый... вернись!» — звала она. А его все больше и больше не было. Дура! какая же ты дура, Дика!.. Его нельзя найти — он может только вернуться. Он обязательно вернется! он уже летит домой... Дика! это я! я за тобой... где ты? Я в сотый раз прочесывал зоопарк — Дики не было. Как вдруг толпа, редкая такая толпа в том краю, где серны, а за ними обезьянник... Я — туда.

Наверное, она, дура, прежде всего побежала к попугаям. Там конечно же не было никакого Жако. Вернее, их были сотни, но не один не откликнулся на призыв, а то и все разом... А уже в это время по зоопарку вдруг панически забегали сотрудники с сачками, баграми, как на пожаре... Не иначе как моего Жако ловят, подумала безумная Дика и... за ними.

Толпа безмолвно расступилась передо мною. Курил равнодушный врач в белом халате. А рядом стояла сотрудница — в сером, с безутешной обезьянкой на руках. На носилках лежала... Нет! Никогда! Что вы! Да вы с ума сошли... Дика! очнись! это я!.. это я...

Она побежала за этими, с сачками и баграми... Ее никто не задержал: то ли не до того им в такую минуту было, то ли за свою или новенькую в панике приняли, не разобрали. Навстречу с визгом неслась обезьянка — молоденький шимпанзе, собственно говоря, ребенок. Ручной, заласканный... Почему он выбрал именно ее?! Она так хотела ребенка. Он так хотел спастись. Кто бы его еще спас?.. Все только шархнулись от него врассыпную, как от зачумленного или прокаженного, потому что знали, в чем дело. Дика не знала. Да если бы и знала... Разве бы она отскочила в сторону от того, кто, такой малыш, с таким визгом и ужасом несся именно к ней навстречу — за помощью, за спасением!.. В последний момент он подпрыгнул, шимпанзенок, и — полетел, как ядро, совершив рекордный прыжок навстречу Дике, а она не видела, как вослед ему, вытянувшись в невидимую серую нитку, летела, тоже по воздуху... Дика, как вратарь, приняла этот живой мяч. Обезьянка, всхлипывая и подывая, обвила ее шею, прижалась к ней, неправдоподобно дрожа... А серая,

невидимая — недолетела и шлепнулась к ее ногам с каким-то серым, голым звуком... и — обвилась. А обезьянка все плакала, все прижималась, все целовала Дику. И это была последняя ласка на этой Земле.

...Ваноски смолк. По лицу его катились слезы. Именно катились — я никогда еще такого не видел. Ровно и сплошь. Он их не утирал.

Не знаю, отчего я на него так злился? Я хотел ему даже сказать, что уже читал это, причем у него же. Хотел, но все-таки не мог.

— Вот вы мне уже и не верите... — вздохнул Ваноски. — А мне все равно. Мне бы уж поскорее. Она меня там ждет. Подзадержался я. Ну, ничего. Здесь она ждала меня дольше. Вам хотелось бы знать, как на самом деле? А я не помню, что я написал, а что прожил. Да я и не понимал никогда, почему это отдельно. Я думаю, что все именно так и было, потому что я, на этот раз, только рассказывал как помню, ничего не сочинял. Может быть, вы правы, и я — писатель... Несчастное существо! Все думают, что самое трудное выдумать, что писать... Нет, самое трудное — выдумать того, кто пишет. Все, кого мы читаем и чтим, сумели выдумать из себя того, кто писал за них. А кто тогда они сами, помимо того, кто пишет? Страшно представить себе это одиночество. Счастливы только другие люди: они трудятся, любят, рожают, умирают. Эти и умереть не могут. Они на это неспособны. Они, как актеры, — только играют всю жизнь одну роль: самих себя. Для других. Их жизнь им не принадлежит. Это рабы людей, рабы любящих их. Они не умеют любить, как монахи не умеют верить. Если любить и верить, то зачем писать или молиться? Обнимешь живую женщину — а это образ, потянешься к Богу — а это слова, припадешь к земле — а это родина. И земля выпихнет тебя из себя, великого, наружу, как памятник, как мощи, чтобы не в земле, а на родине ты торчал, так и не погребенный... Я всегда мечтал только об одном: бросить писать, начать жить. О, я уже мог! и тогда бы я больше ни строчки не написал. С великим удовольствием, к превеликому счастью. Я уже почти любил! — судьба отняла. Мы уже шли из-под венца, когда она наступила на эту невидимую, серую... а шел дождь, и мы бежали, взявшись за руки, смеясь, от мэри к автомобилю... она запнулась о подол своего подвечного, потеряла туфлю... и прямо голый пяткой на голый провод!.. Был! у меня все время был выход — любить. Я мог победить этого, с портфелем и фотографией, и это — как в сказке: только любовью. Да прогони я его сразу или не придай

значения этой подделке... ведь это же была подделка! А я подделал под нее жизнь свою!.. Да кабы только свою... Да будь я подлец, брось Дику, а хоть француженку, хоть голландку, зато полюби... так нет же — никого! А ведь парикмахершу, уж точно, полюбить было можно... Но я ведь ОДНУ любил, эту бумажную Елену. Мне и сон такой был.

После гибели Дики я сжег роман и не выходил из дому. Еду мне кто-то приносил. Может, даже парикмахерша. Но женщин я не помню ни одной. И через год мне снится, будто я лечу над нарисованной страной, вроде Греции, вроде графики Пикассо на античные темы, только как-то еще условнее и пародийнее. Там, внизу, подо мною царит какая-то вакхическая идиллия: овцы, козы, пастухи, пастушки... и все заняты только любовью. Они тоже бумажные, как детские вырезанные из тетрадки в клеточку, куклы. Именно что сон был — на бумаге в клеточку... Зрелище их бумажной любви меня сначала смешит, потом забавляет, а потом и увлекает: я ощущаю себя таким же бумажным, но и таким же способным, как они, — лечу, выискивая себе подругу, а они все уже заняты. Способность моя растет, а ее все нет. Наконец — есть. Я снижаюсь; она уже видит меня, раскрывает навстречу объятия; я пикирую на нее... и тут становлюсь собой, не бумажным, а живым и — прорываю этот листок из школьной тетрадки.

В тот день я впервые вышел в город. Я бродил бесцельно и долго и снова заглядывал в лица, но уже не в поисках мифической Елены, не отделяя женщин от мужчин, — просто в лица людей: какие они и кто это, люди?.. Я заходил в парки, кафе и магазины — и выходил, не посидев, не закусив, ничего не купив. Я устал и решил вернуться домой. И тут обнаружил, что уже не шагаю, а стою, стою перед витриной, смотрю тупо на двух манекенов, мужской и женский, протянувших друг к другу руки и будто шагнувших навстречу, чтобы обняться наконец, но что-то им мешало: мое ли отражение между? И тогда, сквозь витрину, между манекенами, внутри магазина, я увидел ее, Елену с фотографии. Потому что, на этот раз, все было в точь: как я мог не видеть этого магазина раньше? Я же тысячу раз проходил это место в той жизни, когда искал? Он был новенький, магазин, только что отстроенный, за год, что меня не было на улице... Я прикинул: как раз семь лет прошло. И пока я стоял в оцепенении, медленно ворочая в мозгу эти простые соображения, Елена вышла из стеклянных дверей, одетая, как на фотографии, с сумкой, как на фотографии... взглянула на меня, как на фотографии, бездуш-

но, как на вещь, и прошла мимо. Я же продолжал стоять как вкопанный. И тут увидел в витрине то свое, ужасное лицо с фотографии, когда вместо волос — змеи. Я закричал и бросился за нею — убить. Убить, впрочем, не то слово: я был уверен, что порву ее на клочки, как фотографию, настолько был убежден, что она — бумажная. Это и убийством бы не было — так, клочки на асфальте. ЕЕ — не было. Как сквозь землю.

Порвать — ладно. И это еще не был конец. Когда она исчезла, а я так и не поймал ее, то понял, что в очередной раз принял искус этого, с портфелем, что, на самом деле, я должен был схватить ее и не отпускать, приговорить себя к ней и полюбить — наконец и до самого смертного конца. Что это был мой последний шанс возродить судьбу. Что я — и его пропустил. О, как же я был всю жизнь слеп: волны, зеркала, бумага, фотографии...

И тогда я снова пустился в ее поиски, хотя уже точно знал, что они обречены, я писал новый роман, он назывался «Сожженный роман». Роман, в котором люди не сказали ни слова. Нет, вы его тоже не могли читать, по той же причине... Не знаю, что вы там у меня читали, — я всю свою жизнь только эти два романа и писал, да так и не написал оба, да, по сути, это, может быть, на самом деле роман один и был, а не два. Там герой возвращается к своей первой любви и к первому заброшенному роману... Там, оказывается, у него вырос сын, взрослый мальчик, но он глухонемой. А мать молчит с ним вместе из солидарности вот уже четырнадцать лет. Герой снова поселяется у них и дописывает свой самый первый роман в этой воплотившейся немоте. В этом романе он...

...Я думаю, что Ваноски досказал свой роман до конца — он меня уже не видел. Я тихо выскользнул из его конуры. Боже! как хороша жизнь! Как сладко пахнет бензином городская запыленная сирень... Зачем ему успех, деньги, слава? Зачем все у тех, кому этого не то что УЖЕ, а вообще — НЕ надо? Зачем мне молодость, а у меня ничего этого нет?

И тут во мне всплыли слова Ваноски, которые он сказал, когда я его так не любил, что даже уже и не слушал:

— А все равно он — не победил меня. Теперь-то уж точно. Он только в этой жизни победил меня, а в ТОЙ ему меня не победить. ТАМ я сильнее, там со мною моя Дика...

И я понял, за что невзлюбил его, — за эту его Дику. За то, что она — его, а не моя. Зачем мне без нее моя молодость?..

О — цифра или буква?

(Из книги У. Ваноски «Муха на корабле»)

— Ты что, с Луны свалился?

И он отвечал:

— Да.

Его «да» звучало спокойно, без вызова. Смех, следовавший за ответом, больше не задевал его; он был бы рад этому обстоятельству, если бы отметил его. Но он не отмечал, а даже чуть смущался, что не до конца оправдывает их ожидания. А они от этого ржали почему-то не меньше, даже больше, чем всегда. Это его настораживало — он чуть дольше смотрел с круглым удивлением на приближающуюся и колеблющуюся поверхность чужого лица: на бугры щек и лбов, провалы глаз, щели в зубах, — и эта некоторая кривозеркальность лиц напоминала ему иную поверхность, иной ландшафт — он вспоминал тогда, куда только что шел, и, извинившись, шел дальше вниз по Сандэй-стрит, туда, где она незаметно кончалась, переходя в выцветший луг, где замирал, отстав, смех над ним, начинали свой стрекот невидимые насекомые и неровно летали одинаковые бабочки. В небе плавал аэростат, новинка, к которой на другой же день привыкли. Солнце за день нагрело луг, и от травы исходил вялый жар. За лугом ему было уже рукой подать... там, где паслась коричневая корова... Он шел, как по мелкой воде, высоко поднимая ноги и осторожно опуская их в неподвижный жар, запах и стрекот — жмурился от удовольствия. У него было неплохое настроение: ему было что сегодня рассказать и даже показать доктору Давину.

Он нес в руках велосипедный руль.

Тони Бадивер, по прозвищу Гумми, появился в наших местах недавно — его нашли на обочине Северного шоссе, в трех милях от Таунуса. Он был весь в ссадинах и кровоподтеках, без сознания. Золотарь Самуэльсен, подобравший его, решил, что тот вусмерть пьян, и, из чувства товарищества, доставил его в участок. От тряски в транспорте Самуэльсена пострадавший ожил и в дороге бредил, что его избил какой-то брат Гом-Лао-Шань за то, что он заступился за певичку Тиенг. В участке, однако, быстро во всем разобрались, запретив Самуэльсена за эти показания в соседнюю камеру; доставленный же мог быть не кто иной, как Тони Бадивер, решили они, прочитав на внутренней стороне полы его мышастой

мягонькой курточки вышитое красными нитками (прямыми крупными стежками) именно это имя. Скорее, всех поставило в тупик, что спиртным от доставленного Бадивера не пахло.

Вызвали фельдшера. Он пустил кровь.

— Ничего серьезного. Дайте ему как следует выспаться. Успеете допросить... — Фельдшер недолюбливал полицейских и стыдился своей службы в полиции. Он мечтал о работе в клинике доктора Давина.

Это было, впрочем, его дело.

Доставленный Бадивер (если это был он) проспал вечер, ночь, утро, и дежурный Смогс, заглядывая к нему в глазок, каждый раз повторял свою любимую шутку:

— Спит, как убийца.

Явление Бадивера заинтересовало участок. И когда доставленный-Бадивер-если-это-был-он перевернулся наконец на другой бок, то сержант Капс, сменивший капрала Смайльса, сменившего дежурного Смогса (а Смогс и Смайльс все не шли домой, ждали, чем дело кончится, что было редким, если не единственным, случаем в их практике, — они не уходили и стояли рядом с Капсом, когда тот, заглянув в глазок, увидел, что вышеупомянутый Бадивер перевернулся на другой бок...), то Капс так громко сказал: «О!», а оттолкнувшийся Смогса, оттолкнувшего Капса, Смайльс, чтобы прикинуть в свою очередь к глазку, еще громче сказал: «Ого!» — доставленный-Бадивер-если-это-был-он открыл глаза.

И тут же дверь залязгала, и они втроем ввалились в камеру. За ними, заслонив дверь, пробрались и все остальные бывшие в дежурке.

Бадивер-если-это-был-он сел на нарах и уставился на вошедших с круглым удивлением.

— Бадивер! — тоном, не оставляющим сомнений, сказал Капс, ткнув толстым пальцем в грудь Бадивера. — Не отступайтесь!

— Мы все знаем! — заявил инспектор Глумс. Он имел в виду поступивший третьего дня сыскной лист убийцы, фотография которого разительно расходилась со словесным портретом. — Мы все знаем, — логично заявил Глумс, потому что Бадивер не походил ни на тот портрет, ни на другой.

— Задержанный, встать! — заорал за спиной столпившихся лейтенант Гомс. Он был крошечного роста, ничего не видел за спинами и тоже хотел посмотреть.

От обилия впечатлений подозреваемый-в-том-что-он-Бадивер заерзал на нарах, сморщился, и тут лицо его стало последовательно складываться в такие уморительные, взаимо-

исключающие одна другую гримасы, в то же время в них было столько доброты и простодушия, что усмехнулся Смогс, улыбнулся Смайльс, рассмеялся Капс, расхохотался Гомс и даже Глумс скривился, как от зубной боли. Собственно, с этого момента Тони-Бадивер-а-это-уже-скорее-всего-мог-быть-именно-он был окрещен Гумми, по сходству с игрушкой, как раз в то время вошедшей в моду в связи с ажиотажем вокруг бразильского каучука. (Игрушка изображала старого доброго шотландского пьяницу с трубкой в зубах, и когда вы вставляли пальцы в соответствующие дырочки в его затылке и пошевеливали ими, то старый пьянчуга подмигивал и хихикал.) Гумми — так сразу окрестили Тони-уж-никакого-сомнения-Бадивера наши славные полицейские, известные на весь Таунус как быстрые на язык и медленные на расправу.

Смущенный смехом Гумми-кто-же-это-еще-мог-быть-потупился и покрутил кругленькими тупенькими ботиночками — ножки его не достигали пола, — и это почему-то так дополнило предыдущую гримасу, что на взрыв хохота откликнулся и старина Самуэльсен из соседней камеры и стал неистово барабанить в свою дверь с криком:

— Я тоже хочу посмотреть!

Сердечный Смайльс, по приказу Гомса, со вздохом пошел память бока Самуэльсену. А Гумми сказал:

— А он тоже вчера упал?

Тут-то и выяснилось, откуда свалился Гумми...

Следует отдать ей должное, смышленная таунусская полиция быстро разобралась, что к чему. На двести миль в округе никто из лечебницы не сбегал; запрашивать монастырь Дарумы, откуда, по первоначальному лепету Гумми, мог появиться Бадивер, сочли нецелесообразным, тем более что монастырь этот, по его же словам, находился чуть ли не в Камбодже (тем более что про монастырь этот Гумми начисто забыл, как только окончательно оправился, и помнил теперь лишь о последнем своем приземлении: видимо, этот удар отшиб всю его память)... И, под личную ответственность, Гумми был передан застенчивому полицейскому фельдшеру.

Самуэльсен же просидел за буйство две недели.

Доктор Роберт Давин, эсквайр, познакомился с Гумми на вокзале.

Доктор как раз проводил свою невесту в Цинциннати, к родителям. Поезд ушел, и тут доктор убедился, что поряд-

ком утомился от недельного непрерывного счастья. Потому что только когда стало ясно, что его не видно из окна вагона даже в бинокль, распустил он наконец улыбку и тогда, по счастливому ощущению мышц лица, понял, что улыбался непрерывно всю неделю, даже во сне. (Так что если бы невеста случайно проснулась среди ночи, то увидела его ошарашенным...) Джой тут была ни при чем — она была прелестная, добрая девушка, и он очень ее любил. Но теперь, в последний раз взмахнув платком, он мог подумать, что почему-то, именно с обручения, неизбежность предстоящего счастья сделалась как-то утомительна, — но он как раз так и не думал, возможно, от той самой внутренней нечестности, которую люди называют порядочностью.

Именно поэтому не замечал он подкравшейся вплотную перемены вплоть до того момента, когда, распустив наконец улыбку, вздохнул на пустой платформе почти что демонстративно. И мысль его тут же будто с привязи сорвалась... «Как я соскучился по работе!..» — такой был вздох, такова решительность первого, чересчур широкого шага по перрону, названные им свободой. Обо всем этом он успел подумать в ту же секунду: об утрате счастья, об обретении свободы, о рождении, следом, мысли... К этой триаде ему показалась привязанной ниточка от чего-то большего — он тут же увлекся, пытаясь выделить причинно-следственные связи этих параметров (счастье, свобода, мысль...), и, не находя в своем словарном запасе многих модных и известных каждому ныне слов (например, сублимация), перебирал: подмена, переход энергии, высвобождение, нет, перенос, то есть перекося... вытеснение?.. ну уж, не эти глупые рефлексии. И вот так стремительно для своего времени думая, доктор Роберт Давин, выдающийся молодой человек своей эпохи, которому мы еще многим будем обязаны — в нашей, обнаружил, со всей внезапностью этого глагола, что стоит перед незнакомым ему человеком и разглядывает его в упор, до неприличия.

Так вот, этим человеком и был Гумми.

О докторе Роберте Давине, эск., прежде чем окончательно включить его в сюжет нашего рассказа, хочется сказать несколько слов. Рассказчика, в данном случае, особенно волнует и стесняет его речь тот факт, что ему уже известно то блистательное будущее, которое обретут в нашем, столь уж недалеком будущем, — теперешние, столь незамеченные и свежие, дела Р. Давина. Пока что следует отметить, что, хотя молодой ученый и устремлен в будущее и делает все для признания

и бессмертия, — меньше всего он думает о славе и, незаметно для себя, покрывает мыслью пространства, действительно обширные и временем не освоенные. Он еще не остановился. Он даже еще не знает, что уже знает то, что в будущем сделает его имя громким, даже одиозным. И поскольку он этого не знает, то это и позволяет нам отнестись к нему с максимальной объективностью и симпатией.

Доктор Давин происходил из старинной английской семьи, одна веточка которой перегнулась через океан, отпочковалась и, вопреки скептицизму остального дерева, прижилась (мы оставляем в стороне, как совершенно бессмысленные, доводы позднейших биографов о сомнительности чистоты его происхождения, о четверти негрской крови, о жестокости его мнимого отца, о различных чердачных драмах его кузин, проистекших якобы из этой жестокости, — достоверно известно лишь то, что отец его был одним из самых выдающихся специалистов по коннозаводству — а тогда еще были кони!..). Будущий доктор получил, в общем, неплохое образование, которое и завершил за океаном, в Гейдельберге и Вене. Перед ним открывалось самое блестящее будущее. Мэтр Шарко приглашал его к себе. Но молодой психиатр преодолел соблазны успеха и моды и вернулся на родину. Возвращение это, до некоторой степени, было вызвано и омрачено таинственной смертью родителя. Будучи единственным наследником, юный доктор, обнаружив неожиданные для рыцаря науки сметку и практицизм, достаточно выгодно ликвидировал конный завод отца. Эти средства и позволили ему основать маленькую клинику на окраине города Таунуса, куда он и переехал. Из окна его кабинета открывался прекрасный вид в чистое поле. Необычайно малое количество клиентов, какое мог поставлять ему наш традиционный городок, да и вся округа (да что говорить, и весь штат, и, быть может, вся Америка, в которой в то простое и прочное, как черепашка, время мало кто сходил с ума), возможно, и позволило доктору Давину избежать того декаданса, в который почти сразу же, лишь вступив в пору развития, впала психиатрия, слишком быстро сочтя свое недавнее прошлое — расцветом и классической порой. Доктор Давин положил в основу своей системы простые и печальные, изначальные — как Божий мир, и мы рады успеть поставить ему в заслугу это здоровое начало. В общем, мышление его было относительно малобуржуазным и никогда не развивалось вялыми побегам «либерти».

Короче, прибыв в городок Таунус, Роберт не мог не занять

в нем сразу же чрезвычайно заметного положения. Он, как говорится, был на голову выше. И действительно, высокого роста, изящный, как европеец, слегка подсвеченный далеким отблеском будущей его славы,— среди кургузых и богатеющих, обремененных здоровьем еще более, чем богатством, таунусцев, он останавливал на себе взгляд. Однако скрытая в каждом его движении и взоре сила, единственное, на что у таунусцев могло быть развито чутье, заставила их, в порядке исключения, не возненавидеть молодого доктора, а подвинуться и предоставить ему место, надеясь (возможно, именно Давин первым введет термин «подсознание», но не станет оспаривать его потом у того, кому этот термин припишут...),— надеясь втайне от себя, что подвинулись они в первый и единственный раз.

Итак, доктору Давину 28 лет, он высокого роста, худощав, складен. У него очень большое и бледное лицо, окаймленное чрезвычайно черной бородой,— это смотрится очень резко: бледность и чернота,— и, по-своему, даже красиво. Сердца местных барышень замирают от его грозного вида. Взгляд огромных и тоже очень черных глаз, острый, как антрацит, заставляет ёкать их сердечко и — о, если бы наши барышни могли побледнеть!.. Но многого еще не знает наш городок — и бледность ему неведома. В этом смысле Роберт Давин — первый белый человек в нашем краю. Оттрепетав, барышни признаются шепотом, что Он — страшный, а одна, которая все-таки побледнее, поправляет со вздохом, что он «устрашающе красив», — она первая интеллектуалка нашего города.

Но взгляд его, хоть и пронзителен, отнюдь не зол. Взгляд этот кажется чрезвычайно внимательным, видящим насквозь, что заставляет встречных несколько съеживаться и быть как бы настороже. Но и внимательность эта — своего рода. По сути, доктор ничего не видит, кроме того, что намерен (тоже, скажем так, втайне от себя) увидеть во всем, чтобы ни попало ему на глаза, что и сулит ему великое будущее. Может быть, вовсе не то, что «насквозь», а то, что он обязательно поместит всякого в свое видение и заставляет окружающих настораживаться, хотя и заинтриговывает. Они правы: он готовит приговор. Он им еще лет на сто навяжет, кто они такие как бы на самом деле. Опять же — шшш! — пока что об этом никто не знает, ни даже он.

Он смотрит в упор на Гумми.

Может быть, это был первый человек в Таунусе, не захихикавший, глядя на Гумми. Он не нашел ничего смешного в его внешности, а так стоял, пока одна мысль нагоняла дру-

гую, вытесняя первую. Что-то остановило внимание доктора во внешности Гумми: доктору не удавалось заковать его облик своею пронизательностью, и смеху подобно, что ординарный вид этого идиота как раз и не умещался в заготовленную рамку взгляда нашего гения. Прежде сознания в докторе сработал профессионал, но, перебрав механически всю свою обширную мозговую картотеку, он не мог извлечь соответствующую карточку. Определенные конституционные изменения у Гумми (доктор, впрочем, еще не знал, что это именно Гумми) не вполне совпадали с классической интерпретацией именно этого вида недоразвития. Получалось, что если он и идиот, то как бы не врожденный, а переродившийся, что конституция идиота им благоприобретена. Но, в таком случае, перерождение было слишком сильным, невозможным, не встречавшимся в практике...

Гумми, прислушавшись к чему-то однозначному в себе и удивившись, поднял на доктора Давина (хотя он еще не знал, что это именно доктор) свой голубой от простодушия взор.

Теперь два слова о Гумми, которого мы забыли в участке...

Время, о котором мы рассказываем, было еще простое время. Хотя, конечно, те, кто для себя жили в нем, считали его уже новым, ни в какое сравнение не идущим, употребляли уже слово «прогресс» и были поражены темпами своего века, из века пара на глазах перерождавшегося в век электричества. Но хотя они так про себя считали, мы-то знаем, что они жили еще в старое доброе время, к которому уже нету возврата. Мы считаем, что им еще дано было прожить свою жизнь без осложнений, в одном и общем значении, не разошедшемся еще с намерениями природы насчет человека. Жизнь еще вполне укладывалась в отведенное ей время, то есть время все еще успевало поспевать за жизнью.

Как мы уже сказали, румянец еще не сошел с ланит века. В жизнь еще умещались дети, свадьбы, смерти, гости, крошечная тюрьма с понятными преступлениями, церковь и городское кладбище. На главную улицу еще вполне могла забрести корова или овца, и люди знали, чья это овца или корова. В этой жизни было еще место и городскому дурачку, вакансия которого не была использована к тому моменту, как в город «упал» Гумми.

Он сумел удивить город лишь один раз, когда на вопрос, откуда же он все-таки свалился, наконец сознался и сказал, что с Луны. Это рассмешило, это и примирило. Убедившись,

что Гумми (предположительно — Тони Бадивера) никто не ищет, полиция решила, что, значит, он ниоткуда и не сбежал, а никакой иной тайны за ним не могла заподозрить и перестала допытываться. Люди — спросили, получили ответ и тоже вполне оказались им удовлетворены. Так Гумми с Луны оказался идентифицированным с Гумми из Таунуса и занял в городке свое место, которое без него теперь бы уже пустовало.

Его приютила старуха Кармен, толстая усатая испанка, что было воспринято тоже как нечто очень естественное. Кармен жила на отшибе и собирала травы, вид имела грозный и необщительный, и сколь ни трудно было бы в таком маленьком городке, как Таунус, каждому подобрать родственную судьбу, концы еще сходились с концами в то время... И хотя Кармен не относилась к Гумми как к человеку, но все же — вполне по-человечески. Был он обстиран и сыт. Даже, можно сказать, поскольку старуха Кармен ни к кому не относилась как к людям, то к нему, во всяком случае, относилась более по-человечески, чем ко всем.

Тони вскоре прославился как замечательный дровосек и в этом качестве оправдал свое существование даже с избытком. Он разговаривал с дровами, и они раскалывались от его уговоров, казалось, при легчайшем прикосновении. Потом он укладывал их в замечательные по стройности и емкости поленицы. С дровами он был необычайно сообразителен, но каких-либо иных, не более сложных, занятий освоить никак не мог.

Жизнь Гумми, таким образом, была устроена и безоблачна. Издевались над ним в меру. Жестокость таунусцев была, в общем, столь же прямодушна, как и человечность. Больше одной шутки они придумать не могли и смеялись всегда над одной, впрочем, с неувядающим восторгом: «Ты что, с Луны свалился?» — и он отвечал: «Да», — доставляя таунусцам истинное наслаждение. Сам он при этом очень огорчался, что ему не верили, каждый раз так же сильно и искренне, как в первый, что отчасти и позволяло шутке не развиваться. Он пробовал пускаться в объяснения и доказывать, что, правда, он умеет летать, что побывал даже в Тибете, где полгода носил воду для монастыря Дарумы. Но эти его слова уже никто не слушал, они воспринимались лишь как неудачное продолжение шутки, покрывались смехом, и, таким образом, таунусцы довольно быстро отредактировали рассказы Гумми до лаконичной и точной формы: «Ты что, с Луны свалился?» — и он отвечал: «Да».

Гумми был смиренный человек и, хотя очень огорчался, что ему не хотели верить, понял, что роптать и доказывать бесполезно этим людям. Пример того, как сознание своей неполноценности может сделать и идиота в некоторых отношениях более мудрым, чем нормальные люди.

В свободное от работы время (а в те времена свободного времени было не так много, зато оно было и впрямь свободно, как пустота) Гумми любил ходить на Таунусский вокзал, где встречал иногда крайне небольшое количество нового народа, еще не научившегося повторять своих шуток. Он любил смотреть на паровоз, который его очень смешил. Он смотрел, как тот тяжело отфыркивался и молотил своим коленом, а из-под колеса сыпались искры, и оно не хотело никуда ехать. Эта тяжесть и трудность вызывала в нем усмешку, он будто собирался что-то показать паровозу, но потом передумывал и отворачивался со вздохом. Кроме этих двух удовольствий, не вполне доступных нам, он имел еще и страстную приверженность к торговле Грубого Джо, прозванного так, как ни странно, именно за грубость. Дело в том, что за работу Гумми все расплачивались с Кармен, и только Грубый Джо платил Гумми наличными. Зато Гумми наколот ему столько дров, что тому хватило бы их до двадцатого века. Грубый Джо торговал газетами и журналами, содержал при вокзале киоск. И расплачивался он с Гумми картинками и открытками.

Гумми, у которого в этот день не было никакой работы, с утра околачивался на вокзале. Грубый Джо, дрова которого все были уже давно наколоты, но который, несмотря на грубость, по-своему любил Гумми, не мог отказать ему в серии фотокарточек театральных бродвейских звезд, но и отдать даром тоже считал безнравственным. Поэтому он был вынужден три раза повторить шутку про Луну, насладиться горем Гумми и еще один раз наградить его неопасной затрепичной (на что Гумми совсем не обижался), после чего уже мог удовлетворить свою нерастраченную доброту и выдать Гумми пачку открыток как заработанную.

Гумми не стал их сразу разглядывать, а, спрятав в карман, отложил главное удовольствие на «потом» и отправился провожать поезд в Цинциннати. Он посмеялся над паровозом. Все новые люди уехали, оставшиеся на перроне его уже не интересовали. Он отошел в сторонку и осторожно достал открытки.

Однако, просмотрев первые две, он понял, что это не достаточно тихое, не столь уединенное место, чтобы разглядыв-

вать вот так, стоя, такую красоту, и, проявив поразительную выдержку, опустил всю пачку назад в карман, наспех не просматривая и вперед не заглядывая. Убедившись еще раз, что открытки не легли мимо кармана, он поднял глаза и встретил пристальный взгляд доктора Давина. Он не знал, что это доктор Давин; доктор редко выбирался из своего желтого замка в Таунус, ведя жизнь таинственную и затворническую. И Тони Бадивер и Гумми впервые видели этого человека (Тони он показался знакомым). Гумми удивился, что не все новые люди, оказывается, уехали на поезде, что один — остался. Этот человек смотрел на него внимательно, умно и добро, — Гумми легко отличил этот взгляд из всех, потому что все всегда, кроме, быть может, Кармен, смотрели на него одним и тем же взглядом. Взгляд этого человека поразил Гумми, перевернул ему всю душу. Гумми вдруг захотелось припасть к нему на грудь и посопеть. Этот человек не смеялся и не собирался смеяться — это Гумми понял чувством. Этот человек смотрел на него с вниманием, которое для Гумми было даже ценнее ласки. Гумми никогда не видел в Таунусе такого красивого и благородного господина. У Гумми, как бывает у идиотов, был очень развит эстетизм, и облик нового человека, особенно уголок платочка в кармане, очень ему импонировал. И Гумми проникся полным доверием.

— Здравствуйте, — вежливо сказал Гумми. Лицо его при этом не сложилось в обычную гармошку, и он не подмигнул и не чмокнул.

Давин глядел в это безмятежное лицо, в котором только небывалая доверчивость свидетельствовала о слабоумии, — доктор отнюдь не считал себя сентиментальным человеком (именно поэтому, пожалуй, им был), но поймал себя на том, что смотрит в это лицо с удовольствием. У него как будто тоже отмякало лицо, глядя на Гумми, стряхивало свою прочную, жесткую красоту, как маску, оставалось своим, каким давно не бывало. Гумми показался ему старым мальчиком.

Гумми поздоровался и ровно смотрел ему в глаза.

— Здравствуйте, — сказал доктор. — Позвольте представиться. Доктор Роберт Давин. — И он протянул руку.

— Гумми, — сказал Гумми и, смутившись, прикоснулся к руке доктора, не в силах оторвать взгляда от высунувшегося белоснежного манжета, от запонки в виде золотой птички.

— Извините, что я так бесцеремонно подошел к вам, — сказал доктор. — Но вы только что разглядывали что-то чрезвычайно интересное...

— И вам нравится?..— обрадовался Гумми.— Хотите покажу? Я еще сам не смотрел...— лопотал он, поспешно роясь в кармане. Карточки, как пазло, зацепились, не вытаскивались, но он уже не боялся их смять, потому что доктор сказал:

— Очень хочу.— И придвинулся, как бы заглядывая сбоку, с высоты своего роста.

Гумми наконец выдернул пачку.

Такую откровенную пошлость доктору, человеку своего круга, еще, пожалуй, не приходилось видеть. Эти аляповатые олеографии запечатали лица грубые и извращенные, усталые, лошадиные... Задранные ноги в черных чулках, каскады, оборки; заманчивые, как остывший пот, улыбки... Доктор вежливо взглянул на Гумми — и такой жаркой и святой восторг освещал его лицо, что доктор почувствовал себя даже отчасти нехорошо, что-то вроде короткого головокружения... Он снова перевел взгляд на открытки — и увидел совсем иные изображения: на каждом из этих лиц вдруг прочел он несбывшуюся мечту, изначальную чистоту, ни капли грязи не приставало к ним, а лишь усталость, утомление, надежды... Доктор видел их глазами Гумми, и нелепое для его занятого и безукоризненного мозга изображение, что пошлость-то видит он сам, что он умеет ее видеть, поразило его. Он глядел на Гумми с восторгом естествоиспытателя: такой способности к любви он еще не видал ни в ком.

«Господи!— про себя воскликнул доктор.— Какой может быть грех на душе у этого человека?.. Какой грех, кроме...» Но и этого греха, даже такого невинного, вдруг понял, что быть не могло.

Так он стоял, восхищенный чистотою и красотою Гумми, — старый мальчик молодец, озаренный светом красоты, которую, упиваясь, созерцал. Гумми остановился на одном портрете и долго на него смотрел. Это было, бесспорно, наименее развязное изображение из всех, что он перебрал: простое лицо, глуповатое и чистое, непонятно как попавшее на подмостки — бесталанное в театральном зле.

Гумми вздохнул с восторгом.

— Нравится?— спросил он ревниво.

— Очень,— сказал доктор с глубокой искренностью. Сердце его пело.

Он снова любил Джой.

Необыкновенное волнение охватило его. Он увидел, как воздух вокруг стал прозрачнее, обнаружив во всем чистую форму и точный цвет. А ведь опять осень... сообразил Давин.

Мир пронеслся, отчетливый и быстрый, как образ, и вновь оказывался на том же месте. Мир бесконечно возвращался и возвращался, лишь на долю мгновения отведенный от взора сознанием, чтобы оказаться собою, свободным от познания и тусклых себялюбивых отражений. Давин пил его как невероятную воду, более воду, чем вода. Наверное, только в этом смысле в раю нет особых благ, кроме ручьев, кущ и небес... подумал он. Зато они — такие! Господи! и город-то — городок!.. Впервые обнаружил он, что город как-то расположен, и расположен нехудо...

Они вышли из-под навеса и на мысике платформы увидели вместе, как он клубится, еще прохладный и не до конца очнувшийся, свернувшийся клубочком в излучине Кул-Палм-Ривер. В реке уплывали облака, будто их упускала, полоскающая, прачка. Во-он тот мосточек, она и действительно полочет... Господи, как видно! Даже вон все тот же поезд вдаль... И ближе — красная черепичная толкотня, успокоенная зеленью чуть уже бледнеющих крон, пыль в конце дороги, скромный благовест коровьего колокольца... Как все равноправно и одновременно располагалось, не заслоняя, не заглушая... Давину вдруг показалось, что надо успеть любить, потому что... такого... скоро... никогда больше... не будет.

Он достал портсигар, пальцы его дрожали. Гумми ослепительным зайчиком отразился в полированной крышке, и Давин, спохватившись, предложил ему.

И пока Гумми, растроганный и польщенный, разминал неумело сигарку, сыпя табак, Давин резко опомнился, городок потускнел, покрывшись сизым налетом, поезд был не тот, потому что с другой стороны и в другую сторону, мусорный бак, упавши набок, вывалил все свое изобилие... черт! забыл!.. Давин пытался вспомнить ту кардинальную мысль, что осенила его с отъездом невесты, — казалось, мысль умчалась вслед за Джой вдаль, не оставив следа. Что же такое я подумал? Чувство, мысль... нет, никакой связи... черт! именно это соображение следовало непременно припомнить — без него он не мог продолжать работу.

«Психическая деятельность есть не что иное и не может быть не чем иным, как распространением движения, происходящего от внешних впечатлений, между клетками мозговой коры. Слова «дух», «душа», «ощущение», «воля», «жизнь» не обозначают никаких сущностей, никаких действительных вещей, но только лишь свойство, способность, дея-

тельность живой субстанции или результаты деятельности субстанций, которые основаны на материальных формах существования».

Доктор Давин перечитал и зачеркнул написанное, прокнутув пером страницу. Однако не порвал и в корзину не бросил. Откинувшись, устало потер лицо и, таким образом нечто стерев с лица, слабое и злое, уставился в окно. Около Гумми выросли горы дров, и новые полешки разлетались весело, как пташки. Солнце в этот час как раз очень освещало желтое веселье свежих сколов, будто они светились изнутри, будто уже грели в готовности сгореть... Как аккуратна их смерть! — подумал Давин. — Они ведь уже мертвы... Нет, эволюция связана с позволением себе, с разрешением эстетического принципа... Благородство деревьев... Нет экскрементов... Нет! нет! в столицу! в Европу! — взвыл про себя Давин. — Здесь я сойду с ума! Провинция... Кто бы подумал, что это не отсутствие театральных премьер, не косность, а вот именно это... Гипноз какой-то! Счастье — какая чушь! Вот бессмысленная категория! И я, ученый, разум которого... как я слово-то такое смею произнести про себя — счастье! Провинция — это... счастье — это и есть провинция. Провинция — это антинаука. Это смытые черты, это бессмысленная улыбка, блуждающая сейчас на лице Гумми... Гумми — вот образ провинции.

Что это я вдруг так устал? Казалось бы, сегодня, именно сегодня душа моя особенно отдыхала... Я, может, впервые позволил ей отдохнуть, а она так устала. Отчего? Может, я впервые позволил ей быть? И она устала, как устают младенцы от свежего воздуха, как лежачие больные от законного солнца? Моя растренированная, неокрепшая, инфантильная душа?.. Кажется, это я произношу слово «душа»? — Давин рассмеялся. — У меня разжижение мозга. Сентиментальность вытесняет разум. Может ли быть, что сентиментальность есть именно непросвещенность, неупотребленность души?..

К черту, к черту!

Он подошел к окну и распахнул его чрезмерным движением. Его обдало чуть винным запахом свежих дров и прохладного вечера — опять осень... Из-за нагромождения дров видна была только бессмысленная голова Гумми. Она то появлялась, то исчезала, вслед за топором. Гумми пел, и, прислушавшись, доктор Давин с удивлением разобрал слова:

Озирая страну
С деревянной луны,

Вижу деву одну,
Как Луну, со спины.
Но не видит одна,
Кому обе видны,
Только видит она
Половину Луны.
Ну, ну, ну...

Эту печальную песенку он очень весело пел, опровергая даже тот смысл, который в ней, при большом желании, можно было бы обнаружить. Доктор усмехнулся, и зависть его прошла. Нельзя же, действительно, завидовать Гумми, что у него так легко разлетаются дрова, когда у меня так туго выходят слова... Это определенно разные вещи.

«Милая Джой, — писал он, — я весь во власти новых мыслей, в корне меняющих положения нынешней психиатрии, — не означает ли это, что именно сейчас закладываются основы современной науки?.. Думаю, если бы подчинить нашу практику сокровенному индивидуальному анализу каждого частного случая, то наука бы распалась на число этих случаев, равных каждой жизни. Только рабочая грубость, оплаченный практицизм и практическая бездарность и нерадивость практика приводят к обобщению и группированию психик по самым приблизительным и варварским признакам. Кроме справедливо-тюремной или попечительской функции в случаях очевидных патологий (которую как раз мы исполняем далеко не на христианском уровне), приходится сознаться себе, что наша наука не имеет ни на что права. Права лечить душу не может быть ни у кого, кроме любящих и имеющих душу», — писал он, подставляясь тонкостью и чистотой помыслов под доброжелательную оценку Джой.

«Мы способны разрушить примитивный идеал, но не способны воздвигнуть на его месте более просторный, вмещающий в себя то, что мы разрушили. Если бы человеку платили те же деньги за то, что ему свойственно, а не за то извращение, с каким он приспособился к удаче, то премьер-министр и великий ученый охотно бы испытали наконец уют своего места и счастье соответственно, находясь сейчас на месте колющего дрова Гумми. Если бы каждому предоставить, разгадав его сокровенную тайну, простое занятие, приносящее ему радость, то мир бы впал в слабоумие, а на Земле воцарился золотой век. Люди не все сумасшедшие только из страха одиночества, только потому, что рядом есть другие, — и они все сумасшедшие, потому что принимают условность общего существования, не разгадав ее умом. Настоящая

трудотерапия возможна лишь в Раю. Единственное объяснение тому, что я как человек делаю, это — «несвойственность», но эта свойственность лишь приписана мною себе. Иначе почему мне так трудно, так насильственно делать все то, что делать я считаю не только своим долгом, но и призыванием? Лишь потому, что другие делают столь же несвойственные им вещи хуже меня? Но не значит ли это, что они просто нормальнее меня в своей неспособности делать с рвением несвойственное их душе, что они, лентяи и иждивенцы, в этом смысле ближе к Гумми, ближе к своей природе, хотя бы не насилуя себя? Инерция обывателя — естественна. А уточнение мира, та высшая «естественность», которую я оправдаю своим якобы гением, — тщеславная чепуха, развращенный нуль».

Он перечитал, удивляясь. «Поэт, тьфу!.. — сморщился, застеснялся. — Что за наваждение такое! Я стал праздным провинциалом. Как стыдно... Нет, Джой права... Поедем. Хоть в Петербург, но в Европу. Как мог я в мечтах о творческом порыве предполагать, что уединение и изоляция, устранение помех к труду — есть благоприятные условия для его выполнения? Чушь! Вне среды, заинтересованной в моей работе, усилия мои бессмысленны и действительно праздны... Назад! Хоть к месье Шарко, под его дурацкий душ...»

Наконец-то счастливый характер Гумми принес счастье ему самому!.. Не все же ласкать поленья... Ему теперь было зачем, кому и для кого, а так же — куда и к кому. Как говорится, жизнь его обрела смысл. Он разделил свое одиночество пополам. Он был счастлив.

Он и сам не заметил, как в первый же раз, пока он провожал доктора Давина от вокзала до его желтого особняка, успел ему рассказать все, всю свою жизнь, все, что знал, и даже все, над чем задумывался. Его и это удивило, и еще больше то, как быстро он все это рассказал, какая маленькая оказалась его жизнь — как у новорожденного. Он даже замер с открытым ртом, нагнав своим рассказом на полдороге настоящей мгновение и совпав с ним: вот он идет с доктором по этой дороге... Этим вся его жизнь и кончалась. Венчалась удачно — он покачал головой, посмеиваясь над собой, и закрыл рот.

Доктор ужасно заинтересовался всем, что рассказал Гумми. Он ему сразу поверил. Иначе зачем бы он стал задавать столько вопросов?

Действительно, случай показался Давину любопытным. Он объяснил себе эту легкость общения, некоторое обновление и неожиданность собственных соображений в присутствии Гумми чисто профессиональным обострением. Он и не мог этого иначе объяснить, а то, что ему было просто приятно в его обществе, необъясненное, накапливаясь, вдруг раздражало его своим неясным скоплением, — он удивлялся тогда самому себе: что это с ним? на что он тратит свое гениальное время? — но тут мысль его неожиданно поворачивалась, упершись в простодушие собеседника, и возрождалась прежде, чем он успевал понять ее, — чувство волнующее и радостное... И беседа текла.

О прошлом Гумми ему так ничего и не удалось узнать. Гумми сам искренне недоумевал. Он даже не знал, сколько ему в точности лет. Он был не старше, но, пожалуй, и не младше Давина.

И вот за эти, достаточные уже, годы он помнил словно бы только лишь этот городок Таунус, а остальное время... у Гумми кругтели от простого напряжения глаза, будто он видел перед собой нечто определенное, но столь неназванное, что и слов не найти. Слова его, временами вполне гладкие, иногда даже образные, комкались, мялись таяли, превращаясь в характерную идиотическую кашу. Из всего его натужного мычания о прошлом мог Давин понять, что Гумми пролежал всю свою жизнь, свернувшись как зародыш, в некой большой прозрачной плеве, сквозь нее просвечивало небо и никогда ничем не заслонялось. Иногда Гумми говорил, что был спеленат, иногда — что лежал на чем-то вроде «кровати», на диване, с открытыми глазами, под прозрачным колпаком, без крыши.

— Может, кровать стояла в поле? — спросил Давин.

Гумми посмотрел на него с испугом, но, не обнаружив иронии, обрадовался:

— Может быть, в поле... Запах такой помню.

Про монастырь Дарумы он тоже больше ничего не помнил. Все забыл. До монастыря, наверное, проснал с открытыми глазами, но и в монастыре был то ли год, то ли два, то ли неделю, не больше.

— Колот там дрова? — с поразительной догадливостью спросил величайший диагност в будущем.

Это был очень точный вопрос, с его помощью Гумми удалось припомнить...

— Нет, там дров совсем нет. Там горы. Я носил воду.

Но больше — все. Второго столь же пронзительного вопро-

са Давин не мог придумать и поставил на прошлом Гумми точку. И стал интересоваться Луной...

Гумми настороженно взглянул на доктора и опять не уловил никакой тени, кроме участия и интереса.

— Да, я был на Луне, — согласился Гумми.

— Но как это вам удалось? — Давин переиграл.

Даже не знавший иронии Гумми заметил; заметил и потускнел:

— Вы мне не верите...

— Да нет же! — заспешил Давин самым искренним тоном. — Я абсолютно вам доверяю. На мой взгляд, вы человек, не способный врать. Но, согласитесь... Это же никому из людей не удавалось...

— Вот и вы тоже... — расстроился Гумми.

— Уверяю вас...

— И вы тоже говорите, что я не человек...

— Я этого никак не говорил!

— Вы сказали, что «никому из людей». Кармен тоже так говорит: «Ты — не человек».

— Вы меня неправильно поняли... — начал пояснять Давин. Думал он в этот момент с интересом о том, какая же на самом деле существует связь между сумасшествием и способностью логически мыслить. «Быть может, безукоризненно логические построения — есть своего рода признак. Нормальное же мышление как раз алогично. Механизм здорового мышления сводится к тому, чтобы суметь не отметить, пропустить, изменить последовательности... Перескок, перенос... какое-нибудь должно быть слово... Может быть, было уже... Мышление протекает как бы в двух слоях, не подозревающих о своем параллельном существовании: в глубине — немое вековое знание, и логический лоск для самообольщения — поверху, как наряд... Неназванное — покрыто беспорядочным слоем названий, слов... Как это пока звучит пусто, неопределенно, не то... Но — что-то есть, закономерность, механизм... Назвать его, объявить!.. думать, над этим думать!» — дал он себе указание на будущее.

— Они просто не понимают, что значит летать, — жаловался Гумми. — Птицы, конечно, тоже летают. Но люди же не птицы. Люди летают иначе. Они не приспособлены, как птицы. Люди не знают, как они приспособлены, и думают, что летают только птицы. Конечно, нельзя представить, что человек летает, как птица. Вот они надо мной и смеются. А я не машу руками, как крыльями, когда летаю. Это же не так делается...

«Однако этот идиот удивительно тонок! — подумал Да-

вин. — Нет эквивалента... как всегда, нет эквивалента!.. Что чему равно? Где ум, где бред? Одна лишь договоренность, ничность которой опущена по еще одной договоренности, которая, в свою очередь, забыта. О господи! — вдруг взорвался про себя Давин. — Додумаю ли я сегодня до конца хоть одну мысль!..»

— Это так же просто, как любая способность, если она есть. И так же недоступно, если ее нет. Это обыкновенная способность, как все другие. Чутье запахи — разве менее удивительно? Есть ли что-либо не удивительное и не чудесное у Бога?

«Господи! — взмолился Давин. — Он не может так говорить! Это он сейчас сказал или я подумал? Нет, положительно, сумасшествие заразно...»

— Ну, так покажите, — сказал он, не смягчив тона.

— Вы мне не верите... — Горе, мигом распространившееся, залившее лицо Гумми, было так глубоко, что доктор задохнулся и чуть не взвыл от отчаяния. Нет, это было выше его сил.

— Ну как же не верю! — впервые окончательно сорвался он. — Я именно — верю вам! — Он кричал, разделяя с людьми заблуждение, равное их хитрости, а именно, что грубость есть проявление искренности. — Я верю вам!

— Я понимаю, — сокрушенно и покорно кивнул Гумми. — Мне-то вы верите, вы в меня — не верите..

— Слушайте, Гумми! Вы поразительный человек! Нет, я вам совершенно серьезно говорю, я не смеюсь, вы — потрясающий человек! Вы сами не понимаете, какой вы... — Чем больше он нанизывал и уточнял интонацию, тем более смущался: сколько же надо употребить слов, чтобы заставить человека поверить в то, во что сам не веришь... Собственно, слова только тут и требуются. Остальное — существует. Необходимо и достаточно. Лучше бы я стал математиком, чем уточнял неточные мысли о жизни... — Уверю вас!..

Но Гумми поверил и, казалось, замурыкал от счастья.

— Я вам верю, — сказал Гумми.

— Вы научились летать в монастыре? — снова вглубь догадался Давин. Это резкое возвращение вспять возымело неожиданное действие: казалось, Гумми что-то вспомнил — так он разглядывал округлившимся и остановившимся взором перед собой нечто, чего перед ним на самом деле не было.

— Да... Учитель... Он пил воду... Я должен был постигать пустое... — снова слова, было так поразительно находившие

друг друга, слиплись, как леденцы в кармане. — Выпил воду, посадил в угол... Немножко бил палкой... — В глазах Гумми что-то прорвалось и выскочило наружу. — Он меня спросил: «Где в этой чашке выпитая мною вода?» Я сказал, что в нем. Тогда он меня очень бил. Потом поставил пустую чашку передо мной и сказал: думай о том, что в ней... И ушел, заперев дверь. Я был там три дня и думал.

— Хм... — сказал доктор Давин.

Лицо Гумми прояснилось:

— Вы мне подсказали, и я вспомнил. Так и было. Я смотрел в чашку три дня.

— Это, по меньшей мере, странно, — вздохнул Давин.

— Я вам сейчас попробую объяснить. Кажется, тогда мне и удалось в первый раз... Я ооченел. Потом вдруг согрелся, и все стало цветным. Я оказался в том же, однако, помещении. Мне стало очень любопытно, страшно и весело. Именно весело, но я не смеялся. Озираюсь, и оцепенение во мне греется и звенит, как цикада. Все — то и не то. Вдруг вижу: чашка в другом углу стоит. Я даже не поверил. Наверное, не заметил, что отошел от нее в другой угол. Вернулся к ней — нельзя было слушаться учителя. Стал около нее на колени. И опять чувствую: что-то не то. Единственное узенькое окошко было прямо надо мною, в углу, где меня оставил учитель, а теперь, когда я перешел, оно опять оказалось надо мною, точно такое же. Я оглянулся на тот угол, из которого только что перебрался к чашке, и закричал — так мне стало страшно: там по-прежнему, в той же позе, стоял я на коленях. Понемногу я оправился и рискнул снова взглянуть на него. Он был в точности я, и мой испуг удивительно быстро таял — я все больше смотрел на него во все глаза и чувствовал, как он просыпается. Не знаю, как я понял, что он знает о моем существовании и дает мне привыкнуть к себе. Он старательно не смотрел в мою сторону. Я помню, что он не смотрел нарочно. Не знаю, как он дал мне это понять. Наконец он ко мне обернулся, посмотрел на меня насмешливо и подмигнул. И это вдруг оказался не он, а я, когда, подмигнув, поднялся с колен и какой-то миг постоял над бывшим, опустевшим мною. Затем я как-то длинно изогнулся вбок и оторвался от пола и так недолго парил над тем, оставшимся в углу, собою, робко и все с меньшим, казалось, интересом следившим за мною. Он мне стал скучен, как будто я понял, что с ним все правильно, все в порядке. И, повисев над ним секунду, изогнувшись, я легко взмыл к потолку, и всего меня охватила такая радость! Я знал, что мне все распахнуто и заточение в тяжелом и твердом мире для меня окон-

чено. Наспех опробовав свои возможности, покружив, перерачиваясь, по комнате и как-то мгновенно поняв все приемы обучившись им, я взмыл в окошко. Помню, оно было пыльным.

«Типичный наркотический бред,— думал доктор.— Неужели он и впрямь был в Азии?..»

— А дальше? — спросил Давин с детским нетерпением, уже не удивляясь способностям Гумми к изложению.— Вы прекрасно рассказываете, понятно очень... Дальше?..

— ...Я увидел сверху монастырь и горы, я порхал, как бессмысленная бабочка, и вдруг обнаружил, что отлетел очень далеко, подо мной было море, и я стал падать. В этот момент в келью ворвался учитель и с криком: «Кто тебе это позволил? Как ты посмел!» — стал бить того, в углу, палкой по голове. Тот не шевелился, как глиняный. А учитель все бил и бил, приговаривая: «Не смей этого делать! Это грех! Ты будешь наказан!» Будто он не наказывал, а всего лишь бил. Проскользнув незаметно в окошко, я встал в свой угол перед пустой чашкой и смиренно не смотрел в их сторону. Мне, однако, показалось, что один или другой раз он бросал взгляд в мою сторону. И бил «того» все неистовей. Мне его не было почему-то жалко. Тут учитель вдруг бросил «того», повернулся ко мне и, рассмотрев меня теперь в упор, сказал: «Пришел в себя? Больно? Боль пуста». И вышел.

Гумми опять замолк. Он был далеко.

— А Луна? — истерпеливо воскликнул Давин.

Щеки Гумми вздрогнули, будто он спрыгнул с большой высоты, и он сморщился. Опомнившись, продолжил, но уже как-то устало, и слова все более вяло сходили с его языка.

— Я очнулся на полу... Весь избитый... Чашка стояла с водою. Я выпил воды... — И он замолчал.

— Про Луну... — сказал Давин жестоко.

— Я улетел на нее.

— Когда?

— После этого.

— После того, как выпили воды?

— Да.

— Но как же? Вы же парили. Это же медленно. До Луны четыреста сорок тысяч километров. Десять раз вокруг света...

— Это не важно... — с трудом произнес Гумми, будто с каждым словом у него распухал язык.— Парить — это удовольствие, баловство... А можно еще — о к а з ы в а т ь с я.

Доктор Давин устал, как язык Гумми; будто это он сам еле ворочался в его рту.

— Ну, и какая же она, Луна? — спросил он со скукой.

Глаза Гумми остекленели от немоты. Что-то стремительно приближалось к ним вплотную, и взгляд его разбивался. Словно он видел перед собой что-то все ближе, настолько отчетливо, что терял дар речи, потому что не вспоминал, а — видел. Давину даже на мгновение померещилось, что в его радужной оболочке отразилось нечто, чего перед ними не было (они как раз шли по полю), и он затряс головой.

— Так что же, какая? — спросил он настойчиво.

— Коричневая... — еле выжевал Гумми и выпустил слюнявый пузырь.

«Да он еще и припадочный...» — успел подумать доктор.

...Когда Гумми пришел в себя, над ним склонялось встревоженное и виноватое лицо Давина. Он тер Гумми виски. Он так обрадовался, когда Гумми пришел в себя, заулыбался заискивающе и ласково.

— Бога ради, простите меня, Тони... Я вас замучил своими расспросами. Я абсолютно верю, что вы тогда были на Луне.

Гумми посмотрел на Роберта с любовью и снисходительностью, как на ребенка...

— Я только что был там, — сказал он, поднимаясь с травы.

Давин прилег в своем кабинете ровно на секунду — и как провалился. Он очнулся оттого, что ему в глаза било солнце, — необыкновенно бодрый и испуганный, что проспал так долго. Солнце приходило к нему на диван теперь уже после пяти, к вечеру. Он стремительно сел, злой, звонкий и дрожащий, как запевшая под ним пружина дивана. Посидел секунду, пока проплыли перед глазами черные, в искорку, «вертижцы», и так же решительно встал, как сел. Потянулся властно, с хрустом. «Что за бред примерещился... Чушь. Пора заняться снами вплотную, а я их вижу вместо того, чтобы работать. — Он еще покачал головой, усмехаясь и подтрунивая над собой: экая тонкая творческая психика... любимая уехала... Гумми... Тони... Луна... Что за чушь!»

Он решительно направился к столу, к своей рукописи о природе сновидений. Он любил вид из окна, любил взглядывать туда для сосредоточения. Он взглянул — за окном колот дрова человек.

Так это был Гумми.

...В провинции, да еще в те времена, все быстро обретает (обретало) ритм. Сегодня впервые встреченное завтра становится знакомым, послезавтра обычным, а послепослезавтра — ритуальным.

Жители Таунуса привыкли встречать эту странную пару прогуливающейся к концу дня по Северному шоссе, до города и обратно. О чем они могли так важно беседовать? Чтобы не возвышать в своих глазах Гумми, таунусцы понизили доктора. Что доктор тоже «того» ставило все на свои места и вровень. Что тут удивительного, когда такие штуки болтаются в небе?.. И они тыкали в дирижабль. Все-таки следует отметить, провинция не только потому бедна событиями, что их нет, но и потому — что они не нужны.

Поэтому-то редкие вещи и собираются вместе, за неупотребимостью (в музеях — такая же картина...): Гумми и доктор стали нужны друг другу, будто лежали в одной витрине. То, что Гумми обожал Давина — за красоту, за ум, за человеческое отношение, — это нам понятно, а вот что доктор находил в нем, кроме любопытного клинического случая? Легче всего подумать, что передовой доктор испытывал на Гумми высокогуманные методы лечения, небывалые в домах скорби того времени: доброта, уважение, внимательность, доверие, внушение чувства полноценности и т. д. — целый комплекс. Скорее всего, так это и выглядело и так бы хотел это видеть сам Давин, но мы уже поминали, что он был остер и подмечал не только за другими, но и за собой, и вот, подмечая, он не находил подобное объяснение своей связи с Гумми исчерпывающим, но полной разгадки не то не находил, не то даже избегал. Простое объяснение его ответной привязанности чувством удовлетворения от праведного исполнения врачебного долга (в конце концов, нравится же человеку поступать хорошо, иначе это было бы совсем уж невыгодно!..) и даже допущение некоторой доли нормальной человеческой привязанности к обласканному и безгрешному получеловеку (котенку, собачке...) — не вполне подходило. Давин не был привязан к Гумми, а — нуждался в нем. Почему так, он сам не понимал. И старался не понять, потому что каким-то образом это размышление оборачивалось против него: принимая любовь Гумми, он понимал, что не любит сам. Причем если бы только Гумми!.. А то, ловя ответ любви Гумми, начинал понимать, что не любит он — в принципе, как не любят никого. То есть и Джой... И это бы еще не до конца отравляло душу, если бы он не ловил себя и на том, что с Джой он не испытывал подобного неравенства в чувствах, какое испытывал с Гумми, то есть

что же получается?.. что и Джой не любила его? А вот это уже не устраивало гениального доктора.

Так что не следует думать, что отношения их были безоблачны. Безоблачен был один Гумми.

К тому же Гумми влюбился в Джой. И по-видимому, именно в нее, а не в портрет, как полагал доктор, не забыв пристрастия Гумми к дешевым открыткам. Фотография была выполнена в этот приезд Джой и получилась удачно, вернее, удачно не получилась: Давин снимал впервые, неточно установил фокус, недодержал в проявителе... вышло чудо. Это белое сверкающее пятно волос и улыбки, сливающихся с ослепленной листвою куста за спиною... «Не смейся! Не шевелись!» — а она как раз и рассмеялась и повернулась, и этот поворот и эта улыбка так и остались — застигнутыми, но не пойманными. Мгновение не остановилось и было прекрасным. Казалось, Джой сейчас дообернется, и тогда наступит счастье. Потому что именно счастье — вышло здесь лицо ее. Не в том смысле, что она «лучилась счастьем» — этого как раз, если присмотреться, не было, — даже какая-то тревога просвечивала сквозь этот все заливший свет... Она сама — была счастье. То есть то, что есть только сейчас, но не в следующее мгновение, есть вообще, но не у тебя, не в руках...

... — Гумми? Проходи, проходи. Что ты там мнешься в дверях? Проходи, садись. Что тебе, Гумми?

— Я хотел сказать... Я не могу найти второго такого же камешка.

— Какого камешка?

— Вам вчера так понравился камешек, который я принес. Я хотел найти еще...

— Ничего, ничего, Гумми, еще найдешь.

— Нет, не найду.

— Не огорчайся, Гумми.

— Я понял, что нельзя специально... специально не найти... найти — это случайно... нельзя найти, что хочешь...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Найти — это не нарочно... это...

И тут голос Гумми странно затрепетал и осекся, а Давин прервал бег пера: в чем дело?..

— Я бы отдал жизнь.

— Что? что такое? — растерялся Давин: Гумми моргал, словно глядел на яркий свет — там, над доктором... Давин обернулся и увидел Джой. Он увидел именно ее, а не портрет. Она была там, в саду, на ярком солнце, будто у него над головой было окно, и она смеялась, что Роберт до сих пор не знал

об этом. Давин помотал головой и снова столкнулся с молитвенным взглядом Гумми — именно он освещал Джой. Портрет потух.

— За что ты бы отдал жизнь? — сухо вато спросил доктор.

— За такую красоту я бы отдал жизнь, — потрясенно повторил Гумми, во рту у него опять была каша.

Давин вспомнил те открытки на вокзале и усмехнулся нехорошо.

— Хорошо, хорошо, Гумми, — сказал он отрывисто. — Ступай. Ты мне мешаешь работать.

«Милая Джой! — писал он. — Ты и не представляешь, какое впечатление произвела ты, вернее, твой портрет на мсега Гумми...»

— Смотрите, вон идет доктор со своим идиотом! — воскликнули таунусцы в первый же раз, как увидели их вместе.

— Смотрите, вон идет доктор со своим идиотом! — воскликнули они — во второй.

И если бы они подслушали (а они подслушали...), о чем говорят этот маленький и лысый Дон Кихот со своим высоким и знойным Санчо Пансой... о чем они могут друг с другом беседовать, кичливый книгочей и круглый идиот? — то их предположение, что доктор и сам не прочь подлечиться, настолько бы подтвердилось, что и подтверждать не требовалось.

— Так ты полагаешь, — (на два с половиной шага доктора — четыре тупеньких шажка Гумми), — что это не внешняя сторона, а внутренняя?

— Всегда — внутренняя, — убежденно говорил Гумми. — Просто люди смотрят наружу.

— Ну, а если мы вывернем наизнанку?

— Вот именно, — радовался Гумми, — то и получится.

— Ага, — соглашался доктор, напряженно думая. — Значит, люди обладают перевернутым восприятием и наружную сторону воспринимают за внутреннюю и наоборот? Как только родившиеся видят мир перевернутым, так?

— Почти так. Только наружной стороны — вообще нет.

— Я могу согласиться с твоим рассуждением, но не с твоею уверенностью, Гумми. Как так — внутренняя, и все?..

— Я так вижу.

— Ну, а когда ты разглядываешь, например, паровоз, разве он не снаружи тебя? и разве ты видишь топку и котел?

Гумми замычал от невыразимого огорчения.

— Ты хочешь сказать, что я опять формально запутываю рассуждение? Что ты говорил о другом пространстве?

Гумми с облегчением закивал:

— Вы сказали нарочно. Но я вижу и топку, вижу пар — ему тесно.

— У тебя просто богатое воображение, Гумми.

— У меня нет воображения. Я не могу придумать, чего нет.

— Ладно, я отказываюсь от своего примера. Это, ты прав, примитивно. Перейдем к более сложной машине. Поговорим о нас. Вот ты и я...

— Я думаю, машина менее примитивна, чем вы думаете... — печально сказал Гумми.

— Вот так здрасте! — изумился доктор. — Только что ты, кажется, утверждал обратное. Что в изобретениях человека нет ничего сложного, что они на несколько порядков ниже всего живого.

Гумми пожевал от невыразимости.

— Ты меня не понял?.. Порядок, Гумми, это, как бы сказать, уровень, что ли.

Гумми кивнул:

— Я понимаю порядок. Порядок — это когда правильно. А правильно — это когда на своем месте. Машина, и человек, и небо... Я сказал, что машина сложнее, именно потому, что она не снаружи. Она не сама. Она более сложна, чем нам кажется снаружи, потому что... в ней часть нашей сложности. Не мы сложнее ее, а она проще нас. — Гумми запыхался от усилий речи, как паровоз. — Я не могу это сказать словами.

— Ты же не можешь отрицать, что человек стал человеком именно потому, что развился — познал, изобрел, научился? Человек — самое сложное, что есть на Земле, именно потому, что начинал с простого. Без колеса, рычага, паруса он бы остался на примитивном уровне.

Гумми страдал. Они будто рыли туннель с двух сторон, не видя друг друга: доктор искал слова попроще со своей стороны, Гумми же не находил слов для того, что было ему так ясно.

— Это еще сложнее, — булькнул он.

— То есть? Я тебя не понимаю, Гумми.

— Колесо, рычаг — сложнее.

— Сложнее паровоза?!

— Конечно.

— Я попробую выразить... это интересно... Не значит ли

твоя мысль, что кирпич сложнее дома, что атом сложнее молекулы, что клетка сложнее организма, что вообще элемент сложнее соединения?

Гумми радостно закивал.

— Но — почему же сложнее?? — взорвался доктор.

— В них больше тайны.

— О! — Давин был поражен и, кажется, даже понял, но сам себе не поверил. Не мог же и впрямь Гумми выражать вещи такой сложности?.. Конечно, эта странная мысль — с какого только боку? — сама вошла ему в голову. И вышла...

— Но паровоз, фотоаппарат, телефон... Ты же не понимаешь, как они действуют? Это же тайна для тебя?

— Это не тайна, это — секрет. Его кто-нибудь знает. Тайна — это то, что не знает никто.

— Сейчас не знают, потом узнают. Найдут, из чего состоит атом. Откроют механизмы клетки. Все откроют — и тайны не будет.

— Тайна остается.

— По-моему, — сказал доктор, — мы с тобой опять договорились до существования Господа Бога. — Доктор сердился, и сердился еще на то, что ему была неясна природа этой его злости, будто она была элементарна, как атом, то есть никакой системой слов уже не определялась. — Ты же не ходишь в церковь, ты же не веришь в Бога, ты же уже соглашался, что его нет.

— Я не говорил, что его нет. Я не верю в вашего Бога, — глаза Гумми остекленели, пена опять запузырилась в уголку рта. — Он — ваша машина, он ваша часть. Человек не может верить в Бога, потому что Бог не снаружи. Потому что мы внутри веры. Мы частица веры Бога... — Он забормотал неразборчиво, доктор спохватился, и ему стало стыдно своей жестокости.

И как раз тут их нагнала Кармен. Она тащила за собой козу.

— Гумми, пошли домой, — строго сказала она и повела покорного Гумми, а Гумми повел козу.

Гумми пошел за ней, как слепой ребенок.

— Грех, доктор, — с чувством сказала Кармен. — Стыдно, доктор, — сказала она, в последний раз оглянувшись.

Доктор долго и недвижно смотрел всем троим вслед.

Давину было стыдно. Точнее, он злился на некое чуждое чувство, которое то ли впрямь было ему несвойственно, то ли он его таковым полагал подобно всякому передовому челове-

ку, сопротивляющемуся всему врожденному как атавизму. Странно, но именно этот убежденный (интересное слово... кем же?), самоуверенный человек ловил себя на том, что теряется в обществе интеллектуально-неконкурентоспособного Гумми. Казалось бы, подобное чувство от жизни и от мира должен был испытывать не он, а Гумми: постоянную неспособность участия в чем-либо общем, доступном всем — в игре ли, в пляске — в любом коллективном действии. (Нам знакомо это чувство неудачи, когда нас не брали в детстве в игру, и то чувство покинутости и зависти при взгляде на все это веселье сбоку, которое, впрочем, не сравнить с тем чувством опасения, даже страха и мучительной неловкости, если нас в эту игру вовлекали и мечта в ту же секунду перевоплощалась в насилие над тобой.) Так вот, не Гумми, а Роберт испытывал именно это чувство неспособности и недоступности, едва ли не впервые с отдаленных детских пор, именно рядом с Гумми. Он ему почти завидовал, что было ему крайне непривычно, ибо он не завидовал никому, вполне разделяя с собой свое первенство, и вот позавидовал лишь самому большому лишнему роду человеческого — слабоумному. Зависть не зависть — тут бездна оттенков. Скажем, в секунду особой чувствительности, испытывая непривычное пощипывание в области сердца, мог он даже предположить, что его симпатия к Гумми происходит из некоего родства: «Он похож на меня в детстве» или «Я был похож на него в детстве», — что-то такое, у з н а в а н и е. И — сожаление: «Да теперь я не тот» или «Раньше-то я, может, получше был», — недоговаривая, что же стало плохо. «Убил в себе идиота», — даже прошептал он себе однажды. Но — спохватился. Он вообще постоянно спохватывался, не давал себе спуска. «Нельзя, нельзя... — внушал он себе. — Так можно дойти и до...» До чего? «Положительно, глупость заразна», — постановил он. Он стеснялся перед собой именно так, как стесняются чего-либо на людях. Но никто его не ловил на помысле, а на слове он не дал бы себя поймать.

Конечно, если мы заглянем в то время, то обнаружим в людях навыки большей порядочности по целому ряду вопросов. То, что доктор, с его передовым мировоззрением, был еще не способен не то чтобы нахамить, а обидеть, задеть, оскорбить, — не следует ставить в заслугу его тонкости. Еще не то время, и оно еще придет. Так вот, несмотря на эту потенциальную нетонкость, он не мог не испытывать некоторого чувства неловкости от соглядатайства при общении с Гумми. Гумми был — вот он. А Давин — нет. Он испытывал Гумми и

испытывал неловкость, этот полустыд за себя, за свой остывший взгляд объективного наблюдателя. Гумми не играл ни в какую игру. И, сталкиваясь с его уникальной однозначностью, адекватностью, проще — искренностью, испытывал Роберт острый укол стыда, и мысль его приобретала чуждый науке нравственный оттенок — заострялась. Доктор, конечно, обобщал, выходил вширь (широко помыслить — очень часто недурной выход из нравственного затруднения: помыслил — как сделал что-то...), думал о природе человеческих контактов, о неравенстве природы, о психологии контакта неравных, о безнравственности неравного общения...

Никак, выходило, людям не сойтись правильно. Приспособиться не удавалось. Но как же все-таки?.. А если любовь? Единственно любовь уравнивала и делала возможным контакт, ибо ведь всякое общение — неравное, потому что ни один другому не равен. Любовь!.. только она. Как же иначе — со старым да малым? Любовь... Джой... сын (которого не было, но мог быть)... В результате он каждый раз ловил себя на сомнении в том, что не подлежало сомнению: любит ли он Джой, она — его? Но последнее было бессмысленно: Джой была сама любовь, не ответить она не могла, он же... И на это подозрение в собственной бесчувственности снова наводило его общение с Гумми. Да, неравное общение преступно... С этой мыслью (но от того чувства) садился он писать очередное письмо Джой. «Под неравенством, кроме того чувства сожаления, которое оно вызывает, — писал он, — имеется и природа. Как будет выглядеть победа демократического идеала, если восстанет побежденная им природа, мы не знаем...» После общения с Гумми находил он в себе душевные силы писать невесте, полагая изложение сокровенных мыслей достаточным доказательством страсти.

Еще один аспект взаимоотношений доктора с Гумми отчасти уже был нами затронут. После каждого такого «идиотского» разговора уходил доктор с новой мыслью, энергично звавшей его к работе. Гумми становился не нужен и раздражал. Его следовало куда-нибудь деть из поля сознания. Давин отсылал его под любым предлогом и поплотнее усаживался за стол, спеша донести в зубах свеженькую мысль, успеть разогреть перо. Не мог он, естественно, полагать, что посверкнувшая идейка была сообщена ему Гумми. Но определенную его катализационную роль Давин уже не мог не осознавать.

Гумми же пользовался любым поводом, чтобы взглянуть на Джой.

Он входил и забывал повод, замирал в дверях, расстегнув рот и вперившись в портрет.

— А, Гумми... — с остывающей лаской в голосе бормотал Давин. — Что там у тебя?

Гумми протягивал камушек с дыркой, или птичью лапку с кольцом, или увядшую бабочку.

— Ну, ну... Любопытно, — цедил доктор. — Оставь себе.

(Знал бы доктор, что ни такого камушка вдали от моря, ни лапки, окольцованной в другом полушарии, ни бабочки, водящейся лишь в Южной Африке, — никак не могло встретиться в их штате...)

— Но я же не орнитолог, не энтомолог!.. — сдержанно закипал он. — Ступай, мне надо сосредоточиться.

А Гумми все смотрел на портрет...

— Принес бы ты мне что-нибудь с Луны... — усмехался тогда доктор.

Гумми каждый раз с той же силой огорчался, что доктор так и не поверил в его Луну. И, в последний раз обменявшись с Джой сочувственными взглядами, понуро выходил.

Но через некоторое время энтузиазм его восстанавливался.

— Ну, что ты еще нашел?..

— Ничего... Я только хотел спросить.

— Ну?

Гумми, забывшись, смотрел на Джой...

— Спрашивай же!

— Что — спрашивать?..

— Ну, ты же хотел что-то у меня спросить?

— Я?..

— Ну да, ты. Кто же еще?

Гумми обернулся. Больше никого не было.

— Или уходи и не мешай мне работать. Или задавай скорее свой вопрос и тоже уходи.

Гумми умоляюще взглянул на Джой. И его осенило. Он соединил большой палец с указательным, показал этот кружок доктору и выпалил радостно:

— ... — цифра или буква?

Следует сказать, что он был прав: фраза эта непроизносима. Потому что О, когда это ноль, и О, когда это буква, — вещи, естественно, разные, и предложение — «О — цифра или буква?» — легко прочесть, но нельзя правильно произнести. Эта фраза включает в себя картинку, как в букваре.

Доктор опешил и не сразу понял. Тогда Гумми написал О в воздухе пальцем и повторил:

— ... — цифра или буква?

Теперь и Давина осенило. Он хохотал до истерики и долго еще всхлипывал мелкими брызгами. Кончил.

— Ты хочешь сказать, — он уже округлил губами «О» и запнулся, окончательно осознав обозначившуюся неразрешимую трудность; его стало распирать новым смехом и, так и не произнеся «О» ни в том, ни в другом значении и уже всхлипывая от свежего приступа, давась, кругло выдохнул и повторил: ... — цифра или буква?!

И пока его снова душило и разрывало, Гумми был польщен, смущен и огорчен. Он уточнил, еще раз соединив пальцы в кружок.

— Вот это, — (то, что он показал), — кружок или дырка?

Доктор задохнулся и выпучил глаза. Смеяться он не мог, говорить и дышать тоже. Лицо побурело от крови и стало угрожающе синеть. Наконец он с облегчением выдохнул и, обессиленный, помрачнел. Он взглянул на Гумми по-новому; мысль, которую он не понял, не узнал, пронеслась по его лицу, и во взгляде появилось что-то от решения, которого он не принял; произошла некая бессловесная, неосознанная окончательность. Что-то кончилось. И во взгляде обозначилась та конечная боль расставания, которое — прощание, то есть — навсегда. Может быть, так смотрят на уже отрезанную ногу... почему именно ногу?.. ну, руку. Не все ли равно, когда ясно, что уже без.

Все это в докторе произошло, хотя он этого и не понял. Зато понял Гумми и испугался. Он ведь любил доктора. А всякая любовь живет чем-то, и куда ей деться, когда она уже есть, а и последней крошки этого чего-то больше нет?..

Расставание всегда обоюдно. Только один прощается с телом, а другой — с жизнью.

Гумми смотрел на доктора со страхом. Поднял глаза на Джой — горе и боль окончательной догадки растерзали его душу. И он взглянул на доктора с ужасом.

— Вы не любите Джой... — прошептал он.

— Ступай вон! — студеным голосом сказал доктор. — Я не могу ответить на твой дурацкий вопрос.

И Гумми поплелся. Он обвел взглядом двор, поленницу — все потеряло смысл. Один... Опять один — но теперь он уже не мог снести этого.

Чистое сознание Гумми помутилось (мы не оговорились). Взгляд его укоротился и уплощился, черты обмякли, жалкая завявшая улыбочка трепетала на губах; мысли толкались в несвойственной Гумми форме соображений. В каком-то смыс-

ле он стал более нормален — с о о б р а з и т е л е н. Привычное состояние человека — ощущать угрозу и избегать ее (выбегать из-под) — повергло его в паническую растерянность именно своей двусложностью. «Что-то надо делать, что-то немедленно предпринимать... Все не так страшно, все еще будет хорошо... — уговаривал себя он, и обреченная улыбочка выдавала его. — Доктор просто сердится на меня, что я не принес ему ничего с Луны... Я принесу ему веское доказательство, найду что-нибудь потяжелее. Он простит меня, и к Джой вернется его любовь. Он ведь на самом деле очень добр... Да, так, решено!» — и Гумми распрямлял шаг, смотрел «веселее» — бодрился жалкой человеческой бодростью.

Доктор же не поспевал пером за мыслью, рукою — за пером, мощно уклоняясь от ответа на вопрос Гумми, что же такое О.

«Дух и материя совсем не различны и не суть гетерогенны. Предметы так называемого внешнего мира состоят из известных комбинаций и отношений тех же элементов ощущений и интуиций, которые в других отношениях составляют содержание души. Материальные вещи и душа частью, так сказать, сотканы из одного и того же основного материала».

«Двоичность жизни или однозначность безумия?.. Трепет бытия или фанатизм идеи?.. Жизнь протекает в плоскости времени, волнуясь относительно этой плоскости по вертикали, касаясь чего-то свыше, и отходя, и снова касаясь... Трепеща и поблескивая двойным отражением. По сути, это образная система с обратным знаком: жизнь есть отражение образа. Образ и реальность... Как в поэзии для рождения образа необходимо название и снятие названия одновременно (чтобы течение было зафиксировано и не остановлено)...

Раздвоение есть условие цельности. Здоровая личность — ясно раздвоена. А раздвоение личности как болезнь — это раскол однозначного, т. е. монолитного, твердого, по хрупкого отношения к действительности. Жизнь всегда разорвет это отношение, ибо никакое насилие идеи или отношения не совместит в одну те две плоскости, относительно которых бытийствует любая частица. Естественное раздвоение находится в состоянии постоянного и неутолимого слияния: раздвоение как болезнь есть торжество жизни над убогим стремлением пайти в ней систему (не найдя, удовлетвориться промежуточной версией, уверовать в нее и потом, вспять, пытаться навязать жизни...) — естественная эрозия неживой природы...»

Доктор Давин, восхищенный, набрасывал пресловутую «омонимическую теорию», отысканную в его бумагах после смерти и давшую дополнительную жизнь его имени в новенькой научной области, только что объявившей свою независимость, как очередное африканское государство. «Омонимы — потому и редки в языке, что их появление есть техническая накладка системы, та случайность, которая подтверждает закон. Омоним в двух лицах есть сошедшее с ума слово. Ибо каждое слово — омоним только самому себе. В каждом слове искрит раздвоенность на знак (остановку) и текущий смысл обозначенного (жизнь)».

...Тем временем Гумми в деятельном возбуждении вышагивал по полю, высоко поднимая ноги, чтобы меньше тревожить застоявшуюся в траве жару. Из-под его ног порхали кузнечики. Он улыбался, он верил в удачу. Он нес в руках велосипедный руль.

«Другое дело — слова созвучные, — писал Давин, — они рождают неуловимую взаимосвязь понятий, снова растворяя их в жизни. Поэзия в этом смысле...»

Он с всем уже был готов сформулировать смысл поэзии, что, надо сказать, никому до него не удавалось, а, следом за определением поэзии, уже брезжило рассветом почти удивимое понятие «жизнь»... и мы также очень огорчены, что Гумми помешал доктору выразить это. Но доктор — все-таки строился несколько больше нашего...

— Эт-то еще что такое?!?! — вскричал он.

С грохотом, зацепившись о порог, в кабинет ввалился торжествующий Гумми с ржавым велосипедным рулем в руках.

— Это, — пролепетал Гумми, чуть озадаченный приемом, — я вам с Луны принес.

Доктор как-то расширился, раздулся и начал всплывать над столом, бесформенный, как туча.

— Нет, правда, он точно такой же... — лепетал Гумми, срываясь в пропасть отчаяния и цепляясь там за невидимые выступы судьбы. Но — все пропало. Раскаяние душило его. Впервые в жизни поступил он, как люди, не как он сам. И вот доктор сразу понял это — конечно, ведь он умнее всех на Земле... А ведь ложь Гумми была на самом деле такая крошечная и невинная... — Я сегодня очень волновался и не мог лететь, — раскаянно признавался Гумми, — а в прошлый раз я видел на Луне точно такой же... Я все хотел что-нибудь прихватить — и не находил ничего для вас интересного... А тут вижу: точно

такой же... Я даже не уверен, не прихватил ли я его все-таки в прошлый раз...

Но доктор не слышал его оправданий. Он вообще ничего не слышал. Вечное определение поэзии испарилось навсегда. Злоба затмевала его.

— Я сейчас, я мигом... я настоящее принесу...

Доктор орал и не слышал себя. Гумми клубился перед ним, как наваждение, как безумие, коричневый туман... Вот он расплылся и снова возник — с пропеллером будущего аэроплана в руках... А вот — с ногою огромного кузнечика, не меньше лошадиной...

И, ничего не видя, протыкая слепые кулаки сквозь облако всхлипов и детского сопения, захлопывая дверь изо всех сил, запирая на ключ и вставляя в дверную ручку массивную трость-альпеншток, прикручивая его для верности бечевкой, Давин понемногу отходил. Но еще метался по кабинету, что-то не доделав в своей изоляционной работе... Бросился к окну, захлопнул и его с преувеличенной поспешностью, чтобы ветерком и молекулы не занесло, чтобы духу... Сорвал ноготь о шпингалет. И, прыгая на одной ноге, безобразно ругаясь и тряся пальцем, поймал взгляд Джой...

...И долго стоял он посреди комнаты, весь внутри пустой-пустой, и что-то тихонько тренькало в этой пустоте. Стоял вечно, не то час, не то секунду... Прозрачным сосудом подошел он, стараясь не задеть, не разбиться, к окну; бесшумно и плавно отворил его. Мир взглянул на него. Трава, солнечные пятна, поленница.

«На дворе — трава, на траве — дрова», — подумал доктор.

Гумми на дворе не было. И Давин ощутил вокруг сердца такую непривычную, непонятную теплоту любви!.. «Гумми...» — подумал он. И тут же это разогретое сердце сжало чем-то внешним, холодным, и что-то невидимо-чужое ударило снаружи по сжатому сердцу. Оно брякнуло внутри, как банка.

«Господи! только бы успеть, только бы успеть!..» — молил доктор, запинаясь на бегу.

В участке его выслушали трижды сначала Капс, который отослал его к Глумсу, а затем уже Глумс, отославший его к Гомсу. Гомс же вернул его к Капсу.

— Бревна! — шумел доктор. — Вы же ничего не понимаете. Вы должны объявить немедленный розыск. Он же может оказаться где угодно!

— Итак, — сказал Капс, — что он у вас украл?

...Когда вечером, обессиленный от бессмысленных поисков, он возвращался в желтый замок, его встретила Кармен, уже наполовину растворившаяся в сумерках от долгого ожидания.

— Гумми... — сказала она и протянула клочок.

Давин вырвал из ее рук и долго близоруко водил бумажку перед глазами, пытаясь прочесть ее тут же в темноте. Чиркнул спичкой...

«Никому не нужен я —

но кому-то был нужен мой дар.

Очень просто оказаться на Луне —

но с нее не видно Луны.

Если добьешься любви —

то утратишь в себе любовь.

На Луне никто не станет расспрашивать меня о Земле.
Землю видно только с Луны —

но только я это видел.

Никому не нужен мой дар —

но и я никому не нужен.

Прости, Кармен...

я — не человек».

Давин обжег пальцы и затряс рукой.

— Вы что-нибудь понимаете? — спросил он.

— Вы его убили, — сказала Кармен.

Обвинение не оскорбило его.

— Где он?

...Там они нашли его — обугленный мешок плоти. Он был странно вдавлен, вплющен в сочную почву заливного луга в излучине Кул-Палм-ривер. Он вошел в землю, как снаряд. Они узнали его по завязанному в узел велосипедному рулю.

Доктор осмотрел тело. Характер повреждений был таков, что никакой садист не в состоянии был бы их нанести с чисто технической точки зрения. Только падение с огромной высоты могло привести к такому результату. Но напрасно было бы найти в этом чистом поле Эйфелеву башню. Ее бы не нашли и во всем штате.

Давин с тоскою посмотрел в небо. Это были не боль и не горе. Это был ужас разума, треск сознания, отчаяние потерпевшего кораблекрушение посреди океана. Он посмотрел в небо, точно проецируя траекторию падения Гумми, — там было чисто, пусто, него — там ничего не было. И тут он увидел, сползая взглядом по непроницаемо-голубому куполу, на окра-

ине луга, над кромкой леса — сизую сигару дирижабля.

Давин схватился за голову, словно пытаясь раздавить ее, взвыл и криво, спотыкаясь и падая, но так и не разжимая рук, побежал. Так он бежал, держа в руках свою голову.

Пока велось следствие, Давин находился в тяжелой депрессии; состояние его внушало коллегам тревогу. Пока он лежал, отвернувшись к стенке и не отвечая на вопросы, следствие самостоятельно пришло к некоторым выводам, и подозрение в убийстве (единодушно поддержанное таунусцами) было с него снято. Но сами эти выводы завели следствие в тупик.

Экспертиза подтвердила, что никакой человек не в состоянии был бы нанести Гумми такой комплекс увечий. Что такого рода травмы можно было бы описать единственным образом: как результат падения с большой высоты. Положение, в котором было найдено тело Гумми, и характер деформации почвы под ним в точности соответствовали такому заключению. Подделать эти черточки происшествия человек был бы в такой же степени не способен, как перемолоть жертве кости в таком единстве и последовательности. (А это было время, когда судебная экспертиза достигла небывалых высот, когда слава ее гремела, когда эксперт на глазах у восхищенной публики сливал кое-что из пробирки в пробирку, вывешивал таблицы с баллистическими траекториями и поворачивал ход самых скандальных процессов вспять; жертвы и подсудимые менялись местами, справедливость торжествовала, и карьеры криминалистов вспыхивали и перегорали, как лампочки Эдисона.) Нет, утверждала экспертиза, труп не был перетащен в поле с места убийства. Но почему обуглена одежда, а примятая трава — нет? И потом, простите, откуда ему было падать??

Если бы такое случилось в наше время с его самолетами, или в еще более далекое — с его вертолетами и ракетами, или в еще более будущее — с его космическими пришельцами и тарелками, то для воображения обывателя все-таки была бы щель, куда бы он мог просунуть тайну. У всякого времени своя пошлость и свои суеверия... Скажем, на неведомой планете в созвездии Иксигрекзет происходит всенародное торжество по случаю благополучного возвращения Космонавта-I с обитаемой, хотя и находящейся на крайне низкой ступени развития, планеты Земля. И никто из жителей планеты не оплакивает неизвестного героя Космонавта-0, погибшего при

исполнении, не вернувшегося с Земли, но проложившего дорогу, никто не плачет над бедным Гумми на его родине, потому что никто не знает о нем, как не знали бы и о Космонавте-1, если бы он не вернулся. Тогда странные пробалтывания Гумми, что он долго пребывал в непонятной прозрачной плеве, его необъяснимая способность к перемещениям в пространстве, его утверждения, что он не человек, — стали бы нам как бы понятны. Можно было бы наvertеть и многочисленные другие предположения, в частности и насчет его смерти: что он, к примеру, — пришелец, вываливается из тарелки, или что он — не пришелец, а был подобран на тарелку, где, кое-что усвоив из грядущих возможностей цивилизации, повредился-таки своей нормально-человеческой головой.

Но все это — пошлость и суеверия нашего будущего, XX века, а в описываемое нами время конца XIX и пошлость и суеверия — несколько иные. Это время такого торжества естественнонаучного мировоззрения, что неизбежная объяснимость и доступность всего науке — есть, пожалуй, единственное суеверие. Любое сверхъестественное объяснение вызвало бы презрение просвещенной публики. Поэтому отпадают и все объяснения мистико-декадентского толка, несколько позднее вошедшие в моду (в эпоху «либерти»), связанные с Тибетом, магами и прочим, предкатастрофный спазм интеллекта, помогающий нам допустить бредни Гумми о монастыре в Камбодже, раздвоении и полетах отделившейся бесплотной субстанции в духе Райдера Хаггарда или Джека Лондона.

И такого рода соображения, стало быть, отпадают, недоступные криминалистике как науке. Остается, не выпадая из материалистических воззрений, взять за жабры дирижабль, благо он так кстати подлетел к нашему рассказу. Но все имевшие отношение к дирижаблю оказались обладающими неоспоримыми алиби. Дирижабль никуда не перемещался и не мог находиться над точкой, где было найдено тело Гумми: строгая отвесность траектории свободного падения не подлежала сомнению, авторитет Ньютона был все еще неоспорим, и вертикаль, восстановленная из точки приземления Гумми, упиралась лишь в неоспоримо несуществующего бога. Предположение эксперта по баллистике, что телом Гумми выстрелили из пушки, было тут же отвергнуто, а старый полковник артиллерии в отставке сочтен выжившим из ума. Гипотеза, что Гумми мог быть поражен молнией, была отвергнута с большим сожалением, ввиду отсутствия гроз на протяжении полутора месяцев. Оставался один лишь дирижабль... но это

была эпоха не только торжества материалистических объяснений, но и кичливости закона такими вещами, как презумпция невиновности, когда, ввиду невозможности доказать, из-под стражи пачками освобождались закоренелые отравители и сексуальные маньяки. И просвещенная публика аплодировала торжествующей законности.

...Никого у Гумми не было, ни родных, ни знакомых, чтобы подать апелляцию и возобновить следствие. Кармен, единственная душеприказчица, распорядилась похоронить его точно в том месте, где его пашли, где могила была уже наполовину вырыта его собственным падением. В голову ему положили все тот же руль, как позднее клали воздушный винт разбившимся авиаторам.

И только доктор Давин продолжал лежать лицом к стенке, и нам очень трудно будет сейчас сформулировать род страданий, терзавших все-таки не душу... мозг его. Ни жалость, ни раскаяние, ни сомнение... мозг, как известно, не ощущает боль. У него там образовался некий пустой пузырь одной мысли, наподобие дирижабля. Он всплыл тогда, на окраине поля, в его сознание, да так и не выплыл. Что было ему в этом дирижабле? А мучило мозг большого ученого то, что единственная причина, годная для употребления и объяснения случившегося — все тот же дирижабль, — не годилась ему. Единственно возможная, то есть точная, логичная, материалистическая, следовательно, истинная, — что Гумми каким-то образом попал на дирижабль и упал с него... и не годилась она ему не потому, что он мог ее опровергнуть — опровергнуть ее он не мог. В конце концов, он был первый, кто увидел Гумми, потом дирижабль и единственным образом соединил их как причину и следствие в своем мозгу... Но именно эта-то связь нарывала и рвалась, ничего не выдерживала и не объясняла. Она Давину не годилась. А не годилась она ему по одному лишь тому, что он в нее НЕ ВЕРИЛ. И вот в этом «НЕ ВЕРИЛ» заключалось, выходит, то, что верил-то он как раз в необъяснимое падение Гумми с высоты, в то, что никакого убийства не было, а было САМО-убийство (косвенной причиной которого он ясно сознавал себя, но это казалось ему, в его мозговой муке, как раз и несущественным...), а раз это было самоубийство, то была и Луна, причем коричневая, с велосипедным рулем, валявшимся в ее глубокой пыли... Но и не это мучило его, а невыносимым в его НЕверии в дирижабль был сам факт ВЕРЫ. Без НЕ.

И этого он никому не объяснил. За ним приехала самоотверженная Джой, готовая утирать ему слюни до конца дней... он молча поднялся с дивана, сгреб рукописи в чемодан, и они уехали в Европу. Отъезд доктора произвел на таунусцев впечатление. И поскольку потом еще десятка полтора лет ничего не случалось, а потом — как началось!.. — и оказались они вдруг воистину в веке двадцатом, с его прогрессом, войной и кризисом, то почему-то именно отъезд доктора как единственное предшествующее событие отбил в их памяти границу старых добрых времен. «Это было еще до отъезда доктора», — вздыхали они. Или: «А это случилось уже после его отъезда»...

А нам нет дела до них! Да и до Роберта Давина, выросшего в Европе в мировую знаменитость, рассеявшего без счета учеников и теорий, почти подперевшего самого Фрейда, до которого нам тоже нет дела. Так и не вспомнили бы мы о нем, если бы недавно не попались нам на глаза материалы, связанные с проблемой Святой Плащаницы. Здесь не время и не место заниматься пересказом истории вопроса, суть которого сводится к обсуждению подлинности ткани, запечатлевшей, как на негативе, изображение Христа (интересующихся отсылаю к широкоизвестным статьям д-ра П. Вильона, д-ра Д. Фока и др.). Приблизительно во времена нашего рассказа Плащаница была впервые сфотографирована и на негативе получено позитивное изображение. Эта сенсация привела к многочисленным строго научным проверкам того, в чем люди не сомневались на протяжении почти двух тысячелетий. Пик дискуссий, исследований и статей по этому вопросу падает на 1931 год, когда Плащаница была выставлена для всеобщего обозрения. Приведу лишь два довода в пользу подлинности запечатленного на ней изображения и реальности истории Христа. В этих доводах какая-то особая, головокружительная психологическая крутизна. Первый довод — что идея негатива стала известна лишь с изобретением фотографии и ни один художник, даже знакомый с фотографией, не способен (технически) по позитиву изобразить негатив¹.

¹ Тут можно и не согласиться с автором. Как сны были черно-белыми до кинематографа, так и негативное изображение было дано нам в ощущении отродясь, а не после изобретения фотографии. Все ведь смотрели на Солнце и отводили взор... Вот рассуждение, почти пушкинское по времени (1839 год), одного его ученого друга: «Если, став против окна, долго смотреть в одно и то же время на предметы светлые и темные, а потом обратить глаза свои на светлую стену, то в эту минуту предметы, казавшиеся до того темными (например, рамы в окошке), представляются светлыми. — Таким образом, когда зре-

И второй — что сама Плащаница и полотняные повязки (бинты), обвивающие ее, сохранились в форме кокона, покров их совершенно не тронут, и никакими естественными действиями нельзя объяснить их ненарушенность и неповрежденность, как Вознесением. Христос не был распеленат. Он исчез из них.

Так вот, разбирая материалы, мы наткнулись и на отклик знаменитого д-ра Роберта Давина. Странно уже то, что он снизошел с вершины своего авторитета и ввязался в это обсуждение, для ученых его ранга крайне сомнительное и непрестижное, если не опасное для репутации, о которой всякий авторитет печется тем заботливей и щепетильней, чем он выше. Но еще любопытнее, что д-р Давин, в данном случае, не только забыл о необходимости блюсти авторитет великого ученого, но и просто-таки неприлично раскипятился, обвиняя в ненормальности (ссылаясь на описанный им классический синдром Гумми) даже такого абсолютно неверующего и солидного ученого, как профессор анатомии д-р Ховеле, всего лишь подтвердившего в качестве анатома, что любое действие по освобождению тела Христа из Плащаницы не способно оставить ткань в том виде, в каком она сохранилась до наших дней. Причем любопытно, что логика — орудие, которым д-р Давин всегда владел поразительно мощно и неотразимо, в данном случае как бы изменяет ему, доводы вытесняются прямым давлением на оппонента, а выводы — пафосом, сводящимся приблизительно к формуле «этого не может быть, потому что не может быть никогда».

Но и его точка зрения на подлинность пресловутой Плащаницы занимает нас мало. И лишь только вот эта личная задетость вопросом заинтересовала нас и заставила попытаться в ней разобраться.

Битва при Альфабете

(Из книги У. Ваноски «Бумажный меч»)

Варфоломей был королем. Не каким-нибудь Шестым или Третьим — даже и не Первым. А Единственным. Власть его

ние наше вдруг переходит от предметов темных к светлым и обратно, то предметы, которых впечатление осталось еще в органах зрения, покажутся различно окрашенными...» (В. Ф. Одоевский. «Письма к графине Е. П. Р...й...») (Прим. пер.)

простиралась. Любому другому королю любой эпохи трудно было бы предположить ее пределы. Допустим, Варфоломею не так уж легко было бы взять и отрубить кому-нибудь голову или подарить пол захудалого царства — зато он был способен на большее: на изгнание. И не просто на изгнание (изгнание из пространства, как и прекращение единоличного времени путем отделения головы от туловища, лишь упрочает исторический персонаж...), а на изгнание окончательное — из самого времени, из человеческой памяти.

Королевство его не было больше или меньше прочих государств, ибо он властвовал над всем миром. И даже, в какой-то степени, над мирозданием. Не в его власти было, конечно, погасить Солнце или снять с неба Луну, но удалить с небосвода какую-нибудь незначительную звездочку он мог, а мог заставить ее светить людям чуть поярче. Он не мог, конечно, убедить своих подданных в том, что не существует слон, скажем, или лев (самое прочное в человеческом сознании — это басня...), но ликвидировать целый вид животных или растений из внебасенного сознания мог вполне, и это ему даже удавалось. Власть его была безгранична, хотя и ограничена. Но ведь и никакая власть, кроме власти Создателя, не бывала безграничной, а любая другая — так или иначе ограничена. А у Создателя — это уже и не власть: власть, равная самой себе, что это за власть? За безграничную власть мы всегда принимали безграничность собственной зависимости — нашу НЕ-властность. Варфоломея как раз такая власть никак не интересовала. Может быть, потому, что такой у него и не было. Тут трудно провести границу: не было или не была нужна? Нужна ли нам меньшая власть, если мы обладаем большей? Если поверить распространенному убеждению (которому мы, в отличие от Варфоломея, верим не в такой уж степени...), что власть — одна из наиболее сильных страстей человечества, перекрывающая (в случае наличия...) прочие человеческие страсти (на наш взгляд, лишь в силу большей доступности их утоления...), если принять подобное убеждение за аксиому, то, конечно, меньшей властью мы легко пожертвуем ради власти большей, а властью большей ради безграничной. Не забыл ли Александр Великий свою маленькую Македонию, дойдя до Индии?

Кстати, об Александре... С ним у Варфоломея были свои счеты, хотя, в принципе, он Александру и симпатизировал, даже благоволил. Во всяком случае, гораздо больше, чем Наполеону. Буонапарте он, прямо скажем, слегка недолюбливал. И не только за то, что тот оборвал карьеру блестящего

древнего рода его будущей жены, герцогов де О де Ша де ла Круа, — это дело Варфоломей все-таки сумел слегка поправить не только женившись, но и вписав в историю рода несколько ярких страниц (например, участие в попытке спасения злополучного Карла I), — Наполеона он не любил больше всего за максимальную из всех, пожалуй, исторических фигур неподвластность, за чрезмерную самостоятельность (что в определенном смысле одно и то же), за независимость (что уже, пожалуй, не одно и то же) Наполеона от его, Варфоломеевой, власти. Он мог, конечно, отменить то или иное из незначительных его сражений, мог слегка поковыряться в истории, удаляя и привнося, но ничего не мог поделаться с м и ф о м (вещью не менее прочной, чем басня...): Наполеон продолжал стоять на Аркольском мосту, и флаг его развевался.

И если Александра Великого (симпатичного и красивого) Варфоломей однажды осадил и поставил на место, отыграв у него одну из битв в пользу Кира, то с Наполеоном это ему никак не удавалось, даже выиграй он у него несколько подобных битв. «Большое видится на расстоянии... — вздыхал Варфоломей. — Век — это разве расстояние?» Девятнадцатый все еще стоял лагерем вокруг века двадцатого: даже первая мировая не так уж его отодвинула... О эти бесконечные кровати, в которых Наполеон провел по одной ночи! Они множились, как амебы, простым делением, принося доход провинциальным кабачкам и гостиницам.

Несмотря на свою безграничную власть, Варфоломей был широкого ума человек: тщетность этих его усилий доказала ему главное — что они тщетны. А тщета, как и суета, ниже достоинства властителя ранга Варфоломея. Так-таки правда: нелепо жертвовать властью большей ради власти меньшей. Борьбаться с Наполеоном для Варфоломея было то же, что Наполеону властвовать над островком Св. Елены. Варфоломей вовремя усмехнулся и пожал плечами. Разве во власти Наполеона было создать хотя бы букашку, хоть какую былинку?.. Между тем это были доступные и даже уже пройденные этапы власти Варфоломея: это он вырастил одно очаровательное растение из семейства зонтичных, и это он же заселил Патагонию крошечным мотыльчком Варфоломеус Ватерлоус, неизвестным не только науке, но и самому Создателю. Он сделал это лишь однажды, в тот самый день, когда ночь всего длиннее в году, в день рождения узурпатора. Кто скажет, что Варфоломей злоупотреблял когда-нибудь властью? Он не ставил себя на одну доску с Творцом, но то, что в его

власти было и то, что доступно лишь Ему одному, — бесспорный факт.

Так что, после Создателя, власть его была следущей. А поскольку у Создателя это и не власть, а Он сам, то можно считать, что Варфоломей в своем царствовании обладал властью, которой человечество не знало во всю свою историю.

Власть его не была обременительной для его подданных, поскольку была абсолютной. Ее не замечали, как воздух, как воду. Она ни в ком не могла вызвать ни сомнения, ни подозрения, потому что никто не был способен ощутить ее насилие — настолько оно было велико (не обсуждаем же мы власть силы тяжести, ибо она не может быть легче, а — какая есть...). Время подчинялось Варфоломею. Он властвовал над Славой Мира, являясь единственным ее наследником, конечной ее инстанцией. Он был Итог всего. Он всегда стоял в конце всей череды царьков и императоров, от наших дней до шумерских. И не только потому, что живая собака лучше дохлого льва, а именно потому, что последний и есть Единственный. Предыдущих — тьмы. Варфоломей вел за собою весь мир за эту ниточку, и тот следовал за ним покорно, будто и сам туда шел.

Варфоломей пробудился от непонятого стука. И стук был непонятен, и источник его. Было еще темно. «Это немудрено, — подумал сонный Варфоломей, — сегодня самая длинная ночь в году... Однако который час?» Он включил ночничок и добрался до лежащего на тумбочке будильника. Будильник показывал три часа и не тикал. Он давно уже прихрамывал при ходьбе; мания величия у королевского будильника дошла до того, что он показывал время только в том случае, если его ось была установлена строго параллельно оси земной, которая, как известно, несколько сама наклонена в отношении своей орбиты. Перед сном Варфоломей подолгу добивался для гордого аппарата этой астрономической точности. Сейчас прибор не оживал ни в каком положении, совсем умер, видимо не пережив столь длинной ночи. Стук повторился, и проснувшийся Варфоломей определил источник его.

То вдовствующая королева-мать стучала своим скипетром по утке.

При всей своей власти, Варфоломей никогда не забывал своего сыновьего долга, ибо он и есть самый королевский долг перед подданными, его детьми: каков может быть отец, если

он не исполняет свято долг сыновий? Варфоломей спустил ноги на пол и одну туфлю нащупал сразу, а другой не было. Он пошарил — не было. Он вспомнил, как кой сегодня день... Сегодня — очень важный день, быть может, за весь год и, кто скажет, вдруг и за всю жизнь. Во всяком случае, не весь ли год готовимся мы к дню завтрашнему, копя силы, экономя ежесекундно на трате их, а поскольку и к самому году готовимся мы, прожив до него всю свою предыдущую жизнь, то можно считать, что и всю жизнь мы готовимся именно к тому дню, который вчера называли «завтра»... Не есть ли сегодня — итог всего? Сегодня во власти Варфоломея было низвергнуть какое-нибудь небольшое царство, или осушить море, или развенчать героя, ибо как раз сегодня завершалась ежегодная общая картина мира, которой и быть таковой в грядущих веках... и именно сегодня он не собирался развлекаться своей властью подобным образом, ибо именно сегодня пришел наконец момент свести и кое-какие личные счета, тяготившие его на протяжении последней жизни, счета с двумя-тремя людьми, так неосмотрительно пересекшими однажды пути его власти... И в такой день!.. Куда запропастилась проклятая туфля?! Бес раздражения окончательно овладел им, когда он наконец обнаружил ее на той же тумбочке, что и будильник. Полузасыпая, не зная, как добиться от него ходу, не найдя ничего под рукой, он подпихнул под будильник туфлю, добившись наконец искомого наклона, — воспоминание развеселило его, раздражение слегка улеглось, и сумел он без него с должной сыновьей почтительностью забрать у королевы-матери утку.

Следуя с уткой в руке по коридору, услышал он и еще непонятные звуки, доносившиеся из кухни, — род всхлипываний. Кто бы это мог там плакать?.. Минувя ванную и туалетную комнаты, все с той же плещущей уткой в руке, в одних подштанниках, король Варфоломей, естественно, заглянул на кухню, чтобы увидеть там патлатую босоногую девицу в короткой рубашонке, хлещущую с жадными всхлипами, обливаясь, прямо из бутылки холодное молоко (дверь холодильника была распахнута). Девица пискнула, как крыска, прыснула молоком и порскнула по коридору в комнату наследного принца (Варфоломея-младшего, или Среднего, потому что был еще и другой Варфоломей-младше-младшего, или Варфоломей-младшенький... но его как раз и не было — они отбыли с герцогиней в Опатию лечить ее спинку...), — Варфоломей-король вздохнул вслед одной из многочисленных фавориток принца Варфоломея, которых уже не различал.

Король потянул догадливо носом и уловил этот пряный запах, за который и имел некоторые счеты с Александром Великим, относясь к нему в целом с симпатией, до некоторой степени обвиняя именно его в том, что, пристрастившись в своих войнах, переродившихся в странствия, к наркотикам, Александр проторил этой дури обратный путь в Европу. Принц в последнее время поверхностно увлекался Востоком, всякими правдами и неправдами накуриваясь ежедневно до смерти. И Варфоломей опять вспомнил, какой сегодня день, и бес раздражения на помеху ближних поперек великого дела с новой силой вошел в него. Который, однако, час? И фамильные женины часы в виде троянского коня, еще донаполеоновские, эпохи расцвета герцогов де О, часы, за исправный бой которых велась последовательная, непрекращающаяся наследная битва во многих поколениях, эти часы тоже стояли.

Он их озлобленно пнул, и они забили своим копытцем, застоявшись, за всю ночь сразу. Тридцать семь ударов насчитал Варфоломей — это не могло быть временем. Варфоломей рассмеялся — чего чего, а чувства юмора у короля было не отнять, — взглянул в окно, оно слегка серело, что означало десятый час! Великое утро давно наступило, и Варфоломей опаздывал.

Завершив туалет королевы-матери, напоив ее кофеем с гренками, он заботливо пересадил ее в трон-каталку, укутал в горностаевую мантию, до того ветхую, что уже без хвостов и лапок, так что напоминавшую даже кротовью, но все еще весьма теплую, и выкатил, вернее, выволоч (коляска была без колеса, с приспособленной ломаной полулыжей...) этот трон на открытую террасу, где в углу в кадке чахла березка и открывался вид на сырые крыши Парижа, столицы французской провинции Варфоломея, родины его жены, в настоящее время приютившей его резиденцию. «Эх, эмигрантское житье...» — вздохнул Варфоломей. Он не любил этот город. «Если бы не женитьба...» — вздохнул он, выпустив облачко пара в сырой туман, в сторону родины, где и положено находится Альбиону, в тумане.

Уже в плаще и с зонтиком заглянул он в комнату сына. Принц спал поверх одеяла, одетый. Чего же тогда девица была раздетая? — усмехнулся печально король. Но фаворит уже не было: улизнула — Варфоломей и не заметил. В комнате удушливо пахло дурью. Король поморщился, распахнул форточку, укутал принца пледом. Тот не шелохнулся, безжизненный, задрал к потолку острый нос, за ним острый кадык, за

ним острую грудь, — Варфоломею так и показалось, укутывая, что он заворачивает в плед птицу. Король вздохнул и выложил на столик пять франков, еще вздохнул и добавил еще пять.

Совсем уже в дверях был король, как изволил проснуться Василий Темный (названный так в честь московского князя XV века, главным образом потому, что Варфоломей пока не установил, почему князь носил прозвище Темный...) и пошел, требовательно и грузно топая, зевая и мявкая, ему навстречу — огромный, морозный белый кот, не кот — медведь (почему и темный и русский...). Роняя зонтик, король ссудил его рыбиной, погладил вялой рукою тирана, утомленного властью, и еще раз вздохнул: кто в поднебесной обладает большею властью, чем царь?.. Его любимый кот.

И теперь уже все: кухарка приходит к двенадцати, и все трое доживут до ее прихода.

По лестнице король спустился пешком (лифт ходил только вверх...). Внизу проверил почту; отсутствие письма от жены и новая пачка счетов вызвала его последний вздох, ибо и тут его не покинуло чувство юмора, которым он так гордился: ему нравилась новая система ящиков, установленная третьего дня, — защитного цвета, с никелированными замочками, напоминавшая почему-то Военное министерство и периодическую таблицу элементов (многие настаивают, что она русская...). Все номера были в строю, выровняв замки и щели, в строгом порядке, и только королевский номер выходил из ряда вон, как положено королевскому: подряд до тридцати двух, а потом его — двадцать восьмой... С Россией сегодня еще тоже, между прочим, предстояло разобраться: на полдень им была назначена аудиенция одному видному русскому военачальнику... Так что надо было поспевать до полудня.

Как Гарун аль-Рашид, ничем не отличаясь от обыкновенного служащего, король Варфоломей, скрываясь от любопытных взглядов под зонтиком, быстро скользил по лоснящимся плитам, будто на коньках: сегодня Вор его величества должен был выплатить окончательно свой долг или чистосердечно сознаться в содеянном.

Вор был пожалован придворным саном уже лет пять тому назад, когда обокрал Варфоломея. История выглядела простой с любой точки зрения, кроме королевской: ворочая исторические судьбы и передвигая светила, Варфоломей очень уж не любил вершить суд человеческий. Потому что у Варфоломея был брат.

Правильнее сказать, Варфоломей был братом...

В какой момент Судьба перепутала их? так что судьба Варфоломея досталась брату, судьба брата — Варфоломею? Это брату было — царствовать, а Варфоломею — странствовать, а вышло наоборот. Они оба были Близнецы, но брат был постарше, и по всем принципам престолонаследия...

Да что говорить! Варфоломей с пеленок попользовался безответственными правами младшего, а брат, с приготовительных форм, нес на своих нешироких плечах обязательства наследника. Это именно Варфоломей стал чуть позднее двоечником, а брат уже был отличником. Это брат обладал феноменальной памятью, множил в уме трехзначные числа и запоминал наизусть энциклопедию, генеалогические древа всех выдающихся родов Альбиона и толстенный справочник трансатлантических линий, подавая уже в пятилетнем возрасте гудок по прибытии в любой порт точно по расписанию, дую в их общую детскую трубу. Надо было только спросить: где мы? а он уж вам точно отвечал, в Тринидаде или Майорке, — после чего оставалось только взглянуть на циферблат, а затем в справочник — совпадали и часы и минуты, брат никогда не опаздывал, а маленький Варфуша уже не слышал его... он стоял на самом носу, пристально вглядываясь в очертания незнакомой бухты, и сердце его прыгивало на берег прежде него самого, хотя он и сам прыгивал первым из всей команды: мулатки, кососы, белые штаны... Да что говорить! Уже из коляски брат свободно считывал все уличные вывески с конца до начала без запинки: яксрехамкирап! ясвонысиревуг! Зетигрекиксдаблю... — шпарил он алфавит, — дисибизэй! А Варфушенька не слышал и уже не видел брата, потому что в сомкнутых джунглях, под верещание попугаев и обезьян, его окружали дикари — навели на его распахнутую широкую грудь свои стрелы и копья, выражая угрозы на никому не ведомом наречии: ппирг! нирипсарэуаб!.. — в трех пальцах от сердца входил ему под мышку мертвенно поблескивающий, леденящий клинок градусника. Медленный караван бесконечно брел сквозь жар Патагонской пустыни смерти — Ангины, Варфушу укачивала мерная поступь дромадера и звон его колокольца... сквозь этот непрерывный звон вырастали строем миражи — пальмы в океане — Танжер, Бангкок, Сидней... То старший брат звонил ему над ухом в колокольчик, возвещая отбытие «Куин Элизабет» из Сингапура ровно в тринадцать тридцать. Через неделю корабль благополучно входил в бухту Здоровья, и Варфоломей прыгивал на берег, а на борт поднялся старший брат. В океанской материнской кровати они

болели по очереди — сначала брат получал пятерки, пока болел Варфоломей, затем Варфоломей — свои двойки, пока болел брат. На время болезни над кроватью однажды была вывешена карта Британской Империи, собственно говоря, карта мира, тогда еще на три четверти зеленого, а потом и не снята. Старший брат испещрил ее маршрутами и минутами, и Варфоломей так и запомнил его на всю жизнь: на кровати, с обвязанным горлом, коленопреклоненного перед Империей, перемножающим в уме дюймы на градусы. Братья росли, Империя распадалась, выцветала: в углу, у подушки, особенно растрепалась Огненная Земля с Патагонией (до старости им возникать перед глазами — первый симптом начинающейся болезни). По мере выздоровления взгляд обращался вверх, к Европе, к итальянскому сапогу, еще выше — к коленопреклоненному Балтийскому морю, умоляющему Россию принять от него Финский залив... И последний день — драка шлепанцами и подушками — вверх головой и вверх ногами: сапог Новой Зеландии, явная пара итальянскому, но брошенный в противоположный угол мира, как бы в сердцах, как бы доказывая предопределенность раздела мира... Братья уже не болели, и мать старела под дряхлеющей Империей.

О, Империя!

Пока брат первенствовал в этой жизни, пока он оканчивал Оксфорд за Кембриджем, язык за языком, степень за степенью, нанизывая их, как охотник трофеи, как дикарь бусы, разве не нанизывал точно так же я, о Империя!.. в свои ожерелья твои Багамские, твои Филиппинские, твои Антильские острова! Разве это не я собирал в саваннах твои травы и ловил в пустынях твоих змей? разве это не я, скопив нечто на травах и змеях, пытался разбогатеть на твоих алмазах и изумрудах, на твоих бивнях и твоём золоте? разве это не моя была шутка: на вопрос «Зачем тебе золото?» отвечать «Чтобы найти золото»? разве это не я спускал все, что добыл у тебя, тебе же — в твоих борделях, кабаках и курильнях, в Сингапуре, Мельбурне и Дели? Разве это не меня ласкали твои негритянки, малайки, индианки? Где ты, Империя?! Что ты наделал, брат? Почему моя жизнь — твоя, а твоя — моя? Или правы японцы, что у жизни две половины и после сорока надо менять имя? Сестры ли эти две половины жизни? или они такие же сестры, как мы с тобой — братья? Почему теперь тебя треплет лихорадка на задворках, отпавших от Империи? к чему твое католичество освободенным зулусам? что ты гоняешься за моим крестом, сбросив свой на меня?..

Так сетовал нынешний Варфоломей, глядя на карту мира,

уже и в четверть не такую зеленую, как в е г о времена, и в половину не такую зеленую, как во времена Варфоломея-среднего, уже взрослого его сына, а лишь в четвертушечку Варфушечки-младшенького, когда зрелый изумрудный блеск Империи ослабел до салатно-детского цвета, когда между циклопическими ее обломками огоньками побежали побеги молоденьких, как листики весенние, государств... и лишь потрепанностью напоминала теперь Варфоломею карта мира этот мир — карту его детства. Но и потрепана она была с другого угла — со стороны оторвавшегося новозеландского сапога, все еще слегка зеленого, ибо наследный принц болел в другую сторону головой...

О, сын! Три фотографии висели обок — гордость короля: первая пожелтее, а последняя поглянцевитее средней. Все три Варфоломея как один: король, принц и младшенький... одно лицо! Будто король и не старел, а устаревала на нем лишь матроска — теперь такие не носят, тогда таких не носили.

Варфоломей затосковал по младшенькому, глядя на сына старшенького.

О, сын! мой кудрявый, с выцветшей фотокарточки, с которой ты до сих пор смотришь такими огромными, такими изумленными глазами, будто этот мир слишком мал для тебя, — почему ты так рано облысел и глаза твои потускнели, как у Империи?.. Почему ты не хочешь ничего, ни того, что я, ни того, что твой дядя?.. Не тебя ли я видел в прошлый раз у нашего турка? ты скользнул мимо меня, как тень, как дымок, — меня не проведешь на этом запашке, я учую его за милю! — не он ли сбывает тебе эту дурь, а у меня пропадают книги? Берегись, турок, злосчастный вор! кабы не поплатиться тебе головой... Книги, между прочим, не просто ценные, а бесценные — моего отца, твоего деда...

О, отец! я же никогда не понимал тебя... Только сейчас начинаю догадываться, и ты отдаляешься от меня, как звезда, по мере того, как я догадываюсь. Ты светишь мне обратным светом, словно от того семечка, из которого она однажды вспыхнула для меня. И вот тебя нет, а свет твой наконец достиг меня. Видел бы ты Варфоломея-младшенького! Чье это было верование про Млечный Путь как семя бога, про то, что каждый — из своей звездочки в поднебесной?.. Не помню. Ты бы сразу ответил. Ты все помнил. Знание было твоей Империей...

Так умилялся нынешний Варфоломей, доведший в свое время отца до инфаркта своими выходками, снимая с полки

том отцовской «Британики» 1911 года издания... любимый его том...

О. «Британика»!

Как подлинный король энциклопедического дела, отец Варфоломея восседал на высочайшей вершине этого великого, во всю длину книжной полки, хребта томов — на букве Ш¹. И Варфоломей унаследовал от него этот трепет. Не сразу отворял он этот том именно в этом месте, где этот... где он... где самый... где тот, который на эту букву Ш... Он отворял этот самый потертый том как бы загодя, как бы плавно восходя по ступеням слов к желанной вершине...

ШАГРЕНЬ... как странно, что путь этот каждый раз начинался с этого вида кожи, будто намекая на профессию сомнительного отца того, что на букву Ш, — не то мясник, не то перчаточник...

ШАХ — титул королей Персии, мнимая самостоятельность которой всегда таила в себе сокровенные интересы Империи, и от этого корня...

ШАХАБАД, ШАХ АЛАМ МОГУЛ, ШАХ ЯХАН ШАХЬ-ЯХАНПУР, ШАХПУР, ШАХРАСТАНИ, ШАХРУД, ШАХ ШУЙЯ... великая поступь Империи: то ее провинция, то правитель ее провинции, то сфера ее интересов, то покров ее влияния... И сквозь этот бронированный, непробиваемый имперский вал — вдруг слабый росток литературного слова, как писк: ШЭЙРП Джон Кэмпбелл, шотландский критик. Как смешно! как нелепо и самонадеянно встать рядом, непосредственно предшествуя!.. Будто в одном классе, будто Учитель может вызвать к доске, с пальцем, замершим на букве Ш, первым не того, а этого... Как ему, однако, повезло, совпасть с ним первым слогом и хотя бы так, но встать рядом!.. А за ШЭЙРПОМ сразу, ни с того ни с сего, как это всегда у американцев, нелепейшие ШЕЙКЕРС (трясуны), будто все на свете перемешать — это и есть самостоятельность, только так и сумели обособиться от Империи, будучи плоть от плоти... трясуны — так все перепутать: коммунизм со вторым пришеств-

¹ Не знаю, как справился бы с такой задачей профессиональный переводчик... Ну, нету в английском буквы Ш! Хоть плачь... Им нужны две на это: Эс и Эйч. Так что ШАХ у них выйдет на букву Эс. Да и буквы Х нет, у них это Икс. Какой-то СХАКХ, а не ШАХ. У нас удобней, у них и кровь на букву Б, и сердце на букву Х, и душа на букву С, и бог на букву Г, и смерть на букву Д... А по-французски — еще дальше, у тех и лук, и страус, и якорь, и паук окажутся на одну букву... В дальнейшем переводчик не раз столкнется с подобной трудностью и не справится с ней (*прим. пер.*).

вием — тоже мне «дети правды», — сыр с вареньем... правы французы, чего ждать от нации, которая любит сыр с вареньем? Но и ТРЯСУНЫ — на месте, ибо пробирает дрожь, озноб, стоит только перевернуть уже дрожащую страницу... а там сразу ЭТОТ, на букву Ш... ВИЛЬЯМ!

И тут уже ничего не понятно. Причем сразу, с первой же строки. 23 апреля — это что же, родился или умер? и почему заодно с Сервантесом, в один день, и почему умер в день рождения... или родился в день смерти? И кто был отец — мясник или перчаточник? И кто такие Бэкон, Марло, лорд Саутгемптон... были ли такие? Не были ли они все — один Вильям? И какой из двадцати шести портретов подлинный? Ну конечно, «Янсеновский», скажет отец. Почему? Потому что прекраснейший. Ну, уж никак не «Хэмilton Корт»... меч, пояс, кольцо на пальце, в руке перчатка... рождественская елка, а не Шекспир! — всех их убеждает эта перчатка, не более того — будто эту перчатку сшил ему его отец...

Именно рассуждение о подлинности портретов — последнее, что помнил Варфоломей об отце. Ибо отец умирает от инфаркта, не пережив очередного его побега, а Варфоломей сидит в это время по горло в болоте на Панамском перешейке... и счастлив так, как никогда еще не был счастлив в жизни. О, жена!..

Варфоломей сбежал в тот раз с комплексной океанографической экспедицией, нанявшись художником рисовать травки, черепки и гнезда, но особенно увлекся зарисовками не то головоногих, не то перепончатокрылых — специализации одной милой натуралистки. И вот они сидят вдвоем крошечной ночью, по горло в панамском болоте, сторожа пение уникальной лягушки, чтобы записать его на фонограф для ее профессора, крупнейшего в мире специалиста по кишечнополостным, которого, однако, совсем не так возбуждают его членистоголовые, как его хобби — коллекция брачного лягушачьего пения, а именно эта лягушка поет раз в сто лет именно в этот час и именно в этом пруду, то есть она и есть синоним счастья, случающегося с той же периодичностью, от которого зависит все будущее натуралистки, как научное, так и то, которое в этот момент может предложить ей Варфоломей (через девять месяцев у нее родится сын, но она откажется сменить свою фамилию на Варфоломееву, происходя сама из знатного рода и имея в гербе три лилии). А на следующий день Варфоломей получит телеграмму о смерти отца...

И после ВИЛЬЯМА Варфоломей не сразу закрывает том, а некоторое, хотя и более быстрое, как и положено под горку,

время спускается по ступеням слов вниз... ШАЛЛОТ (Аллиум аскалопикум), культивируемый еще в эпоху раннего христианства, широко используемый при приготовлении мяса (все-таки, наверное, отец его был мясник, а не перчаточник...), имеющий два сорта — общий и Джерсийский, или русский (что-то мы должны были не забыть про Россию...). ШАМАНИЗМ — религия урало-алтайских племен (опять Россия...). ШАМБЛЗ — бойня для приготовления кошерного мяса (может быть, и мясник, но не своей же...). ШАМИЛЬ — вождь кавказских племен в войне с Россией (опять!). ШАН-ХАЙ, наконец (там, за Россией...).

Сегодня был день Вора и Визиря... Варфоломей далеко не сразу обратил внимание, что стремится совместить эти два постоянно тяготивших его дела в одно. Вор должен был выплатить остаток украденной им однажды у Варфоломея суммы, а Визирь — повысить бюджет варфоломеевского двора. Варфоломей должен был поспеть и туда и туда — и не опоздать к назначенной на полдень аудиенции с русским военачальником.

На этом пространстве бумаги трудно объяснить сколько-нибудь внятно, как у Варфоломея сложились столь редкостные отношения с его Вором. Это, быть может, отдельная история. Для связанности следует лишь обозначить, что в тот день, когда стало известно о трагическом исчезновении старшего брата и королева-мать слегла от горя, Варфоломей затеял ремонт в ее комнате, чтобы создать для больной атмосферу, благоприятствующую выздоровлению. Поскольку, по случаю столь драматических фамильных событий, Варфоломей был не вполне в себе, он нанял без рекомендации первого попавшегося турка, да еще и оставил его в квартире одного, и тот выкрал в Варфоломеево отсутствие из никогда не запиравшегося дедовского стола немногочисленные ценные бумаги (пакет, вернее, пакетик акций), доставшиеся в наследство от отца и только потому еще не проданные, — собственно, единственное и все фамильное достояние. Он обокрал, но не был пойман с поличным, и лишь на следующий день, и то случайно, Варфоломей обнаружил исчезновение бумаг.

Совершенно растерявшись от обилия несчастий, Варфоломей не обратился в полицию, которую недолюбливал со времен своих странствий, а вызвал турка и на подмогу двух друзей: одного востоковеда, чтобы тот поговорил с турком на его наречии, а другого — поопытнее, приятеля по юношеским

странствиям — для юридической части разговора. Востоковед оказался не при деле, поскольку турок оказался не турком, а неведомым Варфоломею е з и д о м, опытный же приятель был в самую пору, пригрозив турку, или езиду, повесить его (их обоих) частным образом, без обращения в полицию, причем повесить даже не за шею и не за ноги. Но Вор был стоек, ушел в глухую несознанку, и достать его оттуда не представлялось возможным, кабы не все та же «Британика». Отыскав в ней езидов, Варфоломей постиг редчайшую их особенность, а именно, что они дьяволопоклонники и что самое страшное для них — это начать ругать нечистого в их присутствии. Варфоломей так и поступил, и, что весьма неожиданно, его чистый опыт возымел прямое действие.

Скуля и причитая, турок-езид хотя и не сознался в краже, но по стечении обстоятельств, столь драматически сложившихся не в его пользу, обещал вернуть вышеозначенную сумму, но не иначе как «долг чести», чтобы спасти свое имя, ибо у него была невеста, он собирался на ней жениться, чтобы иметь от нее детей (как видите, все это и у дьяволопоклонников — так же...). Но, учитывая огромность пропавшей не по его вине суммы, он берется отдать завтра только половину, а вторую половину — с рассрочкой в течение месяца. На том они и расстались. «Извини меня, Варфоломей, — молвил его друг с богатым прошлым, — но такого, как ты, разболтая я еще не видывал. И если он принесет завтра тебе эту половину, то иди в храм и ставь самую толстую свечку, потому что тогда окажется, что ты такой не один на свете, а есть еще один, еще больший чудозвон, а именно твой Вор. Только каким бы он ни оказался долбанутым, второй половины ты не жди ни при каких обстоятельствах». Скепсис друга с богатым прошлым не оправдался на первую половину, укрепив присутствующую Варфоломею веру в людей, но вполне оправдался во второй части пророчества, укрепив веру Варфоломея в мудрость друга.

Но одно дело верить чужой мудрости, а другое — ей следовать, и Варфоломей продолжал время от времени навещать Вора с требованием второй половины, и тот еще ни разу не отказался ее возместить в следующий раз, причем точно и непременно. Турок ни разу его не обманул, вот в чем дело. Он и жепился сразу же и даже специально приходил приглашать Варфоломея быть почетным гостем на свадьбе, но польщенный Варфоломей на свадьбу все-таки не пошел. И теперь, когда он являлся к Ворю за «долгом его чести», тот в искреннем стремлении этот долг погасить каждый раз пытался снять

с руки жены обручальное кольцо, чтобы отдать его в счет долга, и Варфоломей удалялся, пристыженный.

Только однажды случилось так, что Вор пришел к нему пригласить на пир в честь рождения первенца, а в этот же самый момент Варфоломей получил известие, что брат жив, хотя и в Южной Америке. Счастливый счастьем своей матери, Варфоломей, растрогавшись, сказал Вору так: что если тот сейчас сознается в краже, то будет тут же прощен и освобожден от долга. Вор, как ни странно, не на шутку обиделся и ушел. В глубине души Варфоломей, будучи уверен, что Вор — именно вор, и никто другой, иногда на один процент сомневался, бросая украдкой взгляд на взрослеющего сына. О, знал бы он, в какую пропасть вверх себя своим щедрым, выражаясь по-судейски, частным определением!

Вор оказал ему королевские почести. В искренности его радости от лицезрения Варфоломея уже трудно было бы усомниться. Иногда Варфоломею казалось, что и брат с Вором поменялись судьбами: он не мог еще пока так сформулировать, что брат стал Вором, но что Вор стал братом, это было похоже. Долг он продолжал не отдавать, но зато охотно брался за разные мелкие поручения, тоже их, однако, не выполняя, но согревая сердце Варфоломея своей готовностью. Вот уже год, как вызвался он добыть новую коляску для королевы-матери, и вот теперь елочку к Рождеству непременно завтра же принесет... Для отсрочки выплаты всякий раз находилась весома причина: болезнь матери (это Варфоломей понимал), поручительство старшего брата с предъявлением такового (тоже турок, может быть, и брат...), беда с тем же братом — тот попал под суд (и это Варфоломей мог понять)... на этот раз Вор выкатил на середину комнаты бочку с медом в качестве безусловной гарантии скорой выплаты: родственники прислали, надо только пойти на базар и продать, и он тут же Варфоломею вернет, вот только некогда все — работы много (когда бы ни заходил Варфоломей, Вор всегда бывал дома), а если не верит, может бочку прямо сейчас себе забрать — в ней меду с лихвой на долг хватит. Варфоломей бочку не брал.

Старший воренок, любимец Варфоломея, уже сидел у него на коленях, так и норовя не ограничиться врученной ему конфетой, а распространиться на авторучку или зажигалку, так что Варфоломей постепенно превращался в жонглера, вылавливая из воздуха то одно, то другое, то носовой платок, то часы, чтобы водворить их на место; младший ползал на четвереньках с удивительной скоростью, как тараканчик; жена

носила из кухни в комнату и обратно свое огромное третье пузо — все это зарождалось и рождалось на памяти Варфоломея. Он замерз и отогревался у этого очага, забыв, зачем пришел. На кухне что-то жирно булькало и источало пряный турецкий запах и вот-вот было готово, пусть Варфоломей отведает...

В доказательство своей чистосердечности Вор продемонстрировал, наконец, Варфоломею его шубу, которую вызвался починить еще летом и буквально силой вырвал у Варфоломея, несмотря на все его робкие отговорки. Шуба эта была долгие годы предметом особой гордости Варфоломея: волчья, вывезенная им с Аляски, такой ни у кого не было, никто бы и не решился, кроме него, такую надеть... королевская шуба! По особо торжественным случаям, но то ли случаи становились все менее торжественными... но когда Варфоломей наконец достал ее — само время вылетело из нее, как дух вон, с характерной траекторией моли. Вор, видя его горе, горячо взялся помочь: у него для этого был двоюродный турок, высшего класса, будет как новая. Варфоломей что-то лопотал, что новой ей никак не быть... напрасно. Вор уволок ее под мышкой, как живую, и будто она даже сопротивлялась ему, как чужая собака.

Так что теперь к разговорам о «долге» равноправно прирастал разговор о шубе, и уже непонятно становилось, что важнее (Варфоломей был уверен, что она побывала на базаре, где еще не побывал чей-то мед...) — шуба или долг? одно вытесняло другое, и получалось почти так, что возвращение чего-либо одного покрывало возвращение другого. «Опять споловинил!» — восхищенно сообразил Варфоломей и засмеялся, довольный собственной опытностью и сообразительностью. Оказывается, он это даже произнес вслух. И тут Вор обиделся так искренне, как только воры и умеют обижаться. «Обижаетесь, ваше величество, — сказал Вор и решительно вытащил неряшливый узел из-за бочки с медом. — Вот! — торжествовал он, столь несправедливо заподозренный. — Вот!» И руки и спина его будто рыдали, пока он развязывал. Острые, воровские лопатки так и ходили под майкой. Наконец узел развалился на стороны и открыл взору то, что было когда-то Варфоломеевой шубой. «Мы пытались сделать все, что могли! — страстно поведал Вор, загребая горстями клочки шерсти и снова просыпая их в кучу, будто перебирая драгоценности, как Али-Баба из сундука. — Но сам видишь! Мездра...» И с этими словами он выхватил клок побольше, еще казавшийся целым, и принялся рвать его для убедительности

на тонкие полоски, как бумагу. Бедный Варфоломей стал хватать его за руки...

«Но мы еще что-нибудь придумаем, — успокаивал его Вор. — Один скорняк хочет взять эти обрезки для ремонта и предлагает в обмен почти новый шиншилловый жакет. Правда, дамский. Но зато — шиншилла! и доплата совсем крошечная...» Непосредственность Вора растрогала Варфоломея, и он рассмеялся, радуясь возвращающемуся чувству юмора. «Ладно, — согласился Варфоломей, — когда деньги-то вернешь?»

Он не хотел так уж огорчать Вора. Это было коварно со стороны Варфоломея — с такой легкостью перескочить через проблему шубы. Вор как бы укоризненно качал головой, как бы повторяя: опять за свое!..

Варфоломей только рукой махнул, так он опаздывал, и бросился через ступеньку вниз по лестнице. «Постой! — крикнул Вор вниз. — Ты вправду не потребуешь с меня денег, если я сознаюсь?» Варфоломей прямо-таки повис в воздухе на бегу: наконец-то! Конечно, денег было жаль, но зато — какая свобода! Так их можно было бы и оставить навечно — Варфоломея, повисшего в воздухе с повернутой, как у карточного короля, головой, и его придворного Вора, в майке, свесившегося через перила в пролет... (так бы их и оставить чеканной формулой их союза, как своеобразный вензель, если бы рассказ мог кончиться на этом). «Вот те крест!» — воскликнул никак не ожидавший такого поворота Варфоломей. Крест Варфоломея не убеждал демонологию Вора. «Я же дал слово!» — возмутился Варфоломей. «Я верю тебе», — сказал Вор убежденно. «Ну! — нетерпеливо топнул ногой Варфоломей (наконец приземлившись). — Ну же! Я опаздываю». — «Ты не представляешь, как я тебя уважаю, — прочувствованно сказал Вор, — ты мне как старший брат!» Варфоломей вздрогнул и передернул плечами, как от озноба: не думал ли он только что теми же словами?... «Ты мне за отца родного, — развивал далее Вор, — ты думаешь, я не понимаю, что ты для меня сделал? ты же меня из тюрьмы выпустил, ты же детей моих сиротами не оставил... да я для тебя... когда тебе только что-нибудь понадобится! зови! я тотчас...» — «Так ты что, признался наконец?» — спросил обрадованный и огорченный Варфоломей. С Вором начались корчи, заветное слово готово было сорваться с его губ... «Ты что, мне не веришь?!» — грозно воскликнул Варфоломей и ногой топнул. «Что ты! верю! как я могу тебе не верить...» — разубеждал его Вор. «Так да или-нет?!» — вскричал Варфоломей. «Ну что

ты сердиться? — отступил от перил Вор. — Я просто так спросил... чтобы точно знать...»

Куда уж точнее... Варфоломей наконец выскользнул из этой своей «тысячи и одной ночи», почти бежал и усмехался на бегу: ведь слово в слово, как в прошлый раз и в позапрошлый... Правда, тогда еще без шубы было... (Варфоломею жалко шубы.) «Он знает, и я знаю... — размышлял он привычно. — И он знает, что я знаю, и я знаю, что он знает, что я знаю. И он верит, что я сдержу слово. И я его сдержу, хотя мне жалко этих денег. Господи! как они быгодились к Рождеству!.. Что я от него требую... он просто не может выговорить такие слова — хочет и не может!» Какая-то особая честность Вора показалась Варфоломею в этом.

На прием к Визирю Варфоломей опоздал. Визиря уже не было на рабочем месте. Досада на Вора оказалась недолгой. Как только Варфоломей узнал от его секретарши, что Визирь вообще не приходил еще сегодня, не то что к часу, назначенному для встречи с Варфоломеем, — досада его перенеслась на Визиря. Зато свое место Варфоломей успевал занять вовремя.

«Совсем работать не хотят...» — ворчал он, проходя в свою приемную залу, раскрывая для просушки зонтик, так что тот всю залу и занял. Снял плащ и пиджак и повесил их аккуратно на плечики. Надел черные бухгалтерские нарукавники, взбил на стуле вытертую подушечку и уселся на свой трон. Придвинул к себе тощенькую папку неотложных государственных дел, сделал подобающее для такого рода дел лицо и, сказав «можете войти», раскрыл ее...

Русский маршал, при всех наградах, от горла до пояса (и что-то еще ниже пояса болталось на сабле...), лежал первым. Фотография была цветная и, хотя маршала никто в редакции не знал, оказалась наиболее впечатляющей во всей русской коллекции. Она затмевала великих Петра и Екатерину и более поздних русских вождей, и главный редактор настаивал на обязательном ее присутствии в издании. Оставалось лишь придумать ему биографию, поскольку даже фамилия маршала не была в точности известна, причем, по нормам издания, статья не могла быть меньше самого портрета. Судя по количеству наград, он должен был проиграть очень крупное сражение...

Из семи статей и трех иллюстраций, уже не помещавшихся в макет издания, надо было предпочесть пять или две. Или сократить статьи так, чтобы уместилось в с.е. И это было во власти Варфоломея.

Если упразднить, то кого? Варфоломей расположил перед собою картинку. Маршал остается, пусть и неизвестна его битва... С ним конкурировала некая рыбка и некая шайба, носившая имя инженера, ее выдумавшего. Вот ведь судьба! о самом инженере статьи не полагалось, лишь о его шайбе, а о маршале — полагалось, хотя его битва и менее удачна, чем шайба... Что уж тут говорить о рыбке! Рыбка была презабавной, прозрачной, с клювиком, к тому же чрезвычайно древней и редкой, но — сквозь триллионы лет своего победного выживания — совсем уж никому не известной. У маршала было более известно его поражение, чем он сам. Шайба затмила своего изобретателя... Шайба вообще была из всех наиболее знаменитой.

Варфоломей расположил маршала посредине, между рыбкой и чертежиком шайбы. Шайбу никак нельзя было сократить по объективным причинам, маршала — подчиняясь приказу, а рыбка была всех милее самому Варфоломею... Иконостас с медалями, древняя рыбка или гениальная шайба?

О, Энциклопедия! Варфоломей рассмеялся от удовольствия власти.

Вот во что воплотился его экзотический опыт! Как бывший экспедиционный художник он был не только литературным, но и художественным редактором — совмещение редкое, хотя и явно недооцененное руководством, но все-таки обеспечившее куском хлеба, но ему хотелось с маслом. По этому поводу и хаживал он периодически на Олимп, к Председателю. Председатель же Редакционного Совета, с одной стороны, высоко ценил достоинства Варфоломея как работника, с другой — отчасти как бы уже и бегал от него.

Мешала Варфоломею его фамилия! Особенно здесь, во Франции... Не фамилия, а кличка. Таких, как он, в одной лондонской телефонной книге не менее тридцати страниц, даже в любимой «Британике» одних великих — более тридцати: от Адама (экономиста) до сэра Вильяма (адмирала), которым Варфоломей особенно восхищался. Еще работая в «Британике», давшей ему первую оседлую, аботу из милости, в честь заслуг его отца, когда тот умер, а Варфоломей женился, брат пропал, а мать обезножела, — подвигал он этого адмирала, хоть и замыкавшего список однофамильцев, повыше по ступеням энциклопедической иерархии, подводя его к родству с одним небольшим религиозным философом, зачисленным им же, Варфоломеем, себе самому в двоюродные прадеды.

Он довел адмирала уже до целого столбца в Энциклопедии и почти достиг убедительного с ним родства, как пришлось прервать это невинное злоупотребление, и отнюдь не из-за того, что его кто-нибудь вывел на чистую воду, а из-за количества брата, приобретшего вдруг скандальную, чуть ли не политическую окраску. И вот — вместо высокого родства с сэром Вильямом (адмиралом) — нашлись в редакции внимательные коллеги, подыскавшие, помимо брата, еще одно нежелательное родство, чуть ли не ирландское (по материнской линии). Всего этого вкупе оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя нежелательным в столь уважаемом и ответственном учреждении и лишиться куска хлеба (без масла). И пришлось ему переезжать в женину Францию, можно сказать, почти эмигрировать.

Варфоломей вздохнул и погнался с глаз долой ностальгически-туманные образы. Теперь он поменял местами шайбу с рыбкой: рыбка стала старше, а шайба младше военачальника по званию, хотя строго по алфавиту было наоборот...

«Сколь славен алфавит! — размышлял Варфоломей. — Все подчиняется букве... Варфоломей Смит — это король, это адмирал, Смит Варфоломей — это уже двоечник и солдат. В середину чаще тычет пальцем, чаще вызывают к доске. Середины — больше, из нее труднее выбиться в люди, Сми-ту — надо быть гением. Сми-ту нужен Вессон, иначе он не стреляет. То ли дело на букву А... автоматически возглавляешь список, и вызывают на ковер реже, попадают, лишь когда промахиваются. «А» может прожить безошибочно, характерно для легкой карьеры. Кому и быть Председателем, как не Адамсу!.. — (Недовольство Визирем, как и всем сегодняшним утром, нарастало в Варфоломее...) — Но и последним по алфавиту быть тоже не худо... Подожди, подсядет тебя Якоб! В тени, в хвосте, замкнув список... он-то умеет держать спину: за ним не встанешь. Из буквы А — выше не подымешься и назад не вернешься, Якобсу же видна вся цепочка от Я до А... Когда стадо поворачивает вспять, последний баран становится первым! Характерно для переворота...»

Да не покажется нам мышление Варфоломея несколько высокомерным — у него был свой опыт. При взгляде сверху вниз, со своего энциклопедического Олимпа, на все наше земное копошение с древнейших, не то что дочеловеческих, но и догеологических времен, кое-что да покажется ясным... Например, карьерный спектр. Варфоломей слыл для себя великим прогнозистом. Опыт художественного редактора помогал... Глядя на фотографию вновь образованного каби-

нета, мало он интересовался центральной фигурой, выдвинутой историей вперед, а более присматривался к крайним, что слева, что справа. Это у них — свободное плечо, это они налегли с краев, выдавливая центральную фигуру, как пасту из тюбика, за пределы представительной фотографии. На десять лет вперед предугадывал Варфоломей: левый сместится вправо, а правый влево, в середине они столкнутся в предвыборной борьбе. Стоят незаметненько и скромненько, ничем как бы не отличаясь: левый помладше, правый постарше, а оба — помоложе; одеты одинаково, под центральную фигуру, а у левого, глядь, пиджачок невидимо в талии обужен, а брючки расклеваны (или наоборот, в зависимости от поколения), тоже невидимо, но по последней моде, стрижечка тоже почти такая, а не совсем... правый же, наоборот, хотя и тоже не отличишь, незаметно тяготеет к моде уже миновавшей — пиджачок пошире, брюки поуже, — к правлению минувшему... казалось бы, невыгодно, ан нет, повисят они вот так, в неудобной позе крайнего положения, в мертвой точке маятника, да и пойдут годика через два к центру: второй с краю, четвертый... все ускоряясь, пока не сшибутся лоб в лоб посередке. Знал кое-что Варфоломей и даже уже понимал. Да толку что...

Обходили его и слева и справа. Не годился ему его чистый опыт. Десять лет вкалывать за десятерых без повышения... Еще раз рассердился Варфоломей, еще раз взлетел прозрачным лифтом на вершину Олимпа, к Адамсу...

Изловил. В последний момент, на самом излете, с выражением предстоящего ленча на лице. Почти и не выказал Адамс своей досады — самообладание подвело: слишком тут же засветилось радушием его лицо, демократичности перебрал — засуетился. А кто такой Варфоломей, чтобы перед ним так суетиться? А — король. Он — соль земли. Он несвергаем и вечен. На нем вся энциклопедия, то есть весь мир держится. А кто такой Адамс? А — тлен, прах, ничто. Прошел — и вот нет его. Знает свое место, трепещет перед Варфоломесом. Знает кошка... Испугался Адамс и сам не заметил, что испугался. Не так испугался, как Яковса, скажем, а иначе, страшнее испугался. Будто в лице Варфоломея светилось будущее: только взгляни в глаза — поймешь, что обречен, то есть что — уже... скоро... Поэтому Адамс и отводит глаза и не может видеть Варфоломея. Это ему только кажется, что он Варфоломея не переносит, а это он сам непереносим; это ему только кажется, что замешательство он умеет так ловко скрыть под личной простоты, застенчивости и чуткости к подчиненному: не показать бы превосходство, только бы не задеть самолю-

бие... — всего лишь ему одному это и кажется. А все остальные, которые снизу, его видят. А быть видимыми для адамсов — смерть.

Увидел его Варфоломей — и Адамс тут же это понял (вот где чуткость! — в этом им не откажешь...), и — заоправдывался, заоправдывался: и туда он с прошением Варфоломея ходил, и к Самому обращался... он может и у секретарши справиться: она ему документ покажет... «Вот через месяц уж точно, — говорит Адамс, а сам уже и на лифте вниз съехал мысленно, и дверцу лимузина своего распахивает, и поджаренный хлебец русской икоркой смазывает... — Вы через месяц заходите ко мне, и я лично, снова, проконтролирую, сам. Самому...» И нет Адамса — весь вышел.

«Ну до чего же точно! — восхитился Варфоломей. — Ну пенни в пенни, ну просто турок, и все тут, один к одному». Открытие это обрадовало Варфоломея неоспоримой точностью. Что турок, что Адамс — даром, что ли, сводил он их в один день! Вот, оказывается, почему... Потому что они — один человек. Вор и вор. Даже жесты те же и словечки — из одного теста. Только Вор лучше будет. Почестнее. И теплой согрелось сердце Варфоломея от воспоминания. Еще сильнее привязался он к придворному Вору.

И только вернувшись на место, заняв свой трон, понял вдруг Варфоломей, как опять обошел его Адамс: куда турку с его шубой! Вор половинил, а Визирь — удваивал. Понял Варфоломей, сев на свой трон, что опять занял с в о е место. Это Адамс его поставил НА место. То есть халтурно наобещав, небрежно польстив — «Только вы... только с вашей квалификацией... на вас вся надежда... выручите, ради бога... (Вор, тот дьявола поминает, и то про себя, а этот — Бога и не краснеет...) большая ответственность... только с вашим опытом и диапазоном...» — и всучил, и Варфоломей не заметил, что принял, и нахлобучил сверху на него, на него, загруженного по самое горло, нахлобучил сверху так, что теперь и по уши... всю работу по дополнительному тому!

Нет, силен еще Адамс; Адамс — все еще Адамс.

Зато и Варфоломей — Варфоломей. Разозлился король. Одной рукой звезду погасил, другой дерево с корнем вырвал... Осман-паше нанес не отмеченное пока историками поражение в XV веке. Это — за турка. Неповинного Адамсона казнил — сократил напрочь, как не бывало, — это за Адамса.

На освободившееся место картинку пристроил было непошедшую, сокращенную: колесование во Франции в XV веке. Хорошая картинка, подробная: один преступник, уже обрабо-

тантый, уже на колесе возвышен, перебитые ноги-руки свисают с колеса, как плети (это Адамс...); над другим, распластанным на помосте, палач свою дубину занес (это турок: он может еще пощады попросить, а Варфоломей может и помиловать...). Дальше — больше: выкинул рисунок некоей центрифуги, а на освободившееся место виселицу установил, чтобы Адамса еще и повесить, — дисциплинированный такой рисунок: висит повешенный, как на уроке. И утихла вскипевшая кровь, и не заметил король, как перешел к делам милосердным, наихристианнейшим — как сам стал рисовать. Нарисовал инвалида к статье ИНВАЛИД, казалось бы вовсе не обязательного, нарисовал и еще одного беднягу к статье о прокаже. На груди у инвалида боевые награды, а у прокаженного — сердце. И лица хороших людей — у обоих. У одного костыль, у другого посох. И ничего — живут, шагают.

Увлекся Варфоломей. Кто бы знал, что за радость...

Кто бы знал, что это за радость — дополнительный том! что за смех... В него — все недочеты и упущения, весь стотомный опыт — в него. Вся провинциальность наших представлений о мире. Все неудачники, все жертвы энциклопедической несправедливости, все последние выскочки — от А до Я, между Эй и Зет!.. Какая пестрая, нелепая толпа! Оттесненные было АБАЖУРОМ, ни в чем не повинные АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА... Кто пропустил их в первом томе?.. Зато теперь, в компенсацию за моральный ущерб, Варфоломей даже карту им придал, честь, которой не удостоивались и могучие архипелаги. И вот кому еще повезет в самом конце дополнительного тома — ЙОЗЕФУ ЗУБАТОМУ, чешскому филологу: Варфоломей отодвинет одного новоиспеченного министра (уж он-то знал, что преходяще!). «Не робей, Зубатый! — поощрительно подтолкнет филолога. — Полезай в том...»

Варфоломей увлекся работой. Все легче и точнее становился выбор, все шустрее выменивал он заливки на вершины, подвиги на почести, гаечный ключ на собор — карточки мелькали в его руках, как у шулера: ни разу не обмизерился, козырной туз осенял его за спиною... — и все во славу гармонии и справедливости, и все в позор хаосу и злу.

И все это было еще что... Главная битва — предстояла. Там, между Эй и Зет, была у него заветная буковка, там должны были сойтись... «трам-тарарам», — напевал Варфоломей победный марш, торжествуя и потирая руки. Этот замысел Варфоломей лелеял уже не первый год. В Англии бы это не прошло. Здесь, у лягушатников, отчего же?.. Дополнительный том — этот корявый довесок, но ВСЕГО мира — даровал Вар-

фоломею свободы, недоступные в томах рядовых, стройных. Варфоломей приготовился, Варфоломей был готов. Полки были выстроены, пушки заряжены, горны сияли, вот-вот затрубят. Оставалось поднести запал. Варфоломей потянулся к заветной, козырной папочке... И вдруг вместо задуманного туза вытащил из колоды совсем не то — свеженького джокера. Кто-то в красном трико, шут условный. К статье АРЛЕКИН. Пригляделся — лишнее что-то: вместо бубенчиков — рожки, вместо востроносых штиблет — копытца. «Тьфу! — плюнул для смеха. — Надо же так обдернуться: вместо А — Б! А может, Д? Кто в тебя теперь верит в такого, в красном трико?.. Теперь — в тройке... Адамс. Тьфу! — уже в сердцах. — Навел нечистый!» Поднял глаза — за окном темно, и подозрительно тихо во всем здании. Вот заработался! Часы стояли. «Который же это может быть час?..» — с испугом подумал Варфоломей, и враз обступили его забытые было королевские заботы. Стопились, заgrimасничали, заподмигивали, рассыпались, как колода из одних джокеров. Варфоломей судорожно засунул этого, в красном трико, подальше, на букву Ч, заторопился, путаясь в рукавах, жонглируя зонтом и галошами, заскользил вниз. Прозрачный лифт застрял меж этажами и, единственный, светился на темной лестнице. «Одни вы остались, — с ласковой недобротою бормотал швейцар, выметая Варфоломея с опилками из подъезда. — Телеграмма вам. С праздником наступающим вас!» Какая телеграмма! Какой праздник! «Рождество-с». — «Как Рождество?!» — «Варфушенька поранился. Будем к Рождеству. Обеспечь хирурга». «Бога ради! — тряс Варфоломей нерасторопного холопа. — Когда?» — «Завтра». — «Что ты несешь, болван! — взорвался Варфоломей. — Как это завтра?» — «Обыкновенно, — обиделся швейцар, — завтра — Рождество». — «Да я про телеграмму!» — «Сегодня, конечно». Телеграмма сегодня, а приезжают когда?.. Варфоломей только рукой махнул.

Конечно, Варфоломей был большой полководец. Но положение на фронтах...

Почему-то именно великим людям мы не позволяем предаваться слабости, впасть в отчаяние. А это ведь тоже право! Отказывая им в этом самом нищем праве, мы не замечаем, что отказываем им в уме и человечности, а потом сами же страдаем, имея с этим дело. Надо полагать, что у великих и отчаяние великое, и слабость безмерна. Ибо где залог победы, как не на дне этой пропасти? Мы полагаем, что Наполеон проигры-

вает какую-нибудь свою единственную битву, потому что у него был насморк. Но мы не можем предположить, отчего у него этот насморк случился...

Все затмевал страх за Варфушеньку. Не больно ли много набежало беды на несчастного короля? Он, который возводил горы, стирал острова и насаждал звезды, — он всего лишь несчастный сын и несчастный отец, не больше нашего... Отчаяние, охватившее короля Варфоломея, трудно и отчаянием назвать — оно безмерно. И мокрый дождь со снегом сечет в лицо, и во всем теле мерзкий голодный предгриппозный озноб. Все смешалось в его голове: микро и макро. Варфушенька — елка, Вор — Адамс, хирург — каталка, черт — нечерт...

Как он так обсчитался! Думал, что завтра все успеет, и вдруг сегодня оказалось вчера. И этого только ему и не хватало.

А нет ни елки, ни каталки, ни тем более хирурга. И что с Варфушей-младшеньким? Ужасы рисовались бедному Варфоломею в виде мчащейся галопом герцогини с обескровленным Варфушенькой на руках. Что там? рука, нога? глаз, не дай Господи? Ухо? Ухо несколько успокоило несчастного короля: без уха и прожить можно. «Форцепс! — вдруг осенило Варфоломея. — Ну конечно же Форцепс! Как он мог забыть...» Форцепса, гениального Форцепса, который славился на весь мир тем, что пришивал оторванные пальцы, руки, ноги, не то что уши... Он тут же бросился к телефону-автомату, и Форцепс был дома, и как же обрадовался ему Форцепс! Варфоломей должен был немедленно быть к нему... уши, пальцы — все это пустяки! В целлулоидовый мешочек и в холодильник — завтра все пришьем... это вам все страшно, а нам, врачам, не страшно... страшно это, только когда нож из сердца вынимать, если человек еще живой, а если труп, то уже не страшно... «Какой нож, какое сердце!» — Варфоломей обмер и покрылся потом. «А помнишь, как мы плавали на «Кинг оф Самсинг»? Я тогда был скромным судовым врачом, подумать только! Да не беспокойся ты, все будет о'кэй... Вспомни только, как мы с тобой всю судовую аптеку подчистую подмели! И я до конца плавания одним керосином всех лечил. И ведь ни одного члена команды за все плавание не потерял, и не болел ни один! Как огурчики сошли на берег! правда, несъедобные... Почему несъедобные, говоришь? Да керосином все воюяли! — Форцепс хохотал. — Вали ко мне немедленно! какая еще матушка, что ты лепечешь... перелом? и ее поставим на ноги! завтра же и поставим... каталка? какая каталка... да у

меня их тысячи, твоих колясок, бери любую! Что мне, такого дерьма для друга жалко? Слушай, не думал, что ты такая зануда! Будет тебе елка. Откуда? да у себя на участке срублю! да перестань ты — мой участок, что хочу, то и делаю...»

Форцепс был совершенно пьян. Варфоломей вырывал у него топор, которым тот метил срубить собственную ногу. «Слушай, зачем ты женился?» — замахивался Форцепс. «Тебя спасал», — вырывал у него топор Варфоломей. «Неужто я был когда-то влюблен?!» — «Был». — «Какое счастье, что я не женат, тем более по любви...» И вот так, целясь в ногу Варфоломея, одним взмахом, профессионально, с одного удара, Форцепс удалил пушистую елочку перед роскошным особнячком елизаветинской эпохи — островок Великой Британии в стане лягушатников. «Мой дом — моя крепость, — заявил он камердинеру, выразившему решительное осуждение под маской непроницаемости, — захочу — спалю. Проводи его величество в телефонную и соединишь с его резиденцией». И, о счастье! — вдовствующая королева-мать была совершенно всем довольна: Мэгги вернулась! Ты не представляешь, что за прелесть наша Мэгги! она мне вымыла голову и завила! очаровательно... нет, голос у меня нормальный, просто мне неудобно говорить... Нет, они не вернулись, разве они должны были вернуться? Уверю тебя, никого, кроме Мэгги... просто мне неудобно говорить, потому что у меня в руке зеркало. Нет никакой телеграммы, и никто не приезжал. А что, у нас будут еще гости на Рождество? какая прелесть! Приходи скорей, ты меня не узнаешь... Дать тебе Мэгги?..

Про Мэгги было не совсем ясно, а впрочем, почти ясно: она узнала, что герцогини не будет на Рождество. Герцогиня ее не переносила, Варфоломей никак не мог понять за что: лучшей фаворитки их принц им ни разу не приводил... Зато королева-мать — обожала, и ее Варфоломей понимал. Герцогиня недоумевала, что в ней все находили; Варфоломей же недоумевал, что Мэгги могла найти в его сыне. Редкое бескорыстие! как всегда, в нужную минуту, как всегда, спасла, как всегда, выручила!.. «Милая Мэгги... — умилился Варфоломей. — Да было ли у них что-нибудь с этим проходимцем?.. — почему-то подумал Варфоломей. — Она не такая...»

Варфоломей с Мэгги говорить не стал, оставил на всякий случай телефон Форцепса и, успокоенный (быстро доходят только дурные вести, а герцогиня все еще в пути...), проследовал из телефонной в буфетную, где Форцепс мудрил в королевском кувшине невероятный рецепт — «резекция дня».

Наутро ударил морозец и присыпал снежок — класси-

ческая рождественская погодка. Пожалованный адмиральским званием Форцепс выкатил короля Варфоломея в богатой коляске новейшей конструкции, драгоценно посверкивающей спицами и прочими никелированными частями многообразного и не до конца еще известного назначения. Король обнимал хирургический саквояж Форцепса, в котором звякали тяжелые инструменты как-то не металлически, а стеклянно, и вчерашнюю елочку. Тщательно выбритый, с орденом Почетного легиона в петлице, на запятках следовал адмирал Форцепс. Взволнованные подданные детского возраста бежали следом, улюлюкая и рассыпая конфетти. Полицейский на углу отдал честь.

И так, с саквояжем и елочкой, как со скипетром и державой, с грумом в адмиральском звании на запятках, вкатил король Варфоломей в узкий двор собственной резиденции. Оставив выезд у лифта, поддерживая друг друга и опираясь то на елку, то на саквояж, поднялись они наверх. Но ключ не лез в скважину. Был он от совсем другого замка: этот был от французского, а тот был, разумеется, от английского. Возможно, ключ был даже от другой двери, возможно, от Варфоломеева кабинета. И других ключей не было — Форцепс ключей с собой не носил, у Форцепса для этого был свой ключник. На звонок не отзывался совершенно никто. И на стук тоже.

Волна беспокойства, охватившая короля, имела вкус вчерашнего «раствора». Он спустился вниз позвонить по телефону, никто не брал трубку, и тогда он обнаружил, что коляски у лифта уже не было. В отчаянии поднялся Варфоломей обратно — на площадке не было ни Форцепса, ни прислоненной к двери елочки. Варфоломей жалобно поскребся в дверь и услышал из-за нее только покашливание Василия Темного. Тогда король заколотил и заорал изо всей силы: «Эй, есть здесь кто-нибудь?!» И с облегчением услышал хоть и приглушенный расстоянием, но достаточно пронзительный крик королевы-матери, не то «Варфушоночек!», не то «Где ты шляешься!». «Почему, мать, ты не берешь трубку?» — кричал, припадая к двери, Варфоломей. «Почему ты не звонил?» — кричала в ответ мать. «Я ключи в доме забыл!» — орал Варфоломей. «Не знаю, куда ушел твой сын», — отвечала мать. «А где твоя Мэгги?» — «Мадлен сегодня не придет, к ней приехали внуки!» — «Телеграммы не было?» — «Узел какой-то принесли!» — «С чем? какой узел!» — «Я сейчас поищу твои ключи... ключи твои найду, говорю!» — «Только, бога ради, не ползай опять по квартире!!» — вопил Варфоломей.

«Твой азиат принес!..» — «Что этот подлец унес??» — «Что случилось? — кричала мать. — Что он поранил?!» — «Бога ради, не трогайся с постели!» — «Он живой??» — «Как ты мне их подашь? я же с другой стороны!»

«А я тебя всюду ищу! — ворчал Форцепс, отрывая его от двери. — Не вопи так громко! ничего не случилось, я машину пригнал». В окно лестничной площадки Варфоломей увидел на глазах растущую стрелу автокрана, в люльке болтался рабочий, целясь на Варфоломеев балкон. «Ты не видел внизу коляску?» — на всякий случай спросил Варфоломей. «Нет. Сперли. Да ты не горюй, я тебе пригоню другую. А где моя елочка?» — «И елочки нету...» — согласился Варфоломей. «Ну ты и шляпа, ваше величество, — расхохотался Форцепс, расстегнул свой саквояж и отхлебнул из него. — Я вот его никогда из рук не выпускаю!» С этими словами он расстелил у двери стерильную хирургическую салфетку и извлек пинцет, ланцет, ручную хирургическую пилу и щипцы, завитые невероятным винтом. Разложив все это, он достал из кармана кошелек, порылся в нем, достав наконец то, что нужно. Он слегка обстучал замок вокруг, прикивая ухом, как к спине больного, вставил монетку в прорезь и, легкими движениями ланцета удалив из замка что-то ненужное, как опухоль, повернул монетку — замок умиротворенно щелкнул, и дверь распахнулась. По коридору гулял морозный сквозняк, навстречу им шел ликующий человек в строительной каске. Будто две бригады проходчиков, которые долбили туннель с двух концов и наконец сошлись, — так они встретились посреди квартиры, обоюдно довольные своей точностью, как люди, годами делающие одно дело, но ни разу друг друга не видевшие. «Все в порядке, — докладывал бригадир Форцепсу. — Пришлось выставить раму. Сейчас я вам открою дверь». — «Откройте», — согласился Форцепс.

И бригадир послушно направился к двери с выражением медленно проворачивающегося недоумения на лице, чтобы с таким именно лицом отворить ее перед герцогиней с Варфуншенькой-младше-младшего на руках.

Нога все-таки. Слава богу. Нога у младшенького была обернута всеми шарфами, обута в шапку-ушанку, и тесемки бантиком наверху, будто нога была вверх ногами... «Кто вы такой! что здесь творится?!» — раздается ее пронзительный серебряный голосок, который как же не узнать после разлуки... «Где ухо?» — приступает немедленно к делу профессиональный Форцепс. «Форцепс, милый! — сменив диапазон, заворковала герцогиня. — Как я рада, что вы уже здесь... что

это именно вы... Какое ухо?!» — взвизгнула она. «Нормальное, оторванное, в мешочке...»

Прервемся. Вздохнем. Несколько счастливых сцен...

У бригадира заело стрелу, и она так и торчит в окнах Варфоломеевой резиденции, как большая елочная игрушка, радуя Варфушу-младше-младшего своей упорной, пожарной окраской; сам бригадир устанавливает назад выставленную раму, после знакомства с аптечкой Форцепса все более успешно, но не сразу...

Форцепс, разобрав наконец, где у пациента нога, а где голова, разложив точно так же, как у двери, свой инструмент (пилу тоже) и с великим трудом разобрав всю эту постройку из шапки, шарфов, бинтов и шины («Какой коновал натворил вам это?»), забрав его милейшую, чуть припухшую, слегка грязноватую ножку в свои красные вареные лапищи, нежно, как бы лаская и согревая ее, вдруг резким и страшным движением будто отрывает ее напроць и тут же приставляет обратно; Варфушенька, как сказал один, хотя и янки, но достаточно точно, «опережая звук собственного визга», взлетает под потолок и там порхает некоторое время, кружа вокруг лампы, как ангелок; герцогиня лежит в обмороке, а когда приходит в себя, видит уже приземлившегося, совершенно здоровенького сына и нехорошо выражающегося Форцепса, пытающегося прибинтовать назад шину, но это безнадежно.

«У вас дверь настежь», — говорит Варфоломей-просто-младший, вводя прехорошенькую девицу, которую Варфоломей не надеялся больше увидеть. «Мэгги! — восторженно восклицает королева-мать. — Как я рада вам, милая! Поправьте мне чуть-чуть, у меня, кажется, сбилось...» И пока прекрасная Мэгги взбивает ей обратно что-то невероятное — башню XVIII века; пока старший сын отчитывается перед матерью (к счастью отца, от него сегодня ничем таким не пахнет и лишь чуть-чуть пивом); пока Форцепс складывает свой инструмент в саквояж, доставая оттуда аптечные пузырьки... Варфоломей наконец обращает внимание на большой и грязный узел, и ему кажется, что где-то он его уже видел... Ну да, это ошметки его шубы! С большим интересом развязывает король узел: что бы там могло быть?..

Когда король Варфоломей входит в общую залу в этой шубе, то неудержимое веселье поселяется в его резиденции, и больше оно не исчезнет из нашего повествования, по крайней мере, пока не кончится Рождество, а мы не знаем, что будет за ним, ибо Рождество — СЕГОДНЯ.

Шуба, если можно было бы такое вообразить, — целая!

Она сложена в более прихотливом, чем шахматный, порядке, где оставшиеся волчьи лоскутки соседствуют с огненными шкурками пока еще неизвестного животного, то ли кролика, то ли кошки. Во всяком случае, шуба цела, но беспокойна: кажется, клубок дерущихся, как и положено кошке с собакой, животных входит в комнату — а это король Варфоломей в своей шубе... То ли гибнет в волчьей пасти бедный зайчик?.. но скорее все-таки кошка, ибо Василий Темный насторожился, и выгнул спину, и отошел к батарее центрального отопления, у которой пригрелся бригадир, и каска его съехала набок. А может, не шубы вовсе, а самого Варфоломея сторонится степенный кот, видя такую утрату королевского достоинства: в шубе, надев бригадирскую оранжевую каску, заняв у королевы-матери колокольчик для вызова прислуги, Варфоломей выплясывает посреди залы, как собственный королевский шут, ко всеобщему восторгу и удовольствию...

«У вас дверь вся нараспашку... — говорит уже давно стоящий в дверях и наблюдающий пляску Варфоломея его придворный Вор с пушистой елочкой в руках. — Что, нравится шубка?» — спрашивает он с нескрываемой гордостью. «К нам, к нам, дорогой Самвел!» — приглашают его к общему веселью, но турок серьезен, как никогда. «Можно вас на минутку, ваше величество?» — вызывает его в коридор.

В коридоре, поблескивая всеми своими марсианскими частями, стоит пропавшая с утра коляска. «Это последняя модель! — гордо говорит турок. — Вы и не мечтали о такой. Американская. Она стоит не менее нескольких тысяч долларов. Примите ее от меня в счет нашего расчета, а также в знак почтения к вашей глубокоуважаемой матушке...» Варфоломей лишается дара речи и лишь переводит взор с коляски на Самвела с елочкой, меняя последовательность: елочка, Самвел, коляска — коляска, елочка, Самвел и т. д. «Ладно, — соглашается наконец он. — Не будем больше торговаться, Квиты. Только скажи мне все-таки, почему ты так и не сознался, что украл?» Глубокая печаль, равная несправедливости Варфоломея, отражается во взоре турка: опять начинается... «Да как же вам сознаешься, когда вы, может, слова своего не сдержите...» — «Значит, опять не можешь?» — «Ох, не могу...» — скорбно вздыхает Вор. «Так мы же один на один! — вдруг осеняет Варфоломея. — Это же не доказательство. Ну, что тебе стоит? Ну, пожалуйста... Христом-богом тебя прошу... Ради Рождества...» — «Один на один — это вы правильно... О ты, имени которого вслух не произнесу, дай

мне силы!» Судороги пробежали по телу турка — он не мог. «Ладно, бог с тобой, ты свободен!» — вздохнул Варфоломей. «Совсем-совсем?» — ожил Вор. «Совсем-совсем», — согласился Варфоломей. «Навсегда?» — все еще не мог поверить подозреваемый. «Конечно». Вор опустился на колени и поцеловал Варфоломею руку; Варфоломей нагнулся его поднять, мол, что ты, что ты... и, когда нагнулся, вор быстровато и горячо зашептал ему в ухо: «Да это я, я украл у тебя, у тебя украл я тогда, тогда я у тебя украл... Да как же я мог не украсть, когда ты сам мне показал где!.. — вдруг разгневался он, вскакивая с колен. — Ты сам, ты сам!..» Так они обнимались, целовались и рыдали на плече друг у друга, наконец-то в полном расчете. «Пошли к нам, отметим! — приглашал счастливый Варфоломей вновь обретенного брата, и турок было отказывался, но уже соглашался, как вдруг — елочка... Самвел, коляска, Самвел, коляска, елочка... — Позволь, — ошел Варфоломей, — а елочку с коляской ты разве не у меня... позаимствовал?..» — «Э, нет! — рассмеялся вор. — Это уж дудки. Это вот точно нет. Елочку мне троюродный брат принес, он елочный базар держит... А коляску... а коляску... лучше и не спрашивайте, чего мне это стоило! Мне прямо сейчас на улице сто франков за нее предлагали!» Вор, а вернее, теперь уже и не вор, а турок, и даже не турок, а дорогой сердцу Варфоломея Самвел, был готов расплакаться от обиды и неправого подозрения и уже мог совсем уйти от этой обиды, так что пришлось и Варфоломею перед ним поизвиняться...

И вот елочка горит огнями; Самвел очень ловко справился с перевязкой, и теперь Варфушенька-младше-младшего катает по коридору бабулю в новенькой коляске, и оба визжат от восторга: и нога у него как здоровенькая, и прическа у королевы невероятная; старший сын, от которого ничем не пахнет, — то он выйдет за Мэгги из комнаты, то она от него уйдет под испытующим взглядом герцогини, то они оба войдут; из кухни доносится запах пирога, который печет Мэгги с подручными Вором и бригадиром, — турок, как всегда, переложил пряностей...

И вот все в сборе, вокруг пирога и вокруг елки, и Варфоломей думает, может ли быть одновременно столько счастья... даже страшно. «Между прочим, — провозглашает Варфоломей, известный энциклопедичностью своих познаний, — по восточному календарю нынче наступает год кота!» Все начинают ловить Василия Темного, чтобы водворить его на самое почетное место. Герцогиня гладит кота, и Форцепс гладит

кота, и Варфуша-младше-младшего гладит кота, и Варфуша-средний гладит кота, и Мэгги гладит кота, и бабуля-королева гладит кота... и Варфоломею-королю некуда руку просунуть, потому что все гладят кота: Форцепс гладит кота, думая, что гладит руку герцогини, а на самом деле не ведает, что гладит руку вдовствующей королевы-матери, которая думает, что ей гладит руку ее любимый сын Варфоломей, а Варфоломей-средний гладит кота, думая, что гладит руку Мэгги, а сам гладит ручищу Форцепса, а сам вот уже давно убежал, а сама Мэгги... а где Мэгги? Варфоломей вдруг чувствует, что кто-то ласково перебирает его волосы, но это не мать и тем более не герцогиня... Варфоломей улыбается счастливо, и тут новая волна непоправимости и отчаяния охватывает его, и он тихо выскальзывает из-под этой ласки, как бы забыл что-то, как бы зачем-то проходит к себе в кабинет и там запирается изнутри.

Там он сидит, тихо подвывая: за что, Господи!

Младшенький, старшенький, матушка, герцогиня, Форцепс, Вор, Мэгги... Ты стареешь, Варфоломей! Плечи ломит под бременем власти... Ты устал. Ты всего лишь устал, Варфоломей! С кем не бывает... Кто за тебя потянет все это? Чья десница удержит такую державу...

И Варфоломей окинул ее взглядом — и не хватило взгляда. Она была вечна и бесконечна, от Эй до Зет...

...Когда мир уже сотворен, и твердь создана, и хлябь, и небо, и звезды, и засеяны травы, и выращены деревья, и выпущены в воды рыбы, а в леса — звери, а в небеса — птицы, а в травеса — жучки и паучки... когда не упущен и гад, и комар, и таракан... когда впущен в этот мир и человек, когда он прожил уже и золотое младенчество, и бронзовую юность, и железную зрелость... когда он все, что мог, уже слепил, нарисовал, спел и написал... когда он отпахал и отвоевал, возвысил героев и низверг тиранов... когда этот мир, наконец, закончен к сегодняшнему и никакому другому дню... когда, стройные, гренадерские, грудь в грудь, плечо к плечу, скрипя кожей и посверкивая свежим золотом, выстроятся на полках все тома Энциклопедии в единственно возможном порядке — по алфавиту, от А до Я... никто другой, как Варфоломей, принимает этот парад.

Как генералиссимус, как крестьянин, как Творец, а если и не как Творец, то как бы с ним под ручку. Ходят они вдвоем, только вдвоем друг друга и понимая. Ходят и поглядывают хозяйским глазом: каков Дом! Там щепочку подберут, там планочку укрепят... там мушку пропущенную в полет запус-

тят, там травку забытую посеют... Варфоломей гордится своей близостью к Творцу и Творению: какая стройность, какая мощь! — вот его чувство от выстроенности томов. Творец усмехается про себя: эх, человек... это же надо так все перемешать, в такую кучу одну свалить: цветок, солдат, камушек, редкая тропическая болезнь, балерина, шакал, гайка... Фемида, Франция, фа, фазан... Что за монумент тщеславию — Энциклопедия! Какой практик не рассмеется, глядя на этот жадный, беспорядочный ворох, именуемый человеческим знанием? А Творец, ко всему, еще и практик.

Но и Варфоломей хоть и король всего лишь, а тоже — практик.

Кот, замок, вор, автокран, пирог, коляска, каска, скальпель, нога, прическа, ухо в мешочке, топор, колокольчик, хирург, шуба, волк, елка, бинт, саквояж, бочка с медом... На что же все это похоже?

И Варфоломей вспомнил отеческую снисходительность Творца, когда прогуливался с ним об ручку, вдоль равняющегося на грудь четвертого человека гвардейского энциклопедического полка... как Тот не одернул его, не осадил... и усмехнулся над собой Варфоломей, и что-то будто понял в который раз.

Придвинул к себе чистый лист бумаги...

Вот сейчас сидит рисует и смеется. Заставку к букве А.

Посредине листа — большая, толстоногая, прочно стоящая, как пирамида,— А.

В левом верхнем углу от А парят рядышком аэростат и автомобиль; прямо под ними — араб в бедуинском одеянии целится с колена из винтовки, привязав своего осла к некоему орнаменту, на веточке которого уселся орел; целится араб в серну, что в страхе убегает от него по другую сторону А; на вершине буквы уселся некий удод; к левой боковине прислонился локтем арлекин; алебарды, пики, боевые топоры — целый арсенал — прислонены к правой боковине буквы; в замкнутом треугольничке буквы А — паук сплел свою паутину; серна боится бедуина и убегает, а рядом с ней страус и овца — совсем его не боятся и пасутся себе; Арлекин смотрит через буквы на гору оружия и будто улыбается: что, мол, за хлам... в ногах буквы — якорь, луковица, подкова...

— Какое-то, однако, возникло неравновесие...

Кто-то скребся и дышал за дверью. Неужто Мэгги?

Варфоломей приник ухом к двери: никого.

Он отворил ее, стараясь не щелкнуть замком... и в комнату скользнул белый кот.

Варфоломей вздохнул с облегчением и разочарованием.
Взглянул на лист: кажется, хорошо!

Орел перевешивал слева.

И Варфоломей подвесил справа, на такой же веточке —
А Б А Ж У Р.

Фотография Пушкина¹ (1799 — 2099)

Вот сегодня, наконец, оказалось, что войны еще никакой нет.

А позавчера она разразилась, и еще вчера она, возможно, была.

А сегодня опять «еще не вечер».

А позавчера, «между собакой и волком» (надо же! одним присваивают героя, а другим — «часть речи»...), позавчера, в сумерки спустился я с чердака включить на нем свет (он у меня включается вниз), все уже спали, прокрался, включил и вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел, на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, все еще с чердака, что-то там на чердаке недодуманное додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовала нам жизнь за день, из облаков, теней, трав и заборов, все теперь напрочь стерла, размазав своей резинкой: не получилось.

¹ Данный рассказ наиболее отклоняется от оригинала. Не только переводом, но и переложением его нельзя обозначить. Разве что — «по мотивам»... По мотивам рассказа «Фотография Шекспира, или Смех Стерна, или Таблетки для Свифта», действие которого развивается в пяти исторических и семи грамматических временах. Это оказалось для меня слишком сложно. Рассказ настолько основан на скрупулезном знании жизни и творчества писателей (Шекспир, Стерн, Свифт, У. Ваноски, Э. Тайрд-Бэффин) и истории Англии (XVI, XVII, XVIII, XX, XXIII веков), что мне надо родиться заново, там и тогда, чтобы овладеть его реалиями. Там герой из будущего устремляется в прошлое сфотографировать Шекспира с контрабандным намерением навестить Стерна и подлечить Свифта, в результате лечит Шекспира и сводит Стерна со Свифтом, сильно напугав обоих, и маленького мальчика и безумного старика... в общем, чрезвычайно витиеватый и запутанный сюжет. Я был вынужден перенести действие на более мне известную и для России узнаваемую почву — получилась «Фотография Пушкина». Я значительно упростил структуру рассказа, сведя его действие лишь к трем временам (как историческим, так и грамматическим): прошлому, настоящему, будущему. Тем не менее сама догадка о подобном сюжете была бы для меня невозможна, если бы не оригинал Э. Тайрд-Бэффина, и приписать рассказ совсем уж себе было бы отчасти неловко. Да простит он меня за вынужденное соавторство... (Прим. пер.)

Но так смазав белый лист дня, что-то, от спешки, пропустила: то куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика, как вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки... Так я буду сидеть, предаваясь, лениясь снова взойти на свой, теперь уже освещенный верх, впрячься в лямку своего чердака, поволочь его сквозь непроходимый текст. Тут невидимая уже калитка распахнется, обозначив свое отсутствие скрипом, и ввалится вполне видимый мужик, клонясь, как забор, на сторону, расшатывая нетвердой походкой сумерки. «Что-то я тебя раньше не видел», — скажет, усаживаясь рядом, попросит стакан.

Вообще в нашей развалившейся деревеньке (три жилых двора из двух десятков, пребывающих, как в ускоренной киносъемке, в разных стадиях разрушения и разорения) у нас так не принято, чтобы заявляться запросто друг к другу даже днем. Я ему попробую стакан-то не дать, ссылаясь, что все спят, что сам я не пью, опасаясь разрушения своего маленького времени, как раз будто очень захотев подняться и продолжить работу... я ему попытаюсь стакан не дать. Тут-то он мне и вывалит, преисполненный скорби, поигрывая то желваками, то быстроватыми взглядами, то роняя голову, как бы слезу не то смахивая, не то скрывая... Тут-то он: «Это что же, выходит? опять война?..»

А я только третьего дня отмахал по нашим дорогам за пятьсот километров, за Ярославль, за Кострому, за Судиславль и Галич — наконец вырвался из столицы, к сыну, к чердаку... Быстро домчал, без поломок и аварий, часов за двенадцать. Какая война? что плетешь?

А он мне, без обиды, а с огорчением, как недоумку — все в подробностях. Как ехал из райцентра последним автобусом, как у одного парня транзисторный приемник был, как все в автобусе мужики слышали... как все это случилось, что война... Не хочу даже сейчас, когда миновало, подробности эти воспроизводить. «Это что же, — мотает он головой, как лошадь, — только внуков народили и поднять не сможем?»

И впустил, и чашку дал. Оказалось, что всего лишь воды и просил. Лишь она и требовалась... Только уселся он прочно, как навсегда. «Что, — думаю, — сейчас их всех поднимать и ехать или пусть уж поспят до утра?.. А может, и вообще уже ЗРЯ ехать — ничего-то там и нет, и такая судьба мне выпала: к сыну поспеть и выжить... А как же?..» Вот в эту сторону невозможно и подумать, про тех, кто ТАМ. Это как-то отрезвляет. Да полно, да не наплел ли ты все? Э, нет, говорит, кабы

наплел... И опять вворачивает подробность. Мне ли не знать, какова она, подробность? Гипноз один... однако опять верю. Потому что страшно.

«Что это я тебя не знаю?» — опять говорит он, это у меня-то в доме мною впущенный, сидючи!.. «А я тебя», — говорю. «Меня не знаешь?! Да нет такого, кто меня здесь не знает! Я — Чистяков! У меня брат на железной дороге...» И так далее.

Понял я про него: такой мужик — то он сидел, то воевал, то у него ордена, то внуки, то я ему сынок, то он меня младше — пьянь, поэтическая натура, я таких много не в деревне видел, а — ИЗ. Понял я про него, да не все: «Ты меня не знаешь, а знаешь ли ты, что ты в МОЕМ доме сидишь?» Историю покупки избы моим тестем я знал смутно — может, и правда. Нетрудно было в таком случае, с авторской сентиментальностью, вообразить, каково это: узнать про войну, быть не вполне, сами ноги привели... и вот на пороге, где родился и вырос, неизвестно какой, но инородец сидит, в усах и в очках («Почему у тебя усы, а у меня нет?») — в частности, спросил он меня с наигранной социальной злобой, а про очки — нет, ничего не сказал...), сидит на родимом пороге, и в дом не пускает, и даже воды не подаст... И вот я и впустил, и подал (за войну-то!), а он сидит, скорбит и воды той отпить не может: сидит в вечной наклонке, мастерски ни на что не опираясь, но и с табурета не падая, а чашка в его руке, в другую наклонку, но тоже не вываливается, и вода в ней, под острым углом, подчиняясь физике, обозначает горизонт и неправдоподобный угол, и Чистякова, и чашки. Оставим его до утра в этой позе.

А наутро та же трава и погода — ни Чистякова, ни войны; однако в трех дворах наших с удивительным спокойствием подтверждают: да, было дело — теперь война; подождем, сообщат... Да кто сказал-то?! А Чистяков и сказал.

Подождали еще денек — и ничего нам не сообщили, не подтвердилось, а нам и не до того было: погодка наконец выдалась — сено ворошить.

А мне — сено не ворошить. Я — на свой чердачок-с. У меня творческий процесс-с. А только чего — не знаю. Разве вид из окошка, в который раз, не сумею описать. Там-то как раз сено и ворошат. Баба и мужик. Костерочек в стороне развели. Отсюда не видно — кто. Наверно, Молчановы — их угол...

По стеклу на самом переднем плане муха ползет, и так же мысль моя уползает за мухой... Вот ведь, думаю, ни живопись

и ни фото — никак этого не отобразить, что в эту рамку для меня вставлено кем-то, задолго до меня эту избу ставившим, никак планировку к виду из моего окошка, естественно, не учитывавшим, но меня, однако, к этому пейзажу приговорившим. Не сфотографируешь так, чтобы и рама окошка, как рама картины, и муха ползает по картине, а на переднем плане столб, проводами, как нотными линейками, пейзаж для начала разлиновавший так, что на нижней линейке еще забор, на средней как раз сено ворошат, а на верхних двух — уже дальний лес и само небо...

Стоило отвернуться это записать, как ушла баба, улетела муха, мужик на глазах скрылся за стог, осталась одна собачка, которой до того, надо сказать, не было. А мужик-то, было пропавший, затоптал костерок, да в ту же сторону, что баба исчезла, и направляется.

А теперь оглянусь и — ничего: ни дымка, ни собачки. И свет переменялся. Мирный пейзаж, столь утешающий своей вечностью! Где ты? Какое бешеное время свистит в нем! Тахикардия какая-то. Мчание. Не говоря уж о ветерке и облаках... а там, под спудом, тихой сапой, там гриб растет, да вошь ползет, да мышь шуршит. Дымок оторвался от земли, как душа, уже сам, без мужика — от порыва, от ветра — и нет его. Пейзаж закрыт на обед. Кошка Наташка по опустевшему пейзажу к дому идет, тоже обедать, тоже кормить... сейчас и меня позовут снизу суп есть и — пропал пейзаж!

Так и было. Война не война, а шевелиться надо. Пора. Живой человек всегда только начал жить. Вот и я сейчас начну, но с чего? С этого или с того? Ужасна эта папка заброшенных начал и набросков — загибаются углы, желтеет бумага, выцветает текст, а ни с места. Не это, и не это, и этого неохота... Пейзаж не пейзаж... а какой-то свист времени: две бабочки об него теперь бьются, стучаются через стекло о пририсованных наспех овечек... Может, это? Ну уж нет! Сколько же это прошло? Семнадцать с половиной. Не минут (вот за минуту сколько в пейзаже случилось!), не часов (вон сколько за утро паворошили!..), не дней (вот уже неделя, как я здесь...), а — лет!! Лет, минут — какая разница! Мне было тридцать... Разница — НАЛИЦО. Не тот был чердак. И вид не тот. Продолжение не следует. Продолж...

— ...для нас нет сейчас более благородной задачи, чем на страницах наших изданий достойно отметить трехсотлетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вся

жизнь Пушкина, его деятельность, его титанический труд являются близкими, дорогими для сотен миллионов жителей нашей планеты. Всюду звучит имя Пушкина...

Имя Пушкина звучало на этот раз под сводами (естественная оговорка, учитывая торжественность обстановки, потому что сводов, собственно, не было), вернее, в стенах, где оно (имя) вполне могло бы прозвучать еще при жизни виновника... Даже, быть может, голос его... Но нет, представить головокружительно — охватывает трепет... Нельзя не отметить заслуженной удачи организаторов этого, не будет преувеличением назвать, форума председателя хурала друга Албуу Сержбудээ и его бессменных заместителей друга Ивана Аронова и Джона Иванова (бурные аплодисменты и просто аплодисменты). Сама их идея перенести заседание юбилейного совета со Спутника Объединенных Наций (СОН) на старую нашу Землю, на которой жил Пушкин, не могла не сказаться благотворно на самой атмосфере, товарищи, собрания. Здесь, под серебряным небом Петрограда, под хрустальным облаком Петербурга...

Доведя свой голос до звона, докладчик сам вздрагивал, как от неожиданного окрика, терял нить и немножко озирался. И мы оглядимся сейчас, как бы вместе с ним, но не в такой уж растерянности, кое-что подметим и поясним. Серебряное небо Петрограда, по образному выражению докладчика, означает гигантский, отражающий некие жесткие и острые излучения колпак, действительно снаружи очень серебряный цветом, но, конечно, не из серебра, а из специального античегота (чтобы нам было понятно: род пластика, хотя, конечно, уже и не пластика); «хрустальное облако Петербурга» — не менее образно выражает тоже колпак, но меньшего размера, концентрически помещающийся в петроградском, только абсолютно прозрачный, стеклянный, хрустальный, плексигласовый, хотя, конечно же, и эти вещества давно устарели, и имена их звучат для далеких современников так же волшебно, как для нас эфир, зефир, веницейская амальгама. Этот петербургский колпак был род того колпака, какие ставили в наши далекие времена над сине-золотыми часами, чтобы в тщательные складочки бронзы не забивалась пыль и зелень; эти часы до сих пор позванивают в прошлом времени, звуковой паст-перфектум, и как-то напоминают мне — и я уже запутался, в какую сторону смотрю из своей посредственно-временной точки модели «Адлер» (то есть стука сейчас на машинке) — «напоминают мне оне»... что на «хрустальном облаке Петербурга», с внутренней стороны колпака были

тоже пятна голубой эмали, прикрашенные (притороченные, приуроченные) к золоту спицей Адмиралтейского, Петропавловского, Исаакиевского, наподобие живых штилевых обчак...

И вот, пока тикают эти каминные часики, показывая время внутри колпака, отмеряя четверть часа, проведенных моей прелестницей прабабушкой за кружевами и поглядыванием в окно, пока не присоединится к тиканью цоканье по торцу, а мелодичный бой не сольется с ее восклицанием в передней ...господи! это представляет мне сейчас странную возможность рассказывать о небывшем... итак, пока не кончится завод, мы продолжим пояснения, ибо чувствую (будто слышу), что докладчик сейчас снова доведет свой период до звона и заозирается по сторонам, как бы ища нас в аудитории.

— ...Наконец наступила эпоха торжества охраны природы и памятников! (Я был прав: докладчик смолк и растерянно посмотрел на меня, вернее, сквозь...) И тут мы поясним, что она действительно наступила. Аналогичные колпаки были возведены над Парижем и Римом, Пекином и Лхассой. В гамбургском зоопарке дал потомство кролик, а под колпаком Тауэра был восстановлен исторический газон. Очень красиво смотрелась Земля с оперативных спутников: глубокого черного цвета, с серебряными пузырьками музейных центров, она выглядела теперь как ночное звездное небо — да и была ночным небом, — так смотрели на нее люди, снизу вверх. Они смотрели на Землю как на небо...

А на трибуне новые ораторы...

— ...но у нас, господа-товарищи, досадный пробел, — это, без излишней эмоциональности и метафоричности, как и подобает ученому (факты и только факты!), говорил русского происхождения академик Прынцев. — Первая фотография, как известно, появилась в России в сороковых годах девятнадцатого века. Большой удачей нашей науки являются фотографии Гоголя, Чаадаева и других немногих современников Пушкина. Но сам Пушкин, к нашему глубокому сожалению, не успел сфотографироваться. По сути, что мы знаем объективно о внешнем облике великого поэта? Иконография необычайно скудна и, пожалуй, более говорит нам об индивидуальности портретистов, нежели модели... Мы должны исправить эту ошибку времени! И назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык, — запел академик.

Ах, Александр Сергеевич! Зачем же так?..

.. Всяк сущий в ней язык наполняли зал. И мы пройдемся сейчас по рядам, затесавшись между фотокорреспондентами и кинооператорами, если их только можно так назвать, потому что в предметах, которыми они орудуют, едва ли можно узнать то, что мы считали фототехникой в наше время... Во всяком случае, эти люди не обязаны изображать внимание на лице или аплодировать в нужных местах — они заняты. То ракурс, то необходимый делегат — и вот новая голубая вспышка озаряет прежде всего их самих, а отпечаток этого мгновения навсегда обозначит, что мгновение это прошло, но утешит попавших в кадр тем, что оно будто бы было... И мы, как киноглаз, пошарим сейчас по рядам, выберем крупным планом того, другого — совершенно произвольно (вдруг понадобятся нам в дальнейшем повествовании в качестве героев — такое пошлое лукавство!).

Мы находим, однако, так много общего в разноцветных лицах, что никак не можем пока ни на одном остановиться. И правда, далеко не каждый мог бы удостоиться чести сидеть здесь, лишь избранные. Тем более такой экстренный случай — сессия на Земле, на которую вообще нужен пропуск, виза (а Петербург, как в наше далекое время, зал Публичной библиотеки со спецпропуском): чтобы пройти все это, нужно, скорее, совпасть, чем выделиться. Это понятно: земное тяготение теперь небезопасно в идеологическом отношении. И вот нам трудно задержаться на чьем-либо лице... Задержаться, конечно, и можно бы, но тогда на любом, без выбора: предпочтение неясно, первое попавшееся пропущено... Но — вдруг! — некая тонкость в чертах, потупленность взора. Так ковыряют вилкой скатерть, как он потуплен, хотя нет, руки ведут себя выдержанно, то есть никак не ведут себя. Это-то, что невдомек соседям нашего нервного молодого человека (и невдомекто потому, что самого подозрения в отличии уже быть не может, оно атрофировалось давно за ненадобностью, что и спасает, к счастью, нашего избранника, чем, мы подозреваем, он по-своему даже пользуется), это-то, что им невдомек, и заставляет нас остановить свой выбор именно на нем... и тут нам приятно отметить, что юноша этот не кто иной, как отдаленный потомок Льва Одоевцева и Фаины — незаконная ветвь, Игорь.

У Игоря першит в горле от сухости петербургского воздуха, и потомок невских наводнений — жаждет. Да, да, так все переменялось: именно — сухость. Когда, в день открытия сессии, Игорь посетил музей-квартиру и увидел там письменный стол, накрытый колпаком, а чернильный прибор внутри

прикрыт еще одним, значительно поменьше, то он тут же (и как он прошел все проверки?!) представил себе колпак над Петербургом, а над ним верхний, ленинградский, — у него голова закружилась от телескопичности, и зачем-то, нелепо, он ее ощупал, свою голову...

Вовремя. Так ему казалось, что он легко, как некую насадку, снял свою голову с плеч и теперь (она сразу уменьшилась до размера яблочка, очень опрятная) повертывал в руках, с удивлением, но и как-то равнодушно разглядывая, как не свою... Это-то, пожалуй, и будет наиболее близким описанием того, как у него потупляется взор и что он там разглядывал перед собой на пустом пюпитре, привязанный к нему белым проводком (мини-репродуктор) за ухо, иногда переключая каналы с фламандского на японский или славное потрескивание готтентотов, но другому уху все равно было очень хорошо слышно...

— ...всего сто и три дня отделяют нас от великого события — трехсотлетия со дня Александра Серг (г — фрикативное)еевича Пушкина. Мы встречаем это событие в обстановке оГромноГо политическоГо и трудовоГо подъема, — говорило фрикативное Г. — Всенародное соревнование вызвало новый прилив творческоГо энтузиазма наших людей...

Игорь катал свою головушку по ладони, как шарик из подшипника моего детства. Подшипник, вращаясь, тоже издавал когда-то фрикативный звук, может быть, Г.

— ...вся Вселенная восхищена нашими достижениями в области покорения времени. Мы можем с полным правом утверждать, что первая машина времени была задумана в России уже почти два века назад. (Бурные аплодисменты.) Эта машина унесла нас в далекое будущее, сразу же оставив в далеком прошлом остальную историю Земли. И совершенно естественно, что вскоре, каких-нибудь полтора века назад, был сделан и первый шаг к покорению пространства — первый шаг в космос. Теперь пространство покорено, и так же естественно, что мы сделали первый шаг в покорении времени. На рубеже третьего тысячелетия нашей эры нами произведен первый в истории человечества запуск времелета с человеком на борту! (Б-урные аплодисменты.) Времелет «Аутлей-1», пилотируемый первым в мире времепроходцем генералом Флажко, благополучно пройдя расстояние почти в два века, при... при... временно остановился в намеченной точке с поразительной точностью в плюс-минус два года! (А-плодисменты.) Восполнен досадный пробел в исторической науке:

нами получена пропущенная фотография — величайший триумф...

Игорь судорожно сглотнул; казалось, проглотил маленькую щеточку и вынул из уха белый сухарик. Он теперь слушал в оба уха: на трибуне был его шеф, научный консультант и руководитель, заслуженный пушкиноведец галактики Джон Иванов:

— ...дух, друзья, захватывает от перспектив, открывающихся ныне перед мировым литературоведением! — Учитель Игоря представлял собою фигуру, несколько отличную от остального собрания: его амплуа было — старый чудак профессор, — такая милая и наивная, вечно юная восторженность энтузиаста науки, который варит часы, держа в руках яйцо; говорит «батенька»; охотно докладывает, обнаруживая отличную конкретность мышления и отчетливость наблюдений; недослышивает, приставляя очень мытую руку, и тогда особенно отдельно смотрятся на нем клееная бородка, очки в золотой пустой оправе и острый румянец, — тип, не изменившийся за два века, потому что иного отсчета так и не возникло, а потому вполне нам знакомый. Сейчас он грассировал:

— ...мы сможем в будущем, и не таком, господа-товарищи, далеко, заснять всю жизнь Пушкина скрытой камерой, записать его голос... представляете, какое это будет счастье, когда каждый школьник сможет услышать, как Пушкин читает собственные стихи! Этого мало, товарищи! Наше воображение еще слишком бедно, еще не в силах привыкнуть к новому чуду и вполне представить себе отвергающиеся возможности! Мы восстановим всю прежнюю культуру до мельчайших подробностей... Гомер нам споет «Илиаду»... Шекспир расскажет наконец автобиографию...

Головенка Игоря соскользнула с ладони — этот блестящий подшипниковый шарик покатился по проходу и остановился у пятки друга степеней. Игорь вздрогнул и мысленно пополз по проходу, стараясь незаметно. Но незаметно было невозможно: он страшно рос в собственных глазах, и ему трудно уже было бы быть незаметным и уже, быть может, даже трудно помещаться в проходе... Поэтому он все так же сидел и печально смотрел на милый блестящий шарик из своего прапрадедушкиного детства и совершенно успокаивался насчет того, что кто-нибудь что-нибудь за ним заметил.

...Единодушным вставанием было поддержано предложение президиума форума сессии о направлении резолюции данного собрания в Президиум Академии наук с просьбой

ходатайствовать перед Генеральным Советом Концерта «Березка» (ГКБ), а также перед Верховным Председателем Общества охраны природы и памятников (ООПП), о распоряжении Институту истории (НИИИ) и Совету Министров — послать следующий времелет «Расход-3» в пушкинскую эпоху с тем, чтобы иметь к юбилею подлинный увеличенный фотопортрет Александра Сергеевича, а также его голос...

Заседали. Узко.

— Тише, тише, товарищи! — стучал по графину Председатель (графин не изменился). — Пора наконец четко определить границы обсуждения и четко же поставить вопрос: КОГО мы посылаем во время — ФОТОГРАФА или ФИЛОЛОГА?

Голоса (недружно, лениво и вразной):

— Филолога!

— Фотографа!!

Обе профессии внушали одинаковые опасения.

— Кадрового работника!

Но кадры решали на этот раз не все.

Нужен был ОДИН человек, но делать он должен был уметь даже не одно, а ТРИ как минимум дела: снимать, записывать и ПОНИМАТЬ.

Чем надежнее были кандидатуры, тем меньше они умели из этого.

Так и вышло более фантастическое, чем сам времелет, предположение, что лететь Игорю Одоевцеву, из тех самых Одоевцевых, молодому и подающему, хотя и ничем себя не зарекомендовавшему, но и ни в чем пока не замеченному. Зато он умел записывать (опыт фольклорных экспедиций: легенды о мясе и рыбе), фотографировать (не вполне профессионально, но современная техника...) и был потомственный пушкинист, причем почти без сомнения русский. Это-то и внушало. П о т о м с т в е н н ы й, мало ли что... А его пра-пра-Фаина, кажется, была на четверть... как раз седьмое колено. Раз на четверть, значит, прошло седьмое колено, резонно отметил кто-то. Но тут и еще всплыло... Сначала как плюс: у него же даже есть предки в пушкинской эпохе и уж точно русские... и тут же:

— Так у него же прямые родственники в том времени!!!

Молчали долго. Опыта полета в столь с л а в н у ю эпоху еще не было.

Поручился все тот же, кто сообразил про седьмое колено... Это был такой глубокий старик, что помнил в раннем детстве похороны его пра-пра-Левы, дожившего до 200-летия

восстания декабристов. Старик уже ничем не рисковал, ругаясь, и им — рискнули.

Молодость не подвела, и медики не возразили.

Как билось его сердце! Игорь летел, и под ним шуршали времена, уходили, как в воронку, грибовидные облака, и вылетали обратно бомбы, зарубцовывалась Земля, покрывалась мегаполисами и населялась человеком, рассыпалась на города, городишки и деревеньки, зарастала травой и лесом, оживала птицей и зверем... Заходы солнца сменялись восходами, и солнце с частотой велосипедных спиц мелькало с запада на восток. Нам не понять, что с ним творилось, когда, косо чирикнув (звук был «кирич-кирич»...), испуганно влетела в ЕГО, Игореву, сознание первая птица!.. и уже под ее крылом — распалась дамба, заболотившая отчий город, опустели водохранилища и всплыли утопшие деревни и колокольни, зазвонили с дон... днов... дней... («Донь-динь» — слышал он обратный звон...) — стали з е м л е й.

Не следует преувеличивать: не так трудно вообразить и а м в реальности, к а к он летел, чем представить себе, к т о летел. Что это была за бедная голова! Какие мысли занимали ее... какие там мысли! Более века прошло после нас, не то что после Пушкина (тут нам самим легче подсчитать...). Подсчитать-то нам легче, но понять еще труднее. Ему нас понять еще труднее, чем нам Пушкина. Тут только мы и равны. Но мы ни его, ни Пушкина не поймем, а ему нас хоть понимать не надо. Великое благо, когда он пролетает в этот миг как раз над головою своего автора и что-то крикает в этой авторской голове, одаря вывернутой наизнанку, вспятой мыслью о том, что такое «и не мертв, и не чет, и не в лоб».

«Подлинное течение времени», — наконец догадался перевести я, а Игорь уже так давно пролетел! Пролетает над Аптекарьским островом, отвоевав обратно две войны, летит где-то меж двух революций: там закладывают дом, где когда-нибудь родюсь... рождусь... родится автор. Но голова у автора трещит сейчас, путает шестидесятые с восьмидесятыми (да! да! двадцатого...) — а Одоевцев уже в том веке (нет, нет, не в двадцать первом, а — девятнадцатом!) путает восьмидесятые с шестидесятыми, проскочил над деревней Голузино, не послал мне свой временавтский привет. Что ж ты так быстро пролетел, голубчик, не отметив под собою... Вот он я... вот он ты сидишь, автор мой, голубчик, где же ты застрял в густой паутине СЕГОДНЯ?

Но зато я сейчас вам точно скажу, на чем не успел за-

держаться обалдевший взор героя, но что он точно уж видел: НАС С ВАМИ. И тут вы мне не сможете не поверить. Это есть доказательство того, что все, что я вам говорил и говорю, ПРАВДА. Вот что я вижу перед собой: трехнедельный котенок в коробке дергается во сне, будто бежит, а он еще ходить не может: снится ему бег, он ловчее перебирает лапами, чем наяву. Снится ему погоня или охота, он убегает или преследует? — этого я не знаю, но знаю теперь, что видит он перед собой вовсе не опыт, которого у него нет, а будущее свое в виде самого древнего, до него существовавшего прошлого... Котенок бежит во сне... сам-то я, находясь в своей точке времени и пространства, неспособный ускорить или вернуть, что вижу перед собой более, чем котенка? в какой невнимательности упрекаю я собственного героя, пересекающего по веку за страницу?.. Ну, отведу я от котенка взор, пролечу взглядом над строкой справа налево, ничего не захочу понять, что в эту секунду пишу, посмотрю налево, в оконце мое чердачное, в которое минуту назад уже смотрел, пытаюсь уловить тот миг, когда надо мною промелькнет герой: там стояла корова, жевала под дождем, плоско двигая челюстью, у нее с рогов стекали капли и падали в траву, как драгоценности... — так теперь ее нет, коровы, и дождь перестал. Вот что я вижу. Остальное я знаю: что подо мною родился мой сын, восемь лет спустя, как я задумал и было начал именно этот рассказ, а теперь и сыну восемь... и стоит мне эту диффамацию про него изложить, как он тут же взберется ко мне по приставной лестнице, и вот он уже тут. «Кто пришел?» — говорю. «Мешатель», — говорит он и смеется. Какое счастье! Вот и сижу в своем времени и пространстве и вряд ли САМ передвинусь. Боже упаси...

«У тебя есть цветная копировка?» — спрашивает он именно в ту секунду, как я это печатаю. «Нету», — говорю я и более синхронизировать события уже не могу.

У Игоря еще нет детей, вот он и летит. Вернется героем, получит, быть может, разрешение на право продолжения рода. Совет, может, пойдет навстречу, и будет там еще один Одоевцев или нет, уже не от меня зависит.

Игорь отвлекся, думая о невесте, пропустил, не заметив, Крымскую кампанию, а хотел ведь увидеть в дыму сражения смелого молодого Льва (Толстого...). Не заметил в дыму мечты о своей Наташе... «И шей горшок, и сам большой», — бормотал он, глупо ухмыляясь, пропустив под собой очередную эпоху, вошел в николаевскую, в плотные слои пушкинской. Сейчас ему особенно внимательным следует быть,

не проскочить бы... Он жмет со всей силы на кнопку (очень напоминает она мне мамин дверной звонок, я даже дверь перед собой вижу вместо его хитроумной панели) — стучается от перегрузки торможения затылком о предыдущее десятилетие (сороковые девятнадцатого...) и Гоголя тоже не отметил (как он сидит, застыв и не мигая перед фотоаппаратом в Риме), и пока он медлит...

За окошком моим совсем темно, да еще и лента, не только не цветная, но и бледная, не вижу, и в настоящем, не только в прошлом из будущего (время, до которого и английский недодумался), надо идти не в зримое, а в известное — вниз, где сын: там у меня свет включается на чердаке. Пошел вниз. Пусть герой без меня повременит, да и привременится...

Итак, если он замедлился до сходного с нашим течением времени, если минута стала минутой, а час — часом и солнце снова вошло с востока, то, значит он уже живёт в том времени, уже параллельно мне, отделенный теми же полутора веками, но с другой стороны: у меня завтра и у него завтра, у меня сегодня и у него сегодня... но это значит, что он уже второй день, как овременился в желанной эпохе, потому что я как спустился, так и не поднимался, а проспал.

Не следует, однако, думать, что остановка его произошла столь благополучно и без осложнений, на уровне легкости авторского приема. Автор не собирается спрятаться за вензелем прозаической фигуры и тем скрыть действительность.

Сложности были. Но мне их столь же трудно объяснить читателю, как и себе. Мы так же наивны в представлении технического будущего в наше время, как и князь Одоевский в пушкинское время, рисовавший себе далекое будущее, сплошь увешанное воздушными шарами. Да и путешествия по времени во времена нашего героя делали лишь первые шаги, и они сами еще не знали, с чем встретятся. Короче, нашему герою довелось впервые столкнуться с неким эффектом, который он в силу своей гуманитарности никак истолковать не мог, и мы тем более не можем изъяснить физического смысла этого явления — можем лишь сравнить его с нашим опытом, скажем, с помехами в приемнике или телевизоре. Историческое время при такой скорости пересечения располагалось как бы полосами, иногда останавливаясь в устойчивую и отчетливую картинку, иногда начиная рваться и мелькать и плыть, вспыхивать и гаснуть. Закономерность у этой чересполосицы была крайне субъективна: помехи возникали как раз в наиболее интересных для наблюдателя

местах. Учитывая склад мышления и восприятия нашего Игоря, не только гуманитарный, но отчасти как бы и, даже неосознанно, поэтический, следует отметить, что интересовали его не столько грандиозные или значительные с общепринятой точки зрения события, сколько то, что он про себя называл «живым». Так вот, грандиозное стояло в изображении неподвижно и мертво, как разрисованный слайд, а живое-то как раз и начинало рваться и мелькать, не даваясь глазу. Будто из оркестра слышны были одни медные или одни ударные, но никак не скрипка, не соло — аккомпанемент подавлял мелодию. Впрочем, музыкальные сравнения некстати, ибо вся пластинка крутилась в обратную сторону, для уха неприятную, для глаза пародийную.

Видел он флаги и толпы, выстрелы и сражения, лидеров и тиранов, время разбивалось об эти утесы, и щепки летели в стороны, как океанские брызги, но разглядеть в этой мощи то, что, единственное, от него впоследствии осталось, то, что интересовало Игоря не только по профессии, но и в живом секрете его души, разглядеть хоть мельком эпоху «модерн», рисующего Врубеля или пишущего Блока — это ни за что. То, что осталось от всей этой грандиозной истории, то, что так потом лелеялось и сберегалось его коллегами во времени, в том числе и им самим, то, что составляло сокровища мировой и национальной культуры, совершенно не было видимо в этом бурлящем под Игорем котле, в этом историческом вареве. А ведь он, Игорь Одоевцев, по сравнению с теми, кто варился под ним в этом котле, то всплывая на поверхность, то окончательно погружаясь, он по сравнению с ними УЖЕ ЗНАЛ, что НА САМОМ ДЕЛЕ с ними происходит, они — нет, но именно им, незнающим, дано было видеть (хоть бы и не узнавать) то ЖИВОЕ, что так хотелось повидать ему на правах очевидца: им было дано, ему нет. Им было дано жить, ему знать. Барьер был непреодолим: он видел только то, что знало ЕГО время. Он хотел поглядеть, чего оно не знало, — тут-то и возникали рябь, помеха, не знаем, как это назвать, «эффектом Одоевцева», что ли.

Не только не видимо, но и глумилось над ним... под ним...

Зачем на сто четырнадцатом году полета потянуло его снизиться над временем настолько, чтобы подробно разглядеть разрушенную северную русскую деревню, обложенную в этот миг каким-то удивительным дождем, отвесным и крупным, как град, таким пунктирным, как рисуют дети, разглядеть животное, крупное и рогатое, с упорством под дождем

жующее как бы по слогам («Корова! Это же корова!» — догадался он); значит, кто-то здесь еще, последний, жил, с чердака покосившегося домика доносился, примешиваясь к гармоническому шуму дождя, аритмичный, предынфарктный будто стучок какого-то разваливающегося древнего механизма... «Это я, это я», — ни с того ни с сего стучок вдруг совпал с ударами его сердца; бессмысленно и обиженно заглянул он в чердачное окно: темно, никого, только в стекло билась бабочка... при чем тут это? Что там обронили в трех веках? Ее уже давным-давно не было, той покинутой деревеньки: она заросла крепкими избами, людей набежало, все они шли к восставшему из праха храму, в красных рубашках под малиновый звон.

Шел ко дну «Цесаревич», капитан один оставался на своем мостике... Ага, русско-японская... «Цесаревич» всплыл на его глазах, заметалась муравьино команда, капитан приставлял ко рту рупор... Игорь метнулся через всю империю, к другому берегу, финскому, чтобы застать... серые тона, вечерние цветы... Сердце выпрыгивало из груди, когда он наконец поспел **ВОВРЕМЯ**. Ялик с прекрасным гребцом... белая рубашка, отложной ворот, кудри, высокомерный взгляд... на корме дама в широкополой шляпе с солнечным зонтиком... бочком, как амазонка, лица под полями не разглядеть... лодка с разгона, шурша, ткнулась в песок, юноша выпрыгнул и подтянул ее к берегу... стройный! подал руку, и дама подняла лицо... заплаканное! Там они расстались, под соснами, на песчаной тропе... Игорь, как мог, остановил мгновение: Александр Александрович!! чтобы в лицо... но это был уже кто-то вовсе другой, хоть и тоже в белой рубашке, но с ракеткой под мышкой: стоял поближе к кустам и озирался направо и налево...

Игорь взмыл над временем. Оно встало на дыбы и остановилось от скорости, как солнце в вечном закате. Странны были его лучи! Он их видел, а они светили другим. Какая-то серебристая редкая ткань рвалась вокруг волокнами. «Время?» — подумал Игорь, чтобы увидеть под собой недостроенную Эйфелеву башню. Почему-то именно на нее ему захотелось плюнуть, но он не был с в е р х у — вот в чем парадокс. Место его в пространстве было еще более загадочным, чем во времени. Он в нем вовсе не был.

И он уже не стремился увидеть пенсне в Ялте... И дама будет не та, и собачка. Последовательно и ровно миновал он десятилетия. И тут едва не прозевал, замечтавшись (он тайно вывез с собой упаковку пенициллина от воспаления брюши-

ны...) — остановиться-то хоть следовало т о ч н о. Не раньше и не позже. То есть не позже и не раньше.

Тут-то с особой убедительностью и проявился «эффект глумления». Уж больно точно была намечена автором для Игоря точка. 23 мая 1836 года, Александр Сергеевич возвращается из Москвы в Петербург...

Вдруг видит то, что хотел: Пушкин! Он лежал на подоконнике в гостинице Гальяни, что в Твери, и ел персики (не сезон!.. — подумал Игорь). Игорь вылупился во все глаза и онемел, а как готовил первую фразу!.. Александр Сергеевич посмотрел на него и плюнул косточкой. И попал. И расмеялся довольный.

Игорь тогда прямо к дому на Мойке подлетел, заглянул в окно: лампа горит, дети его, мал мала меньше, рядком сидят и чай пьют, все сплошь косые, как их мама, и со стульев по очереди падают...

Тут и «мешатель» на голову сел, я ему какую-то чушь плету про слетевшихся на мой свет насекомых, что это знаки препинания, вон, мол, точка с запятой, а бабочка, что стучается то о лампочку, то о белый лист, — то Муза моя... «Кто Муза? — резонно ставит меня на место Мешатель. — Кстати, — говорит он, — некоторые бабочки тоже нектар собирают. Если есть пчеловоды, почему нет бабочководов?» (Его сегодня укусила пчела.) «Впрочем, бабочки тогда бы тоже кусались». Наконец осерчал я на Мешателя...

Очнулся Игорь на кушетке, думки были подпихнуты со всех боков... Голову ему держал повыше господин в пушкинских баках и давал понюхать нашатыря. Хозяйка в чепце светила свечой и поправляла на голове смоченное полотенце.

— Глаз открыл... — ужаснулась хозяйка.

— Вот и хорошо-с. Вот и слава богу-с. А то смотрю, господин хороший, а прямо на панели-с. В какой гостинице изволили-с остановиться, позвольте спросить-с?

Игорь сел и потер под полотенцем лоб.

— Я сразу понял, что вы иностранец-с, — с гордостью сказали бакенбарды. Что-то пародийно-пушкинское было в его лице: все так же, только нос пуговкой. — А Пушкин Никандр Савельич, позвольте представиться... С кем имею честь-с?

— Что! как?! — встрепенулся Игорь. — О Пушкин??

— Изволите говорить по-русски? Не О-Пушкин, а А-Пушкин, — сказал человек оскорбленно. — Сходно-с с известным нашим сочинителем.

Игорь вскочил. Бред продолжался!.. он все еще в полосе

анекдотической перегрузки, связанной с посадкой... он все еще в полете!

— Спасибо-с, не извольте беспокоиться-с,— лепетал он, вызволяясь из очередной петли времени, нектати вставляя, на всякий случай, повсюду-с это дикое «с»... — Но позвольте хотя бы узнать, который сейчас-с год?

— Что-сс?? — Свеча выпала, хозяйка упала, хозяин подносил ей к носу ту же ватку, а Игорь устремлялся к выходу.

— Извольте-с ваш сундучок-с и тросточку-с... — холодно сказал Апушкин, подавая Игорю его аппаратуру.

Игорь грубо выхватил их и скатился по лестнице...

И только тут, выскочив из двора на набережную — Фонтанка? Мойка? — и понял он, что уже СЕЛ. В Санкт-Петербурге. Но — когда?

Доказательством его прибытия больше, чем вид перед глазами, служила эта тросточка. Она была с л о ж е н а! Это была такая старинная трость с откидывающимся плетеным сиденьем для пожилых или больных грудной жабой. Это и был времелет. Верхом на палочке он и прилетел. А теперь она была сложена, и он стоял, на нее опираясь, чтобы не упасть. В сундучке-с находились аппаратура, валюта, смена белья и подложный паспорт на свое собственное имя.

— Пишу, читаю без лампы... — бормотал он, потрясенный.

И шагнул в белую ночь.

Но и следующий его адресок оказался неточен. И сложенность его стульчика не показалась ему столь доказательной. Беседуя с коллежским ассессором Непушкиным (как на будущей картине Федотова «Утро майора» — в халате, колпаке и с чубуком...), Игорь совсем перестал себе верить.

— Да, да,— гордо сказал майор.— Не Пушкин. К сочинителям, по своему достоинству, никакого отношения не имею. И не только НЕ Пушкин, а Непушкин, фамилия совершенно отличная. И извольте-с выйти вон.

Но одно майор, не разобравшись поначалу, Игорю таки выдал, а именно: нос к носу оказались как раз 23 мая 1836 года.

Игорь не мог быть на него в обиде, хоть и спущенный с лестницы.

Он вышел в белую ночь. И это была та самая белая ночь. В конце Невского была «светла адмиралтейская игла». И опять та самая.

Кто знал сейчас, что будут Лермонтов, Толстой, Достоевский?.. Левочке было восемь, Федору — пятнадцать, Михаилу Юрьевичу — двадцать два. Игорь был их старше. И Пушкин еще жив! И никто не знал. Он, он один!

Он чувствовал себя на вершине времени.

И он радостно шагнул с нее, чувствуя себя Онегиным, Башмачкиным и Макаром Девушкиным одновременно.

Зато в третий раз его спустил с лестницы сам Александр Сергеевич.

«Никифор! Что ты там грохочешь? Наталью Николаевну разбудите!..» — Он тараторил Игорю вслед наигранного гнева веселые глаза. Роженица спала, и новорожденная спала. Он их только покинул и крался в кабинет, спокойный! С такой точностью Игорь как раз и не угадал момент приземления...

«Сделайте одолжение, умоляю,— писал Игорь в своем хлестаковском чердачном номере, ровно два месяца спустя, — Александр Сергеевич, почтите хоть ответом. Я уж не знаю, как и просить вас. Зачем вы не генерал, не граф, не князь? поверите ли, сто раз не употребишь: Ваше превосходительство! Ваше высокопревосходительство!! Ваше сиятельство!!! Сиятельнейший князь!!!! и выше....., то кажется и просьба слаба, никуда не годна и вовсе слаба...»

Теперь он подделывался под графомана (прилагая, впрочем, не менее как блоховские стихи...), пытаясь (в который раз!) «выйти» на самого Александра Сергеевича. Как незадачливый любовник, вычислял он часы и маршруты, подкрадывался — хоть краешком глаза... мысленно подсаживал под локоток, подавал трость, садился рядом в карету... так он оставался, глядя вслед экипажу, обрызганный грязью из-под колес. Пушкин оборачивался и смеялся. Сколько раз наступал зато его Игорь на Невском, проталкиваясь за ним по книжным лавкам. Старался незаметно, обрел бездну неведомых ему навыков, чем окончательно убедил поэта в том, что он шпион. И впрямь, лучше всего изучил он пушкинскую спину и плешь. Сюртучок у поэта был поношен, и пуговица на хлястике болталась, вот-вот оборвется. Доведенный до отчаяния Игорь как-то притиснулся к нему у книжного лотка и пуговку-то оборвал — тот и не заметил. Единственный и был у него трофей. Игорь пришил пуговку внутрь нагрудного кармана, и сердце его стучало в пушкинскую пуговицу при каждой встрече. А Пушкин продолжал ходить с одной пуговицей. «И пришить некому...» — чуть не плакал Игорь. (Наталью Николаевну он видел уже четырежды: дважды она показалась ему совсем не такой красавицей, один раз осле-

пила, а в четвертый, самый невзрачный, — он уже влюбился без памяти, но все ж меньше чем в с а м о г о...)

Письмо он отправил, но ответа не получил (да и не ожидал, признаться).

Многому он научился за эти два месяца, много познал!

Во-первых, что бы он ни думал о своем времени (втайне от других и втайне от себя), как бы ни любовался избранными эпохами в прошлом, он автоматически предполагал свое время о п е р е ж а ю щ и м времена предшествующие. Он спустился с в е р х у, с форой в три века. Он был на триста лет с т а р ш е, он знал, находясь среди этих слепых котят, что с ними б у д е т. Верховное звание наблюдателя подготовило в нем заведомые чувства — силы и снисхождения.

Какой там наблюдатель! Вовсе не он смотрел, а на него. Поначалу он все ловил себя на ошибках, своих и подготовки. Их было пропасть, он прибегал для успокоения к ядовитому смешку в адрес знатоков со «Спецкурсов вживания». Как приблизительно оказалось все, что они преподавали! И прежде всего суточные, выданные ему в твердой валюте 30-х годов XIX века (буквально твердой: монеты эти были еще и тяжестью, золотые десятирублевки), — из какого соображения о ценах отсчитаны они были под столь строгую отчетность и расписку? что знали они о соотношении обеда, гостиницы и извозчика?.. Какая каша! Кашу он в основном и ел в трактирах, никак не соответствовавших его костюму и претензиям на знакомство с Александром Сергеевичем. На кашу эту хватило бы ему и на десять лет, но на то, чтобы попытаться сойти хотя бы раз за человека... — не хватало и на неделю. Понял он пушкинские затруднения! но в долг ему бы никто не поверил, вот что.

Итак, он снял самую дешевую комнату, ел кашу, хлебал щи, как Хлестаков, и ходил пешком не потому, что у него не было денег, а потому, что они могли всерьез понадобиться, а взять... Откуда взять-то! — вскипал он на лектора по финансам, рассуждавшего о дешевизне ТОЙ жизни. И деньги — они здесь такими новенькими не бывали... на них косились, а на него и так косились, но на зуб — сходило: золото! А эта профессорская убежденность в точности отдельных деталей костюма, произношения, манер!.. как раз чем точнее оказывалась угаданная в прошлом деталь, тем и подозрительнее. Шов был не тот! На Игоре застревал взгляд так, что первое время он беспрестанно себя осматривал: застегнут ли, не измазался

ли... Но взгляд этот недоуменный ничего, кроме недоумения, не выражал: все так, но что же не так? Ей-богу, спустился он в чем был, меньше бы привлекал внимания. Голос его не так звучал, слова... профессор фонетики преподавал ему произношение по церковным службам, а он выдавал себя за дворянина! В общем, проколов была бездна, но губили, как он с удивлением потом понял, не проколы, а как раз совпадения, как раз точность. Точность торчала. Точным бывает лишь все, а не кое-что. Ах, если бы все было кое-как и равно приблизительно! он бы беды не знал. Выныривал бы чудачком, иностранцем, сумасшедшим... провинциалом. Провинциал! — вот было откровение и спасение. Он был провинциалом в эпоху, а не в пространстве и наконец научился, пообносившись, носить именно эту маску. Ее на него надели и отвели взор.

Нет, это не он смотрел, а его показывали XIX веку.

Странное чувство (даже закон!) — он ожидал зрительного, слухового шока от встречи с прошлым — так ничего такого не было. Он видел лишь цитаты из того, что знал, остальное (все!) складывалось в сплошной и опасный бред совершенно иной и недоступной реальности, будто он посетил не прошлое, а другую планету. Другую цивилизацию... «А что, ведь это так и есть...» — догадывался он. Реальность, сплошная, как забор с кое-где вывалившимися сучочками. Прикинешь — а там картинка, еще из школьного учебника, ее-то ты и знал. Разве что можешь сказать: своими глазами видел... Что от того Кремлю или Пизанской башне? Прошлое, в которое он попал, было сплошное и неведомое, как и для прошлого тот его настоящий день, из которого он вылетел. Оно оказалось для него и более неведомым. Прошлое было НАСТОЯЩИМ со всеми его закономерностями. Пришелец его не определял.

И он начал ж и т ь в этом времени, хуже других, одиноко, неумело и неуютно, но — жить. И с этого момента он становился обладателем бесценного и уникального опыта, который был ни к чему ни здесь, ни т а м. Там от него требовались пленки и слайды, но не этот опыт — здесь и пленки были ни к чему. Здесь от него НИЧЕГО не было нужно. Он понял, что отсутствует в этом веке, так же как отсутствовал в нем и до прилета. Удивительное это чувство абсолютного одиночества и заброшенности одарило его (впрочем, не сейчас — одарит еще однажды...) и удивительным счастьем, равным отчаянию: никому не ведомым на земле ни в какие времена чувством ПОЛНОЙ свободы. Его, Игоря, не стало.

Пушкин и Петербург заполнили его, и — хватило. Он лежал целыми днями на унылой своей койке и мысленно прожигал пушкинский день в точь так, как и Пушкин (он вспомнил, что в каких-то поздних воспоминаниях о нем читал его признание, что когда он влюблен, то не расстается с предметом своей любви ни на секунду: садясь в экипаж, мысленно подсаживает свою даму и садится рядом: гуляя, срывает ей цветок, подает упавший платок...): ехал с ним во дворец, забывал треуголку, возвращался за треуголкой... возвращался за полночь, проиграв или выиграв, целовал Наталью Николаевну в лоб, она с ног валилась... проходил в кабинет, звал Никифора, а тот уже знал, нес ему полный графин лимонаду... начинал Пушкин как бы нехотя рыться в рукописях: не за эту и не за ту не брался... Ведь Игорь все это ЗНАЛ, он все это изучил и любил, и теперь — каким же смыслом наполнялось все это, отрывочное, от параллельности (полчаса пешком) пушкинского живого существования! Он слышал за стенкой своего номера пушкинские вздохи и шаги.

Или бродил целыми днями по Петербургу, отыскивая НЕ-пушкинские места, где он НЕ ходил, НЕ бывал, где еще что-нибудь построят ПОСЛЕ него, — и тогда, соскучившись, возвращался в Петербург ПУШКИНСКИЙ, как будто вновь прилетал. Вневременность его, как, впрочем, и самого Петербурга (вот город пришелец!), будто проступила в чертах Игоря, на него вновь стали оглядываться, но — иначе: кто-то здесь только что был? — никого. Он стал тенью Петербурга, слился. Тут и ожидал его успех, там, где не ждал и не надеялся. Успех ведь тоже хочет дожждаться...

Он решительно поразил одно воображение. Павел Петрович Вяземский... да, да! тот самый... сын друга... «Душа моя Павел»... как много про него знал Игорь, пока тот про него — ничего! Именно тот, кого Пушкин учил в карты, с кем гулял...

У Игоря зашевелились волосы, когда ему САМ представился, со множеством извинений, этот милый молодой человек. У меня шевелятся и ползают листки рукописи от множества бабочек, налетевших на мой свет. Когда кончается страница и удовлетворенно переворачиваю ее текстом вниз, чтобы, не дай бог, не ужаснуться написанному и мочь продолжить... то кладу я ее на предыдущую, уже усиденную полдюжиной бабочек, — они спят, но покрытые страницей начинают ползать, и рукописи мои шевелятся, к моему ужасу и восторгу. Три изумрудных вроде комарика ползают, таращась хоть и микроскопическими, но на редкость отчетливыми глазками, по черновику; крошечный жук в ядовитую, как

мухомор, крапинку упал на лист с устрашающим стуком... кто скажет, из какого времени они? Вы ничего не найдете в ушедшей эпохе, кроме того, что она вам с а м а оставила. Вы из этого-то найдете не все. Человечество тоже живет своей ч а с т н о й жизнью, скрытой от глаз посторонних, — это и есть история. Она недоступна. Поглядывать в эпоху — опоздали-с. Иначе зачем же так тщательно писать дневники и письма, забывать их пыльные связки на чердаках и в чуланчиках, как не в расчете на Игоря? И Павел Вяземский напишет свои дневники, и в них — ни слова об Игоре.

Он прямо-таки неприлично для светского человека вцепился в Игоря, по-юношески влюбился как в старшего, в его воплощение, в его петербургскую тень. Всюду таскал за собой... Всем представлял. Муханову, тому самому, кому Пушкин первому свой «Памятник» прочтет... и Муханов не заподозрил, расположился... И впрямь Игорь стал з н а т о к. Именно утаивая свое знание будущего, он как-то особенно умел прикоснуться к настоящему. Он стал то, что называлось п о э т, как говорилось про человека, который обязательно стихи пишет. Поэты ведь тоже зрят будущее. Но вперед — не назад. Игорь был непишущий поэт. И в этом качестве — значительным, внушал большое... Павлуша охотно исповедовался Игорю: как тот умел слушать, выжидая в своем ухе, как в засаде, что-нибудь про Пушкина, но никогда уже не задавая вопросов... Павлуша доверял ему свои сердечные и фамильные, и про университет, и про научные планы... ни слова о Пушкине!

И вот свершилось! Он сидел на квартире Муханова, ждал Пашу; лакей доложил о Пушкине.

— Опять! — сказал Муханов с мягкой досадой.

Александр Сергеевич не ожидал постороннего. Взгляд его скользнул по Игорю косо. Игорь был представлен и от многости того, что хотел бы вложить в первую же фразу, что-то лепетнул почти односложное.

Александр Сергеевич зацепил его взглядом чуть более пристально, приколол, как бабочку. Однако, показалось, Игорь не признал (тот давно уже его не преследовал по пятам и изменился, как мы говорили). Тут же уселся около вазы с виноградом и стал быстро-быстро его щипать, виноградину за виноградиной, цепляя своими огромными ногтями, более походившими на когти. Игорь второй раз видел, как он ест, и второй раз он ел фрукты. «Нет, он не похож на обезьяну...» — тупо подумал Игорь, сердце которого почему-то сжималось от некоего чувства непоправимости.

... Между виноградинами поэт поинтересовался, о чем прервал беседу. Узнав, что речь у них шла о недавнем открытии обитаемости Луны, он очень развеселился.

— И вы в это верите?— спросил он именно Игоря, напирая на это «вы» и до странности пристально вглядываясь ему в глаза.

— Я — нет,— сдавленно ответил Игорь.

— Еще бы!— непонятно сказал Александр Сергеевич и стал по-своему доказывать, почему она не может быть обитаема. Человеку из XXI века особенно восхитительно было это слушать.— Дерзкий пуф,— заключил он.— Отважная выдумка. А не сыграть ли? Ведь нас трое.

Игорь замямлил, что плохо играет, но не мог сопротивляться уговорам кумира. Муханов вышел распорядиться: свечи, карты, кофий...

Возникло неловкое молчание.

— Значит, необитаема? — спросил Александр Сергеевич.

— Лет через двести она, наверно, будет заселена...— как мог уклончиво отвечал Игорь.

— Что, на Земле уже не хватит места?

— Не будет,— сказал Игорь и испугался.

— Так, значит, у вас уже есть бальзам от любой раны?— спросил он внезапно, как выстрелил.

— Бальзам? Какой бальзам...— лепетал Игорь, тут же догадываясь, что писал в самом первом письме о пенициллине, который может спасти от воспаления брюшины.

— Ведь это вы мне писали, что вы из будущего?

«Вот он, момент! Гений...» — устало подумал Игорь.

— Нет,— сказал Игорь.— Я не писал.

— Ах, да, простите...— Александр Сергеевич заскучал и снова принялся за виноград. Виноградины напоминали его ногти, а ногти — виноградины...— Но вы мне писали про свои стихи? Ведь так?

Отступать было некуда.

— Так, я писал,— согласился Игорь. У него вспыхнула надежда на Блока. Не мог же ОН не оценить...

— Весьма любопытные грамматические ошибки,— одобрительно сказал поэт.

— А стихи?

— Там были стихи?— искренне удивился Александр Сергеевич.— Жаль. Кто же посылает стихи вместе с письмом?

Игорю опять показалось все в глубоком уменьшении и удалении. В бесконечной дали веков поглощал гений свой

виноград... А Игорь опять будто раскатывал блестящий шарик по ладони, как собственную голову...

— А что в ваш век думают про рога?

Александр Сергеевич снова будто вовсе не ел винограда, а все время пристально смотрел на Игоря и был будто в белом халате, так серебрилось все перед взглядом, в дымке, кроме его глаз...

Боже мой! он же ВСЕ знает!.. УЖЕ знает. И про меня, и про себя... Рога!

Оказывается, последнее слово он уже произнес вслух:

— Рога... — И, зная наперед всю эту историю, пытаюсь уйти в сторону, обогнуть, он уже говорил и каждый раз слышал, что сказал, ровно на фразу позже произнесения, словно, как репродуктор, был сам от себя отнесен на расстояние стадиона. — Как сказать... Во всяком случае, биологи не в состоянии объяснить их одной лишь природной целесообразностью, как одно лишь средство защиты и нападения. Они избыточны и неудобны. Они чересчур разнообразны и витиеваты, без какой-либо надобности, кроме как украшения...

Александр Сергеевич внимательно рассматривал свой бесконечный погонь. Игорь смешался еще больше.

— Вот и ваш знаменитый погонь, и кольца... — лепетал он, зажмуриваясь и прыгая в бездну. — Это тоже можно отчасти отнести... Погонь и рог имеют одно строение. Это вторичные мужские признаки... Хвост павлина, фазана...

Он смолк.

— Забавно. Продолжайте.

Игорь открыл глаза и увидел Александра Сергеевича неожиданно близко — лицо к лицу. На него смотрел негр.

— Я, впрочем, филолог. Я не в курсе, — вдавливаясь в кресло, отодвигался Игорь. — Мне даже ближе точка зрения не вполне научная... — И дальше продолжал, захлебываясь, засасываемый трясинной собственной речи: — Что избыток этот — рога — в его разнообразии, есть еще одно опровержение теории естественного отбора в пользу сотворенности мира, в пользу Творца. Это он как художник, любуясь своим творением, нарушил скучную целесообразность и украсил... прекрасными рогами...

Он ждал пощечины, и ее не последовало.

Над ним стоял Муханов со свечой и колодой...

— Вы что-то сказали?

Александра Сергеевича не было.

— Ушел, — сказал Муханов. — Добрый малый. Но часто весьма.

...И Павлуша прекратился, как обрезали. Несколько раз не заставал его Игорь, хотя до того он всегда сам Игоря находил. При встрече на улице Муханов едва раскланялся и явно уклонился от разговора. Игорь понял. Он не мог сердиться на Александра Сергеевича за то, что тот наговорил Павлуше, оберегая младшенького... А ЧТО Муханов?! Господи, пыль с его сапог... дышать одним воздухом... видеть издали... Шпион, сумасшедший, графоман... что такого?

Игорь дожил с ним до конца. Не так много уже оставалось. Он еще пытался вмешаться — преградил дорогу Наталье Николаевне, пытаясь предотвратить роковое свидание у Идалии Полетики... И только напугал бедную, она не разобрала его горячечной речи, тут же вынырнул, как из-под земли, спортивный поджарый полковник и смело и обеспеченно дал продрогшему и обношенному Игорю в челюсть. И когда Игорь пришел в себя, то и признал в прохаживающемся на страже у подъезда полковнике — будущего ее мужа... Как же он ненавидел Ланского! Сторожить свидание с Дантесом, своим подчиненным, чтобы через двенадцать лет просить руки Натальи Николаевны...

Не агент ли сам Муханов из еще более далекой эпохи? Игорь уже бредил. Ланской — не агент ли?.. уже из 22-го.

Игорь очнулся через две недели, провалявшись на своем чердаке в тяжелой лихорадке и беспомощности. Выжил. Все было кончено. Не он бросился под сани, мчавшиеся на дуэль, не он выбил пистолет из руки Дантеса, не он толпился с народом у квартиры и Конюшенной церкви, не он... Тройка с А. И. Тургеневым и гробом умчала без него... только снег завился. Игорь было погнался... но — видно, еще в бреду — почему-то закружил вокруг Лицея и чуть не попал под первый паровоз, выехавший на него прямо из Пушкинской смерти.

Он не мог, что его больше не было. Без Пушкина и его самого больше не было. И, задолжав бесконечно хозяину и докторам, он расставил свой стульчик, то есть сел верхом на свою палочку...

Он здраво рассудил, что Пушкин т о г д а еще его не знал.
И т а м он был все еще жив!

И он пустился вспять, в ТУДА, в ТОГДА.

Вооруженный опытом тридцать шестого года, подкрадывался он теперь наверняка, нацелив объектив и микрофон к высшему, как он исчислил, мгновению... а там — будь что

будет! Он шел напролом, как лось, сквозь осеннюю рощу. С печальным шумом обнажалась... Ложился... на поля... туман. Все было так. Он шел напрямик, шурша по строчкам, как по листьям. Ничего не видел. Длинная его фигура выныривала из тумана, меж стогов, и пропадала в нем. Он олицетворял себя с этими ключьями, листьями, кочками... Впереди слабо светилось окно. Там, за ним, писался сейчас «Медный всадник»!

Отвыкнув от себя, от своего тела, которого давно не чувствовал, он не боялся быть замеченным. От нетерпения он прямо приник к окну: вот оно!..

Да, горела свеча... да, лежал в крошечной коечке человек и что-то так стремительно писал, будто просто делал вид, будто проводил волнистую линию за линией, как младенец... Как причудливо он был одет! В женской кофте, ночном колпаке, обмотанный шарфом... Но это был не Пушкин! Младенец был бородат и время от времени свою бородку оглаживал и охаживал, а потом снова проводил свою волнистую линию по бумаге.

Теряя рассудок, Игорь постучал в окно прежде, чем понял, что делает.

В исподнем, накинув тулуп, бородач вышел на крыльцо, прикрывая свечу ладонью. Вот это был портрет! Это был бородатый Пушкин! Странно колебались по лицу снизу вверх от свечи тени.

— Кто здесь?

— Это я, — по-детски сказал Игорь.

Свеча описала полукруг, Пушкин пропал в ночи, Игорь зажмурился от света.

Оба молчали.

— Бедный... — с невыразимой болью и состраданием сказал из тьмы бородач. — Бедный... Не дай мне Бог... — И вдруг что-то сильное и легкое прикоснулось одновременно к его голове и руке. Ладонь скользнула по лицу. Какая она была горячая и сухая! Мокрая... Пушкин утер ему слезы, которых он не чувствовал, стремительно повернулся так, что свеча погасла, и хлопнул дверью. Игорь разжал ладонь — в ней лежала золотая монета.

.
Утром Игорь проснулся в стогу. Вышел к озеру, умылся. Прикосновение к щетине не понравилось ему, и он извлек из сундучка свой несессер. Внимательно разглядывал он свое лицо, которое ночью погладил Пушкин... Всего три года, а

как он постарел! эти седые патлы... И эта безумная бледность, и глаза... «Вот и точная датировка «Не дай мне Бог сойти с ума...» — ухмыльнулся Игорь.

Так он втянулся в эту погоню. У него была ни с чем не сравнимая возможность поправлять предыдущие ошибки. Он гнался за Пушкиным в глубь его жизни, где тот его не встречал. Странное дело! Чем больше становился его опыт, чем моложе Пушкин и старше он сам (год спустя, то есть на год раньше «Медного всадника», они были уже сверстники!), тем быстрее и ловчее (будто и он становился опытнее) отделялся от него Александр Сергеевич.

Последняя встреча удалась Игорю в 1829 году на будущем Пушкинском перевале. Он хотел улучшить момент, когда Пушкин встретит арбу с Грибоедом. Его иногда охватывало сомнение, так ли оно было на самом деле: слишком уж историческое стечение. Игорь много теперь знал про историю, какая она: не такая.

Он долго решал, когда лучше попытаться заговорить с Александром Сергеевичем: до арбы или после? Решил — до. Потому что если арба и впрямь была, то вряд ли удастся «войти в контакт» после такого потрясения. А если не было, то не все ли равно когда?.. Опытный, он точно все синхронизировал и сложил свой стульчик ровно в тот день и час и на той дороге...

Пушкин ехал на маленькой мохнатой лошадке в сопровождении казака с винтовкой. Игорь опять не сразу признал его — в плаще и широкополой шляпе. Игорь, на этот раз тщательно выбритый и причесанный, подновивший платье, с тросточкой и сундучком — странный странник! — вышел навстречу из-за поворота, спускаясь с перевала в то время, как Александр Сергеевич ехал в гору, то есть медленно. В дороге легче разговориться; его странный и европейский вид расположил Александра Сергеевича; Игорь выдал себя за путешественника-ботаника из Вены... Все шло как по маслу. Александр Сергеевич поинтересовался ночлегом на пути к Эривани, Ганс Эбель (так назвал себя Игорь) поинтересовался погодой в Тифлисе... Игорь-Ганс стал рассказывать про возраст этих гор, задумав именно так переметнуться к убедительной для Александра Сергеевича версии о возможности временных смещений (сброс, соседство пород)... Он ничем, казалось, не выдал свое знание, что перед ним поэт, что перед ним Пушкин, но взгляд из-под шляпы неожиданно

удлинился, будто устремляясь вверх и вдаль; привычный испуг предыдущих провалов морозом прошел по спине Игоря, и та самая монета, которую в октябре 33-го подал ему поэт, навела его на судорожную мысль. Он извлек из кармана эту монету 33-го года чеканки и протянул Александру Сергеевичу.

— Что это? — рассеянно сказал поэт, по-прежнему глядя вдаль и вверх.

— Обратите внимание на год!

Пушкин посмотрел с досадою на монету.

— Так ведь сейчас двадцать девятый! — с отчаянием воскликнул Игорь.

— Конечно. Пойдите... — И он пустил коня вскачь. Навстречу арбе.

Арба — была.

И это он спугнул зайца с лежки так, что тот перебежал поэту дорогу в декабре 1825 года...

Странная мысль закралась вдруг в голову к нашему времелетчику... А что, если... Нет, быть не может! Однако...

Почти двенадцать лет длится эта погоня. И я уже не собираюсь ее прекратить... Так, значит, так, может... Так он меня УЖЕ видел! Вот отчего он все лучше распознает меня... Тогда, в 36-м, у меня было больше шансов... Я был моложе, неизвестнаемей... И здесь, на сугробе, в виду цепочки треугольных следочков, в конце которых, по выражению поэта XX века, «обязательно будет заяц», он разрыдался.

И здесь, на сугробе, отрыдав свое отчаяние, принял он спокойное и окончательное решение так и не вернуться в свой век. «Ну что ж. Дам ему время, пусть подзабудет, — рассуждал он, отважно путая времена. — Не буду тревожить его в ссылке, скоро уж он и вернется. Отправлюсь вспять, в Петербург, поживу там годика три и дождусь его возвращения...»

И мы, всем сердцем сочувствуя герою, не заставим его еще раз не признать поэта в картузе — молодого, хорошенького, в красной рубашончке... Он шагает по сельской дороге и зашвыривает вперед себя знаменитую железную трость: закинет, догонит, подымет. Тренируется, чтобы рука не дрогнула, когда стрелять придется... Сорвался, ах, черт, в кусты... Поэт ползает по траве. В кустах не дышит Игорь, держа палку эту пресловутую: ах, черт, чуть не прямо в голову попал... Где же она... господи прости! — ползает в траве, как

жук, никем, кроме Игоря, не наблюдаемый, то есть не наблюдаемый уже никем... как жук в траве, ползает гений, только что отписавший «Цыган».

Так Игорь оказался в Петербурге 1824 года. По дороге, то есть пока он сидел на своей палочке, случился с ним очередной вневременной казус: одежда его распалась, и деньги исчезли — они были моложе 1824 года. Так его ограбило время, как вор на большой дороге, и оказался он голый, с сундучком и тросточкой. И что было ему делать?

Ничего не оставалось, как версии ограбления и придерживаться. В участке обнаружат много несоответствий в показаниях, передадут выше, вплоть до III отделения. Там несоответствиями пренебрегут, зато предложат дружбу.

«Как они, однако, логичны! — думал Игорь. — Обнаружить себя на службе именно в III отделении! Провинциал, на возрасте, без состояния, без определенного места жительства...» Ему вдруг стало скучно, он отнесся к предложению вяло и безучастно, почти согласный с ним, как с приговором.

И тут будто ветер, будто вспышка, будто ласточка, будто фалдочка знакомого фрага... «Гений! — восхитился Игорь. — Как он был прав с самого начала! Сразу распознал, что шпион...» Он вспомнил свои первые шаги в 1836 году, и вдруг оттуда, из той неудачи, Пушкин наконец протянул ему руку.

Игорь руку ту ухватил, подтянулся и из ямы выбрался... А Пушкина и след простыл. «Как хорошо! — радостно вышагивал на воле Игорь. — Как бы я ему в глаза посмотрел, когда он вернется в 1826-м!..» Диву давался, что его пронесло. Да и мы, признаться, диву даемся.

Представьте себе не то что конец двадцать первого... современного интеллигента... Как беззащитен!.. что он может, что он умест, что он даже знает вне круга столько же о том же знающих? Вычтите его из этого круга заслуженной карьеры и опоры, что останется? Ни ремесла, ни состояния.

А он уже совсем по тем временам старичок лет сорока, седой почти. Двенадцать лет! И каких! Так или иначе разделенных с Пушкиным. Дома, в двадцать первом, назначили бы ему инвалидность или какой-нибудь пенсией, как балерине, шахтеру или подводнику, а здесь...

Приобрел-таки трудовую биографию в масштабах нашего начинающего литератора.

Разносчик, конторщик, репортер, переводчик в порту... Ему, столь образованному, почти на три века вперед пришлось наконец-то чему-то поучиться. Как он был горд, когда освоил счеты! А делить и умножать в столбик... Считать ведь приходилось не себе, а хозяину. «Откуда цифра?» — спросит хозяин. Как ему объяснишь, что компьютер не делает ошибок?.. хозяин хочет сам убедиться. Как музыку, слушал Игорь собственное щелканье костяшками, все более артистичное, и про компьютер забыл с удовольствием. И русский язык его был не лучшим, но и тут он преуспел: говорить на все более и более русском языке было медленным и мучительным удовольствием. И писал он уже почти без ошибок, особое наслаждение испытывая, когда вовремя вспоминал про «ять».

По пушкинским следам он прижился в Коломне, поближе к его прошлому, к его первым квартирам, к его будущей поэме. Такой же домик — «светелку, три окна, крыльцо и дверь» — нашел он, хоть и до службы далеко, зато ближе к хозяйской дочке Наташе, о которой он как бы и не помышлял, но все же домой было возвращаться приятней. Она была угловата и мила — она краснела, он смеялся, и она обязательно спотыкалась, споткнувшись же, непременно выбегала куда-то за печку, за занавеску, на кухню, и Игорь еще долго улыбался, довольный. Он брякнул как-то ей комплимент, что она похожа на свою тезку Ростову, и долго не мог простить себе этот анахронизм: Наташа впала в мучительную ревность к своей предшественнице. Строгая мамаша не обольщалась в той же степени достоинствами дочери и прежде всего ее приданым, а потому при всей подозрительности, а может, и благодаря ей, довольно стремительно склонялась к тому, что лучшей партии дочери и не сыскать. Что ж, что немолод и со странностями... Странность была — долгие прогулки по городу и бормотанье: не то напевает, не то сам с собою разговаривает — для песни мало, для речи много. Однако счастье дочери мамаша не так легко вверяла в чужие руки — проследила, куда ходит, к кому. Проследила и успокоилась: никуда и ни к кому. Не пьет, не курит, не посещает... что ж еще? И он бродил, бормоча б у д у щ и е строки, например, все те же:

И щей горшок и сам большой...

И усмехался довольный.

Так он обрел свое скромное, эмигрантское счастье.

И еще вот что: он начал писать.

Нет, не стихи... Стихами при Пушкине не побалуешься. Прозою он писал. То экспедиционный отчет, то мемуары из двадцать первого века, то даже пробовал из современной жизни 20-х годов девятнадцатого. Не хуже уже получалось: вся русская проза была еще в будущем.

Две его заметки были даже в газете напечатаны. Они могли попасться на глаза Пушкину!

Но и тут досадный анахронизм: рассуждая о современном градостроительстве, Михайловский манеж назвал он Зимним стадионом, а Петровскую площадь — даже не Сенатской, а — площадью Декабристов...

Так он жил и ждал. Между тем еще ни наводнения, ни восстания.

«Странен без Пушкина Петербург! Будто при нем и был построен. Будто сто лет понадобилось для продолжения его строительства, сто лет от Петра до Пушкина — и снова застучали топоры, завизжали пилы, заскрипели лебедки. Одновременно начали строить все, что казалось нам потом построенным последовательно: и Биржа с пристанью и набережными, и казармы, и конногвардейский манеж, и перестройка Адмиралтейства, и бульвары, и мосты, и Казанский собор, и Исаакиевский, и Троицкий — росли рощами из колонн, но куда быстрее рощ, а уж жилые трех-четырёхэтажные дома — те просто как грибы.

Запомнив Петербург 1836 года, Петербург, из которого Пушкин ушел навсегда, вы бы очень удивились Петербургу в 1824-м, на каких-то двенадцать лет младше: ни здания Сената и Синода, ни Сфинксов, ни Александровской колонны, ни тех, ни других Триумфальных ворот, знаменитых львов вдвое меньше... почти ничего из того, что будет когда-нибудь носить его имя: ни Александринки, ни Пушкинского Дома. Будто все стремилось поспеть в пушкинскую строку, торопилось блеснуть в его взоре.

Нет! Он мог не умереть! Я же вижу, вижу его живым, сидящим в поезд в том же 1837-м, вижу, как он пряменько так на скамеечке сидит и в окошко поглядывает, и мальчишеский смех рвется из его глаз. «Ему и больно, и смешно...» Проклятый господин Облачкин! Это было 7 января. Я сунул червонец Никифору, он не устоял, сказал, что все сделает. Я стоял у подъезда, сжимал коробку с пенициллином, сердце выпрыгивало у меня из груди, и перед глазами плавали круги, но необъяснимая уверенность, что на этот раз он меня выслу-

шает, была, сильнее страха. И тут этот мальчишка-купчик лет четырнадцати со своей слюнявой тетрадкой, и мимо меня, и прямо к той же двери... Повар ему открыл, а тот ему тетрадку сует. А я уже слышу, что Пушкин спускается, его голос — Никифор меня не подвел... А повар мальчишку выпихивает: Пушкин занят, говорит. И дверь закрыл. Тьфу, черт, думаю, принесла тебя нелегкая — все запутал. Однако мальчишку жалко: шагнул понурый, и личико у него, как фамилия. Ну, и поделом, однако, думаю, он и блоковских (моих) стихов читать не стал, что ему облачкинские! Тут дверь распахивается, я возликовал: это Никифор, за мной! А это все тот же Василий... Меня отпихнул, бежит, кричит: «Господин Облачкин! Господин Облачкин! Вернитесь!» Облачкин взлетел, а перед моим носом Василий опять дверь закрыл. Я уж и закоченел совсем, а — ни Пушкина, ни Никифора, ни даже Облачкина. Наконец дверь распахнулась со счастливым Облачкиным в проеме, за ним Никифор смотрит на меня смущенно, плечами пожимает, руками разводит... «В следующий раз, барин», — говорит. Что делать? Я — за Облачкиным. Придушить его готов. Так и так, ему говорю, такой-то и такой-то, тоже поэт, тоже Александру Сергеевичу стихи приносил, да вот ему повезло, а не мне... какой он, мол, спрашиваю, очень строг? «Что вы?» — отвечает Облачкин. — Душа! Я уж кому ни носил, никто и не разговаривает, а он так сразу и прочитал тут же тетрадку, и похвалил, и еще, если напишу, приносить велел». Не утерпел я. «Покажите!» — говорю. Он, окрыленный, охотно мне тетрадку отдал. Смотрю: это же надо! Ну, ничего, ничегошеньки просто в его виршах нет! И чтобы сам Пушкин... «А что же он вам еще сказал?» — домогаюсь я. «Спросил, сколько лет, да богат ли батюшка, да своя ли у меня фамилия...» — «То есть как, своя ли?» — «Ну, не псевдоним ли я такой выбрал...» — «Ну?» — «Ну, я и говорю, что своя, совсем своя. А он просто так обрадовался, начал меня щекотать, тискать и хвалить. Молодец! — говорит». Что поделывать, гений! Что ему мой пенициллин, когда по земле мальчишки-поэты такие фамилии носить могут...

Нравится мне здесь его поджидать. Все так медленно, а — быстро! И все время — что-то. А там, у нас, все быстро, а — ничего. За двенадцать лет, что я в Петербурге не был, сколько еще всего предстоит при Пушкине построить! И все это б у д е т построено. На все это смотреть можно будет веками и строчки его бормотать! А у нас... И описать-то нечего: ни одной детали, хотя все одни детали. Вон охтинка идет с бидоном, так она в голландском чепце, а у нас — порошковое

из отдельного краника со счетчиком льется — и краник не из металла, и счетчик электронный. Вон санки проехали, так у них и полозья скрипят, и из-под хвоста лошади конские дымящиеся яблоки сыплются, и у ямщика что кушак, что морда краснее некуда, а у нас — залез в прозрачную скорлупу, сложился втрое, как зародыш, телефонный номер набрал, кнопку нажал, и никто тебе даже «алло» не скажет, а — в ту же секунду сидишь ты напротив абонента за четыреста тысяч километров, и он тебе искусственный аперитив предлагает, который прикрепляется, как клипса в нос, и балдей, если можешь, вот уж «неалло» так «неалло»... У них — так я сейчас, от обиды на Облачкина, в трактир зайду, и меня «человек» обслужит, человек — это у них презрительно почти звучит, потому что не господин, а человек всего лишь, а для меня то, что мне не механическая рука мечет, то, что таракан и муха, только что живые, в тарелке плавать могут, что человек живой и салфетка его грязнее улицы — все это одно счастье и умиление. И метры здесь не квадратные, а спальные, да гостинные, да столовые. И нет всех этих кишок, трубочек и проводочков, гарантирующих нам жизнеобеспечение: воду, воздух, тепло, свет, связь, информацию... как умирающий в реанимации — отключи проводки, и где ты, человек? А тут: эй, человек! что там у тебя есть? Ну, хотя бы и лимонаду...

Как медленно все тогда строилось, как быстро! И все это оставалось вплоть до нас, никуда не девалось. Примитивны орудия, и труд почти рабский. Соображения инженерные будто бы скудны, средства технические безнадежны... Отчего же так хорошо получалось? Лучше, чем потом, со всеми нашими ухищрениями? Рука была умна, и ум был ручной. И не было движения бездумного, и не было мысли незаботливой. Нет, не пойму пока...

Вот кого я еще не прощаю — так это Брюллова! Ну, что ему было картинку ту Александру Сергеевичу не подарить... Тоже мне Рубенс, европеец дутый! Ведь Александр Сергеевич даже на колени вставал, пусть в шутку, но искренне, но вставал... а тот: потом, мол, подарю. А ему три дня жизни всего оставалось. Главное, потом еще и домой к нему пришел. Александр Сергеевич ему детушек сонных выносит, хвалится, а тот: ну чего ты, спрашивается, женился? Грустно вдруг стало Александру Сергеевичу, скучно. Да так, говорит, за границу не пустили, вот и женился. А тот из-за границы всю жизнь не вылезал, и женат не был, и детей не имел — и ни шутки, ни грусти его не понял.

А ведь правильно не подарил! Потому что откуда же знал, что тот погибнуть может. И ехал бы живой Александр Сергеевич в том первом поезде из Петербурга в Москву и картинку с собою, подаренную Брюлловым, увозил с собою...»

«Так он писал темно и вяло...» Здесь бы и должна была начаться повесть о бедном нашем Игоре, коли уж он решил здесь жить... Здесь бы и начать, да уж больно некогда. Срок авторского пребывания в деревне решительно подходит к концу, так неужели опять не допишу ничего до конца? К тому же под рукой никаких источников — не только по Петербургу пушкинского времени, а даже и просто томика самого Пушкина нет. Нет под рукой источников в деревне, но и обычных источников в деревне нет. Ни озера, ни речки, ни колодца, хотя с неба льет не переставая: сена так и не просушить. Источников нет — прудики копаем. В глине вода стоит, никуда не уходит — из прудиков ведрами черпаем, в дом носим. В доме тепло. Если печь протопить. А если не топить, то холодно. И если воды не принести, то ее не будет. И идти за ней — по дождю и глине. Глины по пуду на сапог, и скользко. И свет отключился, а трансформаторная будка — через все поле. Далеко, и по тому же дождю. Из трех наших домов все в окошки поглядывают: кто пойдет, а никто пока не идет. Свечки зажгли в окошках, и я зажег. Мысли автора и героя начинают пересекаться: прав он про реанимацию... Пусть и не столь совершенна наша техника по сравнению с его будущей, а и я там, в столице, пусть кривыми, ржавыми да грубыми, но кишками к общей жизни, без которой мне и дня не прожить, подключен — к батарее, унитазу, телевизору... о шнуры спыткаюсь. А если, не дай бог, то, чем Чистяков давеча грозил? По телевизору комментатор грозит — раз грозит, два грозит, привыкаем. Не страшно. Не угроза это, а «обстановка в мире», вроде мебели: там Англия стоит, тут Зимбабве бурлит, здесь бомба висит... А отключи меня... Да что говорить, тут однажды не то чтобы горячую воду отключили временно, тут однажды из обоих кранов кипяток пошел... три дня рук не помоешь, не то что лица не сполоснешь. В городе — страшно, если без телевизора да чистяковские мысли думать. А здесь, в деревне, не так страшно. Потому что отключать не от чего. Потому что здесь война уже будто и была. В соседней деревне Турлыково на днях последний житель погиб. Ехал в кузове, грузовик перевернулся, и на него ящик с гвоздями... Был я в той деревне. Красивая деревня, много красивее нашей, как и название

ее. Сама — на холме, вокруг — луга, вокруг лугов лес — высится деревенька над нашей, как храм божий. И жила она лучше нашей, видимо. Потому что и колодцы есть, и окна резными наличниками украшены. Значит, было время не только на прокорм, а и на удобство, и на красоту — признак крестьянской цивилизации! Дома стоят почти целые, вселяйся и живй, ну, подремонтируй слегка и живи — а только жить некому. Я в дом один вошел: в буфетике — и стаканы, и ложки, не то чтобы ценные, но годные, а в шкафу — даже платье на плечиках висит. Инвентарь подобрать можно: ножовку хорошую, или молоток, или косу... Будто бежали отсюда наспех, будто от проказы или будто нейтронную бомбу именно здесь испытали. Суровый здесь, конечно, край: ни климата, ни почвы — север да глина. Вода все время с неба, вода и вода. Дорог, конечно, нет. Но ведь жили же! Не одно поколение, если уже наличники вырезать стали... В какое время сбежали они? В завтрашнее.

Они сбежали, а я чего здесь делаю? А я здесь пытаюсь сделать вещь, хоть какую, хоть такую, потому что там, откуда я, уже никакой вещи не сделаешь из-за связи с миром, не с делом, а со всем миром, с теле-миром: -фоном и -визором. Деталь там живая не водится.

Корова мычит сейчас, и трава растет сейчас, и дождь льет сейчас, и делать что-то нужно именно сейчас. Не вчера и не завтра. Если поставить времени запруды, пытаюсь задержать прошлое или накопить будущее, то вас затопит через крошечную дырочку под названием «сейчас», и вы захлебнетесь в потоке настоящего.

Игорь, конечно, знал про наводнение. Но к этому историческому отрезку его специально не готовили, планируя его пребывание лишь в 1836 году. Он знал, что осенью, что в этом году, что больше всего пострадают Гавань, Васильевский остров, Петроградская сторона... Зато они и жили в Коломне, которая, он не помнил, чтобы так уж пострадала. А в Гавани он работал, следовательно, первым встретит наводнение и успеет принять меры для безопасности будущего семейства. К тому же он расписался, у него пошло, повесть из современной петербургской жизни веяла свежестью прищельца и знанием постояльца. Временами ему казалось, что ее и Пушкину будет не стыдно показать. Правда, лишь временами... Вспоминая про грядущее наводнение, он бормотал бесмертные строки будущего «Медного всадника», словно пола-

гая его чем-то вроде путеводителя в приближающемся испытании.

День 6 ноября был дрянной, хлестал дождь, дул пронизательный ветер, вода значительно возвысилась в Неве. Вечером на Адмиралтейской башне зажгли сигнальные огни, предупреждая жителей от наводнения. Однако почивали все мирно, и Игорь уснул, уронив утружденную голову на рукопись. С рассветом он поспешил на службу — полтора часа быстрого ходу не шутка. Стихия разыгралась против вчерашнего, волны разбивались о гранитные набережные, вставая стеной брызг; вода из решеток подземных труб била фонтанами, собирая вокруг себя любопытных. Игорь шел навстречу стихии и не боялся потому, что все дорогое оставалось в тылу: и Наташа, и рукопись. По Исаакиевскому мосту он перебрался на ту сторону Невы, идти становилось все труднее, порывы ветра сдували с ног, но Игорь шел настойчиво, будто этим защищал все то, что оставлял за спиною, и вдруг тою же спиною понял, что это не угроза наводнения и даже не день, ему предстоящий, — а вот оно само и есть. Вдруг необозримое пространство перед ним оказалось кипящею пучиною. Над нею ключьями носился туман из брызг, волны разрывались на острые куски вихрями, как ножами, и так летели острыми, треугольными обломками, будто утрачивая свойства жидкости. Кареты и дрожки плыли по воде, спасаясь на высоких мостках, как на островках. И тут он увидел огромную барку, несшуюся прямо на него; она пронеслась, однако, мимо и врезалась в кирпичный дом, который обрушился от столкновения.

Полузахлебнувшегося Игоря подобрали в волнах. Бот принадлежал английскому торговому судну, на борту которого Игорь побывал накануне по служебному делу. Он узнал шкипера. «Там ад, — сказал ему шкипер по-английски, тыча большим пальцем за спину. — Большие суда носятся между домами, крушат их и сами рассыпаются в щепы». — «Да, одно я видел», — согласился с ним Игорь. Какое-то бесчувствие охватило его. Он теперь так же стремился обратно, как потру — вперед. Части разорванного Исаакиевского моста плеслись навстречу, а один обломок чуть не опрокинул их бот. Разъяренные волны свирепствовали и на Дворцовой площади, и Невский проспект превратился в широкую реку, но бедствие на Адмиралтейской стороне все же не было столь ужасным, и это слегка успокоило Игоря. В середине дня вода начала сбывать; к вечеру на улицах уже появились первые экипажи, и к полуночи Игорь добрался пешком до своего дома...

На месте своего дома он обнаружил пароход огромной величины. На борту его прилепился листок, вроде объявления. Машинально он отлепил его... Все строчки были размыты, но какой же автор не узнает лист своей рукописи в лицо! Волны, ветер, обломки, Кумир с занесенным победным копытом... «Он же сейчас в Михайловском! Откуда он все знал?..» — в ужасе забормотал Игорь, опять внутри пронесся ветерок, и будто завернулась фалдочка чьего-то фрака, и вспышка, вроде молнии, полыхнула перед глазами, в последний раз осветив черную громаду парохода и размытые строки Игорева рукописи. Игорь захохотал и побежал, обезумев, как Евгений, бормоча строки будущей пушкинской поэмы, как заклинание. За ним гнался автор поэмы, ветер трепал его бронзовую пелерину... Но живого Пушкина здесь быть не могло, тем более и бронзового — ни опекушинского, ни аникушинского... «Да ведь и сам «Памятник» еще не написан!» — История вышла из берегов, как Нева, и захлестнула Игоря с головой... Он прятался от Пушкина за церковью Покрова, мелко и неумело крестясь.

Здесь его и подобрали, израсходовав внеочередной миллиард миллиардов на спасательную экспедицию. Здесь, в центре Коломны, но — в наше с вами время: мокрый па-сквозь, под ясным небом, он топтался около архитектурного сооружения с буквами «М» и «Ж» на месте бывшей церкви, в отчаянии сжимая обломки своей тросточки...

Там он и сидит, кончая свой двадцать первый...

За окном, в черном космосе, шелестит великое трехсотлетие; спутники развешаны, как гирлянды на новогодней елке; праздничные шутихи перелетают от спутника к спутнику, искрами осыпаясь в пропасть остального мироздания.

Палата его тиха и отдельна, но он и так ничего не слышит: времена спутались в его голове, в ней, бедной, не прекращается погоня будущего за прошлым: он гонится за Евгением, Евгением за Пушкиным, Пушкин за Петром. Потом они бегут в обратную сторону — все гонятся за ним, и тогда ему страшно. За окном космические физкультурники в индивидуальных скафандрах с прожекторами во лбу исполняют в акробатическом полете горящую цифру 300. Игорь бормочет, как Германи — тройку, семерку, туза, перебирая теперь уже такие древние строки:

Дар напрасный, дар случайный...
Посадят на цепь, как зверка...
Похоронили ради Бога...

Он сжимает и разжимает кулак, в котором — пуговица. Он жалобно плачет, бьется и вост, если пытаются ее отнять. Ее ему оставляют, и он — спокоен. Его счастье — они не догадываются, что она — подлинная!

Все больше бессилие овладевает автором на его чердаке. Если бы автор видел, до чего похоже его жилище на его собственную попытку описать будущий мир! Дождь перестал, и небо очистилось. Ночь глуха, и нет путника, чтобы увидеть, как чердак автора висит в ночи, подвешенный на гвоздиках света из щелей и дырочек, будто небо на звездах. Кажется, что занимается там пожар. Или дотле-
вает.

Слайды Игоря проявили, пленки прослушали... Подтвердили диагноз. Нет, Игоря не в чем было упрекнуть: он не засветил и не стөр. Но — только тень, как крыло птицы, вспархивающей перед объективом, и получилась. Поражала, однако, необыкновенная, бессмысленная красота отдельных снимков, особенно в соотношении с записями безумного времелетчика: буря, предшествовавшая облачку, глядя на которое поэту пришла строчка «Последняя туча рассеянной бури...»; молодой лесок, тот самый, который — «Здравствуй, племя, младое, незнакомое...»; портрет повара Василия, захлопывающего дверь; замсчателный портрет зайца на снегу: в стойке, уши торчком, передние лапки поджаты; арба, запряженная буйволами, затянутая брезентом, вокруг гарцующие абреки; рука со свечой и кусок чьей-то бороды; волны, несущие гробы... и дальше все — вода и волны.

И пленки: шорохи, трески, мольбы самого времелетчика, чье-то бормотанье, будто голос на другой частоте или магнитофон не на той скорости, и вдруг — отчетливо, визгливо и высоко: «Никифор! Сколько раз тебе говорил: ЭТОГО не пускать!»

И здесь мы ставим точку, как памятник, — памятник самой беззаветной и безответной любви.

И обнаруживаем себя, слава богу, в своем, в собственном времени. НАШЕ время (мое и ваше): под утро 25 августа 1985 года.

Стихи из кофейной чашки

«Мне кажется, сеньор, — сказала Ревекка, — что ты в совершенстве знаешь пружины сердца человеческого и что геометрия является вернейшим путем к счастью».

Ян Потоцкий. «Рукопись, найденная в Сарагосе»

Урбино Ваноски, двадцатисемилетний, недостаточно известный английский поэт смешанного польско-голландско-японского происхождения (во втором, третьем и четвертом поколениях), не знающий ни одного из этих языков и ни разу ни в одной из своих родин толком не побывавший, автор почти нашумевшего сборника стихов «Ночная ваза» (непереводимое словосочетание, означающее скорее «Вазу в ночи»), практически, однако, не разошедшегося, кроме разве поэмы «Четверг», включенной впоследствии в одну из представительных антологий, — печального стихотворения, отразившего, по-видимому, личный опыт автора, например, в таких строках:

Я однолюб и верный человек
на самом деле
с нетерпением жду жену свою
одну без мужа чтоб
встречаться с ней в кино в подъезде
под дождем
Гарантий никаких не выдается в прошлом
Не можем мы сказать что то что было
было...

и т. д. и т. п., то есть тот самый Ваноски, который решил чего-то не пережить, то ли бесславия, то ли некоей драмы, и покончить, но еще более решительно, чем просто с жизнью, а именно что со своей жизнью, в корне изменив ее образ, включая и собственное имя, на манер тех японских поэтов, что к сорока годам, достигнув всего, бросают это все, исчезают, испаряются и, добившись нищеты и инкогнито, начинают поэтический путь с нуля, как никому еще не ведомые, но уже наверняка гении... у Ваноски не было ни дома, ни богатства, ни, кажется, славы, зато не было затруднения в псевдониме, доставшемся от прабабушки-японки, что затесалась в его роду не иначе как в счет его рокового будущего, — затруднения предстояли лишь с транскрипцией, граммати-

чески-катастрофической не только для подписания английских стихов, но и для ежечасной практики жизни (передаю по буквам: Виола, Оливер, Кэтрин, Оливер, дубль-Нора... Нора, Нора! Нора, Ник! дубль-Ник!! да, да, дубль-Н... Энн... нет, Энн — не буква, а имя! Энн-Эй-Адам! нет, не дубль-Эй... Барбара, Айрис... да, да, Айрис — последняя буква!..) — этому следовало посвятить оставшуюся треть (после сорока) или половину (после двадцати семи) жизни, с тем, чтобы передать в качестве фамильной традиции последующим, как минимум двум, поколениям, до полной растраты богатого наследства пресловутой японской вежливости: да хоть дубль-Эф! идите-ка на Эф...

Наш Урбино покончил с этими затруднениями сразу, с первого же переспроса, три дня расписываясь под неполучающимися стихами нового поэта и добившись, хотя бы в росписи, некоего благозвучия и красоты. Переменив фамилию, с именем своим он поступил еще более решительно, зачеркнув в нем и город, и прогресс, и цивилизацию, вместе со своим неблагополучным опытом, усмотрев в новом имени все обратное: лоно и традицию, нежный и размытый, почти японский, пейзаж¹, — Урбино Ваноски не стало... итак, Рис Воконаби (четвертый), испытав последнее (не только в смысле очередности) разочарование в жизни, удалился на остров с названием, столь же неуклюжим, как и его новая фамилия, напоминающим редкое животное — Кнемазаберра, писать иностранный роман, то есть роман окончательно вымышленный, действие которого развивалось бы не только с несуществующими людьми, но и в несуществующем пространстве, решив, по-видимому, что именно такой способ разрыва с прошлым является для него наиболее подходящим.

Ах, как это легко — посмотреть на жизнь со ступенек, ведущих предложение к точке! Автор небрежно с них сходит по ним на лестничную площадку чужой жизни, закуриив очередную сигарету.

Читатель не может курить так часто, но, с другой стороны, ему-то какое дело!.. Эта «снисходительность» и есть истинная муза беллетристики, едва ли не главный, всегда не разгаданный фокус в умении держать перо. Вот что подробно, а что непоследовательно излагает автор — и есть содержание вещи, а не то, что он хотел сказать. Это и

¹ Типичный случай переперевода... По-английски имя Рис не имеет никаких ассоциаций подобного рода. Примечание переводчика.

есть та пропорция действительности, которую станет рассматривать читатель... Действительно, что чему равно? Пятьсот слов о псевдониме — и одно слово «разочарование»! Однако если длина периода о транскрипции и вызвала у кого-нибудь раздражение, то короткость слова «разочарование», думаю, устроила всех. Это, видите ли, так всем понятно — с кем не бывает! — раз-о-чарование... Ну, после разочарования, естественно, отправился на остров — куда же еще?

А что за разочарование и где столь удобный остров?? Попробуйте-ка сами пережить то же, что пережил Рис, и вы бы заговорили иначе. Вы бы были возмущены небрежностью автора, походя трактующего ваше горе. Попробуйте пережить-ка то, что пришлось пережить Рису, и отправьтесь на остров... Да где вы его найдете-то, остров! И тогда учтите, что Рис нашел его.

А разочарование — это вот что. В один прекрасный день (в наш век для этого выбираются прекрасные дни, а дурная погода — старомодна), в один такой день и даже час, жизнь Риса, казавшаяся ему, несмотря ни на что, жизнью, то есть тем, что не вызывает сомнения в полной самой себе принадлежности, — оказалась нежизнью, то есть не жизнью в ее непрерывном и безусловном значении, а лишь способом прожить (пере-жить) определенный, еще один, отрезок времени (в данном случае отрезок этот тянулся почти три года); так вот, жизнь оборвалась, оказавшись отрезком, с трагическим ощущением продолжения себя в пустоте, как бы пунктиром; это несуществующее продолжение оборвавшегося отрезка нило: своего рода случай каузальгии — боли в утраченной конечности. Так мы обозначим оброненное нами слово «разочарование», не входя в частности.

Такая невыявленность прошлого способствует появлению нашего героя именно в этом рассказе, иначе нам бы пришлось писать совсем другой, предыдущий, а может, и допредыдущий рассказ. Только так, только прибегнув к спасительной беллетристической небрежности (не к чему оговаривать, что в жизни наше отношение к Рису далеко от небрежности...), опустив все то, что было действительно значительным в жизни нашего героя и привело его в это повествование, можем мы высадить Риса Воконаби на берег нашего рассказа в виде пришельца и незнакомца, с вытянутой усталостью на лице, в котором нет уже ничего японского, кроме разве того, что в собственном представлении кажется оно Рису замкнутым и бесстрастным, да очень прямых черных волос, делающих

его, при худобе и высоком росте, похожим на индейца в нашем представлении. Так мы высаживаем его на берег, с легким чемоданчиком в руке, пачкой долларов в кармане и удачным названием для романа в голове, а именно — «Жизнь без нас»...

(Здесь перевод обрывается, так как переводчик пока успел только столько. Есть надежда, что вскоре он успеет еще столько же... — А. Б.)

СОДЕРЖАНИЕ

I

Вкус	5
Что было, что есть, что будет...	39
Аптекарский остров	94
Похороны доктора	107
Рассеянный свет	124

II

Ибо я называюсь лев...	139
Птицы, или Новые сведения о человеке	194
Человек в пейзаже	252

III

Преподаватель симметрии	
Предисловие переводчика	309
Вид неба Трои	311
О — цифра или буква?	346
Битва при Альфабете	384
Фотография Пушкина (1799—2099)	417
Стихи из кофейной чашки	455

Андрей Георгиевич Битов

ЧЕЛОВЕК В ПЕЙЗАЖЕ

Редактор

В. О. Матусевич

Художественный редактор

В. В. Медведев

Технический редактор

Н. П. Талько

Корректор

Л. А. Розыбакиева

ИБ № 6224

Сдано в набор 02.09.87. Подписано к печати 30.05.88.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офс. № 1. Обыкновенная
гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л.
26,96. Тираж 100 000 экз. Заказ № 689. Цена 2 р. 10 коп.

Орден Дружбы народов издательство «Советский
писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государ-
ственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии
и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Битов А. Г.
Б 66 **Человек в пейзаже: Повести и рассказы.** — М.: Со-
ветский писатель, 1988. — 464 с.

ISBN 5—265—00341—X

Новый сборник Андрея Битова свидетельствует о возвращении известного советского писателя к прежним темам, но уже обогащенным новым осмыслением. Здесь произведения и о любви, и о природе, и философско-фантастические рассказы.

4702010201—236

Б ————— 16—88

083(02) — 88

ББК 84 Р7

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

Чернолуцкий М. Вернись к очагу: Романы. — М.: Сов. писатель, 1988 (I кв.). — 29 л. — (В пер.): 2 р. 50 к., 100 000 экз.

Книга Михаила Чернолуцкого состоит из двух романов: «Вернись к очагу» и «До конца дней». Объединена она общим замыслом, ее внутренняя тема — обретение человеком счастья через добро и подвиг. По этим высоким нравственным канонам живут герои романов, такие, как Дмитрий Дергачев, один из первых садоводов Сибири, старый революционер-колхозник Алексей Буренков, их младшие современники, продолжающие сегодня дела отцов и дедов.

Москаленко В. Райцентр: Повесть, рассказы. Первая книга автора. — М.: Сов. писатель, 1988 (I кв.). — 16 л. — 1 р. 30 к., 30 000 экз.

Название, вынесенное на обложку первой книги молодого прозаика Виталия Москаленко, выбрано не случайно, ибо основные действия героев рассказов и повести «Взятка» происходят в маленьком степном городке — райцентре. Разнообразие человеческих характеров, судеб и ситуаций — вот отличительная черта предлагаемой книги.

